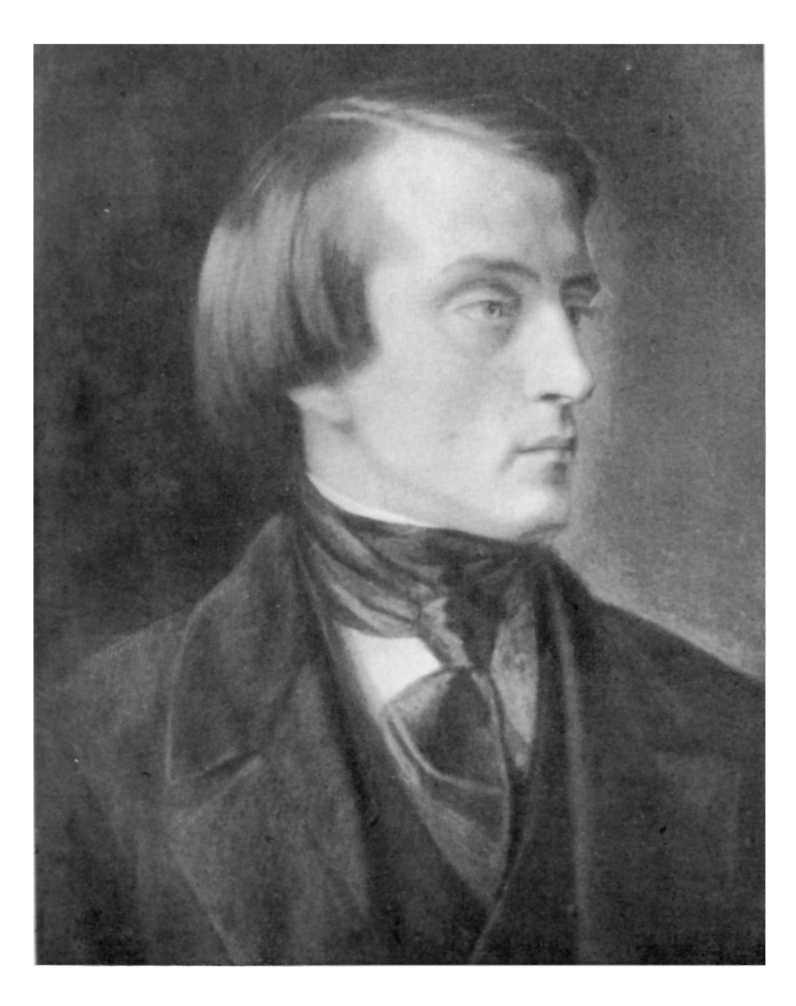
В. Г. БЕЛИНСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



В. Г. Белинский.
Портрет маслом К. А. Горбунова. 1871 г.

ИХЛ

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией:

В. Э. ВАЦУРО

Н. К. ГЕЯ (редактор тома)

С. А. МАКАШИНА

С. И. МАШИНСКОГО

А. С. МЯСНИКОВА

В. II. ОРЛОВА

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1977

В. Г. БЕЛИНСКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977

8Р1
Б43

Составление, подготовка текста и примечания
А. А. КОЗЛОВСКОГО и К. И. ТЮНЬКИНА

Вступительная статья
К. И. ТЮНЬКИНА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Б $\frac{70202\text{-}107}{028(01)\text{-}77}$ 51-77

БЕЛИНСКИЙ В ПАМЯТИ СОВРЕМЕННИКОВ

Белинский умер 26 мая (7 июня) 1848 года, не дожив нескольких дней до своего тридцатисемилетия.

Сообщения в печати о его смерти были немногословны. Даже «Современник», журнал Белинского, отозвался сдержанным, «протокольным» некрологом: «Литература составляла исключительное его занятие и была для него единственным средством к существованию <...> невозможность прекратить занятия, при упадке сил, была одною из главных причин пагубного действия чахотки, которая при условиях более благоприятных, может быть, и не обнаружила бы столь решительного и быстрого влияния, если взять в соображение лета покойного» [1].

«Лета покойного»... Тридцать семь лет — как это мало! Но ведь и Пушкину, когда он погиб, не исполнилось еще тридцати восьми...

После смерти Белинского были сказаны мучительно тяжкие, жестокие слова: «...он умер вовремя» [2]. Вскоре эти слова прозвучали вновь: «Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее, — когда же развалится этот мир?..» [3]

Мысль о «своевременности» смерти Белинского стала лейтмотивом первых, еще не оформленных, отрывочных воспоминаний о нем в беседах, в письмах друзей. Облик, натура, идеи Белинского были поистине несовместны с той общественной атмосферой, которая складывалась в России в 1848—1849 годах и господствовала в последнее «мрачное» Семилетие царствования Николая I. «По приезде из Парижа в октябре 1848 года, — вспоминал

---

[1] «Современник», 1848, № 6, Смесь, с. 173.

[2] Приписка Н. Н. Тютчева в письме А. П. Тютчевой к И. С. Тургеневу от 23 июня 1848 г. (*ЛН,* 56, 196).

[3] Письмо Т. П. Грановского к Герцену от июня 1849 г. («Звенья», 1936, т. VI, с. 360). Это письмо цитирует Герцен в «Былом и думах» (*Герцен,* IX, 131).

П. В. Анненков, — состояние Петербурга представляется необычайным: Страх правительства перед революцией, террор внутри, предводимый самим страхом, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры без нужды и без границ...»[1]

Идеи Белинского, высказанные, в частности, в последней, может быть, самой замечательной литературно-критической и публицистической статье его — «Взгляд на русскую литературу 1847 года», — привлекают, в предгрозовой и грозовой атмосфере февральской революции 1848 года во Франции, пристальное внимание властей. Но правительству еще не было тогда известно написанное Белинским в августе 1847 года за границей, без оглядки на цензуру, беспощадное, полное страсти, гнева и страдания письмо к Гоголю.

Не прошло и года со дня смерти Белинского, как следствие по делу петрашевцев установило, что одним из главных и наиболее опасных пропагандистских документов разгромленного кружка было именно это, как сказано в приговоре суда, «преступное о религии и правительстве письмо литератора Белинского». «За недонесение о распространении» письма Белинского к Гоголю Достоевский был приговорен военным судом к смертной казни...

Воистину, Белинский умер вовремя... «От тяжких испытаний избавила его смерть» (Тургенев).

Имя Белинского становится запретным в России на многие годы. Казалось, друзьям Белинского, его современникам, не удастся поведать о нем потомству. «...О тебе не скажет ничего своим потомкам сдержанное племя», — писал Некрасов в стихотворении «Памяти приятеля» (1853). В те годы лишь Герцен, — единственный, кто тогда безусловно разделял и глубоко понимал идеи Белинского, — в изданной за границей книге «О развитии революционных идей в России» (1851) смог открыто и ярко рассказать о Белинском, о его роли в истории освободительного движения, в умственном, духовном развитии России тридцатых — сороковых годов.

Конечно, книга «О развитии революционных идей в России» не была мемуарной в собственном смысле слова. Но писал ее не бесстрастный летописец, не профессиональный историк общественных идей, но их созидатель, их творец, бесстрашный мыслитель. История революционных идей тридцатых — сороковых годов — это часть биографии самого Герцена, часть биографии Белинского. «Факты, которые я собираюсь привести, — писал Герцен в первой редакции книги, переходя к изложению «новых мыслей и тенден-

---

[1] *Анненков,* 529.

ций, появившихся после 14 декабря», — это воспоминания: после истории я обращусь к автобиографии. Мне придется пройти вместе с читателем мимо дорогих мне могил, пусть он простит мне, если чувства во мне возьмут верх над мыслями, когда я приоткрою эти могилы». Конечно, Герцен, когда писал эти слова, думал и о дорогой для него могиле Белинского.

Герцен назвал здесь Белинского «типичным представителем московской учащейся молодежи», молодежи, которая наполняла тогда аудитории Московского университета. Учившийся в университете в одно время с Белинским, но на другом отделении, Герцен хорошо узнал эту новую, демократическую, мыслящую молодежь. «Жажда образования, — пишет он, — овладевает всем новым поколением; гражданские ли школы или военные, гимназии, лицеи, академии переполнены учащимися; дети самых бедных родителей стремятся в различные институты. <...> Московский университет становится храмом русской цивилизации; император его ненавидит, сердится на него, ежегодно отправляет в ссылку целую партию его воспитанников и, приезжая в Москву, не удостаивает его своим посещением; но университет процветает, влияние его растет; будучи на плохом счету, он не ждет ничего, продолжает свою работу и становится подлинной силой».

Белинский и был одним из этих «детей самых бедных родителей». Именно в университете, — но не столько в академических аудиториях, сколько в атмосфере студенческих «обществ» и «кружков», — как в стенах университета, так и вне его (например, в кружке Станкевича), — формировалось отношение Белинского к жизни, к философии, к литературе — то отношение, которое позволило ему позднее стать открывателем новых путей для русской мысли и истинным, можно сказать — *идеальным* литературным критиком: «Для него истины, выводы были не абстракциями, не игрой ума, а вопросами жизни и смерти <...> он ничего не старался спасти от огня анализа и отрицания и совершенно естественно восстал против половинчатых решений, робких выводов и трусливых уступок».

Но в этом огне сгорал и сам Белинский: «В каждом его слове чувствуешь, что человек этот пишет своею кровью, чувствуешь, как он расточает свои силы и как он сжигает себя...» [1].

Бескомпромиссный борец, свободный и потому подлинно революционный мыслитель, человек, без всякой меры тративший свои силы и изнемогший в борьбе, — таким предстает Белинский со страниц книги «О развитии революционных идей...». Но здесь этот образ скорее публицистический, чем собственно художественный.

[1] *Герцен,* VII, 399, 212—213, 236, 238.

Именно такой — художественный — образ Белинского воссоздан в гениальной мемуарной книге Герцена «Былое и думы».

Герцен представил Белинского как человека, как личность в непрестанном движении, мастерски набросал его живой портрет («Я в другой книге» <то есть в книге «О развитии революционных идей в России»> говорил о развитии Белинского и об его литературной деятельности, здесь скажу несколько слов об нем самом»).

Белинскому посвящена значительная часть главы XXV «Былого и дум», опубликованной в «Полярной звезде» 1855 года (эта часть и печатается в настоящем сборнике).

Однако, в сущности говоря, образ Белинского проходит и через другие главы герценовской *книги*, — все те главы, где рассказывается о Московском университете, о кружке Станкевича, о кипении и борьбе идей в кругах московской и петербургской интеллигенции. Белинский — в центре этого кипения и борьбы, возмутитель спокойствия, катализатор мыслительных процессов в передовой общественной среде. И рядом с ним, вместе с ним — Герцен.

Герцен излагает историю своих встреч и горячих, яростных споров с Белинским в 1839 и 1840 годах, в те несколько месяцев жизни критика, когда тот активно пересматривает свои философские и политические взгляды предшествующего периода. Роль Герцена в этом «пересмотре», в этом мучительном, но в конце концов плодотворном процессе была велика. Со своей стороны и Герцен глубоко овладевает современной философией, прежде всего диалектическим методом, который открывается ему как «алгебра революции» [1]. «С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в *руку»*, — вспоминает автор «Былого и дум»; шли потому, что именно Герцен, как и Белинский, сумел с такой ясностью и последовательностью сочетать «идеи философские с революционными».

В последующих главах «Былого и дум» (XXXII, LXI) рассказано о двух характерных эпизодах идейной жизни сороковых годов, отражающих центральную роль в этой жизни Белинского и дополняющих его образ, нарисованный в главе XXV.

Это, во-первых, знаменитые соколовские споры летних месяцев 1845 и 1846 годов (о которых более подробно и обстоятельно, со ссылкой именно на этот фрагмент XXXII главы «Былого и дум», вспоминал П. В. Анненков в «Замечательном десятилетии»). Герцен схватил и очень точно изложил самую суть, главный пункт и вместе с тем психологическую подоплеку споров, отделивших его

---

[1] См.: А. И. *Володин*. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. М., 1973, с. 31 и сл.

и Белинского — «реалистов», а точнее, материалистов и атеистов, — от их друзей из передового лагеря русской общественности — прежде всего «романтика», идеалиста Грановского:

«После примирения с Белинским в 1840 году наша небольшая кучка друзей шла вперед без значительного разномыслия; были оттенки, личные взгляды, но главное и общее шло из тех же начал. Могло ли оно так продолжаться навсегда — я не думаю. Мы должны были дойти до тех пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся.

Года через три-четыре я с глубокой горестью стал замечать, что, идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам — и это не потому, чтоб мы их разно понимали, а потому, что они не всем *нравились.* <…> Кроме Белинского, я расходился со всеми <…>.

Университетская молодежь, со всем нетерпением и пылом юности преданная вновь открывшемуся перед ними свету реализма, с его здоровым румянцем, разглядела <…> в чем мы расходились с Грановским. Страстно любя его, они начали восставать против его «романтизма». Они хотели непременно, чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений» [1].

Второй эпизод связан с пребыванием Белинского в Париже осенью 1847 года. Заключая воспоминания о Белинском в главе XXV, Герцен упомянул о своем последнем свидании с ним именно в это посещение Парижа. В воспоминаниях о Н. И. Сазонове (гл. LXI) Герцен возвращается к парижским встречам 1847 года и жарким спорам в среде русской эмиграции (см. о них также в «Замечательном десятилетии» Анненкова), в частности, и об общественном значении литературно-критической деятельности Белинского. Содержание этих споров еще раз показало единомыслие Герцена и Белинского, их глубокое взаимное понимание и в то же время характеризовало позицию незадолго перед тем приехавшего из России Герцена по отношению к русской эмиграции (Бакунину, Сазонову).

«Разница наших взглядов» (то есть взглядов Герцена, с одной стороны, и Бакунина и Сазонова, с другой), — пишет Герцен, — «чуть не довела нас до размолвки. Это случилось так. Накануне отъезда Белинского из Парижа мы проводили его вечером домой и пошли гулять на Елисейские Поля. Страшно ясно видел я, что для Белинского все кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя, смерть уже вываяла крупными чертами свою близость на исстрадавшемся лице его. Он был

---

[1] *Герцен,* IX, 202, 203, 206—207.

в злейшей чахотке, а <...> все еще полон своей мучительной, «злой» любви к России. Слезы стояли у меня в горле, и я долго шел молча, когда возобновился несчастный спор, раз десять являвшийся sur le tapis [1].

— Жаль, — заметил Сазонов, — что Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подцензурной.

— Кажется, трудно упрекать именно его, что он мало сделал, — отвечал я.

— Ну, с такими силами, как у него, он при других обстоятельствах и на другом поприще побольше сделал бы...

Мне было досадно и больно.

— Да скажите, пожалуйста, ну, вы, живущие без цензуры, вы, полные веры в себя, полные сил и талантов, что же вы сделали? Или что вы делаете? <...>

— Постой, постой, — говорил Сазонов, уже очень неравнодушно, — ты забываешь наше положение.

— Какое положение? Вы живете здесь годы, на воле, без гнетущей крайности, чего же вам еще? Положения создаются, силы заставляют себя признать, втесняют себя. Полноте, господа, одна критическая статья Белинского полезнее для нового поколения, чем игра в конспирации и в государственных людей. Вы живете в каком-то бреду и лунатизме, в вечном оптическом обмане, которым сами себе отводите глаза...» [2]

Герцен, столь много сделавший для пропаганды «свободного русского слова» за границей, все же недаром в 1863 году (когда писалась глава LXI) вспомнил свой давний спор с Сазоновым о бесплодности политической деятельности, лишенной реального жизненного содержания, свою защиту действенного слова литератора-журналиста.

Глубокая герценовская трактовка деятельности Белинского, его общественного значения, его личности становится своеобразным эталоном, на который так или иначе ориентируются позднее многие другие мемуаристы, и не только мемуаристы, писавшие о Белинском.

С развернутым изложением и характеристикой литературных взглядов и суждений Белинского как вполне современных, не утративших своей жизненной силы, первым после долгого перерыва выступил в русской печати Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855—1856). Имя Белинского было названо в статье пятой «Очерков...» («Современник», 1856, № 7;

---

[1] предметом обсуждения (*франц.*).
[2] *Герцен,* X, 323—324.

до этого Белинский иносказательно именовался «критиком гоголевского периода» и т. п.). В следующей книжке журнала Чернышевский публикует очередной фельетон цикла «Заметки о журналах» с волнующим призывом восстановить память о человеке, благодаря которому «тысячи людей сделались людьми», о человеке, которым «до сих пор живет наша литература»: «...что сделали мы, литераторы, в доказательство своей признательности к тому, кто был общим воспитателем всех лучших между нами? Ровно ничего. Мы не потрудились даже подумать, что потомство обвинит нас, когда не отыщет его бедной могилы» [1].

Как раз в это время (первая половина и середина 1856 года) Белинский становится близок Чернышевскому не только как мыслитель, эстетик, литературный критик, но близок по-человечески, как реальная живая личность. И происходит это потому, что Чернышевский читает главы «Былого и дум», печатавшиеся в заграничном издании Герцена «Полярная звезда», и знакомится с устными воспоминаниями, — а может быть, и какой-то рукописной редакцией их, — П. В. Анненкова, замечательного мемуариста, «человека сороковых годов», друга Белинского, Грановского, Тургенева. Главными источниками главы шестой «Очерков гоголевского периода русской литературы», трактовавшей о русском гегельянстве и «сближении друзей Станкевича» (то есть прежде всего Белинского) «с г. Огаревым и его друзьями» (то есть, конечно, с Герценом, имя которого как политического эмигранта не могло быть названо), — такими источниками и были «Былое и думы» (на что сразу же обратили внимание современники [2]) и неопубликованные воспоминания Анненкова (о чем сказал в подстрочном примечании сам Чернышевский [3]).

Очевидно, Анненков в это время уже работал над книгой о Станкевиче и воспоминаниями о Гоголе. В эти две свои публика-

---

[1] *Чернышевский,* III, 678.

[2] В. П. Боткин писал Тургеневу 10 ноября 1856 г., что статья Чернышевского «служит как бы комментарием к запискам другого автора», то есть Герцена (см.: «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка». М., «Academia», 1930, с. 105).

[3] «...в настоящей статье мы пользовались воспоминаниями, которые сообщил нам один из ближайших друзей Белинского, г. А<нненков>, и потому ручаемся за совершенную точность фактов, о которых упоминаем. Мы надеемся, что интересные воспоминания г. А<нненков>а со временем сделаются известны нашей публике, и спешим предупредить читателей, что тогда наши слова окажутся не более, как развитием его мыслей. За ту помощь, какую нам оказали его воспоминания при составлении настоящей статьи, мы обязаны принести здесь искреннейшую благодарность глубокоуважаемому нами г. А<нненков>у (*Чернышевский,* III, 210).

ции, появившиеся в 1857 году, Анненков включил фрагменты воспоминаний о Белинском. Это были первые собственно мемуарные свидетельства о великом критике в русской печати.

В «биографическом очерке» «Николай Владимирович Станкевич» («Русский вестник», 1857, № 3, 4, 5) Анненков со слов самого Белинского рассказал о роли Станкевича в его жизненной судьбе.

В «Воспоминаниях о Гоголе» («Библиотека для чтения», 1857, № 2 и 11) Анненков сообщил о «немаловажной услуге», оказанной Гоголю Белинским, способствовавшим прохождению рукописи «Мертвых душ» через петербургскую цензуру.

Начало, таким образом, было положено.

В период общественного подъема 1859—1862 годов и связанной с этим подъемом активизации идейной жизни появляется целая серия очень разных и по ценности сообщаемых сведений, и по литературным достоинствам воспоминаний о Белинском (И. И. Лажечников. «Заметки для личности Белинского»; П. И. Прозоров. «Белинский и Московский университет в его время»; И. И. Панаев. «Воспоминание о Белинском» и «Литературные воспоминания»; И. С. Тургенев. «Встреча моя с Белинским»; Н. Е. Иванисов. «Воспоминание о Белинском»; А. М. Берх. «Из знакомства с Белинским»). Все эти воспоминания ценны прежде всего самим фактом «открытия» Белинского, признания его роли «великого борца», настоящего вождя поколения [1], а также теми конкретными биографическими сведениями о нем, которые при этом сообщались: от детских лет до последних месяцев жизни.

Среди всех воспоминаний о Белинском, появившихся в эти годы, наиболее значительно, конечно, воспоминание «Встреча моя с Белинским» Тургенева, попытавшегося определить самую суть и своеобразие деятельности Белинского — ее национальный, народный характер: «Белинский был именно *тем*, — писал Тургенев в своем мемуарном «*письме*», — что мы бы решились назвать центральной натурой: то есть он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру, к самой сути своего народа...»

Тогда же, в 1859 году, Тургенев выступил с лекциями о Пушкине, в одной из которых упомянул о Белинском, полемически заострив, по его собственному свидетельству, перед враждебной критику аудиторией свой тезис о нем как «идеалисте в лучшем смысле слова».

Эти пока еще не развернутые, беглые суждения Тургенева имели между тем принципиальное значение: они положили начало тому истолкованию национально-исторической роли Белинского,

---

[1] Ап. *Григорьев*. Мои литературные и нравственные *скитальчества*. — «Время», 1862, №№ 11—12.

которое в одном существенном моменте резко отличалось от герценовского понимания этой роли. Истолкование, в общих чертах сформулированное во «Встрече с Белинским», наиболее полно и талантливо было развито и обосновано впоследствии Тургеневым в «Воспоминаниях о Белинском», Анненковым в «Замечательном десятилетии», Гончаровым в «Заметках о личности Белинского». Общая особенность такого истолкования — прямое отрицание или либеральное «смазывание» революционного, политического смысла идей и литературно-публицистической деятельности Белинского, усиленное стремление прежде всего подчеркнуть идеально-эстетическое содержание его критики.

Герцен же, в статье «1831—1863», дал замечательную характеристику идеала Белинского, «действительного революционера в нашей литературе», продолжавшую и развивавшую его суждения в книге «О развитии революционных идей в России» и в «Былом и думах»: «Идеал Белинского, идеал наш, наша церковь и родительский дом, в котором воспитались наши первые мысли и сочувствия, был западный мир, с его наукой, с его революцией, с его уважением к лицу, с его политической свободой, с его художественным богатством и несокрушенным упованием» [1]. Существо «западничества» Белинского, таким образом, заключалось, по Герцену, в ориентации на революционные традиции европейского общественного движения и европейской мысли. Для Герцена Белинский был революционером в самом всеобъемлющем, самом истинном и высоком смысле слова.

Показательно, что в середине шестидесятых годов, между 1862—1869 годами, в русской печати не появляется ни одного произведения мемуарного жанра, специально посвященного Белинскому, хотя формально его имя и не было запретным. В истории России это было еще одно «мрачное семилетие».

«Не подлежит никакому спору, что ремесло русского литератора вообще не может похвалиться блестящим п р о ш е д ш и м, — писал в 1868 году Салтыков-Щедрин, говоря о «признаках времени», сравнивая современное «литературное положение» с «положением» русской литературы и русского литератора в сороковые г о д ы. — Мы все еще помним то время, когда мысль находилась под гнетом столь несомненных ограничений, что читателю потребно было немало усилий и изворотливости, чтобы победить ту темноту и запутанность выражения, на которую осуждено было слово. Это было, конечно, не поощрительно, но, по крайней мере, писатель того времени знал, что у него есть публика, которая ищет его понять, знал, что нет в России того захолустья, в котором бы не бились молодые сердца, не пламенела молодая мысль под впечатлением вы-

---

[1] *Герцен,* XVII, 104.

сказанного им слова. <...> Вспомним Грановского, Белинского и других, которых имена еще так недавно сошли со сцены; вспомним то движение мыслей и чувств, которому было свидетелем, современное поколение, вспомним увлечения, восторги, споры...» [1]

Именно в связи с уроками сороковых годов, с традицией Белинского поднимает Салтыков-Щедрин больную для него, литератора, и для литературы русской тему: «читателя-друга» — понимающего, чувствующего и сочувствующего.

Вспомнить Грановского, Белинского, «людей сороковых годов» — это, очевидно, становилось насущной потребностью современного «литературного положения».

И вот в. 1868 году появляется книга младшего брата Н. В. Станкевича, А. В. Станкевича, о Грановском, вызвавшая содержательную полемику в печати. В 1869 году Тургенев публикует новые «Воспоминания о Белинском», а Писемский роман «Люди сороковых годов». В начале семидесятых годов начинает работать над первой, исчерпывающе для того времени документированной биографией Белинского А. Н. Пыпин.

Эти, а также и другие, весьма, впрочем, неоднозначные, но тем не менее показательные факты свидетельствовали о несомненно повысившемся на рубеже шестидесятых — семидесятых годов интересе к «людям сороковых годов», «старым людям» (Достоевский. Дневник писателя за 1873 год).

«Без людей сороковых годов не было бы людей шестидесятых годов, — сказано в статье П. В. Шелгунова «Люди сороковых и шестидесятых годов», непосредственным поводом для написания которой послужил названный выше роман Писемского. — Одни вышли из других. Тут преемственность мысли, преемственность прогресса» [2]. Но как только речь заходит о сороковых годах, естественно и необходимо возникает имя Белинского: «Белинский, как умственный барометр, стоит высоко во главе своего времени. По Белинскому мы судим о силе и направлении передовой мысли России сороковых годов, именем Белинского мы зовем эпоху сороковых годов...» [3]

«Воспоминания о Белинском» Тургенева открывают цикл самых значительных мемуарных произведений о великом критике, своего рода образцов мемуарного жанра, создание и обнародование которых падает главным образом на следующее десятилетие.

Прямой полемикой с приведенным выше герценовским определением идеала Белинского кажется истолкование того же «за-

---

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в двадцати томах, т. 7. М., 1969, с. 55—56.

[2] Н. В. Шелгунов. Литературная критика. Л., 1974, с. 60.

[8] Там же, с. 110.

паднического» идеала критика в «Воспоминаниях о Белинском», хотя, вероятно, Тургенев имел здесь в виду не Герцена, а прямых недругов Белинского, пытавшихся запятнать имя его и дискредитировать его деятельность. Идеал Белинского, писал Тургенев, «был свойства весьма определенного и однородного, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией — Западом наконец. Люди благонамеренные, но недоброжелательные употребляют даже слово: революция».

Тургенев слова *революция* не употребляет, он называет Белинского «отрицателем», прибавляя при этом: «Дело не в имени, а в сущности...» А за несколько лет до этого, в 1862 году, в известном письме к К. Случевскому Тургенев привел как синонимы слова: *нигилист, революционер, отрицатель,* напомнив при этом своему корреспонденту некоторые черты «истинных *отрицателей»:* Белинского, Бакунина, Герцена, Добролюбова, Спешнева [1]. Ряд имен достаточно красноречивый.

Получается, что по *сущности* следовало бы назвать Белинского революционером. Но Тургенев не решился этого сделать.

Тургенев повторил в «Воспоминаниях...», уточнив ее, мысль о Белинском как центральной натуре: «он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа...»

Заслуга Тургенева — в понимании глубоко национального характера деятельности Белинского. Однако национальный характер «западничества» Белинского, о котором справедливо пишет Тургенев, сильнее всего проявился как раз в революционном демократизме его программы. Деятели русского освободительного движения искали тогда на Западе — с его более передовыми общественными формами, с его развитой политической жизнью, с захватывающей борьбой идей — теории революционного действия, которая была бы *правильной* и для России, при всех специфических чертах русской революции. По словам В. И. Ленина, «передовая мысль в России <…> жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области» [2].

Тургенев прошел мимо этой стороны «колоссальной умственной работы, которая совершалась в голове Белинского» [3]. Он не только говорит о будто бы характерных для Белинского «малом запасе познаний», «неусидчивости и неохоте к медленным трудам», но возводит эти «недостатки» в какую-то необходимость, считает их обязательными для «центральной русской натуры».

Вероятно, ответом на такого рода суждения были мемуарные

[1] *И. С. Тургенев.* Письма, т. IV, с. 380.
[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 7—8.
[3] Г. В. Плеханов. Собр. соч., т. XXIII. М.—Л., 1926, с. 220.

заметки о Белинском В. Ф. Одоевского — человека огромной эрудиции, философа и писателя, — о своеобразии умственного развития Белинского. Правда, В. Ф. Одоевский, типичнейший представитель старой, «классической» дворянской культуры, также склонен преувеличивать «незнание» Белинского. Однако Одоевский справедливо утверждает, что это «незнание» выкупалось поразительным по своей проницательности проникновением в суть философских систем, позволявшим Белинскому стоять во главе самого передового философского движения в России. Вспоминая о своих встречах и спорах с Белинским, В. Ф. Одоевский писал: «Белинский был одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни. В нем было сопряжение Канта, Шеллинга и Гегеля, сопряжение вполне органическое, ибо он никого из них не читал <…> Всякий раз, когда мы встречались с Белинским <…> мы с ним спорили жестоко, но я не мог не удивляться, каким образом он из поверхностного знания принципов натуральной философии (Naturphilosophie) развивал целый органический философский мир sui generis. Едва имея понятие о Шеллинге только, Белинский сам собою дошел до Гегеля, ему неизвестного; то есть в Белинском совершился своебытно тот переход, который в философском мире совершился появлением Гегеля после Шеллинга. <…> Развить в себе самом целый ряд философских теорем, развившихся в философской атмосфере мира, не далось бы дюжинному человеку» [1].

В самом деле, неутомимый духовный труд Белинского явился трудом по выработке, на основе достижений русской и европейской культуры, самобытной, отвечающей задачам русского общественного развития революционно-демократической концепции. И потому демократ-разночинец Белинский стал вождем всего русского освободительного движения сороковых годов.

Мысль Тургенева о Белинском, как центральной натуре, воплощении сути своего народа, была оспорена славянофилами. Почвенническая «Заря» объявила Белинского представителем ложного антинародного знания. «Г-н Тургенев жестоко ошибся, — писал Страхов, — принимая *среду,* в которой имел успех Белинский, за целый русский народ, он упустил из виду давно уже сделанное и многократно поясненное различие между главной массой русского народа, живущего крепкою своеобразною жизнью, и тем наружным и незначительным слоем нашего общества, который <…> выветрился и оторвался от своего внутреннего ядра, от родной почвы. В этом-то слое, имеющем притязание на образованность, но, в сущности, ложно образованном, так как этому образованию недостает

[1] «Русский архив», 1874, кн. I, вып. 2, стлб. 339—340.

действительных корней, — в этом-то слое и имел успех Белинский»[1].

Подобная же или близкая концепция легла в основу суждений о Белинском, высказанных Достоевским в «Дневнике писателя» за 1873 год, в письмах конца шестидесятых — начала семидесятых, а также, вероятно, в статье «Знакомство мое с Белинским», писавшейся в 1867 году в Германии и Швейцарии и до нас не дошедшей. В то время, когда был написан роман «Бесы», Достоевский с особой антипатией отзывается о Белинском — ему ненавистны идеи критика, поступки, вся его личность. Это тем более вынуждает его заострить свои оценки и суждения о Белинском-революционере.

С точки зрения важнейшей для него проблемы нравственности Достоевский рассматривает и революционные идеи Белинского. Если Белинский отрицает все основы старого мира, то он должен отрицать и христианскую нравственность, единственную моральную «скрепу» этого мира, единственный оплот против натиска индивидуализма и аморализма. Однако идеальное представление Достоевского о христианской нравственности — истинным носителем и хранителем которой представлялся ему русский народ, «почва» — далеко не соответствовало реальному «практическому» смыслу морали христианства, ее социальной роли.

Отрицание христианской нравственности казалось Достоевскому отрицанием самой нравственности.

Между тем Белинский ищет и находит основы иной, новой нравственности, противостоящей как морали смирения и «подставных ланит» (по терминологии Достоевского), так и буржуазному индивидуализму, «грязному эгоизму» — морали «Единственного» Макса Штирнера. (Одно из ценнейших мест «Замечательного десятилетия» Анненкова — изложение мыслей Белинского по поводу книги Макса Штирнера «Единственный и его достояние».)

Отвергая атеистические и социалистические идеи Белинского, Достоевский с проницательностью великого художника, при всей враждебности тона, памфлетности манеры, схватывает важнейшие качества Белинского — цельность, последовательность, темперамент борца, свободу от предрассудков. Белинский страстно желал коренного изменения русской жизни — от социального и политического строя до нравственных принципов, до личных отношений людей. Он, по характеристике Достоевского, был самый торопившийся человек в целой России. Его мучило, почему не сегодня, не завтра произойдет это изменение.

Образ Белинского в «Дневнике писателя» предстает в двух главных аспектах: во-первых, непосредственное художественное

[1] «Заря», 1869, № 9.

изображение и, во-вторых, эмоциональная оценка личности, идей, дела Белинского. Первое — реальный, живой образ критика — для нас, конечно, важнее всего, однако и второе небезразлично, ведь правда образа, конечно, зависит от оценки и отношения.

Тем больший интерес представляет иначе окрашенный рассказ в «Дневнике писателя» за 1877 год о первой встрече с Белинским, изложение замечательных высказываний критика, в связи с «Бедными людьми», о Достоевском-художнике. У Достоевского уже нет той неприязни, которую он питал к Белинскому всего лишь несколько лет назад. Он признается, что даже и теперь «укрепляется духом», вспоминая эту первую встречу. Изложение здесь не только фактически достоверно, но сделано великим художником, талант которого был так восторженно встречен Белинским. Достоевский хотел бы быть верным Белинскому, верным как *художник,* как *нравственная личность.* В этом смысле в своем «старом воспоминании» он верен Белинскому.

Но он, вероятно, подразумевал и другую верность — верность идеям Белинского, его общественному идеалу. В «Дневнике писателя» 1876—1877 годов Достоевский вновь заявил себя приверженцем утопического социализма в духе Жорж Санд, вновь повторил слова, вдохновлявшие его в молодости: «Обновление человечества должно быть радикальное, социальное».

Однако верности революционному духу письма к Гоголю Достоевский не сохранил, хотя связывал в это время свою идеологию с оригинально истолкованной идеологией Белинского. Белинский для него одновременно и революционер и консерватор: революционер по отношению к буржуазному Западу и консерватор по отношению к «русскому миру». «Белинский, например, — сказано в «Дневнике писателя» за 1876 год, — страстно увлекавшийся по натуре своей человек, примкнул, чуть не из первых русских, прямо к европейским социалистам, отрицавшим уже весь порядок европейской цивилизации, а между тем у нас, в русской литературе, воевал с славянофилами до конца, по-видимому, совсем за противоположное. Как удивился бы он, если бы те же славянофилы сказали ему тогда, что он-то и есть самый крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за все то, что он отрицал в России для Европы, считал басней, мало того: если б доказали ему, что в некотором смысле он-то и есть по-настоящему консерватор, — и именно потому, что в Европе он социалист и революционер? Да и в самом деле оно ведь почти так и было» [1].

Достоевский назвал это свое суждение парадоксом, и оно дей-

[1] Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений, т. 11, М.—Л., 1929, с. 319.

ствительно парадоксально [1]. Достоевский уловил неприятие Белинским «торжествующей» буржуазии, он находил в нем поддержку своим идеям, своей борьбе со всяческой буржуазностью, в особенности с аморальным индивидуализмом. Однако Белинский отрицал именно буржуазный порядок, но никак не «весь порядок европейской цивилизации». Но отрицал он этот порядок, конечно, не во имя славянофильско-почвеннического идеала «русского мира» или народнического идеала поземельной общины. Для него важнее всего была судьба русского народа, восстановление человеческого достоинства русского крестьянина, которое потеряно в «грязи и неволе» («Письмо к Гоголю»). Белинскому было глубоко чуждо такое узкое представление о социальном или нравственном идеале.

Одним из характерных проявлений возродившегося интереса к идеям и людям сороковых годов был тот большой труд, который взял на себя А. Н. Пыпин, собирая переписку, воспоминания и другие документы, на основе которых и была написана им первая биография Белинского («Вестник Европы», 1874—1875; отд. изд. 1876).

Многих из «людей сороковых годов», близких в свое время к Белинскому, побудил Пыпин возобновить в памяти образ этого необыкновенного человека, определившего собой лицо «замечательного десятилетия». «Если теперь еще немало людей, некогда более или менее тесно связанных с Белинским и его отношения с которыми еще не могут быть рассказаны в п о л н е, — писал Пыпин Анненкову 14 января 1874 года, — то, с другой стороны, необходимо было бы сохранить живые свидетельства, какие еще могут быть собраны, сберечь воспоминания лиц близких к Белинскому или же вызвать их самих рассказать то, что они знают» [2]. По настоянию Пыпина Анненков и приступил к написанию воспомина-

---

[1] Впрочем, как ни покажется это на первый взгляд странным, натолкнул Достоевского на такое суждение не кто иной, как народник Н. К. Михайловский, писавший в «Литературных и журнальных заметках» 1873 года, в ответ на главу «Дневника писателя» «Старые люди», буквально следующее: «Экономическое зерно социализма не представляет у нас, в России, учения революционного, так как большинство нашего народа владеет продуктами своего труда и достигает этого при помощи ассоциации — поземельной общины. Между тем совершенно неосновательные показания и рассуждения вроде тех, какие делает г. Достоевский, пугают общество и извращают истину. <...> Революционный в Европе, социализм в России консервативен» («Отечественные записки», 1873, № 1, «Совр. обозр.», с. 160—161). Вероятно, именно в этих словах Михайловского увидел Достоевский для себя «как бы новое откровение» («Гражданин», 1873, № 9, 19 февраля, с. 65).

[2] *ЛН,* 57, 304.

ний «Замечательное десятилетие. 1838—1848», ставших классическим произведением мемуарного жанра. По его же, Пыпина, инициативе записали свои воспоминания о Белинском Гончаров и Кавелин.

Конечно, мемуарное произведение о «замечательном десятилетии» было задумано Анненковым задолго до обращения к нему Пыпина, свидетельством чему служат как ссылки на воспоминания «г. А<нненко>ва» в «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевского, так и его же слова из «Заметок о журналах» в мартовской книжке «Современника» за 1857 год: «Г. Анненков, кажется, хочет представить нам целый ряд воспоминаний и биографических этюдов о замечательных людях русской литературы последних десятилетий...» [1]

Однако концепция «Замечательного десятилетия», осмысление опыта сороковых годов в мемуаре Анненкова является итогом уже других, следующих двух десятилетий.

«Замечательное десятилетие» пронизано мыслью о непреходящей ценности сороковых годов для русской жизни, русской культуры, русского общества: «Ни деятельность Гоголя, ни деятельность самого Белинского, а также и людей сороковых годов <…> не остались без следа и влияния на ближайшее потомство, да найдут, по всем вероятиям, еще не один отголосок и в более отдаленных от нас поколениях. Это убеждение только и могло вызвать составление настоящих «Воспоминаний», — сказано в главе XXIII «Замечательного десятилетия» [2]. Пожалуй, главный, так сказать, собирательный герой «Замечательного десятилетия» — именно «человек сороковых годов», с характерными, достаточно определенными, при всей своей широте, нравственными и психическими чертами, со столь же характерным кругом философско-эстетических и общественно-политических идей. И самый яркий, самый цельный, самый последовательный среди деятелей сороковых годов — Белинский.

При этом образ Белинского, как и характер десятилетия в целом, освещается в воспоминаниях Анненкова, так сказать, отраженным светом — отраженным от событий и обстоятельств общественно-политического развития России, важным фактором которого было явное и окончательное разделение на рубеже пятого и шестого десятилетий века двух политических принципов, двух миросозерцаний — революционно-демократического и либерального. Анненков времени писания «Замечательного десятилетия» отличается от Анненкова — друга Белинского, одного из активных участников его кружка, отличается прочно сложившейся либеральной

[1] *Чернышевский,* IV, 719.
[2] *Анненков,* 253.

общественной позицией, составной частью которой было непонимание современного революционного движения. В этом смысле то время, когда писалось «Замечательное десятилетие», то есть годы семидесятые, с революционным народническим движением, для него — прямая противоположность годам сороковым. Для характеристики миросозерцания Анненкова в конце семидесятых годов представляет интерес его письмо к В. М. Михайлову по поводу чествования Тургенева в Петербурге весной 1879 года. Подробно рассказав об «овации всем обществом коллежскому секретарю из дворян» И. С. Тургеневу, Анненков писал: «Словом, происходит полная реабилитация людей сороковых годов, устранение всех их врагов, публичное признание их заслуг и отдается им глубокий, всесословный и общерусский поклон, даже до земли и до метания. <…> И рядом с этим событием развиваются другие, совсем иного характера. Люди самой последней формации <…> заявляют о своем существовании убийствами, работой кинжалов, револьверов etc. Дело может дойти и до ядов, отрав, арканов и т. д. <…> Может быть, подвиги деток Нечаева, Ткачева e tutti quanti и повернули все общество в сторону старого развития, начинающегося под знаменем искусства, философии и морали, но как бы то ни было, — нынешняя минута в России, может быть, самая важная из всех, какие она переживала в последние 25 лет...» [1]

Анненков приемлет именно такой путь общественного развития для России — «старое развитие, начинавшееся под знаменами искусства, философии и морали». Три момента в русской истории отвечают его идеалу «старого развития»: сороковые годы как начало, исходный пункт, зерно; предреформенный период, завершившийся двумя реформами, — по содержанию своему, для Анненкова, прежде всего гуманными и моральными — крестьянской и судебной; и, наконец, самый конец годов семидесятых с наметившимся, как думал Анненков, поворотом к идеалам «искусства, философии и морали».

«Старое развитие, начинавшееся под знаменами искусства, философии и морали», является для Анненкова сутью сороковых годов, основным их содержанием. Поэтому естественно, что умственное движение сороковых годов прямо противоположно для него революционному движению, которое сводится к «подвигам, деток Нечаева» (то есть народовольцев). И в «Замечательном десятилетии», так же как в цитировавшемся письме, революционерам приписывается «жажда скорых расправ, внезапных потрясений и простора для личной мести».

Эти особенности позднейшего миросозерцания Анненкова явно

---

[1] *ИРЛИ,* ф. 384, ед. хр. 16.

отразились в концепции «Замечательного десятилетия» и освещении идей и личности Белинского. Герценовскому образу Белинского-революционера в мемуарах Анненкова противопоставляется образ Белинского-моралиста, Белинского — «эстетика по преимуществу». «Ясно, что как проповедь, так и все намерения Белинского <…> скорее можно назвать *консервативными* в обширном смысле слова, чем революционными <…> Ни одно из его увлечений, ни один из его приговоров, ни в печати, ни в устной беседе, не дают права узнавать в нем <…> любителя страшных социальных переворотов, свирепого мечтателя, питающегося надеждами на крушение общества, в котором живет. <…> У Белинского не было первых элементарных качеств революционера и агитатора, каким его хотели прославить, да и прославляют еще и теперь люди, ужасающиеся его честной откровенности и внутренней правды всех его убеждений; но взамен у него были все черты настоящего человека и представителя сороковых годов...» Главная, или, как пишет Анненков, «очень крупная», его черта состояла «в особенном понимании искусства как важного элемента, устроивающего психическую сторону человеческой жизни и через нее развивающего в людях способность к восприятию и созданию идеальных представлений». Кажется странным, что Анненков, «нравственный участник», по его собственным словам [1], создания письма к Гоголю, превратил его автора в «эстетика по преимуществу». Впрочем уже Салтыков-Щедрин, анализируя роман Гончарова «Обрыв», нашел ключ к уяснению позиции «либерала сороковых годов», не сумевшего сделать решающий шаг от либерализма к демократизму, от абстрактной, хотя и гуманной постановки вопросов к их действительному разрешению: «...было время, когда, конечно, и просто щегольская фраза, проникнутая либеральным духом, уже сама по себе представляла благо и выражала борьбу; но теперь и арена действия, и самый характер борьбы изменились, а этого-то именно и не поняли деятели сороковых годов» [2].

Нельзя забывать, что мир мемуарного произведения, казалось бы, существующий лишь в одном времени — в том времени, в котором живут его герои и общающийся с ними будущий мемуарист, — то есть в прошлом, на самом деле этот мир, его окраска, его освещение обусловлены иным временем, временем самого воспоминания и его литературного воплощения. Поэтому «образ автора» в мемуарном произведении сложен, сочетает в себе разные, накладывающиеся друг на друга лики, возникает на скрещении времен.

---

[1] *Анненков,* 531.
[2] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в двадцати томах, т. 9. М., 1970, с. 68.

Богатейший материал анненковских воспоминаний, по-видимому, фиксировавшийся по горячим следам событий, во многих случаях противостоит или существует независимо от позднейшей умозрительной трактовки (содержащей, впрочем, некоторое рациональное зерно — но лишь как отпор «ненавистникам» Белинского из лагеря охранителей). Анненков подробно, обстоятельно, со знанием дела рисует картину идейного движения, идейной борьбы сороковых годов. Интерес к передовым общественным теориям, к социальной, политической, идейной жизни России и Европы привел его к знакомству и дружеским отношениям с людьми, которые стояли во главе освободительного и революционного движения эпохи. Тесное общение с Белинским, встречи и переписка с Марксом, искренняя попытка понять их идеи — все это не могло пройти бесследно: никто из мемуаристов лучше его не мог передать внутреннюю историю передового направления русской общественной мысли сороковых годов (можно вспомнить изображение Соколовских споров 1845 года, работы Белинского над письмом к Гоголю, изложение мыслей Белинского о философии Штирнера). Впрочем, с Анненковым можно согласиться в том, что Белинский — моралист, но его мораль — это мораль истинного революционера, открывателя новых путей для общества, для науки, для искусства. Можно с ним согласиться и в том, что Белинский — человек сороковых годов, но такой, который, как был уверен Салтыков-Щедрин, примкнул бы «к дальнейшему движению мысли и начал разрабатывать жизненные вопросы на той реальной почве, на которую выводило <…> неумолимое время...» [1]

* * *

Ромен Роллан недаром создавал свои «героические биографии». Горький недаром основал удивительную, теперь уже многотомную библиотеку «Жизнь замечательных людей»...

Человечество испытывает нравственную потребность хранить в памяти великие, всегда живые образы своих духовных вождей — как урок, как источник надежды и мужества...

Один из родников, питающих эту память потомства, — конечно, воспоминания современников... «Кроме той массы идей, которые он в течение своей недолгой карьеры пустил в обращение, которыми мы и за нами наши дети будут пользоваться, не всегда даже связывая их с первоисточником, — кроме стольких-то печатных томов и страниц, — писал Короленко, — Белинский завещал нам

---

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в двадцати томах, т. 9. М., 1970, с. 68.

еще цельный, живой образ, который останется навсегда, наряду с лучшими созданиями гениальнейших поэтов» [1].

Во многих воспоминаниях о Белинском, в особенности написанных замечательными художниками или талантливыми беллетристами, как Герцен, Тургенев, Гончаров, Достоевский, И. Панаев, Анненков, кроме достоверных свидетельств, важных для биографии критика, есть и нечто большее — мы находим в них именно этот «цельный, живой образ» — образ великого мыслителя-борца, великого человека. Мы видим Белинского, слышим его горячую, взволнованную речь, сочувствуем его страданиям и радостям, разделяем его негодование.

«Это был человек, — пишет Тургенев, — среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, с впалой грудью и понурой головой. <…> Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. <…> Смеялся он от души, как ребенок...»

Правда, в этом портрете, как и вообще в воспоминаниях Тургенева, есть некоторый оттенок идилличности, «успокоенности». Страстность, горячность натуры Белинского, революционный темперамент как бы затушевываются Тургеневым. Позднее, в ответ на возражения А. Н. Пыпина, Тургенев счел необходимым сказать об «огне», который «никогда не угасал в нем <Белинском>, хотя не всегда мог вырваться наружу». В 1875 году, в письме к Ю. Вревской, Тургенев опять вспомнил об этом «огне»: он сравнивает с Белинским Салтыкова-Щедрина, возмущенного выпадами Соллогуба против революционной молодежи: «Салтыков взбесился, обругал его <Соллогуба>, да чуть с ног не свалился от волнения: я думал, что с ним удар сделается... Он мне напомнил Белинского» [2].

«В этом застенчивом человеке, в этом хилом теле, — писал Герцен, — обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! <…> он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с

---

[1] В. Г. Короленко. Собр. соч. в десяти томах, т. 8. М., 1955, с. 8.

[2] *Тургенев.* Письма, XI, 139.

необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль», Герцен *показывает,* как полемизировал Белинский, как он умел уничтожить противника своей страстной и неумолимой логикой.

Такова была реакция Белинского на любой факт произвола, невежества, обскурантизма. Социальная несправедливость возмущала его: он переживал всякое проявление ее как оскорбление, нанесенное ему лично. Анненков вспоминал: «Почти ни минуты покоя и отдыха не знала его нравственная природа до тех пор, пока болезнь окончательно не сломила его. Самые тихие дружеские беседы чередовались у него с порывами гнева и негодования, которые могли быть вызваны первым анекдотом из насущной жизни или даже рассказом о каком-либо диком обычае иной, очень далекой страны». Редкой художественности изображения достигает Анненков, воссоздавая картину трех дней работы Белинского над знаменитым письмом к Гоголю.

В спорах о французской революции Белинский сразу понял Робеспьера, стал горячим сторонником революционеров-монтаньяров. «Надобно было видеть, — рассказывал И. И. Панаев, — в эти минуты Белинского! Вся его благородная, пламенная натура проявлялась тут во всем блеске, во всей ее красоте, со всею своею бесконечною искренностью, со своей страшной энергией, приводившей иногда в трепет слабеньких поклонников Жиронды».

Незабываема гениально воспроизведенная Достоевским страстная речь Белинского во славу подлинного художника, наделенного драгоценным даром видеть истину.

Через все воспоминания проходит образ Белинского как человека, личное общение с которым оставило неизгладимый след не только в памяти, но и в жизни мемуаристов. Анненков писал в «Замечательном десятилетии», что «люди в его присутствии чувствовали себя лучше и свободнее от мелких помыслов, уходили от него с освеженным чувством и добрым воспоминанием, какого бы рода ни велась с ним беседа. Говоря фигурально, к нему всегда являлись несколько по-праздничному, в лучших нарядах, и моральной неряхой нельзя было перед ним показаться, не возбудив его негодования, горьких и горячих обличений».

Годы близости с Белинским были для многих русских общественных деятелей, мыслителей, художников годами, определившими весь их дальнейший жизненный и творческий путь. «Моя встреча с Белинским была для меня спасением», — говорил, в передаче А. Панаевой, Некрасов.

Белинский глубоко любил своих друзей, и друзья платили ему «горячею защитою его против враждебной ему стороны». Страстная, искренняя и в то же время простодушная, бесхитростная натура Белинского привлекала сердца самых разных людей.

«Как я любил и как жалел я его в эти минуты!» (то есть минуты горячего спора, когда ярче всего проявлялась духовная мощь Белинского и сказывалась его физическая слабость, его болезнь), — писал Герцен («Былое и думы»), «Белинский был особенно любим...» — вспоминал Некрасов («Медвежья охота»). Некрасов, свидетельствовал Достоевский в «Дневнике писателя», «благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь». О своей первой встрече с Белинским в 1845 году сам Достоевский через тридцать лет после этой встречи писал: «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом».

Это преклонение перед нравственной силой и истинно человеческими качествами Белинского, перед его служением искусству как делу огромной общественной и национальной важности сохранилось на всю жизнь у большинства друзей и соратников критика.

Воспоминаний о Белинском написано сравнительно немного (мемуары о Толстом, например, исчисляются сотнями). Однако некоторые из них или по литературным достоинствам, или по богатству содержащихся в них фактов не имеют себе равных в русской мемуарной литературе, как, скажем, воспоминания Герцена или Анненкова. Каждое из этих воспоминаний, при всей субъективно-эмоциональной окраске, дает свою долю истины, и в меру этой истинности мы и ценим его. Сопоставляя воспоминания, изучая их в связи с другими сохранившимися документами, на фоне статей и переписки Белинского, учитывая угол зрения мемуариста, мы различаем в нарисованном авторами образе подлинный облик Белинского.

Так предстает перед нами замечательная личность «неистового Виссариона» — во всем величии гениального критика, общественного деятеля, русского человека сороковых годов прошлого столетия...

К. Тюнькин

В. В. БЕЛИНСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Д. П. ИВАНОВ

НЕСКОЛЬКО МЕЛОЧНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ БИОГРАФИИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Фамилия *Белынского,* смягченная Виссарионом Григорьевичем в *Белинского* [1], происходит от села *Белыни,* в Нижне-Ломовском уезде, Пензенской губернии. Отец Виссариона Григорьевича, Григорий Никифорович, был сын священника этого села. Первоначальное воспитание свое он получил, кажется, в Пензенской семинарии [2], где, вероятно, и дана ему фамилия *Белынского,* по обычаю, издавна существовавшему в семинариях, различать своих воспитанников по городам и селам, в которых они родились. Из семинарии Григорий Никифорович поступил в С.-Петербургскую медико-хирургическую академию на казенное содержание и, по окончании курса, в звании лекаря, был определен на службу в Балтийский флот. Во время пребывания своего в Кронштадте Григорий Никифорович женился на дочери какого-то флотского офицера, Марии Ивановне. Флотский экипаж, в котором служил Григорий Никифорович, стоял в *Свеаборге,* и там в 1810 году, февраля дня, родился у него первый сын, *Виссарион* [3]. Заочным восприемником новорожденного был великий князь Константин Павлович. Не знаю, каких лет Виссарион Григорьевич был привезен в уездный город Пензенской губернии, Чембар, в который отец его, в звании штаб-лекаря, определился городовым и уездным врачом [4]. Когда я начал помнить семейство Белынских, оно состояло уже из пяти человек: у Виссариона были брат Константин и сестра Александра [5]. Внешнее благосостояние семейства было, по-видимому, удовлетворительно: у него был на базарной площади небольшой дом о семи комнатах, довольно обширный двор с хозяйственным строением, амбарами, погребом, каретным сараем, конюшнею и особою кухнею, примыкавшею

к заднему входу в дом и отделенною от него большими сенями. Позади двора тянулся довольно обширный огород, засеивавшийся на лето овощами; на огороде была выстроена особая баня, с двумя предбанниками, настолько поместительная и чистая, что могла служить жильем и временным лазаретом для привозимых из деревень больных. Прислуга Белынских состояла из семьи дворовых крепостных людей, в числе которых был средних лет кучер с женою и две рослые горничные. Для личных услуг при доме употреблялись иногда *оспенники:* так: назывались мальчики, присылавшиеся попеременно от казенных крестьян и помещиков для обучения оспопрививанию. При доме держались лошадь, две коровы и домашняя птица. Годовой доход Григория Никифоровича состоял из ограниченного жалованья, к которому присоединялась особенная сумма, отпускавшаяся на содержание городской больницы и наем для нее частного дома. Практика Григория Никифоровича хотя была и обширная, судя по густо населенному уезду, но пациенты мало платили деньгами за труды, вознаграждая их преимущественно присылкою разной провизии к годовым праздникам. Большею щедростию в этом отношении отличалась г-жа Владыкина (мать автора комедий: «Купец-лабазник», «Образованность» и проч.), родная племянница Григория Никифоровича, бывшая замужем за богатым помещиком. Ограниченность денежных доходов объясняется и личным характером Григория Никифоровича. Природный ум и доступное по времени образование, естественно, ставили его выше малограмотного провинциального общества. Совершенно чуждый его предрассудков, притом склонный к остротам и насмешке, он открыто высказывал всем и каждому в глаза свои мнения и о людях, и о предметах, о которых им и подумать было страшно. В религиозных убеждениях Григорий Никифорович пользовался репутациею Аммоса Федоровича[6], с тою только разницею, что не один городничий, но и все грамотное население города и уезда обвиняло Григория Никифоровича в неверии во Христа, нехождении в церковь, в чтении Вольтера, Эккартсгаузена, Юнга, любимых писателей Григория Никифоровича[7]. Все эти обстоятельства заставляли избегать сообщества с врачом, не доверять ему лечения, особенно психических болезней, происходивших вследствие желчного раздражения против провинившихся супругов, вследствие хан-

жества и ипохондрии. Недоверчивый и подозрительный в высшей степени, Григорий Никифорович смело обличал притворство, неохотно принимался за лечение и даже прямо отказывался от исполнения своих обязанностей там, где болезнь не угрожала видимою опасностию и где могли обойтись домашними средствами и без его попечений. Но такое равнодушие к богатым и знатным пациентам не распространялось на бедных и действительно страждущих: Григорий Никифорович оказывал им не только личные услуги своим опытом и знаниями, но очень часто снабжал безвозмездно лекарствами и деньгами для содержания[8]. Ограниченная, вследствие этих обстоятельств, практика почти совершенно прекратилась с появлением в уезде вольнопрактикующих шарлатанов, бродячих, с походными аптеками, венгерцев и особенно с водворением в городе на постоянные квартиры 9-го егерского полка. Я нарочно распространился с такою смешною наивностью о доходах и личном характере отца Белинского: я хочу указать этим на средства, какими располагал Григорий Никифорович для воспитания своих детей, и нравственное влияние его на Виссариона, который был любимым его сыном. С самой ранней поры даровитого ребенка отец не мог не отличить и остроумия речей, и страсти к чтению, и пытливой любознательности, с которою мальчик прислушивался к рассказам отца о прошедшем, к его суждениям о предметах, вызывающих его размышление, и мало-помалу раскрывалась между ними живая симпатия, сохранившаяся навсегда и благодетельно действовавшая на обоих в резких случаях жизни. Виссарион Григорьевич и лицом более всех детей походил на отца и один только рост наследовал от матери. Она была женщина чрезвычайно добрая, радушная, но вместе с тем крайне восприимчивая, раздражительная. Образование ее ограничивалось посредственным знанием русской грамоты. Вся заботливость ее, как и большей части провинциальных матерей, сосредоточивалась в том, чтобы прилично одеть и особенно досыта накормить детей. Я живо помню ее бесконечные хлопоты о печении сдобных булок, о густом молоке, сливочном масле, копченых гусях. Страсть к жирной, неудобоваримой пище, перешедшая и к детям, усиливала в них золотушные начала и расположила к худосочию, что было отчасти причиною постоянных болезней желудка и преждевременной смерти Висса-

риона Григорьевича. Попечения о материальных нуждах детей, естественно, вызывали мать на частые денежные требования, которых отец, по ограниченности своих доходов, не мог удовлетворять, и это служило всегдашним поводом к размолвке между супругами, которые и без того мало сочувствовали друг другу по разности характеров и воспитания. Мать не умела и не могла вследствие раздражительности облекать свои требования в благовидную форму; отец отвечал ей или холодным молчанием, но чаще всего — веселою шуткою; молния более забавной, чем оскорбительной остроты зажигала грозу, и все бежало тогда в разные стороны. Спасения от этих бурь и вместе средств к их утишению Виссарион искал в нашем доме. Мать моя, родная племянница Григория Никифоровича, бежала всегда в эти скорбные минуты в дом его и своим посредничеством старалась восстановить нарушенное согласие между супругами. Благодушно перенося укоризны той и другой стороны за свое вмешательство, она не переставала бодрствовать над домом Белынских, входила в нужды семейства и ласкою, кроткими увещаниями часто успевала склонить Григория Никифоровича к удовлетворению многих мелких домашних потребностей, которые он считал прежде совершенно лишними и о которых не хотел прежде слышать, возмущенный оскорбительными представлениями жены. Отчуждение от семейных забот происходило у Григория Никифоровича сколько по отсутствию средств к их выполнению, столько же и вследствие раздражения и обиды на несправедливые обвинения и ложную подозрительность жены в предосудительном его поведении, на что он часто жаловался моей матери. Да, у жизни есть своя сынки и пасынки, и Виссарион Григорьевич принадлежал к числу самых нелюбимых своею лихою мачехою. Нерадостно она встретила его в родной семье, и детство его, эта веселая, беззаботная пора, была исполнена тревог и огорчений столько же, сколько и позднейшие возрасты, и надобно было ему иметь много воли, много любви, чтобы выйти победителем из этой страшной борьбы с роковыми случайностями[9].

Учение Виссариона Григорьевича началось вне дома. В Чембаре и до сих пор существует привилегированная учительница русской грамоты — Екатерина Павловна Ципровская, дочь протоколиста дворянской опеки. Целые поколения начали у нее свое азбучное образование,

и до сих пор привозимые в Москву из Чембара кандидаты в учебные заведения сказывают, что у Ципровской выучились чтению и письму. В ветхом домике ее сходятся мальчики и девочки и через полгода или через год, кончив курс чтения гражданской и церковной печати, возвращаются домой или поступают в уездное училище для дальнейшего образования. Все дети семейства Белынских и нашего учились у Ципровской. Выучившись читать и писать у нее, Виссарион Григорьевич продолжал свое учение дома, вероятно под надзором отца, который, помню, научил его чтению и письму по-латыни. Положительное учение началось для Виссариона Григорьевича с открытием в Чембаре уездного училища[10]. Я и брат мой были первыми учениками, приведенными в новооткрытое заведение; через несколько дней поступил в него и Виссарион. Весь педагогический штат училища заключался в лице смотрителя, Авраама Григорьевича Грекова, который был вместе и учителем по всем предметам училищного курса. Не знаю, откуда был прислан этот смотритель и где получил образование, но помню, что он был человек добрый и кроткий, действовавший на детей более лаской и советом, чем угрозами и наказаниями; в крайних случаях он прибегал с жалобами к родителям. Вскоре штат учителей увеличился определением в преподаватели закона божия старшего соборного священника, Василия Чембарского, и в учители русского языка — исключенного из семинарии Василия Рубашевского, сына второго соборного священника. Рубашевский был страстный любитель наказаний, розог, которые он употреблял иногда в виде ласки, наказывая ими сквозь платье, ради личной потехи, совершенно невинного и прилежного мальчика; отодравши его немилосердно, старался потом успокоить поцелуями и щекоткою. Когда родители выговаривали учителю за эти выходки, он извинялся пользою будущих вменений, пленившись, вероятно, системою спартанского воспитания или обычаями своей бурсы. Благородное негодование на этот вандализм Виссариона возбудило энергические жалобы к смотрителю со стороны Григория Никифоровича, который не любил варварских наказаний и, кажется, был в городе единственным из отцов, понимавших, что для воспитания в мальчике человека не должна обращаться с ним, как со скотом. Это обстоятельство, по-видимому самое обыкновенное, вполне характеризует

Виссариона: в этом поступке открывался зародыш тех убеждений в правах человечества, за которое всегда так горячо стоял Белинский. Надобно заметить, что он никогда не был предметом этих диких любезностей бурсака-учителя и вмешался в дело не столько по участию к товарищам, которые были моложе его классом, но потому, что находил подобные поступки возмутительными. Преподавание в училище совершалось в духе патриархальной простоты. Часто учителя оставляли нас на попечение неба, отправляясь сами по квартирам для жертвоприношений Вакху. Бывало, завидим в окно старика казначея, дети которого учились в училище, и лица наши просияют: казначей был задушевный приятель смотрителя и, возвращаясь домой из присутствия, постоянно заходил к нему напомнить об адмиральском часе. Смотритель предупреждал приход своего друга, немедленно оставляя класс для встречи дорогого гостя. Сколько раз, руководимые личными побуждениями, мы уходили целым училищем на реку купаться и опаздывали приходом к уроку законоучителя, который, заметив, что ему доводилось быть гласом, вопиющим в пустыне, отправлялся домой.

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

ЗАМЕТКИ ДЛЯ БИОГРАФИИ БЕЛИНСКОГО

В 1823 году ревизовал я Чембарское училище. Новый дом был только что для него отстроен. (В этом ли доме или во вновь построенном после бывшего пожара, не знаю хорошо, жил несколько времени блаженный памяти император Николай Павлович по случаю болезни своей от падения из экипажа, на пути близ Чембара.) Во время делаемого мною экзамена выступил передо мною между прочими учениками мальчик лет двенадцати, которого наружность с первого взгляда привлекла мое внимание. Лоб его был прекрасно развит, в глазах светлелся разум не по летам; худенький и маленький, он между тем на лицо казался старее, чем показывал его рост. Смотрел он очень серьезно. Таким вообразил бы я себе ученого доктора между позднейшими нашими потомками, когда, по предсказаниям науки, измельчает род человеческий. На все делаемые ему вопросы он отвечал так скоро, легко, с такою уверенностию, будто налетал на них, как ястреб на свою добычу (отчего я тут же прозвал его ястребком), и отвечал большею частию своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже в казенном р у к о в о д с т в е, — доказательство, что он читал и книги, не положенные в классах. Я особенно занялся им, бросался с ним от одного предмета к другому, связывая их непрерывною цепью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчик вышел из трудного испытания с торжеством. Это меня приятно изумило, также и то, что штатный смотритель (Авр. Греков) не конфузился, что его ученик говорит не слово в слово по учебной книжке (как я привык видеть и с чем боролся немало в других училищах). Напротив, лицо доброго и умного

смотрителя сияло радостью, как будто он видел в этом торжестве собственное свое. Я спросил его, кто этот мальчик. «Виссарион Белинский, сын здешнего уездного штаб-лекаря», — сказал он мне. Я поцеловал Белинского в лоб, с душевною теплотой приветствовал его, тут же потребовал из продажной библиотеки какую-то книжонку, на заглавном листе которой подписал: Виссариону Белинскому за прекрасные успехи в учении (или что-то подобное) от такого-то, тогда-то. Мальчик принял от меня книгу без особенного радостного увлечения, как должную себе дань, без низких поклонов, которым учат бедняков с малолетства.

Чембар — маленький уездный городок, не лучше посредственного села. Местоположение его и окрестностей довольно живописно. Как говорил мне смотритель, Белинский гулял часто один, не был сообщителен с товарищами по училищу, не вмешивался в их игры и находил особенное удовольствие за книжками, которые доставал, где только мог. Отец его, уроженец из Польши или западных губерний [1], был очень беден и неизвестен дальше своего околодка *. Сын его, Виссарион, родился в наших степях, в нашей вере и был вполне русским. Общество, которое дитя встречало у отца, были городские чиновники, большею частию члены полиции, с которыми уездный лекарь имел дело по своей должности (от которой ничего не наживал). Общество это видел он нараспашку, часто за ерофеичем и пуншем, слышал речи, обращавшиеся более всего около частных интересов, приправленные цинизмом взяточничества и мелких проделок; видел воочию неправду и черноту, не замаскированные боязнью гласности, не закрашенные лоском образованности; видел и купленное за ведерку крестное целованье понятых и свидетельствование разного рода побоев и пр. и пр... [3] Душа его, в которую пала с малолетства искра божия, не могла не возмущаться при слушании этих речей, при виде разного рода отвратительных сцен. С ранних лет накипела в ней ненависть к обскурантизму, ко всякой неправде, ко всему ложному, в чем бы они ни

---

* Семейство его, сколько я знаю, состояло из трех сыновей и одной дочери. Некоторые члены из этого семейства были еще живы не так давно. Один из братьев его в 1857 году служил корректором во 2-ом отделении е. в. канцелярии [2]; сестра его, Александра Григорьевна, замужем за штатным смотрителем нижнеломовских училищ, Козьминым. (*Прим. И. И. Лажечникова.*)

проявлялись, в обществе или в литературе. Оттого-то его убеждения перешли в его плоть и кровь, слились с его жизнию. Только с жизнью он и покинул их. Прибавьте к безотрадному зрелищу гнилого общества, которое окружало его в малолетстве, домашнее горе, бедность, нужды, вечно его преследовавшие, вечную борьбу с ними, и вы поймете, отчего произведения его иногда переполнялись желчью, отчего в откровенной беседе с ним из наболевшей груди его вырывались грозно-обличительные речи, которые, казалось, душили его. Он действовал на общество и литературу, как врач на больного, у которого прижигает и вырезывает язвы: можно ли сказать, что этот врач не любит человечество?.. Менее страстная и энергическая натура уступила бы обстоятельствам и не совершила бы того, что он совершил в такую короткую жизнь.

По случаю перевода моего в Казань[4] я потерял было Белинского из виду. Знал я только, что он перешел в Пензенскую гимназию в августе 1825 года (из просьбы отца его начальству гимназии о приеме его в это учебное заведение видно, что ему было тогда четырнадцать лет). По сведениям, почерпнутым из гимназических ведомостей, видно, что Белинскому в третьем классе отмечено: из алгебры и геометрии 2, из истории, статистики и географии 4, из латинского языка 2, из естественной истории 4, из русской словесности и славянского языка 4, во французском и немецком языках отмечен, что не учился[5]. В январе 1829 года в ведомостях показано, что за нехождение в класс не рекомендуется, а в феврале вычеркнут из списков и рукою директора означено: «за нехождение в класс». Что ж можно вывесть из всех этих отметок? Что он был нерадив к учению? Мы могли бы указать на примеры некоторых великих писателей, в том числе нашего Пушкина, которые не считались в школе отличными учениками. Но мы найдем объяснение официальной аттестации Белинского в следующем интересном свидетельстве любимого, уважаемого им учителя[6] о любимом своем ученике:

«В гимназии, по возрасту и возмужалости, он во всех классах был старше многих сотоварищей. Наружность его мало изменилась впоследствии: он и тогда был неуклюж, угловат в движениях. Неправильные черты лица его, между хорошенькими личиками других детей, казались суровыми и старыми. На вакации он ездил в

Чембар, но не помню, чтобы отец его приезжал к нему в Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принимал в нем участие. Он, видимо, был без женского призора, носил платье кое-какое, иногда с непочиненными прорехами. Другой на его месте смотрел бы жалким, заброшенным мальчиком, а у него взгляд и поступки были смелые, как бы говорившие, что он не нуждается ни в чьей помощи, ни в чьем покровительстве. Таков он был и после, таким и пошел в могилу.

...Впрочем, зачем перечислять учителей? Некоторые из них были ученые люди, с познаниями, да ум Белинского-то мало выносил познаний из школьного учения. К математике он не чувствовал никакой склонности, иностранные языки, география, грамматика и все, что передавалось по системе заучиванья, не шли ему в голову *, он не был отличным учеником и в одном, котором-то, классе просидел два года [7].

Надобно, однако ж, сказать, что Белинский, несмотря на малые успехи в науках и языках, не считался плохим мальчиком. Многое мимоходом западало в его крепкую память, многое он понимал сам, своим пылким умом; еще больше в нем набиралось сведений из книг, которые он читал вне гимназии. Бывало, поэкзаменуйте его, как *обыкновенно* экзаменуют детей, — он из последних, а поговорите с ним дома, по-дружески, даже о точных науках — он первый ученик. Учители словесности были не совсем довольны его успехами, но сказывали, что он лучше всех товарищей своих писал сочинения на заданные темы.

Во время бытности Белинского в Пензенской гимназии преподавал я естественную историю, которая начиналась уже в третьем классе (тогдашний курс гимназический состоял из четырех классов). Поэтому он учился у меня только в двух высших классах. Но я знал его с первых, потому что он дружен был с соучеником своим, моим родным племянником, и иногда бывал в нашем доме. Он брал у меня книги и журналы, пересказывал мне прочитанное, судил и рядил обо всем, задавал мне вопрос за вопросом. Скоро я полюбил его. По летам и то-

---

* Из того, что он составил русскую грамматику, бывши еще в гимназии, можно заключить, что Белинский ни одним учебником по этому предмету не удовлетворялся: учась, он не подчинялся авторитетам, соображал, делал свои выводы; и там он был уж критик [8]. (*Прим. И. И. Лажечникова.*)

гдашним отношениям нашим он был неравный мне, но не помню, чтоб в Пензе с кем-нибудь другим я так душевно разговаривал, как с ним, о науках и литературе.

Домашние беседы наши продолжались и после того, как Белинский поступил в высшие классы гимназии. Дома мы толковали о словесности; в гимназии он, с другими учениками, слушал у меня естественную историю. Но в Казанском университете я шел по филологическому факультету, и русская словесность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себе, что иногда происходило в классе естественной истории, где перед страстным, еще молодым в то время, учителем сидел такой же страстный к словесности ученик. Разумеется, начинал я с зоологии, ботаники или ориктогнозии [9] и старался держаться этого берега, но с средины, а случалось и с начала лекции, от меня ли, от Белинского ли, бог знает, только естественные науки превращались у нас в теорию или историю литературы. От Бюффона-натуралиста я переходил к Бюффону-писателю, от Гумбольдтовой географии растений к его «Картинам природы», от них к поэзии разных стран, потом... к целому миру в сочинениях Тацита и Шекспира, к поэзии в сочинениях Шиллера и Жуковского... А гербаризации? Бывало, когда отправлюсь с учениками за город, во всю дорогу, пока не дойдем до засеки, что позади городского гулянья, или до рощей, что за рекой Пензой, Белинский пристает ко мне с вопросами о Гете, Вальтере Скотте, Байроне, Пушкине, о романтизме и обо всем, что волновало в то доброе время наши молодые сердца.

Тогда Белинский, по летам своим, еще не мог отрешиться от обаяния первых пушкинских поэм и мелких стихов. Неприветно встретил он сцену: «Келья в Чудовом монастыре» [10]. Он и в то время нескоро подавался на чужое мнение. Когда я объяснял ему высокую прелесть в простоте, поворот к самобытности и возрастание таланта Пушкина, он качал головой, отмалчивался или говорил: «Дайте подумаю, дайте еще прочту». Если же с чем он соглашался, то, бывало, отвечал с страшной уверенностию: «Совершенно справедливо!»

Журналистика наша в двадцатых годах выходила из детства. Полевой передавал по Телеграфу идеи Запада, все, что являлось там нового в области философии, истории, литературы и критики [11]. Надоумко смотрел исподлобья, но глубже Полевого, и знакомил русских с германской философией. Оба они снимали маски с старых и но-

вых наших писателей и приучали судить о них, не покоряясь авторитетам. Белинский читал с жадностию тогдашние журналы и всасывал в себя дух Полевого и Надеждина.

Он уехал в Москву в августе 1829 г.».

Это свидетельство, неофициальное, не требует комментарий. Скажу только, что в школе любимого своего учителя гениальная натура Белинского начала свое настоящее образование; здесь была *ее* гимназия.

В 1829 году жил я в Москве. В этот и следующий год являлись ко мне молодые люди, исчерпавшие глубину премудрости Пензенской гимназии и переходившие в Московский университет, который, преимущественно перед другими университетами, обаятельно привлекал к себе юношей изо всех мест. Они являлись ко мне или по старой памяти, или с рекомендательными письмами доброго М. М. Попова, который заботился об них, как самый близкий родной, и за пределами гимназии. Мое дело было приютить их на первых порах в Москве, казавшейся этим дальним странникам из степей каким-то Вавилоном, похлопотать скорее пристроить бедняков в университет, и, если можно, на казенный кошт, руководить их советами, пригреть их в сиротстве добрым, ласковым словом, помочь им, чем и как позволяли мои скудные средства. Эти обязанности считал я самыми приятными; в числе этих молодых людей был и Белинский.

В 1830 году задумали мы с М. М. Поповым альманах «Пожинки» и вербовали из пензенцев более даровитых молодых людей себе в сотрудники [12]. Издание этого альманаха не удалось. Вот письмо, писанное по этому случаю девятнадцатилетним Белинским своему бывшему наставнику; оно интересно выражениями гордого, благородного характера юноши, никогда не изменявшегося и впоследствии, несмотря ни на какие обстоятельства, и процесса, каким вырабатывалось в его душе истинное его призвание.

«Москва, 1830 года, апреля 30 дня.

Милостивый государь

Михаил Максимович!

В чрезвычайное затруднение привело меня письмо моего родственника: «М. М., пишет он, издает с И. И. Лажечниковым альманах и через меня просил вас прислать ему ваших стихотворений, самых лучших». Не могу вам описать, какое действие произвели на меня эти строки:

мысль, что вы еще меня не забыли, что вы еще так же ко мне благосклонны, как и прежде; ваше желание, которого я, несмотря на пламенное усердие, не могу исполнить, — все это привело меня в необыкновенное состояние радости, горести и замешательства. Бывши во втором классе гимназии, я писал стихи и почитал себя опасным соперником Жуковского;[13] но времена переменились. Вы знаете, что в жизни юноши всякий час важен: чему он верил вчера, над тем смеется завтра. Я увидел, что не рожден быть стихотворцем, и, не хотя идти наперекор природе, давно уже оставил писать стихи. В сердце моем часто происходят движения необыкновенные, душа часто бывает полна чувствами и впечатлениями сильными, в уме рождаются мысли высокие, благородные — хочу их выразить стихами — и не могу! Тщетно трудясь, с досадою бросаю перо. Имею пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имею душу пылкую и, при всем том, не имею таланта выражать свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Рифма мне не дается и, не покоряясь, смеется над моими усилиями; выражения не уламываются в стопы, и я нашелся принужденным приняться за смиренную прозу. Есть довольно много начатого — и ничего оконченного и обработанного, даже такого, что бы могло поместиться не только в альманахе, где сбирается все отличное, но даже и в «Дамском журнале»! В первый еще раз я с горестию проклинаю свою неспособность писать стихами и леность писать прозою.

Мне давно нужно было писать к вам, но я не могу сам понять, что меня от сего удерживало, и в сем случае столько перед вами виноват, что не смею и оправдываться.

Вы писали обо мне И. И. Лажечникову, я это как бы предчувствовал в то время, как вы вручали мне письмо. Благородный человек, скажите: чем я могу вам заслужить за это? Столько ласк, столько внимания и, наконец, такое одолжение! Ищу слов для моей признательности и не нахожу ни одного, которое бы могло выразить оную. Вы доставили мне случай видеть человека, которого я всегда любил, уважал, видеть и говорить с ним. Он принял меня очень ласково и, исполняя ваше желание, просил обо мне некоторых из гг. профессоров, но просьбы его и намерение оказать мне одолжение не имели успеха: ибо я, по стечению некоторых неблагоприятных для меня обстоятельств, не мог ими пользоваться.

Я не из числа тех низких людей, которые тогда только

чувствуют благодарность за прилагаемые об них старания, когда оные бывают не тщетны. Хотя моим поступлением в университет я никому не обязан, однако навсегда останусь благодарным вам и И. И. Если ваше желание споспешествовать устроению моего счастия не имело успеха, то этому причиною не вы, а посторонние обстоятельства. Так, милостивый государь, если моя к вам признательность, мое беспредельное уважение, искреннее чувство любви имеют в глазах ваших хотя некоторую цену, то позвольте уверить вас, что я оные буду вечно хранить в душе моей, буду ими гордиться. Уметь ценить и уважать такого человека, как вы, — есть достоинство, заслужить от вас внимание — есть счастие.

Но, может быть, я утомил вас изъяснением моей благодарности. Извините меня: строки сии не суть следствие лести, нет: это излияние души тронутой, сердца, исполненного благодарности; чувства мои неподдельные: они чисты и благородны, как мысль о том, кому посвящаются. *Для меня нет ничего тягостнее, ужаснее, как быть обязанным кому-либо:* вы делаете из сего исключение, и для меня ничего нет приятнее, как изъявлять вам мою благодарность.

Извините меня, если я продолжительным письмом моим отвлек вас от ваших занятий и похитил у них несколько минут. Итак, вторично прося у вас извинения за то, что я не засвидетельствовал прежде вам моей благодарности, остаюсь с чувством глубочайшего уважения и готовностию к услугам вашим, ученик ваш

Виссарион Белинский».

Пока я жил в Москве, он нередко посещал меня; мы сблизились, несмотря на расстояние лет; не было заботы и надежды, не было юношеского увлечения, которых он не поверял бы мне; случалось мне и отечески пожурить его. По моему совету, он обещал мне заняться французским и немецким языками, тогда ему мало доступными.

«Чрез полтора года, — пишет ко мне М. М. Попов, — как после отъезда Белинского из Пензы я отправился в Петербург, на пути, в Москве, я пробыл дня три: это было во время масленицы 1831 года[14]. Каждое утро приходили ко мне племянник мой и Белинский. Потом, возвращаясь от вас или из театра, я опять встречал их в моей квартире. Прежние разговоры у пас возобновились. Тут я увидел большую перемену в Белинском. Ум его возмужал; в

замечаниях его проявлялось много истины. Там прочли мы только что вышедшего тогда «Бориса Годунова». Сцена «Келья в Чудовом монастыре» на своем месте, при чтении всей драмы, показалась мне еще лучше. Белинский с удивлением замечал в этой драме верность изображений времени, жизни и людей; чувствовал поэзию в пятистопных безрифменных стихах, которые прежде называл прозаичными, чувствовал поэзию и в самой прозе Пушкина. Особенно поразила его сцена «Корчма на литовской границе». Прочитав разговор хозяйки корчмы с собравшимися у нее бродягами, улики против Григория и бегство его через окно, Белинский выронил книгу из рук, чуть не сломал стула, на котором сидел, и восторженно закричал: «Да, это живые; я видел, я вижу, как он бросился в окно!..» В нем уже проявился тот критический взгляд, который впоследствии руководил им при оценке сочинений Гоголя.

После того между мною и Белинским не было сношений до переезда его в Петербург. В этот промежуток он выступил в московских журналах на литературное поприще. Из первой же критической статьи его (1834) «Литературные мечтания» [15] видно было, что он угадал талант свой. Тогда вспомнил я, что и в годы ученья он обнаруживал больше всего способность к критике; что душою его мыслей, разговоров его всегда были суждения о писателях. Еще в гимназии он пробовал писать стихи, повести прозой — шло туго, не клеилось; написал грамматику — не годилось. Принялся за критику и — пошло писать... После того ни грамматика, ни служба, ни общественные развлечения, ни жажда денег, ни слава быть стихотворцем или беллетристом — ничто уж не совлекало его с избранного пути... Он родился, жил и умер критиком» [16].

М. М. Попов в этом письме прибавляет:

«Белинского я так долго и коротко знал, что могу рассказать весь тайный процесс его умственного развития.

Прежде говорил я, что в гимназии учился он не столько в классах, сколько из книг и разговоров. Так было и в университете. Все познания его сложились из русских журналов, не старее двадцатых годов, и из русских же книг. Недостающее же в том пополнилось тем, что он слышал в беседах с друзьями. Верно, что в Москве умный Станкевич имел сильное влияние на своих товарищей. Думаю, что для Белинского он был полезнее университета. Сделавшись литератором, Белинский постоянно находился между небольшим кружком людей если не глубоко уче-

ных, то таких, в кругу которых обращались все современные, живые и любопытные сведения. Эти люди, большею частию молодые, кипели жаждой познаний, добра и чести. Почти все они, зная иностранные языки, читали столько же иностранные, сколько и русские книги и журналы. Каждый из них не был профессор, но все вместе по части философии, истории и литературы постояли бы против целой Сорбонны. В этой-то школе Белинский оказал огромные успехи. Друзья и не замечали, что были его учителями, а он, вводя их в споры, горячась с ними, заставлял их выкладывать перед ним все свои познания, глубоко вбирал в себя слова их, на лету схватывал замечательные мысли, развивал их далее и объемистей, чем те, которые их высказывали. Таким образом, не погружаясь в бездну русских старых книг, не читая ничего на иностранных языках, он знал все замечательное в русской и иностранных литературах. В этой-то школе вырос талант его и возмужало его русское слово»[17].

В 1832 году, бывши уже на втором университетском курсе, он написал драму, в которой живо затронул крепостной вопрос. Я предсказал ему судьбу его; действительность оправдала мое предсказание[18]. Это его очень огорчило. С того времени стал он нерадиво посещать лекции и вскоре перестал ходить на них. Жизнь его помутилась... Но дремота его духовных сил была недолговременна; ни люди, ни обстоятельства не могли их подавить в этой юной, но уже непреклонной натуре. Дары от бога, не от людей, не пропадают. В 1834 году появилась в нескольких нумерах «Молвы» блистательная статья его над названием: «Литературные мечтания, элегия в прозе». Мало кому из молодых писателей случалось начинать свое поприще так смело, сильно и самостоятельно. Белинский выступил в ней во всеоружии даровитого новатора. Изумление читателей было общее. Кто был от нее в восторге, кто вознегодовал, что дерзкою рукою юноши, недоучившегося студента (как узнали вскоре), семинариста (как называли его иные) — одним словом, человека без роду-племени — кумиры их сбиты с пьедестала, на котором они, казалось, стояли так твердо[19]. Поклонники этих кумиров, провожая их по течению Леты, как ни кричали им: «Батюшки, выдыбай!», сколько ни делали усилий пригнать их к вожделенному берегу, немногие из них спаслись от потопления. С этой поры Белинский угадал свое призвание и не ошибся в нем. Критик, какого мы до него не имели, он до сих пор ждет себе

преемника. Что бы ни говорили об его ошибках (не мое дело здесь защищать его: я не пишу критического разбора), за ним навсегда останется слава, что он сокрушил риторику, все натянутое в изысканное, всякую ложь, всякую мишуру и на место их стал проповедовать правду в искусстве (разумея тут и правду художественную). Рядом с его теорией шли Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Даль, артисты Мочалов и Щепкин; за нею следовала целая плеяда высокодаровитых писателей, и во главе их Тургенев, высокий поэт и в самых мелких из своих произведений. И теперь вновь выдвинувшиеся из литературных рядов деятели вышли из его школы. Артисты Мартынов и Садовский принадлежат к ней. Лучшие критики нашего времени живут ее началами. Те из них, которые фантазируют свои новые туманные теории, ими самими не понятые, тем более другими, еле-еле дышат.

Никто, как Белинский, не сокрушал так сильно ложных знаменитостей; никто, как он, так зорко не угадывал в первых опытах молодых писателей будущего замечательного таланта, ее упрочивал так твердо славы за теми, кому она, по его убеждениям, следовала. Убеждения были в нем так сильны, он так строго, так свято берег их от старых литературных уставщиков, что был сурово неумолим для всего, в чем видел даже малейшее уклонение от правды в искусстве, неумолим для всех дальних и близких, в которых замечал это уклонение, принадлежали ли они к временам Августа, Людовика XIV, Екатерины II или к его времени. Став на страже у алтаря правды, он готов был поднять камень и против друга, который осмелился бы обратиться спиной к его богине.

Писал ли он об учебной книге, о воспитании, о художественном произведении, об игре актера в «Гамлете», каждая статья, хотя и писанная на срок, для журнала, заключала в себе целую теорию искусства, воспитания, общественной и личной нравственности. Откладывать написанное для просмотра, очищать, обтачивать было некогда и не по нем; тут все правила Буало (которого он и терпеть не мог) — за окошко. Пуризм был для него своего рода риторика. Между тем язык его прост, ясен, энергичен, вычеканивает мысль верно, четко, в обрез, как мастер выбивает из слитка благородного металла, только что вынутого из горнила, крупные монеты с новым художественным штемпелем, которые ложатся одна за другою, как жар, горящими рядами.

«П е р е ч т и т е, — говорит М. М. П о п о в, — статьи Белинского, написанные превосходным русским языком: сколько в них мыслей, высокого ума, сколько одушевления!.. Это не сухие разборы, не повторения избитого, не журнальный балласт, но сочинения, дышащие жизнью, самобытные и увлекательные! Он был столько же замечательный литератор, сколько замечательный критик. По таланту критика у нас до сих пор никто не превосходил Белинского; как литератор — он один из лучших писателей сороковых годов».

Приехав однажды в первых тридцатых годах из Твери в Москву, я хотел посетить Белинского и узнать его домашнее житье-бытье. Он квартировал в *бельэтаже* (слово это было подчеркнуто в его адресе), в каком-то переулке между Трубой и Петровкой. Красив же был его *бельэтаж!* Внизу жили и работали кузнецы. Пробраться к нему надо было по грязной лестнице, рядом с его каморкой была прачечная, из которой беспрестанно неслись к нему испарения мокрого белья и вонючего мыла. Каково было дышать этим воздухом, особенно ему, с слабой грудью! Каково было слышать за дверьми упоительную беседу прачек и под собой — стукотню от молотов русских циклопов, если не подземных, то подпольных! Не говорю о беднейшей обстановке его комнаты, не запертой (хотя я не застал хозяина дома), потому что в ней нечего было украсть. Прислуги никакой; он ел, вероятно, то, что ели его соседки. Сердце мое облилось кровью... я спешил бежать от смраду испарений, обхвативших меня и пропитавших в несколько минут мое платье; скорей, скорей на чистый воздух, чтобы хоть несколько облегчить грудь от всего, что я видел, что я прочувствовал в этом убогом жилище литератора, заявившего России уже свое имя! [20]

Между разными средствами, которые мы отыскивали с Белинским, чтобы вывести его из этого ужасного положения, придуман был один и одобрен нами: идти ему в домашние секретари к одному богатому аристократу, страшному охотнику писать и печататься. Он известен в литературе под именем, помнится, П р у т к о в а. Обязанности секретаря состояли так же, как и соседок-прачек, в том, чтобы чистить, штопать и выглаживать черное литературное белье его превосходительства. Зато стол, квартира, прислуга в богатом доме и небольшое жалованье — чего же лучше! Дело было легко уладить. Прутиков не раз обращался ко мне с просьбой, по дружбе, взглянуть на его творения и, если мне не в тягость, поправить кое-где грамма-

тические и другие погрешности. Но когда догадался, что это занятие не по мне, стал уже просить меня приискать ему в помощники *надежного* студента. Под этот случай попался Белинский.

Вскоре он водворен в аристократическом доме, пользуется не только чистым, даже ароматическим воздухом, имеет прислугу, которая летает по его мановению, имеет хороший стол, отличные вина, слушает музыку разных европейских знаменитостей (одна дочь его превосходительства — музыкантша), располагает огромной библиотекой, будто собственной, — одним словом, катается как сыр в масле. Но вскоре заходят тучи над этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчас жертвовать своими убеждениями, собственною рукой писать им приговоры, действовать против совести. И вот в одно прекрасное утро Белинский исчезает из дома, начиненного всеми житейскими благами, исчезает с своим добром, завязанным в носовой платок, и с сокровищем, которое он носит в груди своей. Его превосходительству оставлена записка с извинением нижеподписавшегося покорного слуги, что он не сроден к должности домашнего секретаря. Шаги его направлены к такой же убогой квартирке, в какой он жил прежде. Голова его высоко поднята, глаза его смело смотрят в небо; ни разу они, так же как и сердце, не обратились назад, к великолепным палатам, им оставленным. Он чувствует, что исполнил *долг* свой [21].

В одном из уездов Тверской губернии есть уголок (Пушкин некоторое время жил близ этих мест, у помещика Вульфа), на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими, какие могла только собрать в стране семимесячных снегов [22]. Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях. Да и семейство, жившее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами. Зато как было тепло в нем сердцу, как ум и талант в нем разыгрывались, как было в нем привольно всему доброму и благородному! Художник, музыкант, писатель, учитель, студент или просто добрый и честный человек — были в нем обласканы равно, несмотря на состояние и рождение. Казалось мне, бедности-то и отдавали в нем первое место. Посетители его, всегда многочисленные, считали себя в нем не гостями, а принадлежащими к семейству. Душою дома был глава его, патриарх округа. Как

хорош был этот величавый, с лишком семидесятилетний старец, с не покидающею его улыбкой, с белыми, падающими на плеча волосами, с голубыми глазами, ничего не видящими, как у Гомера, но с душою, глубоко зрящею, среди молодых людей, в кругу которых он особенно любил находиться и которых не тревожил своим присутствием. Ни одна свободная речь не останавливалась от его прихода. В нем забывали лета, свыкнувшись только с его добротой и умом.

Он учился в одном из знаменитых в свое время итальянских университетов, служил недолго, не гонялся за почестями, доступными ему по рождению и связям его, дослужился до неважного чина и с молодых лет поселился в своей деревне под сень посаженных его собственною рукою кедров. Только два раза вырывали его из сельского убежища обязанности по званию губернского предводителя дворянства и почетного попечителя гимназии. Он любил все прекрасное, природу, особенно цветы, литературу, музыку и лепет младенца в колыбели, и пожатие нежной руки женщины, и красноречивую тишину могилы. Что любил он, то любила его жена, умная и приятная женщина, любили дети, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнее.

Откуда, с каких концов России не стекались к нему посетители! Сюда, вместе с Станкевичем, Боткиным и многими другими даровитыми молодыми людьми (имена их смешались в моей памяти), не мог не попасть и Белинский. В один из последних тридцатых годов общество молодых людей (в том числе и Белинский), гостивших у моего соседа, в уголку, мною описанном, посетило и меня на берегах Волги[23]. Говорю об этом случае, потому что он, по многим причинам, оставил навсегда в душе моей приятное воспоминание. Это было то время, когда учение Гегеля сильно у нас разгоралось, когда адепты его ходили в каком-то восторженном от него упоении, до того, что вербовали в его школу и стариков, и юношей, и девиц. Один из них даже писал к молодой прекрасной особе, к которой был очень неравнодушен, послания по эстетике Гегеля[24]. Он сам гораздо позже над этим смеялся. Сомневаться в каком-нибудь начале учителя было преступлением, тупоумием; на профана смотрели с каким-то сожалением, если не с пренебрежением. Это юношеское увлечение было, однако ж, не бесполезно; оно много содействовало развитию умственной деятельности молодого поколения. Мог ли Белин-

ский, попав в это общество, оставаться чуждым его разумному движению? Но, как он не тверд был в немецком языке, то взялись посвящать его в начала Гегеля молодые гегелисты, в том числе Станкевич, изучившие глубже других знаменитого немецкого философа. За что брался с охотой Белинский, за то принимался он с жаром, и всегда с успехом. Так и в настоящем случае. Статьи его сороковых годов, проникнутые философией Гегеля, это свидетельствуют [25].

«По переезде в Петербург, — говорит М. М. Попов, — Белинский тотчас отыскал меня. Тогдашние петербургские журналисты сами страшно ругались, но проповедовали о приличиях и умеренности. Задетые, едва ли не все, молодым бойцом, они находили особенное удовольствие называть его недоучившимся студентом. Приятель наш, А. Ф. Воейков, в знаменитой своей сатире, угощая тем и другим барона Брамбеуса, сказал, что этот писатель

И Белинского нахальство
Совместил себе в позор! [25]

В первые пять или шесть лет жизни Белинского в Петербурге он посещал меня довольно часто. Споры у нас случались беспрестанные. Он сам любил поспорить. К знакомым ходил он, собственно, для того, чтоб отвесть душу в разговорах о литературе. Когда с ним никто не спорил, ему было скучно. Только во время споров он был в своей тарелке, настоящим Белинским, вторым томом своих сочинений. При возражениях, или даже слушая разговоры, не к нему обращенные, но несогласные с его убеждениями, он скоро приходил в состояние кипятка. Сначала говорил своим решительным, как бы рассерженным тоном; чем дальше, тем более горячился, почти выходил из себя, будто дело шло о жизни или смерти! Лицо его подергивалось судорогами... И всегда подверженный одышке, он тут начинал каждый период всхлипыванием; в жарких же спорах случалось, что одышка или кашель совсем прерывали его разговоры. Собираясь после того с силами, он то вставал и ходил по комнате, то останавливался, скрестив руки на груди и устремив глаза в того, с кем говорил; потом опять разражался громовой речью. Он не был ни шутлив, ни остер в смысле веселости, но был жестоко-колок и грубоправдив. Надобно признаться, что в эти минуты он был хорош. Это был факир, или, нет, лучше того, это был жрец своего искусства! Обаятельное влияние его на других было

тем сильнее, что в нем не проглядывало ничего искусственного: все было одна натура, душа открытая, сердце, чуждое всякого лукавства.

Споры литературные, в которых вольному воля, никогда не оканчивались у нас размолвками. Иногда мы расставались — я нахмуренный, он вполне взволнованный; но через месяц, через два опять он звонил у моих дверей, и я опять встречал его как гостя, по котором соскучился.

Белинский умер в бедности. Во все время литературного поприща он был поденщиком у журналистов. Нужда не дает соков, а высасывает их, и человек горящий — недолго прогорит. В Белинском развилась злейшая чахотка...»

М. В. Орлова, по выходе своем из Александровского московского института одною из лучших его учениц, украшенная дарами природы и образования, страстно любившая литературу, жила несколько времени у меня в доме в Твери в 1832 году, занимаясь воспитанием моих племянниц. Она носит имя Белинского и может гордиться им.

Вот все, что я мог с помощью моего почтенного друга собрать для биографии Белинского. Не мое дело критически разбирать произведения его как литератора, критика и публициста; другие сделают это лучше меня и, вероятно, тем скорее, что не замедлится выход полного издания его сочинений[27]. Если я в этой статье и говорил об его литературных заслугах, то делал это мимоходом, невольно платя им дань от сердца, *всегда* любившего Белинского, — говорил только то, что служит ореолом его памяти; а другого я не находил что сказать.

Красное сельцо.
Март 1859 года.

Н. Е. ИВАНИСОВ

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛИНСКОМ

Известный Белинский был родом из Пензенской губернии. Недавно в «Московских ведомостях» было сказано [1], что отец его был лекарем в Чембаре, а дед священником в селе Белыни. Если род его действительно происходит из Белыни, то и фамилию его надо произносить — Белыньский, или Белынский, а не Белинский. Да его и называли все в Пензе, где я с ним познакомился, Белынским. Но неизвестно почему по приезде в Москву Белинский с большою горячностью и настойчивостью стал требовать, чтоб его называли Белинский, а не Белынский — и настоял на своем!..

В Пензе Белинский жил в большой бедности; зимой ходил в нагольном тулупе; на квартире жил в самой дурной части города, вместе с семинаристами; мебель им заменяли квасные бочонки. Но бедность и лишения не всегда убивают дарования... В то время Белинский был необразован и не имел понятия о лучших писателях России, — вероятно, также и о произведениях европейской литературы вообще [2]. Он спорил с семинаристами о достоинстве произведений Сумарокова и Хераскова и восхищался романами Радклиф. Из дома моего отца Белинский впервые получил для чтения романы Вальтера Скотта на русском языке и произведения лучших наших писателей. Он страстно любил театральные зрелища и часто посещал пензенский театр, который содержал тогда помещик Гладков. Актеры и актрисы были его крепостные люди, большею частью пьяницы. Помню, что лучшие из этих действующих лиц были известны под именами *Гришки, Данилки* и *Мишки*. Гришка *Сулейманов* был трагический актер и часто отличался в роли *Димитрия Самозванца,* возглашая:

Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна!
О, если бы со мной погибла вся вселенна! [3]

Понятно, как должна была восхищать Белинского после такой игры крепостных игра Мочалова в Москве... Как Белинский был прост в это время, показывает следующее обстоятельство. Когда он пришел в наш дом, то братья мои принесли ему несколько романов Радклиф. Один из этих романов был с картинкой, которая представляла подземелье с кучей костей. Кто-то из нас спросил у другого о романе с картинкой — каков он, хорош ли? Белинский, не дождавшись ответа, вскричал: «Разумеется — хорош: видишь — кости!»

Белинский был задорный спорщик: в Москве, к кому б я ни пришел из общих наших знакомых, непременно заставал Белинского за жарким спором... Белинский был принят в Московский университет студентом на казенное содержание, по словесному отделению. Но он не ужился в университете, потому что посещал лекции только тех профессоров, которые ему нравились. Белинскому не дано было кончить курс наук; он был уволен из университета. Известно, что он потом был сотрудником редакторов разных журналов. Как видно, он получал мало за свои труды, а трудился слишком много для своего здоровья.

Звенигород.
12 июня 1861.

Д. П. ИВАНОВ

СООБЩЕНИЯ ПРИ ЧТЕНИИ БИОГРАФИИ В. Г. БЕЛИНСКОГО <А. Н. ПЫПИНА>

Пребывание Белинского в гимназии

Почти все сказанное в биографии Белинского о пребывании его в Пензенской гимназии в общих чертах верно, и я опасаюсь, что мои сообщения не прибавят к тому ничего существенного. Как бы то ни было, но некоторые мелочные подробности, которые я желаю передать здесь, не будут лишены относительной цены: они послужат, может быть, к разъяснению обстоятельств, заключающих в себе загадочный характер, и отчасти к разрешению небольших противоречий, встречаемых в свидетельских показаниях самих очевидцев, произносивших свои резкие приговоры о жизни Белинского в Пензе единственно на основании случайных явлений и своих минутных личных впечатлений.

Не берусь судить о том, насколько безукоризненно правдивы и точны рассказы Лажечникова о том состоянии Пензенской гимназии, в каком он застал ее при вступлении своем в директоры [1], и тех улучшениях, которые удалось ему сделать в ней; но думаю, что болезни, вредившие Пензенской гимназии, принадлежали не исключительно ей одной: они были повсеместны, и от них в равной степени страдали все однородные с нею учебные заведения. Главнейшею причиною неустойчивости тогдашних наших гимназий был недостаток в способных и, особенно, опытных преподавателях. Да откуда и взять было их, когда в самих университетах порядочные профессора были редкость? И чем могла привлекать к себе гимназия? Материальная обстановка учительской жизни была крайне незавидна: содержание учителя обеспечивалось скудным жалованием и правом пользоваться казенною квартирою; казенных женских учебных заведений в Пензе не было; из пансионов открыт один, но и тот скончался почти при самом рожде-

нии; частные уроки по зажиточным домам были большою редкостью и оплачивались ничтожною ценою. Одним только могла манить к себе гимназия: скорейшею возможностью получить чин асессорский, по выражению Нахимова: «толико вожделенный» [2], дававший тогда право на приобретение потомственного дворянства. Ради этого блага поступали в гимназию иногда и даровитые, дельные люди, но с получением его немедленно выходили из заведения; самые казеннокоштные студенты, присылаемые Казанским университетом, оставались в гимназии не долее срока обязательной своей службы. Само собою разумеется, что в силу недалекого нравственного своего развития они не считали учительство своим призванием, а только средством для достижения своих эгоистических целей, а потому не воспитывали в себе добросовестных педагогов, а вели дело преподавания спустя рукава, по усвоенной издетства рутине: задавались уроки по книге от сих до сих мест, без всяких пояснений и дополнений, способствующих легкому усвоению заданного; выслушивались уроки с строгим напоминанием пропусков не в содержании какой-либо мысли, а простого, незначительного слова. За незнание урока или ошибку в нем, за шалость или невнимание к передаваемому товарищем уроку суровый педагог не только ставил дурные отметки в так называвшихся аттестатах, или учительских тетрадках, уносимых на дом для ведома родителей, но и грубою бранью, постановкою на колени, но нередко и потасовкою за волосы, за уши, полновесными ударами линейкой по ладоням и спине, отнятием шапки для оставления без обеда и, наконец, даже розгами.

Право таких наказаний принадлежало бесконтрольно всякому учителю, в лице которого сосредоточивалась, при отсутствии надзирателей, не полагавшихся при гимназии, и обязанность воспитателя. Отсюда, естественно, происходил тот страх, который чувствовал гимназист, завидев на улице неизбежную встречу с учителем.

Под влиянием таких грозных впечатлений, вынесенных из гимназии и сохранившихся в памяти, с невольным недоверием относишься к рассказу Лажечникова о погребении кота мышами, не уцелевшему, впрочем, в преданиях гимназии. Нисколько не сомневаясь в возможности подобного явления и будучи далек от мысли подозревать известного нашего романиста в изобретении и преувеличениях, я недоумеваю только о том, как мог я забыть о тех последствиях, которыми сопровождалось посещение Чембарского

училища. Лажечниковым, о книге, подаренной им Виссариону и, по всей вероятности, виденной мною. Особенно странным кажется сообщение, лично переданное директору смотрителем училища Грековым, о польском происхождении отца Белинского (тогда еще Белынского). В таком маленьком городке, каков Чембар, все жители наперечет, и в среде местной бюрократии всякий знает своего собрата, как говорится, вдоль и поперек, всю его родословную, всю подноготную об нем: не мог же смотритель не знать о роде-племени Белынского Григория Никифоровича если не от него самого, то от его кровных родных, издавна живших в том же городе. Смотритель Греков, уездный казначей Великопольский и штаб-лекарь Белынский составляли триумвират закадычных друзей, сходившихся почти ежедневно и любивших покалякать и о старине, и о современном им быте, как собственном, так и личностей, живших в городе и его уезде; трудно предположить, чтобы среди этих частых бесед не встретилось ни одно обстоятельство, которое могло бы, хотя косвенно, намекнуть о происхождении Григория Никифоровича. Считаю при этом не лишним сообщить об отце его то, что пишет мне из Красноярска сестра, Катерина Петровна, от 10 декабря 1874 года. Вот слова ее: «Дедушка Виссариона Григорьевича был священник, благочестивой, святой жизни, его считали за праведника, да и действительно он таким и был тогда, как я его знала и помню: он жил в келье и постоянно молился: это был аскет. Я помню его очень хорошо. Раз он приехал в Чембар на похороны своей дочери, а нашей бабушки, Марии Никифоровны, остановился у нас, и как рады были наши родители принять такого праведника».

Этот приезд отца Никифора мог быть совершенно неизвестен Грекову, как обстоятельство, совершившееся, по всей вероятности, раньше открытия в Чембаре уездного училища и водворения в нем смотрителя, но такая резкая особенность жизни отца не могла не быть когда-либо предметом разговора для его сына в беседе с друзьями. Как бы то ни было, но, ссылаясь на смотрителя в своем рассказе о польском происхождении отца Белинского, Лажечников не дает ли здесь слишком широкий простор вымыслу, которым не всегда осторожно пользовался в своих романах В ущерб исторической истине? Таким характером отличается и сказание Лажечникова о домашней жизни Белинского, помещенное на 211-й странице его биографии[3]. Здесь вся речь почтенного романиста от слова до слова есть не что

иное, как общие места: никогда никаких попоек ни с какими чинами полиции в доме Григория Никифоровича не бывало; он всегда держался вдали от этого общества, над которым возвышался умом, образованием, нравственными убеждениями. Эти чины полиции состояли из исправника и заседателей, выбиравшихся из дворян Чембарского уезда. Не все из них были воры, мошенники и пьяницы; штаблекарь входил в соприкосновение с ними по делам, требовавшим медицинского исследования, но не участвовал в их проделках, если бы они были. По рассказу Лажечникова читатель может заподозрить отца Белинского в солидарности с ними, чего быть не могло. Крестное целование понятых, покупаемое за ведро вина, есть не более как ходульное преувеличение. Вернее сказать, на Виссариона сильно действовали рассказы отца и городские слухи о разных проделках чинов полиции. Его сильно возмущала тирания помещиков с крепостными людьми. Этим отличалась в семье соседей наших, князей Кугушевых, сама княгиня: от общения с дочерьми ее Виссарион предостерегает сестру Катерину Петровну в письмах своих к ней и радуется новому дружеству ее с Мосоловой и Скопиной[4]. Крайней бедности Белинский в малолетстве своем тоже не терпел. Бедность и нужда начали преследовать его с выхода из университета. Таким образом, и указание Лажечникова на безлюдье в составе гимназических учителей, как на одну из главнейших причин неудовлетворительного учения, нельзя не назвать слишком решительным: между преподавателями, которых застал новый директор и которых оставил после себя, были лица, достойные уважения и признательной памяти. Таким был, во-первых, преподаватель математики Яков Прохорович Ляпунов, человек, превосходно знавший свой предмет и толково передававший его своим ученикам. Строгий и взыскательный к ответам их, он не скучал повторением своих объяснений и, вызывая ученика к доске при спрашивании урока, не отпускал он его до тех пор, пока не уверялся в том, что решаемая им задача вполне понята и преподанное им усвоено. Под руководством Ляпунова можно было бы легко изучить предмет в пределах гимназического курса; но, к глубокому сожалению, почтенный преподаватель был уже стар и притом калека, разбитый параличом, потерявший от своей жестокой болезни употребление левой руки и ноги. При таком недужном, плачевном состоянии он нередко манкировал уроками, приезжал в гимназию на особенных дрогах,

приспособленных к его положению, входил в класс и оставался в нем под бдительным надзором сопровождавшего его крепостного человека, не оставлявшего его ни на минуту; с помощью его подходил к доске, и, поддерживаемый своим вожатым, он не мог продолжительно оставаться у доски и чаще всего диктовал свои объяснения вызванному к ней надежному ученику. И при такой неблагоприятной, по-видимому, обстановке преподавание математики шло удовлетворительно благодаря осязательноясному изложению предмета Ляпуновым; но почтенный старичок, по своему болезненному состоянию или по другим каким причинам, оставил гимназию и переселился в Саратовскую губернию. После его выхода заведение несколько месяцев оставалось без преподавателя, именно до поступления в него директором Григория Абрамовича Протопопова[5]. Этот новый начальник гимназии, уже пожилой человек, был некогда преподавателем математики в каком-то заведении и потому, до приезда из Казани учителя для занятий вакантной должности, принял на себя его обязанность и, как опытный наставник, вооруженный притом всеми правами высшей власти, повел дело превосходно: под его руководством гимназисты не только возобновили все усвоенное у Ляпунова, но и быстро пошли вперед. Главнейшая причина всеобщего успеха учеников Протопопова не только в мастерской вразумительности, толковости его объяснений, но и в том, что строгий заботливый директор никогда не скучал неоднократным повторением их, когда кто-либо из слушателей его заявлял о своих недоразумениях. Как враг всякого бесплодного заучивания на память, зубрения, почтенный директор до того дорожил делом понимания, что всякое даже частное объяснение заканчивал вопросом ученикам: «Понимаете или нет», — произносимым обыкновенно скороговоркою, так что в голосе вопрошающего слышалось: *поймаете аль нет,* и ученики, самодовольно улыбаясь, шептали между собою в шутку: *поймали, поймали!*

Совершенную противоположность с этим почтенным наставником представлял собою присланный из Казани преподаватель математики Меркушев. Насколько первый был стоически терпелив и заботлив в усвоении ученикам преподаваемого предмета, настолько второй был раздражителен, вспыльчив, безучастен к успехам их. Воображая в себе профессора университета, в классной комнате — аудиторию, а в сидящих в ней мальчуганах — взрослых студентов, молодой, красивый, всегда изящно одетый педагог по-

стоянно считал своею обязанностию прочесть лекцию, доказать какую-нибудь теорему сколько возможно скорее и затем успокоиться, нисколько не помышляя о том, усвоено ли переданное им внимательными слушателями, и, когда не только кто-либо один из них, но даже и все поголовно отзывались непониманием и просили повторить объяснения, вспыльчивый наставник, принимая за личное себе оскорбление, нередко неистово кричал: «Черт вас возьми, как хотите, так и понимайте: я повторять вам объяснений не стану!» — и, бешено разбивая вдребезги мел о доску, раздраженный, выходил из класса. На следующий урок начиналось спрашивание заданного, и после неудовлетворительных ответов, за которыми следовали дурные отметки в списке, преподаватель невольно должен был повторять свою прошедшую лекцию. Конечно, подобного рода сцены происходили в первый год: впоследствии нетерпеливый учитель математики, вероятно под влиянием внушений строгого директора, становился уступчивее и, как человек умный, сам понял и обсудил всю невыгоду своих резких выходок и спустился с высоты профессорской кафедры до скромного и более плодотворного положения школьного учителя. О последствиях дальнейшего пребывания Меркушева в гимназии я ничего больше не знаю, потому что при нем недолго оставался в заведении, да и сам преподаватель, вследствие выгодной женитьбы, вскоре оставил в нем службу, переселился в Петербург и устроился в каком-то министерстве.

Другим достойным уважения лицом в составе учителей во времена Лажечникова был преподаватель латинского языка, исправлявший потом, до вступления Протопопова, должность директора гимназии, — Николай Степанович Дмитревский. Это был, после Михаила Максимовича Попова, любимейший всеми учитель. Он был добр, ласков, приветлив в обращении с детьми и вежлив до того, что усвоенная во многих наших провинциях привычка прибавлять в конце речи смягчительное с доходила у него до резко заметной крайности: он привязывал эту частицу почти к каждому слову. Дмитревский горячо любил свой предмет, держался хорошей методы в своем преподавании: он не ограничивался сухим заучиванием правил латинской грамматики, но, выводя их из анализа данных примеров и чаще всего при переводах с одного языка на другой, применял Их, таким образом, к делу и легко усвоивал своим ученикам. Вообще Николай Степанович обладал способностью,

которая дается немногим, а именно: привлекать к своему предмету, возбуждать в своих учениках внимание к делу, соревнование; его уроки, при личном одушевлении преподавателя и дружной работе всего класса, проходили скоро и весело; добрый наставник умел в иную пору и кстати освежить своих слушателей среди скучных по своему содержанию занятий какой-нибудь остротой, шуткой, вызывавшею общий смех и на мгновение нарушавшею обычный строгий порядок. Благодаря личным качествам и поведению учителя — его гуманному обращению с учениками, разумным педагогическим приемам и уменью возбуждать расположение к труду — преподавание латыни шло в пределах гимназического курса довольно успешно.

Совсем иначе велось дело у педагога, заступившего, по рассказу Лажечникова, место погребенного мышами кота. Этот педагог, Василий Егорович Яблонский, был уже пожилой, но высокий, довольно толстый и дюжий человек, постоянно расхаживавший по классу и нетерпеливо выслушивавший заданные им уроки из грамматики, логики и риторики. Учась латыни, воспитанники находили жизнь и одушевление в мертвом языке; а в классах русской словесности изучали живой отечественный язык, как мертвый; здесь вся суть учения заключалась в буквальном запоминании сухих, ни к чему не прилагавшихся правил, и если бы посторонний посетитель, вошедший в класс во время репетиции, до прихода учителя, и прислушиваясь к невнятному жужжанию воспитанников, спросил их; «Что вы учите, дети?» — они вправе были бы отвечать, как Гамлет: слова, слова, слова! [6] В самом деле, к чему вело это заучивание из логики форм общеутвердительных и общеотрицательных, частноутвердительных и частноотрицательных суждений и силлогизмов, этих: Barbara, Cebarent, Darii, Ferio? Для чего пригодились впоследствии эти двадцать четыре источника изобретения, эти исчисления тропов и особенно фигур? Во всем этом зубрении была только одна крайне относительная польза: заучивая стихотворные и прозаические примеры, взятые из некоторых образцовых писателей, ученики обогащали память свою запасом изящных художественных оборотов речи, пленительных для воображения картин природы, мудрых изречений опыта в народных пословицах и гениальных мыслителей — бесспорно, драгоценный материал, усвоивающий плоды продолжительной начитанности; но все это заучивание производилось без предварительного не только разбора, но и объ-

яснительного прочитывания изящного отрывка в целом и частях — следовательно, приносило крайне относительную пользу. Письменные упражнения, на которых преимущественно долженствовало бы сосредоточиваться преподавание, были очень редки и состояли в крайне неудачных опытах подражаний указанным в риторике образцам. Отсутствие письменных работ и чрезмерно редкие опыты в них были главнейшею причиною того, что мы при переходе в третий класс, к новому учителю Шапошникову, а потом, с выходом его из гимназии, к Михаилу Максимовичу Попову, временно принявшему на себя обязанность преподавателя словесности в четвертом классе, отличались у них и безобразною нескладицею в изложении, и уродливою орфографией) в первых заданных нам письменных опытах. С глубокою благодарностью вспоминаю я и, вероятно, все мои товарищи эту великодушную заботливость и то святое терпение, с которым благоговейно уважаемый нами Михаил Максимович Попов разбирал и исправлял наши ежедневные письменные работы; ему одному мы обязаны были тою посильною грамотностию, с которою окончили курс в Пензенской гимназии. Лажечников честит Яблонского наименованиями педанта и школяра; но, строго говоря, виноват ли был в этом неутомимый, усердный почитатель Лежо?[7] Откуда или где было ему знакомиться с здравыми педагогическими началами? Как учили его издетства, смолоду его наставники, так учил и он; так учили почти повсеместно во всех гимназиях. Надобно припомнить при этом, что в славнейшем и старейшем университете Московском в начале тридцатых годов занимал кафедру профессор словесности для студентов первого общего курса Петр Васильевич Победоносцев, толковавший не лучше Яблонского и об источниках изобретения, о хриях ординарных и превращенных; припомнить надобно, что пресловутая риторика Кошанского, по которой учил Яблонский в Пензенской гимназии, красовалась в программах, изданных для поступления в Московский университет, едва ли не до пятидесятых годов, если не далее. Таково было тогда время, и его надобно винить за отсталость и косность. По всей вероятности, убеждения Лажечникова о ложном взгляде Яблонского на преподавание словесности сложились позднее, под влиянием совершившихся повсюду преобразований, иначе: когда бы питал эти убеждения в двадцатых годах директор пензенских училищ, тогда кто же мешал ему сменить ненравившегося учителя или дать более правиль-

ное, разумное направление его преподаванию? Что-нибудь одно из двух мешало Лажечникову поступить таким образом: или некем было заменить школяра-учителя, или его преподавание не возмущало его до того порицания, с которым от отзывался об нем впоследствии.

У того же Яблонского мы учились в первом и втором классе французскому языку. Хотя об его уроках по этому предмету у меня сохранились самые смутные воспоминания, но помню очень хорошо одно: мы усердно заучивали грамматику, особенно спряжения глаголов, для изучения которых Яблонский составлял особенные таблицы глагольных форм, заставляя учеников списывать эти таблицы и твердить. Яблонский следовал в этом деле общепринятой в то время методе гувернеров и гувернанток: научивши своего ученика или ученицу кое-как читать и писать по-французски, затем зубрить Ломондову грамматику с самого начала, со слов: «La grammaire est l'art de parler et d'ecrir correctement, etc.»; * и такое заучивание продолжалось до конца книги. Не помню, сопровождалось ли это заучивание правил какими-нибудь упражнениями устными или письменными, где на самом деле объяснялось бы употребление той или другой грамматической формы. Кажется, этих упражнений и даже простых диктантов не было, и вообще Яблонский не любил обременять себя письменными ученическими работами; все они отсылались к высшим классам, а задачею низших оставалось одно изучение грамматики, которое без соответствующих ей упражнений немыслимо. Не думаю, чтобы эти упражнения не нравились Яблонскому потому, что превышали его силы: он любил щеголять знанием французского языка и бранил воспитанников не иначе, как по-французски, даже и во время уроков по русскому языку: «Bête, que vous êtes, cochon!» ** — восклицал гневно Василий Егорович, поймав ученика в какой-нибудь шалости. С переходом в высший, третий, класс спряжения французских глаголов, эти полезные начатки знания, о которых так усердно хлопотал Яблонский, понемногу забывались и терялись, оставаясь без повторения и приложения за отсутствием учителей. Французский язык, как заколдованный клад, не давался в руки гимназии: когда я был в третьем классе, у нас сменились два учителя, Гото и Ломбар, и оставались в гимназии

* Грамматика есть искусство правильно говорить и писать, и т. д. (*франц.*).

** Скотина, поросенок (*франц.*).

на самое короткое время, покинув заведение вследствие получения другого, более выгодного места. Так, Ломбар вышел потому, что поместился гувернером у богатой помещицы Владыкиной, жившей в Чембарском уезде. В четвертом классе мы вовсе не учились французскому языку, за неимением учителя, и, таким образом, кончили курс в гимназии почти с теми же ограниченными сведениями в этом языке, с какими вступили в нее и какие приобрели дома.

Бо́льшим постоянством, но также не особенно блестящими результатами отличалось преподавание немецкого языка у Александра Христофоровича Зоммера, постоянно жившего в самой гимназии и вследствие этой близости приходившего иногда в класс с закуренною фарфоровою с коротким чубуком трубкою. На уроках немецкого языка также прилежно изучалась грамматика; но здесь давалось место и кое-каким упражнениям: составлению примеров на грамматические правила, диктанту и особенно заучиванию отдельных слов, относящихся к той или другой части речи. Самое заботливое внимание обращал преподаватель на красивость почерка и чистоту тетрадей, в которую вписывались эти вокабулы, басни, мелкие стихотворения и прозаические отрывки. Польза от этого списывания и заучивания была несомненная: ученики приобретали большой запас слов, знание которых пригодилось бы впоследствии, если бы на употребление их почаще обращалось внимание в переводах с немецкого языка на русский и обратно; но, к сожалению, эти переводы были так редки, что у меня об них не сохранилось никакого воспоминания, кроме того, что на вступительном экзамене в университете я испытывал немалые затруднения при переводе даже с немецкого языка на русский, а между тем в гимназии считался у Зоммера в числе порядочных учеников. Ясно, что приобретаемый простым заучиванием запас слов, без употребления их в связной речи, постепенно забывался и терялся. Курс немецкой грамматики был растянут в гимназии на все классы, чистое письмо, которого строго требовал от учеников преподаватель, занимало много времени, хотя и не без пользы для правописания. К сокращению и непроизводительности уроков способствовал также необыкновенно раздражительный и вспыльчивый характер учителя: малейшего движения, поворота головы к сидящему позади товарищу со стороны ученика достаточно было для того, чтоб вызвать свирепое негодование подозрительного преподавателя, и тогда начинались не только упреки и ожесточенная

брань: мужик, сиволап, но и потасовки и ушедрание, о которых сказано было выше. Эти ежеминутно повторяющиеся расправы много вредили классным занятиям, несвоевременно прерывая их. Нередко при судах и расправах, чинимых в классе, происходила следующая, памятная и до сих пор, комическая сцена: щепетильный и всегда щегольски одетый немец, почувствовав зуд в мягких оконечностях своего тела, прибегал для утоления неприятного ощущения, не нарушая приличия, к такой хитрой уловке. Заметив ученика, занесшего руку за спину за платком, или просто ни с того ни с сего, учитель кричал, обращаясь к нему: «Что ты, мужик, невежа, там чешешься!» — и при этом начинал сам преусердно чесать то место, которое требовало успокоительного движения ногтей. Бешеная вспыльчивость Зоммера, как рассказывали жившие у него пансионеры, доходила до того, что однажды, в яром гневе на своего племянника, он бросил в него часовую гирю, и мальчик, вовремя и счастливо увернувшись в сторону, успел избегнуть гибельного удара. Впрочем, на ежеминутно пламеневшего немца находил иногда и добрый стих: он приходил в класс веселый и радостный, смеялся и шутил с учениками, и те, дорожа этими светлыми минутами, старались всеми силами угодить доброму по своей природе, но уродливо раздражительному преподавателю. По особенной трудности поладить с ним многие не учились немецкому языку, пользуясь правом необязательности его при занятиях языком французским.

Самым мирным характером отличалось преподавание географии, статистики и истории. Степан Иванович Знаменский, учитель этих предметов, мужчина высокий, коренастый, с тяжелою походкой и с глубокомыслящим лицом, был питомец Казанского университета, по происхождению из духовного звания и, по-видимому, уроженец одной из северных губерний, о чем сразу заявлял своим наречием, полнозвучным выговором *о* и *е* без смягчения их в *а* и *ё* по законам просодическим и по требованию благозвучия господствующего наречия. Не знаю, что было университетскою специальностию Знаменского[8], но в преподаваемых им в гимназии предметах он не мог считаться полным хозяином; он не выходил из пределов избранных руководств: всеобщей истории Кайданова, географии Арсеньева и краткого учебника русской истории, изданного департаментом народного просвещения в руководство и для народных училищ. Не дополняя заданных им уроков никакими особен-

ными своими рассказами и пояснениями, преподаватель вполне удовлетворялся, если ученик, передавая урок, не опускал ничего в его содержании и удерживал в изложении те фигурные обороты цветистого слога, которыми щеголял учебник Кайданова. С особенною похвалою и одобрением относился преподаватель к тому ученику, который дополнял свой рассказ какими-нибудь новыми подробностями, сохранившимися в его памяти от прочитанного им некогда другого учебного руководства. «Хорошо, очень хорошо, — говорил тогда довольный учитель, — спасибо вам! Где все это вы читали?» Когда ученик называл книгу, и часто даже невпопад, Степан Иванович повторял свою признательность, в знамение которой ставил в списке высший балл. Очевидно, что учитель не коротко был знаком с литературою обязательных для него наук. Преподавание географии сопровождалось указаниями на картах, но о черчении последних не имели тогда и понятия. К чести и доброй памяти Степана Ивановича Знаменского должно сказать, что все гимназисты учились у него охотно и прилежно, и причина особенного сочувствия к его предметам заключалась отчасти в естественной занимательности их содержания, отчасти и в гуманном обращении преподавателя с учениками: он был всегда вежлив, обходителен, ласков и, ограничивая свои взыскания кроткими замечаниями и советами, никогда не прибегал к крутым мерам — резкой брани и телесным истязаниям. Может быть, в предметах своего преподавания он был не особенно силен потому, что они случайно выпали на его долю для отбывания казенной повинности, то есть прослужения, за свое содержание в университете, в учительстве положенного срока, по минованию которого он действительно выехал в обетованный Петербург.

Преподавание закона божия не отличалось никакими особенностями. Буквальное заучивание катехизиса и священной истории Ветхого и Нового Завета вменялось в непременную обязанность гимназиста: о богослужении и истории церкви тогда не было еще и помина. В бытность мою в гимназии сменилось трое законоучителей: первого из них, уже пожилого протоиерея, я едва помню;[9] за ним следовали соборные священники, Островидов, перешедший вскоре в сане протоиерея в настоятели чембарского соборного храма, и наследовавший ему Жмакин, остававшийся в гимназии и после моего выхода из нее. Оба законоучителя избраны были епархиальным начальством, как люди

вполне способные вести с успехом возложенное на них дело. Они действительно усердно и свято исполняли его, подчиняясь господствовавшим в то время убеждениям о преподавании закона божия, сохранившим силу свою и до сих пор в большей части учебных заведений: произносили в качестве объяснений целые проповеди перед своими учениками и более всего для собственного самоуслаждения, не заботясь о том, усвоены ли эти толкования смиренными слушателями, и в конце концов довольствовались знанием мертвой буквы учебника. Легче дышалось гимназистам на уроках из священной истории, когда Дмитрий Иванович Жмакин дозволял своеобразность рассказа.

Заключу мой длинный перечень учебных предметов и преподавателей благодарным воспоминанием о Михаиле Максимовиче Попове, которого вполне справедливо назвал Лажечников кладом для гимназии, и надобно прибавить, что это был клад самый редкий и драгоценный, который не всегда дается заведениям. М. М. Попов был для Пензенской гимназии то же, чем некогда были для Московского университета Грановский, Кудрявцев. Служба Михаила Максимовича в гимназии была особенно важна и замечательна по нравственному влиянию на нее этого высокого человека: не только ученики, но и сами товарищи, преподаватели, дорожили добрым мнением о себе Михаила Максимовича и старались в присутствии его воздерживаться от своих невзрачных поступков. Так, резкий крик Зоммера мгновенно утихал, и лицо, пламеневшее от гнева, принимало иное, более спокойное выражение, когда Михаилу Максимовичу доводилось проходить в четвертый класс мимо этого бешеного немца, сидевшего в третьем. Самые отъявленные шалуны вели себя сдержанно и прилично в классе этого преподавателя из благосклонного уважения к нему, и если кто-нибудь из них позволял себе нарушить даже довольно обычный порядок и тишину во время урока, тот по окончании его должен был перенести ярую бурю негодования и упреков со стороны товарищей.

Впрочем, во время уроков из естественных наук шалостям и рассеянности учеников был полнейший недосуг при мастерском уменье преподавателя сосредоточивать и приковывать их внимание живою прелестью своих одушевленных рассказов или объяснений при наглядном изучении предмета. Так, собрав вокруг стола своего учеников, Михаил Максимович, перелистывая составленный им гербарий, заставлял по очереди повторять латинские названия

указываемых им растений. Нередко предпринимались ботанические экскурсии за город, и эти прогулки по полям и садам были настоящим праздником для гимназистов: описание встреченных цветов и трав, собирание их, ловля бабочек и других насекомых наполняли время, которое среди оживленной беседы проходило весело и быстро, часто до солнечного заката. Благодаря такому разумному преподаванию и благородной, великодушной заботливости Михаила Максимовича гимназисты основательно знакомы были с флорою Пензенской губернии.

Вот все, что сохранилось в моей памяти о преподавателях современной мне и Белинскому гимназии и их преподавании. Последнее отличалось вообще крайнею неустойчивостью сколько по отсутствию в нем правильной, разумной методы, недостатку строгого контроля со стороны гимназического начальства над легкомысленным, неодобрительным отношением к своему делу преподавателей, столько, и даже более всего, по совершенному прекращению на продолжительное время самого учения вследствие выхода из заведения учителя. В четырехлетнее пребывание мое в гимназии сменилось три учителя закона божия, три по русскому языку, три по математике, три по французскому языку, два по истории и географии, постоянными оставались только преподаватели двух языков: латинского и немецкого, естественных наук и рисования. Меняясь, как китайские тени, учителя не имели возможности освоиться ни с заведением, ни с предметом, нередко случайно выпавшим на их долю, ни с учениками; и некоторые, отбывая свою срочную службу, не заботились о выборе лучшей методы преподавания и, по своему ограниченному нравственному развитию имея смутное и даже превратное понятие о деле, ограничивали свою учительскую деятельность простым заданием уроков по учебнику от сих и до сих и спрашиванием заданного, вменяя при этом в обязанность и в особенное достоинство буквальную передачу урочного содержания, ни на волос не отступая от книги. Таково было, как выше сказано, преподавание истории. Инспекторского надзора тогда не существовало, самое директорское место, после выхода Лажечникова, оставалось свободным в продолжение почти трех лет, если не более, и должность начальника гимназии исправляли по очереди старейшие по службе учителя: сначала Яблонский, потом Дмитревский. Заведуя дирекциею всех пензенских училищ, имея на руках свой собственный предмет обучения и множество дела

по канцелярской переписке с попечителем Казанского округа и смотрителями уездных и приходских училищ, такой временный правитель заведения, калиф на час, считал неуместным и, пожалуй, неделикатным строго относиться к поведению своих товарищей, таких же учителей, которые могли не нынче-завтра поменяться с ним ролями и платить ему равною монетою, особенно в то время, когда эгоистические расчеты, побуждения личного мелочного самолюбия преобладали над общественным благом. Всякий преподаватель вел свои дела по крайнему разумению, самостоятельно, безнаказанно со стороны даже воображаемого контроля. Всего более вредил успехам гимназического учения продолжительный застой в нем, происходивший вследствие выхода учителя из заведения и медленного замещения его другим. Такие застои в преподавании были гибельны по математике и особенно по французскому языку, которому, можно сказать, мы вовсе не учились в старших классах за неимением учителя. Вообще современная мне и Белинскому гимназия только что складывалась, переживала тяжелое переходное время на пути к улучшению, начало которому было положено, может быть, Лажечниковым, но которое пошло вперед со вступлением в должность директора честного, заботливого старичка Протопопова, строго следившего за успехами воспитанников и принимавшего на себя обязанность преподавателя математики до приезда из Казани молодого кандидата Меркушева, умного и знающего основательно свой предмет, но чересчур заносчивого и нетерпеливого.

Все эти воспоминания о гимназии, конечно, не только не занимательны, но утомительны и скучны. Я позволил себе так продолжительно остановиться на них для того, чтобы показать, насколько ограниченность сведений, вынесенных Белинским из этого заведения, зависела лично от него самого и насколько от влияния внешних и неблагоприятно действовавших на него обстоятельств.

Белинский поступил в Пензенскую гимназию в августе 1825 года; а в феврале 1829 вычеркнут из списков, с отметкою: «За нехождение в класс». Так сказано в биографии и, вероятно, на основании наведенных в гимназии справок. Следовательно, Белинский пробыл в заведении три с половиною года: один в первом классе, один во втором и полтора года в третьем, из которого и вышел. Как поступивший годом раньше меня, Белинский был впереди на один класс, и я догнал его в 1828 году в третьем классе, когда он был

оставлен в нем за неуспешность, причины которой будут объяснены ниже. Об удовлетворительном учении Белинского в первом классе свидетельствует беспрепятственный переход его во второй; притом же первоначальный гимназический курс немногим разнится от училищного, а в Чембаре Белинский слыл за ученика даровитого и прилежного. Я очень хорошо помню, с какою любовью относился к нему наш законоучитель, соборный священник Василий Чембарский: он называл обыкновенно Белинского ласковыми «Висяша, умница, душенька», восхищенный его ответами. Считаясь отличным и прилежным учеником у смотрителя Грекова по другим предметам, Виссарион хорошо знал арифметику и начальные основания геометрии в пределах училищного курса; из подробного этимологического разбора, на который, к нашему счастью, обращали в училище строгое внимание, мы вынесли из этой первоначальной нашей школы прочный задаток к разумению русской грамматики, хотя в то же время были далеко не свободны от орфографических ошибок по недостатку навыка, вследствие редкости письменных упражнений. Таким образом, при хорошей училищной подготовке Белинскому легко было учиться в первом классе.

Затруднения могли быть только в иностранных языках; но немецкому он вовсе не учился, — следовательно, он был необязательным для него предметом; преподавание французского языка в первом и втором классах у Яблонского ограничивалось чтением, письмом и заучиванием глагольных форм в спряжениях [10].

Начало к изучению языков латинского и французского, по крайней мере в чтении и письме, было положено дома: в первом при помощи, вероятно, отца, а во втором при содействии, как мне помнится, сестры моей, Катерины Петровны, которая одна в целом городе знала тогда этот язык.

Доказательством прилежного учения и отличных успехов Белинского во втором классе служит полученная им в награду и лежащая теперь передо мною книга: «Руководство к механике, изданное для народных училищ Российской империи по высочайшему повелению царствующия императрицы Екатерины Вторыя. Вторым тиснением. Цена без переплета 40 копеек. В Санкт-Петербурге 1790 года». На оборотной стороне бумажного переплета написано рукою исправлявшего должность директора Дмитревского; «Пензенской гимназии ученику 2-го класса Виссариону Белынскому за благонравие и успехи из логики и ритори-

ки, истории и географии, дана в торжественном собрании июня 26 дня 1827 года. Исправляющий должность директора Николай Дмитревский». Внизу подписи, слева приложена сургучная казенная печать. Награда была дана за успехи только по четырем предметам, об остальных не упоминается, потому что учение по ним не заслуживало публичной похвалы; однако же оно было настолько удовлетворительно, что не мешало назначению награды по означенным четырем. Поощрить Белинского начальство и педагогический совет гимназии считали необходимым не по одному ходатайству преподавателей этих предметов, но и по личному убеждению в дарованиях и нравственном достоинстве ученика. Забавным кажется при этом выбор книги, данной в награду. Оставляя в стороне отсутствие прямого отношения механики к логике, риторике, географии и истории, всякий невольно спросит, какое значение могла иметь для мальчика наука, которой ему не приходилось учиться в гимназии и которой он не знал, следовательно, и не чувствовал никакого расположения. Выбор книги объясняется очень простою причиною: у гимназии не было денег, определенных для ученических наград, библиотека была бедна, экономические сбережения употреблялись на более существенные нужды, а потому поневоле приходилось выбирать наградные книги из старого хлама, присланного когда-то, лет за тридцать, для распродажи и оставшегося неприкосновенным бременем в библиотеке заведения за неимением покупателей. Подобные же награды получали мы с Белинским в Чембарском училище; а в первые годы они состояли из похвальных листов, которые нам позволялось изготовлять самим дома: в выборе орнаментов каждый руководствовался собственным своим вкусом, раскрашивая по краям лист обыкновенной писчей бумаги то в виде рамки, обвитой цветочными гирляндами, то венком из распустившихся роз; в средине собственноручно по линейкам и крупными буквами выводили следующую обычную надпись: «Похвальный лист» и затем в строках: «дан при публичном испытании ученику такого-то класса, такому-то, за отличные успехи и прилежание, тогда-то». Такие похвальные листы, заранее приготовленные с помощью моего брата, Алексея Петровича, хорошего рисовальщика и постоянного друга и приятеля Виссариона Григорьевича, относились к смотрителю Грекову, который скреплял их подписью собственною и всех учителей, прикладывая сургучную училищную печать, и вы-

давал по принадлежности на публичном экзамене в присутствии довольно многочисленного собрания родителей и родственников учеников. Белинский вполне заслуживал полученной им награды; по предметам, указанным в надписи на подаренной книге, он едва ли не всегда был первым учеником. Редкая, счастливая память, которою он постоянно отличался, помогала ему легко усвоить те примеры из Карамзина, Жуковского и других, которые наполняют риторику Кошанского; сверх того, по своей обширной, сообразно с летами и средствами, начитанности он мог представить множество иных, подходящих к образцам примеров, особенно на тропы и фигуры, из разнообразного запаса стихотворений, которые издетства любил записывать в толстые тетради и всегда сохранял в свежей памяти [11]. Руководством к логике, которую так непроизводительно заучивали наизусть, служила небольшая книжечка безыменного автора или составителя; она начиналась, помнится, так: «Мыслить и мысли свои сообщать другим — вот две способности, которыми отличается человек от прочих животных» [12]. Уроки из этой книжечки задавались небольшие, по странице и даже менее, и оттого затверживались легко, особенно при очередном повторении одного и того же учениками всего класса при спрашивании учителем уроков. Заслуги Белинского при изучении логики и отличие, приобретенное им, заключались, конечно, не в буквальной передаче заданных уроков, но в изобретательности и находчивости, с которыми он умел приискать к тому или другому определению или положению науки соответствующий пример, свидетельствовавший о понимании его. Благодаря подобным примерам, заученным по книге и слышанным в классе от лучших товарищей своих, ученики усвоивали хотя поверхностное понимание некоторых научных терминов, которые без того оставались бы в их памяти глухими звуками, насильственно втесненными в нее школяром-учителем без всякого предварительного объяснения; таковы, например: неделимое, вид, род, объем и содержание понятий, суждение, виды его по категориям Канта, силлогизм, составные его части, силлогизмы сложные: сорит, дилемма и т. п. Признательное участие преподавателя к Белинскому возбуждено было, всего вероятнее, письменными работами его, хотя они были вообще очень редки. Обладая, в силу своей начитанности, богатым материалом для сочинений, Белинский лучше всех мог упражняться в составлении разного рода периодов, хрий ordinata

и inversa и других хитросплетений по источникам изобретения. В этом отношении сообщения Лажечникова, помещенные на 217-й странице биографии Белинского и характеризующие преподавателя русской словесности (Василия Егоровича Яблонского), в общих своих чертах почти верны; справедливо и верно и то, что Белинский долго (два года) находился под ферулой его, по выражение Лажечникова, что Белинский, с врожденной ему энергией, не поддался ей, должно принимать только в том смысле, что это схоластическое, мертвящее учение не оставило на нем никакого следа или он не вынес ничего из этого учения, кроме отвращения к риторике вообще и к риторике Кошанского в особенности, которое не раз высказывал впоследствии во многих статьях, когда приходилось заводить речь о ней [13]. Понимать под выражением Лажечникова враждебные отношения между Белинским и преподавателем русской словесности невозможно, потому что он не считал бы его любимым учеником и не ходатайствовал бы о его награде. Помещенное на 219 странице в сноске замечание Лажечникова о том, что Белинский, еще будучи в гимназии, составил грамматику, что, не удовлетворяясь школьными учебниками, оп тогда уже не подчинялся авторитетам и хотел работать самостоятельно, лишено, говоря языком газет, всякого основания. Подобный труд, требовавший продолжительного приготовительного изучения, личных наблюдений над составом языка, историческим его движением в памятниках словесности и живой речи, подробного знакомства с существовавшими тогда руководствами, критической оценки их, самостоятельных разумных убеждений и многих других условий, был в ту пору не по силам Белинскому и не мог прийти ему в голову среди срочных школьных занятий и даже в часы досуга, которые посвящались обыкновенно чтению журналов, поэтических произведений, беседе с товарищами и театру. В письмах Белинского к родным в первые годы пребывания его в Москве местами встречаются орфографические погрешности, извиняемые, конечно, поспешностью, рассеянностью, но невозможные в таком случае, когда он относился бы с таким строгим вниманием к грамматике, что не удовлетворялся школьными учебниками Востокова и Греча, которые в то время пользовались огромным, неприступным авторитетом и служили единственными руководствами во всех гимназиях, следовательно и в Пензенской. Вероятно, Лажечников в своем замечании смешал две раз-

ные эпохи в жизни Белинского: учение в гимназии и события, последовавшие после выхода его из университета, когда по желанию и поручению графа Сергея Григорьевича Строганова написал русскую грамматику — труд, по времени появления своего, замечательный во многих отношениях [14].

По истории и географии Белинский считался отличнейшим учеником: никто лучше его не обладал прелестью, увлекательностью рассказа; он был природный оратор, маленький Перикл, философ, каким и назвали его сами товарищи. Степан Иванович Знаменский, преподаватель истории, был дилетант своей науки. Не дополняя заданного по книге урока собственными подробностями и пояснениями, он в то же время с особенною любовью и одобрением выслушивал того ученика, который, передавая заданное, расширял объем его вставкою обстоятельств, почерпнутых из другого исторического руководства, хотя бы они прямо и не относились к делу, принадлежали другому веку или относились к другому историческому лицу. Белинский, по своей начитанности и мастерскому изложению, лучше всех удовлетворял этой наивной любознательности учителя, который по окончании рассказа всегда, бывало, говаривал: «Хорошо, очень хорошо, отлично, очень вам благодарен. Скажите, откуда вы это вычитали?» И когда Белинский называл источник, преподаватель снова рассыпался в похвалах и благодарности и ставил в заключение высший балл. С географией Белинскому еще легче было сладить при изумительно редкой памяти. Быстро передавая, например, наименование морей, озер, рек и т. п. в известной части света, он в то же время без всякого замедления указывал их на карте, чем и сопровождалось в гимназии преподавание географии, о черчении карт не было тогда и помина. Белинский издетства охотно занимался географиею, едва ли не с училища знал наперечет все города Российской империи и принадлежность их к той или другой губернии; и впоследствии все московские квартиры его постоянно украшались картами всех частей света и, сверх того, России особенно.

По всем другим предметам второклассного курса Белинский, как я сказал, получил удовлетворительные баллы: иначе он не был бы переведен в третий класс и сомнительно, чтобы получил указанную выше награду, потому что ни директор, ни учителя не решились бы поощрять успехи воспитанника по одним предметам на счет совер-

шенного невнимания к другим. Действительно, французскому языку Белинский учился во втором классе у того же Яблонского, преподавателя русской словесности, у которого считался по ней первым или отличным учеником; притом ему, при здоровой памяти, легко было овладеть таблицами спряжений, которые составил Яблонский и на заучивании которых преимущественно вращалось у него преподавание французского языка [15]. По-латыни Белинский учился хорошо, и у меня свежо сохранились в памяти те латинские похвалы, которые подписывал нам любимый преподаватель Николай Степанович Дмитревский на переводах Белинского с русского языка на латинский. С видимым удовольствием показывал, бывало, Виссарион мне и жившим с нами на одном дворе семинаристам на собственноручные подписи учителя на тетрадях, на эти optime, excellentissime * и т. п., и однажды, возвратившись из гимназии с скучным лицом, он на вопрос мой: что подписал тебе Николай Степанович на переводе, с величайшим огорчением отвечал: «Плохо, брат, поспешил я с своим переводом и непростительно наврал в нем; добрый Николай Степанович подписал только cura melius **, когда я заслужил male *** и даже pessime» ****. Подобными советами, вроде cura melius, Дмитревский щадил лучших своих учеников, к которым питал особенное расположение; с ними нередко шутил он в часы досуга, иногда и между делом, добродушно смеялся при остротах, которыми перестреливались между собою ученики; но все это дозволялось на мгновение и никогда не доходило до крайностей. Первенствующим лицом в среде остряков был всегда Белинский, умевший искусно применить пословицу, отрывок из басни или стихотворный отрывок к положению своего противника-товарища. Более всех доставалось от Белинского, но уже в третьем классе, пансионеру немецкого учителя Зоммера — Латышеву. Это был довольно рослый парень, лет семнадцати или восемнадцати, порядочный тупица и лентяй; но в то же время, как говорится, шут гороховый, или гороховое чучело, мастерски умевший копировать учителей, передразнивать товарищей для потехи праздного населения гимназии, в которой постоянно слыл забавником, смехотворцем, шутом. Однажды Дмитревский, напрасно

* отличено, превосходно (*лат.*).
** постарайся лучше (*лат.*).
*** плохо (*лат.*).
**** очень плохо (*лат.*).

ожидая ответа от Латышева, сказал ему: «Нет, Латышев, от вас толку не добьешься; вам не помогают и мои поощрительные отметки». Тогда Белинский начал, как бы про себя, декламировать вслух из Державина:

Осел всегда останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где надо действовать умом,
Он только хлопает ушами [16].

Такое уместное применение из известной оды к обстоятельству, на которое указывал учитель, вызвало смех его, а за ним и всего класса. Но эти веселые порывы не всегда допускались: бывало, когда Белинский чересчур даст волю своему резвому остроумию, Дмитревский мгновенно усмирял его одним повелительным возгласом: «Белынский! я попрошу замолчать!» — Так легко, без наказаний, сходили шалости во время урока только лучшим ученикам, и Белинский был в числе их. Допекать Латышева своими насмешками Белинский имел особенные побуждения: никто так не надоедал ему в свободное от уроков время, до прихода учителя, как Латышев. Он или его сокватирант у Зоммера, Архипов, дал Белинскому прозвище Брынского козла, распространенное между всеми гимназистами; многие из них находили, что это прозвище шло к Белинскому: к его мужественному, не по летам серьезному лицу, большим глазам, осененным длинными ресницами, и к обыкновению держать голову наклонно, особенно в минуты размышления, которое редко покидало его. Латышев мешал Белинскому читать, подходил к нему с простертыми руками и, беспрестанно повторяя: «Белынский, козел Брынский!» — старался вызвать его на беготню вокруг столов; Белинский отбивался от него ногами и, если не удавалось ему ловким ударом отогнать наглеца, обращался за помощью к товарищам, которые и помогали ему усмирить праздного и глупого пустомелю. Досаждали Белинскому и другие товарищи, подобные Латышеву и не отличавшиеся особенным прилежанием. Перед приходом М. М. Попова в класс Белинского обыкновенно упрашивали о том, чтобы он завел с ним спор о писателях, надеясь этим способом утратить время, назначенное для спрашивания уроков, и освободиться от неприятной ответственности за неприготовление их. Белинский с негодованием отвергал эти просьбы, как непримиримый враг всякой лжи, отгонял назойливых просителей, называя их подлецами и негодяями, а между тем нечувствительно, против своей воли и принято-

го намерения <не> потворствовать, поддавался увлекающей его потребности разрешить волновавшие его сомнения и недоумения, и тогда неудержимо начинались те сцены, о которых говорит сам Михаил Максимович (на 220 стр. биографии). Все рассказанное мною происходило уже в третьем классе, потому что в нем начиналось преподавание естественной истории.

Математике во втором классе Белинский учился у Ляпунова и, при толковом преподавании этого недужного старичка, успел усвоить сведения, достаточные для перехода в третий класс и помогшие ему впоследствии благополучно сдать этот предмет у профессора Чумакова на приемном университетском экзамене [17]. Немецкому языку, помнится мне, Белинский не учился; закон божий также не мешал его переводу в высший класс. Таким образом, учение Белинского до третьего класса шло по некоторым предметам отлично, а в других вполне удовлетворительно. Назвать его плохим учеником невозможно: этому противоречит и полученная им награда, и беспрепятственный переход в третий класс; подозревать его в лени и нерадении было бы тяжким грехом; ни одна минута не пропадала у него даром: он или читал, или списывал что-нибудь прочитанное в тетрадь, или беседовал с дельными людьми, или предавался в одиночку размышлениям. Чем же объяснить охлаждение его к учению и преждевременный, до окончания курса, выход из гимназии? Все это объясняется очень простою причиною: еще в 1828 году Белинский задумал поступить в университет. В это время Белинскому было семнадцать и даже восемнадцать лет, следовательно, возраст не мешал его вступлению. Одни ограниченные сведения, приобретенные им в гимназии, могли пугать его; но с этой стороны он мог успокоиться, во-первых, возможностью подготовиться дома, а во-вторых, всего более нетрудностию вступительного экзамена, в которой уверили его земляки, студенты Московского университета (Ягн, Терентьев, Григорьев), приезжавшие в Пензу и в Чембар на вакацию. Сроднившись с мыслию об университете, Белинский охладел к гимназическому учению; притом, за выходом учителей и при беспрестанной смене их, много свободного времени пропадало даром, о чем я уже говорил выше; с вступлением директора Протопопова, человека заботливого и строгого, начались непривычные для гимназистов взыскания и наказания. Белинский в конце учебного 1827/1828 года стал реже посещать заведение, не держал,

помнится мне, годичного экзамена на переход в четвертый класс, надеясь в августе ехать в Москву; но надежда эта не осуществилась, он должен был возвратиться после вакационного времени в Пензу и продолжать учение в том же третьем классе, как не державший экзамена и получивший неудовлетворительные отметки по многим предметам, о чем указано в сноске на 216 стр. биографии [18]. Повторительное учение в третьем классе продолжалось около пяти месяцев: к Рождеству он уехал в Чембар и не возвращался уже в гимназию; заявлений о своем выходе из нее он не делал: никаких документов получать ему было не нужно, и вот почему в январе 1829 года в гимназических ведомостях об нем было отмечено, что за нехождение в класс не рекомендуется, а в феврале того же года он был вычеркнут из списков, с отметкою «За нехождение в класс».

Перейду теперь к домашней жизни Белинского, вне гимназии. Ни у родителей Белинского, ни у моих не было в Пензе коротких знакомых и таких близких родных, у которых они могли бы поместить нас за умеренную плату и порадеть об нас. Правда, жил там со всеми удобствами достаточного человека родной дядя моей матери по отцу, — следовательно, родня и Белинским, — помощник губернского почтмейстера, Андрей Яковлевич Невешкинский; но он содержал у себя взрослую племянницу жены, и в казенной квартире его не было особенного уголка, чтобы приютить меня, своего внука. Госпожа Невешкинская поспешила предупредить о том мать мою на другой же день после приезда нашего в Пензу, когда мы, по предварительному письменному приглашению этого сильного родственника, остановились в его квартире. Мать моя, с своей стороны, спешила уверить, что она и не помышляла беспокоить дядю о приеме сына ее в дом и что для него уже приискана квартира. Тогда совестливая хозяйка, не желая казаться совершенно безучастною к близким родственникам ее мужа, настоятельно потребовала, чтобы я и Виссарион непременно приходили бы к ней обедать по воскресеньям и в другие праздники, свободные от учения. Квартира, о которой мать моя сказала своей тетке, действительно была заранее приготовлена для меня. В Пензенской семинарии в классе риторики или философии учились в то время два наши земляка-чембарца: Аркадий Степанович Голубинский (родной брат девицы Голубинской, владетельницы автографа Лермонтова), сын тогда уже умершего соборного протоиерея, крестник моего отца или мате-

ри, и Михаил Семенович Меридианов, сын соборного диакона. Оба они считались отличнейшими учениками в семинарии по учению и поведению, оба по окончании курса в семинарии вступили казеннокоштными студентами в Казанский университет и вышли из него лекарями первого разряда на обязательную службу в армию. Заботливости и участию этих двух благонадежных молодых людей были вверены Виссарион и я. Совершенно не помню, с ними ли и где жил Белинский в первый год пребывания своего в гимназии, но по приезде моем в Пензу и соединении с ним и семинаристами мы квартировали, и очень долго, в Верхней Пешей улице, довольно видной и чистой, застроенной порядочными домами и выходившей на соборную площадь, самую лучшую часть города. Хозяином нашим был мещанин Яков Аврамович Петров, пожилой вдовец. У него был большой деревянный с мезонином дом, обращенный фасадом на улицу и занятый тогда сыном его, учителем рисования в гимназии, Иваном Яковлевичем Петровым; справа от этого дома на особенном небольшом дворе, оканчивавшемся маленьким фруктовым садом, построены были три флигеля, из которых в одном, состоявшем из двух с кухнею комнат, помещался сам хозяин с кухаркою; в другом, в одну большую комнату, жили семинаристы в числе четырех или пяти человек, и, наконец, часть третьего флигеля, состоявшую из одной довольно просторной комнаты, занимали Белинский и я; другая половина этого флигеля занята была кухнею и людскою учителя Петрова. Меблировка комнат была очень незатейлива: деревянная, дощатая и некрашеная кровать, такие же столы с одним или двумя ящиками, смотря по величине стола, легкие переносные скамейки и стулья с сквозною, решетчатою, из круглых спиц спинкою, с дощатою, ничем не обитою подушкою; на стенах — полки для книг и тетрадей, и более ничего. Вся эта мебель, произведение кустарной промышленности, была обычною не только в деревнях, но и в уездных и даже губернских городах; столярных заведений тогда не существовало или они были очень редки, столяров было очень мало. Понятно, что эта мебель, привозимая из деревень, закупалась на рынках, особенно в базарные и ярмарочные дни, более удобные по возможности лучшего выбора изделий и дешевизне их. Вот почему и неудивительно, что Иванисов, которого Белинский, вероятно, принял в квартире семинаристов, встретил в ней квасные бочонки вместо стульев. Действительно, на такие импровизованные табу-

реты любили садиться рослые, дюжие риторики, философы и богословы; такие седалища были для них надежнее и прочнее наскоро сколоченных и скрепленных деревянными гвоздями стульев, за поломку которых тяжело было бы отвечать перед расчетливым хозяином бедняку, получавшему от отца пять или шесть рублей в месяц на свое содержание. Ввиду этого последнего обстоятельства невзыскательные жильцы Петрова не настаивали на покупки лучшей мебели, и сам он, зная по опыту непрочность рыночных стульев, не спешил заменить поломанные из них новыми. Мещанин Петров был человек небогатый; большой дом принадлежал, кажется, его сыну или выстроен на его деньги; сам же старик вел какой-то мелочной торг и жил преимущественно доходами, которые получались с жильцов и нахлебников. Еще резче бросилась в глаза Иванисову встреча Белинского в нагольном тулупе. Это обстоятельство требует также разъяснения. Не помню, в каком году, Белинскому не успели приготовить дома теплой шинели или пожелали сшить ее в Пензе, находя это удобнее и дешевле; запоздали присылкою на это денег, и портной замедлил исполнением заказанной работы, и Белинский принужден был в глубокую осень ходить некоторое время в дорожном, некрытом калмыцком тулупе; байковая или фризовая зеленого цвета шинель была готова, и тулуп сброшен с плеч. Как теперь гляжу на эту новомодную шинель, складывавшуюся, как пальто, в сборки по тесьме, которая завязывалась изнутри вокруг талии, живо представляю этот коротенький капюшон в виде нескольких уступами ниспадавших круглых фальшивых пелерин, отороченных светло-зеленою каймою. Такие фризовые или байковые, зеленые и черные, но описанного покроя шинели были тогда в большой моде в провинции; я совершенно помню то видимое удовольствие, с которым Белинский щеголял в своей обновке, и как я завидовал ему. Калмыцкий тулуп, который временно носил Белинский, был вещию не совсем дешевою даже и в старинную пору: подобные тулупы с коричневою и особенно черною мездрою продавались от тридцати до шестидесяти рублей по тогдашнему счету па ассигнации, и носившего подобный тулуп нельзя было признать крайним бедняком. Появляться на свет божий в некрытых шубах и калмыцких тулупах тогда не считалось неприличным, многие зажиточные помещики постоянно разъезжали по городу в некрытых медвежьих шубах, находя, что суконная покрышка увеличит вес и без

того тяжелой ноши; носить дубленые, сшитые из русских бараньих овчин полушубки и до сих пор сохранилось в обыкновении во многих уездных городах. Наши провинции на этот счет невзыскательны: я помню богатого, молодого, лет тридцати, помещика Хомякова, который расхаживал по Чембару и посещал дворянские дома в простом малиновом плисовом архалуке (род казакина), распещренном тиснеными, вроде крендельков, узорами, какие виднеются на халатах и одеялах, продаваемых татарами. Я вдался невольно в эти утомительные и скучные подробности с единственною целию показать, что мнение Иванисова о жизни Белинского в Пензе, основанное на минутных, случайных впечатлениях, скоропостижно и опрометчиво, и также смелое заключение о его большой бедности и даже нищете положительно несправедливо. Иванисовы были в то время богатые купцы в Пензе; двух- или трехэтажный дом их выходил одною половиною на соборную площадь, а другою на Московскую улицу. Понятно, что обитателю лучшей, красивейшей части города, привыкшему видеть в доме своем раззолоченные кресла, обитые малиновым бархатом или штофом, носившему зимою или осенью бекеш на собольем меху с богатым бобровым воротником, могли казаться Верхняя Пешая улица, застроенная чистенькими деревянными домами, самою дурною частию города, квасные бочонки вместо стульев, некрытый калмыцкий тулуп — поражающими признаками крайней бедности и нищеты. Правда, Белинский был сын небогатого уездного врача, жившего небольшим жалованьем, которое дополнялось кое-какими получениями от редкой практики, не всегда щедро награждаемой; поддерживая раз заведенное полное хозяйство — дом с его надворными строениями или службами, при нем лошадь, двух коров, птиц, обязанный содержанием жены, четырех детей, четырех человек прислуги, он, конечно, часто нуждался в деньгах, нередко высылал их несвоевременно сыну, заставляя его откладывать до благоприятной минуты починку сапог, платья; но сын его, несмотря на то, был вполне обеспечен в главных своих нуждах: у него был большой запас белья, как носильного, так и постельного, будничное и праздничное платье, обувь; все учебные пособия: книги, бумага, перья, карандаши, а что всего важнее — у него были сухая и теплая квартира, сытный стол с утренним и вечерним чаем. Хозяин наш, Петров, сам любивший вкусно и плотно покушать, кормил нас хорошо: горячее, которое составляли попеременно щи,

суп или похлебка, борщ, лапша, всегда приготовлялось из свежей и лучшей провизии, с крепким мясным наваром или бульоном; мясо, подаваемое к горячему блюду, всегда заранее вынималось из горшка и слегка поджаривалось в вольном печном духу и оттого было вкуснее и очень нравилось нам с Виссарионом. Сверх этого мяса, накрошенного мелкими кусками в супу или щах, подавалось особенное, жаренное с картофелем, и при нем огурцы; иногда в летнее или осеннее время жаркое состояло из белых свежих грибов или так называемых маслят, жаренных в сметане и масле и облитых яйцами, нередко по воскресеньям и в большие праздники жаркое состояло из гуся или утки, и всегда в праздник пеклись пироги, в числе которых бывал и сладкий, с яблочным или другим вареньем, по временам жаркое заменялось молочного пшенного или гречневою кашею. Все посты стол приготовлялся из соленой и свежей рыбы и грибов. Иногда, после обеда, хозяин лакомил нас яблоками и мелкими грушами, произведениями своего садика, и арбузами, что было для него не особенно убыточно, потому что все эти плоды продавались в Пензе по очень недорогой цене. Хлебы черный, ситный и белый пеклись дома; квас был тоже домашний. Чай, с молоком и без него, пили вприкуску, причем давался увесистый ломоть белого хлеба, называвшегося папошником. За такое далеко не бедное содержание вместе с квартирою мы платили баснословно дешевую и, по нынешнему времени, невероятную цену: всего семь или восемь рублей в месяц порознь с каждого из нас, — следовательно, вдвоем шестнадцать рублей. При такой обстановке в главнейших потребностях жизни положение Белинского в Пензе нельзя назвать заброшенным. Притом как согласить свидетельство Иванисова о том, что «Белинский жил в Пензе в большой бедности», с тем рассказом, который следует ниже: «он страстно любил театральные зрелища и *часто* посещал пензенский театр»? [19] Для частых посещений театра нужны были постоянные деньги, хотя и невеликие: откуда же брал их Белинский при своей большой бедности? Более справедливым было впечатление М. М. Попова об отсутствии женского призора, хотя и оно, как основанное на явлении одиночном, внешнем и, может быть, случайном, не могло служить поводом к решительному заключению о заброшенности мальчика. В детские и первые юношеские годы свои Белинский был не бережлив на платье, неопрятен и даже неряшлив. Форменной одежды сначала в гимназии

не было: она введена впоследствии, да и тогда не была обязательною; гимназисты носили платье разнообразное по своему покрою и, по обычаю того времени, узкое, плотно облегавшее тело. Естественно, что серенький суконный казакин, в котором первоначально хаживал Белинский, не мог уберечься от прорех, рванья при этой погоне вокруг стола с линейкой или палкой за шалунами товарищами, дразнившими его Брынским козлом, при этих играх в мяч, лапту и городки, требовавших широкого размаха руки, и, наконец, при особенной наклонности Белинского повозиться, сохранившейся у него и в зрелые годы, хотя и не с одинаковыми побуждениями; позаботиться вовремя о починке было некому: женского призора действительно в доме не было; кухарка, или, по-пензенски, стряпуха, единственное женское лицо в нашей квартире, не могла, как простая деревенская баба, сладить с мудреной починкой, да ей, занятой вознею с горшками и прочей кухонной посудой, и некогда было обращать внимание на дело, которого ей не поручали; сам Белинский, по беспечности, свойственной тогда его возрасту, и сосредоточенный на иных, более важных интересах, мог не заметить какой-нибудь прорехи на рукаве, под мышкой. Могло случиться, что Белинский, избегая лишней ходьбы из Пешей улицы, отправился прямо из гимназии вместе с племянником Михаила Максимовича за обещанными для прочтения книгами к нему в дом, находившийся в той же Троицкой улице, на углу которой стояла и гимназия, и при случайной встрече с уважаемым учителем произвел на него грустное впечатление неприглядным атрибутом на платье, приобретенным, может быть, в тот же день в заведении. Как бы то ни было, но подобное одеяние Белинского нельзя назвать постоянным, и невозможно из одного этого обстоятельства, без уясняющей его причины, составить резкий приговор о нищете. Сверх обыденного, будничного ветхого платья, у Белинского было новое, крепкое, в котором хаживал к хорошим знакомым, жившим на широкую барскую ногу, как, например, в дом советника гражданской или уголовной палаты Феодора Феодоровича Максимова, к его сыновьям, нашим товарищам по гимназии, из которых с старшим, Алексеем Федоровичем, был очень дружен, брал у него для прочтения книги, читал с ним вместе или беседовал о литературе. Выше этого, упоминая о первом приезде своем в Пензу, я сказал, что госпожа Невешкинская, жена родного дяди моей матери, вменила мне и Белинскому в

непременную обязанность обедать у нее по воскресеньям и вообще по праздникам. Сначала мы аккуратно являлись по этому приглашению к дедушке моему, Андрею Яковлевичу Невешкинскому; но потом посещения наши стали редки: привыкшие к простоте и свободе уединенной жизни, мы охотнее оставались по праздникам дома из желания отдохнуть после шестидневного ученического труда, почитать данную на срок книгу, погулять за городом; за свое отсутствие у Невешкинских иногда в продолжение нескольких недель мы получали от них строгие выговоры; оправдываться всякий раз вымышленными предлогами — болезнию, учебными недосугами — было невозможно, и мы реже позволяли себе нарушать обычный порядок посещений потому более, что в ласке наших добрых родственников, в самом тоне упреков серьезной бабушки моей, Александры Евграфовны Невешкинской, не было ничего притворного, покровительственного, способного оскорбить самолюбие бедняков. Через Невешкинских мы получали из Чембара письма, простые и страховые, в крайних нуждах нам позволено было обращаться к ним за деньгами; но, помнится, мы только раз воспользовались данным позволением. Максимовы и Невешкинские по своему общественному положению и средствам принадлежали к пензенской аристократии, и являться к ним каким-нибудь оборванцем, неряхою Белинскому было совестно, и он ходил в эти дома хотя и бедно, но прилично и опрятно одетый. Исправлять недостатки своей будничной одежды Белинский имел довольно частую возможность: мы четыре раза в году приезжали в Чембар для свидания с родными: на Рождество, масленицу, Пасху и летнюю вакацию) за нами присылали нарочных лошадей с покойным экипажем и надежных проводников из дома моих родителей) очень редко случалось отправляться домой с так называемой оказией. Впрочем, на масленицу Виссарион оставался большею частию в Пензе, не желая затруднять себя и родных кратковременной поездкою и надеясь провести сырную неделю спокойнее в уединенной квартире за книгою и побывать лишний раз в театре. Святки, Пасху, и особенно летнюю вакацию, Белинский постоянно проводил в Чембаре, в доме родителей, и в это более продолжительное пребывание свое в родной семье Белинский имел возможность исправлять все свои нужды относительно белья и платья с помощию заботливой матери и тех денег, которыми ссужал ее муж при благоприятных обстоятельствах

своей практики. Весь мой широковещательный, но, ручаюсь головою, фактически достоверный рассказ приводит сам собою к следующему заключению. Белинский в пребывание свое в Пензенской гимназии, обеспеченный в главных статьях содержания, не имел ни в чем крайней нужды, следовательно — не терпел и крайней бедности; внешняя обстановка его жизни, лишенная особенных удобств, как, например: светлой, просторной, хорошо меблированной квартиры, барски сервированного стола, поварских блюд, заботливой прислуги, доступных детям зажиточных родителей, могла казаться в глазах такого богатого человека, каким был тогда Иванисов, непривлекательною, — но в то же время не служила явным признаком и *большой* бедности; вследствие неаккуратной запоздалой присылки из Чембара денег Белинский терпел нужду и в верхнем платье и, может быть, в крепких сапогах, но не постоянную, а только временную, случайную; имея под рукою новое праздничное платье, в котором являлся к знатным знакомым и родственникам, не остерегался заменять им будничное, разорванное, когда это было необходимо; по небрежности и беспечности, свойственной тогдашнему его возрасту, не обращал внимания на свою внешность и не заботился отдать в свободное от учения время портному свою одежду для починки, требовавшей небольшой затраты тех денег, которыми Белинский располагал для театра; очевидно, что жалкий вид, который принимал от прорех костюм Белинского, отчасти по собственной вине его, красноречиво свидетельствовал об отсутствии за ним женского призора; но выводимые отсюда из резких заключений Иванисова заброшенность и нищета, становясь в явное противоречие с тем, что сказано на 212 стр. о материальных средствах Белинских, способны были бы возбудить против родителей Виссариона Григорьевича нарекание, на самом деле нисколько ими не заслуженное, а потому несправедливое и оскорбительное для их памяти. Иванисов в число признаков бедности Белинского включает и совместное житье его с семинаристами, считая их, по-видимому, какими-то париями или прирожденными сынами нищеты. Конечно, между ними есть много бедняков, детей сельских причетников, но те помещались большею частию в бурсе на казенном содержании; но жившие на вольных квартирах были обеспечены во всех своих нуждах родителями, находившими возможность обойтись своими средствами при воспитании детей в семи-

нарии. К таким состоятельным личностям принадлежали все семинаристы, жившие с нами, за исключением одного земляка нашего, Голубинского, который был беднее других и потому поступил впоследствии в бурсу на казенное содержание. Нанимая у хозяина Петрова только квартиру с отоплением в особом флигеле, они держали стол от себя, и он разнился от нашего тем, что вместо жареного вторым блюдом у них была большею частию каша; провизию они закупали сами на артельную сумму, слагавшуюся из ежемесячных частных вкладов каждого. Обедать и ужинать они ходили в кухню хозяина, из желания быть поближе к печке и горшку, не остужать перенесением через двор горячего кушанья и иметь под рукою возможность к дополнению им общей чаши по общему или одиночному требованию лиц, сидевших за трапезой. Чай вприкуску составлял уже роскошь, которую позволяли себе только некоторые из питомцев семинарии, и притом не постоянно, а только вечером, в более свободные часы, имея в виду побсрегать данную отцом копейку на другие существенные нужды. Кроме земляков наших, Голубинского и Меридианова, о которых я уже упоминал, с нами на одном дворе и в том же флигеле жили другие семинаристы, а именно: братья Василий и Николай Гавриловичи Соколовы, уроженцы Саратовской губернии (в то время эта губерния была соединена с Пензенской в одну епархию и состояла в ведении пензенского архиерея, и воспитанники духовных училищ ее поступали для высшего образования в Пензенскую семинарию); с последним, то есть с Николаем Соколовым, Белинский был особенно дружен; с семинаристами жил некоторое время еще чиновник удельной конторы Константин Иванович, кажется, Вздвиженский, по происхождению тоже из духовного звания; таким образом, семинарский флигель был довольно густо населен. Все обитатели его были люди смирные, трезвые, трудолюбивые; никогда не было у них шумных вакханалий, тех неистовых оргий, которые нередко происходят в кругу взрослой молодежи, живущей на свободе: хозяин наш, как человек вполне трезвый и притом суровый и строгий, не потерпел бы у себя беспокойных жильцов; близкое соседство с гимназическим учителем, сыном хозяина, естественно должно было предостеречь от всяких недозволенных движений, из опасения, что слух о них дойдет до семинарского начальства; а оно держало своих питомцев в ежовых рукавицах, деспотически расправляясь с ними за малейшее

нарушение благопристойности. Без сомнения, бывали случаи, которые и у наших семинаристов не обходились без попоек, как, например, во время летних неожиданных рекреаций, больших праздников, при посещении дорогого гостя, приезжего из родного города или села, хорошего знакомого, близкого родственника; но эти угощения были всегда умеренные, не вели за собой никаких безобразных, возмутительных последствий. Совместное житье с семинаристами было благодетельно для нас во многих отношениях. Видя перед своими глазами суровую, полную патриархальной простоты жизнь этих закаленных в нужде тружеников школьного учения, умевших довольствоваться самыми малыми средствами, терпеливо переносивших всякого рода лишения при встрече с враждебною случайностию, мы сами невольно учились безропотному перенесению житейских невзгод, мужали и крепли духом, запасались тою силою, без которой невозможна никакая борьба: ни с самим собою, ни с противодействующими нам стремлениями других. Немалую пользу приносили Белинскому оживленные споры и беседы семинаристов о предметах, касавшихся философии, богословия, общественной и частной жизни; при этих спорах он не всегда был только простым, внимательным слушателем, но принимал в них и сам деятельное участие; от таких прений возрастала и развивалась та неотразимая диалектическая сила, которою всегда отличался Белинский и против которой действительно трудно было устоять. Иванисов рассказывает, что Белинский спорил с семинаристами о достоинстве произведений Сумарокова и Хераскова. Я позволю себе отнестись с недоверием к этому известию. Могло статься, что Белинский имел в то время смутные понятия об историческом правдоподобии лиц в драме, об искаженном представлении Сумароковым в Самозванце неистового злодея; нравилась, может быть, Белинскому искусная постановка пиесы на сцене Пензенского театра, увлекательное исполнение роли Лжедимитрия талантливым актером Григорием Сулеймановым, но трудно предположить, что Белинский, с природным светлым умом, эстетическим чувством, вкусом, естественно, хоть сколько-нибудь развитыми на чтении первых произведений Пушкина, баллад Жуковского, Белинский, ласкавший слух свой гармониею стихов Батюшкова, знакомый из чтения и представления на том же Пензенском театре с «Эдипом в Афинах» и «Дмитрием Донским» Озерова, которому не отказывал в даровании и

в своих литературных обозрениях, — чтобы Белинский мог отстаивать какие-то небывалые достоинства в драматических произведениях Сумарокова; полагаю, что предметом споров, если они существовали, были только эти произведения, и преимущественно «Дмитрий Самозванец», часто дававшийся на сцене, а не весь Сумароков, прочесть которого у Белинского недостало бы ни терпения, ни охоты и относительно достоинства которого, как явления не бесследного в литературе, Белинский в ту пору определить не мог. Еще менее правдоподобного в том, что Белинский защищал достоинства «Владимира» и «Россияды», подражательных эпопей Хераскова; мало правды в том, чтобы человек, прочитавший, может быть, сотню раз и заучивший почти наизусть «Руслана и Людмилу», «Братьев разбойников», «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», первые главы «Евгения Онегина» и множество мелких стихотворений Пушкина, с одинаким настроением духа и таким же удовольствием стал бы читать подобные тяжелые верши:

Пою от варваров Россию свобожденну.
Попранну власть татар, их гордость низложенну[20].

Не оспариваю известия Иванисова о том, что Белинский восхищался романами Радклиф: загадочными приключениями своих героев, таинственными явлениями подземного мира, привидениями и прочею небывальщиной они способны были пленять пылкое воображение юного читателя. Сколько припомню, семинаристы, жившие с нами, считали себя в литературных познаниях ниже Белинского и настолько доверяли его вкусу, что нередко просили его выслушать школьные произведения пера своего. Белинский, бывало, читал им вслух статьи из добытых им журналов, сообщал свои мнения и воззрения, делился впечатлениями; особенными соучастниками этих чтений были Голубинский и Николай Соколов, очень даровитые люди. С своей стороны, они не оставались у него в долгу: помогали ему в занятиях древними языками, проверяли его переводы с русского на латинский и обратно. В наше время в гимназии не учили греческому языку, и Белинский, задумавший поступить в университет на филологический (по-тогдашнему — словесный) факультет, приготовился из греческого с помощью семинаристов настолько, что порядочно знал этимологию и кое-как переводил краткие предложения и в состоянии был выдержать вступительный

университетский экзамен, требования которого были в ту пору не очень строги. Латинский язык Белинский знал несравненно лучше, начав изучение его еще в Чембаре, где, вероятно, при помощи отца ознакомился с чтением, потом занимаясь латынью в гимназии под руководством добрейшего учителя Дмитревского и на квартире, при деятельном пособии семинаристов. Питомцы наших духовных училищ издавна славились знанием древних языков; в бытность нашу с Белинским в Пензе в семинарской бурсе жил рослый и уже возмужалый ученик философского или богословского класса, Масловский, которого за удивительную память и знание древних языков товарищи прозвали олицетворенным греческим и латинским словарем и часто обращались к нему с вопросами о значении того или другого слова; и живой лексикон вполне удовлетворял их, сообщая скороговоркою не только понятие, выражаемое словом, но и несколько фраз и перифраз, объясняющих его разнообразное употребление в речи. Такое знание возможно только при постоянном, усидчивом труде, образцом которого всегда служили семинаристы, и в этом отношении они могущественно влияли на обоих нас; видя перед своими глазами рослых молодых людей, заучивающих целые страницы латинского текста, неподвижно сидящих до поздней ночи над латинским или греческим переводом, мы и сами, увлекаемые общею ревностью и благим примером, принимались за приготовление гимназических уроков, обращаясь в трудных случаях, особенно при переводах с русского на латинский, за советом и помощью к своим добрым менторам. Вообще положительно можно сказать, что своими очень порядочными сведениями в латинском языке, умением переводить из Корнелия Непота и отчасти Цицерона (De officiis) * Белинский обязан большею частью семинаристам; неудовлетворительные отметки, полученные им в последнее время пребывания в гимназии, объясняются охлаждением к обязательному учению при задуманном намерении оставить гимназию. Участие, которое принимали в нас семинаристы, не ограничивалось одним учением: их советы, предостережения, одобрение, укоризны касались нашего личного поведения, наших отношений к гимназическим товарищам и наших материальных нужд, как-то: покупки необходимых вещей, заказов обуви и платья, одним словом, мы сливались с ними в один родст-

---

* «Об обязанностях» (*лат.*).

венный кружок. Один только выбор удовольствий мог делать разницу между нами, как еще несовершеннолетними, и семинаристами, людьми уже взрослыми, но многие из удовольствий сближали нас, как, например, игра в мяч, шашки и карточная — в дураки, свои козыри, короли; между семинаристами, жившими с нами, впоследствии, при переезде из Верхней Пешей улицы в Среднюю Пешую, в дом Малениной, был очень молодой, из малороссиян, ученик риторического класса; фамилии его не припомню; с ним и с Николаем Соколовым Белинский любил вступать в единоборство: подкравшись сзади, он наносил им ловкий удар в спину или давал щелчок в затылок и быстро обращался в бегство, вызывая издали на дворе различными гримасами и поддразниваниями на погоню за собою; если вызванный на преследование настигал Белинского в комнате или на дворе, тогда начиналась возня на постели или на полу, оканчивавшаяся всегда в пользу семинариста, как более рослого противника. Самое лучшее, соединявшее все вкусы удовольствие доставлял театр; страсть к нему не была исключительною принадлежностью одного Белинского: она в равной, если не в большей, степени овладевала душою всей учащейся молодежи, и семинаристов в особенности; я очень хорошо помню наружность двух бурсаков Пензенской семинарии, Сахарова и Кандачарова, которые вышли чуть ли не из последнего богословского курса для того, чтобы поступить на сцену; живо помню, как первый в роли крестьянина в опере Аблесимова «Мельник» до того увлекся, что в ссоре со своею женою, урожденною дворянкою, дал представлявшей ее актрисе сильный толчок, сваливший ее с ног с неприличною наготою и вызвавший неистовый хохот невежественного партера и негодующий свист и брань со стороны лож и кресел. Для театра откладывались, приберегались особые деньги, присланные из дому или полученные на кондициях, для посещения театра употреблялись всякого рода средства, дозволенные и недозволенные, как-то: подкуп театральной прислуги, подделка билетов, бланки для которых печатались в губернской типографии, обратная тайная передача уже предъявленных на ненумерованные места; но не помню, чтобы семинаристы, жившие с нами, прибегали к подобным мерам. Когда у Белинского недоставало собственных денег для театра, он прибегал к займам, которые всегда уплачивались при получении из дома денег. Величайшее удовольствие доставляли нам внезапные, неожиданно даруемые,

бывало, рекреации в мае или в начале июня. Обыкновенно это происходило так: в ясный и притом жаркий день, часу в восьмом или девятом утра, на обширном дворе семинарии, стоявшей наискось против гимназии, вдруг грянет пятисотенный хор перед окнами ректорской квартиры следующую оглушительную, но довольно стройную песнь: «Reserendissime pater et noster rector dignissime! rogamus recreationem» *, песнь повторяется по нескольку раз до тех пор, пока не раскроется заветное окно и пока рука ректора не осенит своим разрешающим рекреацию благословением многочисленнейшей толпы; подобные попытки и просьбы семинаристов почти всегда венчались полным успехом, потому что они начинались с предварительного согласия главы заведения, сообщенного заранее кому-либо из его приближенных или профессорам. Увлекаемые соблазнительным примером, и гимназисты обращались в тот же день к директору с такою же просьбою, но с тем только различием, что громогласная песнь семинаристов заменялась немою надписью на досках всех классов того же самого латинского обращения с заменою слов «pater» и «rector» словами «domine» и «director» **. Пришедший в гимназию начальник сперва холодно принимал затеи воспитанников, отвечал на них решительным отказом; но в конце концов склонялся на неотступные просьбы учеников старших классов и отпускал гимназистов, советуя им перед отдыхом приготовить уроки, заданные к следующему дню. Рекреации посвящались большею частью загородным прогулкам: мы отправлялись в леса и рощи и нередко на реку Суру, протекающую невдалеке от Пензы, и там купались и ловили рыбу удочкою и бреднем; подобные более отдаленные прогулки предпринимались не иначе как в обществе живших с нами семинаристов. Из всего сказанного очевидно, что сближение с ними Белинского не только не могло служить поводом к заключению о невыгодном внешнем положении его, но во многих отношениях было для него благодетельно. На Рождество, Пасху и на вакационное летнее время мы и земляки наши, семинаристы Меридианов и Голубинский, переселялись из Пензы в Чембар, стоящий на большом сибирском тракте, в ста двадцати верстах от губернского города. Поездки

* «Наисветлейший отец наш и достойнейший ректор! просим рекреации» (*лат.*).

** «отец», «ректор», «господин», «директор» (*лат.*).

наши редко совершались чрез посредство оказий, хотя последние были и очень часты; обыкновенно за мною и Белинским присылались, как я уже упомянул, нарочные лошади из дома моих родителей, возницею был почти всегда Федор Петрович Сурков, крепостной дворовый служитель, ремеслом портной, человек очень неглупый, расторопный и распорядительный, но в то же время большой картежник и, при удобном случае, поклонник Вакха; оттого иногда происходило, что Сурков при минутной остановке у кабака или во время кормежки лошадей на постоялом дворе, угощаясь сам отрадным зельем, попотчует им и нас, ради согревания крови зимою или крепкого сна и веселого пути и в летнюю пору; погрузившись в вынужденный сон, мы не замечали, что наш кучер не замедлял последовать нашему примеру, предоставив лошадям идти мерным шагом по торной и знакомой уже им дороге; мы замечали такую свободу действий со стороны нашего проводника, когда при большом ухабе вылетали из саней или просто опрокидывались вместе с ними; однажды в летнюю ночь мы очутились с повалившеюся набок бричкою в канаве, идущей вдоль дороги. Очнувшийся при этом, к счастью безвредном, падении, наш Федор Петрович быстро поднимался и исправлял свою оплошность, умоляя нас не жаловаться на него по приезде домой, что, конечно, исполнялось: при радостной, веселой встрече с родными всякая неприятность дороги совершенно забывалась. До наступления святок время проводилось в приготовлении к ним разных увеселений; Белинский любил маскарады, и он заранее запасался к ним и костюмами, и масками собственного своего изделия. Впрочем, о костюмах Виссарион редко заботился: он любил наряжаться русским мужичком и для того всегда находил готовое платье у кучера своего, Василия; в суконном чепане, в теплой кучерской шапке с заломом, в кожаных рукавицах, в бородатой маске, Белинский отправлялся, бывало, в дом к нам, Ивановым, и скоро, узнанный по голосу, хотя и искусно измененному, и походке, он снимал маску и начинал гримасничать, петь нескладные песни, шатаясь из стороны в сторону, представлял собою сильно подгулявшего Антона или Вавилу. В доме нашем жила дальняя родственница наша, Авдотья Александровна, девица лет девятнадцати или двадцати, очень красивая, но от природы или несчастного падения хромая, с сведенною левою ногою и ходившая поэтому на костыле. Виссарион особенно любил забавлять и по-

тешать ее, когда она сидела за пяльцами у окна. Принявши на себя роль захмелевшего мужичка и называя Авдотью Александровну своею женою, он начинал напевать ей несвязную песнь: «Молода жена, Авдотьюшка, полюби меня, добра молодца». Этою и подобными песнями, гримасами, кривляньями, пачканьем лица сажею он старался рассмешить серьезную, постоянно углубленную в свою работу Авдотью Александровну и часто приводил ее в неудержимый смех, а иногда надоедал до того, что молода жена поднимала над ним угрожающий костыль и нередко слегка ударяла его, заметив на руках своих и на работе следы сажи от поцелуев неотвязчивого муженька. Вообще когда Белинский был в духе и в кружке людей, к которым относился с доверием и любовью, неугомонной веселости его не было конца, и его приходилось остепенять или настоятельною просьбою, или обращением внимания на вопрос, требующий холодного, спокойного рассуждения. На маскарадных и простых вечеринках Виссарион, хотя особенно и не любивший танцев, охотно принимал в них участие, когда в среде танцующих дам были личности, пользовавшиеся его преимущественным вниманием и уважением. Танцам мы учились еще до поступления в гимназию у какой-то заезжей танцмейстерши; тогда были в полном ходу и матрадуры, и менуэты, и другие старинные, теперь забытые, танцы. Виссарион Григорьевич, по своей сутуловатости и неуклюжести, не отличался в танцах грацией и больше ходил в них скорым шагом, чем танцевал; а затейливое solo в кадрили выделывал так же отчетливо, как на танцевальном уроке. Нередко во время святок и летней вакации устраивались в нашем доме спектакли; однажды, на Рождестве, разыграли мы оперу Аблесимова «Мельник, колдун, обманщик, сват». Хорошо помню, что роль мельника исполнял семинарист Михаил Семенович Меридианов; роль молодого крестьянина Анкудина — другой семинарист, Аркадий Степанович Голубинский; роль Анюты, невесты этого крестьянина, играл я, как самый младший из актеров; на долю Белинского выпала роль отца Анюты, но кто играл жену его, урожденную дворянку, я совершенно не помню; арии свои Виссарион передавал неискусным речитативом, потому что к музыке и пению был совершенно неспособен. На вакации 27-го или 28-го года мы давали на домашнем театре своем серьезную пьесу: драму Шекспира «Отелло», но в переводе с французской искажен-

ной переделки этого творения великого английского драматурга, состроенной Дюси. Здесь искажены не только многие подробности, монологи, но и самые имена действующих лиц без всякой нужды заменены другими: вместо Дездемоны является Эдельмона, вместо злодея Яго — Пезарро, вместо глупой жены его Амалии выставлена какая-то наперсница Дездемоны — Эмилия[21]. Роли были распределены так: 1) Венецианский дож — старший брат мой, Алексей Петрович Иванов, неизменный издетства друг и приятель Виссариона Григорьевича, 2) Брабанцио, сенатор, отец Дездемоны — семинарист М. С. Меридианов, 3) Отелло — семинарист А. С. Голубинский, 4) Яго, или (по Дюси) Пезарро — В. Г. Белинский, 5) Дездемона (по Дюси — Эдельмона) — пишущий эти строки, 6) Кассио — второй старший брат мой, Николай Петрович Иванов; 7) Амалия, или (по Дюси) Эмилия — брат Виссариона, Константин Григорьевич Белинский. Немые роли сенаторов, солдат исполняли канцелярские чиновники земского суда. Пока шли ежедневные репетиции, дамские члены наших семейств усердно заботились о приготовлении костюмов: все шали и платки обращались в плащи и мантии, на голове Отелло, кажется, красовался дамский берет со страусовым пером, прикрепленным к нему металлическою пряжкою; мавр был вооружен неподдельною саблею и деревянным кинжалом, которым должен был заколоть Дездемону, а потом и себя. Роли были разучены превосходно, и представление пьесы привело в восторг городскую публику; особенно отличились своей игрой Голубинский, Меридианов и Виссарион. Он с большим старанием приготовлялся к спектаклю: просил других выслушивать его монологи, сходился с Голубинским для повторения своих с ним сцен; сопровождая речь свою приличными телодвижениями, он становился перед большим зеркалом и вообще исполнял роль свою с большим одушевлением. Трагедия, разыгранная нами, не обошлась без комизма: брат Виссариона, Константин, говоривший всегда тихо, при появлении на сцену в роли Амалии или Эмилии до того понизил голос от робости и застенчивости, что речь его едва была слышна и в первом ряду зрителей; бабушка Мария Ивановна, мать его, желая ободрить сконфузившегося актера, начала громко аплодировать ему и тем окончательно заглушила едва слышный голос. Когда Отелло в полном исступлении своей ревности занес кинжал, готовясь поразить склонившуюся перед ним на коленях

Дездемону, матушка моя, Федосья Степановна, опасаясь воображаемого вреда для меня, закричала со своего места Голубинскому: «Аркадий Степанович, пожалуйста, потише, не убейте Митеньку!» Видя, что дело обошлось благополучно, сама начала вторить возбужденному ею смеху в публике. Этот забавный факт свидетельствует и о том искусстве и правдоподобии, с которыми Голубинский исполнял принятую на себя роль. В числе удовольствий на святках и масленице, кроме катания на лошадях по городу, особенно любимым Белинским и всеми нами было катание с больших снежных гор, которые метались общими усилиями на дворе Белинских и нашем, обильно поливались в морозы с вечера водою из колодца; катались с гор на салазках, корытах и особенно на ледянках (так назывались решета, дно которых снаружи закладывалось навозом и заливалось ежедневно утром и вечером водою для замораживания). На святой неделе обычною забавою было катание яиц в комнате, а на дворе качание на качелях, также собственноручно устроенных и остававшихся неприкосновенными на все лето. В вакацию, кроме вечерних прогулок за длинною шеренгою дам и девиц, предпринимались прогулки и даже поездки с самоваром в отдаленные леса за ягодами и грибами. Я с намерением распространился в указании этих игр и удовольствий, желая показать, насколько Белинский был способен предаваться разнообразным впечатлениям в свои юношеские и детские годы, при каких условиях росла и зрела его жизнь и как под влиянием этой беспечной, резвой поры своей он мог укрепить свое здоровье, сулившее ему долгие дни, но преждевременно погубленное не столько вследствие враждебных встреч с бедностью и нуждою, сколько по своему неблагоразумию, самонадеянности и невоздержности и неумеренности в удовольствиях, свойственных зрелому возрасту. Как до поступления в гимназию, так и во время отпусков из нее Белинский большую часть времени, и, можно безошибочно сказать, даже ежедневно, проводил в нашем доме, частью и для того, чтобы избегать тягостного зрелища бедственной размолвки между родителями, а более всего для того, чтобы приятно провести время в беседе с матушкою и сестрою Катериною Петровною, которые пользовались задушевною привязанностью и особенным уважением, и в обществе старших моих братьев, Алексея и Николая, которые были сверстниками его, с небольшою разницею в летах. Желая поверить мои воспоминания и

давно минувшие впечатления относительно детства Виссариона и особенно враждебных отношений, существовавших между его родителями, я просил сообщений о Белинском у сестры Катерины Петровны, и вот что она написала ко мне.

От 15 октября 1874 года: «Третьего дня получила письмо Ваше, дорогой братец, спешу ответить на него. Очень рада случаю услужить Вам в этом деле, о котором Вы пишете; посылаю Вам два письма Белинского: одно к родителям нашим, другое ко мне и брату Алеше. Письма эти писал Виссарион Григорьевич в первый год поступления своего в университет. У меня были еще его письма, — не помню, кому я их передала, как будто Вере Петровне, а может быть, оставила их в Пачелме, у матушки, — не помню. Что касается до сочинения, о котором напоминает г. Пыпин, то я наверное могу только припомнить, что это была драма, но ни содержания ее, ни названия не помню; отрывками он читал ее, но ведь около пятидесяти лет прошло с тех пор. Помню, что я советовала оставить это предприятие, зная, как он способен был увлекаться и во многом поступал безрассудно, делал промахи[22]. Что касается до семейной жизни его родителей, то я нахожу, что Вы передали ее совершенно верно, одно только Вы недосказали, что дедушка был человек беспечный, за что справедливо роптало его семейство. Жена его беспрестанно за это упрекала, из чего происходили серьезные ссоры; еще дедушку можно упрекнуть в том, что он любил подсмеиваться над своей женой; она по своей раздражительности не могла переносить шуток, а потому не проходило дня без ссоры. Виссариону Григорьевичу тяжело было смотреть на семейную жизнь родителей; он приходил к нам и почти жил у нас. Г-н Пыпин, вероятно, много собрал сведений о характере Белинского. Я знала его ребенком и юношей и только могу сказать, что это был самый пылкий характер, он подмечал смешные стороны у людей, осмеивал беспощадно. Вот все, что могла припомнить». В следующем затем письме, от 10 декабря 1874 года, сестра пишет: «Вероятно, Вы уже получили мое письмо, в котором вложено два письма Белинского. Все, что я могла припомнить о нем, я Вам сообщила; а на новые вопросы я могу положительно сказать только то, что дедушка Виссариона Григорьевича был священник благочестивой, святой жизни; его считали за праведника, да и действительно он таким и был тогда, когда я его знала, и, помню, он

жил в келье и постоянно молился: это был аскет. Я помню его очень хорошо: как он приезжал в Чембар на похороны своей дочери, а нашей бабушки, Марии Никифоровны (*родной матери нашей матушки, Федосьи Степановны.* — NB. Д. П. И.), останавливался у нас, и как рады были наши родители принять такого праведника. Что же касается до семейной жизни родителей Виссариона Григорьевича, то вы можете подробнее узнать от Александры Григорьевны Козьминой (NB. Д. П. И. — *родная сестра Виссариона Григорьевича, которая наотрез отказала мне в сообщении этих сведений, считая оскорбительным для памяти родителей помещать в печати известие о их семейных несогласиях. Несмотря на мое подробное письмо, разъясняющее ей мои добрые намерения при этом, старушка не отвечала мне ни слова, с тем и умерла в начале августа 1875 года*), она уже была в таких летах, что могла понять их. По моему мнению, хотя дедушка Григорий Никифорович был человек очень умный и добрый, но совершенно беспечный и даже ленивый и, наконец, предался пьянству до того, что совсем потерял практику, и действительно они в последнее время жили в нужде. Но я не думаю, чтобы у Виссариона не было приличной шубы и он носил бы нагольный тулуп: все-таки такой крайности не было. Семейный их разлад начался с первого времени их женитьбы, и я все-таки виню в этом дедушку: он беспрестанно поддразнивал свою жену, женщину вспыльчивую, раздражительную; но все-таки она была хорошая, заботливая мать; да как ей и не возмущаться, видя такое равнодушие к детям и своим семейным обязанностям мужа? Вы справедливо вспоминаете, что матушка наша была их миротворительницею: они часто посылали за нею, чтобы разобрать и рассудить, кто из них виноват; матушка их мирила, успокаивала, но ненадолго».

Вот все, что я получил от сестры. Свидетельство ее о личном поведении родителей Белинского во время возникавшей между ними размолвки, в сущности, сходно с моими показаниями о том же предмете; но в своих заключениях она берет под защиту мать и вооружается против отца, тогда как я старался оградить его от нареканий. Сестра Катерина Петровна далеко старше меня летами, ее впечатления и суждения должны быть основательнее и справедливее моих. В ту пору я был еще очень молод: мне не исполнилось шестнадцати лет при поступлении в студенты университета; пропущенный

в метриках, я получил свидетельство о своем рождении по следствию, произведенному духовной консисториею, и в этом свидетельстве мой нормальный возраст увеличен на целый год, и потому только беспрепятственно принят в университет. Я ничего не знал о беспечности и лени дедушки, в которых обвиняет его сестра; я не мог составить определенного понятия о пагубной наклонности его к вину; я никогда не видал его в положении человека, сильно опьяневшего; я думал тогда, что употребление вина, унаследованное им на службе во флоте, обратилось у него в привычку и производилось в умеренных размерах. После сообщений сестры мне становится ясным, что, кроме причин, зависевших от личного характера дедушки и уже указанных в биографии, к уменьшению практики его содействовала и нетрезвая жизнь его: трудно было доверяться человеку, постоянно пребывавшему в возбужденном состоянии; здесь кроется и причина той недоверчивости, тех опасений за жизнь, о которых говорится на 213 стр.: это была галлюцинация сильно пившего человека. Не винить отца Белинского за такую бесхарактерную опущенность, за такую невоздержность и происходившие от нее беспечность, лень, равнодушие к семье — невозможно; но нельзя оставить без внимания и тех обстоятельств, которые возбудили и воспитали в нем пагубную страсть. Видя вокруг себя совершенную пустоту: и в общественной, служебной среде, и в семействе, где жена, вместо того чтобы кротко, любовно, доверчиво относиться к мужу с своими нуждами, встречала его позорною, неприличною бранью (как, напр., анафема — обычная и любимая ее брань), где собственные его дети смотрели на него исподлобья, как на дикого зверя, видя перед собою бездну нужд и ограниченность средств к покрытию и х , — человек обессилел, опустился от тяжкой борьбы с ними, низошел до постыдного поведения. Совершенно ясно помню, как однажды дедушка, зашедший к нам поутру, на увещания моей матери относительно снисхождения к жене отвечал своей племяннице: «Да, если бы она была похожа на вас и так обращалась с мужем, как вы с своим». Это подлинные, личные слова его, свидетельствовавшие о возможности лучших отношений к жене под условием ласкового обхождения с мужем. По окончании университетского курса в 1834 году я уехал на отдых в Пензенскую губернию и в августе был свидетелем смерти бабушки,

Марии Ивановны. Когда она закрыла навсегда глаза и начались приготовления к ее одеванию, я, не видя дедушки в доме, выбежал искать его на дворе и нашел на огороде лежавшим ничком на копне сена; услышав глухие рыдания, я обратился к дедушке с невольными, хотя и неуместными в такую трудную минуту, утешениями, и он, подняв голову, отвечал мне прерывающимся от рыданий голосом: «Ах, Дмитрий Петрович, ты еще молодой человек и не понимаешь всей великости моей потери!» Что говорили эти слезы, проливаемые без свидетелей, втайне? В них оплакивал он действительно великую потерю доброй, любящей матери, заботливой хозяйки, личности, хотя и враждебно относившейся к нему, но с которою он сроднился силою привычки. Если же эти слезы были выражением сердечной привязанности, раскаяния в своем неблагоразумном поведении относительно жены, тогда в них сказывается лучший человек. Бабушка была добрая женщина и заботливая мать, но попечения ее о детях преимущественно сосредоточивались на одних материальных потребностях детей: на пище и нарядах. Дочь ее, с большим природным умом, находившаяся под ее непосредственным надзором, осталась без всякого образования; она не приучила ее даже к чтению, не могла внушить ей расположение пользоваться даровыми уроками французского языка и музыки у сестры моей Катерины Петровны, так же как это сделала младшая сестра моя, Вера Петровна, научившаяся очень порядочно понимать этот язык и музыкальную технику у своей старшей сестры и прекрасно владеющая отечественным языком вследствие начитанности. Если бы бабушка с таким же усердием учила дочь свою, с каким наряжала ее и готовила ей приданое, тогда Александра Григорьевна не осталась бы навек малограмотною и не испытала бы преждевременной и плачевной кончины. Отец сделал для сыновей, что мог: оба они, Виссарион и Константин, учились в уездном училище; первый пошел далее, а второй, по неспособности, ограничился училищным образованием: попытки провести его через гимназию в университет не удались и самому Виссариону. Третий сын, Никанор, вначале испорченный непростительным баловством отца, поведавшего в нем впервые сыновнюю привязанность и сквозь пальцы смотревшего на его бешеную резвость и озорничество, но впоследствии, с переездом в Москву, совершенно остепенившийся и смиренный

юноша, не поступивший в университет по неприязни профессора Степана Петровича Шевырева к Виссариону Белинскому, умер в военной службе на Кавказе, куда так опрометчиво сослал его брат, слишком сурово решивший судьбу молодого человека, достойного лучшей участи. В гимназии Виссарион содержался средствами отца, в которых он ему не отказывал; с поступлением в университет на казенный кошт Виссарион не вправе был требовать денег от отца и сам уклонялся от получения их. Я не знаю и не помню ни одного случая жестокосердого обращения дедушки с Виссарионом, и рассказ какого-то современника, близко знавшего его, о побоях, нанесенных отцом десятилетнему сыну, считаю неправдоподобным; сам ли рассказчик был очевидцем этого зверского поступка или слышал об нем от кого и когда, в биографии не объяснено; от Виссариона и родных я не слыхал ничего подобного[23]. Авторитет Виссариона, на который опирались мать и брат в своих доносах и жалобах, свидетельствует уже о некотором уважении отца к старшему сыну. Укорительные письма его к отцу скрывались домашними из опасения его гнева: значит, в них говорилось по поводу и таких доносов, которые своею несправедливостью были достойны этого гнева. В некоторых шутках Григория Никифоровича, которыми возмущались жена и дети, в сущности, не было ничего оскорбительного. Долгоносый кулик, носан (большеносый) были не что иное, как ласковые прозвища, данные мне дедушкою и Виссарионом; подобных прозвищ не терпели Константин Григорьевич и бабушка. Впрочем, я незнаком с содержанием писем, полученных Белинским из дому, и не могу судить о том, насколько поведение дедушки, изображаемое в них, было неодобрительно. Для меня ясно теперь одно то, что пагубная невоздержность была причиною неблаговидных поступков Григория Никифоровича, так противоречивших его превосходному уму и сердцу. По природе своей Виссарион ближе подходил к отцу, чем к матери. Высокие нравственные черты характера, прямодушие, стойкость убеждений, наклонность к шуткам, насмешке — наследовал он от отца; доброе чадолюбивое сердце (Белинский очень любил детей младенческого возраста), вспыльчивость, раздражительность, неумеренная чувственность — перешли к нему от матери. Я вполне уверен, что тайная симпатия Виссариона принадлежала отцу, и сын не-

даром оплакивал его. В 1835 году я получил от матушки письмо о смерти Григория Никифоровича, в котором она описала, как дедушка в последние минуты свои искренно раскаивался в своих прошедших заблуждениях, искренно просил прощения у всех, кто окружал его смертную постель. Когда я осторожно передал это известие Виссариону, жившему тогда на Козихе, он лег ничком на кушетку, скрыв лицо в подушке, и тяжело дышал; через несколько минут он встал, и я заметил на глазах его слезы. Я дал прочесть ему письмо матери и недолго оставался у него, желая дать покой душе его, встревоженной горестною вестью.

Вот все, что я мог припомнить о детстве и юности Белинского.

Н. А. АРГИЛЛАНДЕР

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ

(Из моей студенческой с ним жизни)

Виссарион Григорьевич Белинский, воспитанник Пензенской гимназии, по предварительно выдержанному им университетскому испытанию, в 1828 году, вместе со мною поступил на филологический факультет Московского университета казеннокоштным студентом [1], и я, в числе еще пяти товарищей студентов *, поместился с ним в одном номере университетского казенного здания, где и прожил с ним почти неразлучно три года. Белинский был всегда отличный товарищ, и, несмотря на небольшую вспыльчивость его характера, я жил с ним, что называется, душа в душу. В конце 1830 года появилась в Москве холера, сопровождаемая таким паническим страхом, что все присутственные места, театры, собрания позакрывались и чтение университетских лекций прекратилось. Все казеннокоштные студенты медицинского факультета, не исключая даже и вновь только что поступивших, в числе семидесяти человек, размещены были по вновь устроенным холерным больницам, и что всего удивительнее, что ни один из этих студентов, несмотря на страшную эпидемию и постоянное обращение с труднобольными и умирающими, не почувствовал даже малейшего признака этой болезни. Мы от нечего делать ходили неоднократно с Белинским по этим холерным больницам к студентам-медикам и пили с ними постоянно прямо из бочек чуть ли не ковшами больничное красное вино, что, может быть, нас и предохраняло. Самая неприятная вещь — это было

---

* М. Б. Чистяков, П. С. Нечай, Н. П. Матюшенко, В. С. Саренко [2]. (*Прим. Н. А. Аргилландера.*)

возвращение наше в здание университета, где нас окуривали какою-то гадостью с омерзительным запахом. Белинский всегда этим страшно возмущался.

Студенты прочих факультетов, как своекоштные, так и казеннокоштные, оставаясь без занятий, устроили по подписке, в одной из зал университета, любительские спектакли, па которых женские роли исполнялись тоже студентами. Оркестр для театра был свой, из своекоштных студентов, под управлением знаменитого в то время своими музыкальными способностями студента Радивилова; он играл на всевозможных инструментах, и играл как артист, в особенности же он увлекал публику своею игрой на устроенной им самим так называемой балалайке, на которой струны были без ладов. Все увертюры были собственного его сочинения, но, странно, он не имел зато никаких способностей к научному образованию и, просидев почти семь лет на скамье университета, выпущен был с чином двенадцатого класса, по милости профессоров, во внимание только к его замечательному музыкальному таланту. Все необходимое для театра, как-то: занавес, декорации и прочие принадлежности, — все это сделано было собственноручно студентами. Спектакли были до того хороши и занимательны, что М. С. Щепкин — знаменитость того времени — не пропускал ни одного спектакля и ходил к нам постоянно за кулисы; для московской же интеллигентной публики, несмотря на продолжавшуюся панику, за день до представления не было уже свободного места. Белинский не принимал участия в представлениях, по неимению для того никаких сценических способностей, но был не один раз хорошим суфлером. Нам, казеннокоштным студентам филологического факультета, так называемым словесникам, эти невинные развлечения, как-то заучивание ролей и самые репетиции, доставляли мало удовольствия. Мы согласились, сверх того, устроить между собою еженедельные литературные вечера, на которых каждый из нас должен был представить свое какое-либо литературное произведение и прочесть его вслух, а затем на этих вечерах начинались учено-литературные диспуты о всех вышедших в то время замечательных сочинениях, с должным на них критическим взглядом. Белинский в этих диспутах мало высказывался, но, обладая огромною памятью и вместе с тем необыкновенною способностью одну и ту же идею развивать или, как мы тогда выражались, мыкать на двух-трех и более страницах, все эти наши взгляды

и суждения поместил в своих ранних литературно-критических сочинениях [3].

На этих наших вечерних собраниях Белинский читал большею частью из своей, тогда задуманной им, как он называл, трагедии «Владимир и Ольга» [4]. Вся основа этой трагедии, или, лучше сказать, драмы, была та, что, при существовавшем тогда крепостном праве, один из дворовых людей какого-то богатого помещика, случайно как-то получивший университетское образование и притом страстно еще влюбленный в какую-то Ольгу, делается жертвою грубого произвола своего неразвитого барина. Белинский читал все эти сцены с большим увлечением, и всем, по тому времени весьма резким, монологам мы страшно аплодировали, и многие из нас советовали даже с окончанием этой пиесы представить ее на рассмотрение цензурного комитета, для того чтоб можно было поставить ее на сцену нашего университетского театра. С окончанием этой пиесы и некоторыми сделанными в ней изменениями, при общей нашей помощи, она была переписана, и Белинский самолично представил ее в комитет, состоявший из профессоров университета. Прошло несколько дней в нетерпеливом ожидании, как вдруг, раз утром, — в это время я был один с ним в номере и мы занимались чтением какого-то периодического журнала, — его потребовали в заседание комитета, помещавшегося в здании университета. Спустя не более получаса времени вернулся Белинский, бледный как полотно, и бросился на свою кровать лицом вниз; я стал его расспрашивать, что такое случилось, но ничего положительного не мог добиться; он произносил только одно, и то весьма невнятно: «Пропал, пропал, каторжная работа, каторжная работа!» [5]

Заглянув ему в глаза и увидав почти смертельную бледность лица, я крикнул сторожа, приказал принести воды и, сбрызнув его, дал немного напиться. Когда же он стал успокаиваться, я более его не расспрашивал, догадавшись, в чем было дело, и только настоял на том, чтоб он сей же час отправился в клиническое отделение казеннокоштных студентов, помещавшееся на том же университетском дворе, близ анатомического театра, и проводил его туда вместе со сторожем.

Вечером того же дня я был в больнице и узнал от него, что профессора цензурного комитета распекли его таки порядком и грозили, что с лишением прав состояния он будет сослан в Сибирь, а могло случиться еще что-нибудь

и хуже. Я его успокаивал по мере возможности и доказывал ему, что самое большее, что могли с ним сделать, — это послать его, как не окончившего курс казеннокоштного воспитанника, учителем приходского училища или исключить из университета. Мне душевно стало жаль Белинского и сделалось досадно на самого себя, что, говоря откровенно, хотя и не советовал представлять эту трагедию в цензурный комитет, но мог удержать его от этого, тем более что он бы меня послушался.

В начале 1831 года холера почти прекратилась, и я стал готовиться к выпускному экзамену, и, несмотря на свои усиленные занятия, я все-таки постоянно навещал Белинского в больнице, носил ему чай, сахар, табак и, по усиленному его желанию, малую толику *очищенной.* В знак своей признательности он вызвался написать мне одно рассуждение по кафедре русской словесности, за которое я, вместо ожидаемой отметки — четыре, получил от профессора Давыдова *единицу* *. Рассчитывая, таким образом, окончить курс со степенью кандидата, я выпущен был со степенью действительного студента и вскоре затем, как казеннокоштный воспитанник, послан был в распоряжение Дерптского университета, где и получил место преподавателя русского языка, истории и географии. Перед отъездом моим из Москвы Белинский оставался еще в больнице, где я и простился с ним по-приятельски. Впоследствии, как я узнал, мои предсказания сбылись; но не могу понять только одного, как такой студент, как Белинский, не мог выдержать экзамена на звание приходского учителя и затем вместе с одним студентом-медиком, действительным идиотом, по освидетельствовании их медицинским профессором Армфельдтом, признан был неспособным к слушанию университетских лекций и исключен из университета[6]. Бывший когда-то моим домашним учителем в Рязани, профессор эстетики и археологии Н. И. Надеждин принял в Белинском большое участие, поместил его у себя на квартире, и Виссарион Григорьевич стал помещать в издаваемых Надеждиным тогда журналах «Телескоп» и «Молва» большею частью свои переводные статьи, а иногда свои учено-литературные критические статьи. Н. И. Надеждин, как издатель, за помещенную им в своем журнале «Телескоп» философскую статью

* Почему? было плохо или, может, либерально? (*Прим. Н. А. Аргиллапдера.*)

Чаадаева был сослан на жительство в Вологодскую губернию; Белинский же, как замечательно даровитый сотрудник журнала, был приглашен в Петербург, где за, три тысячи рублей годового содержания стал помещать свои статьи в «Отечественных записках» [7].

По приезде в Петербург Белинский избегал всякой встречи с своими прежними университетскими товарищами, в особенности с бывшими казеннокоштными воспитанниками; он возненавидел их окончательно [8], но со мною он обходился всегда по-приятельски. Последняя встреча его со мною была в 1844 году в Павловском вокзале, за буфетом. Он был уже женат, и я, желая его поздравить, предложил ему налитой стакан шампанского; он обругал меня непечатным словом и велел налить две рюмки очищенного; я, зная раздражительный его характер, должен был с ним чокнуться и поцеловаться. С тех пор я уже больше с ним не встречался.

П. И. ПРОЗОРОВ

БЕЛИНСКИЙ И МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЕГО ВРЕМЯ

(Из студенческих воспоминаний)

В 1830 году, при появлении в Москве холеры, прекращено было чтение лекций в университетских аудиториях; казенным студентам воспрещен был выход за ограду университета; предписаны правила гигиены; из казенных студентов медицинского факультета многие размещены по учрежденным тогда временным больницам. Но при паническом страхе и унынии в столице не слишком робели и унывали казенные студенты в своем карантинном заточении, особенно *словесники,* жившие в 11-м номере, который инспектор студентов прозвал *зверинцем.*

В этом номере, вместе с другими студентами, жили Белинский и я. Название же зверинца нашему номеру дано было по следующим обстоятельствам. Однажды Белинский, М. Б. Чистяков и я сидели на столах, табуреты были под ногами. Разговор шел о каком-то очень интересном предмете. Вдруг неожиданно явился перед нами инспектор [1]. «О чем ораторствуете на своих трибунах?» — спросил он. Старший из нас, Чистяков, отвечал: «О Байроне и о предметах важных» [2]. Инспектор после такого ответа сделал оборот и вышел из комнаты, не сказав ни слова. В наших спальнях засвечались после ужина лампы, которые и горели везде в продолжение ночи. Мы не любили спать при огне и всегда гасили лампу перед обходом субинспектора. Блюстители порядка сначала приказывали комнатному солдату засвечать погасшую лампу, но, узнавши, что мы сами гасим, оставили нас спать в темноте. Одному студенту необходимо было отлучиться во время холеры из университета по весьма важному делу; но так как ему отказано было в просьбе, то мы и положили в общем совете, чтобы он шел без позволения, принимая на себя ответственность за последствия самовольной отлучки. Возвратившийся, ра-

зумеется, был посажен в карцер. На нас лежала обязанность освободить от наказания товарища, решившегося нарушить порядок в надежде, что его выручат из беды. Все студенты одиннадцатого номера и некоторые из других номеров, находившиеся с нашим обществом в сношениях, приступили к дежурному субинспектору, чтоб он передал нашу общую просьбу инспектору: освободить виновного или посадить всех нас в карцер. Наша просьба не была уважена. Оскорбленное самолюбие возмутилось. Чистяков и Белинский собрали большую часть студентов в круглую залу и потребовали инспектора. Инспектор, извещенный о волнении студентов, признал за лучшее прийти к нам. Благоразумная умеренность и даже уступчивость не совсем разумному требованию молодых людей смягчили наше раздражение. Опальный студент (И. С. Савинич) был освобожден из карцера. Студенты успокоились.

Второй случай был такого рода. Случалось, что некоторые из студентов нашего номера, отлучаясь из университета, опаздывали к обходу спален помощником инспектора или вовсе не ночевали дома. На случай посещения инспектора, а особенно помощника попечителя, которым тогда был Д. П. Голохвастов, когда кого-нибудь из нас не оказывалось на кровати, мы делали на ней чучелу из халатов и шинелей, которая, будучи прикрыта чехлом, при слабом освещении лампы или свечки, сопровождавшей обход, была похожа на спящего человека. Когда не успевали сделать чучелы, приглашали более близкого студента из соседней комнаты, который и ложился на кровать отсутствующего и вслед за выходящим помощником скрывался в свою комнату; когда же не успевал лечь на кровать в собственном номере, то старался попасть обозревателям на глаза, чтобы тем показать, что он не в отсутствии. Такие поздние посещения Голохвастова были всегда неприятны и студентам и инспектору. Особенно оскорбляло нас грубое обхождение Голохвастова со студентами, который при посещении комнат даже во время студенческих занятий никогда не снимал с своей головы фуражки, шляпы и не делал приветствия кланявшимся студентам. Все это до крайности бесило нас, и мы провожали его всегда такими благословениями, которые были очень не по вкусу превосходительного начальника. В этот же холерный год случилось в университете такое происшествие, которое возмутило мир и покой университетских властей и привело в движение бдительные власти столицы. То было волнение казенных студентов, и

вот по какому поводу. Студенты не один раз обнаруживали свое неудовольствие на неумеренное усердие эконома к казенным интересам; но это общее выражение неудовольствия оставлено ближайшим начальством без внимания. Видно, справедлива пословица «рука руку моет» или другая: «ворон ворону глаз не выклюнет». Студенты, выведенные из терпения экономическими злоупотреблениями, решились не ходить в столовую[3]. О таком заговоре тотчас же дано знать ректору, который вместе с инспектором, деканом медицинского факультета и свитой субинспекторов прибыл в студенческие комнаты для исследования случившегося[4]. Большая часть студентов на вопрос ректора, почему они не пошли обедать, отвечали, что дурен стол; оробевших отправили в карцер для внушения прочим страха. Свита прибыла в 11-й №, из которого некоторые ушли обедать в *Железный* или к *Сучку* *, другие были на пути идти туда же. Первому, бывшему ближе к дверям, был сделан вопрос: куда он идет? Тот отвечал, что идет обедать к знакомым. «Отчего же вы не обедали в столовой?» — «Оттого, что стол очень дурен», — был ответ. «Почему же вы знаете, что стол дурен, если не ходили нынче в столовую?» — «Слышал от тех, кто возвратился из столовой». Медицинский декан сказал на ответ студента, что «не всякому слуху надо верить». Студент возразил, что «не первый нынешний день дурна пища, а уже в продолжение целой недели». Этот ответ лично задел инспектора, который с едкостью спросил: «А чем вас кормили до университета-то? Полагаю, вместо говядины варили тряпки во щах?» Студент на такую колкость с живостью отвечал, что «в том заведении, где он учился, стол был очень недурен». — «Так зачем же вы ехали сюда и поступали на казенный счет?» — сказал инспектор. «Я ехал в университет, — отвечал студент с улыбкой и с тоном иронии, — не для одних обедов, а для образования; но так как университет есть высшее учебное заведение в государстве, то я предполагал, что и самое содержание будет соответствовать его значению». — «В солдаты его!» — отрывисто сказал ректор и обратился к другому студенту, которого счастливая физиономия с первого взгляда располагала в его пользу. И от него был тот же ответ, что «пища не хороша». «У него и лицо-то не такое, чтобы не пойти обедать», — сказал декан, как бы в

* *Сучком* назывался тогда студенческий трактир по имени содержателя и находился на Моховой, против церкви Георгия. (*Прим. П. И. Прозорова.*)

защиту упомянутого студента. «Эх, братцы, — присовокупил он, — всякое даяние благо, и всяк дар совершен; я пришел вас защищать», — говорил он студентам тихо. «За этот дар мы должны заплатить казне шестью годами службы», — возражали студенты. Видя, что все наличные студенты 11-го № твердо отвечают, ректор удалился от нас в круглую залу. Что касается до декана, защитника студенческого, то без преувеличения можно сказать, что это был преоригинальный старик, о котором можно написать много прекурьезных анекдотов. Для образчика приведу хоть два. Однажды, когда требовалось от преподавателей, по какому руководству они будут читать лекции — по своему ли собственному или другого какого известного автора, он отвечал, что «будет читать по Пленку, что умнее Пленка-то не сделаешься, хоть и напишешь свое собственное». В другой раз, когда стали при нем хвалить молодого преподавателя, только что возвратившегося из Италии [5], он пренаивно отвечал: «Ну, не хвалите прежде времени, — поживет с нами, так поглупеет». Несмотря на все эти, может быть даже и несколько школьные, проделки, умственная деятельность, особенно в 11 номере шла бойко; спор о классицизме и романтизме еще не прекратился тогда между литераторами, несмотря на глубокомысленное и многостороннее решение этого вопроса молодым ученым Н. И. Надеждиным в его докторском рассуждении о происхождении и судьбах поэзии романтической, который вскоре после этого замечательного защищения своей диссертации занял в университете кафедру эстетики в звании ординарного профессора [6]. И между студентами были свои классики и свои романтики, сильно ратовавшие между собою на словах. Некоторые из старших студентов, слушавшие теорию красноречия и поэзии Мерзлякова и напитанные его переводами из греческих и римских поэтов, были в восторге от его перевода Тассова «Иерусалима» и очень неблагосклонно отзывались о «Борисе Годунове» Пушкина, только что появившемся в печати, с торжеством указывая на глумливые об нем отзывы в «Вестнике Европы» [7]. Первогодичные студенты, воспитанные в школе Жуковского и Пушкина и не заставшие уже в живых Мерзлякова [8], мало сочувствовали его переводам, но взамен этого знали наизусть прекрасные песни его и беспрестанно декламировали целые сцены из комедии Грибоедова, которая тогда еще не была напечатана; [9] Пушкин приводил нас в неописанный восторг. Между младшими студентами самым ревностным поборником романтизма был

Белинский, который отличался необыкновенной горячностью в спорах и, казалось, готов был вызвать на битву всех, кто противоречил его убеждениям. Увлекаясь пылкостью, он едко и беспощадно преследовал все пошлое и фальшивое, был жестоким гонителем всего, что отзывалось риторикою и литературным староверством. Доставалось от него иногда не только Ломоносову, но и Державину за риторические стихи и пустозвонные фразы. Вследствие особенной настроенности своего духа он никак не мог равнодушно слушать бургиевские лекции первого курса [10]. Не забыть мне одного забавного случая с ним на лекции риторики. Преподаватель ее, Победоносцев, в самом азарте объяснения хрий вдруг остановился и, обратившись к Белинскому, сказал: «Что *ты,* Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился?» — «Вы остановились на словах, что я сижу на ш и л е », — отвечал спокойно и не задумавшись Белинский. При таком наивном ответе студенты разразились смехом. Преподаватель с гордым презрением отвернулся от неразумного, по его разумению, студента и продолжал свою лекцию о хриях, инверсах и автониянах, но горько потом пришлось Белинскому за его убийственно едкий ответ. По поводу этого анекдота припоминаются мною некоторые другие черты из жизни тогдашних преподавателей, которые, может быть, объяснят отчасти такое усердие Белинского и других даровитых студентов к посещению профессорских лекций. И вот самый близкий пример. Один из тогдашних преподавателей греческого языка, Семен Мартынович Ивашковский, по приходе в аудиторию имел обыкновение ходить по ней несколько минут. А так как очень немногие из своекоштных студентов занимались греческим языком, то и просили нас, занимающихся этим языком, поговорить о чем-нибудь с прогуливающимся по аудитории профессором, с целию сократить время его занятий. И вот мы, как знатоки греческого языка, имевшие к преподавателю более доступа, чем другие, подходили к нему в числе двоих или троих с вопросами, относившимися к его предмету, и таким образом вступали с ним в продолжительный разговор. Между прочим, однажды мы высказали ему трудность успеть по всем преподаваемым предметам. « Д а , — говорил о н , — это правда. В наше время, бывало, кто знает хорошо по-латыни, да как еще по-гречески, так тот и кандидат; а нынче черт знает что делается: для действительного студента нужно знать хоро-

шо десять предметов». В таких разговорах проходило с четверть, а иногда и полчаса времени.

Когда разговор истощался, Семен Мартыныч начинал посматривать на часы; это было знаком, что уже время заняться делом, и мы удалялись на свои места, а он — на кафедру. Начинался обычный перевод из достопамятностей Ксенофонта, из разговоров Платона или из «Илиады». Когда студенты переводили плохо, наш добряк начинал сердиться и, выведенный из терпения, с сильной энергией восклицал на всю аудиторию: «Скверно, *будет!* Нуля — *будет,* вам более не поставлю!» Как истолкователь учения Сократа и Платона, он не любил лжи, софизмов и шуток, которыми отличался его собрат, преподаватель латинской стилистики [11]. Однажды собрались наши ученые у Мерзлякова в Сокольниках. Истолкователь Горация и Саллюстия, зная рьяную натуру своего собрата, завел с ним какой-то спор и всеми мерами старался поддержать ложное мнение. Ревнитель истины рассердился и незаметно скрылся. Проходит часа два, как вдруг увидели Семена Мартыныча в окно, крупно шагающего с фолиантом под мышкою. Вошедши в комнаты, весь в пыли и поте, он с торжествующим видом восклицает, указывая на замеченное место раскрывшегося фолианта: «Вот — *будет* — смотрите! Ведь я говорил, что моя правда». Таков был Семен Мартыныч! Нипочем было ему прошагать десять верст взад и вперед, чтобы принесенным из дома фолиантом опровергнуть ложную мысль, незаконно защищаемую. Преподаватель римской литературы в археологии наделен был от природы каким-то особенным юмором и комизмом; все его приемы и слова заранее были рассчитаны на то, чтобы потешить и посмешить других какою-нибудь неожиданною выходкою или остротою. Он выбирал для переводов со студентами такие места из классиков, которые отличались нескромностью, и любил в присутствии своих слушателей формовать глаголы страдательные, отделяя наращение от коренных слогов. Произведя между студентами смех, он останавливался, как бы удивляясь неожиданному смеху. Он имел обыкновение крестить свой рот при зевоте. Н. И. Надеждин, заметив такую операцию, спросил его однажды, для чего он это делает? Тот простодушно отвечал ему: «Чтобы черт в него не вскочил». — «Скажите лучше, чтоб из вас не выскочил», — возразил ему Надеждин. Много можно было бы сказать характеристического о прочих преподавателях, но все такие подробности заставили бы меня перейти за пределы предположенной

статьи. Итак, возвратимся в 11-й №, где случайные сходки и споры студентов приняли серьезный и как бы официальный характер, Из студентов составилось литературное общество под названием *литературных вечеров,* на которых читались собственные сочинения, переводы и высказывались суждения о журнальных статьях и о лекциях преподавателей [12]. Главными учредителями этих вечеров были М. Б. Чистяков, переводивший тогда с немецкого «Теорию изящных искусств» Бахмана и посвятивший свой перевод студентам университета *[13], и В. Г. Белинский, сочинявший собственную драму в романтическом духе. В нашем обществе не было президента, а только секретарь, которого обязанность состояла в том, чтобы читать во время заседаний приготовленные сочинения. Секретарем был переводчик Бахмановой «Эстетики». Несколько вечеров продолжалось чтение драмы, но не секретарем, а самим автором. Наружность его, сколько могу припомнить, была очень истощена. Вместо свежего, живого румянца юности на лице его был разлит какой-то красноватый колорит; прическа волос на голове торчала хохлом; движения резкие, походка скорая, но зато горячо и полно одушевления было чтение автора, увлекавшее слушателей страстным изложением предмета и либеральными, по-тогдашнему, идеями. Но при изяществе изложения, смелости мыслей и глубине чувств читанная драма была слишком растянута и содержала в себе больше лиризма, чем действия. Очевидно, что драматическое поприще не было истинным призванием Белинского, и эта первая и, если не ошибаюсь, единственная попытка его [14] на этом поприще была лишь плодом молодого увлечения театром, который любил он до страсти, так увлекательно им выраженной впоследствии в «Молве» **, и свежего еще влияния «Разбойников» Шиллера, «Коварства я любви» и Шекспирова «Отелло», часто игравшихся тогда на сцене. Белинский очень огорчился, когда по прочтении драмы сделали ему замечание о недостатках его произведения, хотя он сам через четыре года сознавал, что «растянутость происходит от юности таланта, не умеющего сосредоточивать и сжимать свои порывы» ***. Но этого сознания тогда

---

* До сих пор сохранилась у меня «Эстетика» Бахмана с подписью переводчика, которую он презентовал мне в день Пасхи вместо красного яичка. (*Прим. П. И. Прозорова.*)

** См. соч. Белинского, т. I, стр. 92—95, 1859 г. [15]. (*Прим. П. И. Прозорова.*)

*** Соч. Белинского, т. I, стр. 193 [16]. (*Прим. П. И. Прозорова.*)

еще не было в авторе. По изменившимся чертам лица его и засверкавшим глазам можно было ожидать, что вот он вцепится коршуном в дерзкого, осмелившегося унизить его авторский авторитет перед товарищами, однако ж он сдержал свой порыв, и только по чертам лица можно было прочесть чувство презрения, как будто говорившее: «Odi vulgus profanus et arceo!» *[17]. Но что ж это была за драма, о которой я так распространился, не назвавши ее по имени? Память изменила бы мне, если б я вздумал через тридцать лет говорить о ее содержании. Могу сказать только то, что слышал я от покойного П. Ф. Попова[18], бывшего со мною в дружеских отношениях, одноземца Белинскому, а именно: герой читанной драмы был сам автор, и представляемое в ней действие взято из его семейной жизни и напоминает рассказ Карамзина об острове Борнгольме, из которого тогда в моде была песня «Законы осуждают предмет моей любви». Постигшая тогда меня горячка от сильной простуды прекратила мое участие в литературных вечерах, и по прекращении холеры начавшиеся лекции и устройство домашнего театра в университете расстроили и совсем наши литературные вечера. Устройством театра усердно занимался тогда инспектор студентов, П. С. Щепкин. Костюмы актеров доставлялись из Петровского театра, на репетициях присутствовал М. С. Щепкин, объясняя студентам характер каждой роли и показывая все сценические приемы в игре, дикцию и жестировку. Искусная игра студентов и необыкновенная игра Радивилова на четырехструнной балалайке привлекали на наши спектакли значительную часть московского общества. Здесь у места заметить, что ни один из студентов словесного отделения не принимал участия в игре на сцене — они, как дилетанты, наслаждались спектаклем не менее самих действующих; Белинский при этом случае решился представить читанную на вечерах драму в цензурный комитет; но она к печатанию не одобрена. После описанного мною случая с Белинским в аудитории он перестал посещать бургиевские лекции первого курса и вместо их в эти часы, как и многие из нас, стал посещать лекции Н. И. Надеждина, который начал свой курс чтением истории изящных искусств **. Можно ли об-

---

* «Ненавижу и отстраняю непросвещенную чернь!» (*лат.*).

** Очерк истории изящных искусств Надеждина изложен в речи, произнесенной им на акте и напечатанной в «Ученых записках Московского университета», в первых номерах[19]. (*Прим. П. И. Прозорова.*)

винять молодых людей, жаждавших знания, за нарушение университетского порядка, за естественный порыв, побудивший нас преждевременно устремиться в аудиторию Надеждина послушать вместо мертвых родов красноречия (Demonstratium, deliberativum et judiciale) живую, одушевленную речь даровитого профессора о неслыханном нами индийском *тримурти* и воплощении *Кришны;* вместо карточной детской постройки хриек — об исполинских построениях пагод и пирамид, Пантеона и Колизея, о Страсбургском соборе и куполе Петра, об Аполлоне Бельведерском и Лаокооне и о Мадонне и Преображении Рафаэля?[20] Холерный год можно назвать переходною эпохою в жизни Московского университета. Начиная с высших властей до преподавателей, устаревшие для науки уступили свое место новым деятелям, с современными взглядами и новым направлением. На кафедру Мерзлякова поступил И. И. Давыдов, внесший в русскую словесность, как науку, философские начала, хотя и заменявший профессорский дар слова на кафедре искусною ораторскою декламациею. Место преподавателя всеобщей истории, читавшего свои лекции по Кайданову[21], занял М. П. Погодин, познакомивший нас с историческими воззрениями Герена, Робертсона, Беттигера. Каченовский, неизменно верный своему скептическому направлению, продолжал очищать исторические материалы, придираясь к мелочам и внушая слушателям подозрение к несомненным фактам и мало заботясь о разъяснении идеи и духа русской истории. Надеждин принес с собою на кафедру всеобъемлемость Шеллингова воззрения на искусство и свободную живую импровизацию бесед, своим светлым умом и необыкновенным даром слова умел самым отвлеченным гегелевским понятиям сообщить осязаемость и заставил некоторых из своих слушателей ближе познакомиться с системой тождества и логическо-историческим учением о развитии мирового духа (Weltgeist) Гегеля, обработавшего идеальную сторону природы *, а других — применить впоследствии развитые им идеи и воззрения на изящные искусства к литературе собственно русской. Редким профессорским даром и приветливым, гуманным обращением Николай Иванович возбуждал в студентах необыкновенный энтузиазм; его обширная аудитория, кроме студентов словесного отделения, наполнялась студентами

---

* Другую сторону природы (Die Naturphilosophie) назначено было развить в Германии Окену, у нас в России — Велланскому и Павлову. (*Прим. П. И. Прозорова.*)

других факультетов и сторонними слушателями. И под холодом лет не остыл еще этот энтузиазм, и при взгляде на портрет Надеждина, висящий передо мною на стене, оживает в душе моей прекрасная личность его, окруженная ореолом в тот момент жизни профессора, когда он читал лекцию в присутствии товарища министра народного просвещения Уварова и многих прибывших с ним знатных посетителей. Предметом лекции было объяснение *идеи безусловной красоты,* являющейся под *схемою гармонии жизни,* о ее осуществлении в боге под образом *вечной отчей любви* к творению и проявлении в духе человеческом *стремлением к бесконечному, божественным восторгом,* а в душе художника образованием *идеалов.* Студенты, записывающие лекции, бросили свои перья, чтоб через записыванье не проронить ни одного слова, и только смотрели на профессора, которого глаза горели огнем вдохновения; одушевленный голос сопровождался оживленностью физиономии, живостью движений, торжественностью самой позы; даже посторонние посетители, вместо тяжелой неподвижности, которую соблюдали на лекциях других профессоров, невольно обратились к профессору и смотрели на него, как будто на оракула. Уваров, пораженный возвышенностью развиваемого предмета и изящным изложением, спросил Николая Ивановича, понимают ли его студенты. Профессор отвечал, что «по журналам (запискам) его лекций он утвердительно может сказать, что слушатели вполне понимают его». Сергей Семенович, обращаясь к прибывшим с ним посетителям, тихо и неслышно сказал профессору: «Читает лучше, чем пишет». А писал Надеждин, как это было известно тогда каждому, прекрасно (в смысле стиля, а не почерка, которого нельзя было похвалить). Увлеченный лекциями Надеждина, я убежал на целый год от описываемого мною времени и потому возвращусь к нему, сказавши еще два-три слова о Шевыреве, который по возвращении из-за границы занял вновь учрежденную кафедру истории литературы. Своими щегольски обработанными лекциями и одушевленными теплым дилетантизмом, развившимся в классической стране искусства (который, впрочем, доходил тогда у него до педантизма и детства), Шевырев познакомил студентов с содержанием и формою поэзии индийцев (Магаборатою, Рамайяною и Саконталою).

Наступила вакация после холерного года. В первых числах июня я уехал на родину... Целые полгода странствовал я в Новгородской и Ярославской губерниях, где

мне было гораздо и приятнее и веселее, чем слушать другой год лекции приготовительного Курса, потому что, по распоряжению университетского начальства, холерный год не положен был в счет курса. В такой продолжительный промежуток времени произошли многие перемены в университете, и, между прочим, все своекоштные студенты, просрочившие после вакации больше месяца, были исключены из университета.

Белинский тоже попал под этот разряд: по возвращении моем в университет я уже не нашел его между студентами [22]. Он был исключен из университета ни больше ни меньше как за *«безуспешность»;* и это было сказано в выданном ему аттестате. Во время постигшей его невзгоды он приютился на квартиру, против сандуновских бань, к землякам своим Ивановым, из которых старший брат служил тогда, помнится, в сенате, а младший был студентом юридического факультета. Без всяких средств к существованию, Виссарион Григорьевич обратился тогда с просьбою к прибывшему в Москву попечителю Белорусского учебного округа Карташевскому об определении его в уездные учители, в которых тогда очень нуждалась Белоруссия. Попечитель, просмотревши незавидный его аттестат, усомнился исполнить просьбу исключенного студента и предложил ему занять место приходского учителя, на которое Белинский поступить но решился [23], и, чтобы сколько-нибудь поправить свои плохие обстоятельства, он принялся переводить роман Поль де Кока «Монфермельская молочница» [24], за который и получил от издателя сто рублей ассигнациями. Несколько раз посещал я переводчика Поль де Кокова романа в квартире Ивановых. В одно из этих посещений я начал ему читать свои созерцания природы, в которых она рассматривалась как откровение творческих идей, как беспредельная пучина зиждительных сил, вырабатывающих из вещества художественные образы и стройными хороводами небесных сфер возвещающих гармонию вселенной. Не успел я прочесть нескольких страниц, как Белинский судорожно остановил меня. «Не читай, пожалуйста, — сказал он, — у меня у самого носятся в душе подобные мысли о творчестве природы, которым я не успел еще дать формы, и не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я занял их у других и выдаю за свои». Эти мысли о творчестве высказаны Белинским печатно в «Литературных мечтаниях», помещенных в «Молве». Кто мог предвидеть, что этот бедный студент, исключенный из университета за безуспешность и

неспособность, которому было отказано в скромном месте уездного учителя, через несколько лет сделается первым нашим критиком, двигателем юных поколений по пути прогресса и (в сообществе с Станкевичем) пламенным проповедником гуманических идей в нашей литературе? По рассеянии членов литературного общества в нашем 11-м № образовался литературный кружок у своекоштного студента Станкевича, который жил тогда у профессора Павлова. От Ивановых Белинский переселился в квартиру Н. И. Надеждина, в доме Самарина, подле Страстного монастыря. И здесь привелось мне быть у Виссариона Григорьевича по особенному случаю. По распоряжению товарища министра народного просвещения Уварова, посещавшего в то время каждый день профессорские лекции, назначено было, в числе прочих, и мне говорить с профессорской кафедры лекцию. Предметом лекции я выбрал развитие идей о творческой силе в искусстве, или о гении. Николай Иванович, выслушав наши приготовительные чтения и приготовясь к ответам на могущие встретиться со стороны Уварова возражения, обратился ко мне и сказал: «Я вполне надеюсь на вас». Обрадованный словами любимого профессора, я прямо устремился в комнату Белинского передать ему о будущих наших чтениях. Виссарион Григорьевич, заваленный книгами и французскими журналами, доканчивал тогда свои «Литературные мечтания». Кто только посещал лекции Надеждина, не хотел верить, что эти мечтания писаны Белинским, а не Надеждиным. Так они были проникнуты духом самого редактора «Телескопа» и «Молвы» [25]. Составляя записки полного курса «Эстетики» Надеждина * и будучи членом литературного студенческого общества, я могу хорошо отличить, что в этих мечтаниях принадлежит Надеждину и что Белинскому. Из своекоштных студентов занимался составлением лекций Надеждина Н. В. Станкевич, которому я сообщил в пособие записки эстетики профессора Московской духовной академии Доброхотова, о котором упоминается в автобиографии Надеждина. То же можно сказать и о некоторых других статьях Белинского. Во время посещений Виссарионом Григорьевичем прежних своих товарищей, живших уже не в

* Идеи, развиваемые Надеждиным на лекциях, напечатаны в нескольких статьях в «Телескопе» *об эстетическом образовании: в очерке истории эстетики,* в энциклопедическом лексиконе — о *вкусе* в школе живописи, *об изображении Авидонны в живописи* [26]. (*Прим. П. И. Прозорова.*)

11-м №, а в круглой зале, я слышал от него, что «Литературные мечтания» доставили ему выгодные уроки и что он уже по недостатку времени отказывался от предлагаемых вновь. Сочувствуя вполне восторженному удивлению молодого поколения к плодотворной деятельности Белинского, я обязан сказать, однако, что он в первые годы своей литературной деятельности был только сознательным органом выражения идей Надеждина. Как редактор журнала, Николай Иванович, найдя в Белинском человека, одаренного эстетическим пониманием, вполне способного развивать его мысли и излагать их в изящной форме, сообщил молодому таланту философско-художественное направление для последующей независимой деятельности. Когда талант Белинского созрел под благотворным влиянием Надеждина, он пошел далее своего учителя в приложении к литературе, как это и должно быть по закону прогресса, тем более что деятельность Надеждина приняла более обширные размеры, чем одна изящная литература. В последний раз посетил я Белинского пред отъездом моим из Москвы на службу, в университетском ректорском доме, куда переехал Н. И. Надеждин. На прощанье подарил он мне на память Шиллерова «Дон Карлоса» в переводе Лихонина и номера «Телескопа», в которых был помещен «Другой из тринадцати» Бальзака[27]. «Первый же из тринадцати» достался мне из числа тех номеров, которые получались по билету, подаренному казенным студентам словесного факультета самим редактором «Телескопа». С Николаем Ивановичем Надеждиным в последний раз я виделся 12 января, в день праздника основания университета. По окончании торжества, выходя из залы собрания и встретясь со мною, он сказал мне: «Вы еще не уехали?» Я отвечал ему, что «сейчас отправляюсь в путь, только хотелось мне побывать здесь на празднике». Николай Иванович, взявши меня за руку, сошел вместе со мною по лестницам на двор и, садясь в сани, на прощанье пожелал мне на новом поприще жизни всех возможных успехов и поручил мне кланяться от него будущему моему начальнику, с которым он служил в прежние годы вместе. Через двадцать лет жизни в провинции судьба привела меня опять провесть 12 января в университете при праздновании столетнего юбилея; но не встретился я там ни с незабвенным своим наставником, которому некогда под сводами акционного зала раздавались громкие рукоплескания публики и студентов после произнесения им речи, ни с прежним товарищем, которого имя сделалось так дорого всем, кто любит русскую литературу.

К. С. АКСАКОВ

ВОСПОМИНАНИЯ СТУДЕНТСТВА 1832—1835 ГОДОВ

Я поступил в студенты пятнадцати лет прямо из родительского дома. Это было в 1832 году. Переход был для меня очень резок. Экзамен, публичный экзамен, — экзамен, явление доселе для меня незнакомое, казался мне страшным. А я притом с моим Азом должен был первый открывать всякий раз ряд экзаменующихся. Но все прошло благополучно, и моя крайняя застенчивость не обратилась для меня в помеху к поступлению в университет.

В мое время полный университетский курс состоял только из трех лет или из трех курсов. Первый курс назывался приготовительным и был отделен от двух последних. Я поступил в словесное отделение, которое в это время было сравнительно довольно многочисленно. На первом курсе словесного отделения было нас человек двадцать — тридцать. В назначенный день собрались мы в аудиторию, находившуюся в правом боковом здании старого университета, и увидали друг друга в первый раз; во время экзаменов мы почти не заметили друг друга. Тут молча почувствовалось, что мы товарищи, — чувство для меня новое.

В эпоху студентства, о которой говорю, первое, что обхватывало молодых людей, это общее веселие молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни; но в то же время слышалось, хотя не сознательно, и то, что молодые эти силы собраны все же во имя науки, во имя высшего интереса истины. Так, вероятно, было всегда, при всяких подобных условиях, но не знаю, так ли бывает теперь в университете. Не все мои товарищи способны были понимать истину и даже ценить ее; но все были, *точно,* молоды, не по одному числу лет; все были постоянно шумны и веселы; ни одного не было ни истощенного, ни вытертого; не было ни светского тона, ни житейского благоразумия. Спасительны эти товарищеские отношения, в

которых только слышна *молодость человека,* и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек. Такое чувство равенства, в силу человеческого имени, давалось университетом и званием студента *.

Право, кажется мне, что главная польза такого общественного воспитания заключается в общественной жизни юношей, в товариществе, в студентстве самом. Не знаю, как теперь, но мы мало почерпнули из университетских лекций и много вынесли из университетской жизни. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость, и, хотя, собственно, товарищи мои ничем не сделались замечательны, кто знает даже, к какому опошляющему состоянию нравственному могли довести обстоятельства потерянных мною из виду, — но живое это время, думаю я, залегло в их душу освежительным, поддерживающим *основанием.* Вообще не худо, чтобы молодые люди, проходя свое воспитание, пожили вместе, как живут студенты; но это свободное общежитие тогда получает всю свою цену, когда истина постоянно светит молодому уму и только ждет, чтобы он обратил на нее свои взоры. Значение университетского воспитания может быть огромно в жизни целой страны: с одной стороны — играющая молодая жизнь, как целое общество, в союзе юных нравственных сил, жизнь, не стесняемая форменностью, не гнетомая внешними условиями; с другой стороны — истина, греющая этот союз, предлагаемая, но не навязываемая никому. Хорошо бы это могло быть!

В мое время цель эта достигалась с одной стороны: именно со стороны студентства. Молодая жизнь точно играла с оттенком легкого, безобидного буйства и проказливости. Форменности почти не было; она начинала вводиться, правда, но еще очень легко. С другой стороны, со стороны профессорства, цель эта достигалась большею частию весьма слабо, — и очень тускло и холодно освещало наши умы солнце истины; но живые, неподавленные силы наши находили к ней дорогу.

Грубые шутки, дикие буйные выходки студентов,

---

* Именно университетом и студенчеством, ибо училище, заключившее в себе все часы воспитанников, лишает их той свободы, которая дается соединением лишь во имя науки, которая поддерживается тем, что всякий товарищ вел свою самостоятельную жизнь. (*Прим. К. С. Аксакова.*)

<бывшие> некогда, давно миновали. Время смягчает нравы; студентская свобода не исчезала, но молодость не увлекалась, как прежде, одним кипением крови, более и более слыша в себе умственные и нравственные силы. Живость молодости высказывала себя в более шутливых проделках, мало-помалу исчезнувших в свою очередь. Когда я поступил на первый курс, еще слышались и повторялись рассказы между студентами о недавних проказах, довольно добродушных, случившихся только что передо мною и при мне уже не повторявшихся; и эти проказы, хотя так недавно происходившие, становились уже, очевидно, преданием.

Рассказывали, что незадолго перед моим вступлением, однажды, корда Победоносцев, который читал лекции по вечерам, должен был прийти в аудиторию, студенты закутались в шинели, забились по углам аудитории, слабо освещаемой лампою, и — только показался Победоносцев — грянули: «Се жених грядет в полунощи» [1]. Рассказывали, что Заборовский, бывший еще в это время в университете, принес на лекцию Победоносцева воробья и во время лекции выпустил его. Воробей принялся летать, а студенты, как бы в негодовании на такое нарушение приличия, вскочили и принялись ловить воробья; поднялся шум, и остановить ревностное усердие было дело нелегкое. Все эти шутки могли бы иметь свою жестокую сторону, если б Победоносцев был человеком жалким и смирным; но он, напротив, был не таков: он бранился с студентами, как человек старого времени, говорил им *ты;* они не оскорблялись, не отвечали ему грубостями, но забавлялись от всей души его гневом.

На первом курсе я застал еще Победоносцева, преподававшего риторику, по старинным преданиям, невыносимо скучно. «Ну что, Аксаков, когда же ты мне хрийку напишешь», — говорил, бывало, Победоносцев. Студенты, нечего делать, подавали ему хрийки. Кроме Победоносцева, были у нас профессорами: богословия — Терновский, латинского языка — Кубарев, греческого — Оболенский, немецкого — Геринг, французского — Куртенер, географии — Коркунов. Гастев читал какую-то смесь статистики, истории, геральдики и еще чего-то. Лекции богословия читались самым схоластическим образом, но тем не менее они меня довольно интересовали. От времени до времени поднимался какой-нибудь студент, обыкновенно духовного звания, и, по обычаю семинарии, начинал с Тер-

новским диалектический спор, который Терновский поддерживал иногда с досадою, но обычай продолжался. Обыкновенно Терновский заставлял кого-нибудь из студентов повторять содержание прошедшей лекции. Кубарев, с кругленькой головой и вообще весь кругленький, переводил с нами медленно и внятно, выговаривая слова тихоньким голоском своим, Тита Ливия — и только. Гастев, Коркунов были люди молодые тогда, но совершенно бесцветные. Куртенер толковал о participe présent *, Геринг переводил хрестоматию, в которую входили и стихотворения Шиллера, Гете и других. Оболенский переводил с нами Гомера. Оболенский был очень забавен; он был небольшого роста и с весьма важными приемами; голос его иногда низкий, иногда переходил в очень тонкие ноты. Он переводил с нами Гомерову «Одиссею».

«Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα...» **

Трехтысячелетняя речь божественного Гомера раздавалась в Москве, на Моховой, в аудитории Московского университета перед русскими юношами, обращавшими больше внимания на смешную фигуру профессора, чем на дивные слова «Одиссеи». Обыкновенно профессора наши переводили сами, и переводящему студенту оставалось только искусно повторять слова профессора, чтоб не обратиться в совершенного слушателя.

Странное дело! Профессора преподавали плохо, студенты не учились и, скорее, забывали, что знали прежде; но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, — и бессмертные слова Гомера, возносясь над профессором и над слушателями, говорившие красноречиво сами за себя, и полные глубокого значения выражения богословия, и события исторические, выглядывавшие с своим величием даже из лекций Гастева, и вдохновенные речи Шиллера и Гете, переводимые смешным Герингом, — падали более или менее сознательно, более или менее сильно в раскрытые души юношей, лишь бы они только не противились впечатлению, нередко не замечавших приобретения ими внутреннего богатства. Впрочем, я, собственно, давно уже читал поэтов; я прочел еще прежде всю «Илиаду» в переводе Гнедича с невыразимым наслаждением и думаю, что свобода студенческих моих занятий, не

---

* причастии настоящего времени (*франц.*).

** «Муза, поведай о том многоопытном муже...» [2] (*греч.*).

дав мне много сведений положительных, много принесла мне пользы, много просветила меня и способствовала самостоятельной деятельности мысли. Что же было бы, если б при этой свободе студенческой университетской жизни было у нас живое, глубокое слово профессора!

Наш курс, впрочем, не очень был замечателен относительно личности студентов. Желая поскорее осуществить юношеское товарищество на деле, я выбрал четырех из товарищей, более других имевших умственные интересы, и заключил с ними союз. Это были: Белецкий из Вильны, называемый обыкновенно паном, Теплов, Дмитрий Топорнин и Сомин. Я немедленно написал стихи друзьям, кажется — такого содержания:

Друзья, садитесь в мой челнок,
И вместе поплывем мы дружно.
Стрелою нас помчит поток;
Весла и паруса не нужно.

Вы видите вдали валы,
Седые водные громады;
Там скрыты острые скалы, —
То моря грозного засады...[3]

Далее не помню. Эти стихи были потом положены на музыку Тепловым. Белецкий был человек очень образованный и умный, с глубоким сосредоточенным жаром, читавший с восторгом Мицкевича; что с ним сделалось потом — я не знаю[4]. Я должен признаться, что мои друзья не соответствовали всей мере моих требований; но это уже вопрос личности; разница, вытекающая отсюда, непременно явится всегда; это уже не вина свободной студенческой жизни; кто не пошел вперед, когда путь не загражден, уже сам виноват.

На первый курс поступили к нам студенты, присланные, кажется, из Витебской гимназии; все они были очень хорошо приготовлены. Я познакомился со всеми с ними и был с ними в очень хороших отношениях. В числе их был Коссович. Он хорошо знал требуемые в университете языки, но филологическое его призвание еще не определялось тогда ясно. Он был неловок; его речь, его приемы были оригинальны; ходил он как будто запинаясь, говорил скоро, спешил и часто вместо одного слова приводил несколько синонимов. Однажды Геринг заставил его переводить. Коссович подошел к кафедре и пустился громко и поспешно переводить, стараясь выражать немецкие слова на русском языке несколькими синонимами. Я помню, как, пере-

водя немецкое: ziehen, Коссович сказал: *«идут, тянутся, стремятся».* Студенты невольно смеялись, но всем было ясно, что Коссович славно знает язык.

Студенты не были точны в посещении лекций. Я помню, что однажды, перед лекциею Оболенского, я ушел из аудитории, оставив ее полною студентов; возвратясь, я нашел ее пустою. Не зная, что это значит, я оставался на своей скамье; на другой стороне был студент Окатов, с которым я почти не был знаком. Вдруг входит Оболенский, потом за ним ректор Двигубский. Увидав только двух студентов, Двигубский рассердился и напал на нас за то, что студенты не ходят на лекции. На другой, кажется, день студенты, собравшись, объявили меня правым, ибо я не был тут, как сговаривались они уйти с лекции Оболенского, и обвинили Окатова, который тут был и это знал. В этом суждении, под видом товарищества, высказывалась связь общего союза — одна из великих нравственных сил; новая для меня, она живо чувствовалась мною, и я понимал, что хорошо стоять друг за друга и быть как один человек.

Считаясь порядочным эллинистом, я обращал на себя внимание Оболенского, должен был чаще других переводить Гомера и слушать внимательно его объяснения. Однажды на лекции, очень серьезно, я вздумал предложить ему вопрос: каким образом согласить в древних стихах ударение с протяжением, как, скандуя стих, удержать ударение, которое не совпадает с скандовкой? Оболенский отвечал: «А это-с лучше всего объясняется пением», — и запел. Я был не рад, что предложил вопрос. Оболенский запел таким голосом и с такою печально-торжественною миною, что просто не было почти никакой возможности удержаться от смеха. Смех самый безумный, гомерический, готов был ежеминутно овладеть нами, громко вырваться и огласить всю аудиторию, — и этот-то смех надо было подавлять величайшими усилиями. Студенты, удерживаясь от смеха и мучась, кидали на меня яростные взгляды. Я, вызвавший этот профессорский ответ, должен был и обратить на него больше внимания. Для меня пел Оболенский, каково же мне было? Я был тогда очень смешлив, и когда Теплов проговорил подле меня шепотом: «Точно колодники под окнами», — я не знаю, как я удержался. Наконец Оболенский перестал петь; наконец лекция окончилась; профессор ушел. Товарищи напали на меня дружно. «Что тебе вздумалось просить петь Оболен-

ского, что ты с нами наделал?» — говорили они со смехом. Я смеялся не меньше их.

Кроме экзаменов, у нас были репетиции, и на них основывали профессора наиболее свое мнение о студентах. Терновский, репетируя, вызывал обыкновенно к кафедре. Однажды на репетиции он вызвал меня таким образом и спросил о рае. Отвечая, я сказал о древе жизни и прибавил: «Но ведь это древо надо понимать только как аллегорию». — «Как аллегорию? — сказал Терновский. — Почему вы так думаете?» — «Древо жизни, — отвечал я, — было преобразованием Христа». — «Оно было преобразованием; но это не значит, чтоб оно не существовало», — заметил Терновский. Однако за этот ответ Терновский поставил мне три, а не четыре. — В наше время четыре был высший балл.

Я рассказываю все эти случаи как характеризующие эпоху больше или меньше. Не думаю, чтоб что-нибудь подобное могло иметь место теперь в университете. Расскажу еще и случай не очень лестный для моего самолюбия. Геринг, лекции которого были обыкновенно по вечерам, читал однажды с нами балладу Шиллера «Ивиковы журавли» и попросил читать вслед за строфою немецкого оригинала строфу перевода Жуковского; не помню, вызвал ли Геринг меня или я сам вызвался, но только я, стоя у кафедры, начал читать вслух перевод Жуковского. Я читал с притязанием на хорошее чтение, читал несколько надуто и в иных местах напрягал свой громкий голос до того, что он гремел во всей аудитории. Студенты заметили мои притязания, и вдруг раздались рукоплескания. «Господа, что это значит?» — спросил Геринг. «Мы не могли удержаться, слыша чтение Аксакова», — отвечал студент Старчиков. Я принял все за наличные деньги и был очень доволен. Лекция кончилась, Геринг ушел, и некоторые студенты стали кричать: «Аксакова!» Я еще не понимал насмешки, как добрый мой товарищ, Дмитрий Топорнин, искренно меня любивший, обратился с раздраженным видом к кричащим студентам и сам закричал в свою очередь: «Дураков, господа, дураков!» Тут только догадался я, что надо мною смеялись, и очень огорчился. Я не любил шуток и не любил насмешек; но насмешка ироническая под видом похвалы, и еще более дураченье, ибо это все же предательство, были и остались мне противны, тем более что у меня движенье принимать сказанное за наличные деньги.

Я сказал, что курс наш был не замечателен личностями и что он не удовлетворял моим духовным потребностям. Еще будучи на первом курсе, познакомился я через Дмитрия Топорнина с Станкевичем, бывшим на втором курсе[5]. Когда-нибудь надеюсь написать все, что знаю об этом необыкновенном человеке, но теперь я удерживаюсь воспоминанием собственно студенческой жизни. У Станкевича собирались каждый день дружные с ним студенты его курса; кроме их, вышедшие прежде некоторые его товарищи, из которых замечательнее других Клюшников; в первый раз также видел я там Петрова (санскритолога) и Белинского. Кружок Станкевича был замечательное явление в умственной истории нашего общества. Но здесь об нем я упомяну также мельком, надеясь написать когда-нибудь, сколько можно подробнее, историю этого кружка в течение целых семи лет. В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большею частию отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма, все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказалось в кружке Станкевича, быть может впервые, как мнение целого общества людей. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило и здесь до односторонности; но, надобно отдать справедливость, односторонность эта не была крайняя, была искренняя; нападение на претензию, иногда даже и там, где ее не было, не переходило само в претензию, как это часто бывает и как это было в других кружках. Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, еще со многим не уровнявшийся, я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с самых малых лет[6]. Но, видя постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там. Мое отношение и мое место в этом кружке принадлежит к истории самого кружка, и потому до этого я здесь не касаюсь. Второй курс, в противоположность на-

шему первому, был богат людьми более или менее замечательными. Станкевич, Строев, Красов, Бодянский, Ефремов, Толмачев принадлежали к этому курсу.

Кружок Станкевича, в который, как сказал я, входили и другие молодые люди, отличался самостоятельностью мнения, свободною от всякого авторитета; позднее эта свобода перешла в буйное отрицание авторитета, выразившееся в критических статьях Белинского, — следовательно, перестала быть свободою, а, напротив, стала отрицательным рабством. Но тогда это было не так. Односторонность и несправедливость были и тогда, происходя как невольное следствие от излишества стремления, но это не было раз принятою оппозициею, которая есть дело вовсе не мудреное. Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко, и — что всего замечательнее — кружок этот, будучи свободомыслен, не любил ни фрондерства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало; мысль же о каких-нибудь кольцах, тайных обществах и проч. была ему смешна, как жалкая комедия. Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины. Это стремление, осуществляясь иногда односторонно, было само в себе справедливо и есть явление вполне русское. Насмешливость и иногда горькая шутка часто звучали в этих студенческих беседах. Такой кружок не мог быть увлечен никаким авторитетом. Определяя этот кружок, я определяю всего более Станкевича, именем которого, по справедливости, называю кружок; стройное существо его духа удерживало его друзей от того легкого рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы, и, когда Станкевич уехал за границу, быстро развилась в друзьях его вся ложь односторонности, и кружок представил обыкновенное явление крайней исключительности [7]. Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности; искусство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем

кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство, было проникнуто свободною любовью, без всякого чувства зависимости. Скажу еще, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нем свои буйные хулы. Хотя значение церкви не раскрылось еще Станкевичу, по крайней мере до отъезда его за границу, но церковь и еще семья были для него святыней, на которую он не позволял при себе кидаться. Станкевич был нежный сын. Кружок Станкевича продолжался и по выходе его и друзей его из университета; он имел свой ход и свое значение в обществе. После него уже пошли эти безобразные выходки. Но, несмотря на всю стройность своего нравственного существа, на стремление к свету мысли, к истинной свободе духа, равно чуждой рабства и бунта, Станкевич не стал, по крайней мере до отъезда за границу, на желанную им высоту и свобода веры, кажется, не была им достигнута.

Я увлекся; но этот кружок есть явление, вполне принадлежащее Москве и ее университету, возникшее в ту эпоху, когда дикое буйство студенческой жизни, о котором доносятся отдаленные предания, миновало и когда заменялось оно стройною свободою мысли, еще не подавляемой форменностью.

Когда я поступил в университет, форменность, как сказал я, начинала вводиться, но еще слабо; были мундиры и вицмундиры (сюртуки), но можно было в них и не являться на лекцию. При моем вступлении начиналось требование, чтобы студенты ходили на лекцию в форменном платье; но я и на втором курсе видел иногда студентов в платье партикулярном. В первый год мы носили темно-зеленые сюртуки с красным воротником (до нас форма была синяя, с красным воротником); на следующий год красный воротник заменило начальство синим. Сперва требовалось от нас, чтобы мы были только в университете в форменном платье. Я помню, что я, еще во второй год своего студентства, был в Собрании во фраке и говорил там с Голохвастовым. Потом, вводя форменность, нарисовали студентов на бумажке, одного в мундире, другого в вицмундире, раскрасили, вставили в рамку и вывесили в Правлении для назидания в одежде. Наконец призвали нас в Правление и объявили, чтоб мы во всех общественных местах являлись в форменном платье. Студенты повиновались, — и в театре,

и в Собрании появились студентские мундиры; но везде, где можно, на вечерах и балах частных и даже на улицах студенты носили партикулярное платье по произволу. Форменные шинели и шубы не были положены, и мы носили шинели и шубы обыкновенные.

Наступили переходные экзамены с первого курса на второй. Они сошли для меня довольно счастливо. На экзамене у Терновского достался мне вопрос об аде. Отвечая, я сказал про огненные муки и прибавил, что было бы странно понимать этот огонь в материальном значении, как огонь нам известный, но что это огонь невещественный, что это муки совести. Терновский стал с досадою возражать мне, но тогдашний викарный Николай, присутствовавший на экзамене, остановил его, сказав: очень хорошо, ответ прекрасный. Терновский должен был поставить мне четыре, лучший балл.

Я перешел на второй курс. Станкевич и его товарищи перешли на третий. Оба курса, второй и третий, слушали лекции вместе в большой словесной аудитории, над дверью которой золотыми буквами, как на смех, было написано: *Словестное отделение.* Здесь слушало вместе студентов человек сто. На втором и третьем курсе (лекции были общие) были уже другие профессоры, и из них некоторые — люди замечательные. Надеждин читал здесь эстетику, Каченовский — русскую историю. Впоследствии явился Шевырев, приехавший из-за границы, и стал читать историю поэзии, и потом — Погодин, начавший читать всеобщую историю. Давыдов читал риторику и русскую литературу. Латинский язык читал Снегирев, греческий — Ивашковский, немецкий — Кистер, французский — Декамп, которого обыкновенно называли: дед Камп.

Надеждин производил, с начала своего профессорства, большое впечатление своими лекциями. Он всегда импровизировал. Услышав умную, плавную речь, ощутив, так сказать, воздух мысли, молодое поколение с жадностью и благодарностью обратилось к Надеждину, но скоро увидело, что ошиблось в своем увлечении. Надеждин не удовлетворил серьезным требованиям юношей; скоро заметили сухость его слов, собственное безучастие к предмету и недостаток серьезных занятий [8]. Тем не менее, справедливо и строго оценив Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его речь. Я помню, как Станкевич, говоря о недостатках Надеждина, прибавлял, что Надеждин многое пробудил в нем своими лекциями и

что если он (Станкевич) будет в раю, то Надеждину за то обязан. Тем не менее, благодарный ему за это пробуждение, Станкевич чувствовал всю бедность его преподавания. Надеждина любили за то еще, что он был очень деликатен с студентами, не требовал, чтоб они ходили на лекции, не выходили во время чтения и вообще не любил никаких полицейских приемов. Это студенты очень ценили — и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекциях, как у Надеждина. Обладая текучею речью, закрывая глаза и покачиваясь на кафедре, он говорил без умолку, — и случалось, что проходил назначенный час, а он продолжал читать (он был крайним). Однажды, до поступления моего на второй курс, прочел он два часа с лишком, и студенты не напомнили ему, что срок его лекции давно прошел.

Во время второго моего курса явился на кафедре Шевырев и читал вступительную лекцию. На этой лекции было много посторонних слушателей; я помню Хомякова и других. Лекция Шевырева, обличавшая добросовестный труд, сильно понравилась студентам: так обрадовались они, увидя эту добросовестность труда и любовь к науке! Я помню, какое действие произвели слова его на Станкевича, когда Шевырев произнес: «Честное занятие наукою». — «Это уж не Надеждин, — сказали студенты, — это человек точно трудящийся и любящий науку». После лекции к Станкевичу подходил Клюшников. «Ты что мне скажешь?» — спрашивал его Станкевич. Я не помню, что Клюшников сказал ему, но помню насмешливое выражение его лица. Шевырев казался для студентов радостным событием, но и тут очарование продолжалось недолго. Студенты скоро увидели педантичность приемов, ограниченность взглядов, множество труда и знания, это правда, но отсутствие свободной мысли, манерность и неприятное щекотливое самолюбие. Однако, чуть ли уже не на третьем курсе, чуть ли это уже не мы разрушили сладкие мечты о Шевыреве[9]. Шевырев объявил нам однажды мнение, что так как уже мысль выражена его словами удовлетворительно, то он бы желал, чтобы студенты высказывали ее в ответах своих его же словами — это весьма нам не понравилось. Наконец, скоро в Шевыреве обнаружилась раздражительная требовательность и отчасти полицейские движения. Так, помню я, что когда один студент зашумел как-то на его лекции или что-то. вроде этого, то Шевырев сказал: «Милостивый государь, такое поведение не приносит нам чести, а, напротив, приносит бесчестие, и, по-

крытые этим бесчестием, извольте выйти». Я почти буквально помню эти слова. Справедливое негодование проникло в молодые сердца, и Шевырев скоро стал нелюбим положительно. Я, впрочем, старался сколько можно защитить Шевырева от излишних нападений и повторял товарищам в шутку: «Сей девы рыцарь я!» *

Погодин, заняв кафедру всеобщей истории (кажется, когда мы уже перешли на третий курс), тоже читал вступительную лекцию. Погодин говорил с жаром, и хотя все молодые люди были враждебно расположены к нему, но мне помнится, что эта лекция произвела выгодное и сильное впечатление. Бог знает, как умел Погодин, при многих своих достоинствах, восстановлять против себя почти всех. Нападения на него часто были несправедливы, но недаром же так дружно на него восставали. Мне кажется, что главная причина — неуменье обращаться с людьми. Я помню, что и нам однажды с кафедры сказал он, что мы мальчики или что-то в этом роде; аудитория наша не вспыхнула, не зашумела на сей раз, но слова эти оставили глубокий след негодования. Впрочем, значение Погодина ясно определилось только впоследствии, когда он получил кафедру русской истории. Я видел некоторых его слушателей, людей правдивых и умных, благодарных ему за лекции русской истории [10].

В наше время любили и ценили, и боялись притом, чуть ли не больше всех, Каченовского. Молодость охотно верит, но и сомневается охотно, охотно любит новое, самобытное мнение, и исторический скептицизм Каченовского нашел сильное сочувствие во всех нас. Строев, Бодянский с жаром развивали его мысль. Станкевич хотя не занимался много русскою историею, но так же думал. Я тоже был увлечен. На третьем курсе начал я писать пародию: «Олег под Константинополем», где утрировал мнение, противоположное Каченовскому [11]. Только впоследствии увидал я всю неосновательность нашего исторического скептицизма. Я помню, как высоко ставил Каченовский Москву, с какою улыбкою удовольствия говорил он о ней, утверждая, что с нее начинается русская история. Его отзывы о Москве были новою причиною моего к нему сочувствия. Но самые лекции свои читал он довольно утомительно для слушателей. Каченовский был в то же время очень забавен в своих приемах, и студенты самым дружеским и

---

* Из «Танкреда». Перевод Гнедича. (*Прим. К. С. Аксакова.*)

нежным образом над ним подсмеивались. Он являлся аккуратно в назначенный час (промежутков между лекций у нас не было), и студенты говорили, что он сам звонит. Несмотря на свою строгость, Каченовский, однако же, хорошо обращался с студентами. Я помню, что он сказал на лекции одному студенту, заметив в нем какую-то неисправность: «Милостивый государь, вы виноваты; если б с вами была ваша табель, я бы это отметил». Между тем было приказано иметь табель всегда с собою. Мы оценили его деликатность.

Студенты предшествующего нам курса хотели поднести золотую табакерку Каченовскому, но это, кажется, почему-то не состоялось. Станкевич, перед своим выходом из университета, вздумал как-то писать стихи к профессорам, из которых я помню несколько. Вот четыре стиха, относящиеся к Каченовскому:

За старину он в бой пошел,
Надел заржавленные латы,
Сквозь строй врагов он нас провел
И прямо вывел в кандидаты.

К Снегиреву:

Он <Каченовский> — историческая мерка;
Тебе ж что скажем, дураку?
Ему — в три фунта табакерка;
Тебе — три фунта табаку...

Давыдов Ив. Ив. был важен, очень важен, невыносимо величествен и скучен. Лекции его не имели ни малейшего достоинства. В его напечатанном курсе есть следующие слова: *о великих людях пишем мы длинными стихами, потому что воображаем их себе большого роста*[12]. Но всего лучше привести о нем стихи Клюшникова:

Подлец по сердцу и из видов,
Душеприказчик старых баб,
Иван Иванович Давыдов
Ивана Лазарева раб.
. . . .
В нем грудь полна стяжанья мукой,
Полна расчетов голова,
И тащится он за наукой,
Как за Минервою сова.
Сквернит своим прикосновеньем
Науку божию педант.
Так школьник тешится обедней,
Так негодяй официант
Ломает барина в передней.

Или:

Учитель наш был истинный педант,
Сорокоум, — дай бог ему здоровья!
Манеры важные — что твой официант,
А голос — что мычание коровье.
К тому ж талант, решительный талант,
Нет, мало — даже гений пустословья:
Бывало, он часа три говорит
О том, кто постигает, кто творит.

Двух первых стихов следующего куплета не помню:

. . . .
. . . .
Возьмем, бывало, оду для примера
За голову и за ноги вдвоем
И разберем по руководству Блера,
В ней недостатки и красы найдем,
Что худо в ней, что хорошо * — оценим,
Чего ж недостает — своим заменим.

Из настоящих старых профессоров был у нас один, собственно, Сем. Март. Ивашковский. Почти к каждому слову говорил он: *будет,* что Беер называл: вприкуску. Когда я поступил на второй курс, то был немало удивлен порядком его лекций, в особенности первою лекцией. «Идет Ивашковский!» — сказал кто-то. «Это ничего, — отвечали старые студенты, — он еще будет долго ходить по аудитории». И в самом деле: Ивашковский явился, один из студентов-эллинистов подошел к нему, завел с ним разговор, и Ивашковский начал ходить с своим собеседником взад и вперед по одной половине аудитории, а по другой расхаживали студенты. С полчаса продолжалась прогулка; наконец Ивашковский сел на кафедру, а студенты на лавки. Ивашковский молчал долго, как будто собираясь и не решаясь заговорить, наконец вдруг сказал: «Велено, будет, всякому студенту, будет, иметь, будет, табель», — и опять замолчал и опять долго как бы не решался заговорить; наконец сказал: «До следующего, будет, раза», — и ушел. Всякая его лекция начиналась прогулкой, и для этого выбирался кто-нибудь из студентов-эллинистов. Читал Ивашковский не больше получаса; лекция заключалась в переводе греческих писателей. Ивашковский кричал и переводил; кричал и переводил вслед за ним избранный студент, часто ничего не знавший по-гречески и иногда догадываясь весьма неловко. Я помню один такой пере-

* Что подчеркнуто, это хорошенько не помню. (*Прим. К. С. Аксакова.*)

вод. «И взял его», — кричал, переводя, Ивашковский. «Взял его, — повторил студент и прибавил: — за волосы», — как видно, лучше не догадавшись. Ивашковский остановился: «Где, будет, за волосы, тут нет, будет, за волосы», — сказал он, и перевод пошел своим порядком в два голоса.

На втором курсе я еще больше сблизился с кружком Станкевича и, должен признаться, поотдалился-таки от своих друзей-товарищей. Коссович на втором курсе уединился от всех, не занимался университетским ученьем, не ходил почти на лекции; а когда приходил, то приносил с собою книгу и не отнимал от нее головы все время, как был в аудитории. На него смотрели с удивлением, говорили: Коссович не занимается; а он между тем глотал один древний язык за другим. Коссович вступил на свою дорогу, филологическое призвание заговорило в нем, и именно он трудился дельно и быстро себя образовывал. Но, однако, Коссович был оставлен на втором курсе; впоследствии, занявшись университетскими предметами, он без труда вышел кандидатом.

На вечерах у Станкевича выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное количество хлеба. Станкевич любил и знал музыку. Иногда мы певали всем хором; общею студентскою нашею песнью были стихи Хомякова из его трагедии «Ермак» «За туманною горою...» и проч. Станкевич был большой мастер передразнивать. Однажды, как-то днем на своей квартире, передразнивал он Каченовского, и в это самое время Каченовский проехал мимо, по улице. «Вот тебе раз, — сказал Станкевич, — не видал ли он?» — «Ничего, братец, — сказал Бодянский, — он подумал, что зеркало стояло». В те года только что появлялись творения Гоголя; дышащие новою небывалою художественностью, как действовали они тогда на все юношество, и в особенности на кружок Станкевича! Во время нашего студентства вышло «Новоселье», альманах; там была повесть Гоголя «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»[13]. Помню я то впечатление, какое она произвела. Что может равняться радостному, сильному чувству художественного откровения? Как освежало, ободряло оно души всех! Как само постепенное появление изданий гениального художника оживляло, двигало общество. Рад я, что испытал и видел все это. Станкевич ценил очень верно и тонко художественность Гоголя, особенно в безделицах. Вскоре после выхода его и моего из университета Станкевич достал как-то в рукопи-

си «Коляску» Гоголя, вскоре потом напечатанную в «Современнике» [14]. У Станкевича был я и Белинский; мы приготовились слушать, заранее уже полные удовольствия. Станкевич прочел первые строки: «Городок Б. очень повеселел с тех пор, как начал в нем стоять кавалерийский полк...» — и вдруг нами овладел смех, смех несказанный; все мы трое смеялись, и долго смех не унимался. Мы смеялись не от чего-нибудь забавного или смешного, но от того внутреннего веселия и радостного чувства, которым преисполнились мы, держа в руках и готовясь читать Гоголя. Наконец смех наш прекратился, и мы прочли с величайшим удовольствием этот маленький рассказ, в котором, как и в других созданиях Гоголя, и полнота и совершенство искусства. Станкевич читал очень хорошо; он любил и комическую сторону жизни и часто смешил товарищей своими шутками.

Помню я нашу шумную аудиторию, помню это веселое товарищество, это юношество, не справляющееся ни о роде, ни о племени, ни о богатстве, ни о знатности, не хлопочущее о манерах, а постоянно вольно себя выражающее. Множество молодых людей вместе слышит в себе силу, волнующуюся неопределенно и еще никуда не направленную. Иногда целая аудитория в сто человек, по какому-нибудь пустому поводу, вся поднимет общий крик, окна трясутся от звука, и всякому любо. Но чувство совокупной силы выражается в эту минуту в общем громовом голосе. Почему не выразится оно иначе, здесь не место говорить о том. Хорошо, что в наше время оно хоть темно чувствовалось, хоть так выражалось. Помню я, как однажды узнали, что Каченовский не будет. «Каченовский не будет!» — закричал один студент. «Не будет!» — подхватил другой. «Не будет!» — закричали несколько. «Не будет!» — загремела вся аудитория и долго гремела. Кто-то вошел в калошах в аудиторию. «Долой калоши, à bas, à bas!» — раздалось дружно, и вошедший поспешил скорее удалиться и скинуть калоши. Однажды Морошкин, читая в политическом отделении, находившемся под нами, и услыша такой гром, сострил, сказав, что грому прилично быть на Олимпе, а не на Парнасе. Юридическое отделение в наше время называлось политическим и было очень плохо; «словесники» питали великое презрение к «политикам».

Не могу не рассказать про один смешной случай, бывший на лекции у Надеждина. Он как-то вздумал сде-

лать репетицию и стал нас спрашивать, спросил и Бодянского, сидевшего на задней лавке. Бодянский поднялся и стал отвечать, как по книге, и при этом беспрестанно опускал глаза на стол. Студенты засмеялись. «Он по книге читает», — заметили они друг другу. Надеждин, вероятно, услыхал это и, сам заметя книжный слог ответа, сказал, несмотря на свою деликатность: «Извините, господин Бодянский, мне кажется, вы по книге читаете». — «Нет», — отвечал Бодянский и спокойно продолжал свой ответ. Надеждин, смотря на его опускающиеся глаза и слыша постоянно ровный книжный язык, сказал: «Извините меня, господин Бодянский, пожалуйте к кафедре». Бодянский замолчал, послышался стук и топот: это Бодянский приближался к кафедре, стал перед нею и с невозмутимым спокойствием продолжал свой ответ, точь-в-точь как на задней лавке. «Сделайте милость, извините меня, — сказал Надеждин, — прекрасно, прекрасно!»

Бодянский был одним из самых дельных студентов, серьезно занимался историей и теперь занимает в области науки всем известное почетное место.

Между нами были еще студенты того прежнего буйного склада, о которых мы знаем теперь только по преданию, как о старине. Таков был Киндяков, часто пьяный, буйный, производивший драки и на улицах. У Шевырева была привычка, если кто зашумит на лекции, обратиться к лавкам и сказать: «А?» Раз как-то, при Киндякове, он тоже, обратясь к студентам, спросил: «А?» — «Бе», — отвечал ему Киндяков громогласно. Шевырев сконфузился и не сказал ни слова. Был у нас и студент другого рода, хохотун Челищев, бравший два платка с собой на лекции: один, чтоб утирать нос, а другой, чтоб затыкать рот, когда начнет смеяться. Лекции у нас следовали, без всяких промежутков, одна за другою, иногда продолжаясь шесть часов сряду. Это было очень утомительно. За Давыдовым следовал Каченовский, и студенты, зевая, спрашивали друг друга: что это, следствие ли Давыдова или предчувствие Каченовского?

Я перешел на третий курс. Станкевич, Строев, Ефремов, Красов, Бодянский вышли кандидатами, и аудитория наша опустела...

12 января 1855 г.

Н. М. САТИН

ОТРЫВКИ ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Одно воспоминание влечет за собою другие. Говоря о Соколовском, я упомянул, что весь 1837 год я провел на Кавказе: лето на водах, а осень и зиму в Ставрополе. Этот год был замечателен разными встречами. Начнем с Белинского и Лермонтова. Ив. Ив. Панаев в своих «Литературных воспоминаниях» говорит, что Белинский и Лермонтов познакомились в Петербурге, у г. Краевского, в то время, когда Белинский принимал деятельное участие в издании «Отечественных записок», то есть в 1839 или 1840 году [1]. Это несправедливо. Они познакомились в 1837 году, в Пятигорске, у меня. Сошлись и разошлись они тогда вовсе не симпатично. Белинский, впоследствии столь высоко ценивший Лермонтова, не раз подсмеивался сам над собой, говоря, что он тогда не *раскусил* Лермонтова.

Летом 1837 года я жил в Пятигорске, больной, почти без движения от ревматических болей в ногах. Туда же и тогда же приехали Белинский и Лермонтов; первый — из Москвы, лечиться; второй — из Нижегородского полка, повеселиться [2].

С Белинским я не был знаком прежде, но он привез мне из Москвы письмо от нашего общего приятеля Кетчера, на этом основании мы скоро сблизились, и Белинский навещал меня ежедневно. С Лермонтовым мы встретились как старые товарищи. Мы были с ним вместе в Московском университетском пансионе, но в 1831 году, после преобразования пансиона в Дворянский институт (когда-нибудь поговорим и об этом замечательном факте) и введения в него *розог,* вместе и оставили его [3]. Лермонтов тотчас же вступил в Московский университет и прямо наткнулся на историю профессора Малова, вследствие которой был исключен из университета и поступил в юнкерскую школу [4]. Я поступил в университет только на следующий год. На пороге

школьной жизни мы расстались с Лермонтовым холодно и скоро забыли друг о друге. Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать: «пристанет, так не отстанет», говорили об нем. Замечательно, что эта юношеская наклонность привела его и к последней трагической дуэли!

В 1837 году мы встретились уже молодыми людьми, и, разумеется, школьные неудовольствия были взаимно забыты. Я сказал, что был серьезно болен и почти недвижим; Лермонтов, напротив, пользовался всем здоровьем и вел светскую, рассеянную жизнь. Он был знаком со всем *водяным* обществом (тогда очень многочисленным), участвовал на всех обедах, пикниках и праздниках. Такая, по-видимому, пустая жизнь не пропадала, впрочем, для него даром: он писал тогда свою «Княжну Мери» и зорко наблюдал за встречающимися ему личностями [5]. Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери, и Грушницкого, и в особенности милого, умного и оригинального доктора Майера [6].

Майер был доктором при штабе генерала Вельяминова. Это был замечательно умный и образованный человек; тем не менее он тоже не раскусил Лермонтова. Лермонтов снял с него портрет поразительно верный, но умный Майер обиделся, и, когда «Княжна Мери» была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: «Pauvre sire, pauvre talent» *.

Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать. Он не любил говорить о своих литературных занятиях, не любил даже читать своих стихов, но зато охотно рассказывал о своих светских похождениях, сам первый подсмеиваясь над своими *любвями* и волокитствами.

В одно из таких посещений он встретился у меня с Белинским. Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на разных пустячках; они даже открыли, что оба — уроженцы города Чембара (Пензенской губернии) [7].

Но Белинский не мог долго удовлетворяться пустословием. На столе у меня лежал том записок Дидерота; взяв его и перелистовав, он с увлечением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать раз-

---

* «Ничтожный человек, ничтожный талант!» (*франц.*)

ными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками.

«Да, я вот что скажу вам об вашем Вольтере, — сказал он в заключение, — если бы он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры!» [8].

Такая неожиданная выходка, впрочем не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты.

Лермонтов разразился хохотом. Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек; он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость.

Белинский, с своей стороны, иначе не называл Лермонтова, как *пошляком,* и, когда я ему напоминал стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина», он отвечал: «Вот важность, написать несколько удачных стихов! От этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком!» [9].

На впечатлительную натуру Белинского встреча с Лермонтовым произвела такое сильное влияние, что в первом же письме из Москвы он писал ко мне: «Поверь, что пошлость заразительна, а потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов».

Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. Через два или три года они глубоко уважали и ценили друг друга [10].

А. И. ГЕРЦЕН

ИЗ «БЫЛОГО И ДУМ»

ИЗ ГЛАВЫ XXV

...Круг молодых людей, составившийся около Огарева, не был наш прежний круг. Только двое из старых друзей, кроме нас, были налицо [1]. Тон, интересы, занятия — все изменилось. Друзья Станкевича были на нервом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.

Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии, вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?»

Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая в университет, совершенно лишена философского приготовления; одни семинаристы имеют понятие об философии, зато совершенно превратное.

Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Океана с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения. Скорее Павлова можно обвинить за то, что он остановился на этой Магабарате философии и не прошел суровым искусом Гегелевой ло-

гики. Но он даже и в своей науке дальше введения и общего понятия не шел или, по крайней мере, не вел других. Эта остановка при начале, это незавершение своего дела, эти дома без крыши, фундаменты без домов и пышные сени, ведущие в скромное жилье, — совершенно в русском народном духе. Не оттого ли мы довольствуемся сенями, что история наша еще стучится в ворота?

Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич.

Станкевич, тоже один из *праздных* людей, *ничего* не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский.

До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние следы взаимного непонимания, был Грановский; но, когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине[2], а бедный Станкевич потухал на берегах Lago di Como лет двадцати семи[3].

Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был «победный венок», выступавший на его бледном предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулативном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совершенно противуположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как *русский дух* переработал Гегелево учение и как *наша* живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бун-

товать против текста за дух, против отвлечений — за жизнь.

Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем, возвращающихся из плена или ссылки: с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они — *сегодня,* а мы — *уже вчера,* и требуя *безусловного* принятия «Феноменологии» и «Логики» Гегеля, и притом по их толкованию.

Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о ее *по себе бытии».* Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он, — так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Ватке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал «привратником Гегелевой философии» [4], если б они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой [5], как их читали и как их *покупали.*

Главное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности изложения, — ясности, нисколько не терявшей всей глубины немецкого мышления; молодые философы приняли, напротив, какой-то условный язык, они не переводили на русское, а перекладывали целиком, да еще, для большей легости, оставляя все латинские слова in crudo *, давая им православные окончания и семь русских падежей.

Я имею право это сказать, потому что, увлеченный

* в нетронутом виде (*лат.*).

тогдашним потоком, я сам писал точно так же, да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это «птичьим языком». Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте». Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских.

Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучилась к искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему именно потому, что она жила в академиях, то есть в монастырях идеализма. Это язык попов науки, язык для *верных,* и никто из оглашенных его не понимал; к нему надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. Ключ этот теперь не тайна; понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии. Фейербах стал первый говорить человечественнее.

Механическая слепка немецкого *церковно*-ученого диалекта была тем непростительнее, что главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с которой все выражается на нем — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня»[6], крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.

Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля с студентом[7]. Все в *самом деле* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее не-

посредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к «гемюту», или к «трагическому в сердце»...

То же в искусстве. Знание Гете, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье[8]. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бледным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество божие», «Атлас». Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гете объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер — поэт субъективный, но его субъективность объективна, и vice versa *, все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться.

Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи о «палаче и о смертной казни», напечатанной в Розенкранцевой биографии[9].

Гегель держался в кругу отвлечений для того, чтоб

---

* наоборот (*лат.*).

не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений, для них он избрал очень ловко тихое и безбурное море эстетики; редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись, как больной, но и тогда оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые всего более занимали современного человека. Чрезвычайно слабые умы (один Ганс делает исключение), окружавшие его, принимали букву за самое дело, им нравилась пустая игра диалектики. Вероятно, старику иной раз бывало тяжело и совестно смотреть на недальновидность через край удовлетворенных учеников своих. Диалектическая метода, если она не есть развитие самой сущности, воспитание ее, так сказать, в мысль, — становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике — тем, чем она была у греческих софистов и у средневековых схоластиков после Абеларда.

Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии, — «Все действительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла: «Нет власти, как от бога» [10]. Но если все власти от бога и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции — чистая таутология, но таутология или нет, она прямо вела к признанию предержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки, — этого-то и хотели берлинские буддаисты. Как такое воззрение ни было противуположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегельянцы.

Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца — проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни пред моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные: в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я

ему, думая поразить его моим, революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, *заговорить,* но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал «Бородинской годовщиной» [11].

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, его революционный такт толкал его в другую сторону [12]. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми.

Середь этой междоусобицы я увидел необходимость ex ipso fonte bibere * и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, не *переживший* «Феноменологии» Гегеля и «Противуречий общественной экономии» Прудона, не перешедший через этот горн и этот закал, не полон, не современен.

Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая «бранденбургские ворота». Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может с намерением, дурно формулирована.

Так, как в математике — только там с бо́льшим правом — не возвращаются к определению пространства, движения, сил, а продолжают диалектическое развитие их свойств и законов, так и в формальном понимании филосо-

---

* испить из самого источника (*лат.*).

фии, привыкнув однажды к началам, продолжают одни выводы. Новый человек, не забивший себя методой, обращающейся в привычку, именно за эти-то предания, за эти догматы, принимаемые за мысли, и цепляется. Людям, давно занимающимся и, следственно, не беспристрастным, кажется удивительным, как другие не понимают вещей «совершенно ясных».

Как не понять *такую* простую мысль, как, например, что «душа бессмертна, а что умирает одна личность», — мысль, так успешно развитая берлинским Михелетом в его книге [13]. Или еще более простую истину, что безусловный дух есть личность, сознающая себя через мир, а между тем имеющая и свое собственное самопознание.

Все эти вещи казались до того легки нашим друзьям, они так улыбались «французским» возражениям, что я был на некоторое время подавлен ими и работал и работал, чтоб дойти до отчетливого понимания их философского jargon * <...>

Теперь возвратимся к Белинскому.

Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна, он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание [14]. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты, в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о «бородинской годовщине». Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:

— Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... Ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? «Это автор статьи о бородинской годовщине?» — спросил его на ухо офицер. — «Да». — «Нет, покорно благодарю», — сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть, — я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю...» Чего же вам больше? [15].

---

* жаргона (*франц.*).

С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.

Белинский, как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное; plus royalistes que le roi * — они с мужеством несчастия старались отстаивать свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия.

Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского, только упорные формалисты и педанты отдалились; одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести; другие сделались православными славянофилами. Как сочетание Гегеля с Стефаном Яворским ни кажется странно, но оно возможнее, чем думают; византийское богословие — точно так же внешняя казуистика, игра логическими формулами, как формально принимаемая диалектика Гегеля. «Москвитянин» в некоторых статьях дал торжественное доказательство, до чего может дойти при таланте содомизм философии и религии.

Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию. Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 год в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева[16] является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих «Родные люди вот какие» в «Онегине», чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства[17]. Кто не помнит его статьи о «Тарантасе», о «Параше» Тургенева, о Державине, о Мочалове и Гамлете? Какая верность своим началам, какая неустрашимая последова-

---

* более роялисты, чем сам король (*франц.*).

тельность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем — так катаньем, не антикритикой — так доносом! Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяние их дорогие, *задушевные* мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую аннинской лентой. Как же они за то его и ненавидели!

Славянофилы, с своей стороны, начали официально существовать с войны против Белинского; он их додразнил до мурмолок и зипунов. Стоит вспомнить, что Белинский прежде писал в *«Отечественных записках»,* а Киреевский начал издавать свой превосходный журнал под заглавием *«Европеец»;* эти названия всего лучше доказывают, что вначале были только оттенки, а не мнения, не партии.

Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки»; тяжелый номер рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья?» — «Есть», — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, *уважений* как не бывало.

Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте:

— Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу.

Я в другой книге [18] говорил о развитии Белинского и об его литературной деятельности, здесь скажу несколько слов об нем самом.

Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень многочисленном; он знал это и, желая скрыть, делал пресмешные вещи. К. уговорил его ехать к одной даме; по мере приближения к ее дому Белинский все становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день, говорил о головной боли. К., зная его, не принимал никаких отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пустился было бе-

жать, но К. поймал его за шинель и повел представлять даме.

Он являлся иногда на литературно-дипломатические вечера князя Одоевского. Там толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга; там бывали посольские чиновники и археолог Сахаров, живописцы и А. Мейендорф, статские советники из образованных, Иакинф Бичурин из Пекина, полужандармы и полулитераторы, совсем жандармы и вовсе не литераторы. А. К<раевский> домолчался там до того, что генералы принимали его за авторитет. Хозяйка дома с внутренней горестью смотрела на подлые вкусы своего мужа и уступала им так, как Людовик-Филипп в начале своего царствования, снисходя к своим избирателям, приглашал на балы в Тюльери целые rez-de-chaussée * подтяжечных мастеров, москательных лавочников, башмачников и других почтенных граждан.

Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III Отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать.

Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жженку en petite comité **, когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему, он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым «позументом», сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки... Во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой.

Милый Белинский! Как его долго сердили и расстрои-

---

* нижние этажи (*франц.*).

** в тесной компании (*франц.*).

вали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом — не улыбаясь, а похаживая по комнате и покачивая головой.

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но, когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!

Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно ценсурой, окруженный в Петербурге людьми мало симпатичными, снедаемый болезнию, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей.

Часто, выбившись из сил, приходил он отдыхать к нам; лежа на полу с двухлетним ребенком, он играл с ним целые часы. Пока мы были втроем, дело шло как нельзя лучше, но при звуке колокольчика судорожная гримаса пробегала по лицу его, и он беспокойно оглядывался и искал шляпу; потом оставался, по славянской слабости. Тут одно слово, замечание, сказанное не по нем, приводило к самым оригинальным сценам и спорам...

Раз приходит он обедать к одному литератору [19] на страстной неделе; подают постные блюда.

— Давно ли, — спрашивает он, — вы сделались так богомольны?

— Мы *едим*, — отвечает *литератор*, — постное просто-напросто для людей.

— *Для людей?* — спросил Белинский и *побледнел*. — Для людей? — повторил он и бросил свое *место*. — Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты; всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами! Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет *людей!*

В числе закоснелейших немцев из русских был один магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина;[20] добрый человек в синих очках, чопорный и приличный, он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз на литературной вечеринке у романиста, наблюдавшего для своих людей посты, магистр проповедовал какую-то чушь honnête et modérée *. Белинский лежал в углу на кушетке, и когда я проходил мимо, он меня взял за полу и сказал:

— Слышал ли ты, что этот изверг врет? У меня давно язык чешется, да что-то грудь болит и народу много; будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь насмешкой, ты это лучше умеешь — ну, утешь.

Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс. Я же этого господина почти не знаю да и едва слышал, что он говорит.

К концу вечера магистр в синих очках, побранивши Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом «Письме» Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами:

— Как бы то ни было, я считаю его поступок презрительным, гнусным, я не уважаю такого человека.

В комнате был один человек, близкий с Чаадаевым, это я. О Чаадаеве я буду еще много говорить, я его всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое замечание. Я сухо спросил его, полагает

* благопристойную и умеренную (*франц.*).

ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно.

— Совсем н е т , — отвечал магистр.

На этом завязался неприятный разговор; я ему доказывал, что эпитеты «гнусный», «презрительный» — *гнусны и презрительны,* относясь к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он мне толковал о целости народа, о единстве отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться.

Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне, уже бледный как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал:

— Вот они, высказались — инквизиторы, цензоры — на веревочке мысль в о д и т ь . . . — и пошел, и пошел.

С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями.

— Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?

— В образованных с т р а н а х , — сказал с неподражаемым самодовольством м а г и с т р , — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен, но именно в эти минуты самолюбие людское и закусывает удила. И Тургенев советует человеку, когда он так затешется в споре, что самому сделается страшно, провесть раз десять языком внутри рта, прежде чем вымолвить слово.

Магистр, не зная этого домашнего средства, продолжал пороть вялые пустяки, обращаясь больше к другим, чем к Белинскому.

Несмотря на вашу нетерпимость, — сказал он наконец, — я уверен, что вы согласитесь с одним...

— Нет, — отвечал Белинский. — Что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни с чем!

Все рассмеялись и пошли ужинать. Магистр схватил шляпу и уехал.

...Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Белинского. Лицо его, особенно мышцы около губ его, печально остановившийся взор равно говорили о сильной работе духа и о быстром разложении тела.

В последний раз я видел его в Париже осенью 1847 года, он был очень плох, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергия и ярко светилась своим догорающим огнем. В такую минуту написал он свое письмо к Гоголю.

Весть о февральской революции еще застала его в живых, он умер, принимая зарево ее за занимавшееся утро!

В. А. ПАНАЕВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

ИЗ ГЛАВЫ V

...Остановка в Москве. — Белинский и С. Т. Аксаков.

В Москве мы остановились на Тверской площади, в гостинице «Дрезден», которая и посейчас существует. Иван Иванович предполагал пробыть в Москве недолго, но вышло иначе.

Дело в том, что Иван Иванович, принявший живое участие в начавшем издаваться в этом году журнале «Отечественные записки», стал убеждать Краевского пригласить в сотрудники Белинского, с которым Иван Иванович был уже в переписке. По приезде своем в Москву, еще до поездки в Казань, он успел уже устроить соглашение Краевского с Белинским и перед отъездом в Казань условился с последним ехать в Петербург вместе, по возвращении из Казани. Белинскому почему-то нельзя было немедленно выехать из Москвы, но главною причиною замедления выезда Ивана Ивановича из Москвы было то, что ему было там очень весело. Его и его молодую жену баловали и носили в то время в Москве, можно сказать, на руках. Еще ехавши в Казань, Иван Иванович сошелся с семейством Аксаковых, чему способствовало то обстоятельство, что Сергей Тимофеевич был товарищ по Казанскому университету отцу Ивана Ивановича и друг в юности моего отца.

Сближение с Аксаковыми и с Белинским сблизило Ивана Ивановича со всею тогдашнею московскою интеллигенциею, что не могло, конечно, не интересовать живо Ивана Ивановича. Через Аксаковых Иван Иванович познакомился с Щепкиным и с Загоскиным, известным романистом и в то время директором московских театров. Тотчас по приезде Ивана Ивановича в Москву Загоскин приказал поставить «Отелло», чтобы показать в этой роли игру Мочалова, так как во время представления этой

трагедии, данного до отъезда Ивана Ивановича в Казань, Мочалов был не в ударе. На этом втором представлении присутствовал и я. О впечатлении, произведенном на меня игрою Мочалова, я выскажусь тогда, когда буду говорить о Каратыгине. Помню, однако, что все говорили, что на этот раз Мочалов не выказал вполне своего таланта.

Во время пребывания моего в Москве раза два Иван Иванович возил меня обедать к Аксаковым. Сергей Тимофеевич очень меня обласкал, много вспоминал о моем отце и расспрашивал о нем. Из детей Сергея Тимофеевича у меня остался в памяти только Константин Сергеевич, другие дети в то время, должно быть, были в отсутствии. В числе посторонних лиц, обедавших у Аксакова, были тогда: Белинский, Щепкин и Загоскин. Впрочем, Белинского я уже не считал посторонним человеком, потому что он каждый день бывал у Ивана Ивановича.

Надо сказать, что Иван Иванович имел несомненную способность обрисовывать людей и знакомить с ними заочно. Еще в Казани, до приезда в Москву, Иван Иванович столько говорил о Белинском, что я приготовлен был видеть в этом человеке нечто необыкновенное. Первое наружное впечатление при встрече с Белинским было не совсем в его пользу. Белинский был скорее дурен, чем хорош собою; но в самое короткое время не только не замечалась его некрасота, но добрые, приветливые его глаза делали лицо его привлекательным.

Вскоре сделалось очевидным, что Иван Иванович заживется в Москве довольно долго, а между тем мне и Лихачеву надо было ехать в Петербург. Тогда решено было, что мы поедем в дилижансе одни. В это время Иван Иванович получил от своей матери письмо, в котором она выражала желание примириться с сыном и приглашала его по приезде в Петербург возвратиться к ней в дом с молодою женою и, зная по письмам из Казани, что я еду с ним, упоминала о том, чтобы и я непременно остановился у ней.

ИЗ ГЛАВЫ VI

...Сожительство с Белинским. — Белинский выручает меня из беды.

Когда Иван Иванович Панаев пригласил, еще в Москве, Белинского остановиться у него в доме, он рассчитывал, что может дать Белинскому не менее двух комнат

внизу. Между тем в его отсутствие мать распорядилась нижними комнатами занимаемого ею дома, поместив там в двух комнатах одну из своих любимых приживалок (другая помещалась вверху), и отвела еще две комнаты для домашнего доктора, приезжавшего два раза в неделю из Павловска в Петербург. Затем оставалась одна свободная комната, в которую поместили меня. Иван Иванович Панаев ужасно рассердился, и в первый же час приезда вышла домашняя сцена; но делать было нечего — Белинского поместили в той комнате, в которой помещался и я.

Через несколько дней по приезде [1] Белинский принялся за работу, и комната его наполнилась журналами, книгами, лежавшими и на стульях, и на столах, и на диване, и на полу. Днем я старался не ходить часто в эту комнату, чтобы не мешать Белинскому; но, когда приходило время спать, а равно и утром, он много со мною разговаривал и очень полюбил меня. В это время он подарил мне свою грамматику, сделав на ней надпись *.

Хотя Белинский занимался и днем, но, видимо, работы его подвигались главным образом по ночам. Днем Белинский часто засиживался наверху у Ивана Ивановича Панаева, которого очень многие посещали, и, кроме того, Белинский в это же время любил поболтать с молодою женою Ивана Ивановича и поддразнивать ее, как ребенка, потешаясь проявлениями ее наивности.

В этот период времени Иван Иванович вел более домашнюю жизнь. По вечерам приходили к нему близкие знакомые, и Белинский большею частью присутствовал тут и сосредоточивал на себе общее внимание не только потому, что на него смотрели в этом кружке с особенным уважением, но по манере своей говорить. Белинский всегда говорил с искренним жаром, с убеждением, без уклонений и уверток; срединных мнений он не терпел, рубил сплеча и, чем дальше подвигался с изложением своего мнения, тем более разгорячался; видимо, он при-

---

* Эта книга хранилась у меня до 1878 года, но один из бывших петербургских редакторов, г. П<удикови>ч, выпросил ее у меня на несколько дней, чтобы просмотреть эту библиографическую редкость. Вскоре после этого сей господин очутился за границей. Я обращался к нему письмами за границу, умоляя возвратить мне дорогое для меня воспоминание и обещая простить ему денежный его мне долг в несколько сот рублей, но письма мои остались без ответа. Поневоле приходится подозревать, что моя книга продана бывшим редактором какому-нибудь библиофилу [2]. (*Прим. В. А. Панаева.*)

нимал все к сердцу; говорил не для того, чтобы поговорить или блеснуть своим мнением, нет, — он говорил потому, что завязался разговор, потому что что-нибудь задело его за живое. Предметом его речи преимущественно были или беспощадная казнь, или восторженное, искреннее восхваление какого-либо литературного произведения, общественного факта, литератора или общественного деятеля.

Было чего наслушаться мне, юноше в пятнадцать лет, приехавшему из провинции. Это время имело огромное влияние на всю мою жизнь. Но я по совести скажу, что, будучи развит далеко не по летам, вследствие условий жизни, изложенных в воспоминаниях моего детства, я никогда, и даже в описываемое мною время, не относился ни к чьим мнениям раболепно, и, как ни ограничен был в то время мой личный критериум, я, однако, пропускал чужие мнения через собственную критику.

Из числа литераторов, я помню, видел раз Полевого, Сахарова, Воейкова и много раз Кольцова[3], стихами которого я наслаждался тогда больше, нежели какими-либо другими, и личность самого Кольцова производила тоже чрезвычайно приятное впечатление. Бывал также у Ивана Ивановича довольно часто Даль, человек очень умный, весьма натуральный, на ходули не становившийся и приятный, живой собеседник, обладавший немалой дозой желчи. Помню также, посещавшего тоже Ивана Ивановича, Владиславлева, жандармского штаб-офицера, занимавшегося литературой и издававшего ежегодно изящные альбомы с прекрасными картинками и портретами.

Я имел, конечно, столько такта, чтобы не вмешиваться в разговоры людей взрослых, пользующихся или начинавших пользоваться известностью, но постоянно присутствовал на этих вечерах и с великим удовольствием слушал толки и споры. Эти толки и споры подымали во мне мысли, побуждали меня обдумывать многое самому и, в особенности, читать. Никогда, кажется, я не читал так много, как в это время, тем более что не было никакого другого дела.

Когда, по вечерам, никого не было, тогда Иван Иванович читал громко молодой своей жене преимущественно романы Вальтера Скотта и Купера; и я, конечно, упивался ими.

Всего более врезались в мою память ночи. Белинский, как я уже упомянул, работал много по ночам, часов до

четырех, а иногда и долее. Я, бывало, долго лежал и смотрел на Белинского во время его писания. Меня интересовало наблюдать за ним, потому что занятие его казалось для меня некоторым образом каким-то священнодействием. Видимо было, что он жил в эти минуты — то радовался, то страдал. Его писание было плодом искренно прочувствованным; оттого-то оно и оставило по себе глубокие, неизгладимые следы. Часто случалось, что он с видимым негодованием и с какою-то душевною болью отбрасывал от себя ту или другую книгу. Вероятно, это было тогда, когда ему приходилось писать библиографию. Занятия его прерывались время от времени курением. Тогда он накладывал себе трубку и курил ходя, видимо обдумывая что-то.

Так как в это время ему приходилось подходить близко к дивану, на котором я спал, то я, конечно, закрывал глаза и притворялся спящим.

В течение ночи мне приходилось просыпаться не один раз и все видеть Белинского работающим, который часто кашлял таким особым звуком, который указывал на забирающуюся уже в его грудь змею.

Тогда еще у меня сжималось сердце от мысли, каким тяжелым трудом добывает себе этот человек, которого я уже сильно полюбил, кусок хлеба. Тогда еще, несмотря на мою юность и неопытный взгляд на жизнь, мне казалось ничтожным назначенное ему издателем «Отечественных записок» вознаграждение. Я говорю об этом здесь потому, что именно во время сказанного мною бодрствования в постели эти мысли приходили мне в голову всякий раз, как Белинский закашляется.

Как ни интересно было мне тогда наблюдать за Белинским и удовлетворяться этим наблюдением, но, конечно, это побуждение неминуемо должно бы было скоро притупиться и не поддерживать долее моей бессонницы; но в этом играло еще роль мое личное положение. Неизбежно мне приходили в голову тревожные мысли о том, когда же разрешится мой вопрос, когда же поступлю я к профессору, когда же я начну готовиться в институт;[4] что родители мои ничего не знают о моем положении, они думают, что я давно принялся за приготовление, — и я не могу оправдать себя ни перед собой, ни перед другими за свою оплошность. Все эти мысли волновали меня в такой мере, что я чем далее, тем более утрачивал сон. Да, ночи эти мне памятны, они стоят передо мною, как будто бы это дело было вчера.

Из этого-то ужасного положения вывел меня Белинский и спас меня.

Прожив в доме три месяца, Белинский, конечно, понял домашние отношения и узнал благородный, честный, но слабый характер Ивана Ивановича. Несколько раз Белинский спрашивал меня, отчего я не учусь и не поступаю в заведение? Я уклонялся от ответа, так как дело касалось неблаговидного поступка моей тетки, считавшейся хозяйкой дома, в котором мы оба жили. Но наконец он настоятельно пожелал знать причину, и я рассказал ему все откровенно.

— Почему же вы не обратились к Ивану Ивановичу? — сказал он.

— Я уже не раз говорил ему, и не раз он говорил матери, и по этому случаю были уже домашние сцены; но я все-таки денег не получаю, — ответил я.

— Так Иван Иванович знает все?

— Да, знает.

Белинский вспыхнул и сказал:

— Пойдемте со мною наверх.

Когда Белинский бывал чем-нибудь взволнован, то ходил из угла в угол.

Придя к Ивану Ивановичу вместе со мною, он стал быстро ходить по комнате в продолжение минуты или более. Затем остановился и, обратясь к Ивану Ивановичу, сказал резко, указывая на меня:

— Что вы делаете с ним?

Иван Иванович догадался, конечно, в чем дело, и, сконфузившись, ответил:

— Я уже несколько раз говорил матери, она обещала отдать деньги скоро, но говорит, что не могла до сих пор справиться. Если бы у меня были деньги, я, конечно, сейчас дал бы их.

— Ваша мать не только обобрала его, но она крадет его будущность. Как вам не стыдно, что ваша слабость доходит до таких пределов. Вы обязаны сейчас же достать деньги; займите где хотите, за какие бы то ни было проценты, но отдайте ему скорее, неотложно.

Белинский говорил так авторитетно и так горячо, что слова эти сильно подействовали на Ивана Ивановича, и он тут же написал записку с приказом управляющему его дачей, близ Стеклянного завода, немедленно явиться к нему.

Управляющий дачей был прежде крепостным, но в это время был уже отпущен на волю. Он был очень красив, мо-

лод и одевался щегольски; я всегда видал его в кафтанчике из настоящего бархата, с большой золотой цепочкой и в лакированных сапогах. Звали его Василием; он был в большом почете, имел для разъездов свою лошадь с прекрасной упряжкой и был большой плут, зажиревший от барского добра. Так как этот Василий уже несколько раз говорил мне: «Подождите, подождите, барин, немножко, скоро будут деньги», — то я не должен бы был надеяться на хороший результат; но на этот раз мне чувствовалось, что теперь настала решительная минута, и потому я ждал Василия с большим нетерпением и частенько посматривал в окошко. Наконец часу в седьмом подкатил Василий на своей щегольской лошади.

Иваном Ивановичем было отдано приказание камердинеру, чтобы по приезде Василия его в ту же минуту, не допуская никуда, провели прямо на его, Иван Ивановича, половину. Когда Василий прошел в кабинет, я остался в соседней комнате. Иван Иванович был очень доброго сердца, но был горяч. В кабинете разразилась такая буря, что, как говорится, стекла дрожали от крика Ивана Ивановича и ничего нельзя было разобрать. Наконец я услышал: «Ты обманщик, врун, вор, не чрез неделю, не чрез день, а чтобы сегодня, сейчас были деньги, иначе я тебя отправлю к черту!» Затем отворилась дверь, и Василий, красный как рак, вылетел оттуда, вытолкнутый взашей.

Подбежав ко мне, Василий сказал: «Поедемте, барин, сейчас со мною». Вероятно, он побоялся приехать с деньгами обратно в дом, чтобы их не перехватили от него на другой половине.

Я обрадовался, и мы покатили с Василием на его лошади в Никольский рынок. Там мы вошли в большую мясную лавку. Оказалось, что хозяин был арендатором каких-то угодий на даче. Василий потребовал уплаты денег; купец стал мяться и говорить, что отдаст после праздников, но Василий, — подобно тому как Иван Иванович был возбужден твердым и сильным словом Белинского, был возбужден только что бывшей с ним передрягой, — настоятельно потребовал деньги сейчас же. Делать было нечего, купец открыл ящик и стал выкладывать целковые. Когда отсчитали четыреста целковых и положили их в мешок, Василий передал его мне. Я не поехал домой и, хотя было уже девять часов, попросил Василия свезти меня прямо к профессору Полонскому, к которому я должен был поступить для приготовления в Институт путей сообщения.

Приехав к Полонскому, я отдал ему деньги, объяснив причину, почему я не явился к нему раньше, и сказал, что завтра перееду к нему. Но дело было перед праздником Рождества, и потому Полонский велел явиться к нему не ранее 7 января.

Так-то я вышел из мучительного, отчаянного положения благодаря благородной энергии Белинского и тому могучему влиянию, которое он имел на окружающих людей. Не спаси меня Белинский в самый крайний момент, вся моя будущность могла бы быть очень плачевна. Всю жизнь я не забывал этого и теперь вспоминаю о том с великою благодарностью, любовью и уважением к этому человеку.

ИЗ ГЛАВЫ XXIII

...Субботы у И. И. Панаева...

В 1842 году Ив. Ив. Панаев жил у Аничкина моста в доме Лопатина. В том же доме жил и Белинский. По субботам у Ив. Ив. собирались литераторы, а также прилепившиеся к литературе и вообще знакомые. Из числа литераторов помню князя Одоевского, Соболевского, Башуцкого, которые бывали редко; графа Соллогуба, бывавшего довольно часто; А. А. Комарова, воспитателя юношества и преподавателя русской словесности в военно-учебных и других заведениях; Вас. Петр. Боткина, когда он бывал в Петербурге; Кетчера, переводчика Шекспира, пока он не возвратился в Москву; Анненкова, впоследствии издателя сочинений Пушкина; Бранта, писавшего великосветские повести и романы, который несколько лет спустя был изображен карикатурой в литературном сборнике, приложенном к «Современнику» 1849 г. в виде Наполеона I, потому что претендовал на некоторое с ним сходство.

Из знакомых Ив. Ив. помню Николая Петровича Боткина, брата Василия Петровича; Маркевича, который не занимался еще тогда литературой; А. С. Комарова, инженера, профессора в Институте путей сообщения; офицера Московского полка Булгакова, известного в то время всем своим остроумием и оригинальными шутками; молодых красавцев: лейб-гусара Полторацкого, царскосельского кирасира Ольховского и морского флигель-адъютанта Колзакова и затем поклонников литературы: Маслова, Кульчицкого, Тютчева и друга Ив. Ив. — М. А. Языкова; последние были постоянными посетителями суббот.

В скором времени кто-то привез Ив. Ив. из Парижа краткую историю революции конца прошедшего столетия, о которой русское общество, за исключением тех немногих лиц, которым случалось бывать за границей, не имело никакого сколько-нибудь верного представления; даже литературный мир пребывал в этом отношении в неведении, так как абсолютно ни одно историческое сочинение, относящееся к этой эпохе, не было допущено к продаже в России [5].

Кроме означенной истории, Ив. Ив. доставлялась газета «Moniteur universel» того времени, конечно далеко не в полном составе, но все-таки имелось множество нумеров, относящихся до более важных моментов революции. В эти нумера были завернуты разные предметы, вывезенные из-за границы, и таким образом они и очутились в Петербурге.

Когда Ив. Ив. имел уже в руках поименованные источники, у него тотчас же родилась мысль перевести для Белинского историю революции, вставляя для полноты выборки из «Moniteur universel». Он сообщил Белинскому, что будет читать по субботам все, что успеет перевести и скомпилировать за неделю [6]. С тех пор характер этих суббот изменился; все интересующиеся вопросом стали собираться раньше, чтобы успеть прослушать чтение до прихода менее интимных лиц, которым, впрочем, так или сяк давали почувствовать, что посещение их не совсем вовремя, и в конце концов посещение этих людей сделалось гораздо реже.

К концу зимы перевод Ив. Ив. подходил уже к концу, и вот к одному вечеру он приготовил перевод знаменитой речи Робеспьера: о «Существе высшем», дословно помещенной в «Moniteur universel». Замечу здесь, что впоследствии я не встретил ни в одном из обширных сочинений о революции полного текста означенной речи [7]. Даже в громадной специальной истории Робеспьера, сочинения Hamel'a [8], обнимающей более двух тысяч страниц, означенная речь помещена отрывками, а не дословно, причем выброшены некоторые выражения, не понравившиеся, по-видимому, автору.

Упомянутая речь Робеспьера произвела на Белинского и на всех слушателей поражающее впечатление своим содержанием, совершенно неожиданным для нас [9]. В тот же вечер я упросил Ив. Ив. дать мне списать прочитанную им речь. Ив. Ив. согласился с тем, чтобы я завтра же до обе-

да доставил ее обратно. Речь была так велика, что пришлось переписывать ее, вследствие данного краткого срока, втроем; принялись за это я, мой брат и товарищ Кусаков. Я сохранил эти листки до сих пор.

Перед своею смертью Ив. Ив. отдал мне на память всю составленную им для Белинского компиляцию французской революции, обнимающую пять лет, с 1789 г. по 1794 г., которая и хранится ныне у меня. Эта рукопись могла бы составить книгу до двадцати печатных листов. Кроме этого, Ив. Ив. передал мне и разные другие переводы, делавшиеся им для Белинского, из Леру, Жорж Занда и других писателей, которые тоже сохранились отчасти у меня.

Пусть же поставит себе читатель вопрос: какова же была привязанность и любовь к Белинскому у людей, его знавших, чтобы человек не праздный, а сам для себя трудящийся, посвятил почти полгода бескорыстного труда для того только, чтобы дать возможность Белинскому ознакомиться с тем, что в его роли писателя-критика ему нужно было знать.

Итак, известный небольшой кружок здесь, в Петербурге, ознакомился еще в начале 1843 года дословно со знаменитою речью Робеспьера, тогда как я впоследствии встречал множество французов, даже из мира писателей, которые хотя и слыхали о ней и об ее содержании, но самой речи не читали.

Ю. К. АРНОЛЬД

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

ИЗ ГЛАВЫ XXXIV

С кем я скоро сошелся, но, к сожалению, столь же скоро опять и разошелся, так это был Белинский; о первом я, конечно, сам все свое старание приложил; второе же случилось без моей вины. Выше уже было упомянуто, что когда я в первый раз явился на вечер у Одоевского, то пришлось мне тотчас сесть около Белинского. Не столь давно еще пред тем случилось мне у знакомых просмотреть одну из книжек «Отечественных записок» (я сам не был абонирован на слишком дорогой для меня журнал); в этой книжке нашлась критическая статья о двух в том же 1840 году без названия автора изданных книжках кн. Одоевского [1], из которых одна содержит перевод двух сказок немецкого писателя Эрнеста Амедея Гофмана, а другая — самостоятельное творение «Детские сказки дедушки Иринея» *. В особенности понравилось мне пространное введение, в котором очень логически и здраво трактуется вопрос о воспитании детей вообще, а, между прочим, также о музыке, как о важном педагогическом средстве. Мне было известно, что Белинский был автор этой статьи, равно как я знал также, что в предыдущих годах он заведовал литературно- и театрально-критическим отделом в «Московском наблюдателе», в котором мне также случалось читать некоторые критические статьи. Вот я и сказал Белинскому, что я прочел его мысли о педагогической пользе музыки и что я совершенно разделяю его мнение. На это он ответил, что его радует слышать такой отзыв от музыканта-специалиста, и мы

---

* Кн. Одоевский подарил мне, при первом моем визите, по экземпляру каждого из этих сочинений. (*Прим. Ю. К. Арнольда.*)

с ним на эту же тему проговорили весь вечер. Этот разговор сразу нас сблизил, и мы с тех пор, встречаясь у Одоевского, постоянно садились вместе. Белинский очень любил музыку и понимал и судил о сочинениях по поэтическому их содержанию, то есть по тому, какие поэтические образы какая музыка в состоянии возродить в его же собственной фантазии. Вскоре он пригласил меня навещать его *, и я в течение этой зимы бывал у него разов до пяти или шести. Виссарион Григорьевич имел-таки маленькую страсть толковать молодым писателям и артистам о своих воззрениях на поэзию и на формы ее проявления, и так как он не мог не заметить, сколь живо я интересовался этими толкованиями, то он и не скупился на свои лекции. Прежде всего требовал он от художественного творения идею, фабулу, мотив, но идею плодотворную, фабулу естественную, логичную, мотив ясный, выразительный. А образное развертывание идеи, фабулы, мотива должно исполняться по требованиям художественной эстетики, то есть поэт должен выказывать полное свое владение словом и метрикою, музыкант — звуками и ритмикою, живописец — красками и рисунками и т. д. Идею и чувство без красиво пластичной техники считал он столь же мало художественным явлением, как одно лишь второе без двух первых достоинств.

Раз пришел я к Белинскому, как всегда, около полудня и застал у него гостя на вид лет под сорок; небольшого роста, с бледным худощавым лицом, русыми густыми волосами, надо лбом хохловато подчесанными, а у висков подвернутыми; выражение лица было добродушное, по меланхолическое. Сюртук на нем черный, довольно длинный, застегнутый; воротнички туго накрахмаленные и черный довольно высокий галстук. Это был поэт Кольцов; собственно-то, он был гораздо моложе, чем он казался, но от сердечного горя и от бедности он состарелся раньше времени[2].

— Вот, Арнольд, — сказал Белинский, — вот у кого берите стихи для написания музыки. Если поймете его да угодите под слова, я и впрямь вас почту за истого русака; но коли не потрафите, буду вас немцем звать, хотя бы вы там пожаловались на меня и целой сотне Бенкендорфов.

---

* Белинский тогда жил в Галерной улице, насупротив дома, принадлежащего морскому министерству, на месте которого потом был выстроен дворец вел. кн. Николая Николаевича. Виссарион Григорьевич нанимал в четвертом этаже того дома две плохо меблированные комнатки от жильца, какого-то сенатского протоколиста. (*Прим. Ю. К. Арнольда.*)

Я радостно согласился и просил назначить мне песню.

— Ну, Алексей Васильевич! скажите, какую дадите вы ему песенку? — обратился Белинский к Кольцову.

Поэт-прасол, по скромной и застенчивой своей натуре, сначала конфузился:

— Да почто же мне им еще назначать-то? Они лучше моего знают, что годится для музыки; сами выберут.

Наконец, однако же, он сказал, что любимое его произведение есть стихи: «Не шуми ты, рожь, спелым колосом».

— В нее-то всю душу свою я вылил! — прибавил он, и глаза у него невольно покрылись влагою *.

Белинский прочел мне эти стихи; он знал, кажется, на память все сочинения Кольцова. Читать же Виссарион Григорьевич так превосходно их прочел, что, записывая наскоро стихи под его декламацию, я тут же и вдохновился основной идеею мелодии и пригласил обоих к себе чрез день, чтобы послушать мое произведение. Когда в назначенный день и час Белинский с Кольцовым пришли ко мне, то не только самый романс был совсем разработан как следует, но я успел даже изготовить перебеленную рукопись с надписью «Высокопочитаемому поэту от музыкопевца на память». Само собою разумеется, что я должен был пропеть мой романс. Кольцов, прослезившись, благодарил несколько раз, а Белинский, пожав мне крепко руку, сказал:

— По кличке хотя вы и немец, а душа-то впрямь у вас русская! Рублем подарили! Спасибо вам и за него и за меня!

Этот день был зенитом нашей дружбы, в марте же месяце ей предстоял уже неожиданный конец. Пред самым этим днем попался мне у тех же знакомых, где я прочел в «Отечественных записках» разбор книг Одоевского, другой еще выпуск того же журнала (из весенних книжек 1840 года), в котором я нашел критическую статью по поводу второго издания (1839 года) комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Белинский, указывая на некоторые места, находит в них (где на самом деле, а где и более воображаемо, то есть с некоторою натяжкою) несообразности и пустое резонерство и противоставит этому творению другую комедию, а именно «Ревизор» Н. В. Гоголя, как образцовое *во всех отношениях* и ни малейшим укоризнам не подлежащее, вполне гениальное и вполне художественное произ-

* Это стихотворение Кольцов написал на смерть своей невесты. (*Прим. Ю. К. Арнольда.*)

ведение, стараясь доказывать, не без некоторых софизмов, что, кажущиеся только *другим* несообразностями и утрировками, *все* без исключения ситуации, действия и речи лиц в «Ревизоре» *как нельзя более нормальны, правдивы и логичны.* Когда после того мы встретились на вечере у кн. Одоевского и я ему сообщил, что читал эту статью, то первое его слово было:

— Ну что ж? Вы, конечно, со мною согласны?

Я ответил, что не совсем, что, по моему воззрению, нельзя просто-напросто установить вообще параллель между этими двумя произведениями и что еще менее того следует быть против одного до самых мелочей взыскательным, а к другому с явным пристрастием быть слишком снисходительным. К величайшему моему испугу, Белинский страшно рассердился и, насилу удерживаясь от возвышения голоса, разругал меня так, что я не знал куда деваться. Наконец он вскочил, схватил шляпу и ушел[3]. На следующий сезон я его более не встречал на вечерах у Одоевского.

К. Д. КАВЕЛИН

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. БЕЛИНСКОМ

Я познакомился с Белинским впервые зимою 1834 года, когда готовился вступить в Московский университет. Белинский был рекомендован моему отцу князем Александром Александровичем Черкасским (отцом известного кн. Влад. А. Черкасского), с которым он был дружен. Белинский явился к нам в качестве учителя русского языка и словесности, истории и географии. Живо помню первый урок — о логическом строении предложения. Затем воспоминания мои о Белинском до лета 1835 года довольно смутны. Помню, что он заставлял меня много переводить с немецкого. В одном переводе отрывка из путешествия А. Гумбольдта по Южной Америке (напечатанного в хрестоматии) я перевел слово Krater словом «кратер» и получил за это замечание, из которого, однако, понял, что мой учитель не знал, что это слово значит. Когда я объяснил его значение, слово «кратер» было заменено словом «жерло». Для истории было куплено, по указанию Белинского, руководство Пёлица в русском переводе [1]. Помню также, что Белинский не всегда аккуратно приходил на уроки, что он как-то раз приходил поздравить отца с праздником (Рождеством или Пасхой) и что на одном уроке, когда мы были вдвоем, он мне по секрету объявил, что-де Екатерина II вовсе не была такая великая и безупречная женщина, как об ней рассказывают. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Мне хоть тогда и было за 16 лет (я род. 1818, ноября 4-го), но наивности, неразвитости и детства был колоссальных. Вообще же Белинский ко мне благоволил, и мне он нравился, хотя я не подозревал в нем ничего особенного, да, к счастию, и родители видели в нем не более как учителя низкого происхождения, который и не мог не быть более или менее чудаком, с дурными манерами.

Более мы сблизились с ним летом 1835 года. Родители

мои уехали в деревню и оставили меня в Москве готовиться к экзамену, который должен был начаться в конце августа. Уезжая, отец просил всех учителей, в особенности Белинского, принять к сердцу мои успехи. В это время я оставался совершенно один, знакомых у меня почти не было, и тут уже ничто не мешало нам разговаривать о чем угодно. Я Белинскому, видимо, полюбился. Месяца полтора он ходил очень аккуратно, но потом стал опять пропадать неделями. Учил он меня плохо. Задавал по книжке, выслушивал рассеянно, без дополнений и пояснений, и наконец предоставил меня собственной судьбе, говоря, что я юноша умный и с учебником справлюсь сам. Но насколько он был плохой педагог, мало знающий предмет, которому учил, настолько он благотворно действовал на меня возбуждением умственной деятельности, умственных интересов, уважения и любви к знанию и нравственным принципам. Мы занимались с ним больше разговорами, в которых не было ничего педагогического в школьном смысле, и я только по счастливой случайности не провалился на экзамене; но эти разговоры оставили во мне гораздо больше, чем детальное и аккуратное знание учебника и руководства. Чтоб понять и оценить это, надо вспомнить время и среду, в которых я жил. Страшное бессмыслие, отсутствие всяких социальных, научных и умственных стремлений, тоскливый и рабский биготизм [2], самодержавный и крепостной status quo * как естественная норма жизни, дворянское чванство и пустейшая ежедневная жизнь, наполненная мало искренними родственными отношениями и сплетнями и пошлостями дворянского кружка знакомства, погруженного в микроскопические ежедневные дрязги, придворные слухи, допотопное хозяйство, светские этикеты и туалеты. Для юноши эта среда была заразой, и те, которые в ней не опошлели и из нее выдрались, были обязаны, подобно мне, тем струйкам света, которые контрабандой врывались чрез Белинского и ему подобных в эту тину и болото. До сих пор тоскливо становится, когда вспомнишь об этой обстановке, неспособной вызвать даже на большое преступление.

Расстались мы с Белинским очень дружески, то есть насколько могла быть дружба между умным человеком, который полюбил неразвитого парня за то, что из него могло потом выйти порядочного, и парнем, который больше ин-

* существующее положение (*лат.*).

стинктом, чем головой, ценил умного человека, полюбил его и привязался к нему.

В чем, собственно, состояли наши разговоры, этого я решительно не помню. Удержалось у меня только в памяти, что Белинский издевался над греческим языком, которому учил меня К. А. Коссович (теперь проф. университета, а тогда студент на выпуске), и над греческими красотами, которыми я тогда восхищался[3]. Вообще отрицательное отношение ко всей окружающей меня действительности, социальной, религиозной и политической, благодаря Белинскому во мне засело, хоть в очень наивной, неопределенной и мечтательной форме. Белинский подействовал на меня не как политический агитатор, а как мыслящий человек. Оба мы тогда мало знали, и потому от наших разговоров ничего не могло во мне остаться, кроме неопределенных стремлений. Они были и прежде во мне, но теперь благодаря Белинскому путь их был намечен.

После вступления в университет я с Белинским встречался очень редко, а затем он уехал в Петербург[4]. В университете я со всем увлечением, к какому только был способен, отдался влиянию немецкой науки, которая с 1835 года стала талантливо преподаваться целым кружком талантливых и свежих молодых профессоров. Они по убеждению, а может быть, и не без некоторого расчета, относились свысока, иронически, к доморощенным деятелям, к пробам русского ума и ко всему французскому, которое тогда царило в русских сколько-нибудь развитых головах. Отдавшись беззаветно обаятельному влиянию профессоров, я не имел охоты искать других сближений. Со второго курса, кроме того, я сблизился, чрез Елагиных, Киреевского и Валуева, с славянофильским кружком, тоже не особенно расположенным к Белинскому. Но самое главное — мне с ним негде было встречаться. Грановского, Герцена тогда еще не было в Москве;[5] с Боткиным и Кетчером я не был знаком. В то время, когда я познакомился и сблизился с Елагиными, Кетчер у них уже не бывал. Так и случилось, что с Белинским мы видались очень редко и случайно. Встречи эти я помню очень живо, хотя и не могу восстановить их хронологии. Одна, описанная с дипломатическою точностью Панаевым, была на Арбатской улице[6]. Я бросился его обнимать и целовать, но он меня оттолкнул, потому что не любил ребяческих излияний любви. Другой раз (помнится, прежде этого трагического для меня события) он зазвал меня к себе обедать, пожирал жареную говядину

и особенно мне ее рекомендовал, как необыкновенно полезную вещь для людей, ведущих сидячую жизнь. В это посещение он, как мне теперь ясно, был под сильным влиянием гегельянских идей, в том направлении, которое привело его потом к «Бородинской годовщине» *.

Последнее наше свидание (а может быть, второе; память мне изменяет) было у В. П. Боткина, которого я тогда совсем не знал. Смотря на меня как на «юношу, подававшего надежды», Белинский хотел ввести меня в круг порядочных, мыслящих людей и вследствие того назначил мне быть у В. П. Боткина вечером, в день сборища (по-видимому, для них был отведен один день в неделю). Вечер этот я помню очень смутно. Помню Боткина в цветной шапочке на голове, помню Каткова в студенческом мундире (я сам был студентом чуть ли не первого курса). Было довольно народу, но я никого не знал. О чем-то много спорили. Затем подали ужин à la fourchette, и все, в том числе и Белинский, устремились с необыкновенной жадностью на е д у , — жадностью, которая меня несколько удивила. Я был тогда совершенный мальчик по развитию, и потому-то весь этот вечер с своими спорами и лицами так бесследно испарился из моей памяти.

Затем действительное и серьезное мое сближение с Белинским произошло уже в Петербурге, куда я переехал весною 1842 года. Тогда я уже был магистрантом и написал большую часть своей диссертации на магистра. По приезде в Питер отыскал Белинского, который принял меня очень дружески, читал мне отрывки из писем Станкевича и был в очень либеральном настроении духа. Но после того я опять долго его не видал и начал встречаться очень часто, только когда переехал жить с Тютчевым и Кульчицким в доме Жербина, на Михайловской площади. Тютчев был тогда полунемецким буршем, кончившим курс в Дерпте, и служил в министерстве финансов, в департаменте разных податей и сборов. Кульчицкий, кандидат Харьковского университета, служил в канцелярии военного министерства. Как они познакомились с Белинским — я не знаю, но оба ему очень нравились, и к ним он ходил зачастую по вы-

---

* В это посещение Белинский, указывая мне на карту Европы, объяснял, что рядом с протестантской культурой, наукой, искусством в Берлине, возникает другой центр католической культуры, философии, искусства в Мюнхене. Он как будто считал их равноправными. Таким путем дошел он и до «поэзии покорности». (*Прим. К. Д. Кавелина.*)

ходе книжки «Отечественных записок». С обыкновенным своим младенческим добродушием и доверчивостью Белинский всучил им в сожители некоего Милановского, воспитанника Московского университета. Милановский, напоминавший лицом Каткова, подкупил Белинского либеральными фразами, но оказался проходимцем и эксплуататором чужих карманов. Он надул пастора Зедер<гольма>, издававшего свой курс истории философии на русском языке, бессовестно употребил во зло добросердечие Н. Н. Тютчева и т. д. Белинский приходил в ужас от того, что пускался в либеральные откровенности с таким господином, трусил, что он на него и на весь кружок донесет. Это не помешало ему выгнать Милановского из своей квартиры с скандалом. Словом, этот барин оказался невозможным сожителем Тютчева и Кульчицкого и был изгнан, а на его место и в его комнату поступил я.

Месяцев одиннадцать, которые я провел тут, были из счастливейших в моей жизни, и этим счастием я обязан кружку, в который попал, и в особенности главе этого кружка, Белинскому. Он имел на меня и на всех нас чарующее действие. Это было нечто гораздо больше оценки ума, обаяния *таланта*, — нет, это было действие человека, который не только шел далеко впереди нас ясным пониманием стремлений и потребностей того мыслящего меньшинства, к которому мы принадлежали, не только освещал и указывал нам путь, но всем своим существом жил для тех идей и стремлений, которые жили во всех нас, отдавался им страстно, наполнял ими всю свою жизнь. Прибавьте к этому гражданскую, политическую и всяческую безупречность, беспощадность к самому себе при большом самолюбии, и вы поймете, почему этот человек царил в кружке самодержавно. Мы понимали, что он в своих суждениях часто бывал неправ, увлекался страстью далеко за пределы истины; мы знали, что сведения его (кроме русской литературы и ее истории) были не очень-то густы; мы видели, что Белинский часто поступал, как ребенок, как ребенок, капризничал, малодушествовал и увлекался, и между собой подтрунивали над ним. Но все это исчезало перед подавляющим авторитетом великого таланта, страстной, благороднейшей гражданской мысли и чистой личности, без пят*на*, — личности, которой нельзя было подкупить *ничем*, — даже ловкой игрой на струне самолюбия. Белинского в нашем кружке не только нежно любили и уважали, но и побаивались. Каждый прятал гниль, которую носил в своей ду-

ше, как можно подальше. Беда, если она попадала на глаза Белинскому: он ее выворачивал тотчас же напоказ всем и неумолимо, язвительно преследовал несчастного дни и недели, не келейно, а соборно, перед всем кружком, на каждом шагу. Известно, что и себя он тоже не щадил. Панаеву немало доставалось за его суетность, мне — за «прекраснодушие» и за славянофильские наклонности, которые в то время были очень сильны. Влияние Белинского на мое нравственное и умственное воспитание за этот период моей жизни было неизмеримо, и оно никогда не изгладится из моей памяти. Я его боготворил, благоговел перед ним. Его влияние поставило много честных и честно думающих людей на Руси. Многие, побывавши под сильным влиянием, сделали меньше гадостей, чем могли бы сделать по естественному влечению.

Я упомянул о кружке. Он в то время состоял из следующих лиц: Панаева, женатого, у которого мы иногда собирались. Это был самый богатый и самый фешенебельный член кружка. Михаил Александрович Языков — остряк, хромой и забавный господин, смешивший нас своими шутками и комическими выходками. Иван Ильич Маслов, прозванный Тургеневым прекрасной нумидянкой. Маслов служил секретарем коменданта Петропавловской крепости генерала Скобелева, был у него другом дома и сообщал вести и рассказы о том, что говорилось и делалось в крепости. При Николае Павловиче это было и интересно, и очень небесполезно знать. И. С. Тургенев (за несколько лет до «Хоря и Калиныча»). Белинский тогда очень благоволил к Тургеневу и восхищался до небес его «Парашей» — грехом юности, который не попал в собрание его сочинений, — за несколько стихов отрицательного и демонического свойства. (Белинский особенно восторгался стихом, где говорится о хохоте сатаны, и даже, помнится, привел этот стих в одной из своих критических статей[7].) Некрасов к нам не ходил тогда, а бывал у Белинского. Я помню, что раз днем я застал их вдвоем: они играли в карты. Затем, кроме нас троих, не было никого. Краевский был тогда большой литературный и журнальный барин и с нами обращался немножко свысока и у нас не бывал. Остается еще назвать В. П. Боткина, который водился с нами во время проезда из Москвы за границу и своей комической свадьбы, в которой все мы принимали участие в качестве свидетелей и друзей[8]. Наконец, проездом же из-за границы в Москву, был у меня и у Белинского Катков, но не на приятельской ноге[9]. Бе-

линский говорил об нем, что он — пузырь, надутый самолюбием и готовый ежеминутно лопнуть.

Как мы проводили время и что происходило в нашем капельном кружке, это легко представит себе всякий, кто знаком хоть понаслышке с молодыми литературными кружками 30-х и 40-х годов. Аристократическим изяществом людей с достатком все мы, кроме Панаева и Тургенева, не отличались. Аристократические салоны и литературные тузы были нам известны только по имени. Но весело нам было очень, насколько можно было веселиться при отвратительной тогдашней обстановке сверху и кругом. Каждый литературный кружок, в том числе и наш, был тогда похож на секту, в которую новые члены принимались трудно, по испытании и рекомендации. Мы мечтали о лучшем будущем, не формулируя положительно, каким оно должно быть, жадно собирали все анекдоты, слухи и рассказы, из которых прямо или косвенно следовало (или должно было следовать), что апокалипсический зверь недолго провоеводствует, также жадно и зорко следили за всяким проявлением в слове или печати мыслей и стремлений, которыми были преисполнены. Каждый месяц приносил нам новинку — статью, а иногда и больше, Белинского, которую читали и перечитывали. Жорж Занд и французская литература были нашим Евангелием. За событиями политическими в Европе мы следили внимательно, но нельзя сказать, чтоб с большим толком и настоящим пониманием.

Взаимные отношения членов кружка были самые дружеские, тесные, интимные. Камертон им давал Белинский. Шуткам и остроумиям, часто очень неостроумным, не было конца. Запевалой почти всегда был Белинский, особенно усердно и любовно глумившийся надо мной (Тютчева он уважал). Кульчицкому тоже доставалось; его обзывали «гадюкой». Я получил от Белинского постоянное название «молодой глуздырь» (встречается в новгородских былинах). Споры и серьезные разговоры не велись методически, а всегда перемежались и смешивались с остротами и шутками.

Все это очень известно и обыкновенно в наших русских дружеских кружках, и по складу нашего ума не может быть иначе. Отмечу некоторые особенности нашего тогдашнего кружка, обусловленные родом жизни и вкусами Белинского. Он работал, как истинно русский человек, — запоем и, когда мог отдыхать, то есть когда необходимость не заставляла его работать, охотно ленился, болтал и иг-

рал в карты, ради препровождения времени. Игроком он никогда не был. С половины месяца, или так между 15 и 20 числами, Белинский исчезал для друзей — запирался и писал для журнала. Ходить к нему в это время было неделикатно. Белинский болтал охотно, но проведенное в разговоре время приходилось ему наверстывать ночью, потому что работа была срочная, к выходу книжки 1-го числа. С выходом книжки Белинский становился свободным и приходил почти каждый день к нам, иногда к обеду, но всего чаще тотчас после обеда — играть в карты. Кроме нас, он хаживал вечерами на пульку к Вержбицкому, кажется военному и женатому, о котором мы не имели понятия. П. В. Анненков говорил мне, что там Белинского обыгрывали наверное. Источники этого рассказа мне совершенно неизвестны; также я не знаю, где, как и почему Белинский познакомился и сошелся с Вержбицким. Так как друзья Белинского знали, что он почти каждый вечер проводит у нас, то приходили к нам, и, таким образом, квартира наша мало-помалу обратилась в клуб. Каждый вечер кто-нибудь из друзей забегал хоть на минуту повидаться с Белинским, сообщить новость, переговорить о деле. Как только приходил Белинский после обеда — тотчас же начиналась игра в карты, копеечная, но которая занимала и волновала его до смешного. Заигрывались мы вчастую до бела дня. Тютчев играл спокойно и с переменным счастием; я вечно проигрывал; Кульчицкому счастье валило всегда чертовское, и он играл отлично. Белинский плел лапти, горячился, ремизился страшно и редко оканчивал вечер без проигрыша. На этих-то картежных вечерах, увековеченных для кружка брошюркой Кульчицкого «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс», изданной под псевдонимом кандидата Ремизова[10], происходили те сцены великого комизма, которые приводили часто в негодование Тютчева, забавляли друзей, а меня приводили в глубокое умиление и еще больше привязывали к Белинскому. Поверит ли читатель, что в нашу игру, невиннейшую из невинных, которая в худшем случае оканчивалась рублем-двумя, Белинский вносил все перипетии страсти, отчаяния и радости, точно участвовал в великих исторических событиях? Садился он играть с большим увлечением и, если ему везло, был доволен и весел. Раз зацепившись и поставя ремиз, он старался отыграться, с азартом объявлял отчаянные игры и ставил ремиз за ремизом. Кульчицкому, как нарочно, в это время валили отборнейшие карты. Поставя несколько

ремизов, Белинский становился мрачным, пыхтел, наконец жаловался на судьбу, которая его во всем преследует, и наконец с отчаянием бросал карты и уходил в темную комнату. Мы продолжали игру, как будто ни в чем не бывало. Кульчицкий нарочно ремизился отчаянно, и мы шумно выражали свою радость, что наконец-то «гадюка» попалась. После двух-трех таких умышленных ремизов и криков, соседняя дверь тихонько приотворялась, и Белинский выглядывал оттуда на игру с сияющим лицом. Еще два-три ремиза — и он выходил из темной комнаты, с азартом садился за игру, и она продолжалась вчетвером по-прежнему. Такая наивность и ребячество меня всегда глубоко поражали в замечательных людях и еще сильнее к ним привязывали. Та же черта была и в Герцене, с которым Белинский имел всего более родства по натуре. Они во многом напоминали друг друга. Я дорожу этой чертой, как очень характеристической в Белинском, и потому так подробно описываю случаи, по-видимому совершенно ничтожные.

В эпоху, которую описываю, талант, нравственная физиономия и образ мыслей Белинского сложились окончательно и достигли своего апогея. Никаких колебаний и шатаний из стороны в сторону не было. Его симпатии клонились к стороне Франции, а не Германии или Англии. Его идеалы были нравственно-социальные более, чем политические. Политической программы ни у кого в тогдашних кружках не было. К тогдашнему нашему statu quo Белинский относился отрицательно на всех путях и ненавидел панславизм во всех его направлениях и со всеми его идеалами, чутко схватывая, что эти идеалы — пережитое прошедшее, которое и привело к печальному настоящему. Ненависть и любовь его одинаково выражались страстно, подчас ребячески, с чудовищными преувеличениями, но в которых всегда лежала верная, светлая и глубокая мысль, которую мы понимали. Раз как-то в споре Белинский с яростью объявил, что черногорцев надо вырезать всех до последнего. Другой раз, по поводу какой-то книги, романа или стихов, где поминались русские шлемы, латы, доспехи, он напечатал коротенькую рецензию, в которой говорил, что ничего этого никто не видал, а все знают лапти, мочалы, рогожи и палки [11]. Враги Белинского пользовались этими страстными выходками и отчасти умышленно, отчасти по тупоте не хотели или не умели понять того, что он говорил или хотел сказать. После положительная сторона его ненавистей и отрицания выступила яснее. Говорят, что за

границей он страшно тосковал и стремился назад. В Москве, в одном разговоре с Грановским, при котором я присутствовал, Белинский даже выражал славянофильскую мысль, что Россия лучше сумеет, пожалуй, разрешить социальный вопрос и покончить с капиталом и собственностью, чем Европа [12]. Но Белинский ясно понимал, что тогдашнее положение наше — с ног до головы ненормальное, что правительство идет само не зная куда и когда-нибудь расшибет себе башку об стену. Здесь будет кстати сказать, что Белинский не любил поляков и с необыкновенным своим чутьем, далеко опережавшим время, прозревал в них узких провинциалов. Ему особенно не нравилось в поляках то, что они считают Варшаву наравне с Парижем, Мицкевича — наравне с Гете, что, послушать и х , — их политики, поэты, художники, философы за пояс заткнут европейские светила [13]. Эта черта, то есть провинциальность, недавно подмеченная и разоблаченная Драгомановым у галичан и разных западных славян [14], не ускользнула от зоркого глаза Белинского в поляках. Белинский вменял русским в особенное достоинство, что они трезвы умом, не таращатся, относятся к себе отрицательно и что им нечего охранять, Петра Великого он боготворил. «Пишите скорей его историю, — говаривал Белинский, — пройдет сто лет, и никто не поверит, что Петр не миф, а историческая действительность».

Из периода времени, который описываю, сохранилась в моей памяти еще одна черта Белинского, которую не могу пройти мимо. К концу моего пребывания в Петербурге, до московской профессуры, сюда приехал Рубини, с которого началась здешняя итальянская опера. Наш кружок бросился с жадностью на эту новинку. Раз как-то давалась «Лучия де Ламермур». Мы были в ложе: Панаевы, Тютчев, Белинский и я (других не помню). В известной патетической сцене горького упрека героя оперы своей возлюбленной Белинский был глубоко потрясен, насилу сдержал слезы и назвал Рубини великим актером [15]. Объективной цены этот отзыв не имеет никакой, но он характеризует и Белинского и время. Наше полное музыкальное невежество объясняет, каким образом ничтожная пьеса могла так глубоко подействовать на Белинского и вызвать то горькое чувство, которое лежало в душе каждого в то время. Оно объясняет и огромный успех Лермонтова и Некрасова — гораздо больше, чем их действительные поэтические достоинства.

Наконец, в 1843 году я оставил Петербург почти с таким же сожалением, с каким оставлял Москву, чтоб переехать в Петербург. К кружку, к Белинскому я привязался всей душой. Связи с ним после того никогда не прерывались. С Белинским они еще укрепились дружбой с Герценом, Грановским, Кетчером, Е. Коршем и другими членами московского кружка, которого Белинский был членом. Каждый раз, что Белинский приезжал в Москву, мы с ним виделись очень часто на дружеской ноге *.

Вскоре, то есть несколько лет спустя после переезда моего в Москву, затеян был Белинским альманах под названием «Левиафан» [16]. Все друзья должны были дать что-нибудь. Я изготовил для него статью: «Взгляд на юридический быт древней России», доставившую мне известность и почетное имя. Но между тем возникла мысль основать новый журнал в Петербурге. Говорилось, что это будет журнал Белинского, что он основывается для него, чтоб вырвать его из когтей эксплуататора Краевского, Белинский попал на удочку с всегдашней своей младенческой доверчивостью. Что Панаев стал редактором «Современника», — это было еще понятно. Он дал деньги. Но каким образом Некрасов, тогда мало известный и не имевший ни гроша, сделался тоже редактором, а Белинский, из-за которого мы были готовы оставить «Отечественные записки», оказался наемником на жалованье, — этого фокуса-покуса мы не могли понять, негодовали и подозревали Некрасова в литературном кулачестве и гостинnодворчестве, которые потом так блистательно им доказаны [17]. Статьи, предназначенные для «Левиафана», вошли в «Современник». Барышнические рекламы этого журнала нам очень не нравились. Стали доходить до нас дурные слухи. Белинский похвалил «Деревню» Григоровича; Некрасов выразил ему неудовольствие за то, что он похвалил в его (Некрасова) журнале повесть, о которой он (Некрасов) отзывался дурно [18]. Все это сильно нас огорчало. Мне не было никакой охоты сближаться с новой редакцией и порвать связи с Краевский, к чему нас очень подзадоривали. Разницы в редакции не было, в сущности, никакой. Посреди всего этого я получил

* Я забыл сказать, что, напутствуя меня на дорогу в Москву, Белинский сказал: «Ну, молодой глуздырь, вот вам мой завет в Москве: когда встретитесь с Шевыревым, обходите его за версту. Заметьте: в тот день, как с ним встретитесь, вы сильно поглупеете». (*Прим. К. Д. Кавелина.*)

очень дружеское письмо от Белинского, который с нежностью упрекал меня за то, что я ничего не даю в новый журнал, предназначенный для выражения мнений и стремлений нашего кружка. «Вы, москвичи, — говорилось в этом письме, — много обещаете, а дойдет до дела, ленитесь. Болтать вы здоровы», — и все в этом тоне[19]. Любя Белинского безмерно, я не стерпел и высказал ему все, что у меня было на душе; я написал, что поддерживать *его* журнал был бы рад радостью, но не журнал Некрасова, что лавочнический тон новой редакции мне не нравится и что это те же «Отечественные записки» в другой обложке и проч. В ответ на это получил огромное письмо Белинского, листах на четырех, в котором он ругал меня на все корки, как только он один умел ругаться. (Это письмо я сжег гораздо после, во время неистовств правительства против литературы в 1848 г.) Смысл ругательств был тот, что я мальчишка, прекраснодушествующий москвич, дрянной мечтатель и т. д. В конце, однако, Белинский прибавил, что ругней облегчил себе душу и что только тогда и бывает доволен, когда во время писанья его бьет лихорадка. Смысл ругательств Белинского я понял вполне и, конечно, ни одну минуту не был на них в претензии. В них Белинский заглушал то, что чувствовал сам. Справедливость того, что я ему писал, — вот что приводило его в ярость, но сознаться в этом ему было тяжело[20]. Поняв, в чем дело, я решился молчать и не расстраивать его больше. Через несколько времени получаю от него другое письмо, нежное, кроткое, дружеское, с вопросом, отчего я молчу, неужели рассердился. Затем в конце — о моих сомнениях относительно его отношений к «Современнику» и к Некрасову, Белинский, как будто нехотя, прибавлял, что я прав. Это признание было мне очень дорого лично; оно, к несчастию, подтверждало то, что мы уже обстоятельно знали чрез В. П. Боткина, ездившего в Петербург[21].

Заношу в эту беспорядочную летопись еще следующий факт. Не помню, в письме или в разговоре, Белинский отзывался об «Антоне Горемыке» Григоровича, который произвел огромное впечатление, — что чтение этой повести произвело на него такое же действие, как будто его самого отодрали кнутом[22].

В промежуток времени, что я был в Москве (1843—1848, в начале), Белинский женился, ездил с М. С. Щепкиным в Крым, ездил за границу. Отправился он с Тургеневым, которому, однако, скоро надоело возиться с боль-

ным, и он его бросил, оставя на руках П. В. Анненкова, который был тогда за границей, нарочно с ним съехался и очень дружески за ним ухаживал. На возвратном пути из-за границы Белинский ехал на пароходе с каким-то флигель-адъютантом и с обычной своей горячностью и младенческим простодушием разразился в проклятиях насчет действий правительства. Рассказывали, что этот разговор, переданный кому следует, обратил внимание III Отделения на Белинского. Так ли это — не знаю. Вероятнее, что переписка его с Гоголем, ходившая по рукам, и следствие о русской литературе, произведенное генералом Бутурлиным и М. А. Корфом [23], поднявшее из архивной пыли бесконечные доносы на литературу, в том числе графа С. Г. Строганова, заставили Вия открыть свой глаз на угасавшего Белинского. Угасал он очень кстати. Попов, старший чиновник III Отделения, бывший его учитель в Пензенской гимназии, любивший его и заходивший к нему изредка, переменил к этому времени прежний свой тон с ним. Его требовали в III Отделение, куда он не мог явиться по болезни [24]. Вскоре он умер. После его смерти, когда разыгралось дело Петрашевского и ключ к литературе сороковых годов был подобран в III Отделении, Л. В. Дубельт яростно сожалел, что Белинский умер, прибавляя: «мы бы его сгноили в крепости».

В 1848 году, подав в отставку из университета, я, в промежуток времени между концом лекций и началом экзаменов, поехал в Петербург искать места по учебной части в университете, лицее или училище правоведения. Тогда я навестил и умиравшего Белинского, который жил на Лиговке, в доме Галченковых. Он был очень плох. Помню, мы сидели с ним под открытым небом в садике или на дворе. Он едва говорил, задыхался. Из тогдашнего разговора помню, что он подтрунивал над вооружением Петропавловской крепости. Это, говорит, из боязни, чтоб я ее не взял. О В. П. Боткине он отозвался так: Боткин съездил в Европу и познакомился с ней как скиф: заразился европейским развратом, а великие европейские идеи пропустил мимо ушей. Боткин действительно возвратился в мое время из-за границы смакующим буржуем, падким до тонких наслаждений и закрытым наглухо для социальных стремлений того времени. Он был очень мало симпатичен.

Вскоре после возвращения моего в Москву Белинский умер. Понимал ли он, что близок к кончине, этого я из разговора с ним не мог заметить. О смерти его мне рассказы-

вали, что он был в забытьи, бредил, говорил речи народу, как будто оправдывался, доказывая, что любил народ, желал ему добра. Кончина Белинского, которая в другое время произвела бы сильное впечатление, прошла почти незамеченной посреди европейских волнений и безумств тогдашнего правительства, потерявшего голову от страха. Таких сатурналий мракобесия, каких мы были тогда свидетелями, едва ли скоро увидят наши потомки.

Белинский был небольшого роста, очень невзрачен с виду, сутуловат и страшно застенчив и неловок. Наружность его доказывала, что его воспитание и жизнь прошли вдали от светских кружков. Значительна была его голова и в ней особенно глаза. Несмотря на весьма некрасивые плоские волосы, прекрасно сформированный интеллигентный лоб бросался в глаза. Глаза большие, серые, страшно проницательные, загорались и блестели при малейшем оживлении. В них страстная натура Белинского выражалась с особенною яркостью. Характеристично было в его лице, что конец носа был приподнят с одной стороны и имел впадину с другой. Верхняя губа с одной стороны была слегка приподнята. То и другое можно видеть на его маске. Спокойным он почти никогда не бывал. В спокойные минуты глаза его были полузакрыты, губы слегка двигались. Очень некрасивы были у него выдававшиеся скулы. Ходил он большими шагами, слегка опускаясь, как бы приседая при каждом шаге. Сморкался и кашлял он чрезвычайно громко и неизящно. Вечно бывал он нервно возбужден или в полной нервной атонии и расслаблении. Детей он очень любил. Нежно был он привязан к своей дочери, из которой вышла, говорят, очень пустая девушка. Жена его, бывшая классная дама в одном из московских институтов, и сестра ее, жившая с нею и по выходе ее замуж за Белинского, — женщины очень посредственные, чтоб не сказать больше. Жена, говорят, мало давала ему счастья и только во время болезни ходила за ним. Лично я их мало знал, и обстоятельства женитьбы Белинского мне совершенно неизвестны.

Для полноты моих воспоминаний о Белинском я должен еще прибавить то, что об нем слышал, и отзывы о нем друзей.

Обстоятельства встречи Белинского с каким-то франтом у Панаева и его самобичевание перед ним за «Бородинскую годовщину» очень известны, и останавливаться на этом нечего [25].

Мне рассказывали, что еще в Москве Белинский, будучи учителем, давал уроки у Мих. Мих. Бакунина, сенатора, вероятно, его двум дочерям — Авдотье Михайловне и Прасковье Михайловне. По какому-то случаю у Мих. Мих. был обед, к которому учтивый хозяин дома пригласил и Белинского, пришедшего его поздравить перед обедом. Гости были разные московские сановные старички. Зашел разговор о французской революции, о казни Людовика XVI. Гости отзывались об этих событиях с ужасом и омерзением. Белинский, читавший в это время историю революции и приходивший в такой восторг, что катался по п о л у , — молчал глубоко. Хозяин, из учтивости, счел нужным втянуть в разговор Белинского и имел несчастие спросить его, как он думает об этих событиях. Тогда будто бы Белинский встал и, задыхаясь от страсти и ярости, торжественно вскричал: «Я бы на месте их (то есть вождей революции) трижды казнил Людовика!» Эффект этой фразы на старичков был будто бы потрясающий [26]. Сходный с этим анекдот рассказывает И. С. Тургенев, перенося его в Петербург, в салон кн. В. Ф. Одоевского. Белинский будто бы сказал громко, при гостях, что наши непорядки исправит мать пресвятая гильотина. Мне кажется, что к обоим рассказам следует относиться очень критически. Что-нибудь лежащее в основании их, вероятно, было; но едва ли чудовищные размеры сказанного не выросли в устах рассказчиков [27].

Герцен передавал мне, что в каком-то разговоре, коснувшемся любимой Белинским женщины, последний пришел в такую ярость, что схватился за нож. Что это такое было — я не знаю. Записываю для соображения будущих биографов Белинского.

Герцен высоко ценил ум Белинского, говоря, что у него совершенно русская, светлая голова, удивительно последовательная, бьющая до конца. В пример он приводил, что Белинский, не зная по-немецки и только из отрывочных разговоров друзей познакомившись с системой Гегеля, тотчас же сообразил, в чем дело и суть его, и сам, без чьей-либо помощи, вывел все последствия из гегелевской философии, которые выведены из нее позднее либеральной и радикальной фракцией гегелевых последователей.

Между Белинским и Грановским была великая дружба, но я думаю, что непосредственной симпатии между ними не было, да и не могло быть. Это были две натуры, совершенно противоположные. Грановский был натура в высшей степени художественная, гармоническая, нежная, сосредо-

точенная. Мысль всегда представлялась ему в художественном образе, и в нем он передавал свои мысли и взгляды. Это не была маска, за которой он прятался, а свойство его природы. Всякая резкость была ему неприятна, всякая односторонность его шокировала. Многие считали его за это дипломатом, чуть-чуть не двоедушным и хитрым и вместе с тем слабым, бесхарактерным. Но такие суждения не шли в глубь этой натуры, удивительно изящной и резко отличавшей его от диковатой русской и в особенности московской среды. Представьте же себе рядом с Грановским — Белинского, страстного, нервного, вечно переходившего из одной крайности в другую, необузданного и мало образованного. Он не мог не смущать иногда Грановского своими выходками; точно так же как и сам, вероятно, не раз бесился и выходил из себя от гармонической, сосредоточенной умеренности и идеальности Грановского. Грановский к тому же был плохой философ, плохой диалектик и часто был побиваем в отвлеченных спорах, даже когда был прав. О Белинском Грановский говорил всегда с большим уважением, с большою любовью, но прибавлял, что он страшно увлекается и впадает в крайности. Если б эти натуры не сплочали в теснейший союз внешние обстоятельства, благородство общих стремлений, личная безукоризненность и сумасшедший гнет мысли, науки и литературы сверху, Белинский и Грановский, наверно бы, разошлись, как Грановский впоследствии разошелся с Герценом.

Остается сказать, что для Белинского, вовсе не знавшего по-немецки и с трудом читавшего французские книги *, друзья — Боткин, Станкевич и, кажется, Панаев, делали извлечения из иностранных книг и даже, говорят, переводили целые книги, может быть, статьи и брошюры. Я знаю об этом из рассказов. Говорили также, что Станкевич, сохранивший на Белинского до конца огромное влияние, сдерживал его в крайностях и увлечениях письмами из Берлина, с дружеской правдивостью говорил ему жесткие истины насчет его незнания и непонимания философии. Когда я жил в Петербурге, Белинский мне говорил, что философия молодому уму не дается, а дается зрелому возрасту.

---

* Переводя «Отец Горио» Бальзака (или другой роман, не помню), Белинский перевел слова: «Les vaisseaux se sont cassés» — корабли сломались, когда речь шла об артериях. Над этим очень смеялись и приводили эту ошибку как доказательство его невежества [28]. (*Прим. К. Д. Кавелина.*)

«Теперь я, — прибавлял он, — только-только созрел достаточно для занятия философией». Этот отзыв был, может быть, отголоском писем Станкевича, особливо когда Белинский убедился, что его советы и упреки оказались совершенно справедливыми в глазах самого Белинского.

Вот и все. К сказанному я не могу прибавить ни одной черты из того, что у меня удержалось теперь в памяти. Образ его я ношу в своей голове и в своем сердце как святыню.

С.-Петербург, 6 февраля 1874 г.

И. И. ПАНАЕВ

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛИНСКОМ

В 1838 году А. В. Кольцов, с которым я был знаком очень близко, просил меня ох имени Белинского участвовать в «Наблюдателе», который тогда только что перешел под его редакцию. По этому поводу я написал письмо к Белинскому с предложением своих услуг [1], и между нами завязалась переписка.

Вот его письма ко мне:

I

«Москва, 1838 г., апреля 26.

Любезнейший Иван Иванович, не могу вам выразить того удовольствия, которое доставило мне ваше милое письмо. Я давно знаю вас, давно полюбил вас: во всем, что ни писали вы, видна такая прекрасная, такая человеческая душа [2]. Вы *один* доказали мне, что можно быть человеком и петербуржским литератором. Я не старался узнать, каковы вы на самом-то деле (как говорят опытные люди, разделяющие жизнь на идеальную и реальную): я слишком верю моему чувству, чтобы иметь нужду наводить справки для его оправдания. Веря моему чувству, я был уверен, что и вы любите меня, точно так же как был уверен, что меня терпеть не могут разные петербуржские поэты, прозаики — и знакомые и незнакомые со мною, и даже журналисты, переписывавшиеся со мною [3], — но Вашу руку — я жму ее как руку друга! Вы не обманулись, оставивши в стороне и пустые приличия, и ложный стыд.

Благодарю, сердечно благодарю вас за ваше предложение — быть мне полезным по журналу. Эта помощь важна для меня. Теперь мне во что бы то ни стало, хоть

из кожи вылезть, а надо постараться не ударить лицом в грязь и показать, чем должен быть журнал в наше время, показать это издателям изящных афиш и издателям толстых журналов с афишкою на придачу; но молчание — скоро увидите сами и, надеюсь, заочно погладите по головке. Горе вашей петербуржской братьи, горе всем этим маленьким гениям, которые, после смерти Пушкина, напоминают собою слова Гамлета: «отчего маленькие человечки становятся великими, когда великие переводятся?» [4] Итак, помогите по мере возможности, а то вас там разрывают по частям, по клочкам литературные воронья, собиратели чужих трудов. Литература наша теперь хромает, как никогда не хромала: сам Полевой, этот богатырь журналистики, сам он только портит дело и добросовестно вредит ему, хуже Сенковского.

Первый № «Наблюдателя» позамедлился от разных обстоятельств, которые могли встретиться только при первом №; но он выйдет в Москве, когда вы будете читать мое письмо; второй уже печатается, третий начнется печатанием завтра [5].

Прощайте и пишите ко мне чаще, а я не останусь у вас в долгу.

Письма адресуйте на мое имя — в дом Межевого института (Константиновского).

Добрый А. В. Кольцов вам кланяется.

Ваш *В. Белинский».*

II

«Москва, 1838 г., августа 10.

Любезнейший Иван Иванович! Долго ждал я вашего письма, но мое долгое ожидание было с избытком вознаграждено: ваше письмо показало мне, что я приобрел еще спутника на пути жизни к одной цели [6]. Я не умею понимать ни любви, ни дружбы иначе, как на взаимном понимании истины и стремлении к ней. Уверен, что когда с вами увидимся, то возможность осуществится и стремление к дружбе сделается дружбою. Не нужно больше слов — пусть все развивается само собою из времени и обстоятельств. Для зерна нужна земля, чтоб сделаться деревом; для дружбы, как и для всякого чувства, — возможность дружбы. Я сказал, чт*о* я разумею под возмож-

ностию: для нас эта возможность уже слишком ясна — остальное довершит время.

Вы пишете, что желали бы видеть меня издателем журнала с 3000 подписчиков, а я бы охотно помирился и на половине: *«Телеграф»* никогда не имел больше, а между тем его влияние было велико, «Библиотека для чтения» издается человеком умным и способным, и издается им для большинства, и потому очень понятен ее успех. Журнал с таким направлением, которое я могу дать, всегда будет для аристократии читающей публики, а не для толпы, и никогда не может иметь подобного успеха. Но я не знаю, почему бы мне не иметь 1500 или около 2000 подписчиков. Но видите ли: для этого нужно объявить программу перед новым годом, а не в марте или мае, и программу *нового* журнала, с *новым* названием, потому что воскресить репутацию старого, и еще такого, как «Наблюдатель» [7], так же трудно, как восстановить потерянную репутацию женщины. Сверх того, в Москве издавать журнал не то, что в Петербурге: в нашей ценсуре (московской) царствует совершенный произвол: вымарывают большею частию *либеральные* мысли, подобные следующим: 2 X 2 = 4; зимою холодно, а летом жарко; в неделе 7 дней, а в году 12 месяцев. Но это бы еще ничего — пусть марают, лишь бы не задерживали. VI № мог бы выйти назад тому две недели, но 5 листов пролежали больше недели в кабинете Голохвастова. Снегирев и сам мог бы вычеркнуть все, что ему угодно, но он хочет казаться пред издателями добросовестным, а перед начальством исправным, а мы должны терпеть. В 6 № я поместил переводную статью: «Языческая и христианская литература IV века. Авзоний и св. Паулин» [8], языческой и христианской и святого цензор нам не пропускает: каково вам покажется? Вы знаете, что владелец «Наблюдателя» — Н. С. Степанов; у него есть все средства, сверх того — хорошая своя типография. Если бы ему позволили объявить себя издателем, как Смирдину, начать журнал с нового года и в 12 книжках, как «Библиотека для чтения» и «Сын отечества», — то дело бы пошло на лад. Эти три обстоятельства: объявление имени издателя, который по своим средствам может иметь право на кредит публики, новый план журнала и настоящее время для его начала — могли бы дать содержание для программы и из старого журнала сделать *новый.* Конечно, если бы к этому еще

позволили переменить его название — это было бы еще лучше, но на это плоха надежда. Еще лучше, если бы ко всему этому *мне* позволили выставить свое имя как редактора, потому что В. П. Андросов охотно бы отказался от журнала и всех прав на него. Но зачем говорить о невозможном. По крайней мере, мы хотим попробовать насчет первых трех перемен — имени Степанова, 12 книжек и начала с нового года[9]. Надо сперва прибегнуть к графу Строганову. Пока об этом не говорите решительно никому. Я уверен, когда придет время и если вы что можете тут сделать чрез свои связи и знакомства, то сделаете все.

Ваши *вкусовводители,* точно, люди добросовестные и благонамеренные[10] — *они немножко и дерут, зато уж в рот хмельного не берут*[11]. Шевырев — это Вагнер. Он на лекции объявил, что *любит букву...* Хочу написать историю русской литературы для немцев — пошлю в Германию к Аксакову, он переведет и напечатает. То-то раззадорю наш народ. Уж дам же я знать суфлеру Кёнига! [12]

Я понял, о каком великом драматическом гении пишете вы ко мне: этого гения я разгадал еще в 1834 г. У меня очень верен инстинкт в литературных явлениях; издалека узнаю птицу по полету и редко ошибусь...[13]

Совершенно согласен с вами насчет философских терминов; что делать — погорячились[14]. Говорите мне правду смело, только этим вы можете доказать мне свое дружеское расположение. Первая ваша правда мне понравилась, но оговорки были напрасны. Кланяйтесь от меня Николаю Ивановичу Надеждину. Рад, что вам понравился Аксаков[15]. Это душа чистая, девственная, и человек с дарованием. Когда вы приедете в Москву, то увидите, что в ней и еще есть юноши. Как жаль, что Бакунин живет в деревне! Как мне хотелось познакомить вас с ним. Но я познакомлю вас с В. Боткиным, которого музыкальные статейки, вероятно, вам понравились. Он же перевел «Дон-Жуана» Гофмана и переделал статью «Моцарт»[16]. Еще я познакомлю вас с Клюшниковым — очень интересный человек. Элегия в IV № «Опять оно, опять былое» — его. Стихотворение Красова «Не гляди поэту в очи» не относится ни к Пушкину и ни к кому, а его дума относится к Жуковскому. Понравилась ли вам повесть в 1 №? [17] Она принадлежит Кудрявцеву, автору «Катеньки Пылаевой» и «Антонины». Это человек с истинным поэтическим дарованием и чудеснейшею ду-

шою. И с ним я познакомлю вас. Он дал мне еще прекрасную повесть «Флейта». Странно, что вы прочли еще только два № «Наблюдателя», когда их вышло уже пять. Роман Степанова разругаю, потому что это мерзость безнравственная — яд провинциальной молодежи, которая все читает жадно [18]. Если бы это было только плохое литературное произведение, а не гнусное в нравственном смысле, то я уважал бы пословицу — de mortuis aut bene, aut nihil *. Благодарю вас за обещание *разного товара* — жду его с нетерпением, нельзя ли поскорее [19]. Харьковский профессор Кронеберг изъявил свое согласие на участие. В 6 № его статья «Письма»; статья очень невинная, но, ужаснувшая нашего цензора. Читали ли вы в 5 № статью «О музыке»? Таких статей немного в европейских, не только русских журналах. Серебрянский — друг Кольцова, который и доставил мне статью. Представьте себе, что этот даровитый юноша (Серебрянский) умирает от изнурительной лихорадки. Очень рад, что вам понравилась моя статья о «Гамлете». В 3 № самая лучшая: я сам ею доволен, хотя она и искажена: Булыгин вымарывал слово *святой* и *блаженство,* а на конце отрезал целые пол-листа. Напишите, как вам понравилась моя статья об «Уголино». Жаль Полевого, но вольно ж ему на старости из ума выжить. Что там за гадость такую он издает [20]. «Библиотека для чтения» во сто раз лучше: для большинства это превосходный журнал. Нет ли слухов о Гоголе? Как я смеялся, прочтя в «Прибавлениях», что Гоголь *скрепя сердце* рисует своих оригиналов. *Во время оно* я и сам то же врал... [21] Скажите мне, что за человек *Струговщиков?* У него есть талант, он хорошо переводит Гете, по крайней мере, получше во 100 раз Губера, который просто искажает «Фауста». И не мудрено: он понимает Вагнера — как классика, а Фауста — как романтика. Я хочу растолковать ему, что он врет [22]. Если вы знакомы с Струговщиковым, то попросите у него чего-нибудь для меня: я с благодарностью (разумеется, *невещественною*) поместил бы [23]. Уведомьте меня, что за человек Бернет? У него есть талант, который может погибнуть, если он не возьмется за ум заблаговременно [24]. Я желал бы с ним познакомиться. Обещался мне Ф. Кони отдать для цензуры г. Корсакову две статьи, но что-то о них ни духу ни слуху [25]. Не знае-

* О мертвых — или хорошо, или ничего (*лат.*).

те ли вы чего-нибудь об этом? Прощайте. Жду от вас скорого ответа и с нетерпением ожидаю вас самих в Москву. Я и сам собираюсь в Питер и весною думаю непременно побывать, если будут средства[26].

Ваш *В. Белинский».*

III

Я так много виноват перед вами, любезнейший Иван Иванович, что нельзя и оправдываться. Впрочем, в моем столе и еще теперь лежит письмо к вам от ноября 10 прошедшего года, но — увы! — недоконченное[27]. Право, не до писем было. В письме к вам мне хотелось бы означить определительно мое журнальное состояние, но это было невозможнее, чем означить погоду. И теперь пишу к вам коротко, но зато определенно. Вот в чем дело: *я не могу издавать «Наблюдателя».* Далеко бы завело меня объяснение причин, и потому вместо всех этих объяснений снова повторяю вам — *я не могу издавать «Наблюдателя» и нахожу себя принужденным ныне отказаться от него* *. Но между тем — мне надо чем-нибудь жить, чтоб не умереть с голоду, — в Москве нечем мне жить — в ней, кроме любви, дружбы, добросовестности, нищеты и подобных тому непитательных блюд, ничего не готовится. Мне надо ехать в Питер, и чем скорей, тем лучше. Прибегаю к вашему ко мне расположению, к вашей ко мне дружбе — похлопочите об устроении моей судьбы. Г. Краевский завален теперь делом — два журнала на руках, — думаю, что сотрудник, который в состоянии ежемесячно поставлять около десяти листов оригинального писанья или маранья, будет ему немалою подмогою[28]. Я бы желал взять на себя разбор всех книг, чисто литературных и даже некоторых других, — в таком случае, в каждую книжку «Отечественных записок» я бы аккуратно поставлял от двух до пяти листов. Критика своим чередом, — смесь тоже. Коротко и ясно: почем с листа? Но главное вот в чем: без 2000 мне нельзя даже и пешком пройти заставу: около этой суммы на мне са-

* Причины эти объясняются строгостию тогдашней цензуры и, кроме того, размолвкой между Белинским и некоторыми его московскими друзьями, что читатели увидят далее. (*Прим. И. И. Панаева.*)

мого важного долгу, а сверх того, я хожу, как нищий, в рубище. Кроме г. Краевского, поговорите и с другими, сами от себя или через кого-нибудь: я продаю себя всем и каждому, от Сенковского до (тьфу ты, гадость какая!) Булгарина — кто больше даст, не стесняя притом моего образа мыслей, выражения, словом, *моей литературной совести,* которая для меня так дорога, что во всем Петербурге нет и приблизительной суммы для ее купли. Если дело дойдет до того, что мне скажут: независимость и самобытность убеждений или голодная смерть, — у меня достанет силы скорее издохнуть, как собаке, нежели живому отдаться на позорное съедение псам... Что делать — я так создан.

Не замедлите ответом. Жду с нетерпением.

Ваш *В. Белинский.*

Кроме того, в «Отечественных записках» я готов взять на себя даже и черновую работу, корректуру и тому подобное, если только за все это будет платиться соразмерно трудам. Денег! денег! А работать я могу, если только мне дадут *мою* работу. Итак, скорей ответ. Главное, чтобы при вашем письме получил (если кто пожелает взять меня в работники) *подробные условия.*

Еще раз — не замедлите ответом и — прощайте».

IV

«Москва, 1839 г., февраля 25.

Я остаюсь в Москве, любезнейший Иван Иванович, и потому прошу вас оставить хлопоты обо мне и извинить меня за ложную тревогу[29]. Различные затруднения до такой степени взбесили меня, что я твердо решился перебраться в Питер; но дело кое-как переделалось — и я опять москвич. Пока не могу много писать к вам: я еще болен от этих передряг. Пожмите от меня руку г. Струговщикову... Не умею благодарить его за присланные элегии Гете: несколько времени я обжирался ими: как в волнах океана жизни, купался я в этих гекзаметрах. Прошу у г. Струговщикова извинения в том, что я имел глупость две элегии поместить в 11 № за прошлый год, который только на днях явится, хотя уже является четвертый месяц. Перевод «Прометея» — чудо!

Прошу и умоляю г. Струговщикова не оставить меня и вперед своими трудами.

Равным образом прошу вас засвидетельствовать мое уважение г. Владиславлеву. Очень благодарен ему за его милый подарок. Не отвечал ему на письмо по двум причинам: не до того было, а сверх того, я и не знаю имени и отчества г. Владиславлева. Попросите его засвидетельствовать мое почтение М. М. Попову, моему бывшему учителю, который во время оно много сделал для меня и давая память о котором никогда не изгладится из моего сердца.

Представьте себе — какое горе: у меня украдена учеником Межевого института, некиим Мартыновым, тетрадь стихов Красова и попала в руки Сенковского, который и распоряжается ею, как своею собственностью[30]. Нельзя ли об этом намекнуть в «Литературных прибавлениях».

Не стыдно ли Краевскому воскурять фимиамы таким людям, каков Каменский, Гребенка и т. п.?[31] Статья Губера о философии обличает в своем авторе ограниченнейшего человека, у которого в голове только посвистывает[32]. Какая прекрасная повесть «История двух калош» гр. Соллогуба. Чудо! прелесть! Сколько душевной теплоты, сколько простоты, везде мысль!

Бью вам челом — нижайше кланяюсь, любезнейший Ив. Ив.: пока хоть чего-нибудь, а хорошего и отличного, когда будет у вас досуг. Право, если вы для 4 № не дадите своей п о в е с т и, — я рассорюсь с вами[33].

Кланяйтесь от меня Савельеву и скажите ему, чтобы он уже не хлопотал[34]. До будущего, 1840 года — я москвич, а там — что бог даст. Прощайте.

Ваш *В: Белинский».*

...Я приехал в Москву 13 апреля 1839 г. — и на другой же день отправился к Белинскому.

Вся умная и читающая молодежь была в это время увлечена его статьями.

Видеть этого человека и говорить с ним казалось для меня счастием.

Надо сказать, что я уже начинал сознавать тогда безобразие среды, в которой взрос, диких обычаев и предрассудков, которые всосал в себя с детства, но идеал лучшей и более человеческой жизни очень смутно представлялся мне — и я еще никак не мог оторваться от разных пошлых дворянских привычек, хотя по временам ощущал от них уже некоторую неловкость.

Двадцать лет тому назад в Москве все имевшие средства дворяне ездили обыкновенно в каретах четвернею на вынос. Мне подтвердили, когда я отправлялся в Москву, что без четверни на вынос я не могу показать носа ни в один порядочный дом — и тотчас же по приезде в Москву я завел себе четверню на вынос.

На этой-то четверне, о которой мне и до сих пор еще вспоминать стыдно, я отправился к Белинскому.

Он жил в каком-то узеньком и глухом переулке, недалеко, кажется, от Никитского бульвара, в деревянном одноэтажном домике, вросшем в землю, окна которого были почти наравне с кирпичным узким тротуаром.

Когда моя четверня на вынос подкатила к воротам этого домика, домик весь заходил ходенем, и в глухом и тихом переулке раздался такой оглушающий гром от экипажа, что Белинский вскочил с дивана и бросился к окну с досадою, даже со злобой, как он мне, смеясь, говорил потом.

Такого грома не раздавалось в этом переулке с самого его существования (это тоже слова Белинского).

Я вышел из кареты, покраснев до ушей. В эту минуту я мучительно почувствовал неприличие моей четверни и грома, произведенного моею каретою, но уже было поздно.

Совершенно сконфуженный, с замирающим сердцем я вошел на двор, поросший травою, и робко постучался в низенькую дверь...

Дверь отворилась, и передо мною в дверях стоял человек среднего роста, лет около тридцати на вид, худощавый, бледный, с неправильными, но строгими и умными чертами лица, с тупым носом, с большими серыми выразительными глазами, с густыми белокурыми, но не очень светлыми волосами, падавшими на лоб, — в длинном сюртуке, застегнутом накриво.

В выражении лица и во всех его движениях было что-то нервическое и беспокойное.

Я сейчас догадался, что передо мною сам Белинский.

— Кого вам угодно? — спросил он немного сердитым голосом, робко взглянув на меня.

— Виссариона Григорьича. Я такой-то. (Я назвал свою фамилию.)

Голос мой дрожал.

— Пожалуйте сюда... я очень рад... — произнес он довольно сухо и с замешательством и из темной маленькой

передней повел меня в небольшую комнатку, всю заваленную бумагами и книгами. Мебель этой комнатки состояла из небольшого дивана с износившимся чехлом, высокой и неуклюжей конторки, подкрашенной под красное дерево, и двух решетчатых таких же стульев.

— Пожалуйста, садитесь, — он указал мне на диван, — давно ли вы в Москве?

— Я только вчера приехал.

Затем последовало несколько минут неловкого молчания. Белинский как-то жался на своем стуле. Я преодолел свою робость и заговорил с ним о нашем общем знакомом, поэте Кольцове.

Белинский очень любил Кольцова.

— Ваши петербургские литераторы, — заметил он мне, между прочим, с улыбкою, — принимали Кольцова с высоты своего величия и с тоном покровительства, а он нарочно прикинулся перед ними смиренным и делал вид, что преклоняется перед их авторитетами; но он видел их насквозь, а им и в голову не приходило, что он над ними исподтишка подсмеивается.

Я просидел у него с полчаса; о переписке нашей в этот раз не было ни слова; я боялся помешать его занятиям; к тому же его постоянное нервическое, беспокойное выражение лица приводило меня в большое смущение, и разговор наш шел вяло.

Я встал с дивана в надежде, что Белинский удержит меня, но он не удерживал. Мне показалось даже, что он был доволен тем, что я отправляюсь.

Он проводил меня до дверей, сказав, что непременно зайдет ко мне на днях.

Я вышел за ворота и пошел пешком. Мне стыдно уже было садиться в мою карету, запряженную четвернею, и я приказал ей следовать за мною.

— Только, пожалуйста, без шума и без грома, — сказал я кучеру, который посмотрел на меня с удивлением.

Через два дня после этого Белинский зашел ко мне утром и просидел довольно долго. В этот раз и он и я чувствовали себя как-то свободнее. Он расспрашивал меня о разных петербургских литераторах и журналистах и, по-видимому, слушал мой, несколько юмористический, рассказ о многих из них не без удовольствия.

Впоследствии он признавался мне, что я произвел на него, в первое мое свидание с ним, очень неблагоприятное впечатление, чему, конечно, немало способствовала

моя карета, запряженная четвернею, и что он решился заплатить мне визит и покончить этим.

— Но во второй раз, — говорил он мне, — вы показались мне гораздо лучше, так что я даже забыл о вашей четверне и о карете. Я даже нашел, что в вас много добродушия, а некоторые ваши рассказы очень смешили меня, и я решился продолжать мое знакомство с вами.

С этих пор мы виделись все чаще и чаще.

Я переехал на Арбат, в серенький деревянный домик Тона (недалеко от Арбатских ворот), еще доселе существующий. Белинский нанял квартиру на дворе, наискосок этого дома. Он приходил ко мне запросто обедать и с каждым разом становился со мною бесцеремоннее и искреннее. Я несколько раз в день забегал к нему.

С некоторыми из своих приятелей, именно с Боткиным и Катковым, он был в эту минуту в размолвке, так что, когда они являлись ко мне в одну дверь, он выходил в другую[35].

В это время всего чаще посещал его студент Московского университета, автор только что напечатанной в «Московском наблюдателе» повести «Флейта», впоследствии один из самых замечательных профессоров этого университета — П. Н. Кудрявцев.

Белинский очень любил автора «Флейты» и отзывался с большим уважением об его эстетическом вкусе.

— Кудрявцев наделен самым тонким чутьем для изящного, — говаривал Белинский, — и если ему что-нибудь нравится, так это действительно должна быть хорошая вещь...

Обстоятельства Белинского в эту минуту были очень плохи. Дела издателя «Наблюдателя» Степанова шли худо, он платил Белинскому за его труды самые ничтожные деньги, да и то в неопределенные сроки. Мелочные долги очень тревожили его. После переезда на новую квартиру у него всего оставалось тридцать рублей ассигнациями. Усиленная борьба с тяжелыми обстоятельствами утомляла его, надежда на продолжение «Наблюдателя», за который он принялся с таким жаром, исчезала.

В эту минуту вся журнальная деятельность сосредоточилась в Петербурге, где возник еще новый толстый журнал[36].

— Я охотно переехал бы в Петербург, — говорил он, повторяя то, что уже писал ко мне, — и взял бы на себя весь критический отдел журнала, если бы мог получать

три тысячи ассигнациями. Неужели же я не стою этой платы? А здесь я решительно не могу оставаться, мне просто здесь грозит голодная смерть...

Бескорыстнее и честнее Белинского я не встречал ни одного человека в литературе в последние двадцать лет. Когда речь заходила о плате за труд, он приходил в крайнее смущение, весь вспыхивал и сейчас же соглашался на всякие предложения, самые невыгодные для себя.

— Как же вам не стыдно было соглашаться на такие условия? — с упреком говорили ему его приятели.

— Что делать? — возражал он с улыбкою, — подлая трусость одолевает, когда речь коснется до денег. Я всегда иду с решительностию, молодцом, определю себе цифру и думаю: нет, уж менее этого я ни за что не возьму, а как дойдет до дела, так и сробею. Такая уж гадкая натуришка!

С деньгами он обращался, как ребенок: он то экономничал, лишая себя необходимого, то вдруг прорывался и позволял себе неслыханные роскоши при своем положении. Увлечение было его натурою, и он увлекался даже мелочами.

Однажды утром, во время пребывания моего на Арбате в доме Тона, я подошел к окну.

В эту минуту проходили мимо четыре человека с лотками на головах. На лотках были уложены горшки с великолепными цветами.

«Это, верно, несут в дом к какому-нибудь богатому господину», — подумал я.

Через минуту я, разумеется, забыл об этих цветах, а через полчаса пошел к Белинскому.

Я остолбенел, войдя в его комнату. Эта пустая комната, с щекатуренными стенами, вымазанными вохрой, приняла роскошный вид: она вся была уставлена рододендронами, розами, гвоздиками всевозможных цветов, разливавшими благоухание.

Белинский, наклонившись, поливал горшок с розаном. Когда он приподнялся и увидел меня, он весь вспыхнул.

— Ну что, какова у меня оранжерея? — сказал он, смеясь.

— Чудесная! — отвечал я. — Я видел, как эти цветы проносили мимо меня, и, признаюсь, никак не ожидал, чтобы их несли к вам.

— У меня, батюшка, страсть к цветам. Я зашел сегодня утром в цветочный ряд и соблазнился. Последние тридцать рублей отдал... Завтра уж мне формально есть нечего будет...

И, несмотря на это, Белинский в это утро был веселее и одушевленнее обыкновенного и, говоря, беспрестанно обращался к своим цветам, отрывал сухие листья, очищал землю в горшках и прочее.

Через несколько недель я получил письмо из Петербурга, Один из тамошних журналистов, совершенным сюрпризом для нас обоих, вдруг делал Белинскому предложение переселиться в Петербург и заняться редакциею его журнала. И я и Белинский очень хорошо знали, что журналист этот не питал к нему особенного расположения. Я предлагал этому журналисту сотрудничество Белинского после третьего его письма ко мне, но журналист, приобретший себе тогда критика в лице г. Межевича, решительно отказался от предложений Белинского[37].

Дело, видно, однако, не обошлось без Белинского.

Белинский, которому действительно грозила в эту минуту голодная смерть, не колебался ни на минуту и принял предложения журналиста, хотя они не имели ничего заманчивого.

Я должен был ехать к себе в деревню на раздел имения, и мы сговорились так, чтобы на возвратном пути из деревни отправиться в Петербург вместе. В деревне я получил от Белинского следующее письмо:

«Москва, 1839. Августа 19 дня.

Ну, Иван Иванович, насилу-то дождался я от вас весточки; ваше молчание заставило было меня живо беспокоиться насчет и вашего переезда через Волгу, и ваших новых отношений к делящимся (чего доброго — думал я — пожалуй, зарежут). По сему резону вы выходите не *благодетельный помещик,* как изволите величать себя, а разве *злокачественный дворянин* и *разбойник,* как резко выразился Иван Иванович о Иване Никифоровиче[38]. Вот Авдотья Яковлевна — дело другое: она очень похожа на благодетельную помещицу: попробуйте отдать деревню в полное ее распоряжение — и увидите, что чрез полгода благодаря ее доброте и благодетельности *благодарные* ваши крестьяне — сии брадатые Меналки, Даметы, а наипаче Титиры — сделаются сами господами, а господа сделаются их крестьянами.

Записка ваша ко мне отличается удивительною пустотою содержания. Однако ж спасибо вам и за нее. Рад, что вы обещаете приехать к концу сентября, но боюсь, чтобы ваш приезд — как это часто бывает в сем непрочном мире — не отодвинулся до конца октября. Знаю, что вы рветесь оттуда всей душою, да боюсь, что дела задержат. Пожалуйста, *почтеннейший,* приезжайте скорее: право, я жду вас с нетерпением. Признаюсь, почему-то и с Москвою мне уж поскорее хотелось бы разделаться.

После вашего отъезда со мной произошла бездна перемен и разных разностей. Во-первых, я был болен... *Убедительное* письмо ваше к Николаю Филипповичу не произвело никакого эффекта, потому, вероятно, что нужда убедительнее красноречия. Но мне досадно только, что он не давал никакого ответа. Около трех недель я и надеялся и отчаивался (самое гнусное состояние), наконец заболел и увидел необходимость не выходить из дому, но вдруг почему-то решился выйти в последний раз, повидаться с Боткиным. Иду — вдруг едет навстречу Николай Филиппович. — А, — подумал я, — вот зачем тянуло меня из дому! — вскакивает с дрожек и начинает на тротуаре беседу. О том, о сем, между прочим и о вас — имею ли я от вас известия, наконец — к делу, Щепкин (М. С.) должен ему 115 р., так он предлагал мне поделикатнее попросить их у него себе. В моем положении и это было благодеянием божиим; а Николай Филиппович уверял, что у него нет ни копейки и что сам нуждается. Тотчас я увиделся на университетских экзаменах с Барсовым и попросил его передать Михаиле Семеновичу *о сем.* На другой день спокойно жду денег, но не тут-то было. К. Аксаков дал 10 р., а то бы лекарства не на что было взять, а еще нужны были пьявки и другие подобные мерзости, требующие денег. Я было и нос повесил, но вдруг является И. Е. Великопольский, осведомляется о здоровье и просит меня быть с ним без церемоний и сказать, нужны ли мне деньги? Я попросил 50 р., но он заставил меня взять 100. Вот так благодетельный помещик! На другой день, перед самым отъездом своим в деревню, опять навестил меня. От Щепкина я получил деньги, когда уже выздоровел.

Я помирился с Боткиным и Катковым. Между нами все опять по-прежнему, как будто ничего не было. Да, все по-прежнему, кроме прежних пошлостей. Сперва я

сошелся с Боткиным, и без всяких объяснений, прекраснодушных и экстатических выходок и порывов, но благоразумно, хладнокровно, хотя и тепло, а следовательно и *действительно.* Теперь вижу ясно, что ссора была необходима, как бывает необходима гроза для очищения воздуха: эта ссора уничтожила бездну пошлого в наших отношениях. Причины ссоры, несколько вам известные, были только предлогом, а истинные и внутренние причины только теперь обозначились и стали ясны. Боткин много был виноват передо мною, но и я в этом случае не уступлю ему. Надо быть беспристрастным и справедливым. Впрочем — странно: я, который не находил удовлетворительного мщения Боткину, я теперь не могу себе ясно представить, за что я на него так неистовствовал. Вообще в нашей ссоре много семейного, только для нас понятного. Боткин — чудесный человек, — теперь я могу это сказать, потому что говорю без пылу, в котором если много пламени, зато много и дыму и чаду, но с теплотою и благоразумно. Катков имеет один недостаток — он очень молод, а кроме этого, он один из лучших людей, каких только встречал я в жизни. Я рад без памяти, что наши дрязги кончились и что вы таки увидите *нас,* так как хотели и думали увидеть нас, когда отправлялись из Питера в Москву.

К. Аксаков со мной как нельзя лучше. Его участие ко мне иногда трогает меня до слез. Невозможно быть расположеннее и деликатнее, как он со мною. Славный, чудный человек! Но молод так, что даже Катков годится ему в дедушки. В нем есть все — и сила, и энергия, и глубокость духа, но в нем есть один недостаток, который меня глубоко огорчает. Это — не прекраснодушие, которое пройдет с летами, но какой-то *китайский* элемент, который примешался к прекрасным элементам его духа. Коли он во что засядет, так, во-первых, засядет по уши, а во-вторых — во сто лет не вытащите вы его и за уши из того ощущеньица или того понятьица, которое от праздности забредет в его, впрочем, необыкновенно умную голову. Вот и теперь сидит он в глупой мысли, что Гете (далеко кулику до Петрова дня!) выше Шекспира. Но пока он сидел да посиживал в этой мысли, если только нелепость можно назвать мыслию, случилось происшествие, от которого на лице Аксакова совершилось страшное aplatissement *, *ибо* это происшествие накор-

* сплющивание (*франц.*).

мило его грязью, как говорят безмозглые персиане. Грязь эту разделили с ним Бакунин и Боткин.

Еще давно, прошлого осенью, узнавши нечто из содержания 2 ч. «Фауста», я с свойственною мне откровенностию и громогласностию провозгласил, что оная 2 ч. не поэзия, а сухая, мертвая, гнилая символистика и аллегорика. Сперва на меня смотрели как на богохульника, а потом как на безумца, который врет, что ему взбредется в праздную голову. *Новое* поколение гегелистов основывало журнал в pendant * к берлинскому «Jahrbücher», основанному Гегелем — «Hallische Jahrbücher»; и в этом журнале появилась статья некоего *гегелиста* Фишера о Гете, в которой он доказывает, что 2 ч. «Фауста» — мертвая, пошлая символистика, а не поэзия, но что 1 ч. — великое произведение, хотя и в ней есть непонятные, а потому и непоэтические места, ибо (это же самое говорил и *я*) поэзия доступна непосредственному эстетическому чувству, и отнюдь не требуется для уразумения художественных произведений посвящения в таинства философии, и что все. непонятное в ней принадлежит к области символизма и аллегории. Фишер разбирает все разборы «Фауста» и нещадно издевается над ними; достается от него и *первому* поколению гегелистов, которые, говорит, ослепленные ярким светом Гегелевой философии, пустились сгоряча все подводить под нее и во 2 ч. «Фауста» особенно мнили видеть полное осуществление системы Гегеля в сфере искусства[39]. Больше всех срезался Марбах, который в своей действительно прекрасной *популярной* книге напорол о 2 ч. «Фауста» такой дичи, что Боткин, прекрасно переведший из нее большой отрывок, ничего не понял, и когда хотел поместить этот отрывок в «Наблюдателе», то принужден был вычеркнуть бо́льшую часть того, что сказано там о 2 ч. «Фауста», которую Марбах называет «Книгою с семью печатями», для непосвященных[40]. Каково срезались ребята-то? И каков я молодец! Не правда ли, что необыкновенно умный человек... А?.. Как вы думаете?.. (спросите и Авдотью Яковлевну, как она о сем р а з у м е е т, — я думаю, дивится моей скромности).

В этом же «Hallische Jahrbücher» есть статья о Данте, в которой доказывается, что сей муж совсем не поэт, а его «Divina Comedia» ** — просто символистика[41]. Я то

* в дополнение (*франц.*).

** «Божественная комедия» (*итал.*).

же и давно думал и г о в о р и л, — ну, и после этого вы еще не станете на колени перед моим эстетическим гением?..

Вот каким длинным письмом заплатил я за вашу записку. Получил я письмо на ваше имя и прилагаю его при сем. Также прилагаю и письмо Андрея Александровича ко мне — оно очень интересно[42]. Пожалуйста, пишите ко мне.

Константину (Аксакову) еще не отдавал вашего письма, не видался с ним. А как он будет рад ему — как дитя! Да, славное дитя Константин; жаль только, что движения в нем маловато. Я и теперь почти каждый день рассчитываюсь с каким-нибудь своим прежним убеждением и постукиваю его, а прежде так у меня — что ни день, то новое убеждение. Вот уж не в моей натуре засесть в какое-нибудь узенькое определеньице и блаженствовать в нем. Кстати, после статей о 2-й ч. «Фауста» и Данте, я стал еще упрямее, и теперь мне пусть лучше и не говорят о драмах Шиллера: я давно уже узнал, что они слабоваты. Пушкин меня с ума сводит. Какой великий гений, какая поэтическая натура! Да, он не мог по своей натуре написать ничего вроде 2-й ч. «Фауста». Я обещал Владиславлеву в альманах статью о «Каменном госте» в форме письма к другу. Хочется попытаться на нечто похожее на философскую критику à la Рётшер[43]. У меня теперь три бога искусства, от которых я почти каждый день неистовствую и свирепствую: Гомер, Шекспир и Пушкин...

Поблагодарите от меня Авдотью Яковлевну за память обо мне и ударьте ей за меня низко челом.

Прощайте. В «Литературных прибавлениях» перепечатана моя статья о Полевом, а новая еще не напечатана[44].

Ваш *В. Белинский».*

Белинский не изменил своего намерения. Я возвратился в Москву в октябре — и в конце октября 1839 г. мы были уже в Петербурге. Он остановился у меня...

Всегда слабое здоровье его в это время начинало расстраиваться. Он иногда жаловался на грудную боль и одышку.

Я жил в это время на Грязной улице близ Семеновских казарм, в деревянном двухэтажном доме архитектора

Диммерта. Белинский расположился внизу в совершенно отдельной комнате[45].

В этой-то комнате совершилось, месяцев пять спустя после нашего приезда, примирение Белинского с одним из его знакомых, об уме, блестящем образовании и остроумии которого он всегда отзывался с энтузиазмом.

Размолвка их произошла в Москве. Белинский имел в это время совершенно отвлеченное, умозрительное направление — Герцен более общественное. Они крепко поспорили и поссорились. Белинский уехал из Москвы, не видевшись с ним.

Раз, часу в шестом вечера, — это было, если я не ошибаюсь, в марте[46] 1840 года, — человек докладывает Белинскому о приезде к нему Герцена.

Белинский вспыхнул и соскочил с дивана при этом имени...

— Вот вы увидите наконец его! Это человек замечательный и блестящий. Заходите ко мне немного погодя. Я вас с ним познакомлю.

Через полчаса я спустился в комнату Белинского.

Когда я вошел, разговор между Белинским и Герценом был еще несколько натянут. Белинский представил нас друг другу.

Герцен окинул меня быстрым взглядом, вежливо улыбнулся, пожал мне руку и обратился к Белинскому.

Я несколько минут с любопытством рассматривал его. Герцен был человек довольно полный, лет двадцати восьми, среднего роста, с темными волосами, подстриженными под гребенку. Черты лица его были приятны и правильны, лицо одушевлено необыкновенным блеском и живостию карих остроумных глаз и каким-то особенно тонким юмористическим выражением у оконечностей губ... На нем был фрак с гербовыми пуговицами.

Я не оставался долго в комнате, не желая мешать им.

Через час Белинский пришел ко мне наверх.

— Ну, мы объяснились и снова, кажется, сошлись, — сказал мне Белинский, отдуваясь и падая на диван (это свидание, видно, сильно на него подействовало). — Я рассказал Герцену известное вам происшествие со мною у Краевского — об этом господине, который отказался от знакомства со мною, потому что я автор... знаете... я не могу называть эту статью по имени — и как я за это пожал руку этому господину... Герцен выслушал это и бро-

сился ко мне. Мы обнялись и забыли все прошлое. Слава богу!.. У меня как гора с плеч свалилась...

Петербург сначала произвел на него очень хорошее впечатление.

— Вот это европейский город! — говорил он, — то есть, по крайней мере, такой, каким я воображаю себе европейские города!.. — Потом он стал жаловаться на климат, но, браня его, всегда прибавлял:

— Ну, а во всяком случае все уж лучше жить в Петербурге, чем в Москве[47].

Приезд Белинского в Петербург наделал большого шуму в петербургских литературных кружках.

Все отживавшие петербургские литераторы и журналисты ненавидели его и в то же время страшно боялись.

Однажды мы шли с Белинским по Невскому проспекту. Вдруг кто-то дернул меня сзади за пальто. Я обернулся.

Передо мною стоял редактор известной газеты, автор различных нравоописательных статеек и романов, доканчивавший свое литературное поприще площадными выходками против всего живого, талантливого и нового, восхвалением разных магазинов и лавочек и нескончаемыми толками о чистоте русского языка...

— Извините, почтеннейший, извините, — пробормотал он мне, — это я вас дернул... Скажите, пожалуйста, кто это с вами идет?

— Белинский, — отвечал я.

— А! а!.. — и он начал осматривать Белинского с несказанным любопытством с ног до головы. — Так это бульдог-то, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас?..

Я передал эти слова Белинскому. Это очень забавляло его, и он потом часто повторял, что Булгарин называет его бульдогом[48].

К числу петербургских журналистов этого времени принадлежал бывший издатель «Московского телеграфа», с которым Белинский находился одно время в Москве в очень близких сношениях.

Белинский, как это видно и из писем его ко мне, любил его и высоко ценил его прежнюю московскую журнальную деятельность, которая уже не имела ничего общего с петербургскою.

— Этот человек сам предвидел свое падение, — рассказывал мне Белинский с грустию. — Когда он уезжал

из Москвы, я проводил его до заставы. У заставы мы обнялись и простились... «Желаю вам успехов и счастия в Петербурге», — сказал я. Он как-то уныло улыбнулся. «Благодарю вас, — отвечал он, — нет-с, уж какие успехи! Но если я буду действовать не так, как следует (он употребил более ясное и резкое выражение), то не вините меня, а пожалейте-с... Я человек, обремененный семейством...»

В Петербурге Белинский не видался с ним. Полевой избегал его потому, что после совершенной перемены в своих убеждениях ему, кажется, неловко было взглянуть прямо в глаза Белинскому...

— Белинский — прекраснейший, благороднейший человек! — сказал мне однажды Полевой, когда я нарочно завел с ним речь о Белинском, — горячая голова, энтузиаст, но теперь нам сходиться не для чего-с. Я здесь уж совсем не тот-с. Я вот должен хвалить романы какого-нибудь Штевена, а ведь эти романы галиматья-с.

— Да кто же вас заставляет хвалить их? — спросил я с удивлением.

— Нельзя-с, помилуйте, ведь он частный пристав.

— Что ж такое? Что вам за дело до этого?

— Как что за дело-с! Разбери я его как следует, — он, пожалуй, подкинет ко мне в сарай какую-нибудь вещь, да и обвинит меня в краже. Меня и поведут по улицам на веревке-с, а ведь я отец семейства!

У меня сжалось сердце при этом страшном признании. И это говорил тот человек, который некогда энергически преследовал всякую подлость, проповедовал о свободе духа, о человеческом достоинстве!

Литературные петербургские знаменитости смотрели на Белинского с высоты своего величия. Они не удостоивали замечать его или отзывались о нем как о наглом, недоучившемся студенте, который осмеливается посягать на вековые славы. Один Пушкин, кажется, втайне сознавал, что этот недоучившийся студент должен будет занять некогда почетное место в истории русской литературы... Он просил Щепкина передать Белинскому первые книжки только что начатого им «Современника», зная, что Щепкин находился в близких сношениях с Белинским.

— Только, пожалуйста, чтобы это осталось между нами, — прибавил Пушкин.

Он боялся, чтобы об этом не узнали его друзья — литературные знаменитости...[49]

Белинский жил в Петербурге исключительно в небольшом кружке молодых литераторов, из которых многие в настоящую минуту достигли также степени литературных знаменитостей и, может быть, уже относятся к новому поколению литературных деятелей с тою же гордостию и неприступностию, с какой относились к Белинскому литературные знаменитости его времени...

На этот небольшой кружок молодых литераторов Белинский имел неотразимое влияние. Его любили и вместе боялись, несмотря на его кроткую, нежную и увлекающуюся натуру, — боялись, потому что Белинский беспощадно высказывал правду в глаза своим друзьям и жестоко преследовал насмешкою различные их слабости. Взаимное самовосхваление, лесть и лицемерие были ненавистны ему.

— Все это признаки растленного старчества, — говорил он, — не дай бог дожить до этого!..

Вот записка его ко мне, в которой выражается вся горячая, благородная, любящая душа Белинского.

«Декабря 5, 1842 г.

Ну, Панаев, вижу, что у вас есть чутье кое на что, — сейчас я прочел «Мельхиора»[50], и мне все слышатся ваши слова: эта женщина постигла таинство любви. Да, любовь есть таинство, — благо тому, кто постиг его; и не найдя его осуществления для себя, он все-таки владеет таинством. Для меня, Панаев, светлою минутою жизни будет та минута, когда я вполне удостоверюсь, что вы *наконец* уже владеете в своем духе этим таинством, а не предчувствуете его только. Мы, Панаев, счастливцы — очи наши узрели спасение наше, и мы отпущены с миром владыкою, мы дождались пророков наших — и узнали их, мы дождались знамений — и поняли и уразумели их. Вам странны покажутся эти строки — ни с того ни с сего присланные к вам; но я в экстазе, в сумасшествии, а Жорж-Занд называет сумасшествием именно те минуты благоразумия, когда человек никого не поразит и не оскорбит странностью, — это она говорит о Мельхиоре. Как часто мы бываем благоразумными Мельхиорами, и благо нам в редкие минуты нашего безумия. О многом хотелось бы мне сказать вам, но язык коснеет. Я люблю

вас, Панаев, люблю горячо — я знаю это по минутам неукротимой ненависти к вам. Кто дал мне право на это — не знаю; не знаю даже, дано ли это право. Мне кажется, вы ошибаетесь, думая, что все придет само собою, даром, без борьбы, и потому не боретесь, истребляя плевелы из души своей, вырывая их с кровью. Это еще не заслуга, Панаев, встать в одно прекрасное утро человеком истинным и увидеть, что без натяжек и фразерства можно быть таким. Даровое непрочно, да и невозможно, оно обманчиво. Надо положить на себя епитимью и пост и вериги, надо говорить себе: этого мне хочется, но это не хорошо, — так не быть же этому. Пусть вас тянет к *этому,* а вы все-таки не идите к нему; пусть будете вы в апатии и тоске — все лучше, чем в удовлетворении своей суетности и пустоты.

Но я чувствую, что я не шутя безумствую. Может быть, приду к вам обедать, а не говорить: говорить надо, когда заговорится само собою, а не назначать часы для этого. Спешу к вам послать это маранье, пока охолодевшее чувство не заставит его изорвать...»

Кружок, в котором жил Белинский, был тесно сплочен и сохранился во всей чистоте до самой смерти его. Он поддерживался силою его духа и убеждений.

После его смерти все как-то разбрелись и спутались, но память об этом кружке, верно, до сих пор дорога каждому из тех, которые принадлежали к нему...

Белинский редко выходил из этого кружка и показывался в литературный свет.

Этот свет изредка открывался для него только в одном доме [51], куда стекались раз в неделю всевозможные известности — ученые, военные, литературные, духовные и великосветские. Большой гармонии и одушевления в этом обществе не могло существовать, усилие хозяина дома сближать литературу с великосветским обществом не удавалось. Для великосветского общества, никогда не принимавшего живого участия в отечественной литературе, вся тогдашняя литература заключалась только в пяти или шести литературных авторитетах, посещавших салоны. На остальных литераторов и ученых — людей по большей части несветских, застенчивых — это общество посматривало с несколько оскорбительным любопытством сквозь стеклышки и лорнеты, как на зверей, спрашивая с удивлением хозяина дома: «Откуда *это?* Что *это?»* Литературные авторитеты не желали

сближаться с этими остальными и удостоивали их только изредка своего благосклонного внимания или одобрения. Они как будто боялись показать, что имеют что-нибудь общее с литераторами. Слово «литератор» было для них как будто обидное слово: они хотели слыть прежде всего людьми светскими, только иногда удостоивающими заниматься литературою.

Положение записных ученых и литераторов было очень неловко в этом великосветском литературном салоне. Они обыкновенно с робостию, с замирающим дыханием пробирались через салон, преследуемые дамскими лорнетами и мужскими стеклышками, в кабинет радушного хозяина и там уже, забравшись куда-нибудь в уголок, вздыхали полною грудью.

Нужно ли было сближать литературу с великосветскостию — это вопрос, в рассмотрение которого я входить здесь не буду...

Но, упоминая об этих собраниях, я должен сказать, что всех человечнее, всех лучше являлся на них сам хозяин дома, принимавший с одинаковым радушием, теплотою и искренностию, без различия, каждого своего гостя — какого-нибудь важного, значительного господина с украшениями на фраке и бедного, робкого, никому еще не известного литератора. Это черта, особенно для того времени, заслуживающая внимания.

Белинский долго не решался появиться в этом салоне, несмотря на то что чувствовал большое расположение к его хозяину, доказательством чего было то, что он высказывался пред ним вполне, иногда даже с такою энергиею, которая приводила хозяина салона в большое смущение...

— Отчего вы не хотите бывать у меня? Я сердит на вас, — говорил он Белинскому.

— Сказать вам правду — отчего? — отвечал, улыбаясь, Белинский, — я человек простой, неловкий, робкий, отроду не бывавший ни в каких салонах... У вас же там бывают дамы, аристократки, а я и в обыкновенном-то дамском обществе вести себя не умею... Нет, уж избавьте меня от этого! Ведь вам же будет нехорошо, если я сделаю какую-нибудь неловкость, или неприличие, по-вашему.

Но, несмотря на это, хозяин салона непременно хотел, чтобы Белинский был в числе его гостей.

Канун Нового года праздновался им всегда с необыкновенною торжественностию. Он особенно упрашивал Белинского приехать к нему в этот вечер (накануне 184 *) и,

кроме того, взял с меня слово, чтобы я непременно уговорил его и привез с собой.

Мне не совсем легко было исполнить это поручение. Я уговаривал Белинского более часа. Наконец он начал колебаться.

— Ну да, пожалуй, черт с вами... я поеду! — сказал он, беспокойно прохаживаясь по комнате. — Что же мне надеть? — прибавил он сердито, обращаясь ко мне.

— Наденьте сюртук, ведь дам не будет.

Он одевался долго, кряхтел, кашлял, уверял, что больше, чем когда-нибудь, чувствует одышку, что не утерпит — непременно съест чего-нибудь, и от этого ему будет еще хуже.

Когда мы садились в сани, он занес ногу и сказал:

— Кажется, я делаю ужаснейшую, непростительнейшую глупость!.. Знакомых у меня там почти никого нет... Ну что я буду делать?

Когда мы всходили на лестницу, он, поднявшись на несколько ступенек, остановился и произнес:

— Уж не воротиться ли мне? Это было бы самое благоразумное...

— Нет, я не отпущу вас ни за что, — отвечал я решительно.

— Ну, уж нечего делать... Идемте... да не бегите так скоро по лестнице. Ведь вы так здоровы, что на вас смотреть противно, вам нипочем всходить на какую угодно высоту, а я, и тихо-то идя, задыхаюсь по этим проклятым петербургским лестницам.

Белинский часто подсмеивался над моим здоровьем.

— Что у вас за желудок! Камни переваривает!.. — восклицал он. — Человек болен никогда не бывает! — говорил он, указывая на меня кому-нибудь из наших приятелей. — Как вам это кажется? Ведь родятся же на свет такие счастливчики! Да погодите, и на вас придет черед. Разом крякнете...

Был час двенадцатый, когда мы появились в салоне. Перешагнув за его дверь, Белинский побледнел и закусил губу, но отсутствие дам, радушие и приветливость хозяина успокоили его. Он примирился с своим положением, однако скучал и почти не отходил от меня.

В этот вечер были тут все литературные знаменитости и авторитеты, старые и молодые, которых он видел так близко в первый раз в жизни: Крылов, Жуковский, князь Вяземский, Лермонтов и другие.

После ужина Крылов и Жуковский расположились на диване, а некоторые — около них, образовав отдельный кружок.

Мы сидели позади этого кружка. На Белинского никто из них не обращал никакого внимания, а некоторые едва ли даже знали о его существовании, хотя в это время, как я уже заметил, вся читающая русская молодежь с жадностию поглощала все, что выходило из-под пера его, и имя его (появившееся только однажды в журнале под какой-то еще не совсем удавшейся статьей) с восторгом уже повторялось в самых отдаленных концах России [52].

Здесь, кстати, я приведу одно из доказательств этого. В 1845 году я ехал из Нижнего в Казань в почтовой карете. Соседом моим был человек средних лет, с бородой, одетый в длинный сюртук, покрывавший высокие сапоги. Это был сибирский купец, умный, любознательный и усердный чтец всех русских журналов. Он, вовсе не подозревая, что я несколько причастен к литературе, завел со мною речь о журналах...

Какой же из журналов в бо́льшем ходу у вас? — спросил я его.

Он назвал мне тот журнал, в котором участвовал Белинский.

— Почему же? — возразил я.

— Как почему? Очень понятно, потому что в нем участвует Белинский. Его статьи у нас читаются всеми с жадностию.

— Да каким же образом вы отличаете его статьи? Ведь он никогда не подписывает своего имени.

— Птица видна, сударь, по полету, говорит пословица. Он хоть и не печатает своего имени, а имя его у нас знают все грамотные люди.

По возвращении в Петербург я, разумеется, передал Белинскому мой разговор с сибирским купцом.

На Белинского это очень приятно подействовало.

— Вот каков я! — сказал он, *улыбаясь*. — Вы не шутите теперь со мной!..

Обратимся, однако, к салону.

Я сказал, что Белинский сидел рядом со мною, никем не замечаемый, сзади кружка литературных знаменитостей; он прислушивался к их разговору. Возле него стоял небольшой столик на одной ножке с несколькими бутылками вина. В рассеянии он облокотился на столик, столик опрокинулся, бутылки разбились, вино полилось к ногам

знаменитостей, и ко всему этому Белинский потерял равновесие и упал на пол.

Стук от падения этого, ручьи вина — произвели большую суматоху... Все вскочили со стульев, обратившись назад.

Белинский с трудом поднялся. Вся кровь его прихлынула к голове, с минуту он был как в беспамятстве, хозяин дома, испуганный, бросился к нему с участием, повел его в свой кабинет, предлагал ему воду, различные нюхательные спирты...

Белинский мало-помалу пришел в себя, улыбнулся и сказал:

— Вот видите ли, я предупреждал вас, что наделаю у вас каких-нибудь неприличий, — так и случилось. Вините не меня, а самого себя.

Падение Белинского со стула было причиною того, что имя его стало переходить из уст в уста.

Многие великосветские господа, в первый раз услыхавшие это имя, спрашивали не без любопытства:

— А чем же этот господин замечателен? Что он такое пишет?

Несмотря на такой неудачный дебют в великосветском и литературном обществе, Белинский не раз после того посещал этот салон, для того только, впрочем, чтобы доставить удовольствие его радушному хозяину, а он был убежден, что этим он точно доставляет ему удовольствие.

Вообще Белинский не терпел разнородного, малознакомого и большого общества. Он даже, бывало, при появлении в нашем обычном кружку какого-нибудь незнакомого лица изменялся мгновенно, впадал в дурное расположение духа и переставал говорить.

Он искренно был привязан ко всем без исключения, составлявшим этот тесный кружок, но иногда вдруг почему-то особенно увлекался на время одним кем-нибудь и обнаруживал к нему необыкновенную нежность. Он, впрочем, всегда прямо и откровенно сознавал потом свои заблуждения и сам добродушно смеялся вместе с нами над своими крайностями и увлечениями.

Он только никогда не мог слышать равнодушно о некоторых статьях своих, явившихся в конце 1839 и в начале 1840 года в «Отечественных записках». Однажды он зашел ко мне утром спросить — обедаю ли я дома (это было, если я не ошибаюсь, года через три после напечатания этих статей). На столе в кабинете моем случайно лежала

та книжка, в которой была напечатана его статья «Менцель», открытая именно на этой статье.

Белинский пришел ко мне в очень хорошем расположении духа, но, подойдя к столу и взглянув на книжку, он вдруг изменился в лице, схватил книжку и бросил ее на пол.

— Что это, вы нарочно хотите поддразнивать меня, подсовывая мне на глаза эту статью? Вы знаете, что я не могу без негодования вспоминать об моих статьях этого времени. Сделайте одолжение, я прошу вас не делать со мною таких вещей.

Он задыхался и почти упал на диван.

Я уверял, что не имел ни малейшего намерения с умыслом подсовывать ему эту статью, что мне и в голову не могло прийти ничего подобного, но он, несмотря на это уверение, не скоро успокоился и не приходил ко мне обедать в этот день.

Вообще малейшая, самая ничтожная вещь могла приводить его иногда в бешенство — это было уже отчасти следствием роковой болезни, развивавшейся в нем сильнее и сильнее.

Во время отдыхов иногда по вечерам он любил играть в преферанс с приятелями по самой маленькой цене и играл всегда с увлечением и очень дурно.

Раз (это было у меня, накануне светлого праздника) он часа три сряду не выпускал из рук карт и наставил страшное количество ремизов. Утомленный во время сдачи он вышел в другую комнату, чтобы пройтиться немного. В это время Тургенев (которого он очень любил) нарочно подобрал ему такую игру на восемь в червях, что он должен был остаться непременно без четырех... Белинский возвратился, схватил карты, взглянул и весь просиял... Он объявил восемь в червях и остался, как и следовало, без четырех. Он с бешенством бросил карты и вскрикнул, задыхаясь:

— Такие вещи могут случаться только со мною.

Тургеневу стало жаль его — и он признался ему, что хотел подшутить над ним.

Белинский сначала не поверил, но когда все подтвердили ему то же, — он с невыразимым упреком посмотрел на Тургенева и произнес, побледнев как полотно:

— Лучше бы уж вы мне этого не говорили. Прошу вас вперед не позволять себе таких шуток!

Когда болезненные припадки затихали или не слишком

беспокоили его, он становился как-то особенно ясен и светел: его кроткая, прямая, деликатная натура вся так и отражалась в его глазах. В эти минуты он любил подшучивать над слабостями некоторых своих друзей — например, на падкость к аристократии, на маленькое хвастовство, тщеславие и прочее.

Но (об этом я уже заметил и не могу не подтвердить еще раз) для того, чтобы иметь о Белинском полное понятие, видеть его во всем блеске, надобно было навести разговор на те общественные предметы и вопросы, которые живо его затрогивали, и раздражить его противоречием; затронутый, он вдруг вырастал, слова его лились потоком, вся фигура дышала внутренней энергией и силой, голос по временам задыхался, все мускулы лица приходили в напряжение... Он нападал на своего противника с силою человека, власть имеющего, мимоходом играл им, как соломинкой, издевался, ставил его в комическое положение и между тем продолжал развивать свою мысль с энергией поразительной. В такие минуты этот обыкновенно застенчивый, робкий и неловкий человек был неузнаваем.

Надобно было взглянуть на него также в те минуты, когда он писал что-нибудь, в чем принимал живое, горячее участие... Лицо и глаза его горели, перо с необыкновенною быстротою бегало по бумаге, он тяжело дышал и беспрестанно отбрасывал в сторону исписанный полулист. Он обыкновенно писал только на одной стороне полулиста, чтобы не останавливаться в ожидании, покуда просохнут чернила...

Сколько раз заставал я его в такие минуты и смотрел на него, не замечаемый им; если же он оборачивался и взглядывал на меня прежде, нежели я уходил, он без церемонии говорил мне:

— Извините меня, Панаев... Видите, я занят...

Он откладывал на минуту перо и прикладывал руку к голове. Я как теперь вижу его в этом положении.

Один раз я застал его ходящим по комнате в волнении и с усилием махающим правою рукою.

— Что это с вами? — спросил я его.

— Рука отекла от писанья... Я часов восемь сряду писал, не вставая. Говорят, я сам виноват, потому что откладываю писанье свое до последних дней месяца. Может быть, это отчасти и правда, но взгляните, бога ради, сколько книг мне присылают... и какие еще книги — посмотрите: азбуки, грамматики, сонники, гадальные книжонки! И я

должен непременно хоть по нескольку слов написать о каждой из этих книжонок!..

Он остановился на минуту, тяжело вздохнул и продолжал:

— Да и если бы знали вы, какое вообще мучение повторять зады, твердить одно и то же — все о Лермонтове, Гоголе и Пушкине; не сметь выходить из определенных рам — все искусство да искусство!.. Ну какой я литературный критик! Я рожден памфлетистом — и не сметь пикнуть о том, что накипело в душе, отчего сердце болит!

Ничем неудержимый, смелый, беспощадный и неумолимый боец на бумаге, жестоко и ядовито терзавший все мелкие самолюбьица щекотливых светских и модных писателей, с внешним блеском и с внутреннею пустотою, он избегал встречи с ними и при своей врожденной робости и отсутствии светскости терялся обыкновенно при этих встречах; но на крайне беззастенчивый вопрос одного из великосветских писателей он отвечал однажды очень ловко.

Белинский обедал у меня дня через два после напечатания его критической статьи на одно из литературных произведений, произведшее большой шум в публике после своего великолепного появления. Критика Белинского была написана необыкновенно тонко и ловко, и тем сильнее чувствовалась ее ядовитость. Мы сели обедать ранее обыкновенного. В начале обеда вдруг раздался резкий звонок и вслед за тем громкий голос: «Дома?» — самого автора этого произведения. Белинский изменился в лице и приподнялся на стуле.

— Я у й д у , — прошептал он.

Жена моя уговорила его, однако, остаться.

Автор вошел, переваливаясь и волоча ноги.

— Здравствуйте-с, — сказал он, протянув руку моей жене, потом мне и кивнув головою Белинскому, который отвечал ему на это также легким кивком, закусив нижнюю губу, что выражало у него всегда неудовольствие.

— Я не мешаю в а м , — продолжал небрежно а в т о р , — дайте мне последний номер «Отечественных записок». Там, говорят, меня ужасно отделали. Мне хочется пробежать эту статью...

Ему подали «Отечественные записки», и он пошел в другую комнату.

Когда мы окончили обед, автор вдруг прямо подошел к Белинскому.

— Что это, *вы* надавали мне оплеух? — спросил он, полуулыбаясь.

Белинский побледнел.

— Если вы называете это оплеухами, — отвечал он смело и глядя ему прямо в глаза, — то должны, по крайней мере, сознаться, что для этого я надел на руку бархатную перчатку.

Автор расхохотался и уже продолжал разговор с Белинским с бо́льшим вниманием и приветливостию [53].

К числу общих наших приятелей, которого мы посещали довольно часто и у которого обыкновенно обедал Белинский по воскресеньям, принадлежал А. А. Комаров, преподававший русскую словесность в военно-учебных заведениях. А. А. Комаров глубоко уважал Белинского и был предан ему всею душою. Он был, между прочим, большой гастроном и с особенною любовью и мастерски приготовлял салат. Белинский всегда был очень доволен его обедами и, похваливая их хозяину дома, не упускал случая ввернуть словцо об его двоюродном брате, который имел слабость также приглашать к себе на обеды, но кормил до крайности дурно.

— У Александра Александровича, — говаривал Белинский, — не испортишь желудка. Это не то, что у его двоюродного братца. Тот отравитель! На что желудки у них (он указал на меня и на Языкова, также очень близкого ему человека) булыжники переваривают, а после обеда вашего братца и они приставляют иногда пиявки к желудкам.

А. А. Комаров был очень хорош с покойным Прокоповичем и через него сошелся очень близко с Гоголем. Первое время своей известности Гоголь обыкновенно, приезжая в Петербург, останавливался у Прокоповича и часто бывал у Комарова. Здесь встречался с ним Белинский.

Белинский был в энтузиазме от Гоголя как писателя — это всем известно, но как с человеком он никогда не мог сойтись с ним близко. Гоголь был слишком сосредоточен в самом себе и к тому же по мере своей известности начинал приобретать постепенно неприступность авторитета, все более и более сближаясь с другими литературными и светскими авторитетами. Открытый и искренний но натуре Белинский не терпел никакой напыщенности, натянутости и признавался, что ему всегда бывало немного тяжеловато в присутствии Гоголя.

Малороссийские устные рассказы Гоголя и его чтение (известно, что он был удивительный чтец и превосходный

рассказчик) производили на Белинского сильное впечатление...

В то время Гоголь еще нередко позволял себе одушевляться в кругу своих старых несветских товарищей и приятелей и, приготовляя сам в их кухне итальянские макароны, до которых был величайший охотник, тешил их своими рассказами.

Упомянув о неприступности Гоголя и его странном обращении с его старыми приятелями, я, кстати, позволю себе сделать здесь небольшое отступление и расскажу об одном вечере (это уже было года два или три после смерти Белинского) у А. А. Комарова, на котором присутствовал Гоголь. Гоголь изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных новых литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем. Я познакомился с ним летом 1839 года в Москве, в доме Сергея Тимофеевича Аксакова[54]. В день моего знакомства с ним он обедал у Аксаковых и в первый раз читал первую главу своих «Мертвых душ». Мы собрались к А. А. Комарову часу в девятом вечера. Радушный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением. Он благоговел перед его талантом. Мы все также разделяли его нетерпение. В ожидании Гоголя не пили чай до десяти часов, но Гоголь не показывался, и мы сели к чайному столу без него.

Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень заметно, что не читал их. Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые «Письма» писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами.

От ужина, к величайшему огорчению хозяина дома, он

также отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя тут были всевозможные вина.

— Чем же вас угощать, Николай Васильич? — сказал наконец в отчаянии хозяин дома.

— Н и ч е м , — отвечал Гоголь, потирая свою бородку, — впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги.

Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты... Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги.

Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.

— Сейчас подадут м а л а г у , — сказал хозяин д о м а , — погодите немного.

— Нет, уж мне не хочется, да к тому же поздно...

Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы.

Не знаю, как д р у г и м , — мне стало как-то легче дышать после его отъезда...[55]

Но обратимся к Белинскому.

Белинский ходил к немногим, искренним приятелям, чтобы отдыхать от работы и отводить душу в спорах и толках о том, что его сильно тревожило; но он больше любил домашний угол и устроивал его всегда, по мере средств своих, с некоторым комфортом. Чистота и порядок в его кабинете были всегда удивительные: полы как зеркало, на письменном столе все вещи разложены в порядке, на окнах занавесы, на подоконниках цветы, на стенах портреты различных знаменитостей и друзей, и между прочими портрет Станкевича и несколько старинных гравюр, до которых он был большой охотник. Он сам отыскивал их на Толкучем рынке и хвастал мне своими находками. (Все эти вещи хранятся теперь у нашего приятеля, М. А. Языкова.) Библиотеку свою, состоявшую большею частью из русских книг, он умножал с каждым годом и в последнее время, когда уже свободно читал по-французски, начал приобретать и французские книги... Если кто-нибудь, бывало, оставит следы ног на его паркете, насорит у него сигарочным пеплом или плюнет на пол, Белинский непременно нахмурится и начнет ворчать. В его кабинете нигде не видно было ни соринки...

В первое время моего знакомства с Белинским в Моск-

ве, еще когда стены его комнаты были голы и комната совсем пуста, эта страсть его к чистоте тотчас же бросилась мне в глаза и несколько удивила.

До моего знакомства с Белинским я все расспрашивал о нем у Н. И. Надеждина, который больной лежал тогда (в 1838 г.) в гостинице Демута, только что вернувшись из Усть-Сысольска.

Надеждин, который был вообще словоохотлив, как будто избегал почему-то всякий раз разговора о Белинском. Когда я раз спросил о его образе жизни, о его привычках, Надеждин засмеялся во весь рот, обнаружив, по обыкновению, свои десны, и сказал:

— Малый он с талантом, с убеждением, но в жизни ужаснейший циник. Когда он работал у меня в «Телескопе», я нанял ему небольшую, но миленькую и чистенькую квартиру с мебелью, еще с цветами на окнах!.. Он не прожил в ней и недели — не мог — и переселился куда-то на Трубу, в непроходимую грязь...

Когда я сошелся с Белинским, я однажды спросил его:

— Что, вы всегда были такой охотник до чистоты, как теперь?

— Что это за вопрос? — перебил Белинский.

Я ему передал слова Надеждина. Белинский расхохотался.

— Неужели он вам говорил это? — вскрикнул он, весь вспыхнув. — Я клянусь вам, что ни о какой подобной квартире я отроду не слыхивал, — еще с цветочками! Хорош господин! Вы теперь меня видите и знаете: ну, похож ли я на циника?

Белинский впоследствии, когда средства его немного увеличились, все понемногу прибавлял что-нибудь к украшению своей квартиры, всякий раз показывал мне свои приобретения и советовался со мною, как и куда поставить какую вещь... и этот *циник,* прежде чем садился за работу, сам всякий раз смахивал пыль со всех своих вещей в кабинете.

К нему часто сходились по вечерам его приятели, и он всегда встречал их радушно и с шутками, если был в хорошем расположении духа, то есть свободен от работы и не страдал своими обычными припадками. В таких случаях он обыкновенно зажигал несколько свечей в своем кабинете. Свет и тепло поддерживали всегда еще более хорошее расположение его духа...

Его небольшая квартира у Аничкова моста, в доме Ло-

патина, в которой он прожил, кажется, с 1842 по 1845 год[56], отличалась, сравнительно с другими его квартирами, веселостию и уютностию. Эта квартира и ему нравилась более прежних. С нею сопряжено много литературных воспоминаний. Здесь Гончаров несколько вечеров сряду читал Белинскому свою «Обыкновенную историю». Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно, и все подсмеивался по этому поводу над нашим добрым приятелем М. А. Языковым. Надобно сказать, что Гончаров, зная близкие сношения Языкова с Белинским, передал рукопись «Обыкновенной истории» Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел предварительно и решил, стоит ли передавать ее? Языков с год держал ее у себя, развернул ее однажды (по его собственному признанию), прочел несколько страничек, которые ему почему-то не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: «Кажется, плоховато, не стоит печатать». Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее несколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который уже просил автора, чтобы он прочел сам.

Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил:

— Ну что, Языков, ведь плохое произведение — не стоит его печатать?..

На этой же квартире появился у него автор «Бедных людей», еще до печати этого произведения.

Надобно сказать, что первый узнавший о существовании «Бедных людей» был Григорович. Достоевский был его товарищем по Инженерному училищу.

Он сообщил свою рукопись Григоровичу, Григорович передал ее Некрасову. Они прочли ее вместе и передали Белинскому как необыкновенно замечательное произведение.

Белинский принял ее не совсем доверчиво. Несколько дней он, кажется, не принимался за нее.

Он в первый раз взялся за нее, ложась спать, думая прочесть немного, но с первой же страницы рукопись заинтересовала его... Он увлекался ею более и более, не спал всю ночь и прочел ее разом, не отрываясь.

Утром Некрасов застал Белинского уже в восторженном, лихорадочном состоянии.

В таком положении он обыкновенно ходил по комнате в беспокойстве, в нетерпении, весь взволнованный. В эти минуты ему непременно нужен был близкий человек, которому бы он мог передать переполнявшие его впечатления...

Нечего говорить, как Белинский обрадовался Некрасову.

— Давайте мне Достоевского! — были первые слова его.

Потом он, задыхаясь, передал ему свои впечатления, говорил, что «Бедные люди» обнаруживают громадный великий талант, что автор их пойдет далее Гоголя, и прочее. «Бедные люди», конечно, замечательное произведение и заслуживало вполне того успеха, которым оно пользовалось, но все-таки увлечение Белинского относительно его доходило до крайности.

Когда к нему привезли Достоевского, он встретил его с нежною, почти отцовскою любовью и тотчас же высказался перед ним *весь,* передал ему вполне свой энтузиазм.

Открытее, искреннее и прямее Белинского я не знал никого.

Он сам признавался не раз:

— Что делать? Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить — это не в моей натуре...

Вообще открытие всякого нового таланта было для него праздником.

Страсть Белинского, не имея другого выхода, вся сосредоточилась на литературе. Он с какою-то жадностию бросался на каждую вновь выходящую книжку журнала и дрожащей рукой разрезывал свои статьи, чтобы пробежать их и посмотреть, до какой степени сохранился смысл их в печати. В эти минуты лицо его то вспыхивало, то бледнело; он отбрасывал от себя книжку в отчаянии или успокоивался и приходил в хорошее расположение духа, если не встречал значительных перемен и искажений.

Здоровье его между тем было плохо. Друзья уже давно советовали ему оставить журнальную работу, гибельную в его положении. Он колебался, возражая: «А чем же я буду жить и содержать семейство?» Наконец одно обстоятельство, справедливо рассердившее Белинского, придало ему решимость. Весною 1846 года он отказался от срочной работы в «Отечественных записках» и отправился в Москву, а в начале июня — на юг России вместе с М. С. Щепкиным [57].

Проводы Белинского были необыкновенно веселы и шумны. Они начались небольшим завтраком в квартире Щепкина. Я в это время также был в Москве. Все московские друзья Белинского присутствовали тут; между прочими — Грановский, Е. Ф. Корш, Кетчер и Герцен, примирение которого с Белинским совершилось на моей квартире в 1840 году. Белинский был в это время с Герценом уже в самых близких, дружеских сношениях. Они совершенно сошлись в своих убеждениях, и Белинский всею силою души привязался к нему. Они сделались друг для друга необходимыми людьми.

Герцен, несмотря на перенесенные им перевороты и страдания, сохранял веселость и живость необыкновенную. В этот раз он говорил во время завтрака неумолкаемо, с свойственным ему блеском и остроумием — и его звонкий, приятный голос покрывал все голоса...

Тарантас Щепкина уже был готов, экипажи провожавших также. Наступила минута отъезда.

Герцен все продолжал говорить с неистощимою увлекательностию.

— Едем, Михайла Семеныч, пора! — сказал Белинский, всегда нетерпеливый в таких случаях.

— Позвольте, господа, — перебил Корш, — как же мы поедем по городу с Герценом? С ним по городу нельзя ехать.

— Отчего же? — спросили все с недоумением.

— Да ведь с *колокольчиками* запрещено ездить по городу.

Все расхохотались и двинулись к экипажам.

Мы взяли с собою провизии и запас вина.

Обедать мы решили на первой станции — и там уже окончательно проститься с отъезжающими.

День был ясный и теплый. Поездка наша была необыкновенно приятна. Всегда неистощимый остроумием Герцен в этот день был еще блестящее обыкновенного.

Мы не входили на станцию, а расположились близ какой-то избы на открытом пригорке. Местоположение было незавидное, однако это не смущало нас. Мы развязали наши припасы, достали вино и расставили это все на землю. За неимением стола Герцен достал какую-то доску и на ней без церемонии начал резать ветчину, что привело в величайшее смущение Корша, который всегда был очень брезглив. Он ни за что потом не хотел дотронуться до этой ветчины.

Все расселись и разлеглись на земле или на бревнах, как попало... Кто тащил к себе ветчину, кто резал пирог, кто развертывал жаркое, завернутое в бумагу. Кетчер кричал громче всех, хохотал без всякой причины и, по своему обыкновению, все возился с шампанскими бутылками...

— За здоровье отъезжающих! — завопил Кетчер, налив всем в стаканы шампанского и подняв свой бокал.

И при этом захохотал неизвестно почему.

Сигнал был подан — и попойка началась. Кетчер все кричал и лил вино в стаканы. Герцен уже лежал вверх животом, и через него кто-то прыгал.

Белинского, который не пил ничего и не любил пьяных, все это начинало утомлять несколько. Он терял свое веселое расположение духа и обнаруживал нетерпение...

— Пора, пора, Михайла Семеныч, — повторял он.

Наконец тарантас подан. Все переобнялись и перецеловались с отъезжающими...

— Дай бог тебе воротиться здоровому! — кричали со всех сторон Белинскому.

Он улыбнулся...

— Прощайте! Прощайте! — сказал он нетерпеливо, махнув рукой.

Тарантас двинулся, колокольчик задребезжал. Мы все провожали его глазами... Белинский выглянул из тарантаса в последний раз, кивнул нам головой... и через несколько минут осталось на дороге только облако пыли.

— У нас, господа, осталось еще несколько бутылок! — закричал Кетчер, торжественно потрясая бутылкой в воздухе...

Мы остались, однако, после отъезда Белинского недолго. На возвратном пути Кетчер воевал немилосердно и поссорился с одним молодым человеком, жившим у Щепкина и провожавшим его[58].

Поездка на юг России не произвела никакого благотворного впечатления на здоровье Белинского.

Он возвратился в Петербург осенью 1846 года, чрезвычайно обрадованный неожиданным для него известием о «Современнике», к изданию которого мы уже начинали приготовляться[59].

Все эти приготовления, толки об новом издании, мысль, что он, освободясь от неприятной ему зависимости, будет теперь свободно действовать с людьми, к которым он питал полную симпатию, которые глубоко уважали и любили его; наконец довольно забавная полемика, возникшая

тогда между нами и «Отечественными записками», —все это поддерживало его нервы, оживляло и занимало его!

Он принялся с жаром за статью о русской литературе для «Современника» (см, № 1 «Современника», 1847 г.) и написал другую статью, полную негодования (№ 2 «Современника», 1847 г.), о знаменитых письмах Гоголя, появление которых глубоко оскорбило его[60].

Силы, однако, начинали изменять ему, —он это мучительно чувствовал; доктор советовал ему ехать за границу, мысль эта также улыбалась ему, все друзья утверждали его в этой мысли и надеялись, что эта поездка принесет ему пользу и, по крайней мере, поддержит его хоть на несколько времени. Средства нашлись, и весною 1847 года он отправился на пароходе.

В это время находились за границею П. В. Анненков, к которому Белинский чувствовал большую привязанность, и Тургенев; они, вероятно, могут сообщить много любопытного о пребывании его там и о впечатлении, которое произвела на него Европа.

Из-за границы Белинский возвратился в конце августа[61] и остановился ненадолго в небольшой квартире на Знаменской улице.... Первое время он казался гораздо свежее и бодрее и возбудил было во всех друзьях своих надежду, что здоровье его поправится. Он сам, кажется, впрочем слабо, питался некоторое время этой надеждой. Через месяц он отыскал себе квартиру на Лиговке в доме Галченкова.

Квартира эта, довольно просторная и удобная, на обширном дворе этого дома, во втором этаже деревянного флигеля, перед которым росло несколько деревьев, производила какое-то грустное впечатление. Деревья у самых окон придавали мрачность комнатам, заслоняя свет...

Наступила глухая осень, с безрассветными петербургскими днями, с мокрым снегом, подавшим хлопьями на грязь, с сыростью, проникающею до костей. Вместе с этим у Белинского возобновилось снова удушье еще в более сильной степени сравнительно с прежним; кашель начинал опять страшно мучить его днем и ночью, отчего кровь беспрестанно приливала у него к голове. По вечерам чаще и чаще обнаруживалось лихорадочное состояние, жар... Силы его гаснули заметно с каждым днем.

Осень и зима 1847 года тянулись для него мучительно. Вместе с физическими силами падали силы его духа. Он выходил из дому редко; дома, когда у него собирались его

приятели, он мало одушевлялся и часто повторял, что уж ему остается жить недолго, что смерть близится. Говорят, что чахоточные никогда почти не сознают своей болезни, опасности своего положения и постоянно рассчитывают на жизнь. Белинский очень хорошо знал, что у него чахотка, и никогда не рассчитывал на жизнь и не утешал себя никакими мечтами на будущее.

Его болезненные страдания развились страшно в последнее время от петербургского климата, от разных огорчений, неприятностей и от тяжелых и смутных предчувствий чего-то недоброго. Стали носиться какие-то неблагоприятные для него слухи, все как-то душнее и мрачнее становилось кругом его, статьи его рассматривались все строже и строже. Он получил два весьма неприятные письма, написанные, впрочем, с большою деликатностью, от одного из своих прежних наставников, которого он очень любил и уважал[62]. Ему надобно было по поводу их ехать объясняться, но он уже в это время не выходил из дому...

Некоторые господа, мнением которых Белинский дорожил некогда, начинали поговаривать, что он исписался, что он повторяет зады, что его статьи длинны, вялы и скучны.

Это доходило и до него и глубоко огорчало его.

К весне болезнь начала действовать быстро и разрушительно. Щеки его провалились, глаза потухали, изредка только горя лихорадочным огнем, грудь впала, он еле передвигал ноги и начинал дышать страшно. Даже присутствие друзей уже было ему в тягость.

Я раз зашел к нему утром, это было или в последних числах апреля, или в первых мая. На двор, под деревья вынесли диван — и Белинского вывели подышать чистым воздухом.

Я застал его уже на дворе.

Он сидел на диване, опустя голову и тяжело дыша.

Увидев меня, он грустно покачал головою и протянул мне руку, всю покрытую холодным потом.

Через минуту он приподнял голову, взглянул на меня и сказал:

— Плохо мне, плохо, Панаев!

Я начал было несколько слов в утешение, но он перебил меня:

— Полноте говорить вздор.

И снова, молча и тяжело дыша, опустил голову.

Я не могу высказать, как мне было тяжело в эту минуту...

Я начинал заговаривать с ним о разных вещах, но все как-то неловко, да и Белинского, кажется, уже ничего не интересовало... «Все кончено! — думал я. — Через несколько дней, а может быть, и через несколько часов не станет этого человека!»

А солнце светило так ярко; был такой чудесный весенний день, листочки на деревьях начинали развертываться, и воробьи чирикали и летали около умирающего...

Белинский умер через несколько дней после этого. У Языкова (М. А.) хранится портрет карандашом, как он был за несколько дней до смерти: исхудалый, с горящими, лихорадочными глазами, с всклокоченными волосами, обросший бородой.

Портрет этот сделан женой Языкова... Лицо умирающего так поразило ее и так врезалось ей в память, что она тотчас по приезде домой набросала его на бумагу...

В минуту смерти его я не присутствовал, но те, которые были тут, рассказывали мне, что Белинский, лежавший уже в жару без сил и без памяти на постели, вдруг, к изумлению их, вскочил с сверкавшими глазами, сделал несколько шагов, проговорил невнятно, но с энергиею какие-то слова и начал падать. Его поддержали, уложили в постель, и через четверть часа его уже не стало...

Немногие петербургские друзья провожали тело его до Волкова кладбища. К ним присоединились три или четыре *неизвестных,* вдруг бог знает откуда взявшиеся. Они оставались до самого конца печальной церемонии на кладбище и следили за всем с величайшим любопытством, хотя следить было ровно не за чем. Белинского отпели и опустили в могилу, как и всякого другого, и огорченные друзья его бросили молча, по христианскому обычаю, горсть земли в его могилу, в которой уже начинала проступать вода...[63]

Я не имел ни малейшей претензии на изображение личности Белинского. Для такого труда надо большие силы, да еще и время для этого не настало. Этой небольшой статейкой я хотел только вызвать более интересные воспоминания об нем людей, которые были так же близки к нему, как я. Я буду вполне счастлив, если мои отрывочные воспоминания напомнят хоть сколько-нибудь образ этого человека его друзьям и прочтутся не без интереса теми, которые не знали его, но которым дорога его память.

15 января 1860 г.

И. И. ПАНАЕВ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Часть первая

ИЗ ГЛАВЫ VI

...Приезды А. В. Кольцова в Петербург. — Мое сближение с *ним. — Разговоры о Белинском. — Впечатления, произведенные на меня «Литературными мечтаниями» Белинского.*

Фразы о *святыне искусства* хотя еще не совсем огадились мне, но с каждым днем уже теряли для меня значение и делались приторными. Я начал притом смутно понимать, что в литературе господствуют устарелые взгляды и рабское поклонение перед старинными литературными кумирами, какое-то пошлое лицемерие перед ними. Мне хотелось услышать *новое слово,* голос *правды,* — но какой правды? я не отдавал себе отчета. Но это неопределенное желание начало пробуждаться во мне после двух- или трехлетнего пребывания моего в литературном кругу, еще до издания г. Краевским «Литературных прибавлений» [1]. От кого же было услышать это новое слово, эту желанную правду? Полевой, на которого еще с ожиданием и надеждою смотрело новое поколение, видимо ослабевал: он не понял Гоголя и этот могучий талант встретил даже с недоброжелательством, да и Полевой принужден был скоро замолкнуть...

Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашел в кондитерскую Вульфа, в которой получались все русские газеты и журналы. Я подошел к столу, на котором они были разложены, и мне прежде всего попался на глаза последний нумер «Молвы». В этом нумере было продолжение статьи под заглавием: «Литературные мечтания. — Элегия в прозе» [2]. Это оригинальное название заинтересо-

вало меня: я взял несколько предшествовавших нумеров и принялся читать.

Начало этой статьи привело меня в такой восторг, что я охотно бы тотчас поскакал в Москву познакомиться с автором ее и прочесть поскорее ее продолжение, если бы это было можно.

Новый, смелый, свежий дух ее так и охватил меня.

«Не оно ли, — подумал я, — это новое слово, которого я жаждал, не это ли тот самый голос правды, который я так давно хотел услышать?»

Я выбежал из кондитерской, сел на первого попавшегося мне извозчика и отправился к Языкову.

Я вбежал к нему с криком:

— Ну, брат, у нас появился такой критик, перед которым Полевой — ничто. Я сейчас только пробежал начало его статьи — это чудо, чудо!..

— Неужто? — возразил Языков, — да кто такой? Где напечатана эта статья?..

Я перевел дух, бросился на диван и, немного успокоясь, рассказал ему, в чем дело.

Мы с Языковым, как люди, всем детски увлекавшиеся, тотчас же отправились в книжную лавку, достали нумера «Молвы», и я прочел ему начало статьи Белинского.

Языков пришел в такой же восторг, как я, и впоследствии, когда мы прочли всю статью, имя Белинского уже стало дорого нам.

Как ничтожны и жалки казались мне после этой горячей и смелой статьи пошлые, рутинные критические статейки о литературе, появлявшиеся в московских и петербургских журналах!

В статье Белинского, я это очень хорошо помню, я останавливался с особенным удовольствием на следующих строках:

«У нас еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, *детское* благоговение к авторитетам; мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и *боимся говорить вслух правду о высоких персонах.* Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: *сказать о нем резкую правду у нас святотатство!»* (Соч. Белинского, т. I, стр. 38).

«Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще *долго будет вредить* (какие пророческие слова!) распространению на Руси основательных понятий о литературе?.. Литературное идолопоклонство! Дети, мы еще

все молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания. Что делать! Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенчествующих обществ» (стр. 57).

Эти строки были мне по сердцу, потому что после моего детского увлечения Кукольником, после смешного и рабского преклонения пред ним я чувствовал озлобление против всех авторитетов, даже против моего кумира Марлинского. Я с каким-то наслаждением любовался, как Белинский беспощадно разбивал его.

И как понятна ненависть, которую питали к Белинскому тогдашние литературные знаменитости и посредственности, лицемерившие перед старыми авторитетами из боязни за самих себя, за собственную литературную участь.

«Чего остается ожидать для себя, — говорил Белинский, — например, г. Иванчину-Писареву, г. Воейкову или кн. Шаликову, когда они слышат, что Карамзин не художник, не гений, и другие подобные безбожные мнения?» (стр. 58) [3].

Это же самое явление повторяется, к сожалению, и в наши дни. Осмельтесь сказать, что Пушкин не мировой гений, что его время уже проходит, что он не может удовлетворять потребностям нового поколения, — литературные знаменитости нашего времени восстанут на вас с таким же ожесточением, с каким некогда восставали против Белинского литературные знаменитости его времени; и теперь раздадутся те же крики, и вас станут обвинять в невежестве, в безвкусии, в безбожии, в святотатстве, как некогда обвиняли Белинского...

Но об этом лучше молчать.

Гоголь встречен был молодым поколением с еще большим энтузиазмом, чем Белинский.

Новый мир открылся для меня, когда я прочел «Ивана Иваныча и Ивана Никифорыча» и «Миргород». Его «Вечера на хуторе», приветствованные Пушкиным в «Литературных прибавлениях» Воейкова [4], признаюсь, не произвели на меня большого впечатления... Но о Гоголе и о перевороте, который он произвел в литературе, мне еще придется говорить много раз.

После «Литературных мечтаний» и статьи о Бенедиктове [5], которая наделала большого шума, я уже не пропускал ни одной статейки Белинского.

О личности Белинского начали носиться между петербургскими литераторами какие-то сбивчивые, противоречивые и неблагоприятные слухи. Его смелость и резкость действовали неприятно на литераторов. Они видели, что на них идет нешуточная гроза. Мне ужасно хотелось узнать, что за человек Белинский, и я очень обрадовался, узнав о приезде в Петербург А. В. Кольцова. Я знал, что Кольцов близок с Белинским. Кольцов приехал в Петербург уже после напечатания в «Телескопе» моей повести «Она будет счастлива»[6]. Краткий отзыв Белинского об этой повести польстил в высшей степени моему самолюбию. Быть замеченным в литературе в первый раз — и кем же еще, этим неумолимым и беспощадным Белинским! Такой чести я уж никак не ждал. Говоря, что с некоторого времени его великодушные неприятели приписывают ему все значительные статьи в «Телескопе», Белинский прибавлял, что ему, между прочим, приписана повесть «Она будет счастлива», «обнаруживающая в неизвестном авторе неподдельный талант, живое чувство и уменье владеть языком»... (Соч. Белинского, т. I, стр. 271)[7].

Я хотел отправиться отыскивать Кольцова, но в одно утро, очень скоро после своего приезда, он явился ко мне сам.

Портрет Кольцова, приложенный к его сочинениям, очень верно передает его черты; художник не умел только схватить тонкого и умного выражения глаз его. Кольцов был небольшого роста и казался довольно крепкого сложения. Одет он был даже с некоторою претензиею на щегольство: на манишке его сверкали пуговицы с камешками, сверх жилета красовалась цепь от часов, он был напомажен и даже раздушен. Впоследствии за эти духи ему жестоко доставалось от Белинского. «Охота вам прыскаться и душиться какою-то гадостию, — говорил он, — от вас каким-то бергамотом или гвоздичкой пахнет. Это нехорошо. Если мне не верите, спросите у него (и Белинский указывал на меня): он франт, он уж, батюшка, авторитет в этом деле».

Разговор мой с Кольцовым начался прямо с Белинского. Он привез мне поклон от него. Кольцов, человек проницательный и осторожный, умевший, как я узнал впоследствии, сдерживать себя и таивший перед петербургскими литераторами свои убеждения, заметив мой

энтузиазм к Белинскому, заговорил со мною довольно откровенно:

— Да-с, Иван Иваныч, Белинский единственный человек у нас в настоящее время, владеющий эстетическим вкусом и понимающий искусство. Его немногие ценят, особенно из ваших петербургских литераторов, это очень жаль-с... И какой светлый ум у этого человека! Какое горячее, благородное сердце! Я обязан всем ему; он меня поставил на настоящую мою дорогу; без его советов я не решаюсь теперь печатать моих мараний: он мне говорит всегда, что нужно выкинуть, что исправить, что вовсе бросить. Уж он так добр ко мне, такое участие принимает во мне!

Кольцов рассказал мне некоторые подробности о жизни Белинского. Он был в восторге от московского кружка Белинского и говорил:

— Приезжайте в Москву-с. Вы увидите, там люди больше по вас, и Белинский будет очень рад вам. Он заочно полюбил вас.

До знакомства моего с Белинским Кольцов приезжал раза два или три в Петербург и в один из приездов привез мне первое письмо от Белинского[8].

Кольцов считал долгом делать визиты ко всем литераторам, из которых многие посматривали на него с высоты своего величия, с покровительством, как на талантливого мужичка.

Но этот мужичок, усвоивший уже себе кое-какие из убеждений и взглядов московского кружка Белинского и прочитавший все пьесы Шекспира в русском переводе (Шекспир произвел на него глубокое впечатление; он говорил о нем с энтузиазмом, особенно о «Гамлете», которого, по его словам, объяснил ему еще более Мочалов на сцене), этот необразованный мужичок понимал гораздо более и смотрел на литературу гораздо глубже многих из так называемых образованных литераторов — своих покровителей. С каждым приездом своим он становился со мною откровеннее. Он передавал мне впечатления, которые производили на него разные петербургские литераторы и литературные знаменитости, и характеризовал каждого из них. Эти характеристики были исполнены ума, тонкости и наблюдательности; я был поражен, выслушивая их.

— Эти господа, — прибавил Кольцов в заключение с лукавою улыбкою, — несмотря на их внимательность

ко мне и ласки, за которые я им очень благодарен, смотрят на меня, как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мной своими знаньями, хотят мне пускать пыль в глаза. Я слушаю их разиня рот, и они остаются мною очень довольны, а между тем я ведь их вижу насквозь-с.

— Ну, Алексей Васильевич, — сказал я ему, — ведь и я, грешный человек, посматривал на вас тоже немножко свысока. Простите меня.

Кольцов улыбнулся.

— Да ведь на меня, Иван Иваныч, — возразил он, — человека необразованного, иначе и не могут смотреть образованные люди, я это очень хорошо понимаю; но вы ведь меня не принимаете за дурачка, а они на меня совсем как на дурачка смотрят, вот хоть бы Евгений Павлыч Гребенка... а ведь я не глупее же его. Впрочем, я это так только заметил: все здешние литераторы и Евгений Павлыч — люди очень добрые и почтенные... Вот хоть бы князь Одоевский, он такой приветливый, уж он так меня обласкал, а впрочем, московский кружок — то есть я разумею именно кружок Белинского — все-таки нельзя сравнить с здешними: вот вы поедете в Москву, сами убедитесь в этом... Я, откровенно вам скажу, только и отдыхаю там от разных своих забот и неприятностей... К тому же у этих людей есть чему поучиться.

Почти всякий свой приезд в Петербург Кольцов созывал к себе литераторов на угощение и, между прочим, потчевал их какой-то соленой рыбой, которую он привозил из Воронежа.

Но я узнал еще ближе Кольцова впоследствии, когда переехал в Петербург Белинский.

ИЗ ГЛАВЫ VIII

Начало «Отечественных записок»... — ...Белинский в Ордонанс-гаузе у Лермонтова...

Г. Краевский после смерти Пушкина добился-таки до того, что имя его появилось на обертке «Современника», рядом с именами друзей поэта — с Жуковским, Вяземским, Одоевским и Плетневым. Аристократическая литературная партия, прекратившая все сношения с Булгариным и Сенковским, протежировала г. Краевского и хотела сделать «Отечественные записки» своим

органом. Г. Краевский заискивал в то же время в московских ученых и литераторах, пользовавшихся авторитетом, просил их советов, сотрудничества и рассыпался перед ними в комплиментах. Он невольно возбуждал к себе участие в ученых и литераторах своею скромностию, аккуратностию и благонамеренностию. С благородным ожесточением он говорил о Булгарине, скорбел о падении Полевого, оскорблялся до глубины души шутовскими выходками Сенковского и твердил только о том, что необходим новый орган в журналистике, в котором бы сгруппировались все талантливые, серьезные, честные и благонамеренные ученые и литературные деятели. Он достиг этого. «Отечественные записки» были встречены приветливо всеми тогдашними литературными знаменитостями московскими и петербургскими; вся талантливая молодежь с жаром принялась сотрудничать в них [9]. Только Сенковский, Булгарин, Кукольник и их партия смотрели враждебно на новый журнал. Сенковский прикидывался, что он не знает даже о его существовании; Булгарин открыл свои походы против него, г. Краевского, придравшись к *доуендаге* (так было неудачно переведено в 1 № «Отечественных записок» слово doyen d'âge *) [10]. Походы эти упорно продолжались около пятнадцати лет и возобновлялись с особенным ожесточением осенью, *при подписке,* нисколько, разумеется, не вредя «Отечественным записках», потому что число подписчиков их возрастало с каждым годом.

Г. Краевский, довольный своим успехом, упрочивший свои связи со всеми литературными знаменитостями, гордый враждою к нему Булгарина и Сенковского, ставший во главе журнала, принявшего литературно-аристократический оттенок, был очень доволен собою. Это самодовольство выражалось в нем тою серьезностью и самостоятельностью, тем строгим ученым видом, который он принял на себя и которого уже не оставлял потом.

В это время Белинский и его молодые друзья, участвовавшие в «Телескопе» и «Молве», начали издавать «Московский наблюдатель»... Г. Краевский никак не предвидел, что этим молодым горячим людям суждено будет играть замечательную роль в истории русской литературы, что имя Белинского сделается историческим именем и что ему суждено будет поддержать и придать нравственную

---

* старший годами (*франц.*).

силу и значение «Отечественным запискам». Литературные авторитеты и знаменитости или не удостаивали замечать в то время Белинского, или отзывались о нем презрительно, как о вздорном и наглом крикуне, не имевшем ни foi, ни loi * и осмеливавшемся нападать на бессмертные имена, на неприкосновенные доселе авторитеты. Сближаться с Белинским — значило компрометировать себя во мнении авторитетов, перед которыми усердно преклонялся г. Краевский... Но не из боязни компрометировать себя перед ними, а совершенно искренне и добродушно он презирал Белинского и его молодых друзей и клеймил их именем *мальчишек-крикунов,* считая неприличным для собственного достоинства связываться с ними.

Он сознавал, что для журнала необходим критик, что без дельной критики журнал не может существовать, что время литературных сборников прошло... Но откуда же взять критика? Эта мысль озабочивала его сильно. Он отверг мое предложение о Белинском; выбор его уже был сделан, он только хранил его в тайне.

Критический дебют «Отечественных записок» был неудачен; впрочем, статья под заглавием «Русская литература в 1838 году» — плохая компиляция, без всякого взгляда, наполненная общими местами, — скрылась за прекрасными стихотворениями и повестями, в особенности за «Историей двух калош» графа Соллогуба, которая и литературой и публикой принята была с восторгом. Имя Соллогуба, дебютировавшего в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» рассказом «Сережа», после «Истории двух калош», стало пользоваться громкою известностию и не в одних аристократических салонах, где читал ее автор... Повесть эта возбудила большую симпатию к автору во всех классах читающей публики и во всех литературных кружках. Белинский был от нее в восторге. «Соллогуб своими «Калошами» растрогал меня до слез», — говорил он мне впоследствии <...>.

Белинский часто встречался у г. Краевского с Лермонтовым [11]. Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение.

---

* ни убеждений, ни совести (*франц.*).

— Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Белинский, — было бы довольно странно; но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою.

И действительно, Лермонтов как будто щеголял ею, желая ещё примешивать к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, страсть показать презрение к жизни, а иногда даже и задор бретера. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то по крайней мере — идеал, сильно тревоживший его в то время и на который он очень желал походить.

Когда он сидел в Ордонанс-гауэе после дуэли с Барантом, Белинский навестил его; он провел с ним часа четыре, глаз на глаз, и от него прямо пришел ко мне.

Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову.

— Знаете ли, откуда я? — спросил Белинский.

— Откуда?

— Я был в Ордонанс-гаузе у Лермонтова и попал очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!!. Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился, по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женировать, он меня... Что еще связывает нас немного — так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры... Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер-Скотте... «Я не люблю Вальтер-Скотта, — сказал мне Лермонтов, — в нем мало поэзии. Он сух», — и начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер-Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более

поэзии, чем в Вальтере-Скотте, и доказывал это с тонкостию, с умом и — что удивило меня — даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом...[12]

Часть вторая

(1839—1847)

ИЗ ГЛАВЫ I

Москва. — Знакомство с кружком Белинского. — Семейство С. Т. Аксакова. — Белинский и Константин Аксаков. — Обеды и вечера у Аксаковых...

. . . .

. . . . Всякий раз, когда я выезжал из Петербурга, мне становилось легче. Я родился и провел бо́льшую часть моей жизни в Петербурге, но никогда не чувствовал к нему особенной привязанности... В Москве я бывал несколько раз ненадолго, проездом. Ее оригинальность, живописность, ее разметанность по холмам, картина Замоскворечья из Кремля, ее исторические памятники, хотя подштукатуренные и выбеленные, вся ее внешняя обстановка возбуждала во мне всякий раз неопределенное поэтическое ощущение, и я начинал питать к ней невольную привязанность... Ко всему этому рассказы Кольцова о кружке Белинского так и притягивали меня к Москве... Москва представлялась мне после этих рассказов в упоительном свете; и теперь, когда она вытягивалась передо мной сквозь пыль с своими бесчисленными куполами и колокольнями, вся залитая лучами солнца, сердце мое сильно забилось и даже слезы выступили на глазах. Мне казалось, что в ней я найду все то, к чему неопределенно стремился, чего смутно и беспорядочно искал, что неясно предчувствовал...

В это время я отчасти уже понимал дикость барства, среди которого я взрос и воспитался. Барская жизнь, барские воззрения, замашки и привычки, барская нравственность нередко смущали меня; но я не останавливался еще ни разу серьезно на самом себе и тупо отдавался всем ме-

лочам праздной, внешней жизни, всей ее пустоте и суетности. Самое легкомысленное тщеславие еще двигало моими поступками. Мне, например, доставляло большое удовольствие знакомство с каким-нибудь титулованным светским господином, хоть самым пустейшим из пустейших; я хлопотал о том, чтобы попасть в великосветский салон, и, попадая в него, ощущал себя почти счастливым, несмотря на то что в салоне мне было и неловко и душно. Если бы не отсутствие во мне необходимого для света внешнего блеска, если бы не врожденная робость и не страсть к литературе, которая в то же время все сильнее развивалась во мне, я отдался бы вполне и безусловно светской жизни...

Общественные вопросы и политическое движение были совершенно чужды мне, да они почти совсем не занимали в 30-х годах даже передовых людей в литературе, хотя память о наших политических мучениках должна бы, казалось, невольно наводить молодое поколение на эти вопросы. Стоны из сибирских рудников не могли не доходить до него. Реакция после 14 декабря была страшная, все присмирело и оцепенело, запуганное большинство предалось личным интересам — взяточничеству, грабежу и удовлетворению своего чиновнического самолюбия, замаскированного верноподданническими чувствами; незначительное меньшинство мыслящих людей нашло себе примирение и успокоение в немецкой философии и отыскивало в ней данные для возвеличения самодержавного произвола; даже Белинский — по преимуществу революционная натура — приводил в каком-то дурмане экстаза слова из «Ричарда II» Шекспирова, что

> ...Елей с помазанного короля
> Не могут смыть все волны океана... [13]

Литература способствовала общественной дремоте, занявшись исключительно искусством и ратуя с дон-кихотскою яростию за нелепый принцип «искусства ради искусства», — принцип, который снова, но уже без всякого успеха, возобновлен был в наше время бессердечными и празднословными литературными джентльменами.

В такую неблагоприятную для моего развития минуту сошелся я с Белинским и его друзьями. Тогда, впрочем, я не сознавал этого и тотчас же безусловно подчинился их авторитету. Каждое их слово сделалось для меня законом.

Когда я подъезжал к Москве, сердце мое билось силь-

но и радостно при мысли, что я через несколько часов увижу Белинского...

Я сошелся с Белинским и его друзьями в тот момент, когда они, на пути своего развития, запутавшись в гегелевских определениях и формулах, отыскивали *примирения* во всем — и в литературе и в жизни, *примирения* во что бы то ни стало, и с такими вещами, с которыми нет возможности примиряться; когда знаменитый принцип «искусства для искусства» возведен был ими в вечный закон, а отрицающие или не признававшие его предавались строгой опале, как люди тупоумные, лишенные эстетического чувства... . . . .

. . . .

Я уже говорил о моем первом свидании с Белинским... [14] Через несколько времени после этого я познакомился с некоторыми из его друзей у Боткина, с которым Белинский был в то время в размолвке. . . . .

. . . .

. . . . Дом Боткиных расположен на одном из самых живописных мест Москвы. Из флигеля, выходившего в сад, в котором жил тогда Боткин, из-за кустов зелени открывалась часть Замоскворечья. Сад был расположен на горе, в середине его беседка, вся окруженная фруктовыми деревьями...

В этой-то беседке, в половине мая, в теплый, солнечный день, я встретил в первый раз Каткова, только что окончившего курс в университете, но еще студентом сблизившегося с Белинским и его друзьями, которые видели в нем замечательное литературное дарование и большое расположение к философским занятиям... Клюшникова, печатавшего свои стихотворения под буквой в, и Бакунина [15]. Бакунин был в своем кружке пропагандистом немецкой философии вообще и Гегеля в особенности. Ум в высшей степени спекулативный, способный проникать во все философские тонкости и отвлечения, Бакунин владел при этом удивительною памятью и диалектическим даром. Перед силой его диалектики все склонялись невольно. Вооруженный ею, он самовластно действовал на свой кружок и безусловно царил над ним. Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и вьющимися волосами, взгляд смелый, пытливый и в то же время беспокойный — все это поражало в нем с первого раза.

Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тай-

ны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к воспринятию проповедуемых им отвлеченностей.

Вскоре после моего знакомства с ним он пришел ко мне и целое утро толковал мне *о примирении* и *о прекраснодушии* на совершенно непонятном для меня философском языке. Утро было жаркое, пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом. Белинский, уже освоившийся с философской терминологией, схватывал на лету намеки на мысли Гегеля, бросаемые Бакуниным, и развивал их впоследствии плодотворною силою своего ума в своих критических статьях.

Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченности: один разбирал не без труда Гегелеву «Логику», другой читал не без усилия его «Эстетику», третий изучал его «Феноменологию духа», — все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича. Каждый благоговейно вспоминал об нем. У Белинского слезы дрожали на глазах, когда он рассказывал мне об нем и знакомил меня с его нежною, тонкою, симпатическою личностию... «Станкевич был душою, жизнию нашего кружка, — прибавил он в заключение, — теперь уже не то... Самое цветущее наше время прошло! Он своею личностию одушевлял и поддерживал нас. Бакунин как ни умен, но он не может заменить Станкевича...»

Влияние Станкевича на Белинского было глубоко. Белинский всегда сознавался в этом. Первые критические статьи его, где выражался его взгляд на искусство и на жизнь вообще, писаны, без всякого сомнения, под влиянием Станкевича. «В письмах Станкевича, — справедливо замечает г. Анненков, — можно найти намеки на все вопросы, занимавшие потом Белинского и более или менее приближенные им к разрешению...» [16] Станкевич своей кроткой, примиряющей натурой несколько смягчал и сдерживал кипучую натуру Белинского и хотел принудить его учиться языкам, особенно немецкому. Он предугадывал в Белинском сильного литературного бойца и хотел расширить его миросозерцание, но очень, по-видимому, боялся

его, как он полагал, *излишней* энергии... «Будь чем хочешь — хоть журналистом, хоть альманашником (писал он к нему в 1836 году) — все будет хорошо, *только будь посмирнее»* [17].

Развитию Белинского способствовало, кроме Станкевича и Бакунина, семейство последнего, в котором Станкевич и Белинский были приняты дружески. Это замечательное семейство, состоявшее из нескольких сестер и братьев, принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит, судя по рассказам Белинского и его друзей. Одна из сестер Бакунина под влиянием мистического экстаза доходила, говорят, иногда даже до видений. Бакунин имел, конечно, неограниченное влияние на своих сестер и братьев.

На Белинского, никогда не бывавшего ни в каком женском обществе, такое семейство должно было произвести с самого начала сильное впечатление. В сестрах Бакунина его поразил прежде всего их пытливый взгляд на жизнь, их стремление доискиваться разрешения самых отвлеченных вопросов и то нервическое раздражение, происходившее от мистического настроения, которое он принимал за поэзию.

Белинский, впрочем, кажется, недолго находился под этим обаянием. Он увлекался беспрестанно, но тотчас же отрывался, хотя не без боли, от своих увлечений. В то время, когда я с ним сошелся, он говорил о семействе Бакуниных с большим уважением и с большою симпатиею, но уже ясно видел то болезненное направление, которому отдались сестры Бакунина.

«Слава богу, я теперь о т р е з в и л с я, — говорил он мне (это было после его последнего приезда из деревни Б а к у н и н ы х), — отделался от прекраснодушия и мистических бредней, начинаю дышать легче и свободнее и вижу все яснее».

Белинский и не подозревал в эту минуту, каким болезненным направлением был одержим он сам и какой туман застилал глаза его.

К кружку Белинского принадлежал в это время и Константин Сергеич Аксаков.

Я не был знаком с семейством Аксаковых, но между нами существовала некоторая связь. Сергей Тимофеич Аксаков воспитывался в Казанском университете вместе с моим отцом и дядею, с которыми он был очень близок,

особенно с последним... (Он часто вспоминает об них, рассказывая о своей гимназической и университетской жизни [18].) Я зная это и через два дня после приезда моего счел долгом отрекомендоваться Сергею Тимофеичу. Я отправился к нему так же четверней на вынос, как и к Белинскому.

С. Т. Аксаков и сын его Константин приняли меня с необыкновенным радушием. Сергей Тимофеич был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью.

Аксаковы жили тогда в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочисленного семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем теперь, а патриархальная, широкая, помещичья жизнь, перенесенная в город. Такую жизнь можно еще, я думаю, и до сих пор видеть в Москве... Дом Аксаковых и снаружи и внутри, по устройству и расположению, совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: обширный двор, людские, сад и даже баня в саду. Константин Аксаков помещался наверху, в мезонине.

С. Т. Аксакову было в это время с небольшим пятьдесят лет [19]. Он был высок ростом, крепкого сложения и не обнаруживал еще ни малейших признаков старости. Выражение лица его было симпатично, он говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос стентора [20], когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник. Любимым занятием его было уженье, и он очень часто с ночи отправлялся удить в окрестности Москвы. По вечерам он обыкновенно играл в карты. Между прочими партнерами его были тогда И. Е. Великопольский и Н. Ф. Павлов. Тогда еще Сергей Тимофеич не пользовался тою блестящею литературного известностию, которую он приобрел впоследствии...

Я полюбил С. Т. Аксакова и скоро сошелся с Константином Аксаковым [21]. Я был у Аксаковых почти всякий день и, кроме того, часто встречался с Константином Аксаковым у Белинского.

Белинский был некогда довольно короток в доме Аксаковых, но перед моим приездом в Москву между им и этим семейством произошло какое-то недоразумение, размолвка. Белинский говорил мне, что его не совсем жалует г-жа Аксакова и не очень приятно смотрит на его дружбу с Константином. Константин Аксаков отстаивал, однако, Бе-

линского долго от нападков своей матушки. Белинский в это время заходил только к Константину Аксакову в мезонин и очень редко спускался вниз...

Константин Аксаков был такого же атлетического сложения, как его отец, только пониже ростом. Его открытое, широкое, некрасивое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нараспев), во всей его фигуре выражалась честность, прямота, твердость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство... Его привязанность к Москве доходила до фанатизма; впоследствии его любовь к великорусскому народу дошла до ограниченности, впадающей в узкий эгоизм. Он любил не человека, а исключительно русского человека, да и то такого только, который родился на Москве-реке или на Клязьме. Русских, имевших несчастие родиться на берегу Финского залива, он уже не признавал русскими.

В ту минуту, когда я познакомился с ним, он еще, впрочем, не дошел до этого забавного отрицания и до этой странной исключительности. Славянофилизм только еще зарождался тогда, и Константин Аксаков стоял на полдороге между «Московским наблюдателем» Белинского, в котором он принимал участие, и между «Москвитянином» Шевырева и Погодина, на который он начинал смотреть с участием...[22]

Единственною нитью, соединявшею К. Аксакова с Белинским и его друзьями, была философия Гегеля, которая имела большое влияние на Аксакова, и общий взгляд их на искусство, с точки зрения этой философии. Впоследствии, когда уже не исключительно одно искусство, а и общественные вопросы стали занимать литературу, когда образовались славянофильская и западная партии, Константин Аксаков совершенно и окончательно разошелся с Белинским. Они очутились в двух враждебных лагерях...

Если бы я приехал в Москву пятью годами *позже*, — нет никакого сомнения, что К. Аксаков не допустил бы меня до себя; но в том еще неопределенном и неустановившемся положении, в каком он находился в 1839 году, он искренно протянул мне дружескую руку, несмотря на то что я был рожден на берегу Финского залива. Он, впрочем, и тогда говорил мне с негодованием о Петербурге и старался при всяком случае возбуждать во мне энтузиазм

к Москве. Он останавливал меня перед Иваном Великим, перед Васильем Блаженным, перед Царь-пушкою, перед Колоколом — и глазки его сверкали, он сжимал мою руку своей толстой и широкой рукой... «Вот Русь-то, вот она, настоящая Русь-то!» — вскрикивал он певучим голосом. Он возил меня в Симонов и Донской монастыри, и, когда я обнаруживал мой восторг от Москвы, восхищался ее живописностию и ее старинными церквами, К. Аксаков схватывал мою руку, жал мне ее так, что я только из деликатности не вскрикивал, даже обнимал меня и восклицал:

— Да! вы *наш,* москвич по сердцу!

Дом Аксаковых с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий семейный стол, по крайней мере на двадцать кувертов. Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться.

Между отцом и сыном существовала самая нежнейшая привязанность, обратившаяся впоследствии в несокрушимую дружбу, когда отец под влиянием сына постепенно принимал его убеждения, со всеми их крайностями. Старик Аксаков в последние годы отпустил бороду и ходил в русском кафтане с косою рубашкою, каким он изображен в «Портретной галерее» г. Мюнстера. Портрет этот очень удачен.

Константин Аксаков в житейском, практическом смысле оставался до сорока с лишком лет, то есть до самой смерти своей, совершенным ребенком. Он беззаботно всю жизнь провел под домашним кровом и прирос к нему, как улитка к раковине, не понимая возможности самостоятельной, отдельной жизни, без подпоры семейства. Вне своих ученых и литературных занятий он не имел никакого общественного положения. Смерть отца и происшедшая от этого перемена в домашнем быту вдруг сломила его несокрушимое здоровье. Он не мог пережить этой потери и перемены и умер не только холостяком, даже девственником.

Белинский горячо любил Константина Аксакова. «Благороднейший, честнейший юноша, — говорил он о нем, — но в голове его какая-то узкость, китаизм, несмотря на глубокость духа, а в характере неподвижность и упрямство».

Белинский предчувствовал, что они должны разойтись скоро. . . . .
. . . .

ИЗ ГЛАВЫ II

Кетчер. — Несколько слов о кружке, к которому принадлежал он. — М. С. Щепкин и его семейство. — Поездка в Химки к нему на дачу. — ...Представление «Ревизора» в присутствии автора...

Кружок Белинского был в очень коротких и близких сношениях с М. С. Щепкиным и его семейством. Я был знаком с Михаилом Семенычем еще до приезда моего в Москву и тотчас по приезде познакомился с его семейством.

У Щепкина часто сходились Катков, Белинский, братья Бакунины и Кетчер, переводчик Шекспира. Кетчер был домашним человеком в доме Щепкина. Он, впрочем, имел свойство делаться домашним человеком всюду, куда ни появлялся. С бесцеремонным участием он входил тотчас же во все семейные дела... Кетчер пользовался между всеми своими близкими и в кружке Белинского репутациею необыкновенно прямого, честного человека, готового хоть на плаху за друзей своих.

Наружность Кетчера не имела большой привлекательности; но простота его манер, доходящая до грубости, бесцеремонность обращения со всеми, впадающая в некоторый цинизм, резкая, непрошеная правда, которую он бросает в лицо и другу и недругу, крикливый голос, заглушающий все голоса, руки, вечно движущиеся и рассекающие воздух, как крылья ветряной мельницы, добродушный, но оглушающий хохот на каждом шагу, вырывающийся из огромного р т а , — все это вместе, может быть, неприятно действует на людей нервических, но как-то располагает к нему невольно и внушает доверенность. Приятели Кетчера, подшучивая над ним, уверяли, что он только в месяц раз умывается и не имеет в заводе ни гребня, ни щетки, потому что никогда не чешет головы. Впрочем, гребень и не нужен ему, потому что волосы его, всегда подстриженные коротко, образуют на его голове щетинистую шапку.

Кетчер был приятелем Белинского и его друзей, но он, собственно, не принадлежал к их кружку...

За несколько лет до этого он сошелся с Искандером, когда еще тот был студентом Московского университета, и с его друзьями и товарищами по университету Огаревым и Сатиным.

...У них образовался свой кружок, главою которого сделался Искандер. С блестящими способностями, с пытливым умом, жаждавшим знания и не останавливавшимся ни перед какими преградами преданий, взращенный на фран-

цузской литературе XVIII века, пылкий и остроумный, Искандер скоро обратил на себя внимание всей мыслящей Москвы... Среди юношеского разгула за бутылками шампанского, разливаемого Кетчером с криками и хохотом (Искандер и Огарев не имели недостатка в средствах), приятели горячо рассуждали о разных общественных, исторических и политических вопросах. Они принадлежали в то время к числу немногих у нас, постоянно следивших за политическим движением...

Искандер познакомился с Белинским, статьи которого начинали уже обращать на себя внимание; но они не могли сойтись в то время, как сошлись впоследствии.

Белинский и его кружок, занятый исключительно философскими отвлеченностями и категориями, весь погруженный в Гегеля, чуждый политических современных вопросов и движения, даже не замечавший их на высотах своего миросозерцания, не очень благосклонно поглядывал на кружок, образовавшийся под влиянием Искандера, который не увлекался немецкой философией и имел направление более практическое. Искандер и Белинский поговорили друг с другом и разошлись, конечно, с полным уважением друг к другу, но с убеждением, что им вместе делать нечего.

Белинский сожалел Искандера, Искандер еще более скорбел о Белинском... Вскоре, впрочем, судьба разбросала Искандера и его друзей по разным углам России. Кетчер один остался в Москве[23]. . . . .
. . . .

Белинский любил Кетчера, но замечал иногда, что он «тяжело действует на его нервы». Он называл его *несносным крикуном* — в глаза. «Все они прекрасные л ю д и, — говорил Белинский о кружке И с к а н д е р а, — но их привычки и вино, которое льется на их с х о д к а х, — все это не по моей натуре. Из них только один Искандер — человек необыкновенно замечательный, блестящий и остроумный».

...Каким образом и где я познакомился с Кетчером, я хорошенько не помню. Мне теперь кажется, что я знаком с ним с самого рождения. Знаю только то, что через пять минут после нашего знакомства мы были уже на *ты* и Кетчер обращался в первый день знакомства со мною так же бесцеремонно, как с теми, с которыми он был дружен несколько лет... Я как теперь вижу его перед собою, с бутылкою шампанского в руке, наливающего мне стакан с диким хохотом и кричащего: «Ну, пей же, братец, пей!»

В июне месяце Щепкин с семейством переехал на дачу близ *Химок* (первая станция от Москвы), и мы отправились к нему с Белинским и Кетчером. Кетчер явился ко мне в черном плаще без воротника, подбитом красным старметом, как дьявол в «Роберте»[24], и с корзинкою, из которой торчала солома.

— Что за корзинка? — спросил я его.

Кетчер захохотал во все горло.

— Ах ты, шут эдакой! — закричал он, — кто ж об этом спрашивает? Натурально, это дорожный запас. У нас, брат, без этого никуда не ездят; тут две бутылки моих и две твоих, понимаешь теперь?..

Всю дорогу Кетчер кричал без умолку, доказывая преимущества Москвы перед Петербургом во всех отношениях, и, между прочим, немилосердно ругал петербургских журналистов...

День был душный. Страшно парило. Пот лил с нас градом; я и Белинский задыхались от шоссейной пыли и не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Но на Кетчера ничто не действовало... Он все кричал, хохотал и размахивал руками... Когда мы подъезжали к дому, где жили Щепкины и которого не видно с большой дороги, Кетчер пребольно ударил меня по плечу.

— Вот и Химки!.. Смотри, смотри! Ну, есть ли что-нибудь подобное у вас в Петербурге?.. Ваши дачи — ведь это скверные карточные домики на тине и болоте, — а это, смотри — какая роскошь!..

Перед нами на холму был старый деревянный, довольно большой помещичий дом, с прудом напереди и с густым садом назади, из-за которого поднималась зеленая глаза церкви. Пруд был в цвету. Поверхность его была покрыта круглыми листами, дорожки сада заросли, сад, разросшийся на свободе, начинал глохнуть... Место действительно было прекрасное. За садом гладкое, необозримое поле, засеянное хлебом...

Когда мы свернули с большой дороги и спустились в овраг, кругом густо заросший деревьями, на нас так и пахнуло свежестию и запахом деревни. Поднимаясь на горку, мы увидели маленькую, круглую фигурку Щепкина, в летнем костюме и в соломенной шляпе с большими полями. Кетчер при этом встал в коляске, замахал руками и начал издавать какие-то крикливые звуки с хохотом...

Все это я помню живо, с мельчайшими подробностями, хоть двадцать два года прошло с тех пор!..

Михайло Семеныч встретил нас с распростертыми объятиями, и мы с каким-то наслаждением прикладывались к его мягким и полным щекам, дрожавшим при малейшем движении...

Щепкину было тогда лет за пятьдесят, и, несмотря на свою тучность, он был еще очень бодр и жив.

Многочисленное семейство его едва помещалось в этом помещичьем деревенском доме. Кроме четырех его сыновей, из которых старший, Дмитрий, был уже на службе, а двое (Николай и Петр) студентами университета, — у него жили два молодых человека Барсовы, сироты, дети его сценического приятеля, и две пожилые девицы — сестры его, так же маленькие и толстенькие, как он, с мужскими манерами, не выпускавшие изо рту чубуков и немилосердно истреблявшие жуков табак... Старшая дочь Щепкина, болезненная и слабая, почти не выходила из своей комнаты; вторая, имевшая южный тип своей матери (женщины очень кроткой и симпатичной), уже дебютировала с успехом на московской и на разных провинциальных сценах... Она незадолго перед этим ездила с отцом в Казань, где произвела большой эффект... У нее в это время было множество поклонников и, между прочим, один из самых юных приятелей Белинского, принадлежавший к его кружку[25]. Незадолго до этого, кажется, и сам Белинский был не совсем равнодушен к ней. Меньшая дочь Щепкина была еще ребенком.

В комнатах был порядочный хаос, точно как будто семейство перебралось сюда накануне. В большой комнате в середине дома, из которой был выход через балкон в сад, был накрыт длинный стол... В этой же комнате лежал на полу огромный пуховик, на котором сидела одна из сестер Щепкина с длинным чубуком во рту.

Кетчер прежде всего позаботился, чтобы шампанское поставили на лед. Он расхаживал по всем комнатам, хохотал, кричал и отпускал дамам дешевые остроты, которыми сам был всех довольнее.

Между посторонними мы нашли здесь М. Н. Каткова, который был отчего-то в трагическом настроении: складывал руки по-наполеоновски, потуплял задумчиво голову и потом рассеянно поднимал ее, щуря свои маленькие глазки, ходил в отдалении от других, нахмуря брови, и бесился на Кетчера, который беспрестанно приставал к нему с шуточками, сопровождавшимися хохотом.

До обеда хозяин дома, его сыновья и Катков отправи-

лись купаться на пруд. Мы смотрели на них с берега. Щепкин-отец, великий мастер плавать, представлял нам разные фокусы на воде и между прочими остров: он весь скрывался в воде, обнаруживая только один круглый и полный живот свой.

За обедом Щепкин, с свойственным ему мастерством, рассказывал нам разные анекдоты и случаи из своей жизни, между прочим и *Сороку-Воровку,* которую впоследствии, со слов его, так хорошо изложил Искандер. Кетчер разливал шампанское и кричал: «Да ну, пейте же, пейте!» — сам подавая пример всем. Он ходил кругом стола с бутылкою, как-то страшно размахивал ею, строго следя за непьющими, и останавливался перед недопитым бокалом с криками: «Это что такое? сейчас допивать! Дрянь вы! Сколько вас тут, а четырех бутылок не могут допить!»

Всякий раз когда Кетчер проходил мимо Белинского, тот хмурил брови и беспокойно взглядывал на него, но Кетчер, смотря на него с сожалением и качая головою, говорил:

— Не бойся, не бойся, не налью... Уж я тебя не трогаю, черт с тобой!

Белинский однажды (это он сам мне рассказывал, говоря о Кетчере) серьезно поссорился с Кетчером, принуждавшим его пить, и взял с него слово, чтобы он никогда не приставал к нему с вином. С тех пор Кетчер постоянно обходил его с бутылкой, отпуская, впрочем, каждый раз насчет его какие-нибудь остроты...

В это время Щепкин был в полном расцвете своего таланта. Он производил тогда фурор в роли городничего... Влияние его на молодых людей, вступавших на сцену, было велико и благодетельно: он внушал им серьезную любовь к искусству и своими советами и замечаниями о игре их много способствовал их развитию. Щепкина ценили и любили все литераторы, и все были близки с ним. Шевырев отзывался об нем и его таланте с таким же энтузиазмом, как и Белинский... Блестящие рассказы Щепкина, исполненные малороссийского юмора, его наружное добродушие, вкрадчивость и мягкость в обращении со всеми, его пламенная любовь к искусству, о которой он твердил всем беспрестанно; толки о его семейных добродетелях, о том, что он, несмотря на свои незначительные средства и огромное семейство, содержит еще на свой счет сирот — детей своего товарища, и т. д., — все это, независимо от его таланта, делало для тогдашней молодежи Щепкина

лицом в высшей степени интересным и симпатичным... Темные слухи, робко выходившие откуда-то, о том, что Щепкин будто бы интриган и человек, умеющий ловко и льстиво подделываться к начальству и к сильным мира сего, были с негодованием заглушаемы... Для меня Щепкин казался идеалом артиста и человека. Я даже чувствовал к нему вроде сыновней нежности.

После «Ревизора» любовь Щепкина к Гоголю превратилась в благоговейное чувство. Когда он говорил об нем или читал отрывки из его писем к нему, лицо его сияло, и на глазах показывались слезы — предвестники тех старческих слез от расслабления глазных нерв, которые льются у него теперь так обильно, кстати и некстати. Он передавал каждое самое простое и незамечательное слово Гоголя с несказанным умилением и, улыбаясь сквозь слезы, восклицал: «Каков! каков!» И в эти минуты голос и щеки его дрожали...

После обеда, когда мы с старшим сыном Щепкина, погуляв по саду, возвратились в дом, я заметил во всех какое-то беспокойство... Катков был бледен как смерть и дышал неровно; около него ухаживал Кетчер с участием и с хохотом; Белинский, также несколько изменившийся в лице, тревожно прохаживался по комнате.

Мне стало неловко. Я понял, что тут происходит какая-то маленькая драма. Белинский вышел со мною в другую комнату...

— Пройдемтесь по саду, — сказал он мне.

Мы пошли в сад. Белинский молчал.

— Что такое с Катковым? — спросил я.

— С ним было дурно, — отвечал Белинский, — к тому же он еще совершенный ребенок и любит мелодраматические сцены...

Белинский остановился на этом. Я, разумеется, не расспрашивал его более и заговорил о другом...

Перед отъездом нашим Михайло Семеныч объявил мне, что он на днях будет обедать у Сергея Тимофеича с Гоголем (который только что приехал в Москву), и с таинственным тоном прибавил умиленным и дрожавшим голосом:

— Ведь он, кажется, намерен прочесть там что-то новенькое!...

Действительно, через несколько дней после этого Сергей Тимофеич пригласил меня обедать, сказав, что у него будет Гоголь и что он обещал прочесть первую главу «Мертвых душ»[26] <...>.

На другой день я с Константином Аксаковым отправился к Белинскому...

Аксаков передал ему о вчерашнем чтении с энтузиазмом, он говорил, что после первой главы «Мертвых душ» нельзя уже сомневаться в том, что Гоголь гений и что он подарит русскую литературу колоссальным произведением, в котором отразится вся Русь.

Белинский слушал Аксакова с жадностию и смотрел на нас с завистию.

— Черт вас возьми, счастливцы! — сказал он, — я не знаю, чего бы я не дал, чтобы выслушать теперь эту главу...

Белинский в это время еще не был лично знаком с Гоголем. (Он познакомился с ним впоследствии в Петербурге у Прокоповича[27].) После выхода «Миргорода» Белинский поражен был художественной силой Гоголя, особенно выразившейся в «Старосветских помещиках» и «Невском проспекте». От «Ревизора» он был вне себя.

Значение этой комедии он понял один из первых. Пушкин восхищался только удивительным комизмом автора...

Замечательно, что, когда впоследствии Белинский начал разъяснять великое общественное значение произведений Гоголя, Гоголь пришел в ужас от этих разъяснений и объявил, что вовсе не имел в виду того, что приписывают ему *некоторые* критики.

Гоголь, друг Жуковского и других литературных авторитетов, смотревших на Белинского очень неблагосклонно, между прочим, боялся, кажется, что энтузиазм к нему молодого, не признаваемого ими критика может несколько скомпрометировать его в глазах их...

Сергей Тимофеич Аксаков уговорил Загоскина (который не слишком жаловал Гоголя) дать «Ревизора» на московской сцене по случаю приезда Гоголя в Москву...

Спектакль этот дан был сюрпризом для автора: Щепкин и все актеры наперерыв друг перед другом старались отличиться перед ним. Большой московский театр, редко посещаемый публикою летом, был в этот раз полон. Все московские литературные и другие знаменитости были здесь в полном сборе: в первых рядах кресел и в ложах бельэтажа. Белинский, Боткин и их друзья, еще не принадлежавшие тогда к знаменитостям, помещались в задних рядах. Все искали глазами автора, все спрашивали, где он? Но его не было видно. Только в конце второго

действия его открыл Н. Ф. Павлов в углу бенуара г-жи Чертковой.

По окончании третьего акта раздались громкие крики: «Автора! автора!» Громче всех кричал и хлопал К. Аксаков. Он решительно выходил из себя...

— Константин Сергеич!.. Полноте!.. поберегите себя!.. — восклицал Николай Филиппыч Павлов, подходя к нему, смеясь и поправляя свое жабо...

— Оставьте меня в покое, — отвечал сурово Константин Аксаков и продолжал хлопать еще яростнее.

— За что же сердиться? Я желаю вам добра... Вот, — продолжал он, обращаясь ко мне, — Константин Сергеич на меня сердится за то, что я уговариваю его умерить свой энтузиазм, который может повредить его здоровью... В самом деле, ведь это вредно для здоровья так выходить из себя? Правда? а?..

Гоголь при этих неистовых криках (я следил за ним) все спускался ниже и ниже на своем стуле и почти выполз из ложи, чтобы не быть замеченным.

Занавес поднялся.

Актер вышел и объявил, что «автора нет в театре».

Гоголь действительно уехал после третьего действия, к огорчению артистов, употреблявших все богом данные им способности для того, чтобы заслужить похвалу автора[28].

На публику этот отъезд произвел также неприятное впечатление; даже Константин Аксаков был недоволен этим.

— Нет, ваш Гоголь уж слишком важничает, — говорил ему Николай Филиппович, — вы его избаловали... Не правда ли? а?.. Согласитесь, что он поступил неприлично и относительно публики, и относительно артистов?.. а? Правду ведь я говорю?

— Да, это он сделал напрасно, — заметил К. Аксаков с огорчением...

Николай Филиппыч Павлов сидел в первом ряду, в желтых перчатках, в лакированных сапогах, от время до время вынимал из кармана золотую табакерку и с какою-то особенною грациею понюхивал табак. В антрактах он прогуливался по театральной зале, заговаривая со всеми знаменитостями. Если бы я не имел удовольствия лично знать автора «Трех повестей», я принял бы его, наверно, за какого-нибудь знатного московского барина по его наружной изящности и особенным манерам.

Белинский, робкий, неловкий, не имевший никаких манер, — в поношенном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, — был просто жалок, когда он стоял рядом с Павловым, благосклонно с ним разговаривавшим и подносившим ему свою золотую табакерку (Белинский нюхал табак).

ГЛАВА III

Воззрения Белинского и его кружка в 1839 г. — Встреча Белинского с студентом Кавелиным. — Мои письма к г. Краевскому о Белинском. — Отрывки из письма ко мне г. Краевского. — Мой отъезд из Москвы в деревню. — Возвращение в Москву. — Еще письмо г. Краевского. — Вечера у Боткина. — Статья Белинского по поводу книжки о «Бородинской годовщине». — Негодование Белинского против Менцеля. — Отъезд мой с Белинским из Москвы.

. . . .

К Белинскому я заходил каждое утро...

Он очень хандрил и жаловался на боль в груди... Обстоятельства его были в это время печальные. Степанов, издатель «Московского наблюдателя», платил ему помесячно (да и то неаккуратно) какие-то ничтожные деньги за редакцию. Белинский сначала был увлечен мыслию стать во главе журнала, сотрудниками которого должны были сделаться все его молодые и талантливые друзья... Он твердо был убежден, что при их содействии, соединенном с его кипучей, энергической деятельностью, успех журнала будет несомненен... «Я покажу, чем должен быть журнал в наше время», — писал он ко мне... [29] Но надежды его не оправдались. Подписка на «Наблюдатель» оказалась незначительной, и при выходе пятой книжки все средства издателя уже совершенно были истощены. Причинами этого были: невозможность объявить о том, что журнал переходит под редакцию Белинского; непрактичность и издателя и редактора, пустивших очень небольшое число объявлений о преобразовании журнала, в которых, притом глухо и неопределенно, сказано было о переходе «Наблюдателя» от г. Андросова (бывшего редактора) под новую редакцию. Впрочем, и это, может быть, не зависело ни от издателя, ни от редактора. И, наконец, то примирительное направление первых книжек возобновленного «Наблюдателя»,— направление, которому публика никак не могла симпатизировать [30].

Сотрудники видели, что дело не ладится, и охладели к журналу. Белинский был недоволен составом первых

книжек и совершенно упал духом. Между ним и некоторыми из его друзей произошли недоразумения: с одним из них, Боткиным, как я говорил уже, Белинский в течение нескольких месяцев совсем не видался; Константин Аксаков начинал с ним внутренне расходиться, уже слишком склоняясь к славянофилизму...

При таких неблагоприятных обстоятельствах Белинский задолжал в лавочку. В долг ему не хотели ничего отпускать. Обед его, при котором я не раз присутствовал, был и без того неприхотлив: он состоял из дурно сваренного супа, который Белинский густо посыпал перцем, и куска говядины из этого супа... Конечно, Белинский не мог умереть с голода, — близкие люди не допустили бы его до этого; но жить благодеяниями — и еще при сознании своей силы и таланта, при уверенности, что он мог бы приобретать достаточно своими трудами, — нелегко. Всякий дрянной фельетонист с некоторым практическим тактом был гораздо обеспеченнее Белинского, живя только одним своим ремеслом... При своих внутренних силах и энергии Белинский был бессильным ребенком в жизни, как многие, впрочем, умные люди, принадлежавшие к его поколению, — и вследствие этого легко и за ничтожную плату отдавался в руки спекуляторов, ужасаясь мысли умереть с голоду или жить благодеяниями, что еще хуже...

Через несколько времени после приезда моего в Москву Белинский уже объявил мне, что «Наблюдатель» продолжаться не может. Неуспех его он приписывал разным причинам — но он в это время еще не подозревал, что в самом направлении, которое он хотел придать журналу, заключалась невозможность его успеха.

Увлекшись толкованиями Бакунина Гегелевой философии и знаменитою формулою, извлеченною из этой философии, что «все действительное разумно», — Белинский проповедовал о примирении в жизни и искусстве, усиливаясь во что бы то ни стало, против своей натуры, сделаться консерватором, и с ожесточением ратовал *за искусство для искусства.* Он дошел до того (крайности были в его натуре), что всякий общественный протест против старого порядка казался ему преступлением, насилием; французская революция — делом нескольких экзальтированных людей, безумцев, осмеливавшихся посягнуть на разрушение государственного порядка, и смиренно преклонился перед всяким произволом, исходившим свыше... Он с презрением отзывался о французских энциклопедистах

XVIII столетия, о критиках, не признававших теории «искусства для искусства», о писателях, заявлявших необходимость общественных реформ и стремившихся к новой жизни, к общественному обновлению. Он с особенным негодованием и ожесточением отзывался о Жорж Санд. Искусство составляло для него какой-то высший, отдельный мир, замкнутый в самом себе, занимающийся только веяными истинами и не имевший никакой связи с нашими житейскими дрязгами и мелочами, с тем низшим миром, в котором мы вращаемся. Истинными художниками почитал он только тех, которые творили *бессознательно.* К таким причислялись Гомер, Шекспир и Гете. Гете назывался не иначе, как олимпийцем. Шиллер не подходил к этому воззрению, и Белинский, некогда восторгавшийся им, охлаждался к нему по мере проникновения своей новой теорией. В Шиллере не находил он того спокойствия, которое было непременным условием свободного творчества, того объективного, бесстрастного взгляда, который проявлялся в произведениях олимпийца Гете, за исключением, впрочем, второй части «Фауста», которая всегда казалась Белинскому сухой и мертвой символистикой... Пушкин, к великому, впрочем, сожалению Белинского и его друзей, также не совсем подходил под их теорию, — в нем не отыскивался элемент примирения, и потому стихотворения Клюшникова (Θ), в которых ясно выражался этот элемент, были признаваемы Белинским и его кружком хотя уступающими Пушкину по обработке и форме, но несравненно более глубокими по мысли[31].

Светлый взгляд Белинского затуманивался более и более; врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теорией; Белинский незаметно запутывался в ее сетях, которые еще скреплял Бакунин. Его свободной, в высшей степени гуманной природе тяжело, неловко, тесно и душно было такое рабское подчинение философским категориям и формулам, в которых еще тревожно путался сам Бакунин.

К этому присоединились еще — неудача «Наблюдателя», долги, размолвки с приятелями. Я застал Белинского в напряженном, лихорадочном состоянии, которое я не мог не заметить, но приписывал это только его стесненному положению.

Через несколько времени после моего приезда в Москву Бакунин уехал, кажется, в деревню... С Боткиным Белинский не виделся (он снова сошелся с ним уже после

возвращения моего из Казани). Его навещали только Клюшников и Кудрявцев, который был еще студентом. Белинский, как я уже говорил в моих «Воспоминаниях» о нем, полюбил Кудрявцева за его эстетический вкус, за его, как он выражался, тонкую, нежную натуру. Они часто толковали о современных литературных деятелях и перечитывали лучшие, по их мнению, произведения русских поэтов. К числу таковых они причисляли так называемые патриотические стихи Пушкина («Бородинская годовщина» и к «Клеветникам России»), «Чернь», к «Поэту», «Пророк» и другие. Белинский с увлечением отзывался об этих стихотворениях и часто читал их наизусть, прибавляя обыкновенно в заключение:

— Вот где Пушкин является истинным, великим художником!..

. . . .

...Однажды вечером я возвращался откуда-то с Белинским домой. На Арбатской площади попался нам навстречу молодой человек небольшого роста, полный, румяный, очень приятной наружности, с вьющимися темными волосами, в очках. На нем был студентский сюртук.

Увидев Белинского, студент с юношеским, неудержимым увлечением бросился к Белинскому, схватил с жаром его руку и воскликнул, запыхавшись:

— Виссарион Григорьич! Как я рад вас видеть, Виссарион Григорьич!..

— Ах, здравствуйте, — отвечал сухо Белинский, видимо смущенный таким внезапным нападением на него, и взглянул на студента холодно и резко, как бы спрашивая: «Что вам от меня нужно?»

Студента, кажется, покоробило от этого взгляда; он произнес еще несколько слов и удалился, смущенный.

Мне стало жаль его...

— Кто это такой? — спросил я, — и отчего вы с ним обошлись так холодно?..

— Это бывший мой ученик, — отвечал Белинский, — Кавелин, мальчик очень умный, горячий, с большими способностями, подающий большие надежды; но я терпеть не могу, когда мальчишки пристают ко мне, ну, о чем мне толковать с ними? Что я могу иметь с ними общего?

Студент этот был тот самый Кавелин, который через несколько лет после этого получил блестящую известность на кафедре Московского университета и присоединился

к кружку Белинского. Кавелин припоминал не раз Белинскому об этой встрече, и оба они очень смеялись...

В этот вечер Белинский был очень не в духе, обнаруживал особенное раздражение и жаловался на боль в груди.

Когда я зашел к нему, он бросился в кресло, совершенно ослабленный и тяжело дыша. Несколько минут он не говорил ничего. Наконец, бледный, с страдающим лицом, он обратился ко мне.

— Нет, — сказал он, — мне во что бы то ни стало надобно вон из Москвы... Мне эта жизнь надоела, и Москва опротивела мне. Что, как вы думаете, можно будет как-нибудь уломать жида Краевского?

Надобно сказать, что Белинский в первые же дни нашего знакомства, сообщая мне о погибели «Наблюдателя», объявил, что он не прочь был бы переехать в Петербург и принять па себя критический отдел в «Отечественных записках». Я не скрыл от него, как г. Краевский отзывается об нем.

— Он вполне надеется, — прибавил я, — что Межевич оживит его журнал своей критикой, и я оставил их в самом приятном и дружеском расположении.

Белинский горько улыбнулся.

— Ну, нечего сказать, — хорош ваш Краевский!.. Да ведь этот Межевич — бесталаннейший смертный, совершенная тупица... Межевич ничего не может сделать; ему понадобится непременно другой человек, а вы между тем намекните ему, что я не прочь... разумеется, за хорошее вознаграждение; напишите, что у меня есть статья о *Менцеле* — и расхвалите ее, разумеется, как можно больше и прибавьте, что эту статью я предназначаю для его журнала... Она еще не написана, — ну, да это все равно. Сблизьте меня как-нибудь с ним, да обделайте это дело половчее... Не говорите ему об моей нищете; он, пользуясь этим, еще, пожалуй, прижмет меня...

В письмах к г. Краевскому я говорил всякий раз что-нибудь о Белинском и его кружке... Г. Краевский между тем завел переписку с Катковым, который через меня обещал ему статью для журнала. Уже в первых письмах г. Краевского ко мне заметно было, что бессилие и неспособность Межевича начинали тревожить его, и я не сомневался, что только чувство собственного достоинства мешает ему обратиться прямо к Белинскому. Воспользовавшись этим, я написал г. Краевскому прямо, что Белинский предлагает ему свое сотрудничество, что недурно

было бы, если он перепечатает в своих изданиях превосходную статью Белинского о «Сыне отечества» Полевого, что у Белинского есть статья о Менцеле, которая производит в Москве фурор и которую он не прочь был бы прислать в «Отечественные записки»...

В ответ на это я получил от него письмо (от 20 июня). Он написал мне, между прочим, следующее:

«Статья о «Сыне отечества» перепечатается (если она едка) в «Литературных прибавлениях» из «Наблюдателя» под таким названием: «Справедливое суждение «Московского наблюдателя» о «Сыне отечества», в pendant к «Справедливому суждению «Сына отечества» об «Отечественных записках», перепечатанному в «Пчеле»... [32]

Прошу Белинского статью о Менцеле *и душевно рад его будущему сотрудничеству. Поклон ему от меня низкий* и вопрос: как устроится это сотрудничество? по каким частям? и проч.».

Я тотчас же отправился с этим письмом к Белинскому. На Белинского оно произвело очень благоприятное впечатление. Он повеселел. Г. Краевский почувствовал необходимость прибегнуть к *крикуну-мальчишке* для поддержания своего журнала. Белинскому открывалась возможность оставить Москву и расплатиться со своими долгами. Перемена жизни улыбалась ему.

В письме г. Краевского была, между прочим, следующая приписка:

«Ради бога, скажите Каткову, что это он со мною делает? не шлет до сих пор окончания своей статьи! Я уж писал к нему об этом, а он все медлит [33]. О, Москва! Москва!..»

Последнее восклицание очень поправилось Белинскому...

— Это правда, — заметил он, — все мы, москвичи, — прекрасные и умные люди, но все делаем как-то спустя рукава. В нас недостает безделицы — настоящего практического смысла и настоящей деятельности... На словах мы герои, а чуть до дела...

Белинский не докончил фразы, махнул рукой и повторил, смеясь: «О, Москва! Москва!..»

Перед отъездом моим в Казань, в июле месяце, дело о переезде Белинского в Петербург было решено. Он принял условия г. Краевского: г. Краевский должен был ему выслать к осени вперед незначительную сумму на уплату долгов и на отъезд и обязался платить ему три тысячи пятьсот

рублей ассигнациями в год, с тем чтобы Белинский принял на себя весь критический и библиографический отдел «Отечественных записок». Мы решили ехать в Петербург вместе после возвращения моего из Казани в Москву.

Я вернулся в Москву в начале октября.

10 октября я получил письмо от г. Краевского. Вот отрывки из него:

«Христа ради, хлопочите сами, подбейте Павлова и Погодина, чтоб вырвать у Гоголя статью для «Отечественных записок» [34]. Кстати. Я объявил было в «Литературных прибавлениях» о приезде Гоголя в Москву; но Плетнев сказал мне, что получил от него письмо с просьбою — никому не объявлять, что он в Москве... Жуковский сказывал мне, что Гоголь через месяц будет в Петербурге. Его статья необходима; надобно употребить все средства, чтоб получить ее. Не пишу к нему сам, потому что эти вещи не делаются через письма, особенно с ним. *Растолкуйте ему необходимость поддерживать «Отечественные записки» всеми силами.* Если же он сделался равнодушен к судьбам «российской словесности», чего я не ожидаю, то *покажите ему впереди за статью хорошие деньги, в которых он, верно, нуждается.* Если ж ничто не возьмет, то надо дожидаться приезда его сюда и здесь напасть на него соединенными силами...

...Виссариону Григорьичу низкий поклон и благодарение за статьи его. В статье о «Бородинской годовщине» [35] Никитенко выкинул два места. Что делать! Он не любит Европы и не хочет признавать, чтоб в ней было что-нибудь порядочное. Прочее все осталось так, как было, кроме отзыва о Жуковском, *который я посмягчил.* Статья о книге доктора Ратье [36] также *изменена мною,* потому что один из здешних дельных врачей доставил мне о ней статью: ведь мы с Виссарионом Григорьичем в этом деле профаны, надо верить тому, кто лучше знает...

Утешьте Виссариона Григорьича: *браниться можно* обиняками, как увидит он из статьи «фитабуки» [37], в «Литературных прибавлениях» *. В статье его для «Литературных прибавлений» не делано было ни мною, ни Межевичем никаких п р и б а в л е н и й, — все это делал бич журналов — цен-

* Статья эта против Греча была написана, кажется, самим г. Краевским, по крайней мере, он очень гордился ею и часто ссылался на нее, как на образец остроумной полемики. (*Прим. И. И. Панаева.*)

сор Лангер, а в разборе «Стихотворений Леонова» (Каткова) [38] — Никитенко...

Убедите, бога ради, Каткова отыскать большое письмо, которое я посылал к нему еще в сентябре и которого, как видно из его писем, он не получал. Что же это такое, господи боже мой! Времени мало, урвешься написать — да и то пропадет! Я адресовал его на имя г. Боткина, как сам же Катков просил; отчего же оно пропало? Скоро буду к нему еще писать и уж адресую на имя Галахова. Авось будет вернее!

Поблагодарите г. Боткина за его премилую статью о музыке Лангера...

Присылайте скорее стихов Аксакова, Павловой, Клюшникова и других. У меня нет стихов. Лермонтов отдал бабам читать своего «Демона», из которого я хотел напечатать отрывки, и бабы черт знает куда дели его; а у него уж, разумеется, нет чернового; таков мальчик уродился!..

...Жду вас и Виссариона Григорьича. Ради бога, приезжайте скорее...»

Далее в письме речь о каком-то доносе Булгарина.

Из этого письма видно, что между г. Краевским и кружком Белинского начались уже деятельные сношения...

По возвращении моем в Москву я, к великому удовольствию, увидел, что все недоразумения между Белинским, Боткиным и отчасти Катковым прекратились и что они находятся в полном мире и согласии [39].

Белинского я застал в очень хорошем расположении духа... Близость отъезда из Москвы и предстоящая перемена жизни оживляла его. Из всех друзей его только один Константин Аксаков смотрел на него с грустью, сожалением и отчасти с досадою. Он не понимал, как москвич может равнодушно оставлять Москву...

Друзья сходились большею частию по вечерам у Боткина... Разговор был постоянно одушевленный, горячий. Предметом его были толки об искусстве с точки зрения Гегеля: с этой точки строго разбирали Пушкина и других современных поэтов. Лермонтов с своим демоническим и байроническим направлением никак не покорялся этому новому воззрению. Белинского это ужасно мучило... Он видел, что начинающий поэт обнаруживает громадные поэтические силы; каждое новое его стихотворение в «Отечественных записках» приводило Белинского в экстаз, — а между тем в этих стихотворениях *примирения* не было и тени! Лермонтова оправдывали, впрочем, тем, что он мо-

лод, что он только что начинает, несколько успокоивались тем, что он владеет всеми данными для того, чтобы сделаться со временем полным, великим художником и достигнуть венца творчества — художественного спокойствия и объективности... Клюшников, сам имевший в себе частичку демонизма, очень симпатизировал таланту Лермонтова и довольно остроумно подсмеивался над некоторыми толками о поэте; Катков и К. Аксаков прочитывали свои переводы из Гейне, Фрейлихграта и из других новейших немецких поэтов. Катков обыкновенно декламировал с большим эффектом, принимая живописные позы, складывая руки накрест, подкатывая глаза под лоб...

Я никогда не забуду этих вечеров...

Сколько молодости, свежести сил, усилий ума потрачено на разрешение вопросов, которые теперь, через двадцать с лишком лет, кажутся смешными! Сколько кипения крови, сколько увлечений и заблуждений!.. Но все это не пропало даром. До истины люди добираются не вдруг... Этот кружок займет важное место в истории русского развития... Из него вышли и выработались самые горячие и благородные деятели на поприще науки и литературы.

Я всей душою привязался к Белинскому и его друзьям. Пробужденная ими, моя мысль начала обнаруживать некоторую деятельность под их влиянием...

Через несколько дней после моего возвращения в Москву Белинский принес мне прочесть свою рецензию на книгу Ф. Глинки «Бородинская годовщина», которую он отослал для напечатания в «Отечественные записки»[40].

— Послушайте-ка, — сказал он мне, — кажется, мне еще до сих пор не удавалось ничего написать так горячо и так решительно высказать наши убеждения. Я читал эту статейку Мишелю (Бакунину), и он пришел от нее в восторг, — ну, а мнение его чего-нибудь да стоит! Да что много говорить, я сам чувствую, что статейка *вытанцовалась...*

И Белинский начал мне читать ее с таким волнением и жаром, с каким он никогда ничего не читал ни прежде, ни после.

Лихорадочное увлечение, с которым читал Белинский, язык этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженного пафоса, произвел во мне нервное раздражение... Белинский сам был явно раздражен нервически...

— Удивительно! превосходно! — повторял я во время чтения и по окончании чтения, — но... я вам замечу одно...

— Я знаю, знаю что, не договаривайте, — перебил меня с жаром Белинский, — меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями... Пусть их! Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убеждения, что бы обо мне ни думали...

Он начал ходить по комнате в волнении.

— Да! это мои убеждения, — продолжал он, разгорячаясь более и более... — Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мне дорожить мнением и толками черт знает кого? Я только дорожу мнением людей развитых и друзей моих... Они не заподозрят меня в лести и подлости. Против убеждений никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки... они знают это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вам, Панаев, — вы ведь еще меня мало знаете...

Он подошел ко мне и остановился передо мною. Бледное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила к голове, глаза его горели.

— Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода — я и без того рискую эдак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя...

Разговор этот со всеми подробностями живо врезался в мою память. Белинский как будто теперь передо мною...

Он бросился на стул, запыхавшись... и, отдохнув немного, продолжал с ожесточением:

— Эта статья резка, я знаю, — но у меня в голове ряд статей, еще больше резких... Уж как же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмеливается судить об искусстве, ничего не смысля в нем! . . . .

...По мере приближения нашего отъезда в Петербург Белинский становился все оживленнее и веселее.

— Теперь уж я не ваш! — говорил он, смеясь, своим друзьям. — Я петербуржец... А вы — москвичи, провинциалы; да, ваша Москва — провинция, что вы ни говорите и как ни гордитесь ею...

Белинский глубоко благоговел перед реформою Петра I и оправдывал ее во всех ее крайностях. Петербург поэтому еще особенно привлекал его...

Кетчер кричал против Петербурга изо всей силы; К. Аксаков, ударяя себя в грудь, восклицал, что Москва выстрадала за Русь, что она искупительница России, что она ее

центр, что вся святыня Руси хранится в Москве, а Петербург — город дворцов и казарм, временный лагерь.

— Ничего, — перебил Белинский, — придет время и Петербургу, — он еще молод... Петербург имеет уже одно важное значение, что это — *окно, прорубленное Петром в Европу*[41].

К. Аксаков при этом выходил из себя. Хотя еще он не питал той непримиримой ненависти к Петру I, которая развилась в нем впоследствии, — но он и в это время уже не чувствовал к нему расположения...

...День нашего отъезда в Петербург наконец наступил. Нас провожали до Черной Грязи Боткин, Кетчер и Катков.

Кетчер явился на наши проводы в своем красном плаще, с неизбежным хохотом и еще более неизбежной корзинкой, из которой торчала солома...

Мы, вероятно, долго пробыли бы на станции, потому что Кетчер, по своему обыкновению, расходился, кричал, потрясая бутылкой, подшучивал над Белинским, подавал ему советы, как забрать в руки Краевского, — и все это сопровождал хохотом. Белинский, не терпевший шумных и длинных проводов, торопился ехать. Он был молчалив и грустен. Видно, что отрываться от своего кружка ему было нелегко... Боткин обнаруживал сильное нетерпение...

— Уж поезжайте лучше скорей, друзья, — повторял он, качая головою. — Проводы эти всегда ужасно тяжелы.

— К чему торопиться? вздор! — кричал Кетчер. — Да вы не допили еще своих стаканов.

Но Белинский решительно встал. Наша дорожная карета давно уже ожидала нас у подъезда.

— Ну, прощайте, господа, — сказал он, — не забывайте меня...

Все бросились обнимать Белинского. Боткин гладил его по затылку и по голове и, смотря на него с нежностию, говорил:

— Ну, я рад за тебя, Виссарион... Нам с тобой тяжело расставаться, голубчик, очень тяжело, ты это знаешь, но ведь тебе в Москве оставаться не для чего...

Катков энергически сжимал Белинского в своих объятиях и крепко несколько раз поцеловал его.

Кетчер поднес ему стакан с шампанским.

— Ну, Виссарион, чокнемся, — сказал он. — Теперь ты *должен* выпить.

Белинский выпил стакан без противоречия.

— Молодец! — закричал Кетчер, целуя его. — Ну, теперь прощай, да смотри же, не поддавайся Краевскому...

Когда карета двинулась и мы высунулись в окно, Боткин с нежною грустью смотрел на нас, махая своим платком; Кетчер кричал что-то и размахивал фуражкой; Катков стоял неподвижно, со сложенными накрест руками, с надвинутыми на глаза бровями, провожая нас глубоким и задумчивым взглядом...

ГЛАВА VII

Наш петербургский кружок. — Субботы у меня. — Увлечение Белинского Леру и Жорж Сандом. — «Revue indépendante». — Неловкое положение г. Краевского вследствие нового направления Белинского. — Женитьба Белинского. — Кречетов. — Удар паралича. — Некрасов. — Знакомство с ним и с Григоровичем. — Появление Тургенева. — Два слова об эксплуататорах и об эксплуатируемых.

После отъезда Бакунина и Каткова[42] Белинский, найдя неудобным жить вдалеке от редакции, переехал с Петербургской стороны к Аничкину мосту в дом Лопатина, куда я также переселился и где нанял себе квартиру г. Краевский после смерти жены своей.

Около Белинского в Петербурге составлялся мало-помалу небольшой кружок из людей, высоко ценивших его как писателя и глубоко уважавших его как человека. К этому кружку принадлежали между прочими: П. В. Анненков, К. Д. Кавелин (переехавший в Петербург), А. А. Комаров, М. А. Языков, И. И. Маслов, Н. Н. Тютчев и другие; вскоре к ним присоединились Некрасов и Тургенев и, позже — Ф. М. Достоевский и Гончаров... Из Москвы часто приезжали: В. П. Боткин, Искандер и Огарев. Приезды эти были праздником для Белинского и для всех нас. Искандер с каждым приездом своим все теснее сближался с Белинским...

Белинский, с свойственною ему энергиею, начал действовать в новом направлении. Но прошедшее все еще давило его, как кошмар.

— Жизнь моя не должна быть долга, — говорил он мне, — во мне зародыш чахотки, я это очень хорошо знаю; но я охотно отдал бы несколько лет жизни, если бы мог искупить этим вполне мое безумие, дотла истребить воспоминание об этой эпохе и уничтожить все нелепые статьи мои, относящиеся к ней.

В то самое время, когда в Белинском совершался вну-

тренний переворот под влиянием Искандера, — в Париже появился под редакцией) Леру, Жоржа Санда и Виардо «Revue indépendante». Я принялся читать его с жадностию и, увлеченный статьями Леру, переводил их отрывками Белинскому. Перед этим Белинский прочел все романы Санда, которые были переведены (я перевел нарочно для него конец «Спиридиона»), и прежнее негодование его к Жорж Санд, так резко выразившееся в статье о Менцеле, заменилось в нем пламеннейшим энтузиазмом к ней[43]. Все прежние его литературные авторитеты и кумиры — Гете, Вальтер-Скотт, Шиллер, Гофман — побледнели перед нею... Он только и говорил о Жорж Санд и Леру. Увлечение его было так сильно, что он решился учиться по-французски, чтобы читать их в подлиннике. К гегелианизму вообще он охладел немного: о гегелианцах правой стороны он отзывался с негодованием и желчью, но обнаруживал большое сочувствие к гегелианцам левой стороны.

Покуда Белинский освоивался понемногу, и не без труда, с французским языком (к изучению языков он вообще не обнаруживал способностей), я начал составлять для него историю французской революции по Минье, с прибавлением самых замечательных речей жирондистов и монтаньяров, которые я брал из «Histoire parlementaire de la révolution française»[44].

Белинский и многие наши приятели, не знавшие французского языка или мало знакомые с подробностями этой эпохи, сходились у меня каждую субботу, и я прочитывал им то, что успевал составить и перевести в течение недели.

Для Белинского открывался новый мир, который до сих пор представлялся ему смутно, по рассказам... Он следил за чтением с лихорадочным любопытством; потрясенный до глубины, он прерывал чтение восторженными восклицаниями, беспрестанно вскакивал со стула в волнении и повторял несколько раз:

— Да! всему виною мое проклятое невежество. Если бы я знал все это прежде, я не написал бы этих безобразных статей, которые составляют несчастие моей жизни, лежат на мне неизгладимым пятном!..

Ко мне в эту зиму (1841) Белинский обнаруживал бóльшую симпатию, чем когда-нибудь, и в увлечении своем приписывал мне такие способности и достоинства, которых я никогда не ощущал в себе...

Я считал себя счастливейшим человеком, видя, что способствовал моим переводом просветлению мыслей Белинского и расширению его кругозора. Я гордился тем, что возбуждал его благородный энтузиазм, доставлял ему минуты высокого наслаждения и пробуждал в нем и в других слушателях гражданское чувство...

Все мои слушатели ждали субботы, как праздника, и следили за моим чтением с напряженным вниманием. Маслов, не имевший до этого никакого понятия о французской революции, был поражен грандиозностью этой эпохи, он трепетал от восторга при речах Верньо, Гаде и других жирондистов и заплакал, когда дело дошло до их смерти... Он и некоторые другие сделались отчаянными жирондистами. Мы с Белинским отстаивали монтаньяров.

Чтение оканчивалось обыкновенно жаркими спорами... Надобно было видеть в эти минуты Белинского! Вся его благородная, пламенная натура проявлялась тут во всем блеске, во всей ее красоте, со всею своею бесконечною искренностию, со всей своей страшной энергией, приводившей иногда в трепет слабеньких поклонников Жиронды.

Маслов каждую субботу после чтения давал нам клятвы, что он выучится французскому языку.

Белинский укорял его в лености и распущенности.

— Если бы у меня было столько свободного времени, как у в а с , — говорил о н , — я, при всей моей тупости к языкам, давно бы уж выучился по-французски. Как вам не стыдно!.. Я замучен работой, да и тут нахожу время заниматься... и начинаю понемногу смекать по-французски... Через полгода, я даю вам слово, я буду читать свободно и понимать все без труда; а вы...

И тут, постепенно одушевляясь, Белинский разражался против русского человека вообще, против его апатии, равнодушия ко всему, беспечности, против отсутствия в нем всякой любознательности, и все это приписывал нашей славянской породе.

— Прежде нам была нужна палка Петра В е л и к о г о , — говорил о н , — чтобы дать нам хоть подобие человеческое; теперь нам надо пройти сквозь террор, чтобы сделаться людьми в полном и благородном значении этого слова. Нашего брата, славянина, не скоро пробудишь к сознанию. Известное дело — покуда гром не грянет, мужик не перекрестится. Нет, господа, что бы вы ни толковали, а мать святая гильотина — хорошая вещь!

Внутренняя ломка, начавшаяся в Белинском после

его сближения с Искандером (нет сомнения, впрочем, что она произошла бы и без влияния Искандера, —Искандер только ускорил ее), страдания Белинского, его борьба с самим собою, предшествовавшая радикальному перевороту в его воззрении, была, конечно, видима только его близким.

Г. Краевский ничего не подозревал. Он еще повторял фразы Белинского из его статей о «Бородинской годовщине» и «Менцеле», когда уже в «Отечественных записках» начали появляться рецензии в совершенно противоположном направлении. Когда он заметил перемену направления в своем журнале, это сначала крайне удивило его. Делать, впрочем, было нечего. В области мысли он не был так силен, как в области денежных расчетов, и должен был покориться безусловно Белинскому; ему так же легко было променять свой прежний образ мыслей на новый, как выпить стакан воды... К тому же новое направление, может быть, еще обещало усиление подписки. Вот начало либерализма Краевского.

В начале и половине сороковых годов мало обращали внимания на русскую литературу, существование ее едва замечали. Правительство не только не чувствовало необходимости в пособии литературы, но оно одну мысль об этом сочло бы до крайности дерзкою. Если бы оно узнало, что самовластие его осмеливаются укреплять на каких-то философских формулах, оно, наверно бы, зажало рот своим непрошеным защитникам. Силу свою оно основывало на миллионе штыков, а не на философских бреднях. Считаться в это время архимонархическим публицистом не было никакой выгоды, и те, которые заподозривали Белинского в лести и в подкупе, обнаруживали только свою смешную наивность и непонимание дела. Статьи Белинского о «Бородинской годовщине» прошли совершенно не замеченными правительством, а если бы они и были замечены, то нет никакого сомнения, что Белинскому было бы сделано внушение не вмешиваться впредь в дела, не касающиеся литературы. Исключительною областью литературы, по мнению правительства, была природа и любовь, не выходящая, разумеется, из законных форм; мораль заключалась в строгом наказании порока и в награждении добродетели. К этому дозволялось литературе воспевать славу русского оружия и подвиги полководцев... Все литераторы, хоть на одну черту выходившие из этой программы, считались людьми неблагона-

меренными... Пушкин был под постоянным надзором полиции, несмотря на свое стихотворение «Клеветникам России». Надеждин, чтобы загладить свои телескопские прегрешения, должен был сделаться усердным чиновником, возвратившись из Усть-Сысольска; Полевой искуплял свой «Телеграф» «Парашами-Сибирячками» и усиливался подделываться под тон Булгарина, считавшегося между журналистами и литераторами *образцом благонамеренности...*

Необходима была глубокая вера в свои убеждения, соединенная притом с величайшим литературным тактом, чтобы проводить в то время смелую, независимую мысль сквозь тупую ценсуру, вооруженную, впрочем, очень острыми ножницами. Белинский, убедившись в своем настоящем призвании и проникнувшись горячей верой в свои убеждения, приобрел удивительную способность газировать свою мысль и проводить ее незаметно от ценсора, несмотря на его строгий ценсурный надзор...

Но все это стоило Белинскому страшных усилий, и притом не всегда удавалось сдерживать свою энергическую, кипучую натуру, тайком проводить мысль, удовлетворяться иногда только одними намеками на нее... Для него это была невыносимая пытка. Он страдал, выбивался из сил и горько жаловался. С каждым днем он убеждался более и более, что никакое человеческое свободное развитие невозможно с теми принципами, которых он был минутным защитником.

— Я не понимаю, как мог доходить до такого безумия, — повторял он.

Когда он получил первое письмо от Бакунина, в котором тот отрекался от своего прошедшего и издевался над ним, и когда впоследствии доходили до него слухи о Бакунине, сделавшемся самым видным человеком между тогдашними германскими публицистами, Белинский был в восторге от этих известий.

— Каков наш Мишель-то! — повторял он. — Впрочем, смешно было бы и сомневаться в нем, — прибавлял он обыкновенно с самою светлою улыбкою[45].

Все мы более или менее, когда туман, застилавший наши глаза, начал рассеиваться, начинали порываться к лучшему будущему, усматривали яснее наш идеал, стали понимать несостоятельность старого порядка и чувствовать его тягость.

На эту тему разыгрывались тогда все разговоры лю-

дей, считавших себя передовыми и современными; им, разумеется, подражали остальные, тершиеся около них.

Мой наставник Василий Иваныч Кречетов, с которым я познакомил читателя в первой части моих «Воспоминаний», наслушавшись Белинского и других моих приятелей и начитавшись «Revue indépendante», которое он брал у меня, начал также стремиться к идеалу и жаловаться на то, что человеку мыслящему нельзя жить в *этом растленном и разлагающемся обществе,* как он выражался. Несмотря на это, он продолжал кушать, как всегда, с большим аппетитом; с прежнею любовию глядел на сочный кусок ростбифа и с прежнею приятностию, покрякивая, выпивал за обедом до капли бутылку доброго *шери* (как он называл херес).

Когда он увидел у меня в первый раз Белинского, Белинский чувствовал себя нездоровым, посматривал мрачно и говорил мало... Кречетов затрогивал разные вопросы, на которые Белинский отвечал лаконически и сухо. Желая блеснуть перед Белинским своею ученостию, он цитировал Горация, замечая, что он всего его знает наизусть, рассуждал о романтизме, произнося русское *наш,* как N французский, и не возбудил ничего в Белинском, кроме улыбки...

— Ну, батюшка, — сказал он мне, — кажется, нет ничего особенного в вашем хваленом Белинском!..

Но когда он увидел Белинского в одушевлении и услышал его в споре, он сжал значительно нижнюю губу и произнес:

— О да, да! В нем видна эта, эта-эта сила, эта мощь... Голова, умная голова!

С тех пор он питал к Белинскому уважение, смешанное с страхом, разумеется скрывая это и хорохорясь перед ним, но не любил его, потому что Белинский никогда не обращался к нему серьезно...

Кречетов заходил ко мне по-прежнему довольно часто... Я начал замечать с некоторого времени, что он как будто не в своей тарелке, ест меньше, сидит повеся голову, тяжело вздыхает. Сначала я приписывал это уменьшению его средств и спросил: как идут его уроки?.. На уроки он не жаловался; напротив, у него прибавились новые ученики; да и когда, бывало, он нуждался в деньгах, он брал у меня на определенный срок несколько рублей и возвращал мне их день в день, минута в минуту. Он был необыкновенно честен в этом отношении. Раз как-

то я взглянул на него попристальнее. Меня поразили пурпуровый цвет его мясистых щек и краснота глаз, тем более что он был в совершенно трезвом состоянии.

— Да что с вами, Василий Иваныч, вы не очень здоровы? — спросил я его. — Вы как-то грустны в последнее время, и у вас цвет лица такой странный?..

Кречетов печально, безнадежно махнул рукой.

— Физически я здоров... у меня железная натура, но морально я, точно, расстроен... Верите ли, что вот уж больше двух недель меня гнетет эдакая, эдакая... непроходимая тоска... Места нигде не нахожу.

— Да отчего же?

— Смешной вопрос! — возразил Кречетов. — Мне, как и всякому мыслящему человеку, нестерпимо, невыносимо жить среди этого дикого, пошлого общественного устройства... Я чувствую, что нельзя дышать в этой душной, смрадной атмосфере...

И Кречетов пыхтел и отдувался...

Через день после этого, возвращаясь с урока, он зашел на Сенную, купил добрую часть телятины, взял кулек и хотел отправиться домой... Вдруг почувствовал, что правая его рука, державшая кулек, слабеет и правая нога не повинуется... Он успел только вскрикнуть в испуге:

— Извозчик!

И упал без чувств на мостовую.

Его привезли домой замертво.

Кречетов две недели перед этим страдал сильным приливом к голове. Не будь он знаком с нами, он, вероятно, не приписал бы своей тоски такой отдаленной и отвлеченной причине; а догадавшись о настоящей, просто пустил бы себе кровь, предупредил бы удар и преспокойно продолжал бы наслаждаться жизнию за куском сочного бифстекса, орошаемого *шери*...

Вот до каких гибельных последствий доводит иногда сближение с так называемыми современными людьми!

Кречетов, впрочем, действительно имел железную натуру. Через два месяца он оправился и прожил после этого лет десять, правда, ковыляя и с покривившимся ртом, но продолжая за обедами своих старых знакомых по-прежнему, и даже более прежнего, наслаждаться жирными телятинами, сочными ростбифами и бифстексами, добрым золотистым *шери* и т. д. и повторяя заученную фразу:

«В этом растленном обществе жить нет возможности человеку мыслящему!»

В начале 40-х годов к числу сотрудников «Отечественных записок» присоединился Некрасов; некоторые его рецензии обратили на него внимание Белинского, и он познакомился с ним. До этого Некрасов имел прямые сношения с г. Краевским. Я в первый раз встретил Некрасова в половине 30-х годов у одного моего приятеля. Некрасову было тогда лет семнадцать, он только что издал небольшую книжечку своих стихотворений под заглавием «Мечты и звуки», которую он впоследствии скупал и истреблял[46]. Мы возобновили знакомство с ним через семь лет. Он, как и все мы, очень увлекался в это время Жорж Сандом. Он был знаком с нею только по русским переводам. Я звал его к себе и обещал прочесть ему отрывки, переведенные мною из «Спиридиона». Некрасов вскоре после этого зашел ко мне утром, и я тотчас же приступил к исполнению своего обещания.

С этих пор мы виделись чаще и чаще. Он с каждым днем более сходился с Белинским, рассказывал свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов и принес однажды Белинскому свое стихотворение «На дороге».

Некрасов произвел на Белинского с самого начала очень приятное впечатление. Он полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за тот смелый, практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни — и которому Белинский всегда мучительно завидовал.

Некрасов пускался перед этим в издание разных мелких литературных сборников, которые постоянно приносили ему небольшой барыш... Но у него уже развивались в голове более обширные литературные предприятия, которые он сообщал Белинскому.

Слушая его, Белинский дивился его сообразительности и сметливости и восклицал обыкновенно:

— Некрасов пойдет далеко... Это не то, что мы... Он наживет себе капиталец!

Ни в одном из своих приятелей Белинский не находил ни малейшего практического элемента, и, преувеличивая его в Некрасове, он смотрел на него с каким-то особенным уважением.

Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский по-

лагал, что Некрасов навсегда останется не более как полезным журнальным сотрудником, но когда он прочел ему свое стихотворение «На дороге», у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах:

— Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный!

С этой минуты Некрасов еще более возвысился в глазах его... Его стихотворение «Родина» привело Белинского в совершенный восторг. Он выучил его наизусть и послал его в Москву к своим приятелям... У Белинского были эпохи, как я уже говорил, когда он особенно увлекался которым-нибудь из своих друзей... В эту эпоху он был увлечен Некрасовым и только и говорил об нем...[47]

Некрасов сделался постоянным членом нашего кружка...

...Через Некрасова я познакомился с Григоровичем. Григорович был сотрудником мелких изданий Некрасова, и для одного из таких изданий он сочинил плохой рассказ под названием «Штука полотна».

Однажды я встретил Некрасова на Невском проспекте. Он шел с каким-то стройным и высоким молодым человеком очень приятной наружности. Я присоединился к ним.

Каким-то образом у нас зашла речь об издании, в котором была помещена знаменитая «Штука полотна»... Я подшучивал над этим изданием. Некрасов смеялся вместе со мною и прибавлял свои шутки.

— Но уж нелепее всего в этой *книжке*, — заметил я, — это «Штука полотна»...

— Рекомендую вам автора этой «*Штуки*», — сказал Некрасов, указывая на молодого человека приятной *наружности*. — Это господин Григорович...

Я еще не успел смутиться, как Григорович протянул мне руку и сказал, улыбаясь:

— Бога ради, не конфузьтесь... Я сам об этой «Штуке» совершенно такого же мнения, как вы... Уж нелепее и пошлее, конечно, быть ничего не может... Очень рад с вами познакомиться[48].

Около этого же времени, может быть несколько ранее, я сошелся с И. С. Тургеневым[49].

Я встречал, еще до моего знакомства с ним, довольно часто на Невском проспекте очень красивого и видного молодого человека с лорнетом в глазу, с джентльменскими манерами, слегка отзывавшимися фатовством. Я думал, что это какой-нибудь богатый и светский юноша, и был очень удивлен, когда узнал, что это — Тургенев.

О Тургеневе я много слышал от Грановского и других, познакомившихся с ним за границей. Грановский, встречавший его в Берлине у Фроловых, отдавал справедливость его уму, но вообще отзывался о нем не совсем благосклонно. Он до самого конца жизни не питал к нему большой симпатии. Я слышал также от многих, что Тургенев имеет блестящее образование, страсть к литературе и пишет очень недурные стихи.

Тургенев скоро сблизился с Белинским и со всем нашим кружком. Все, начиная с Белинского, очень полюбили его, убедившись, что у него при его блестящем образовании, замечательном уме и таланте — сердце предоброе и премягкое.

Тургенев начал свое литературное поприще элегиями и поэмами, которые всем нам тогда очень нравились, не исключая и Белинского.

«Отечественные записки» приобрели в Тургеневе замечательного сотрудника; кружок наш — блестящего и образованного собеседника, хорошо знакомого с иностранными литературами, слегка посвященного в тайны немецкой философии, и мастерского рассказчика, увлекавшегося иногда через край своей прихотливой и поэтической фантазией...

Тургенев не изъят был в это время от мелочного светского тщеславия и легкомыслия, свойственного молодости. Белинский прежде всех подметил в нем эти слабости и зло подсмеивался иногда над ними. Надо заметить, что Белинский был беспощаден только к слабостям тех, к которым он чувствовал большое сочувствие и большую любовь.

Тургенев очень уважал авторитет Белинского и подчинялся безусловно его нравственной силе... Он даже несколько побаивался его.

Белинский рассказывал множество презабавных выходок с ним Тургенева. Я помню между прочими следующую:

Во время поездки Белинского за границу он встретился где-то в Германии с Тургеневым. Тургенев, видя болезненное его расстройство и тоску, дал ему слово не покидать его...

— Вы соскучитесь со мною, я не хочу стеснять в а с , — заметил ему Б е л и н с к и й , — лучше не давайте слова.

Тургенев начал клясться, что он ни за что не оставит его...

Он прожил с ним таким образом дней пять... Тоска тайно томила его, ему хотелось вырваться на свободу, но сознаться в этом Белинскому он ни за что не решился. На шестой день он тихонько вынес свой чемодан и тайком уехал в Англию, не простившись с Белинским [50] . . . .

Белинский очень горячо любил всех своих петербургских приятелей; они благоговели перед ним, смотрели на него, как на своего учителя, слушали его не переводя дыхание и принимали на веру каждую его строчку, каждое его слово. Каждый из них готов был за него в огонь и в воду, но из них не было ни одного, который бы мог вступать с ним в состязание относительно теоретических вопросов, а для кипучей, деятельной натуры Белинского обмен мыслей, спор, состязание с бойцом равной силы были потребностию... И потому Белинский часто скучал в своем кружку и, чтобы сколько-нибудь удовлетворить свою потребность, за отсутствием живого слова, писал длинные послания к своим московским друзьям о разных вопросах, тревоживших его... И когда кто-нибудь из них, особенно Искандер или Грановский, приезжали в Петербург, он, как говорится, отводил с ними душу. Появление Тургенева оживило его. В нем он мог найти до некоторой степени удовлетворение своей потребности и потому сильно привязался К нему. Впрочем, Белинский никогда ни на кого из своих петербургских друзей не смотрел с высоты своего авторитета и никому из них не дал ни разу почувствовать своего превосходства; напротив, он отыскивал в каждом лучшие его стороны, даже преувеличивал их.

Он высоко ценил в Языкове кротость его характера, мягкость сердца, бесконечную преданность его друзьям и отсутствие эгоизма, доходившее до пренебрежения собственных выгод; в Анненкове он восхищался *разумным* эгоизмом, уменьем отыскивать себе наслаждение и удовлетворение во всем — и в природе, и в искусстве, и даже во всех мелочах жизни... «Это один из самых счастливейших людей, каких я встречал в жизни, — говорил про него Белинский, — здоровая, цельная натура, не испорченная этой поганой рефлексией, которая была развита в нашем московском кружке до болезненности». На Кавелина он смотрел с любовию, как на благородного, пылкого, без меры увлекающегося и доверчивого юношу, и замечал иногда с улыбкою: «Одно только беда, что ведь он до старости останется таким!»

Кавелин, только что переселившийся тогда в Петер-

бург, поселился на одной квартире с Н. Н. Тютчевым с Кульчицким.

В этой квартире Белинский до своей женитьбы обыкновенно отдыхал от своих занятий. Две недели в месяц он почти не выпускал пера из рук и не отходил от своего стола; другие две недели отдавался развлечению. Развлечение это большею частию состояло в преферансе по 3 к., до которого Белинский был страстный охотник... Чаще всего мы собирались вечером на преферанс в квартире трех приятелей. Кульчицкий, очень добрый малый (умерший за два года до смерти Белинского в чахотке), известен был кое-какими журнальными статейками и шуточным трактатом о преферансе. Он был искренно привязан к Белинскому и всеми силами старался угождать ему. Он приготовлял обыкновенно карточный стол за полчаса до нашего прихода, сам тщательно вычищал зеленое сукно, так что на нем не было ни пылинки, клал на него четыре превосходно завостренных мелка и колоду карт.

Когда мы с Белинским входили, Кульчицкий торжественно обращался к Белинскому, подводил его к столу и восклицал:

— Как вы находите это зеленое поле?.. Не правда ли, это радует сердце?

Белинский приятно улыбался, — и мы, по требованию его, немедля приступали к делу...

...Белинский привязывал к себе не только людей мыслящих, вполне понимавших его и разумно ему сочувствовавших, но и людей самых нехитрых, не имевших никакого понятия об отвлеченных предметах. Незадолго до этого к нему привязался некто князь Козловский, человек очень слабый духом, но геркулес по физической силе: он ломал кочерги, свертывал в трубку целковые и тому подобное... [51] Князь Козловский ухаживал за Белинским во время пребывания своего в Петербурге, как нянька за ребенком, и всякий день на столе Белинского появлялись какие-нибудь сюрпризы: то окорок ветчины, то какая-нибудь необыкновенная колбаса, то бутылка бургонского.

Князь Козловский отправился потом в Крым вместе с князем А. Н. Голицыным, который и умер на его руках. Голицын завещал ему кое-какие вещи, и Козловский, возвратившись в Петербург, все их раздарил Белинскому и его друзьям. . . . .

После женитьбы своей Белинский редко выходил из дому; его болезнь, развиваясь постепенно, стала сильно

тревожить его; он сознавал вполне безнадежность своего положения, как это видно из письма его, которое читатель найдет далее; [52] строгость цензуры по временам делалась невыносима, отношения его к г. Краевскому с каждым днем становились тяжелее... Г. Краевский сделал какую-то ничтожную прибавку к его плате после его женитьбы, все еще ссылаясь на свое стесненное положение и на долги, хотя в это время все его долги были уже выплачены им, что все мы очень хорошо знали...

— Боже мой, если бы я мог освободиться от этого человека, — говорил нам Белинский, — я был бы, мне кажется, счастливейшим смертным. Ходить мне к нему, любезничать, улыбаться в ту минуту, когда дрожишь от злобы и негодования, — это подлое лицемерие невыносимо для меня. В те минуты, когда я сижу с ним, я презираю самого себя; а между тем, что мне делать?.. где выход из этого положения?.. Если бы только вы могли вообразить, с каким ощущением я всякий раз иду к нему за своими собственными, трудовыми, в поте лица выработанными деньгами!

С г. Краевским Белинский и все мы виделись редко. Г. Краевский усиливал себя быть с нами любезным, но внутренно, вероятно, мало питал к нам расположения и должен был чувствовать неловкость в нашем присутствии, сознавая, что мы видим его насквозь. Еще лучше всех из нас он был с Боткиным, на которого иногда находили пароксизмы нежности даже и относительно г. Краевского. Г. Краевский всех нас в душе своей считал *мальчишками,* по крайней мере, это презрительное слово, говорят, вырывалось у него в минуты гнева против нас...

И мы были действительно мальчишками; и *первым мальчишкой* из нас был Белинский. Не сознавая того, что г. Краевский держится одною только духовною силою его и его кружка, что без этой поддержки, без этой силы он, даже при пособии своих друзей Галахова и Мельгунова (да к тому же Межевич перебежал от него в это время тайком к Булгарину), не мог бы продержаться более двух лет с своим журналом, — Белинский и все мы с чего-то воображали, наоборот, что мы зависим от г. Краевского, что нам нет без него спасения, и наперерыв друг перед другом, за ничтожную плату, а некоторые совсем бескорыстно, употребляли все богом данные им способности для обогащения г. Краевского. Лишенные всякого практического смысла, не находя в себе самих достаточной самостоятельности, мы создали себе кумир, укра-

шали его своими приношениями и жертвами, кланялись ему, заискивали его внимания, даже робели перед ним (впоследствии я приведу довольно забавные факты робости некоторых из нас перед г. Краевским), а если осмеливались роптать на него, то исподтишка.

Как же винить кумира за то, что он умел ловко пользоваться положением, ему данным, что он эксплуатировал в свою пользу горячих, но неопытных юношей, которые, связав себя добровольно по рукам и по ногам, отдали себя в его полное распоряжение?

Все кумиры — и гораздо позначительнее — обыкновенно поступают так...

Если бы Белинский и все друзья его, выносившие «Отечественные записки» на своих плечах, в один прекрасный день вдруг одушевились энергией, в полном сознании своих сил пришли к г. Краевскому как власть имеющие и сказали бы ему:

«Милостивый государь! До сих пор мы, по нашей молодости и неопытности, подчинялись вашей грубой силе, которую мы сами же развили в вас нашим добровольным подчинением вам и отречением от собственной воли. Теперь мы сознали, что вы, собственно, — ничего, что вы не имеете самостоятельной духовной силы, а держитесь на поприще журналистики только Белинским и его кружком. Силу, вам данную им, вы употребляли до сих пор исключительно только для своей личной выгоды, вы нас притесняли, эксплуатировали нами, приписывали себе наши труды и щеголяли, как известная птица, павлиньими перьями... Мы чувствуем теперь, что можем обойтись и без вас и начать жить самостоятельною жизнию... Вот вам ваши «Отечественные записки» — управляйтесь с ними как хотите и ищите новых жертв для вашей эксплуатации...»

Что бы отвечал г. Краевский на такую геройскую, неожиданную выходку?

Он, как всякий человек в крайнем положении, вероятно, струхнул бы, стал бы клясться и божиться, что он никогда никого не думал притеснять, что он всегда считал Белинского своим спасителем, предлагал бы ему различные уступки и, в случае упорства Белинского, вероятно, принял бы его в половинную долю, как это он сделал в наши дни с г. Дудышкиным.

Белинский, конечно, растрогался бы этим и согласился, не рассчитав того, что вся материальная часть журнала осталась бы все-таки на руках г. Краевского — и он мог,

как человек ловкий и практический, выводить Белинскому к концу года какие угодно счеты. Все-таки положение Белинского при этом значительно улучшилось бы.

Но ни Белинскому и никому из нас не приходила такая дерзость в голову, да если бы и пришла кому-нибудь, то не могла бы осуществиться, потому что вообще в нас, русских людях, не только не было тогда, но и до сих пор нет, ни малейшего единодушия, никакого esprit de corps *, потому что мы до сих пор только герои на словах, а трусы на деле, потому что нам, в нашей апатии, легче подчиниться кому-то ни было и сносить по рутине эту подчиненность, чем вооружиться на минуту энергией для приобретения себе на целую жизнь независимости и самостоятельности.

Если бы Белинскому и пришла мысль открыто восстать против г. Краевского, то он, наверно бы, встретил противоречие в своих друзьях и не успел бы согласить их на свой подвиг...[53]

Вот отчего разного рода Краевские торжествуют в сем мире и преспокойно загребают жар чужими руками, еще прикидываясь подчас либералами и толкуя о гуманизме!

ИЗ ГЛАВЫ VIII

Белинский вне своего кружка. — Военный историограф. — Обед у Башуцкого и чтение его. — Обеды и вечера А. С. Комарова...

Белинский редко и неохотно выходил из своего кружка, и то по *усильным* просьбам приглашавших его. Он изредка бывал у Одоевского, па вечерах у Михайловского-Данилевского, у Башуцкого, иногда у Струговщикова да в год раз посещал обыкновенно Гребенку, когда тот приезжал звать его на малороссийское сало и наливки. Здесь он встречался с литературными знаменитостями — с Кукольником и с другими... Но он не желал сближаться с ними. Кукольник смотрел на него искоса, с любопытством, с высока своего уже шатавшегося величия и замечал: «Там у *них* (под этим Кукольник разумел г. Краевского), говорят, появился *какой-то* Белинский; он порет им *объективную* дичь, приправленную *конкретностями,* а они думают, что это высшая философия, и слушают его развеся уши». Белинский с своими старыми

* корпоративного духа (*франц.*).

приятелями, Надеждиным и Полевым, не возобновлял сношений в Петербурге... На петербургских литераторов вообще он мало обращал внимания; он знал, что они не терпят его и боятся. Это, впрочем, было приятно его самолюбию. «Этого семинариста (хотя Белинский вовсе не был семинаристом) раздражать *нельзя*, — говорил про Белинского один знаменитый военный историк[54], — с ним надо вести себя тонко и, напротив, стараться смягчать его».

Он искал случая познакомиться с Белинским и, познакомившись, тотчас пригласил его к себе на вечер.

Белинскому было это тяжело, но он не имел духу отказаться. Скрепя сердце он отправился на приглашение историка и, нехотя улыбаясь, обратился ко мне:

— Шутите со мной! я нынче, батюшка, к генералам на вечера езжу.

Вот что передал мне Белинский об этом вечере.

«Я, разумеется, входя уже на лестницу к нему, почувствовал робость, хоть я очень хорошо сознавал, что робеть перед ним было бы смешно и что перед ним, собственно, я бы не сробел, да мне пришло в голову, что у него дочь, да еще, кажется, фрейлина, родственницы разные — светские дамы... потом толпа лакеев в передней, которые так все и вытаращили на меня глаза... Я чувствовал, что я побледнел, когда лакей отворил передо мною дверь в залу. Не успел я сделать шага вперед, как перед самым носом моим очутился его превосходительство с распростертыми объятиями...

— Я, — *говорит*, — не знаю, как и благодарить вас, Виссарион Григорьевич, за то, что вы удостоили меня посещением. Поверьте, что я глубоко ценю ваше внимание *ко мне*... — И пошел, и пошел...

Я сконфузился и пробормотал что-то. Он схватил меня за руку и потащил в гостиную, где сидело несколько незнакомых мне человек: оказалось, что это были какие-то фельетонисты и критики... Между ними сидела его дочь, прехорошенькая, лет семнадцати...

— Надя! Надя! — кричал он *ей*. — Предчувствуешь ли ты, кого я веду за собой?

Надя вскочила со стула, подошла к нам и посмотрела на меня.

У меня так и забилось сердце. Я весь вспыхнул и, чувствуя мучительную неловкость, поклонился ей.

— Это моя дочь, *рекомендую*, — говорил *генерал*, — глубочайшая почитательница всех ваших сочинений (я был

убежден, что она первый раз слышит мое имя и никогда не читала ни одной моей строчки, — от этого я пришел еще в большее смущение)...

— Ведь это Виссарион Григорьич Белинский, — продолжал он, обращаясь к дочери. — Кланяйся ему, да пониже, благодари его за честь, которую он нам сделал. Покажи ему, что мы умеем ценить таких людей, как он. Виссарион Григорьич наш *первый* современный *критик.*

Надя, кажется, улыбалась мне и кивала приветливо головкой, — хорошенько, впрочем, я не видел. В глазах у меня был туман, я совсем задыхался, кровь так и била мне в голову.

Наконец я уселся на стул и только хотел было вздохнуть полегче, как хозяин дома закричал дочери:

— Ну что ж ты... Подай Виссариону Григорьичу трубку, сама набей ее и закури...

— Нет... что это... помилуйте... не беспокойтесь, — пробормотал я, вскакивая со стула и едва держась на ногах...

Но Надя выпорхнула из комнаты, как птица, и через минуту явилась передо мною с чубуком и с зажженной бумажкой...

Я дрожащей рукой схватил чубук и начал тянуть изо всех сил, несмотря на то что никогда не курю; но она держала зажженную бумажку над трубкой, и отказаться от куренья я полагал невежливым.

Я никогда не ужинаю, — ужин, вы знаете, вреден мне; а тут я должен был есть поневоле, потому что и сам он и Надя накладывали мне блюда. Вино для меня — яд, а я и вино принужден был пить, потому что он и Надя его протягивали ко мне свои руки и чокались с моим бокалом... И вино-то еще прескверное!.. Фу!»

Белинский отдувался.

«Я еще до сих пор не могу прийти в себя от этого вечера...» — заключил он.

Когда Белинский ушел после ужина (это рассказывал мне впоследствии один из присутствовавших на этом вечере), — хозяин дома, в присутствии дочери, обратился к остальным гостям своим, допивавшим вино, и произнес, вздыхая:

— Вот, господа, каково мое положение (надо заметить, что к ночи генерал был всегда навеселе). Я должен принимать к себе, ласкать этого наглого крикуна, этого семинариста, который ни стать, ни сесть не умеет в порядочном доме, из одного только, чтоб он не обругал меня

публично... Ведь, согласитесь, в моем чине... я генерал-лейтенант, с моим именем, с моими связями быть обруганным — это ведь невозможно перенести... Если бы не это, я и на порог своего дома не пустил бы его...

Генерал имел обыкновение отзываться таким образом о каждом своем госте тотчас по уходе его. Белинский узнал это впоследствии и, разумеется, уже более никогда не появлялся к нему, несмотря на все мольбы Данилевского и любезные угрозы прислать за ним свою Надю.

Белинский не только между такими генералами, но вообще в кругу людей мало знакомых ему, которых он изредка встречал у своих приятелей, терялся, робел, чувствовал себя неловким, скучал; но если разговор касался вопросов, задиравших его за живое, и кто-нибудь из присутствовавших дотрогивался неловко до его убеждений, Белинский вспыхивал, разгорячался, выходил из себя и приводил в ужас своими резкими и крайними выходками тех, которые мало знали его...

Литературных вечеров и чтений он не терпел...

Однажды А. П. Башуцкий, с которым Белинский познакомился у меня, напал на него с убедительною просьбою, чтоб он выслушал несколько отрывков из его романа «Мещанин», уверяя, что он более всего дорожит его мнением и верует безусловно в его эстетический вкус. В сущности, едва ли это было правда. Башуцкий принадлежал к литераторам старой школы, со всеми с ними находился в приятельских отношениях, не исключая и Булгарина, и не мог питать расположения к воззрениям Белинского; но ему надобно было смягчить неумолимого критика, литературного *бульдога,* перед выходом своего романа [55].

Башуцкий пригласил Белинского, меня и Языкова обедать к себе. Белинский долго и упорно отговаривался недосугом, нездоровьем; но любезность Башуцкого и наши просьбы победили его.

Перед обедом я заехал за ним. Он одевался нехотя и ворчал на меня...

— А ну как он вздумает хватить весь роман? — спросил меня Белинский, когда мы остановились перед дверью, чтобы позвонить. — Меня мороз подирает по коже при этой мысли...

Я успокоивал его, что это невозможно.

Обед был прекрасный. После обеда мы отправились в кабинет хозяина; он поместил нас на покойных крес-

лах, кресло Белинского поставил против себя, достал огромную рукопись и после нескольких оговорок начал чтение с первой главы. Белинский взглянул на меня и на Языкова с ужасом.

Чтения самых прекрасных произведений после обеда, когда совершается пищеварение, особенно неудобны для авторов. Башуцкий не расчел этого. Мы с Языковым заснули на половине первой главы... Когда я проснулся и взглянул на часы, было уже девять часов.

— Извините меня, Александр Павлович, — прервал я автора, — я должен ехать, я дал слово... Мне очень жаль, что я лишаю себя удовольствия, — и т. д.

Белинский злобно взглянул на меня.

Я уехал.

На другой день, зайдя к Белинскому, я застал его в самом мрачном расположении.

— Вы поступили со мною самым постыдным образом, — сказал он мне. — Знаете ли, что я до четырех часов должен был высидеть у Башуцкого, не вставая с места. Он прочел мне всю первую часть своего романа. Каково мне было, вы можете себе представить!.. Сегодня я болен, у меня грудь разболелась, в голове черт знает что... Так не поступают приятели. Но уж в другой раз такой штуки вам не удастся сыграть со мной... Я дал себе клятву не поддаваться вперед на такие приглашения и не слушать вас ни в чем...

Белинский, однако, не выдерживал своей клятвы. Один из товарищей моих по пансиону, А. С. Комаров, родственник того А. А. Комарова, который почти принадлежал к нашему кружку, познакомившийся с Белинским через нас, беспрестанно надоедал ему своими приглашениями то на обед, то на вечер.

А. С. Комаров, считавший своею специальностию естественные науки, получал всевозможные иностранные журналы и книги литературные, политические и ученые, выучивал наизусть либеральные стишки и декламировал их на дебаркадерах железных дорог и на гуляньях, бегал по знакомым с политическими новостями, хвастал тем, что он все, что делается в Европе, узнает первый, сообщал в русские журналы разные ученые известия, перевирая их, приставал ко всем с своим либерализмом, вмешивался некстати во все разговоры политические, ученые и литературные, кормил плохими обедами и поил прескверным вином, клянясь, что это самое дорогое вино. В голове этого

господина была страшная путаница; его пустота и легкомыслие превосходили все границы.

Он увивался около Белинского, ухаживал за ним, доставлял ему нужные книги — для того только, чтобы он терпел его и снисходительно принимал его приглашения. Это доставляло ему возможность хвастать потом, что он друг с Белинским и что Белинский без него обходиться не может.

Он завел у себя обеды по вторникам... Попробовав один обед, Белинский объявил Комарову наотрез, что он никогда обедать у него не будет, потому что у него провизия несвежая и вино прокислое, что он человек больной и желудок его не может переносить такой скверной пищи.

— Знаете ли, что у Языкова, — говорил он, — желудок переваривает все на свете, а после одного из ваших обедов он должен был приставлять себе пиявки к желудку.

Комаров всякий раз клялся, что в следующий вторник у него будет тончайший обед и самое дорогое вино от Рауля, и всякий раз был уличаем в хвастовстве.

От обедов его Белинский решительно отказался, но по вечерам он изредка приходил к нему, когда знал, что все мы должны собраться у него, по его настоятельным просьбам и мольбам, от которых мы не умели отделываться.

В один из таких вторников, часов в девять вечера, я зашел к Комарову... Заспанный, старый и небритый лакей снял с меня шубу...

— Да есть ли у вас кто-нибудь? — спросил я лакея.

— Никого, кроме Белинского.

Я вошел в кабинет хозяина. Лампа ярко горела на столе, заваленном книгами и журналами. Белинский лежал на диване лицом к спинке и просматривал «Revue indépendante»; хозяин дома сидел у окна и печально глядел в него, хотя в окне зги не было видно. Тишина была мертвая.

— Что это значит? — спросил я.

Комаров завертелся и заболтал что-то.

Белинский обернулся на мой голос...

— А! наконец-то! — произнес он. — Вы, господа, пренесносные люди: вечно собираетесь по-аристократически, в десятом часу, а я имел глупость прийти сюда спозаранку... Вы удивляетесь, что застали нас в таком положении? Да помилуйте, он мне так надоел (и Белинский указал на хозяина дома), что я уж должен был

просить его оставить меня в покое. Только что я вошел, он не дал мне еще опомниться и, как безумный, бросился на меня и начал мне читать что-то из «Revue indépendante». Я и без вас умею читать, сказал я ему, взял книгу и лег на диван, а он подсел ко мне и смотрит мне прямо в глаза, чего я терпеть не могу. Ну, я и попросил его оставить меня в покое...

Комаров заюлил и завертелся около нас и начал болтать какой-то вздор; между тем собрались наши приятели, и вечер прошел очень живо. Белинский не позволял вмешиваться хозяину дома в разговоры и ушел перед ужином, не внимая мольбам его остаться закусить чего-нибудь.

— Прощайте, господа, — сказал Белинский, — мне очень жаль вас, что вы добровольно хотите отравлять себя.

Комаров снова заюлил, и, когда Белинский ушел, он произнес с насильственным смехом: «А Белинский большой чудак!» — и начал наливать нам в стаканы какое-то темно-синее вино, уверяя, что это лучший лафит...

А.Я.ПАНАЕВА /ГОЛОВАЧЕВА/

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

ИЗ ГЛАВЫ III

...Знакомство с Белинским...

У Панаева было много знакомых в Москве, и он утром делал визиты, а вечером был приглашаем к кому-нибудь в гости. Панаев очень много хлопотал, чтобы московские писатели доставляли свои статьи в «Отечественные записки».

Я видела многих московских литераторов, которые сотрудничали в «Отечественных записках»: Павлова, его жену, Мельгунова, Перевощикова, Хомякова, Каткова и Аксакова. С ними со всеми я хотя познакомилась, но ни с кем не вступала в разговоры по своей робости.

С первым из литераторов я познакомилась с Белинским, на другой же день моего приезда в Москву. Панаев завез меня к Щепкиным, а сам отправился к кому-то на вечер, где должны были собраться московские литераторы. Старшая дочь Щепкина чувствовала себя нездоровой, лежала в постели у себя в комнате наверху и прислала брата за мной. Я нашла в ее комнате молодежь. У печки, прислонясь, стоял белокурый господин; мне его представили, — это был Белинский. Он не принимал участия в общем разговоре, только понюхивал табак, но когда зашел разговор об игре Мочалова, Белинский заговорил, и я запомнила его сравнение игры двух артистов.

— Смотря на Каратыгина, — сказал он, — ни на минуту не забываешь, что он актер; а в Мочалове представляется человек со всеми его достоинствами и пороками.

С Белинским я стала видаться каждый день, он приходил к нам утром, пока еще Панаев не уезжал с визитами, и постоянно беседовал о литературе.

Белинский смотрел на меня, как на девочку, чем я тогда в сущности и была, поддразнивал меня, чем мог. Я сердилась, ссорилась с ним, но скоро мирилась.

Мы жили на Арбате. Белинский нанял себе комнату от жильцов — против нашего дома во дворе — и пригласил нас на новоселье пить чай. Комната была у него в одно окно, очень плохо меблированная.

Я вошла и удивилась, увидя на окне и на полу у письменного стола множество цветов. Белинский, самодовольно улыбаясь, сказал:

— Что-с, хорошо?.. А каковы лилии? Весело будет работать, не буду видеть из окна грязного двора.

Любуясь лилиями, я спросила Белинского:

— А должно быть, вам дорого стоило так украсить свою комнату?

Белинский вспыхнул (он при малейшем волнении всегда мгновенно краснел).

— Ах, зачем вы меня спросили об этом? — с досадою воскликнул о н . — Вот и отравили мне все! Я теперь вместо наслаждения буду казниться, смотря на эти цветы.

Панаев его спросил:

— Почему вы будете казниться?

— Да разве можно такому пролетарию, как я, позволять себе такую роскошь! Точно мальчишка: не мог воздержать себя от соблазна!

Денежные сродства Белинского тогда были очень плохи. Панаеву очень хотелось, чтобы Белинский сделался постоянным сотрудником «Отечественных записок», в успехе которых он принимал самое живое участие. Панаев тогда отдавал в этот журнал свои повести даром. Впрочем, не он один, а были другие литераторы, которые делали то же самое. Вот какие были в те времена аркадские взгляды в литературе.

ИЗ ГЛАВЫ IV

...Переезд Белинского в Петербург...

Мы переехали к Аничкину мосту в угловой дом, против дома Белосельского. Белинский тоже переехал в этот дом, заняв во дворе маленькую квартирку о двух комнатах по черной лестнице [1]. Его квартира выходила окнами на конюшни и на навозные кучи. Солнце никогда не заглядывало в эти окна. Нанимая раньше комнату от жильцов, Белинский жаловался, что ему мешали работать. Здесь же он не слышал постоянных разговоров и шума, да и ему нужно было жить поближе к редакции «Отечественных записок». Белинский каждый день обедал у нас. Его очень утомляли

разборы глупейших книжонок, которыми он должен был заниматься для ежемесячного обозрения. В то время библиография играла важную роль в журналах, о каждой вышедшей книжонке надо было сделать отзыв, и иногда приходилось читать штук двадцать таких книжонок. Белинский приходил к обеду в нервном раздражении и говорил: «Положительно тупею! строчишь, строчишь о всякой пошлости и одуреешь!»

Белинский никуда не ходил в гости, но любил очень театр и очень волновался, если хорошую пьесу плохо разыгрывали. Утром до обеда он писал или читал серьезные книги, после обеда опять уходил работать, а вечером, часов в десять, приходил к нам играть в преферанс, к которому очень пристрастился, сильно горячась за картами. Он все приставал ко мне, чтобы я также выучилась играть в преферанс.

— Гораздо было бы лучше играть с нами в преферанс, чем все читать вашу Жорж-Занд, — твердил он.

В воспоминаниях Панаева упоминается, какого мнения был Белинский об этом авторе, пока сам не стал читать Жорж-Занд в подлиннике.

— Мы и так с вами бранимся, а за картами просто подеремся, — отвечала я. — К тому же вам вредно играть в преферанс: вы слишком волнуетесь, тогда как вам нужен отдых.

— Мои волнения за картами пустяки; вот вредное для меня волнение, как, например, сегодня я взволновался, когда мне принесли лист моей статьи, окровавленной цензором: изволь печатать изуродованную статью! От таких волнений грудь ноет, дышать трудно!

Партнерами Белинского были не литераторы, но эти личности постоянно вертелись в кружке литераторов, который собирался у Панаева.

ИЗ ГЛАВЫ V

Тургенев. — Некрасов. — Женитьба Белинского...

Белинский для своего кружка был нравственной уздой, так что после его смерти все, как школьники, освободясь от надзора своего наставника, почувствовали свободу. Им более не нужно было идеализировать перед Белинским свои поступки, которые на деле были далеки от идеальности, или впадать в самобичевание своих слабостей.

У Тургенева в молодости была слабость к аристократическим знакомствам, и он, бывало, все уши прожужжит, если попадал в светский салон. Он также во всеуслышание рассказывал, когда влюблялся или побеждал сердце женщины. Впрочем, последней слабостью страдали в кружке почти все, хвастались своими победами, и часто опоэтизированная в их рассказах женщина вдруг превращалась в самую прозаическую денежную интрижку. Но иногда их болтливость о сердечных тайнах порядочных женщин влекла за собой печальные последствия.

Панаев упоминает в своих воспоминаниях о том, как Тургенев знакомил Белинского с английской и немецкой литературой, сообщая ему все, что выходило хорошего за границей. Пока Белинский не достиг того, что мог свободно сам читать по-французски, Панаев переводил для него целые тетради из Ламартина, Луи Блана и др.

В начале сороковых годов по утрам в праздничные дни к Панаеву приходил правовед Иван Сергеевич Аксаков и читал ему свои стихи. Панаев с большим сочувствием относился к юному поэту. Он познакомил его с Белинским[2], который поощрял юношу к литературной деятельности и находил, что Иван Сергеевич Аксаков гораздо умнее и талантливее своего брата Константина. Белинский раз, по уходе Ивана Сергеевича, сказал:

— Ах, если бы побольше было таких отцов у нас в России, как старик Аксаков, который сумел дать такое честное направление своим сыновьям, тогда бы можно было умереть спокойно, <в е р у я>, что новое поколение побольше нашего принесет пользы России.

Первый раз я увидела Некрасова в 1842 году зимой, Белинский привел его к нам, чтобы он прочитал свои «Петербургские углы»[3]. Белинского ждали играть в преферанс его партнеры; приехавший из Москвы В. П. Боткин тоже сидел у нас. После рекомендации Некрасова мне и тем, кто его не знал, Белинский заторопил его, чтоб он начал чтение. Панаев уже встречался с Некрасовым где-то.

Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения; голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старее своих лет, манеры у него были оригинальные: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал

руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опускал опять ее. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи.

Белинский уже прочел «Петербургские углы», но слушал чтение с большим вниманием и посматривал на слушателей, желая знать, какое впечатление производит на них чтение.

Я заметила, что реальность «Петербургских углов» коробит слушателей.

По окончании чтения раздались похвалы автору, Белинский, расхаживая по комнате, сказал:

— Да-с, господа! Литература обязана знакомить читателей со всеми сторонами нашей общественной жизни. Давно пора коснуться материальных вопросов жизни, ведь важную роль они играют в развитии общества.

На эту тему Белинский говорил довольно долго.

Сели за преферанс, и Некрасов всех обыграл, потому что его партнеры были плохие игроки. Проигрыш всех не превышал трех рублей. Белинский сказал Некрасову:

— С вами играть опасно, без сапог нас оставите!

По уходе Белинского и Некрасова В. П. Боткин начал ораторствовать. Он считался в кружке за тонкого ценителя всех изящных искусств. Боткин развивал мысль, что такую реальность в литературе нельзя допускать, что она зловредна, что обязанность литературы развивать в читателях эстетический вкус и т. п.

Перешли и к внешности автора, подтрунивали над его несветскими манерами, находили, что его литературная деятельность низменна.

Некрасов переделывал французские водевили на русские нравы с куплетами для бенефисов плохих актеров, вращался в кругу всякого сброда и сотрудничал в мелких газетах.

На другой день, за обедом у нас, у Белинского с Боткиным произошел горячий спор о Некрасове. Белинский возражал Боткину.

— Здоров будет организм ребенка, если его питать одними сладостями! — говорил Белинский. — Наше общество еще находится в детстве, и если литература будет скрывать от него всю грубость, невежество и мрак, которые его окружают, то нечего и ждать прогресса.

Когда коснулись низменной литературной деятельности Некрасова, то Белинский на это ответил:

— Эх, господа! вы вот радуетесь, что проголодались и

с аппетитом будете есть вкусный обед, а Некрасов чувствовал боль в желудке от голода, и у него черствого куска хлеба не было, чтобы заглушить эту боль!.. Вы все дилетанты в литературе, а я на себе испытал поденщину. Вот мне давно пора приняться за разбор глупых книжонок, а я отлыниваю, хочется писать что-нибудь дельное, к чему лежит душа, ан нет! надо притуплять свой мозг над пошлостью, тратить свои силы на чепуху. Если бы у меня было что жрать, так я бы не стал изводить свои умственные и физические силы на поденщине... Я дам голову на отсечение, что у Некрасова есть талант и, главное, знание русского народа, непониманием которого мы все отличаемся... Я беседовал с Некрасовым и убежден, что он будет иметь значение в литературе. У вас у всех есть недостаток: вам нужна внешняя сторона в человеке, чтобы вы протянули ему руку, а для меня главное — его внутренние качества. Хоть пруд пруди людьми с внешним-то лоском, да что пользы-то от них?!.

Боткин стоял на своем, что грубого реализма в литературе нельзя допускать.

Некрасов очень редко бывал у нас в эту зиму, но зато виделся часто с Белинским и стал писать разборы в отделе библиографии «Отечественных записок».

Раз вышла очень смешная сцена. Боткину очень понравился разбор одной книги в библиографии, и он говорил: «Тонко, умно Белинский разобрал книгу, живо, остроумно, прекрасно!» — и при свидании стал хвалить Белинскому его разбор.

— Находите, тонко, остроумно я написал? — спросил его Белинский.

— Прелестно, изящно! — отвечал Боткин.

Белинский рассмеялся и сказал:

— Передам вашу похвалу Некрасову, это он разобрал книгу <...>.

Белинский часто начал прихварывать, очень тяготился своим одиночеством и раз сказал мне:

— Право, околеешь ночью, и никто не узнает! Мне одну ночь так было скверно, что я не мог протянуть руки, чтобы зажечь свечу.

У Белинского не было прислуги, дворник утром убирал ему комнаты, ставил самовар, чистил платье. Я посоветовала ему жениться, потому что видела в нем все задатки хорошего семьянина. Но Белинский мне на это отвечал:

— А чем я буду кормить свою семью? Да и где я найду такую женщину, которая согласилась бы связать свою участь с таким бедняком, как я, да еще хворым? Нет, уж придется мне околеть одинокому!..

Раз Белинский пришел обедать к нам, и я так хорошо изучила его лицо, что сейчас же догадалась, что он в очень хорошем настроении духа, и не ошиблась, потому что он мне объявил, что получил утром письмо из Москвы от неизвестной ему особы, которая интересуется очень его литературной деятельностью.

— Вот и моей особой заинтересовалась женщина, — сказал Белинский.

Я поняла, что это намек на тех лиц кружка, которые трезвонят о своих победах.

— Я никак не ожидал, чтобы мои статьи читали женщины; а по письму моей почитательницы я вижу, что она все их прочла.

— Будете ей отвечать? — спросила я.

— Непременно!

Переписка Белинского с незнакомой ему особой очень заинтересовала его кружок; об этом толковали между собой его друзья и приставали к нему с расспросами. Я всегда догадывалась по лицу Белинского, когда он получал письмо из Москвы [4].

Приехал в Петербург Лажечников. Белинский еще в Москве хорошо был с ним знаком и привел его к нам обедать.

Я очень удивилась, увидя Лажечникова уже седого и почтенных лет. Хотя он был бодрый и живой старик, но все-таки, по тем рассказам о нем, какие я слышала от некоторых литераторов в нашем кружке, я не могла поверить, чтобы Лажечников не прекращал своих ловеласовских похождений. В. П. Боткин привез из Москвы новость о нем, что будто бы Лажечников соблазнил какую-то молоденькую барышню, и она бежала из родительского дома.

Белинский на неделю поехал в Москву с Лажечниковым, чтобы немного отдохнуть от работы [5]. Он вернулся оттуда веселым, бодрым, так что все удивились, но я больше всех была поражена, когда Белинский мне сказал:

— Я вас удивлю сейчас, я послушался вашего совета и женюсь!.. Не верите?.. Я ведь затем и поехал в Москву, чтобы все кончить там.

Я догадалась, что невеста Белинского была та особа, с которой он долго переписывался.

— Пожалуйста, только никому не выдавайте моего секрета, начнут приставать ко мне с расспросами. Я знаю, что в нашем кружке любят почесать язычки друг о друге. Пусть узнают тогда, когда женюсь... Как все приготовлю здесь, она приедет — на другой день повенчаемся. Я вас прошу закупить, что нужно для хозяйства, все самое дешевое и только самое необходимое. Мы оба пролетарии... Моя будущая жена не молоденькая и требований никаких не заявит. Теперь мне надо вдвое работать, чтобы покрыть расходы на свадьбу.

Веселое настроение Белинского, его охлаждение к преферансу, наши совещания о хозяйственных покупках и записки, которые он мне присылал иногда поздно вечером такого содержания: «Умираю с голоду, пришлите что-нибудь поесть; так заработался, что обедать не хотелось, а теперь чувствую волчий аппетит», — все это породило в кружке сплетни на мой счет. Делались тонкие намеки, что Белинский с некоторых пор изменился, что сейчас видно, когда человек счастлив взаимностью и прочее. Я посмеивалась в душе над предположением друзей, но когда, — конечно, из дружбы, — довели до сведения Панаева о моем особенном расположении к Белинскому, то я возмутилась, тем более что это же лицо с наслаждением выдавало все секреты Панаева мне, думая расположить меня к себе, но достигало совершенно противоположного результата, потому что я из многих фактов уже видела, что нельзя верить в дружбу, что приятели Панаева в глаза ему поощряют его слабости, а за глаза возмущаются ими и, выманив у него его тайны, разглашают их всюду. Вследствие этого я держала себя довольно далеко от всех и не пускалась ни с кем в откровенности.

Я сообщила Белинскому о сплетнях его друзей.

— Вот охота вам волноваться о таких пустяках, — отвечал он. — Сами в дураках останутся. Какой это народ странный... нет, что ли, у них других интересов, как заниматься сплетнями, точно простые бабы!

Для свадьбы у Белинского все было готово, он ждал только приезда невесты. Белинский венчался в церкви Строительного училища, на Обуховском проспекте, близ 1-й роты Измайловского полка. Часов в 10 утра он пришел известить меня, что невеста его приехала, и просил, чтоб я отвезла ее в церковь к 12 часам. Панаева ошеломила просьба Белинского приехать в церковь и захватить когонибудь еще в свидетели из общих коротких знакомых. «Кто

же женится?» — спросил Панаев. «Я, я женюсь!» — смеясь, ответил Белинский. Когда Панаев начал приставать с расспросами, то Белинский ему ответил: «В церкви увидите!» Белинский не мог нанять другую квартиру и остался на своей холостой. Я пришла к Белинскому и познакомилась с его невестой. Он шутя говорил: «Задал я теперь своим приятелям работу, без конца будут судить и рядить о моей женитьбе».

Панаев не утерпел и вместо одного свидетеля привез в церковь троих, хотя Белинский и просил его до завтра не объявлять никому о его женитьбе [6]. В церкви Белинский был весел, но когда я возвращалась домой в карете с молодыми, то он сделался молчалив, у него заболела грудь; но боль скоро прошла, и он опять повеселел. Молодые непременно хотели, чтоб я выпила с ними чаю. Молодая села разливать чай, а Белинский, расхаживая по комнате, шутливо говорил:

— Вот я теперь женатый человек, все свои дебоширства должен бросить и сделаться филистером.

Смешно было слышать, что Белинский говорил о своих дебоширствах; я в том же шуточном тоне отвечала, что ему надо бросить разорительную игру в преферанс.

— Ну, уж наставление мне читаете, как почтенная посаженая мать! — смеялся он.

Белинский всегда писал стоя у конторки; долго сидеть он не мог, потому что у него тотчас разбаливалась грудь. Когда он подошел к конторке и взялся за перо, я его спросила, неужели он хочет писать.

— Не хочу, а должен, в типографии ждут набора, терпеть не могу, когда за мной остановка. Находите, что молодому неприлично работать? Успокойтесь, у меня жена не девочка, не надуется на меня за это. Вы разговаривайте, мне еще веселее будет писать.

Но Белинскому не удалось заняться: кухарка, нанятая мной для молодых, так начадила в кухне, которая была возле, что Белинский закашлялся, бросил работу, и мы удалились в другую комнату, — надо было отворить форточку и двери в сени, чтобы уничтожить чад.

Белинский, смеясь, сказал мне:

— Вами рекомендованная кухарка, должно быть, нарочно начадила, найдя тоже, что молодому неприлично в день свадьбы работать.

Женитьба Белинского произвела сильное волнение в кружке; все были поражены такой новостью, некоторые его

приятели даже обиделись на то, что Белинский скрыл от них свое намерение. Разговорам об этом не было конца.

Теснота квартиры, частая перемена дешевых кухарок и всякие хозяйственные мелочи, неизбежные в том хозяйстве, где должны беречь каждую копейку, волновали Белинского, и он иногда задавал мне вопрос: «Да неужели нельзя найти порядочную кухарку, не пьяницу, не крикунью-грубиянку?»

Я ему растолковывала, что хорошая кухарка будет дорога да и не станет спать у самой плиты и стряпать в полутемной кухоньке.

— А-а!.. значит, я должен помириться с своей домашней обстановкой! Нечего мне и волноваться, что в два месяца у нас переменилось восемь кухарок. Теперь на их грязь и грубости я буду смотреть спокойно, только приму меры, буду затыкать уши канатом, когда начнется руготня в кухне.

Через год у Белинского родилась дочь, расходы увеличились[7]. На лето он переехал на дачу около Лесного или куда-то недалеко от города. Что это была за дача! Изба, перегороженная не до потолка, в которой с одной стороны была кухня, а с другой — его комната, вроде чуланчика, где он работал и спал. В жаркие дни можно было задохнуться от духоты па этой даче, а в дождливые — продрогнуть до костей от сырости и сквозного ветра, дувшего из щелей пола и из стен.

Те литераторы, которые не видели Белинского в этой обстановке, только и могут писать в своих воспоминаниях о нем, что в нем развилась чахотка не от лишений, а от его нервного характера. В кружке близких его друзей были некоторые лица с хорошими средствами, но им в голову не приходило прийти на помощь Белинскому, когда он нуждался, а Белинскому также не приходило в голову обращаться к ним. Если ему не хватало денег, чтобы дотянуть месяц, он всегда сначала осведомлялся у меня: «Есть ли у Панаева лишние деньги?» — и, заняв, спешил отдать свой ничтожный долг, как только получал сам деньги за работу.

ИЗ ГЛАВЫ VI

...Фестиваль у Тургенева. — Белинский о крепостном праве... — Бакунин.

В сороковых годах наложена была плата на заграничный паспорт в 500 рублей, с целью ограничить число уезжающих русских, стремившихся пожить в Европе. Только

те освобождались от этой платы, кто представлял свидетельство от авторитетных докторов, что болезнь их пациента безотлагательно требует лечения заграничными водами. Понятно, что все богатые люди добывали себе легко такие свидетельства и даром получали паспорты. Панаев мечтал давно о путешествии за границу, тем более что его приятели, бывшие в Париже, описывали парижскую жизнь, как Магометов рай.

В то время все русские помещики, когда им нужны были деньги, закладывали в Опекунский совет своих мужиков; то же сделал и Панаев для своей поездки за границу. Программу путешествия он составил обширную: ему хотелось побывать во всех замечательных городах Франции, Италии, Германии и Англии.

Пока совершалась формальная процедура заклада крестьянских душ, некоторые знакомые из кружка уже поехали за границу: Огарев, В. П. Боткин, два знакомых помещика, которые также ехали на деньги заложенных своих крестьян. Оба помещика не знали ни одного иностранного языка и, как маленькие дети, заучивали французские фразы, самые необходимые для разговоров с отельной прислугой. Впрочем, они ехали с В. П. Боткиным, перед которым до смешного благоговели, и каждое его слово для них было законом. Белинский, слушая толки о поездках за границу, сказал!

— Счастливцы, а нашему брату батраку разве во сне придется видеть Европу! А что, господа, если бы какого-нибудь иностранного литератора переселить в мою шкуру хотя бы на месяц — интересно было бы посмотреть, что бы он написал? Уж на что я привык под обухом писать, а и то иногда перо выпадает из рук от мучительного недоумения: как затемнить свою мысль, чтобы она избегла инквизиционной пытки цензора. Чуть увлечешься, распишешься, как вдруг известная тебе физиономия злорадно шепчет на ухо: «Строчи, голубчик, строчи, как попадется мне корректура твоей статьи, я вот тут и поставлю красный крест и обезображу до неузнаваемости твою мысль». Злость берет, делаешь вопрос самому себе: и какой же ты писатель, что не смеешь ясно излагать свою мысль на бумаге? Лучше иди рубить дрова, таскай кули на пристани. После такого физического труда хоть спал бы мертвым сном, а после своей работы до изнеможения сил — ляжешь и целую ночь глаз не сомкнешь от разных скверных мыслей. Ведь в са-

мом деле, какую пользу можешь принести своим писаньем, если уподобляешься белке в клетке, скачущей на колесе.

Перед отъездом за границу лето мы проводили в Петербурге, и Белинский также [8]. Тургенев жил на даче в Парголове, часто приезжал в город и останавливался у нас, так как не имел городской квартиры.

Тургенев восхищался своим поваром, которого нанял на лето, описывал, какие тонкие обеды он готовил, когда Тургенев приглашал к себе на дачу своих знакомых.

— Небось графов и баронов угощаете тонкими обедами, а своих приятелей — литераторов не приглашаете к себе, — шутя заметил Белинский.

Тургенев обрадовался этой мысли и пригласил всех к себе на дачу на обед, говоря, что он сделает такой фестиваль, какого мы не ожидаем. День он назначил сам и требовал от всех честного слова, что приедут к нему.

— Мы-то приедем, а вот вы-то не удерите с нами такую штуку, как зимой: созвали нас всех на вечер, а сами не явились домой! — сказал Белинский.

С Тургеневым не раз случалось, что он пригласит приятелей к себе и по рассеянности забудет и не окажется дома.

Белинский сказал, прощаясь, Тургеневу: «Я за день до нашего приезда напишу вам, чтобы вы не забыли своего приглашения».

День был жаркий, когда мы в 11 часов, все шесть человек приглашенных, отправились в коляске в Парголово. Все были утомлены от жары и пыли в дороге. Подъехав к даче Тургенева, все радостно вздохнули и стали выходить из коляски; но всех поразило, что Тургенев не вышел нас встретить. Мы вошли в палисадник и стали стучаться в двери стеклянной террасы. Мертвая тишина царила в доме. У всех лица повытянулись. Белинский воскликнул: «Неужели Тургенев опять сыграл с нами такую мерзкую штуку, как зимой?»

Но его успокаивали, предполагая, что Тургенев, вероятно, не ожидал так рано нашего приезда.

— Да я писал ему, что мы в час будем у него. Это черт знает, что такое! Хоть бы в комнату нас впустили, а то жарились в дороге на солнце и стой теперь на припеке, — горячился Белинский.

Наконец выскочил из ворот какой-то мальчик, и все на него набросились с вопросами. Оказалось, что барин ушел, а его повар сидит в трактире. Дали мальчику денег, чтобы он сбегал за поваром и привел его отворить дверь. Маль-

чик убежал, а мы в ожидании уселись на ступеньках террасы. Повар не являлся. Белинский настаивал ехать домой. Мы уехали бы, но кучер нашей коляски не соглашался везти нас обратно, пока не отдохнут его измученные лошади. Поневоле надо было сидеть у запертой дачи. Все проголодались; Панаев и двое из приехавших отправились в трактир посмотреть, нельзя ли достать чего-нибудь поесть. Тогда Парголово было настоящей деревней, еду трудно было достать. Панаев вернулся и объявил, что в трактире никакой еды нет, да и такая грязь, что противно кусок хлеба взять в рот. Все еще питали надежду, что Тургенев вернется домой. Я не рассчитывала на обед, понимая, что если повара нет дома, так какой же можно приготовить обед, когда уже был второй час, да и провизии негде достать: в Парголове только рано утром запасались всем у разносчиков, объезжавших дачи. Я пошла в избу к хозяйке дачи, купила у нее яиц, молока, хлеба. В это время явился повар. Белинский накинулся на него с вопросом, где его барин. Повар отвечал, что не знает.

— А обед тебе сегодня заказан барином? — допрашивал Белинский.

— Никак нет-с!

Изумление и испуг выразились на всех лицах. Белинский весь вспыхнул, многозначительно посмотрел на всех и неожиданно разразился смехом, воскликнув:

— Вот так задал же нам фестиваль Тургенев!

Все тоже рассмеялись над комическим своим положением.

— Я-то дурак! — говорил Белинский, — хотел провести приятно день на даче! — и, обратись к повару, продолжал: — Иди, любезный, отыщи своего барина, где хочешь, и приведи его домой.

Панаев и другие послали повара к священнику, так как Тургенев уже сообщил им, что он ухаживает, не без успеха, за хорошенькой дочерью священника и постоянно там сидит.

Мы пошли на берег озера, в ожидании прихода Тургенева уселись в тени под деревом и любовались природой. Белинский лежал на траве и вдруг произнес:

— Как легко мне дышится, не то что в городе. Какая обида, что и одного дня не мог провести как добрые люди; что-нибудь да взбесит тебя.

Вскоре пришел Тургенев и стал божиться, что мы сами виноваты, что он ждал нас завтра. Его спросили о письме

Белинского. Тургенев уверял, что никакого письма не получил.

— Хорошо, — сказал Белинский, — без оправданий обойдемся. Благодарите бога, что вы мне не попались на глаза в первую минуту, я бы вас раскостил на все корки. Теперь нервы мои успокоились, и я не хочу вновь их раздражать. Сейчас уедем в город.

Тургенев начал упрашивать остаться и сказал, что обед уже заказан.

— А в котором часу вы нас накормите? чай, вечером? — спросил Белинский шутливым тоном.

Тургенев отвечал в том же тоне, что его повар всемогущий и обед будет годов к пяти часам. Тургенев употребил все усилия, чтобы занять гостей, и успел в этом; между прочим он предложил стрелять в цель. Все пошли на его дачу, и Тургенев нарисовал углем на задах старого сарая человека и обозначил точкой сердце. Никто из его гостей не умел стрелять. Белинский каким-то образом с первого выстрела попал в самую точку, где было обозначено сердце. Он, как ребенок, обрадовался и воскликнул: «Я теперь сделаюсь бретером, господа!» Но затем стрелял так неудачно, что даже ни разу не попадал в фигуру. Стрельба продолжалась долго; легкий завтрак дал себя почувствовать, и все ждали нетерпеливо обеда. В шесть часов Белинский обратился к Тургеневу с вопросом:

— Что же ваш всемогущий повар не подает обед? Мы голодны, как волки.

По обеду, приготовленному на скорую руку исключительно из старых тощих куриц, нельзя было судить о кулинарном таланте повара. Тургенев, сознавая это, сказал:

— Господа, в воскресенье приезжайте ко...

Но ему не дали окончить фразы, все покатились со смеху, и сам Тургенев присоединился к общему смеху. Белинский едва мог отдышаться от хохота, воскликнув:

— Тургенев, вы наивны, как младенец! Нет! уж старого воробья на мякине не надуете.

Новое приглашение Тургенева всех развеселило, и шуткам не было конца. Тургенев смешил, рассказывая свое положение, когда его повар в испуге прибежал и объявил, что гости приехали к нему на обед, и в каком он страхе шел к озеру.

Погуляв по парку, выпив чаю, мы поехали в город и продолжали смеяться над фестивалем, который нам задал Тургенев.

Перед отъездом за границу Панаев находился в очень затруднительном положении с крепостной прислугой, которая энергически протестовала, когда он хотел им дать паспорты с тем, чтобы они шли на места, пока он будет находиться за границей; оброка с них он не требовал. Я упрашивала Панаева дать им всем волю. На меня раздел дворовых произвел такое неприятное впечатление, что я тяготилась видеть около себя крепостных, да и эгоистическое чувство подсказывало мне — избавиться от грубой, ленивой и пьющей прислуги, которая вечно была недовольна, вечно заявляла массу требований. Панаев отпустил на волю всю свою прислугу. Белинский, узнав об этом, сказал Панаеву:

— За это, Панаев, вам отпустится много грехов. Признаюсь вам, всякий раз, как ваш мрачный Андрей отворял мне дверь, я опускал свои глаза долу, чтоб не видеть его озлобленного, протестующего взгляда на свое рабство.

В нашем кружке все считали крепостное право бесчеловечным с гуманной точки зрения, но относились к помещичьей власти пассивно, так как большинство состояло из помещиков. Впрочем, и в интеллигентном обществе России сороковых годов тоже преобладал элемент помещиков. Гуманные помещики старались не входить в близкие отношения с своими крепостными мужиками и имели дело с ними через посредство своих управляющих и старост. В кружке же писателей все были поглощены литературными интересами и общечеловеческими вопросами. Встречались и такие помещики в кружке, которые из гуманности своих воззрений считали долгом иметь непосредственные сношения с своими крепостными мужиками и жили в своих имениях, наезжая только зимой в Петербург. Один из таких гуманных помещиков бывал в кружке литераторов и всегда докторальным тоном ораторствовал о своих многотрудных обязанностях, о невежестве мужика и не без гордости рассказывал свои столкновения с губернской администрацией, которая вмешивалась в его помещичьи права и мешала ему в его предприятиях для блага своих крестьян.

Раз гуманный помещик долго ораторствовал о своей борьбе с чиновниками и сказал:

— Меня утешает одно, что на меня мои мужики смотрят, как на родного их отца, видя, что я пекусь о них, как о своих детях.

— А я не верю в возможность человеческих отношений раба с рабовладельцем! — возразил Белинский. — Рабство такая бесчеловечная и безобразная вещь и такое имеет развращающее влияние на людей, что смешно слушать тех, кто идеальничает, стоя лицом к лицу с ним. Этот злокачественный нарыв в России похищает все лучшие силы для ее развития. Поверьте мне, как ни невежествен русский народ, но он отлично понимает, что для того, чтобы прекратить свои страдания, нужно вскрыть этот нарыв, очистить заражающий, скопившийся в нем гной. Конечно, может, наши внуки или правнуки будут свидетелями, как исчезнет этот злокачественный нарыв: или народ сам грубо проткнет его, или умелая рука сделает эту операцию. Когда это совершится, мои кости в земле от радости зашевелятся!

Лицо Белинского имело при этом какое-то вдохновенное выражение.

Гуманный помещик заметил ему:

— Вы говорите о будущем, а я — о настоящем и считаю себя более компетентным судьей, так как посвятил себя для защиты беспомощного мужика, находящегося в совершенно диком невежестве, иначе из него высосало бы всю кровь уездное крапивное семя.

— А вы не высасываете пот и кровь из своих крепостных? Да что об этом толковать! Позорное рабство никакими красками не прикрасишь.

Гуманный помещик разгорячился и возразил:

— Сейчас видно, что вы, сидя в Петербурге, сплеча рубите все самые сложные общественные вопросы. Без подготовки нельзя дать свободу русскому мужику, это все равно что дать нож в руки ребенку, который едва умеет стоять на ногах, он сам себя порежет.

— Пусть его порежется сам, чем другие пытают его, вырезывая по куску мяса из его тела да еще хвастая, что эту пытку делают для его же блага!

Гуманный помещик быстро встал и дрожащим голосом сказал:

— Вы сегодня в таком раздраженном состоянии, что с вами невозможно ни о чем говорить.

Затем он взял шляпу, простился со всеми и ушел. По его уходе все набросились на Белинского, обвиняя его в резкости. В. П. Боткин начал читать Белинскому нотацию о приличии и уверял, что он не знает русского мужика так хорошо, как его знает гуманный помещик.

Белинский расхаживал по комнате и вдруг, остановившись, произнес:

А глядишь: наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей![9]

— Давно меня мутило слушать этого краснобая-помещика, и я вовсе не сожалею, что оборвал его нахальное хвастовство. Пусть знает, что не всех можно дурачить! Светскости во мне нет, так нечего об этом и разговаривать, господа!

По уходе Белинского приятели долго еще рассуждали о его резкости, и В. П. Боткин предложил завтра же всем сделать визит гуманному помещику <...>

Бакунин при прощании просил меня сообщить Белинскому об одном проекте, который он задумал. Он часто говорил со мной о Белинском и сожалел, что тот напрасно тратит свои силы и способности, пытаясь втиснуть в узкую рамку литературы свою деятельность, что его могут удовлетворять односторонние литературные интересы.

— Он жестоко *ошибается*, — говорил *Бакунин*. — В нем клокочут самые животрепещущие общечеловеческие вопросы. Он преждевременно истлеет от внутреннего огня, который постоянно должен тушить в себе. Непростительно такому даровитому человеку, подобно беспутному моту, расточать свое духовное богатство без пользы. Возможно ли человеку свободно излагать свои мысли, убеждения, когда его мозг сдавлен тисками, когда он может каждую минуту ожидать, что к нему явится будочник, схватит его за шиворот и посадит в будку! Право, смешно и даже обидно смотреть, что человек при такой обстановке лезет из кожи, дурачит самого себя надеждами, что может что-нибудь сделать для общей пользы. Ужасная минута ожидает Белинского, когда он, искалеченный физически и нравственно, вдруг прозрит, что его деятельность, над которой он столько лет медленно изнывал, гроша не стоит!

Когда мы вернулись в Петербург, Белинский пришел к нам в тот же вечер[10].

Я нашла в нем большую перемену: он похудел, сгорбился и сильно кашлял; какая-то апатия появилась в нем.

Мне удалось только на другое утро сообщить ему то, что просил меня передать Бакунин. Белинский выслушал меня и сказал:

— Я знаю без него, что истлею преждевременно при тех условиях, в которых нахожусь; но все-таки не намерен осуществить его план. Между ним и мной огромная разница: во-первых, он космополит в душе; во-вторых, с своим знанием языков и энциклопедическим образованием, он может чувствовать твердую почву под своими ногами, где бы он ни очутился. А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы и от моей деятельности, в которую я вложил свою душу? Я так же прекрасно вижу, что не могу принести той пользы, к которой порываюсь, но лучше сделать мало, чем ничего!.. Это он зафантазировался! Ведь это было бы одно и то же, что захотеть развести в Италии березовую рощу, привезти отсюда с корнями большие деревья и посадить на плодотворную почву. Ну, что бы вышло? Завяли бы все деревья! Такова и его фантазия о колонии русских в Париже. Бакунин — блестящий теоретик и слишком увлекается своими отвлеченными фантазиями. Он воображает, что все делается, как в сказке: окунулся Ванька-дурак в чан и вынырнул оттуда красавцем, весь в золоте, и зажил царем!

Белинский круто изменил разговор и начал расспрашивать об общих знакомых русских, которые проживали в Париже.

Белинский приходил каждый день, и мы подолгу беседовали, так как накопилось много разных предметов для разговоров. На мое замечание, откуда у него появилась такая апатия, он ответил:

— Вы молоды, здоровы, у вас надежды есть, а у меня впереди нет просвета да еще никуда не годным калекой становлюсь.

Белинский, узнав, что мы скоро опять уезжаем из Петербурга на лето в Казанскую губернию, так как Панаеву непременно нужно было ехать в свою деревню, с завистью сказал:

— Эк вас носит — из Европы к татарам, а я так привинчен к Петербургу, что даже летом должен задыхаться от духоты, вони и глотать пыль, потому что нанял попросторнее квартиру, и о даче нечего думать. Неужели я никогда не выбьюсь из этой каторжной жизни батрака?.. Тьфу, пропасть! из-за этих пакостных денег — каких только гадостей не испытывает человек!

ИЗ ГЛАВЫ VII

...«Петербургские углы». — Достоевский и его «Бедные люди». — Альманах Белинского «Левиафан»...

Мы вернулись в Петербург, и у нас почти каждый вечер собирались литераторы и нелитераторы. В числе первых появились начинающие свое литературное поприще: Григорович, совсем еще юный — не столько годами, сколько своим характером; Некрасов, который уже сделался близким человеком к Белинскому и был непременным его партнером в преферанс; П. В. Анненков, который тогда еще не был литератором, но очень ухаживал за всеми литераторами.

В Анненкове была одна замечательная черта: в спорах о чем бы то ни было нельзя было никак понять, с кем он согласен из авторитетных лиц; он поддакивал то одному, то другому, и если с кем находился глаз на глаз, то оказывалось, что он разделяет мнение собеседника.

Анненков имел обеспеченное состояние, не служил, но был очень расчетлив. Белинский говорил:

— Я желал бы иметь в своем характере голубиную кротость Майкова и расчетливость Анненкова, которому, если попадет грош в руку, то он его не выпустит, да еще из этого гроша сделает алтын.

Некрасов задумал издать «Петербургский сборник» [11]. Им уже были куплены статьи у некоторых литераторов. Белинский принял горячее участие в этом издании, упросил Панаева написать что-нибудь для сборника, и Панаев написал «Парижские увеселения».

Белинский находил, что тем литераторам, которые имеют средства, не следует брать денег с Некрасова. Он проповедовал, что обязанность каждого писателя помочь нуждающемуся собрату выкарабкаться из затруднительного положения, дать ему средства свободно вздохнуть и работать — чт*о* ему по душе. Он написал в Москву Герцену и просил его прислать что-нибудь в «Петербургский сборник». Герцен, Панаев, Одоевский и даже Соллогуб отдали свои статьи без денег. Кронеберг и другие литераторы сами очень нуждались, им Некрасов заплатил. Тургенев тоже отдал даром своего «Помещика» в стихах, но Некрасову обошлось это гораздо дороже, потому что Тургенев, по обыкновению, истратив деньги, присланные ему из дому, сидел без гроша и поминутно занимал у Некрасова деньги. Об этих займах передали Белинскому. Он, придя

к нам, как нарочно, встретил Тургенева, поджидавшего возвращения Панаева домой, чтобы вместе с ним идти обедать к Дюссо. Белинский знал, что обыкновенно по четвергам в этот модный ресторан собиралось много аристократической молодежи обедать, и накинулся на Тургенева.

— К чему вы разыграли барича? Гораздо было бы проще взять деньги за свою работу, чем, сделав одолжение человеку, обращаться сейчас же к нему с займами денег. Понятно, что Некрасову неловко вам отказывать, и он сам занимает для вас деньги, платя жидовские проценты. Добро бы вам нужны были деньги на что-нибудь путное, а то пошикарить у Дюссо! Непостижимо! как человек, с таким анализом разбирающий неуловимые штрихи в поступках других людей, не может анализировать таких крупных, бестактных своих отношений к людям. Эта распущенность непростительна в таком умном человеке, как вы. Ведь вас заслушаешься, не нарадуешься, как вы рассуждаете о нравственных принципах, которыми обязан руководиться развитой человек, а сами вдруг выкидываете такие коленцы, которые впору ремонтеру. Подтяните, ради Христа, свою распущенность, ведь можно сделаться нравственным уродом. Мальчишество какое-то у вас, как бы тихонько напроказить, зная, что делаете скверно. Сколько раз вас уличали в разных пошлых проделках на стороне, когда вы думали, что избежали надзора. Бичуете в других фанфаронство, а сами не хотите его бросить. Другие фанфаронят бессознательно, у них не хватает ума; а вам-то разве можно дозволять себе такую распущенность!

Тургенев очень походил на провинившегося школьника и возразил:

— Да ведь не преступление я сделал, я ведь отдам Некрасову эти деньги!.. Просто необдуманно поступил.

— Так вперед и обдумывайте хорошенько, что делаете, я для этого и говорю вам так резко, чтобы вы позорче следили за собой.

Белинский сильно привязывался к молодым даровитым людям; ему хотелось, чтобы они заслуживали общее уважение помимо своего таланта, как безукоризненные, хорошие и честные люди, чтобы никто не мог упрекнуть их в каком-нибудь нравственном недостатке. Он говорил: «Господа, человеческие слабости всем присущи и прощаются, а с нас взыщут с неумолимой строгостью за них, да и имеют право относиться так к нам, потому что мы обличаем печатно пошлость, развращение, эгоизм общественной жиз-

ни; значит, мы объявили себя непричастными к этим недостаткам, так и надо быть осмотрительными в своих поступках; иначе какой прок выйдет из того, что мы пишем? — мы сами будем подрывать веру в наши слова!»

Тургенев не простил лицу, выболтавшему Белинскому о его займах у Некрасова, и отплатил болтливому господину той же монетой, да еще с ростовщичьими процентами, разгласив один его некрасивый поступок вне кружка. Меня удивляло, как подобные сплетни друг на друга не мешали их наружным приятельским отношениям. К чему было это лицемерие?

Панаев в своих «Воспоминаниях» рассказывает об эффекте, произведенном «Бедными людьми» Достоевского, и я об этом не буду распространяться. Достоевский пришел к нам в первый раз вечером с Некрасовым и Григоровичем, который только что вступал на литературное поприще [12]. С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета па предмет, а бледные губы нервно передергивались.

Почти все присутствовавшие тогда у нас уже были ему знакомы, но он, видимо, был сконфужен и не вмешивался в общий разговор. Все старались занять его, чтобы уничтожить его застенчивость и показать ему, что он член кружка. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам. Застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно, из одного упрямства противоречил другим. По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и самомнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще с своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его

самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался.

У Достоевского явилась страшная подозрительность вследствие того, что один приятель передавал ему все, что говорилось в кружке лично о нем и о его «Бедных людях». Приятель Достоевского [13], как говорят, из любви к искусству, передавал всем, кто о ком что сказал. Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду.

Он приходил уже к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того чтобы снисходительнее смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками.

Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его «Бедных людях».

— Как можно умному человеку просидеть даже десять минут за таким идиотским занятием, как карты!.. а он сидит по два и по три часа! — говорил Достоевский с каким-то озлоблением. — Право, ничем не отличишь общества чиновников от литераторов: то же тупоумное препровождение времени!

Белинский избегал всяких серьезных разговоров, чтобы не волноваться. Достоевский приписывал это охлаждению к нему Белинского, который иногда, слыша разгорячившегося Достоевского в споре с Тургеневым, потихоньку говорил Некрасову, игравшему с ним в карты: «Что это с Достоевским! говорит какую-то бессмыслицу, да еще с таким азартом». Когда Тургенев, по уходе Достоевского, рассказывал Белинскому о резких и неправильных суждениях Достоевского о каком-нибудь русском писателе, то Белинский ему замечал:

— Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит.

Когда Белинскому передавали, что Достоевский считает себя уже гением, то он пожимал плечами и с грустью говорил:

— Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед. Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного раздражения нервов. Должно быть, потрепала его, бедного, жизнь! Тяжелое настало время, надо иметь воловьи нервы, чтобы они выдержали все условия нынешней жизни. Если не будет просвета, так, чего доброго, все поголовно будут психически больны!

Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: к чему изводить так Достоевского? Но Тургенев был в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского. Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя «Бедных людей», будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому, что он оповестил всю Россию об его существовании, и в стихах повторялось часто «маточка» [14].

С этого вечера Достоевский уже более не показывался к нам и даже избегал встречи на улице с кем-нибудь из кружка. Раз, встретив его на улице, Панаев хотел остановиться и спросить, почему его давно не видно, но Достоевский быстро перебежал на другую сторону. Он виделся только с одним своим приятелем, бывшим в кружке, и тот сообщал, что Достоевский страшно бранит всех и не хочет ни с кем из кружка продолжать знакомства, что он разочаровался во всех, что все завистники, бессердечные и ничтожные люди.

«Петербургский сборник», изданный Некрасовым, быстро разошелся, и он очень сожалел, что не рискнул напечатать его в большом числе экземпляров.

Белинский очень радовался, что благодаря этому Некрасов может освободиться на несколько месяцев от поденщины и писать стихи. Я спросила Белинского, почему он также не издаст подобного сборника, что наверное все московские и петербургские писатели, его друзья, с готовностью дадут материал для его издания.

— Вот что придумали, — отвечал Белинский, — разве я

способен на такие дела? Тут надо уменье; без кредита, типографии и бумаги нельзя приступить к делу, надо вести о разными лицами разговоры и коммерческие переговоры. Я вот до сих пор не сумел и с одним-то сладить, чтобы за свой труд получить прибавку в месяц. Да и я буду мучеником от мысли: вдруг издание не окупится, и у меня на шее очутятся долги. Благодарю покорно, недоставало еще, чтобы я испытал эту пытку. Кому что на роду написано, то и будет; мне, вероятно, выпала доля весь век остаться батраком в литературе и работать на хозяев, чтобы они разживались да подсмеивались надо мной: ишь какой вахлак, Жарит каштаны, а мы у него из-под носу тащим, оставляем ему одну шелуху.

Однако я сказала Некрасову: почему бы Белинскому тоже не заняться изданием книги? Некрасов горячо ухватился за эту мысль, стал уговаривать Белинского, долго его уламывал, наконец уломал. Я догадывалась, что Белинскому не хотелось обращаться к своим приятелям за одолжением лично себе, для других же он охотно это делал. Некрасов взял на себя все хлопоты по изданию и переговоры о кредите.

— Ну, смотрите, Некрасов, если только окажутся у меня долги от этого издания, то я вас прокляну, умирать буду, но не прощу вас.

Некрасов предлагал, что будет кредитоваться на свое имя в типографии и за бумагу, так он уверен, что убытка не будет. Белинский верил, как он выражался, в «спекулятивную жилку Некрасова» и заметно приободрился, когда получил известие из Москвы, что все пишущие его приятели с радостию дадут ему статьи. Некрасов подбивал Белинского издать книгу как можно объемистее и придумал уже название «Альманах Левиафан». Раз, находясь у нас, Некрасов высчитывал расходы по изданию альманаха, а Белинский расхаживал по комнате и слушал; когда же Некрасов высчитал, сколько за всеми расходами может остаться барыша, Белинский остановился и воскликнул:

— Да я буду Крез!.. О, тогда, имея обеспеченное существование на год, я не позволю себя держать в черном теле, предложу свои условия: — Не угодно? Прощайте! — Господи, да неужели настанет такая счастливая минута в моей жизни, что я сброшу с себя ярмо батрака!

Белинский уже торопил Панаева засесть за повесть для его альманаха, говоря:

— Полно вам шляться без дела, пишите. Не забудьте,

весь материал мне нужен к началу сентября, надо, чтобы не было задержки в типографии. Боюсь, чтобы в Москве не было задержки, здесь-то я вас всех, как школьников, засажу работать, а там, за глазами, начнут откладывать, завтра да завтра, и выйдет задержка.

Белинский уже волновался, и когда Тургенев уезжал в деревню, то говорил ему:

— Вы уж, пожалуйста, это лето не увлекайтесь так охотой, а пишите, чтобы рассказ ваш не был с куриный носок, напишите как следует; слава богу, времени у вас будет много, достаточно пошалберничали в Петербурге... Ах, если б вас всех судьба посадила в мою шкуру!

Он рассмеялся от мысли, что было бы с ними.

— Сознайтесь, господа, — продолжал Белинский, — что если бы хорошенько вас засадить за работу, то вы бы прокляли всю литературу! Испробуйте-ка хоть на короткое время — я поеду за вас в деревню, а вы останьтесь в Петербурге да работайте за меня, а я буду наслаждаться и пописывать, как дилетант.

Панаев хлопотал, чтобы набрать побольше петербургских литераторов, которые бы дали свои статьи в альманах Белинского, и с радостью объявлял, получив от кого-нибудь из них обещание. Когда Панаев сказал, что Соллогуб обещался тоже написать что-нибудь для альманаха, то Белинский заметил:

— Наверно, с ножом к горлу к нему пристали, ну и обещал, чтобы отвязаться от вас!.. Вот в Одоевском я уверен, что он от чистого сердца пообещал написать для меня.

Панаев божился, что Соллогуб также охотно пообещался написать.

— Ну, хорошо, верю вам!.. Если все сдержат обещание, то мой альманах оправдает свое чудовищное название [15].

ИЗ ГЛАВЫ VIII

...Возникновение журнала «Современник»... — Герцен в Петербурге. — Белинский за границей. — «Иллюстрированный альманах»...

Некрасов получил письмо от Белинского, который совершенно случайно уехал из Петербурга с Щепкиным, отправившимся на два месяца гастролировать в большие южные города. Перед нашим отъездом из Москвы Щепкин сообщил нам о своем намерении совершить прогулку в провинцию.

— Вот вы бы, Михаил Семенович, — сказал Панаев, — захватили Белинского с собой, ему необходимо проехаться и освежиться.

Щепкин очень обрадовался этой мысли и написал Белинскому, который охотно принял его предложение, тем более что на эту поездку не требовалось расходов. За ужином, по поводу письма, полученного от Белинского, речь зашла о нем. Толстые высказали свое удивление, каким образом до сих пор в кружке Белинского никто из литераторов не начал издавать журнала, хотя бы на паях, как это делается в Париже. Некрасов заметил на это, что многое, применимое за границей, еще недоступно для России.

— Если бы русские литераторы надумали издавать на паях журнал, — прибавил он, — то оправдали бы пословицу: у семи нянек всегда дитя без глазу. Я много раз рассуждал с Белинским об основании нового журнала, но осуществить нашу заветную мечту, к несчастию, невозможно без денег.

— Предприимчивости, как видно, нет в вас, господа, — сказал Толстой.

— Денег нет, да и трудно конкурировать теперь с «Отечественными записками», упрочившими себе твердое положение, — возразил Панаев.

— Да кто его упрочил? Белинский и большая часть сотрудников из его кружка, — заметили Толстые.

— Смешно бояться конкуренции, — подсказал Некрасов, — у «Отечественных записок» могут быть свои подписчики, а у нового журнала — свои. Не испугался же Краевский конкуренции «Библиотеки для чтения» и с грошами начал издавать «Отечественные записки».

— Ему легко было, — возразил Панаев. — Он первые годы даром получал большую часть материала для своего журнала, а если и платил сотрудникам, то ничтожную плату.

— Если такое бескорыстное участие принимали литераторы в успехе «Отечественных записок», как же не рассчитывать на еще большую поддержку новому журналу, где во главе сотрудников будет Белинский? — заметил Толстой.

— Ну, теперь рассчитывать на даровой материал не следует, — сказал Некрасов. — Да не в этом дело, а в том, что без денег нельзя начинать издания.

— А много нужно для начала? — спросил Толстой.

Некрасов стал считать, во что должна приблизительно обойтись каждая книжка журнала.

— За печать и бумагу, — прибавил он, — можно уплачивать половину каждый месяц, а остальную часть перевести на следующий год.

— А если подписка на журнал на следующий год будет плохая, чем же уплачивать долг? — заметил Панаев.

— Почему же не рассчитывать на успех журнала, если добросовестно издавать его и если все друзья-литераторы Белинского приложат свои старания? Риск — дело благородное, потребность к чтению сильно развилась за последние годы. Ведь мне от «Петербургского сборника» предсказывали одни убытки, а если бы я не струсил и напечатал на полторы тысячи экземпляров больше, то все были бы раскуплены. Если бы явился новый журнал с современным направлением, то читатели нашлись бы. С каждым днем заметно назревают все новые и новые общественные вопросы; надо заняться ими не с снотворным педантизмом, а с огнем, чтобы он наэлектризировал читателей, пробудил бы в них жажду к деятельности. Лиха беда начать дело, а продолжать его будет уже легко.

Белинский и Панаев сильно уверовали в литературную предприимчивость Некрасова после изданного им «Петербургского сборника», который быстро раскупался. Оба они знали, с какими ничтожными деньгами он предпринял это издание и как сумел извернуться и добыть кредит.

— Если бы у меня были деньги, — произнес со вздохом Панаев, — я ни минуты не задумался бы издавать журнал вместе с Некрасовым. Один я не способен на такое хлопотливое дело, а тем более вести хозяйственную часть.

— Была бы охота, а деньги у тебя есть! — сказала я, не придавая никакого серьезного значения своим словам.

— Какие деньги? — спросил с удивлением меня Панаев.

— Продай лес и на эти деньги издавай журнал.

Толстые подхватили мои слова и стали приставать к Панаеву, почему бы ему в самом деле не употребить свои деньги на хорошее дело.

— Не увидите, как проживете их, — говорили они.

— Нет, нет! — возразил Панаев, — эти деньги по вашему же совету я внесу в Опекунский совет, чтобы не так тяжело было бы платить проценты за заложенное имение.

Пока у него не было денег в руках, он всегда благоразумно рассуждал об экономии.

— Разрешите Панаеву употребить деньги, вырученные за продажу леса, на журнал, как на дело хорошее? — обратился ко мне Толстой.

— Охотно! — отвечала я.

— Так, господа, по рукам! — воскликнули Толстые, — что тут раздумывать.

— Разве хватит таких денег? — обратился Панаев с вопросом к Некрасову.

— Хватит, хватит! — ответил тот. — Кредитоваться будем.

Панаев протянул руку Некрасову и произнес:

— Идет! Будем вместе издавать.

Толстые розняли руки по русскому обычаю и радостно произнесли «ура!».

Мне не верилось, что из этого разговора выйдет что-нибудь.

Некрасов, весь сияющий, сказал Панаеву:

— Деньги не пропадут, только надо энергически взяться за дело.

Панаев тотчас же заговорил, что надо написать Белинскому, но Некрасов возразил, что прежде надо хорошенько обсудить дело и лучше всего лично переговорить с Белинским. Он упросил Панаева никому из своих приятелей не писать об их планах.

Мы засиделись почти до рассвета, ведя разговоры о новом журнале. Возник вопрос, у кого купить право, так как новых журналов в то время не разрешали издавать. Перебирали разные журналы, которые находились в летаргическом сне, но ни один не оказывался подходящим. Уже стали прощаться, чтобы идти спать, как вдруг Панаев воскликнул:

— Нашел! «Современник»!

Некрасов радостно сказал:

— Чего же лучше! как это сразу не пришел нам в голову «Современник»? — И снова затянулся разговор.

Право на «Современник» принадлежало Плетневу, о которым Панаев давно был знаком. Все так были возбуждены, что забыли о сне. Толстые вставали рано и нашли, что не стоит ложиться спать на каких-нибудь два часа, и потребовали чаю, так что солнце совсем взошло, когда мы стали расходиться. Некрасов, выйдя на террасу, сказал:

— Посмотрите, господа, как великолепно сегодня сияет солнце! После трех дней пасмурной погоды оно предсказывает успех нашему журналу.

Некрасов решил ехать скорее в Петербург, чтобы переговорить с Белинским и начать хлопоты по журналу. Толстые шутили над ним, уговаривая его остаться еще недельки на две, так как в конце августа была самая лучшая охота.

— До охоты ли мне теперь! — отвечал Некрасов, не поняв шутки. — Не знаю, как дождаться того дня, как увижу первый номер «Современника»!

Панаеву же надо было дожидаться денег от продажи леса.

Уезжая из деревни, Некрасов просил Панаева не засиживаться в Москве и не проболтаться о затеваемом деле.

Однако мы прожили в Москве с неделю; от Белинского Панаев получил письмо, где он делал ему строгий выговор за то, что он бьет баклуши в Москве, когда нужно скорее дело делать. Белинский боялся, чтобы Панаев по своей барской привычке не истратил деньги на пустяки. Он убеждал его быть экономным, брать пример с Некрасова, который всецело отдался делу. Белинский писал, что ему иногда не верится, что издание журнала не сон, а действительность, что он ожил и снова почувствовал рвение к работе. «Скорей, скорей приезжайте в Петербург, — писал Белинский, — и сейчас же поезжайте к Плетневу. Так и знайте, Панаев, что, если вы по своей ветрености не приобретете от Плетнева «Современника», я вас прокляну! Я ночи не сплю от страха: ну, если кто-нибудь уже купил у Плетнева право на «Современник»! Легко может случиться, что кому-нибудь другому также пришла мысль издавать журнал. Конечно, «Современник» единственный журнал, который самый подходящий по своей литературной репутации. Пока не покончите с Плетневым, до тех пор не буду спать покойно. Я так напуган всякими скверностями, какие проделывает со мной моя мачеха-судьба, что мне все кажется: какая-нибудь каверза подвернется, и все дело пропадет!.. Дрожь пробирает меня, когда подобная мысль приходит мне в голову. Вы ведь не можете понять, что значило бы для меня теперь расстаться с надеждой работать для «Современника».

Белинский встретил Панаева в день его приезда из Москвы со словами:

— Черт вас знает, зачем вы застряли в Москве. Завтра же отправляйтесь к Плетневу! [16]

Я не нашла, чтобы поездка с Щепкиным принесла Белинскому пользу; хотя он был необыкновенно оживлен, но

припадки кашля очень усилились, так что он долго не мог отдышаться после приступа кашля. Я спросила Белинского, доволен ли он своим путешествием.

— Сто раз каялся, что поехал; хорош отдых — из одного города в другой скакать; всю грудь, все бока отколотило. Приехав в Петербург, думал, что слягу в постель, да Некрасов явился с радостным известием, я и ожил.

В самом деле, никто не сообразил, что для здоровья Белинского утомление от дорог было вредно; тогда еще не было удобных сообщений, и приходилось путешествовать на лошадях.

— Да-с, — самодовольно улыбаясь, говорил Белинский, — и на нашей улице будет праздник! Просветлела моя жизнь, точно тяжелый камень сняли у меня с груди. Теперь я опять почувствовал энергию к работе, в моей голове снова прояснилось, а то она будто была набита рубленой соломой.

— Нет, хороши московские приятели! — заметил Белинский, когда зашла речь о Москве. — Хоть бы один исполнил свое обещание, что по возвращении моем в Москву с Щепкиным они мне вручат свои рукописи для моего альманаха [17]. Ну, хорошо, что подоспел «Современник», а то славно они меня прихлопнули бы. Добро бы люди были занятые, а то сидят сложа руки. Нет, с такими людьми поговорить приятно, но дело с ними иметь беда.

Некрасов купил для «Современника» у Белинского все статьи, обещанные ему его московскими и петербургскими приятелями. За сотрудничество Белинского в «Современнике» была положена плата восемь тысяч рублей в год. Эта цифра сорок лет тому назад казалась баснословной. Сами друзья Белинского удивлялись щедрости издателей журнала, а один из них с жалостью говорил Панаеву:

— Это сумасшествие с твоей стороны — так швырять деньгами.

— Если хорошо пойдет журнал, — отвечал Панаев, — мы еще прибавим; мы сами литераторы, стыдно усчитывать сотрудников.

— Так я тебе предсказываю, что ты гроша не будешь иметь барыша от журнала, если так будешь роскошничать. И что это Некрасов смотрит? — он человек коммерческий. Нельзя, нельзя так вести денежные дела, будет банкротство журнала, помянете меня, да поздно будет, что не послушались моего благоразумного совета. Жаль, очень жаль те-

бя, любезнейший Панаев, — там, где люди наживают деньги, ты прогоришь!

Но за первую же статью, которую поместил в «Современнике», этот благоразумный советник потребовал прибавки за лист, говоря Некрасову:

— Если я отнесу мою статью в «Отечественные записки», так мне с радостью еще дороже дадут, чем я вам назначил цену.

С появлением «Современника» быстро поднялась цена на литературный труд.

На другой же день своего приезда — утром — Панаев отправился к Плетневу. Белинский, в ожидании возвращения Панаева домой, все время страшно волновался, и когда Панаев вернулся, то выскочил в переднюю с вопросом:

— Наш «Современник»?

— Наш, наш! — отвечал Панаев.

Белинский радостно вздохнул.

— Уф! — воскликнул он, — я измучился... мне все казалось, что уже у нас его кто-нибудь переб...

Он не окончил фразы.

Сильный приступ кашля стал душить его. Он весь побагровел от натуги и махал рукой Панаеву, который начал было передавать Некрасову свой разговор с Плетневым. После этих приступов кашля Белинский всегда долго не мог отдышаться и с передышкой произнес:

— Ну... теперь рассказывайте.

Белинский возмутился, услышав, что Плетнев выговаривал себе четыре тысячи в год за право и едва согласился на три [18].

— Нелепое запрещение издавать новые журналы развивает в литературе ростовщичество, но что поделаешь! Надо, господа, соглашаться — пусть его подавится этими тремя тысячами!

Страшным ударом для Белинского было, когда в цензурном комитете нашли, что Панаев и Некрасов не настолько благонадежные люди, чтобы их можно было утвердить редакторами. О редакторстве Белинского нечего было и думать, потому что «Северная пчела» уже несколько лет постоянно печатно твердила о зловредном направлении его статей; беспрестанно писались куда следует доносы, с указанием на статьи, в которых он будто бы проповедует безбожие, безнравственность и глумится над патриархальными чувствами русских и т. д.

Надо было приискать подходящего человека, которому

разрешили бы редактировать «Современник». Обратились к Никитенке, он согласился. Белинский кипятился, что прибавится еще новый тысячный расход от фиктивного редактора, но делать было нечего.

Понятно, что слухи о намерении Некрасова и Панаева издавать «Современник» породили толки в разных литературных кружках. Сначала многие не верили, но потом стала смеяться, говоря, что ничего дельного не выйдет из планов Некрасова и Панаева. Белинскому передавали эти сплетни, и он говорил: «Пусть их смеются и не верят, а как мы им преподнесем первый номер «Современника», так позеленеют от злости». Белинский письменно отказался от сотрудничества в «Отечественных записках», но это была только одна формальность, потому что все знали, что он будет сотрудничать в «Современнике». Некрасов велел печатать объявления об издании «Современника» в громадном числе; они помещались почти во всех тогдашних журналах и газетах. Панаев находил, что это стоит очень дорого и вовсе не нужно, но Белинский ему возражал:

— Нам с вами нечего учить Некрасова; ну что мы смыслим! мы младенцы в коммерческом расчете: сумели ли бы мы с вами устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом, как он? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться. Нам уж в хозяйственную часть нечего и соваться.

Такая масса объявлений об издании «Современника» дала повод литературным врагам глумиться печатно над издателями. Говорили, например, что они апраксинские молодцы, которые с нахальством тащат в свою лавку всякого проходящего и расхваливают свой товар и т. д. Панаев вкусил первые кислые плоды журнальной деятельности; притом же ему задал головомойку его превосходительный дядюшка В. И. Панаев, бывший литератор, воспевавший аркадских пастушков и пастушек. Дядя-генерал находил, что его племянник позорит старинную потомственную дворянскую фамилию, которую имел счастие носить, связавшись с разночинцами и торгашами. В. И. Панаев не признавал современную литературу; по его мнению, Гоголю надо было запретить писать, потому что от всех его сочинений пахнет тем же запахом, как от лакея Чичикова. Он приходил в ужас от того, что «Ревизора» дозволили играть на сцене. По его мнению, это была безобразная карикатура на администрацию всей России, которая охраняет общественный порядок, трудится для пользы отече-

ства, и вдруг какой-то коллежский регистраторишка дерзает осмеивать не только низший класс чиновников, но даже самих губернаторов.

В. И. Панаев занимал видное место по службе, был в генеральском чине, считал себя очень важным лицом в администрации и очень заботился о сохранении почета, который обязаны все оказывать таким лицам.

О Белинском он не мог иначе говорить, как с пеной у рта, потому что тот в своих статьях осмеял прежних слащавых писателей, воспевавших пастушков и пастушек. Авторское самолюбие В. И. Панаева было страшно оскорблено: как осмелился какой-то недоучившийся разночинец смеяться над его литературными заслугами! «Намордник следует надеть такому писаке, — твердил он, — на цепь его посадить, а ему дозволяют печатать. До чего теперь дошла литература! появились в ней разночинцы, мещане! Прежде все литераторы были из привилегированного класса, и потому в ней была благонадежность, сюжеты брались сочинителями нравственные, а теперь мерзость, грязь одну описывают. Распущенность, страшная распущенность допущена, необходимо надо наложить узду на нынешних писак! Просто срам — такое лицо, как Жуковский, сажает мужика в свою коляску, потому что он, видите ли, мужицкие стишки пописывает».

Впрочем, такое мнение о распущенности в литературе высказывал тогда не один В. И. Панаев.

Подписка на «Современник» шла хорошо. Некрасов хотел было значительно понизить подписную годовую плату, но Белинский побоялся, что не хватит денег, и потому плата была назначена в 16 руб. 50 коп. в год, тогда как плата за «Отечественные записки» была 17 руб. 50 коп.

Недоброжелатели всеми способами старались повредить успеху дела, распускали самые неблагоприятные слухи, будто бы издатели нового журнала люди несостоятельные, что деньги подписчиков пропадут и т. д., но это очень мало влияло на ход подписки.

Тургенев, вернувшись поздней осенью из деревни, шумно выражал свою радость по поводу задуманного издания «Современника». Белинский ему заметил:

— Вы не словами высказывайте свое участие, а на деле.

— Даю вам честное слово, что я буду самым ревностным сотрудником будущего «Современника».

— Не такое ли даете слово, какое вы мне дали, уезжая в деревню, что, возвратись, вручите мне ваш рассказ для моего альманаха? — спросил ироническим тоном Белинский.

— Он у меня написан для вас, только надо его обделать...

— Лучше уж прямо бы сознались, что он не окончен, чем вилять.

— Клянусь вам, что осталось работы не более как на неделю.

— Знаю я вас, пойдете шляться по светским салончикам! Кажется, немало времени сидели в деревне, и то не могли окончить!

Тургенев клялся, что с завтрашнего утра засядет за работу и, пока не окончит, сам никуда не выйдет и к себе никого не примет.

Белинский на это ответил:

— Все вы одного поля ягодки; на словах любите разводить бобы, а чуть коснулось дела, так не шевельнут и пальцем... да и я-то хорош гусь! кажется, не первый день вас всех знаю, а имел глупость рассчитывать на ваше обещание... Ну, смотрите, Тургенев, если вы не сдержите своего обещания, что все вами написанное будет исключительно печататься в «Современнике», то так и знайте: я вам руки не подам, не пущу на порог своего дома!

Все присутствующие улыбались на угрозы Белинского.

— Я вас ведь лучше знаю, чем вы сами себя! — продолжал он. — Когда вам приспичит пофорсить перед вашими знакомыми, а в кармане не будет денег, так вы не только побежите запродать свой рассказ в «Отечественные записки», но даже в «Северную пчелу»!

Все расхохотались. Белинский также засмеялся над своими словами и потом продолжал:

— Без шуток, господа, надо всем нам приложить все старание, чтобы «Современник» был хорошим журналом. Вспомните, как все мы вздыхали да охали, что у нас нет своего журнала: ну вот, наше желание исполнилось, так нам и надо сообща стараться, чтобы каждый номер «Современника» был бы полон жизни и честного направления.

— Господа, я первый даю клятву, что ни одной стро-

ки моей не будет нигде напечатано, кроме «Современника»! — воскликнул Тургенев и, обращаясь к Белинскому, сказал: — Неверующий Фома, довольны?

Белинский, улыбаясь, произнес:

— Посмотрим, сдержите ли вы свою клятву.

Панаев поступил легкомысленно в одном деле, которое, в сущности, вредило только ему самому. В его отсутствие приятели заговорили об этом с Белинским.

— Господа! — заметил Белинский — Я думаю, никто из вас так не озлоблялся, как я, на легкомысленность Панаева. Он страшно вредит сам себе и дает ничтожным людишкам, не стоящим подметок его сапогов, повод глумиться над ним. Незлобивостью характера Панаев уподобляется младенцу, теплота его сердца самая редкая в наше время, в которое эгоизм заглушает в людях все человеческие чувства. Я эту сердечную теплоту Панаева испытал на себе. Да, господа, никто из моих приятелей не сделал мне лично столько услуг, как Панаев! Когда я бедствовал в Москве, кто принял во мне самое горячее участие? — Панаев! Заметьте, он только что меня узнал! Ничего не значит, что я часто ругаю его за его мальчишеские замашки и, вероятно, немало еще буду бранить, но в душе я высоко ценю его сердечную теплоту к людям... Вот и теперь, господа, из всего нашего кружка кто осуществил наше желание издавать журнал? Все тот же легкомысленный Панаев! Я не говорю о себе, какое важное значение для меня имеет это предприятие, но оно важно и для всех литераторов, потому что «Современник» положит конец тем ненормальным отношениям сотрудников к журналисту, в которых мы все находились. Необходимо должна быть нравственная связь между журналистом и его сотрудниками, а не хозяина к поденщикам. В нашем кружке находятся люди посолиднее и побогаче Панаева, однако никто не рискнул своими деньгами, никому не пришло в голову издавать журнал. А потому, господа, мы все должны сказать от чистого сердца: «Да отпустятся ему все его вольные и невольные грехи за его отзывчивую и бескорыстную теплоту души!»

Всех присутствующих поразила речь Белинского, потому что никто не обращал внимания на хорошие черты характера Панаева, а все подмечали лишь одни его слабые стороны и почему-то относились к ним с беспощадной строгостью, — особенно те люди, которые сами имели эти же слабости, но в еще большей степени. Беспощад-

ная строгость в кружке к Панаеву легко объяснялась тем, что он не был способен мстить, тогда как о слабостях других боялись и заикнуться, зная наверное, что это не пройдет даром. Белинский раз сердился на Панаева за то, что он хлопотал о месте для одной плутоватой личности.

— Приди к Панаеву его самый злейший враг и попроси похлопотать о нем, он все забудет и будет лезть из кожи, чтобы оказать ему услугу, — заметил при этом случае Белинский.

Все считали как бы обязанностью Панаева оказывать услуги и, кроме него, не обращались ни к кому другому

Когда вышел первый номер «Современника», то Белинский смотрел на книжку с таким умилением, с каким смотрит отец на своего первенца, только что появившегося на свет. По случаю выхода «Современника» был дан обед в редакции, и с тех пор установился обычай, продолжавшийся много лет, — делать обеды сотрудникам каждый месяц.

По тесноте квартиры не было возможности скрыть что-либо, происходившее в редакции «Современника». Любители-вестовщики передавали в редакцию «Отечественных записок», какие статьи заготовляются на будущий номер и что говорится при этом, а затем, прибегая из редакции «Отечественных записок», передавали, что там говорилось о «Современнике» и его издателях, конечно, с разными прибавлениями; все это делалось под видом живого участия.

Белинский сердился, что у Панаева бывает так много гостей.

— Придешь поговорить о деле, а у вас непротолченная труба народу!

Для меня как хозяйки дома было много хлопот. Я должна была принимать гостей, выслушивать всевозможные сплетни, заботиться об обедах, об ужинах и при этом по возможности экономить.

Не помню, в каком месяце, феврале или марте, приехал в Петербург Герцен и остановился у нас[19]. Я удивлялась, как Герцен мог обходиться без сна, потому что выпадали дни, когда он положительно не ложился в постель. Бывало, гости засидятся до двух, трех часов ночи,

а он вдруг вздумает идти освежиться на воздух, возвращается часов в восемь утра и начинает стучаться ко мне в дверь, стыдя, что я так долго сплю, что уже пора пить чай. Когда я выходила, он пресерьезно говорил:

— Знаете ли, самая здоровая вещь — вставать рано утром; посмотрите, какой у меня свежий цвет лица, а все оттого, что я рано встаю.

Когда между Белинским и Герценом завязывался спор, то все присутствующие внимательно их слушали. Герцен, по живости своей натуры, не мог долго усидеть на одном месте и разговаривал всегда стоя. Если Белинский сильно горячился и закашливался, Герцен говорил какую-нибудь остроту, которая смешила Белинского и других, и спор делался хладнокровнее.

Как-то раз, по уходе Белинского, Герцен заметил:

— Господа, а ведь у Белинского кашель-то скверный.

— Да, — отвечал Некрасов, — его кашель пугает нас; необходимо отправить его за границу лечиться.

— Как же вы обойдетесь без него? — спросил Герцен.

— Что делать, как-нибудь обойдемся, нельзя же запускать такой кашель. Ему вредно всякое волнение, а он из всякого пустяка в «Современнике» кипятится.

— Но ведь на отправку его понадобится порядочная сумма денег? — заметил Герцен.

— В этом году трудно будет его отправить, — сказал Панаев, — но на будущий год, вероятно, подписка на журнал увеличится, тогда и явится возможность отправить его лечиться. Только поедет ли?

— Это почему не поедет? — спросил Герцен.

— Точно вы не знаете его деликатности, — отвечал Панаев. — Я было попробовал заговорить с ним о заграничной поездке, так он даже рассердился, укоряя, что мы уже вообразили себя капиталистами; да и «Современник» он ни за что не оставит, хотя Некрасов имеет все данные для того, чтобы хорошо вести журнальное дело, но все-таки может, по неопытности, сделать промах, а при той враждебности, с которой многие литераторы смотрят на «Современник», этот промах даст им возможность разгуляться вовсю над журналом.

Герцен советовал устроить консультацию из лучших докторов, но Некрасов заметил на это, что таким предложением можно очень напугать Белинского.

— Употребите хитрость, пригласите докторов, а его заманите к себе — будто бы по делу.

— Догадается, — сказал Некрасов.

— Можно сказать... ну, хоть... что я для себя созвал докторов, — ответил Герцен.

Все засмеялись.

— Что вы смеетесь, господа, — продолжал он, — право, у меня очень серьезная болезнь — ведь вы сами знаете, что я не сплю по ночам!

Трудно было исполнить совет Герцена относительно консультации докторов, потому что Белинский был убежден, что его кашель происходит просто от застаревшего желудочного катара, и находился постоянно в такой возбужденной деятельности, что не обращал внимания на свое здоровье, а если чувствовал упадок сил, то приписывал это простуде или нервному раздражению от неприятностей

Весной 1847 года Белинский уехал за границу, но неожиданно вернулся в конце августа, тогда как должен был пробыть там до тех пор, пока не установится зима [20].

Белинский пришел ко мне на третий день по своем возвращении. Я очень порадовалась, найдя, что он казался бодрее.

— Таким ли я был молодцом! — сказал мне Белинский. — Я еще измучился от дороги; шутка ли, скакал без передышки в Петербург и в страшном испуге, такую получил из дома телеграмму, думал бог знает что, а оказались все живы и здоровы, только напрасно перепугали меня. Впрочем, теперь я доволен; если уж вернулся, то надо засесть за работу; просто совестно, как я мало наработал в «Современник».

Я не советовала ему слишком налегать на работу.

— Надо же мне поквитаться, — твердил он, — я ужаснулся, когда сосчитал, сколько прожил денег.

Я переменила разговор, чтобы отвлечь Белинского от его личных денежных дел.

— Каков Некрасов, — сказал он, — предлагает какую штуку — издание «Иллюстрированного альманаха»! Ну, коммерческая голова у него! Одного боюсь, что такой альманах будет стоить очень дорого; как бы они не зарвались, и так уже каждая книжка «Современника» обходится почти вдвое дороже против первоначально составленной сметы расходов по журналу. Сколько те-

перь остается денег, чтобы дотянуть год? — спросил он меня.

Я не имела никаких сведений о хозяйственной части журнала. Белинский с самого начала издания «Современника» очень озабочивался денежными делами журнала, боясь, чтобы он не прекратился по недостатку средств. Мысль давать при «Современнике» приложения была новостью в литературе и произвела сенсацию в литературном мире: одни одобряли выдумку Некрасова, другие же печатно набросились на издателей «Современника», обвиняя их в том, что они прибегают к непозволительным средствам для приманки подписчиков, унижают журналистику в глазах публики, вероятно, скоро будут обещать своим читателям по бочонку селедок, по куску мыла и т. и. Можно судить, как обрадовались враги «Современника», когда объемистый «Иллюстрированный альманах», уже процензурованный, был задержан и его вновь начали пересматривать в главном цензурном комитете.

Переворот в Париже 1848 года печально отозвался на русской литературе. Граф Бутурлин был назначен председателем цензурного комитета и получил, как говорили, самые строгие инструкции. «Альманах» в руках цензуры стал чахнуть: из него выбрасывались целые статьи и калечились те, которые оставались. Мое первое произведение «Семейство Тальниковых», помещенное в «Альманахе», обратило особенное внимание Бутурлина. Он собственноручно делал заметки на страницах: «цинично», «неправдоподобно», «безнравственно», и в заключение подписал: «не позволяю за безнравственность и подрыв родительской власти». Бесконечные задержки и перепечатки статей требовали много расходов, но в особенности было неприятно, что старые подписчики за 1847 год и новые за 1848 год сильно претендовали, не получая обещанного приложения, присылали в редакцию запросы и ругательные письма, а цензура не дозволяла напечатать никаких оправданий в задержке обещанного приложения. Газеты и журналы поджигали подписчиков «Современника», уверяя, что издатели их надули, хотя все литераторы отлично знали причины задержки выпуска «Иллюстрированного альманаха»[21]. Некрасову и Панаеву, после усиленных просьб, дозволили только напечатать в журнале просьбу к подписчикам, чтобы они потерпели еще некоторое время, что редакция непременно выдаст приложение под названием «Литера-

турный сборник». Даже прежнего названия не дозволила цензура *. Наконец только в 1849 году было разослано подписчикам приложение. Но вся эта кутерьма с «Иллюстрированным альманахом» и глумление печати над «надувательством» «Современника» повлияли на подписку, так что из трех с половиною тысяч подписчиков убыло почти две тысячи[22]. Притом же в публике распространялись слухи, что «Современник» прекращается. Не помогли даже письма, разосланные всем подписчикам от издателей, что приложение вышло несвоевременно не по их вине. Некрасов страшно рисковал рассылкой таких писем, но это делалось очень секретно и письма адресовались с разбором.

Я уже сказала, что мое первое произведение было запрещено. Никто из литераторов не знал, что я пишу, и я не хотела, чтобы об этом преждевременно толковали. Когда Белинскому, по обыкновению, были отосланы набранные листы «Семейства Тальниковых», то он потребовал, чтобы Некрасов немедленно пришел к нему. Белинский уже был так болен, что не выходил более из дому. Литературные передряги и страшные гонения на литературу надорвали окончательно его силы, и чахотка развивалась с необычайной быстротой.

Поэтому я была крайне изумлена, когда вдруг совершенно неожиданно Белинский явился ко мне. Он долго не мог отдышаться, чтобы заговорить.

— Я сначала не хотел верить Некрасову, что это вы написали «Семейство Тальниковых», — сказал он, — как же вам не стыдно было давно не начать писать? В литературе никто еще не касался столь важного вопроса, как отношение детей к их воспитателям, и всех безобразий, какие проделывают с бедными детьми. Если бы Некрасов не назвал вас, а потребовал бы, чтобы я угадал, кто из моих знакомых женщин написал «Семейство Тальни-

---

* Через 20 лет я узнала случайно, что «Альманах» с «Семейством Тальниковых» можно достать в библиотеках для чтения. Так как он сначала был дозволен цензурой, то никто не знал, что это контрабанда. «Альманах» появился в продаже следующим образом: когда он был запрещен, то листы были свалены на чердаке при квартире редакции. Когда надо было переезжать на другую квартиру, я пошла на чердак и удивилась, заметя, что пачки листов развязаны и валяются в беспорядке. Прислуга объяснила мне, что бывший лакей Некрасова водил на чердак букинистов и продавал им бумагу на вес. Ясно, что из этих листов составлялись книжки и втихомолку распродавались. (*Прим. А. Я. Панаевой.*)

ковых», уж извините, я ни за что не подумал бы, что это вы.

— Почему? — спросила я.

— Такой у вас вид: вечно в хлопотах о хозяйстве.

Я рассмеялась и добавила:

— А ведь я вечно только думаю об одних нарядах, как это все рассказывают.

— Я, грешный человек, тоже думал, что вы только о нарядах думаете. Да плюньте вы на всех, пишите и пишите!

Белинский стал меня расспрашивать, что я намерена еще написать.

— Да пока еще ничего, очень может быть, что не буду в состоянии еще написать что-нибудь.

— Вздор! сейчас же пишите что-нибудь... Давайте мне честное слово, что засядете писать!

Для его успокоения я дала слово скоро приняться за работу. Белинский, разговаривая, поминутно должен был останавливаться от кашля. Он просидел у меня довольно долго.

— А мне хорошо у вас... Как-то вспомнилось все прошлое, как я познакомился с вами, как вас дразнил, как мы приехали в Петербург. Каким я был тогда и чем сделался теперь! И думал ли я, что увижу такое гонение на литературу.

Белинский печально понурил голову.

— Ну, пора домой! И так без конца ворчали на меня, что я захотел выйти из дому; я во что бы то ни стало хотел видеть вас. Вернусь, и опять на меня будут ворчать, зачем я долго засиделся у вас.

И, медленно встав с дивана, он протянул мне руку, говоря: «Прощайте, выполните же ваше честное слово — пишите! Бог знает, когда мы еще увидимся».

Я проводила Белинского до передней, и лакей свел его с лестницы и усадил на извозчика, хотя он жил очень близко от нас. Это было наше последнее прощание. Я уже более его не видала.

Последнее время я прекратила свои посещения в семейные дома, где собирался по вечерам кружок общих знакомых. Мне опротивели постоянные сплетни, и после одной из них, где был замешан Белинский, я сказала ему, что прекращаю свои посещения ко всем нашим общим знакомым, в том числе и к нему. Он одобрил мое намерение, сказав:

— В самом деле, это будет лучше. Меньше будет всяких разговоров и неприятностей.

Очень долго никто не догадывался о моем решении. Все приписывали случайности, что я не бывала ни у кого. Но зато, когда догадались, что я прекратила всякое сношение с дамским кружком, то так озлобились на меня, что перестали даже кланяться со мной на улице, оскорбясь тем, что не догадались раньше и бывали у меня. Мое писательство раздражило их еще более, и все кричали, что пишу не я, а Панаев и Некрасов, по моему желанию, выдают меня за писательницу.

Смерть Белинского, может быть, избавила его от больших неприятностей. Только по удостоверению его доктора Тильмана, что дни больного сочтены, Белинского оставили в покое. Носились слухи, что ему грозила высылка из Петербурга и запрещение писать. Не было ли это для него равносильно смерти?

П. В. АННЕНКОВ

ИЗ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

1838—1848

I

...Я познакомился с Виссарионом Григорьевичем Белинским за год до моего отъезда за границу, именно осенью 1839 года [1]. Он приехал тогда в Петербург для сотрудничества в «Отечественных записках», привезенный из Москвы И. И. Панаевым, и уже находился во втором или третьем периоде своего развития.

Известно, что Белинский выступил на литературное поприще статьей в «Молве» 1834 года, носившей заглавие «Литературные мечтания — элегия в прозе». Это было обозрение русской словесности, обратившее на себя внимание бойкостью слова и характеристикой эпох и лиц, которая не имела никакого сходства с обычными и, так сказать, узаконенными определениями их в наших курсах словесности. Лирический тон статьи с философским оттенком, заимствованным от системы Шеллинга, сообщал ей особенную оригинальность. Все было тут молодо, смело, горячо, а также и исполнено промахов, сознанных и самим автором впоследствии; но все обличало возникновение каких-то новых требований мысли от русской литературы я русской жизни вообще. Старик Каченовский,— вероятно, обольщенный свободными отношениями критика к авторитетам и частыми отступлениями его в область истории и философии, старый профессор, призвал тогда к себе Белинского [2] — этого студента, еще не так давно исключенного из университета за малые способности [3], как говорилось в определении совета, жал ему горячо руку и говорил: «Мы так не думали, мы так не писали в наше время» *. Менее

* Рассказ В. Г. Белинского. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

волнения, конечно, произвела статья в Петербурге, где уже созревали известные сатурналии только что основанной «Библиотеки для чтения», с ее глумлениями над наукой и над всяческими убеждениями;[4] но и здесь статья не прошла незамеченной мимо глаз. С этих пор именно Н. И. Греч, как человек, еще более других приличный в сонме литературных публицистов той эпохи, усвоил систему воззрения на Белинского, сравнительно еще благосклонную. Он высказывал ее потом не раз во всеуслышание: «Умный человек, но горький пьяница, и пишет свои статьи, не выходя из запоя». Белинский-пьяница был так же мыслим, как Лессинг на канате или что-нибудь подобное. С тех же пор Ф. В. Булгарин, с своей стороны прозвавший Белинского «бульдогом», начал свою столь долго не прерываемую жалобу на извращение умов, свои чуть не двадцатилетние нападки на новый дух в литературе, грозящий лишить Россию, к стыду потомков и посрамлению перед Европою, всех ее умственных сокровищ *[5].

Впрочем, как ни задорна была статья Белинского по своей форме, особенно для петербургских самозванных знаменитостей, в обличении и опозорении которых критик, по собственному признанию, находил *блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное*[7], но, собственно, она нисколько не потрясала ни одного из наших старых авторитетов и постоянно ко всем им относилась с величайшим энтузиазмом. Смелость заключалась не столько в исследовании, сколько в началах и принципах, высказанных критиком и предпосланных исследованию. Статья более грозила обличением людям и предметам и только над очень немногими из них исполняла угрозу. Белинский еще не вносил ни малейшего раскола в тот молодой кружок, сформировавшийся в начале тридцатых годов, под сению Московского университета, из которого потом вышли самые замечательные личности последующих годов. Зародыши различных и противоборствующих мнений уже находились в нем, как легко убедиться из имен, составлявших его

---

* Жалобы эти не остались без последствий для литературы. При издании Пушкина (1854 г.) возникли цензурные затруднения при передаче суждений нашего поэта о Державине, так как прежде того состоялось распоряжение цензурного комитета оберегать от непрошеных критик имена Державина, Ломоносова, Карамзина. а также и личность самого Булгарина. Никто не чувствовал тогда обиды, наносимой первым трем великим именам нашего отечества этим уравнением их с персоной издателя «Северной пчелы»[6]. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

персонал (К. Аксаков, Станкевич и др.), но зародыши эти еще не приходили в брожение и таились до поры до времени за дружеским обменом мыслей, за общностью научных стремлений. Достаточно вспомнить, что К. С. Аксаков был тогда германизирующим философом, не менее Станкевича; П. Киреевский — завзятым европейцем и западником, не уступавшим Т. Н. Грановскому; а последний, скоро присоединившийся к этому кругу, после сотрудничества своего в «Библиотеке для чтения» Сенковского, делил вместе со всеми ими поэтическое созерцание на прошлое и настоящее России. Белинский, который так много способствовал впоследствии к разложению круга на его составные части, к разграничению и определению партий, из него выделившихся, является на первых порах еще простым эхом всех мнений, суждений, приговоров, существовавших в недрах кружка и существовавших без всякого подозрения о своей разнородности и несовместимости. Вот почему восторженная статья Белинского, отличавшаяся капризным ходом, некоторою разорванностью и недостатком сосредоточенности, представляет еще бессознательное смешение наименее родственных или схожих друг с другом настроений. Чисто славянофильское представление идет здесь рядом с чисто западным; афоризмы тогдашней скептической исторической школы нашей наталкиваются на гиперболы, достойные Сергея Глинки в самые сильные минуты его патриотического одушевления; либерализм и консервативное учение (если можно употреблять эти термины, занимаясь эпохой, не знавшей самых явлений, которые ими обозначаются) попеременно возвышают голос, нимало не смущаясь своим соседством. Для примера, как начинающий критик наш стоял еще тогда одновременно и за реформу Петра I, и за московскую оппозицию реформам, достаточно напомнить некоторые из положений статьи.

Значение народных обычаев и нерушимое их сбережение в среде племени составляло еще для Белинского 1834 года дело первой и точно такой же важности, каким оно казалось впоследствии для наиболее ярых противников молодого критика из славянской партии. В простых и грубых нравах он находил еще, вместе с последними, отблески поэзии, называя только жизнь, ими создаваемую, хотя самобытной и характерной, но односторонней и изолированной. Наоборот, будущие славянофилы, вероятно, вполне разделяли тогда мнение Белинского, а именно, что

в реформах своих Петр Великий был совершенно прав и народен нисколько не менее любого московского царя старой эпохи. Особенно характерно то место в статье, где, переходя на сторону великого реформатора, он предпосылает, однако же, скорбное, прощальное воззвание к погибающей старине и притом в словах и образах, которые теперь, при определившейся личности Белинского, составляют для нас как будто невероятную, фальшивую черту, искажающую его физиономию. «Прочь достопочтенные, окладистые бороды, — говорит он. — Прости и ты, простая и благородная стрижка волос в кружок, ты, которая так хорошо шла к этим почтенным бородам! Тебя заменили парики, осыпанные мукою!.. Прости и ты, прекрасный поэтический сарафан наших боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка с пышными рукавами, и ты, высокий, унизанный жемчугом повойник — простой чародейный наряд, который так хорошо шел к высоким грудям и яркому румянцу наших белоликих и голубооких красавиц... Простите и вы, заунывные русские песни, и ты, благородная и грациозная пляска: не ворковать уже нашим красавицам голубками» и т. д.

Вот откуда выходил Белинский. Либерализм безличного дружеского кружка тоже был представлен в статье довольно полно самым основным ее положением, по которому литература наша есть дело случайного возникновения и соединения нескольких более или менее талантливых лиц, в которых общество не нуждалось и которые сами, в нравственном и материальном отношении, могли обходиться без общества. Отсюда — ничтожество литературы и слабость писателей, несмотря на их качества, таланты и усердие. Можно догадываться, что в круге ходило с успехом и европейское представление о важности буржуазии и tiers-état * для государства, потому что Белинский ищет в разных сословиях нашего отечества тех деятелей, которые помирят европейское просвещение с коренными основами русской народности, назначая для этой роли духовенство, купечество, городских людей, ремесленников, даже мелких торговцев и промышленников ** и тут же оговариваясь, ввиду возможных воззрений

* третьего сословия (*франц.*).

** Кольцов уже введен был тогда Станкевичем в круг московских друзей его и, по всей вероятности, был косвенной причиной тех надежд, которые выражал Белинский на людей *среднего положения*[8]. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

с другой стороны, а именно, что «высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях, или, *вернее всего, в целой идее народа».* Словом, знаменитая первая статья, maid-speech * Белинского отлично выражала тогдашнее интеллектуальное состояние образованной молодежи, у которой все виды направлений жили еще как в первобытном раю, обок друг с другом, не находя причин к обособлению и не страшась взаимной близости и короткости. Связующим поясом была тут одинаковая любовь к науке, свету, свободной мысли и родине. Можно уподобить это состояние значительному водному бассейну, в котором будущие реки и потоки мирно текут вместе до той поры, когда геологический переворот не разделит их и не откроет им пути в противоположные стороны. Белинский именно был тем подземным огнем, который ускорил этот переворот [9].

Не мудрено, если придет кому-нибудь в голову спросить: стоит ли так долго останавливаться на журнальной статейке, не совсем свободной от противоречий и вдобавок еще с определениями, от которых потом отказался сам автор ее? Вопрос легко устраняется, если вспомнить, что статья произвела необычайное впечатление как первый опыт ввести историю самой культуры нашего общества в оценку литературных периодов. Нужно ли говорить, как она была принята молодыми умами в Петербурге, сберегавшими себя от *заговора* против литературы, устроивавшегося перед их глазами? Для них она упраздняла множество убеждений и представлений, вынесенных из школы. Протестующий характер статьи в этом отношении был очень ясен не только для тех корифеев партии «Библиотеки для чтения», о которых мы говорили, но и людям, соглашавшимся со многими из ее положений, но не любившим видеть бесцеремонное колебание преданий, да еще на основании чужих философских систем. Таковы были Пушкин и Гоголь. И тот и другой были оценены весьма благосклонно критиком, но сохраняли о нем почти всю жизнь упорное молчание. Первый, по свидетельству самого Белинского, только посылал к нему тайно книжки своего «Современника» да говорил про него: «Этот чудак почему-то очень меня любит» ** [10]. Суждение второго мы сами

* первое выступление (*англ.*).

** Пушкин прибавлял, по тому же свидетельству, секретно, и еще замечание, что у Белинского есть чему поучиться и тем, кто его ругает. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

слышали: «Голова недюжинная, но у нее всегда чем вернее первая мысль, тем нелепее вторая». Замечание касалось выводов, добываемых Белинским из своих эстетических и философских оснований и о приложении этих выводов прямо и непосредственно к лицам и фактам русского происхождения, хотя тот же Гоголь указывал позднее на статьи Белинского о его собственной, гоголевской, деятельности как на образцовые по своей неотразимой истине и мастерскому изложению[11].

Итак, в Петербурге первая статья Белинского и все следовавшие за ней нашли отголосок всего более в тех молодых учителях русского языка и словесности, которые созывались для казенных замкнутых училищ и корпусов, разраставшихся, по принятой системе, все более и более в исключительные заведения для воспитания всего *благородного* русского юношества целиком. Не то чтобы статья «Молвы» сразу упразднила официальную науку о литературе: последняя держалась долго, красовалась еще на экзаменах вплоть до преобразования закрытых школ и корпусов, но, благодаря молодым учителям этих заведений, а за ними и большей части наших гимназий, образовалась с появления статей Белинского, обок с утвержденной программой преподавания русской словесности, другая, невидная струя преподавания, вся вытекавшая из определений и созерцания нового критика и постоянно Смывавшая в молодых умах все, что заносилось в них схоластикой, педантизмом, рутиной, стародавними преданиями и благонамеренной прикрасой. Растительное действие этой невидимой струи увеличивалось вместе с дальнейшим развитием критика, с которого, можно сказать, персонал учителей и молодых людей вообще той эпохи не спускал глаз, и, таким образом, имя Белинского было уже очень громко в среде нарождающегося поколения, в школах и аудиториях, когда оно еще не признавалось в литературных партиях, не ведалось, добросовестно или ухищренно, одними, возбуждало презрительные отзывы других и не обращало никакого внимания даже самих чутких стражей русского просвещения[12]. Работа Белинского и его воодушевленной мысли, искавшей постоянно идеалов нравственности и высокого, философского разрешения задач ж и з н и, — эта работа не умолкала, покуда сам он числился скромно в рядах русских второстепенных подцензурных писателей и журнальных сотрудников. Для тогдашнего цензурного ведомства первостепенными писателями долгое время были

только одни редакторы журналов: Сенковский, Греч, Булгарин, за исключением Пушкина и Гоголя, слишком уже ярко выступавших вперед. Чрезвычайным счастием должно считаться то, что тогдашняя цензура не угадала в Белинском на первых порах моралиста, который, под предлогом разбора русских сочинений, занят единственно исканием основ для трезвого мышления, способного устроить разумным образом личное и общественное существование. Впоследствии она распознала в нем влиятельного писателя и всемерно старалась не допускать применение его идей к историческим лицам и современности, но и при этом способе понимания деятельности Белинского она отчасти все-таки продолжала считать его, с голоса «Северной пчелы», за человека, производящего преимущественно малопонятную, туманную чепуху, которая может быть терпима по самой дикой своей оригинальности, становясь безвредной тем более, чем сильнее и подробнее высказывается. Этому обстоятельству мы и обязаны сохранением некоторых существенных положений и мыслей у Белинского, которые пробирались на свет под именем чудовищностей и нелепостей. Это же обстоятельство поясняет многое в последующих явлениях общественной жизни нашей, которые без того могут показаться странными, нежданными и негаданными сюрпризами.

II

Я сошелся с Белинским в первый раз у А. А. Комарова, преподавателя русской словесности во 2-м кадетском корпусе. Комаров занимал и квартиру в зданиях корпуса.

Приезд Белинского в Петербург имел особенное значение, как уже было сказано, для небольшого круга тогдашних молодых людей, которые в литературном триумвирате О. И. Сенковского, Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина, выросшем на благодатной почве смирдинских капиталов, вконец ими истощенных[13], — видели как бы олицетворение затаенного презрения к делу образования на Руси, образец хитрой, расчетливой, но ограниченной практической мудрости, а наконец — ловко устроенный план надувательства благонамеренностью и патриотизмом тех лиц, которых нельзя было надуть другим путем. Надо сказать, что это дело в три руки производилось с замечательным искусст-

вом. Неистощимое, часто дельное и почти всегда едкое остроумие Сенковского, глумившегося над русской quasi-наукой, старалось вместе с тем удалить всякую серьезную попытку к самостоятельному труду и отравить насмешкой источники, к которым труд этот мог бы обратиться. Греч распространялся о разврате умов и совестей в Европе, умиляясь зрелищем здорового нравственного состояния, в каком находилась наша родина, а товарищ его беспрестанно указывал на те тонкие струи яда и отравы, которые, несмотря на усилия триумвирата, все-таки пробираются к нам из чужбины и извращают суждения публики о русских писателях и русских деятелях вообще. Замечательно, что эти великие мужи петербургской журналистики тридцатых годов иногда и ссорились между собою, не доходя, впрочем, до явного разрыва, но ссорились из-за права *протекции* над писателями, которую каждый хотел иметь в своих руках исключительно [14]. Протекция сделалась основным критическим мотивом, направлявшим оценку лиц и произведений. Протекция раздавала места так же точно в литературе, как и в администрации: она производила в чины и звания талантов людей, как гг. Масальского, Степанова, Тимофеева и др., и даже несколько раз жаловала просто в гении, как, например, Кукольника и «барона Брамбеуса». Нынешнему времени трудно и понять ту степень негодования, какую возбуждали органы этой самозванной опеки над литературою в людях, желавших сохранить, по крайней мере, за этим отделом общественной деятельности некоторый призрак свободы и человеческого достоинства. При отсутствии общественных и политических интересов бороться с триумвиратом становилось почти делом чести; по хорошему или дурному отношению к триумвирату стали узнавать в некоторых кругах молодежи — впрочем, очень немногочисленных — нравственные качества людей, Вражда к триумвирату еще усилилась, когда оказались практические следствия распоряжения, состоявшегося около того же времени, — вовсе не допускать соперничества журналов и терпеть одни уже существующие издания [15], что приравняло органы триумвиратов к нынешним концессиям железных дорог с *гарантией правительства.* Приезд Белинского был, как сказано, особенно важен тем, что возвещал новую попытку бороться с литературными концессионерами после трех неудачных попыток: двух в Москве, предпринятых сперва «Телескопом», а затем «Московским наблюдателем» — журналом, даже и основанным именно с

этою целью в 1835 году *. Третья, в Петербурге, взята была на себя «Современником» Пушкина — и тоже безуспешно [16]. С новым правилом о журналах, казалось, все походы против откупщиков общественного мнения должны были прекратиться. Правило это очень походило на позднейшее распоряжение относительно раскольников, которым дозволялось сохранять свои старые часовни и молельни с строгим запрещением воздвигать новые около них, но разнилось от него тем, что тогдашнее цензурное ведомство признало возможным допустить официальное подновление старых литературных часовен, чего раскольники не могли делать с своими иначе, как тайно или с подкупом. В это время А. А. Краевский, тогда еще сравнительно молодой человек, усильно добивался возможности очистить себе место в ряду журнальных концессионеров эпохи, и это — надо сказать правду — не по одному ясному материальному расчету, но и по нравственным побуждениям: противопоставить злой вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями. Он принялся искать редакторского кресла для себя по всем сторонам, и притом с выдержкой, упорством и твердостью, действительно замечательными, плодом которых было появление сперва «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» под его редакцией (диплом на издательство приобретен был тогда известным Плюшаром у довольно мелочного, хитрого и скупого старика Воейкова), в которых, как известно, участвовал и Белинский [17]. Затем, в 1838 году, А. А. Краевский открыл и перекупил право на возобновление «Отечественных записок» у известного П. Свиньина [18], прямо уже от своего имени, и, по сделке с ним, не покидая еще «Прибавлений», объявил о выходе своего старо-нового журнала, сделавшегося вскоре настоящей его собственностью. Клич, который он тогда кликнул, с одобрения самых почетных лиц петербургского литературного мира, ко всем, еще не подпавшим под позорное иго журнальных феодалов, отличался и очень верным расчетом, и признаками полной искренности и благонамеренности. «Если и эта новая попытка, — говорил новый издатель своим сторонникам, — противопоставить оплот смирдинской

---

* Для поддержания этого издания Гоголь принял на себя роль пропагандиста и собирал подписки со всех своих знакомых в Петербурге — и, прибавим, чрезвычайно настойчиво и энергично. Каждый из нас должен был иметь и имел своего «Наблюдателя». (*Прим. П. В. Анненкова.*)

клике не удастся, то всем нам останется только сложить руки и провозгласить ее торжество».

Бедный А. Ф. Смирдин и не воображал, что даст свое имя для обозначения очень неблаговидного литературного периода[19]. Честный, добрый, простодушный, но без всякого образования, он соблазнился, получив неожиданно довольно большое состояние от книгопродавца Плавильщикова, ролью двигателя современной литературы и просвещения. Кажется, самый этот каприз был еще подсказан ему петербургскими журналистами, которые и завладели честолюбивым торговцем для своих целей. Меценат-книгопродавец, подавленный их авторитетом, смотрел на весь мир их глазами, расточал деньги по их советам и говорил на своем купеческо-приказчичьем языке про всякое начинание, про всякий талант, не искавший покровительства триумвиратов: «Это наши недоброжелатели-с!» А что делали с ним его доброжелатели, успевшие потом разорить и еще одного такого же импровизированного двигателя русского просвещения, книгопродавца Плюшара, издателя «Энциклопедического словаря», — почти неимоверно. Я сам слышал из уст Смирдина, уже в эпоху его бедности и печальной старости, рассказ, как, по совету Булгарина, он предпринял издание, кажется «Живописного путешествия по России», текст которого должен был составить автор «Выжигина», взявшийся также и за заказ гравюр в Лондоне. В этом смысле заключен был формальный контракт между ними, причем Смирдин назначал тридцать тысяч рублей на предприятие. Долго ждали картинок, но, когда они пришли, Смирдин с ужасом увидел, что они состоят из плохих гравюр, исполненных в Лейпциге, а не в Лондоне. На горькие жалобы Смирдина в нарушении контракта Булгарин отвечал, что никакого нарушения тут нет, потому что в контракте стоит просто: заказать за границей. Ловушка была устроена грубо и нагло, но книгопродавец попался в нее. Когда Смирдин рассказывал мне этот пассаж, усталые, воспаленные глаза его налились слезами, голос задрожал: «Я напишу свои записки, я напишу «Записки книгопродавца!» — бормотал он.

Вызывающее действие того нового клича собрало под знамя обновленного журнала много старых и молодых сил, державшихся в стороне от литературы, как то доказал первый громадный нумер «Отечественных записок» (1839 года), исполненный замечательными, по времени, статьями; все они принадлежали перу и начинающих и заслу-

женных наших писателей. Бедные и богатые принялись работать на журнал г. Краевского почти без вознаграждения или за ничтожное вознаграждение, доставляя только издателю средства бороться с капиталистами, заправлявшими делами литературы, что продолжалось несколько долее, чем бы следовало, как впоследствии думали иные; но это относится к предположениям, которые так и должны остаться предположениями и о которых ничего другого сказать нельзя. Любопытен, однако, анекдот, ходивший тогда по городу: Ф. В. Булгарин, по чувству самосохранения, скоро угадал новую силу, являющуюся на журнальном поприще с «Отечественными записками», и опасность, которая грозит авторитетам колонновожатых печати, если она решительно обратится против них. При встрече с редактором нового журнала Ф. В. Булгарин предлагал ему просто-запросто присоединиться к союзу журнальных магнатов и сообща с ними *управлять* делами литературы. Предложение было, конечно, устранено собеседником.

Возвращаясь к делу, следует заметить, что последующие нумера журнала представляли, как и первый нумер его, опять много прекрасных стихотворений, дельных статей и даже умных критик, но не обнаруживали в редакции ничего похожего на определенные начала, на литературные убеждения и тенденции, которые одним искусством в ведении журнального дела, в собирании людей около себя, одним трудолюбием и даже упорною ненавистью к врагам еще не могут быть заменены с успехом. В Петербурге оказался с «Отечественными записками» великолепный склад для ученых и беллетристических статей, но не оказалось учения и доктрины, которых можно было бы противопоставить развратной проповеди руководителей «Библиотеки для чтения» и «Северной пчелы»[20]. Приходилось оглянуться на Москву, которая действительно была тогда средоточием нарождавшихся сил и талантов, сильно работала над философскими системами, доискиваясь именно *принципов,* и не боялась ни резкого полемического языка, ни даже отвлеченного, туманного склада речи, лишь бы выразить вполне свою мысль и нажитое убеждение. Рассказывают, что при имени Белинского, предложенного И. И. Панаевым, г. Краевский не узнал в нем того человека, который должен был положить основание его общественному значению *. Обстоятельства принудили его все-

* «Литературные воспоминания» И. Панаева, «Современник», 1861, февраль[21]. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

таки обратиться к Белинскому, но когда критик наш, после предварительных переговоров, весьма облегченных тем, что, покинув «Московский наблюдатель» 1838 года, Виссарион Григорьевич не имел уже органа для своей деятельности и средств для существования, — когда, говорим, критик явился в Петербург в 1839 году на постоянное жительство и сотрудничество по журналу г. Краевского, общее предчувствие в круге противников петербургского направления было, что вместе с ним явилась на сцену и живая мысль, и достаточно сильная рука, чтоб подорвать или, по крайней мере, ослабить наконец союз литературных промышленников, в сущности презиравших русское общество со всеми его стремлениями, надеждами и с его претензиями на устройство своей духовной жизни.

III

Под впечатлением страстного тона философских статей Белинского и особенно пыла его полемики позволительно было представлять его себе человеком исключительных мнений, не терпящим возражений и любящим господствовать над беседой и собеседниками. Признаюсь, я был удивлен, когда на вечере А. А. Комарова мне указали под именем Белинского на господина небольшого роста, сутуловатого, со впалой грудью и довольно большими задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и как-то сразу, по-товарищески, отвечал на приветствия новых, знакомящихся с ним людей. Разумеется, я уже не встретил ни малейшего признака внушительности, позирования и диктаторских замашек, каких опасался, а напротив, можно было подметить у Белинского признаки робости и застенчивости, не допускавшие, однако ж, и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрошеных услугах какого-либо торопливого доброжелателя. Видно было, что под этой оболочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу. Вообще неловкость Белинского, спутанные речи и замешательство при встрече с незнакомыми людьми, над чем он сам так много смеялся, имели, как вообще и вся его персона, много выразительного и внушающего: за ними постоянно светился его благородный, цельный, независимый характер. Мы наслышались об увлечениях и порывах Белинского, но никаких порывов и увлечений в этот первый вечер моего знакомства

с ним, однако ж, не произошло. Он был тих, сосредоточен и — что особенно поразило меня — был грустен. Поверяя теперь тогдашние впечатления этой встречи всем, что было узнано и расследовано впоследствии, могу сказать с полным убеждением, что на всех мыслях и разговорах Белинского лежал еще оттенок того философско-романтического настроения, которому он подчинился с 1835 года и которому беспрерывно следовал в течение четырех лет, несмотря на то что сменил Шеллинга на Гегеля в 1836—1837 году, распрощался с иллюзиями относительно своеобычной красоты старорусского и вообще простого, непосредственного быта и перешел к обожанию «разума в действительности». Он переживал теперь последние дни этого философско-романтического настроения. В тот же описываемый вечер зашел разговор о какой-то шутовской рукописной повести на манер Гофмана, сочиненной, для потехи, сообща несколькими лицами, на сходках своих, ради времяубиения [22]. «Да, — сказал серьезно Белинский, — но Гофман — великое имя. Я никак не понимаю, отчего доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гете: это писатели одинаковой силы и одного разряда».

Положение это и другие, ему подобные, Белинский унаследовал и сберегал еще от эпохи шеллинговского созерцания, по которому, как известно, внешний мир был причастником великих эволюции абсолютной идеи, выражая каждым своим явлением минуту и ступень ее развития. Оттого фантастический элемент гофмановских рассказов казался Белинскому частицей откровения или разоблачения этой всетворящей абсолютной идеи и имел для него такую же реальность, как, например, верное изображение характера или передача любого жизненного случая. В описываемую эпоху он уже принадлежал всецело Гегелю и вполне усвоил идеалистический способ пояснять себе явления окружающей жизни, людей и события, что сообщало последним почти всегда в его устах какой-то грандиозный характер, часто вовсе ими не заслуживаемый. Мелких практических изъяснений какого-либо факта и вопроса, мало-мальски выходящих из обыкновенного порядка дел, он вообще не любил и только по особенному настроению, принятому на себя преднамеренно в Петербурге, еще принуждал себя выслушивать их. Конечно, уже не было у него прежней, еще недавней, восторженной проповеди о «великих тайнах жизни», *без предчувствия и разгадки которых*

существование человека сделалось бы, как он говорил, *не только бесцветным, но положительно величайшим бедствием, какое только можно было бы придумать для земнорожденных,* но все-таки наш русский мир, наша современность, даже некоторые подробности жизни отражались не иначе в его уме, как в многозначительных образах, в широких обобщениях, поражавших и увлекавших новых его слушателей. Вообще корни всех старых, уже пройденных им учений и созерцаний еще жили в нем, по приезде в Петербург, тайной жизнию и при всяком случае готовы были пустить ростки и отпрыски и действительно по временам оживали и цвели полным цветом, что составляло, посреди занятого петербургского круга приятелей Белинского, величайшую его оригинальность и вместе неодолимую, притягивающую силу.

Замечательным и волнующим явлением того времени были посмертные сочинения Пушкина, которые постепенно обнародовал «Современник» 1838—1839 годов, перешедший в руки П. А. Плетнева. Они — эти чудные сочинения — находили в Белинском такого, можно сказать, энтузиаста и ценителя, какой еще и не выпадал на долю нашего великого поэта. Это уже был не тот Белинский, который года за два перед тем и еще при жизни Пушкина считал деятельность его завершенной окончательно и в последних произведениях его хотя и распознавал еще печать гениальности, но заявлял, что они все-таки ниже того, что можно было бы ожидать от его пера. Теперь это было поклонение безусловное, почти падение в прах пред святыней открывающейся поэзии и перед вызвавшим ее художником. Особенно «Каменный гость» Пушкина произвел на Белинского впечатление подавляющее[23]. Он объявил его произведением всемирным и колоссальности неизмеримой. Когда однажды мы просили его разъяснить, в чем заключается мировое значение этого создания и что он еще находит в нем, кроме изящества образов, поэтичности характеров и удивительной простоты в ведении очень глубокой драмы, Белинский принялся за развитие той мысли, что все это составляет только внешнее отличие произведения, а подземные ключи, которые под ним бегут, еще важнее всем видимой и осязаемой его красоты. Он принялся за расследование этих живых источников, но на первых же положениях остановился и сконфуженно проговорил: «Вот этак со мной всегда случается: примусь за дело, занесусь бог знает куда, да и опешусь; не знаю, как выра-

зить мою мысль, которая, однако ж, для меня совершенно ясна». Он махнул рукой и отошел в сторону с каким-то болезненным выражением лица. Видимо, что в драме Пушкина заключено было для него новое откровение одной из *«тайн* жизни», передача одной из «субстанций», как тогда говорили, человеческого духа, но он не мог или не хотел разъяснять их перед кружком, мало приготовленным к пониманию отвлеченностей и не отличавшимся наклонностию к «философированию».

Со второй или третьей встречи, однако же, обнаружилась у Белинского та добродушная веселость, порождаемая иногда самыми незначительными, даже пошлыми, выходками собеседников (что несколько удивляло меня сначала), которая соединялась у него всегда с какой-то незлобивой, почти ласковой насмешкой, с легкой иронией над самим собой и над окружающими. Со всем тем сквозь тогдашнюю веселость Белинского пробивалась все та же неотстранимая черта грусти. Он был печален, и не случайно, а както глубоко, задушевно. Не нужно было быть ни особенно зорким наблюдателем, ни особенно искусным психологом, чтобы открыть эту черту: она бросалась в глаза сама собою. И не мудрено было ей оказаться: Белинский переживал страдания своего разрыва с московскими друзьями, только что обнаружившегося перед его отъездом из Москвы, и должен был чувствовать сильнее горечь этого обстоятельства теперь, в чужом, незнакомом и неприветливом городе, куда был занесен.

Очень несправедливо думали и думают еще теперь, что Белинскому было нипочем расставаться с людьми и менять свои отношения к ним на основании различия убеждений. Многие тогда говорили и чуть не печатали, что он находил даже в том выгоду, ибо всякий такой поворот открывал исток его желчи, злобным инстинктам, наклонности к ругательству и оскорблению, которые иначе задушили бы его! Могу сказать наоборот, что редко встречал я людей, которые бы более страдали, будучи принуждены, вследствие неотстранимого логического и диалектического развития своих принципов, удаляться в другую сторону от прежних единомышленников. Он долго мучился как потерей старого созерцания, так и потерей старых собеседников и, только убежденный в законности поворота, им сделанного, освобождался от всех тревог и приобретал новое качество, именно гнев и негодование, против тех, которые его задерживали на пути и напрасно занимали собой.

Первая попытка — критически отнестись к составным частям московского интеллектуального кружка и подвергнуть его анализу, за которым должно было последовать отделение различных элементов, его составлявших, положена, как известно, Белинским в статье под заглавием: «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя», помещенной в «Телескопе» 1836 года... Статья эта в полемическом смысле принадлежит к мастерским вещам автора и по яркости красок и резкой очевидности доводов не утеряла, кажется нам, относительной занимательности и доныне. Вся она обращена была против главного критика «Московского наблюдателя» С. П. Шевырева, у которого он спрашивал, чему он верует, какие законы творчества и основные философско-эстетические или эфические идеи исповедует, — разоблачая при этом его дилетантские отношения ко всем художественным теориям, его обычай сочинять законы и правила вкуса для оправдания личных своих вкусов, для потворства немногим избранникам из своих близких знакомых и для указания обществу целей в меру случайных и мимолетных своих ощущений. Особенно восставал Белинский против мнений критика о важности *светского* и *светско-дамского элемента* в литературе, которые могли будто бы возвысить ее тон и благороднее устроить жизнь самих авторов. «Художественный и *светский,* — отвечал Белинский, — не суть слова однозначащие, так же как дворянин и благородный человек... Художественность доступна для людей всех сословий, всех состояний, если у них есть ум и чувство, светскость есть принадлежность касты... Светскость еще сходится с образованностью, которая состоит в знании всего понемногу, но никогда не сойдется с наукою и творчеством» и т. д. Статья эта вообще была одна из тех, которыми обыкновенно порываются старые связи и союзы и отыскиваются новые. Для нас в ней особенно важны ее грустные заключительные строки: «Всего досаднее, что у нас не умеют еще отделять человека от его мысли, не могут поверить, чтоб можно было терять свое время, убивать здоровье и *наживать себе врагов* из привязанности к какому-нибудь задушевному мнению, из любви к какой-нибудь отвлеченной, а не житейской мысли. Но какая нужда до этого!» Он доканчивал мысль восклицанием: «Но если мысли и убеждения доступны вам, идите вперед, и да не совратят вас с пути ни расчеты эгоизма, ни отношения личные и житейские, ни боязнь неприязни людской, ни обольщения их коварной дружбы,

стремящейся взамен своих ничтожных даров лишить вас лучшего вашего сокровища — независимости мнения и чистой любви к истине!»

Или мы сильно ошибаемся, или в этом торжественном тоне ясно слышится глубокий, искренний вопль души накануне потери некоторых из ее симпатий и убеждений. Слова Белинского содержат еще и пророчество. Предчувствие не обмануло Белинского. Разрыв с журналистом и его партией не напрасно казался ему отважным делом: с той минуты и до нынешней включительно Белинскому составлена была в известных кругах репутация дикого ругателя всего почтенного и достойного на русской почве, и попытки удержать за ним эту репутацию в потомстве возобновляются еще от времени до времени и на наших глазах [24].

Одновременно с этой статьей, давшей сильный толчок к разрушению мирно процветавшей общины друзей науки и просвещения, было еще множество и других случаев, при которых Белинский открыто искал боя и врагов. Так, он не задумался назвать и «Современник» Пушкина, со второй его книжки, «петербургским «Московским наблюдателем» по направлению, заметив в нем (справедливо или нет — это другой вопрос) поползновение искать себе читателей и судей в одном исключительно светском круге [25]. Помним, что эта полемика с «Современником» произвела в то время почти столько же шума и негодования, как и заметка его, несколько прежде сделанная и из другого круга представлений. В статье «О повестях Гоголя» именно он проводил мысль, даже и не им первым высказанную, что все древние и новые эпические поэмы, выкроенные по образцу «Илиады», как-то: «Энеида», «Освобожденный Иерусалим», «Потерянный рай», «Россиада» и проч., заменяя живые, неподдельные народные предания и представления другими, хитро придуманными на их манер, принадлежат к фальшивому роду произведений. Ужас всего старого педагогического мира нашего, видевшего в этой заметке образец непростительного невежества и ересь, превышающую воображение, был невыразим. Так, критик наш плодил вокруг себя врагов со всех сторон, число которых увеличивалось почти с каждой новой его заметкой о старых наших писателях, несходной с традиционным их пониманием. Корыстный представитель этих недовольных, Булгарин говорил в «Северной пчеле», что при способе суждения, обнаруженном Белинским, ему нипочем дока-

зать какое угодно положение, хоть следующее: *«Измена — дело не худое и даже похвальное»,* и по пунктам, имевшим тогда почти уголовный характер, упрекал критика, опираясь на его суждения о Державине, Карамзине, Жуковском и Батюшкове, в тех же чувствах, какие питают к России «завистливые иностранцы, ренегаты, *безбородые* юноши и проч.». Вот как поставлен был литературный спор с первого же раза и велся отчасти в этом смысле — конечно, с меньшей наглостью — даже и людьми, нисколько не похожими на Булгарина с братией.

Теперь дело стало еще серьезнее, потому что Белинский совершил разрыв с тем кругом людей, которому принадлежал всецело, с теми немногими, мыслию которых дорожил и удаление от которых грозило ему действительным одиночеством на свете.

Что же произошло между ними?

Оставляя в стороне житейские размолвки с друзьями, о которых имеем и особенно тогда имели очень смутное, неполное представление, обращаюсь к разноголосице их в области мысли. Когда Белинский напечатал в том же 1839 г., в журнале г. Краевского, еще не будучи его признанным постоянным сотрудником, две свои статьи — рецензию на книгу Ф. Н. Глинки «Очерки Бородинского сражения» и библиографический отчет о «Бородинской годовщине» Жуковского, — ему казалось, что он выводил только логически правильные заключения из оснований Гегеля и непогрешительно прилагал их к живому факту, к действительности. Надо сказать, что с первых же попыток Белинского к определению значения *действительности* в жизни народов и лиц он встретил уже противоречие у многих из своих друзей, которые не желали уступать свое право — быть настоящими и несменяемыми судьями всякой действительности. Но разгоревшийся спор этот вырос до разрыва связей только в 1839 году. Летом этого года, как известно, Москва, а с ней и Россия праздновали великое патриотическое торжество — открытие памятника на Бородинском поле. Одушевление было общее и понятное. Летом 1839 года я случайно находился в Москве и смотрел из окна одного родственного мне дома против Кремля на великолепный крестный ход, огибавший кремлевские стены, в замк*е* которого шел митрополит Филарет, сопровождаемый самим императором Николаем Павловичем верхом. Это было кануном, так сказать, торжественного открытия Бородинского памятника в августе того же года. Горячих

толков и патриотического одушевления и теперь уже возникало много, но я, тогда еще незнакомый ни с одной из личностей описываемого круга, не мог и предчувствовать, как сильно будут меня занимать впоследствии отголоски этого события. Белинский вздумал воспользоваться открытием Бородинского памятника, чтобы подтвердить им мудрость гегелевского афоризма о тождестве действительности с истиной и разумностью и разобрать всю плодотворную сущность этого положения. Но с первой же статьи оказалось, что излишнее обобщение правила может повести к необычайным выводам, к резким, чудовищным заблуждениям. Напрасно друзья Белинского представляли ему все опасности прямого, непосредственного приложения его идеи к русскому миру, — Белинский, никогда не знавший сделок, уступок, добровольных умолчаний, еще более укреплялся их сомнениями. Надо было или бросить всю теорию, или оставаться ей верным до конца. Ему показалось даже, что наступила именно та минута, о которой он говорил прежде, когда для спасения своей мысли и совести следует решиться на откровенный разрыв с самыми близкими людьми. Покойный Герцен рассказывает в своих известных записках, что перед отъездом Белинского из Москвы произошел между ними спор, за которым последовало охлаждение между друзьями, длившееся, впрочем, недолго, всего год, и кончившееся полным примирением их, так как первая причина ссоры, слепое прославление действительности — признано было самим его исповедником, Белинским, философской и жизненной ошибкой. Описание спора у Герцена очень любопытно: оно показывает первые бури, возникшие у нас от столкновения систем и отвлеченностей с явлениями реального характера. Герцен добавлял еще свое описание изустно следующей подробностию. Когда через год после первого столкновения с Белинским Герцен явился в Петербург, он уже застал там Белинского и, разумеется, возобновил с ним распрю по поводу нового учения[26]. И тогда-то, рассказывал Герцен, в жару спора со мной Белинский прибег к аргументу, прозвучавшему необычайно дико в его устах: «Пора нам, братец, — сказал критик, — посмирить наш бедный, заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью перед событиями, где действуют народы с своими руководителями и воплощенная в них история». По сознанию Герцена, он пришел в ужас от этих слов, тотчас же замолчал и удалился. Ему показалось, что тут совершилось какое-то отрече-

ние от прав собственного разума, какое-то непонятное и чудовищное самоубийство. Через два года, по возвращении из второго своего удаления в Новгород снова в Петербург (1841), Герцен уже не имел никаких поводов препираться с критиком: они были одинакового мнения по всем вопросам.

Белинский явился, таким образом, в чуждый ему город с глубокой раной в сердце; но он все еще надеялся переиначить взгляды друзей на свои теории, высказав всю свою мысль по поводу спорного пункта, их разделявшего. В начале 1840 года он явился со статьей «Менцель, критик Гете» в «Отечественных записках». Здесь, подавляя всей силой своего презрения мелкие умы, кропотливо разбирающие, что им нравится и что не нравится в исторических явлениях, Белинский создает особые права, преимущества, даже особую нравственность для великих художников, великих законодателей, гениальных людей вообще, которые уполномочиваются изобретать особые дороги для себя и вести по ним современников и человечество, не обращая внимания на их протесты, волнения, симпатии и антипатии. Более полной подчиненности в пользу привилегированных избранников судьбы нельзя было проповедовать. Надо признаться, статья была живо и мастерски написана, содержала много верных заметок, сделавшихся теперь уже общим достоянием, как, например, заметку о меткости и исторической важности непосредственного чувства в народных массах, о родственной связи, существующей всегда между стремлениями великих умов и инстинктами общества и проч.; но все это не ослабляло ее основного софистического характера, отстранявшего вполне критические отношения к общественным вопросам. Все это продолжалось недолго. К осени того же 1840 года Белинский уже вышел из чада направления, грозившего остановить всю его деятельность с самого начала.

У нас уже много было писано об этой эпохе развития Белинского и с различными целями. Предмет, однако же, не вполне уяснен потому, может быть, именно, что слишком много занимал исследователей и раздут ими до размеров важного психического явления, чему способствовал и сам Белинский своими последующими объяснениями. В сущности, это был просто безграничный *оптимизм,* которым разрешалась Гегелева система часто и не на одной только русской почве; она уже и в других странах, как в Пруссии, производила те же результаты, по присущему ей

двоесмыслию. Стоило только понять ее определение государства как конкретного явления, в котором отдельная личность должна найти полное успокоение и разрешение всех своих стремлений, — стоило только, говорим, понять это определение в одном известном, официальном смысле, чтобы прийти к обоготворению всякого существующего порядка дел. Первым руководителем Белинского, однако же, на этом поприще самообольщения был в то время не кто иной, как нынешний * отрицатель всех доселе известных форм правления, враг сложившихся окончательно государств, обособившихся национальностей, их общественных преданий и верований — М. Бакунин. Первая ошибка в диалектической выкладке, о которой говорим и которая имела такие последствия для Белинского, принадлежит ему.

IV

Есть причины полагать, что годы 1836—1837 были тяжелыми годами в жизни Белинского. Мне довольно часто случалось слышать от него потом намеки о горечи этих годов его молодости, в которые он переживал свои сердечные страдания и привязанности, но подробностей о тогдашней своей жизни он никогда не выдавал, как бы стыдясь своих ран и ощущений. Только однажды он заметил, что ему случалось, как нервному ребенку, проплакивать по целым ночам воображаемое горе. Можно было полагать только, что горе это было не совсем воображаемое, как он говорил. Замечательно, что эти оба года, исполненные для него жгучих волнений и потрясений, были употреблены им вместе с тем еще и на занятие философией Гегеля[27], которая нашла особенно красноречивого проповедника в лице одного молодого отставного артиллерийского офицера, выучившегося скоро и хорошо по-немецки и вообще обладавшего способностию к быстрому усвоению языков и отвлеченных понятий. Это был М. Бакунин. В 1835 году он не знал, что делать с собой, и наткнулся на Н. В. Станкевича, который, угадав его способности, засадил за немецкую философию. Работа пошла быстро. Бакунин обнаружил в высшей степени диалектическую способность, которая так необходима для сообщения жизненного вида отвлеченным логическим формулам и для получения из них

* Умерший во время составления этих заметок. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

выводов, приложимых к жизни. К нему обращались за разрешением всякого темного или трудного места в системе учителя, и Белинский гораздо позднее, то есть спустя уже десять лет (в 1846 году), еще говорил мне, что не встречал человека, более Бакунина умевшего отстранять так или иначе всякое сомнение в непреложности и благолепии всех положений системы. Действительно, никто из приходящих к Бакунину не оставался без удовлетворения, иногда согласного с основными темами учения, а иногда просто фиктивного, выдуманного и импровизированного самим комментатором, так как диалектическая его способность, как это часто бывает с диалектиками вообще, не стеснялась в выборе средств для достижения своих целей.

Как бы то ни было, но только упоение гегелевскою философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя, который путем логического шествия от одних антиномий к другим разрешал все тайны мироздания, происхождение и историю всех явлений в жизни, вместе со всеми феноменами человеческого духа и сознания. Человек, незнакомый с Гегелем, считался кружком почти что несуществующим человеком: отсюда и отчаянные усилия многих, бедных умственными средствами, попасть в люди ценою убийственной головоломной работы, лишавшей их последних признаков естественного, простого, непосредственного чувства и понимания предметов. Кружок постоянно сопровождался такими людьми. Белинский очень скоро сделался в нем корифеем, выслушав основные положения логики и эстетики Гегеля, преимущественно в изложении и комментариях Бакунина. Надо заметить, что последний возвещал их, как всемирное откровение, сделанное человечеством на днях, как обязательный закон для мысли людской, которую они исчерпывают вполне без остатка и без возможности какой-либо поправки, дополнения или изменения. Следовало или покориться им безусловно, или стать к ним спиной, отказываясь от света и разума. Белинский на первых порах и покорился им безусловно, стараясь достичь идеала бесстрастного существования в «духе», подавляя в себе все волнения и стремления своей нравственности и органической природы, беспрестанно падая и приходя в отчаяние от невозможности устроить себе вполне просветленную жизнь по указаниям учителя.

Дело, конечно, не обходилось тут без сильных протестов со стороны неофита. Дар проникать в сущность фило-

софских тезисов даже по одному намеку на них и потом открывать в них такие стороны, какие не приходили на ум и специалистам дела, — этот дар поражал в Белинском многих из его философствующих друзей. Он не утерял его и тогда, когда, по-видимому, предался душой и телом одному известному толкованию гегелевской системы. Способность его становиться по временам к ней совершенно оригинальным и независимым способом и заставила сказать Герцена, что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших Гегелево учение, и оба эти лица не знали ни слова по-немецки. Одним из них был француз Прудон, а другим русский — Белинский[28]. Возражения последнего на некоторые из догматов системы иногда удивительно освещали ее слабые схоластические стороны, но уже не могли потрясти *веры* в нее и высвободить его самого из-под ее гнета. Известно восклицание Белинского, весьма характеристическое, которым он заявлял свое мнение, что для человека весьма позорно служить только орудием «всемирной идеи», достигающей через него необходимого для нее самоопределения. Восклицание это можно перевести так: «Я не хочу служить только ареной для прогулок «абсолютной идеи» по мне и по вселенной». Опровержения такого рода, как бы мимолетны они ни были, конечно, не могли не раздражать его друга, Бакунина, не лишенного, как все проповедники, деспотической черты в характере. Впоследствии образовались сильные размолвки, именно вследствие протестов Белинского, на которые учитель отвечал, с своей стороны, весьма энергично. Уже в сороковых годах, говоря мне об искусстве, с каким Бакунин умел бросать тень на лица, которых заподозревал в бунте против себя, Белинский прибавил: «Он и до меня добирался. «Взгляните на этого Кассия, — твердил он моим приятелям, — никто не слыхал от него никогда никакой песни, он не запомнил ни одного мотива, не проронил сроду и случайно никакой ноты. В нем нет внутренней музыки, гармонических сочетаний мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человеческой природы». Вот какими закоулками добирался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под своей полой». Оба приятеля, как известно, вплоть до 1840 года беспрестанно ссорились и так же беспрестанно мирились друг с другом, но в лето 1836 года они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться,

когда в течение 1836 года Белинский, введенный в семейство Бакуниных, нашел там, как говорили его знакомые, необычайный привет, даже со стороны женского молодого его населения, к чему он никогда не относился равнодушно, убежденный, что ни одно женское существо не может питать участия к его мало эффектной наружности и неловким приемам. Белинский ездил в Тверь и жил некоторое время в поместье самих Бакуниных[29]. Беседы, которые он вел под кровом их дома, под обаянием дружбы с одним из его членов, при внимании и участии молодого и развитого женского его персонала, конечно, должны были крепче запасть в его ум, чем при какой-либо другой обстановке. Результаты оказались скоро. Когда Белинский опять возвратился к журнальной деятельности и принял на себя в 1838 году издание «Московского наблюдателя», совершенно загубленного прежней редакцией[30], — на страницах журнала уже излагались не Шеллинговы воззрения в том лирическо-торжественном тоне, какой они всегда принимали у Белинского, а строгие гегелевские схемы в надлежащей суровости языка и выражения и часто с некоторою священной темнотою, хотя и старые воззрения, и новые схемы имели много родственного между собою. К тому же одним из сотрудников журнала, от которого ждали переворота в области литературы и мышления, состоял теперь М. Бакунин. Он именно и открыл новый фазис философизма на русской почве, провозгласив учение о святости всего *действительно* существующего[31].

Одно, хотя и очень короткое, время Бакунин, можно сказать, господствовал над кружком философствующих. Он сообщил ему свое настроение, которое иначе и определить нельзя, как назвав его результатом *сластолюбивых* упражнений в философии. Все дело ограничивалось еще для Бакунина в то время *умственным наслаждением,* а так как самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно нового питания и возбуждения, то обширное, безбрежное море гегелевской философии пришлось тут как нельзя более кстати. На нем и разыгрались все силы и способности Бакунина, страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, и наконец, пышная, всегда как-то праздничная по своей форме, шумная, хотя и несколько холодная, мало*о*бразная и искусственная речь. Однако же эта праздничная речь и составляла именно силу Бакунина, подчинявшую ему сверст-

ников: свет и блеск ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самым идеям, ею возвещаемым. Бакунина слушали с упоением не только тогда, когда он излагал сущность философских тезисов, но и тогда, когда спокойно и степенно поучал о необходимости для человека ошибок, падений, глубоких несчастий и сильных страданий, как неизбежных условий истинно человеческого существования.

Бакунин сам рассказывал впоследствии, что однажды, после вечера, посвященного этой материи, собеседники его, большей частию молодые люди, разошлись спать. Один из них поместился в той же комнате, где опочивал и сам учитель. Ночью последний был разбужен своим молодым товарищем, который, со свечою в руках и со всеми признаками отчаяния на лице, требовал у него помощи. «Научи, что мне делать, — говорил он, — я — погибшее существо, потому что, как ни думал, не чувствую в себе никакой способности к страданию». Действительно, полюбить страдание, и особенно в юношеские годы, — трудновато.

Естественно, однако ж, что такое продолжительное умственное, диалектическое, философское пирование могло быть устроено только при одном условии: совершенного обеспечения себя от протестов со стороны людей огорченных или негодующих на жизнь, при условии осмыслить, если не узаконить, все то, па что они жалуются или в чем сомневаются. Необходимо было прежде всего убедить всех, которые сильно чувствовали *злобу дня,* в том, что их личные отдельные попытки осуждения современности или основ, на которых она держится, суть преступления против существующей «действительности», то есть преступление против «всемирной идеи», которая в данную минуту в нее воплотилась, — другими словами, против самого «высшего разума». Спокойствие и нужное расположение духа для философирования покупались только этой ценою. И ничем другим Бакунин в эту эпоху не занимался, кроме прямых и косвенных внушений этого рода. Ему принадлежит ввод в печать нового русского презрительного слова «прекраснодушие», возбудившего такое недоумение в публике и журналах своим действительно не очень складным составом, которое, будучи буквальным переводом немецкого «Schönseligkeit», призвано было обозначить у нас благородные, но несостоятельные отрицания личного мышления и личного суда над современностию. Ему принадлежит распространение у нас того крайнего, чистейшего и вместе брезгливого идеализма, который с ужасом отворачивался от всякого

житейского шума, смешивая под одним общим названием *низших явлений субъективного духа* все, что мешало ему, идеализму, заниматься спокойно вопросами о судьбах и призвании человечества: он просмотрел французский переворот 1830 года, ничего не распознал в общественном движении, наступавшем за ним во Франции (Ж. Санд, Сен-Симон, Ламене), ничего не видал в современной ему юной Германии, уже основавшей свой орган в 1838 г.: «Deutsche Jahrbücher» [32]. Он только заклеймил эти явления названием необузданных шалостей *рассудочного,* но не философского ума. Сам Шиллер объявлялся еще у этого идеализма — за молодые свои протесты, за свою жажду справедливости, правды, гуманности — гениальным ребенком, который никогда не мог возвыситься от теплых, хороших ощущений до спокойного созерцания идей и мировых законов, управляющих людьми, до объективного понимания предметов. Отец русского идеализма, Бакунин вместе с тем был весьма податлив и на житейские наслаждения, которыми пользовался совершенно беспечно и за которыми гнался как-то наивно, простодушно. Жизнь и философия тут не мешали друг другу. Впрочем, следует еще раз повторить, что нигде, может быть, философский романтизм не воплощался в таком сильном по средствам и дарованиям представителе, каким был Бакунин. Прикрытый математически-строгими формулами Гегелевой логики, романтизм этот казался по наружности очень суровой проповедью, будучи, в сущности, только потворством и оправданием для самых утонченных прихотей мысли, наслаждающейся собой.

Для Белинского, однако же, это было другое дело: философские занятия далеко не служили ему потехой и развлечением, а наоборот — горьким и тяжелым искусом, который он проходил с трудом и самоотвержением, надеясь обрести истину, покой для мысли и совести на конце его. Надо было привыкать к строю мыслей, открываемых новым созерцанием, и беспощадно убивать в себе всякое сомнение в нем, всякий позыв к противоречию. Философский оптимизм требовал очень многого. Путем отвлеченностей и метафизических выкладок он превращал в научные аксиомы, в философские истины и в откровения «духа» ходячие общественные начала, за малыми исключениями — почти всю современную жизненную обстановку и большую часть всех умственных и других отправлений, навеваемых и вызываемых текущей минутой.

В этом благоприятном разъяснении текущей минуты

именно и заключалось преимущественно то обаяние, которое производил на всех тогдашний глубоко консервативный, религиозный, даже с мистическим оттенком, семейно-добродетельный, нравственный, *музыкальный* Бакунин — такой, каким его знали до 1840 года, когда он уехал за границу из России.

С тех пор он ушел далеко; но потребность созидания систем и воззрений, обманывающих духовные потребности человека вместо удовлетворения их, — осталась все та же, и тот же романтизм, ищущий необычайных выводов и потрясающих эффектов, слышится и в его призывах к разрушению обществ и к истреблению цивилизации, как прежде слышался в воззваниях к высшему героическому пониманию и осуществлению нравственности и человеческого достоинства.

Уже и тогда многие — как покойный В. П. Боткин, например, и сам Белинский — по временам понимали хорошо источники проповеди Бакунина[33]. Описывая мне его личность в 1840 году, тогда мне еще совершенно незнакомую, Белинский говорил: «Это пророк и громовержец, но с румянцем на щеках и без пыла в организме». Таково было последнее впечатление, вынесенное им из долгих сношений с учителем. Но в общественном значении никто не отказывал философии Бакунина, потому что она действительно составляла прогресс в умственном развитии нашего общества и служила прогрессу. Способ понимания целей и задач жизни, ею усвоенный, заключал в себе много фантастичного элемента, но, конечно, стоял неизмеримо выше того грубого способа их представления, который царствовал у большинства современников. Смысл, который система Бакунина отыскивала не только в политических, но даже в будничных эфемерных явлениях текущего дня, действительно был произвольный и навязанный им насильно, но все-таки это был смысл, для усвоения которого следовало еще многому поучиться и о многом подумать. Положения проповеди Бакунина слишком многое узаконили в существующих порядках — это правда, но они узаконили их так, что порядки эти переставали походить на самих себя. Они становились идеалами в сравнении с тем, чем были на реальной почве. Нравственные требования от всякой отдельной личности носили у него характер безграничной строгости: вызов на героические подвиги составлял постоянную и любимую тему всех бесед Бакунина. Гегелевское определение личности как поприща, на котором совершает-

ся таинство самоопределения и окончательного разоблачения «творящей идеи», уполномочивало уже требовать от каждого человека самых напряженных усилий на пути развития своего сознания и нравственных доблестей. Бакунин и требовал этих усилий с вдохновением и настойчивостью, которые вошли уже у него в организм и привычку. Так, даже накануне французского переворота 1848 года в Париже, когда он сам перешел на чисто политическую арену и, сильно окрашенный польской пропагандой, приступил к подговорам, тайным махинациям и клубным мерам в известном роде, — он готов был всегда призывать людей к чистым подвигам, целомудренной жизни и идеальному пониманию ее задач. Это и заставило Герцена прозвать его тогда же (1847 год) в шутку «старой Жанной д'Арк». Герцен прибавлял, что это и девственница, но только *анти*орлеанская, так как питает отвращение к королю Луи-Филиппу — Орлеанскому.

Человек, предшествовавший Бакунину в изучении Гегеля и даже впервые, как мы сказали, посвятивший самого Бакунина в науку, Н. В. Станкевич, никогда не доходил до полного абсолютного оптимизма в философии. Станкевич уже и потому не мог соперничать в этом с товарищем, что, выходя с ним из одних оснований и не менее его отданный во власть романтического настроения, не способен был, однако же, по разборчивости ума, изяществу и поэтичности природы к грубым обобщениям. По причинам просто и чисто физиологическим он останавливался в недоумении перед каждой скрытой и явной несправедливостью, — так же точно, как и перед всяким чрезмерным увлечением. У него была поверка излишне заносчивых тезисов в чувстве меры, да к тому же он снабжен был и даром юмора, который открывал ему оборотную теневую сторону предметов. Этого дара вовсе недоставало Бакунину. Должно считать счастливым обстоятельством для Бакунина то, что в эпоху его самой жаркой проповеди Станкевич (с осени 1837 года) и Грановский (за год до того) были за границей, а Герцен проходил первое свое удаление, сперва в Вятку, а потом во Владимир; случись они тогда в Москве, законодательная деятельность Бакунина и его декреты по предметам мышления получили бы значительное ограничение и изменение.

Остается теперь посмотреть, как все эти свойства и качества философской системы Бакунина отразились тогда на душе Белинского.

V

На первых порах влияние новой философской системы Бакунина не было выгодно для таланта Белинского. Белинский прежде всего приступил тогда к изучению схем, формул, делений — всех почти неосязаемых теней колоссального мира абстракции, называемого логикой Гегеля, и приступил с пылом и фанатическим одушевлением, лежавшими в его природе. Сделав обет ученического послушания системе, он уже не изменил своему обету до конца. Он наложил опеку на свой подвижной ум, на свое тревожное сердце, создал план, программу, почти табличку поведения для своей жизни и для своей мысли и употреблял неимоверные усилия, чтобы отогнать от себя все наваждения врожденного ему таланта, критической и эстетической способности. Во все это время Белинского не покидало сомнение даже в праве отдаваться впечатлениям внешней жизни, своему чувству, своим сердечным влечениям. Он страдал в мысли так же, как и в способе относиться ко всему реальному в его собственном существовании, это было уже далеко не наслаждение философией, как в период Шеллингова влияния, — это был тяжелый труд, каторжная работа, принятая на себя из надежды близкого воскрешения в будущем, и потом уже радостного существования на земле, без сомнений, колебаний и томительных вопросов. Мучительный искус, добровольно проходимый одним из характеров, наименее способных к подчиненности, не кончился и тогда, когда Белинский ознакомился с учением о *действительности,* хотя оно, по-видимому, должно было бы освободить его от напрасных исканий идеально совершенных правил и основ жизни. По крайней мере, в литературе следы того же послушнического искуса сохраняются и в статьях его от 1838 года. Слово его, такое бодрое и развязное дотоле, становится в «Московском наблюдателе» 1838 года неопределенным, туманным, словно чахнет, занятое преимущественно выяснением философских терминов (особенно термин «конкретность» стоил ему долгих трудов и беспрестанных повторений одного и того же понятия на разные лады), переложением их на русский язык и толкованием их смысла для русской публики. По временам это бедное, уже обезличенное слово старается еще придать себе вид развязности, скрыть схоластические путы, мешающие его движению, казаться свободным, смелым словом, несмотря на ту цепь, которую дозволило наложить на себя. Это были

вспышки, соответствовавшие тем мимолетным протестам против теории, о которых говорено. Вообще же журнал «Московский наблюдатель», орган Белинского с 1838 года, представлял в течение нескольких месяцев печальную арену, где можно было видеть замечательного и своеобычного мыслителя в униженном положении страдальца, изнывающего и слабеющего под действием жестокой умственной дисциплины, лишавшей его сил, но которую он продолжает упорно налагать на себя, не признавая ее за наказание. Журнал истомил редактора и всех тех, которые за ним тогда следили. Многие из друзей редактора были также очень недовольны им и не скрывали своего мнения. Позволю себе при этом сказать несколько слов о собственных моих тогдашних впечатлениях по этому поводу.

VI

Известно, что «Московский наблюдатель» 1838 года открывался передовой статьей Рётшера «О философской критике художественного произведения»[34]. О ней много было говорено и тогда и потом в нашей литературе, и все-таки мне приходится остановиться на ней и теперь. Статья принадлежала к числу тех чрезвычайно сухих и отвлеченных трактатов, где понятия под наторелой рукой писателя складываются сами собой в затейливые узоры, оставляя в стороне, как вздорную помеху, все соображения о насущных потребностях известного общества, об условиях или нуждах его существования в данную минуту. Статья определяла будущее направление журнала. Она делила критику на четыре разряда, строго отмежеванные, отдавая, разумеется, предпочтение первому — философскому отделу, как заключающему в себе единственные истинные и непреложные законы для суда над произведениями. А непреложность этих законов доказывалась процессом исследования, свойственным философской критике, которая, распознав мысль художественного произведения, выделяет эту мысль из создания, развивает ее самостоятельно, по-философски, допытывается всех возможных ее выводов и потом возвращает эту мысль снова созданию, наблюдая, все ли то сказано в образах и подробностях создания, что обнаружилось в философском анализе его. Если да — да; если нет — тем хуже для создания!

Три низшие отдела критики, то есть критика психоло-

гическая, скептическая и историческая, конечно, не пользовались симпатиями Белинского. Не говорим уже о скептической, давно им презираемой, но и психологическая и историческая критики, как не имеющие руководителя в *абсолютных законах* мысли и искусства, ценились им весьма мало. Чрезвычайно любопытно выслушать при этом, что он говорил по поводу последней из них: «Подробности жизни поэта нисколько не поясняют его творений. Законы творчества вечны, как законы разума. На что нам знать, в каких отношениях Эсхил или Софокл были к своему правительству, к своим гражданам и что при них делалось в Греции? Чтобы понимать их трагедии, нам нужно знать значение греческого народа в абсолютной жизни человечества... До политических событий и мелочей нам нет дела» и проч.

Белинский тут просто не походил на самого себя. Между тем в статье Рётшера пред теми рубриками критики ставились бедные явления нашей печати и письменности, вымеривался их рост, и, на основании полученных четвертей и вершков, им отводилось помещение в одном из отделов. Так поступил Белинский с сочинениями Фонвизина, которые отнес к ведомству критики исторической, вместе с изумительным товарищем — сочинениями Вольтера, а «Юрия Милославского» подчинил ведению критики психологической, придав ему тоже необыкновенного спутника и сотоварища, именно Шиллера, «этого странного полухудожника и полуфилософа», замечал Белинский. Но недостало даже таланта и опытности Белинского, чтобы к названным русским авторам приложить все требования критического отдела, которому они делались подсудны, и найти в них все те черты, которые, по теории, должны были в них существовать непременно. Он обещал представить это свидетельство совпадения теории с живым примером, но не исполнил обещания — и по весьма понятной причине [35]. При осуществлении задачи либо теория должна была лопнуть по всем составам, либо примеры отбиться совсем от теории.

Зато Белинский исполнил другое. Чем более отрекался он от права личного суждения, тем более завладевали его умом мертвые философские схемы и тезисы, которые не только заслоняли перед его глазами предметы искусства, но назойливо и нагло становились на их место. Когда актер Мочалов создал роль Гамлета в Москве, Белинский написал большую статью о трагедии и московском исполнителе главной ее роли. Как же представился Гамлет вообра-

жению Белинского? Конечно, так же как и Гете, — человеком, страдающим бедностью воли в виду огромного замысла, на который он себя предназначает[36]. Но откуда эта немощь воли и сопряженные с нею страдания в лице, умеющем при случае поступать очень смело и решительно? — спрашивал себя Белинский. Ответ давался схемой. Гамлет, по ее определению, выражает собою все признаки того психического состояния, когда человек, мирно живший с собою и про себя, переходит к существованию в «действительности», во внешнем мире, таком запутанном и бессмысленном на первый взгляд. Борьба и страдания, неразлучные с этим погружением в хаос и в кажущуюся грубость реального мира, отнимают у Гамлета всю силу воли, всю твердость характера. Качества эти возвращаются к нему, когда Гамлет после долгого, мучительного искуса приходит к чувству покорности перед законами, управляющими этим непонятным, грозным миром действительности, к тихому убеждению, что надо быть *всегда готовым на все.* Таким образом, Гамлет преобразился в представители любимого философского понятия, в олицетворение *известной* формулы (что действительно, то разумно), и Белинский на этом пьедестале устраивает апофеозу как великому творцу драмы, так и замечательному его толкователю на московской сцене.

Постоянные превращения живых образов в отвлечения начинают появляться все более и более у Белинского. При обозрении журналов 1839 года Белинский делает заметку о статье Губера «Фауст». Что такое Фауст Гете? Для Белинского той эпохи Фауст есть точно такая же философская схема, как и Гамлет, даже почти ничем и не отличающаяся от нее. Фауст, как человек глубокий и всеобъемлющий, должен был выйти из естественной гармонии духа, поссориться с действительностию, к которой обратился за утешением и познанием, и после ряда кровавых испытаний, мучительной борьбы, падений и обольщений возвратиться снова к полной гармонии духа, но уже гармонии, просветленной опытом и сознанием. Он прозрел под конец разум и оправдание всего сущего. Фауст умирает в блаженстве и от блаженства такого сознания[37].

Как ни тяжело было, по-видимому, приложить этот способ определения предметов искусства к чему-либо выросшему на русской почве, Белинский, однако же, не остановился перед трудностию. Я сказал, что при появлении в «Современнике» 1838 года посмертных сочинений Пушки-

на Белинский испытал более чем восторг: даже нечто вроде *испуга* перед величием творчества, открывшегося глазам его. В литературной хронике «Московского наблюдателя» 1838 года, отдавая отчет о четырех томах «Современника», заключавших неизданные произведения великого поэта, Белинский спрашивал себя: что такое Пушкин? Оказалось, что та же схема, которая служила мерилом внутреннего достоинства Гамлета и Фауста, пригодна и для определения последних произведений Пушкина. Вот собственные слова Белинского: «В самом деле, — говорит он, — чтобы постигнуть всю глубину этих гениальных картин, разгадать их вполне *таинственный* смысл и войти во всю полноту и светлозарность их могучей жизни, должно пройти чрез мучительный опыт внутренней жизни и выйти из борьбы прекраснодушия в гармонию просветленного и примиренного с действительностию духа. Повторяем, примирение путем объективного созерцания жизни — вот характер этих последних произведений Пушкина»[38].

Было бы очень странно, если бы этот философский тезис, так могущественно и деспотически овладевший умом Белинского, остался без приложения к предметам политического и общественного характера или заменился там каким-либо иным, несхожим с ним, созерцанием. Непоследовательность такого различия в определениях была бы очевидным опровержением самых оснований теории, а Белинский был, всегда последователен и в истине, и в минутных заблуждениях своих. Таким образом, являлась у Белинского и политическая теория, в силу которой человек, для того чтобы устроить правильные отношения к обществу и государству, должен разрешить в себе ту же задачу, какую разрешали Гамлет и Фауст своими персонами, а Пушкин — своими произведениями. Разница состояла здесь в том только, что на политической и социальной почве уже не предстояло возможности выбирать явлений, предпочитать одни другим, производить им оценку и сортировку, а необходимо было уважать и признавать их всех одинаково и целиком. Белинский поэтому требовал, «чтобы человек, не желающий довольствоваться всю жизнь призрачным существованием вместо действительного человеческого существования, признал ложью и обманом умственные похоти своей личности, подчинился требованиям и указаниям государства, которое есть единственный критериум истины на земле, проникнул в глубокий смысл его идеи, превратил все могучее его содержание в собственные убеждения свои

и тем самым сделался уже представителем не случайных и частных мнений, а выражением общей, народной, наконец мировой жизни, или, другими словами, стал *духом во плоти».* Белинский продолжал далее: «В духовном развитии человека момент отрицания необходим, потому что кто никогда не ссорился с жизнью, у того и мир с нею не очень прочен; но это отрицание должно быть именно только моментом, а не целою жизнию: ссора не может быть целью самой себе, но иметь целью примирение. Горе тем, которые ссорятся с обществом, чтобы никогда не примириться с ним: общество есть высшая действительность, а действительность требует или полного мира с собою, полного признания себя со стороны человека, или сокрушает его под свинцового тяжестью своей исполинской длани».

Место это находится в разборе книги «Очерки Бородин¬ского сражения» Ф. Н. Глинки, которая ознаменовала, как знаем, полный расцвет гегелевского оптимизма в русской литературе.

Такова вкратце у Белинского история зарождения и развития гегелевского оптимизма, которая, так сказать, прошла у пас перед глазами.

VII

Нельзя покончить, однако же, с этим периодом деятельности критика, не повторив еще раз того, что было сказано о его частых восстаниях против своих же догматов: в противность всему строю и всем заключениям признанного и усвоенного им учения, из-под пера Белинского беспрестанно вырывались положения, похожие на ереси. Этими еретическими вспышками, смахивавшими на бунт против начал, угнетавших его ум, высказывались те, на время подавленные и притаившиеся, критические силы Белинского, которые ждали окончания философского погрома, чтоб явиться снова на свет в полном блеске[39]. Не удивительно ли было, например, в самом пылу гегелевского настроения, когда так процветало благоговение к «идее» и неутомимое искание е е , — вычитать у Белинского следующие строки в его разборе плохой драмы Полевого «Уголино»: «В творчестве сила не в идее, а в форме, которая, само собою разумеется, необходимо предполагает и условливает идею, и эта форма должна быть проникнута кротким, благоговейным сиянием эстетической красоты. Величие содержания (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозривает ее...» Помню хорошо

недоумение, которое возбуждали в нас подобные внезапные повороты (а их было немало), наносившие более или менее чувствительные удары самим основам и первым началам найденной философской системы. Помню также, что многие из нас и обращались к автору в подобных случаях за разъяснениями этих противоречий, но разъяснения Белинского большею частию обнаруживали досаду на людей, подвергавших его экзамену, и давались, как даются ответы детям на их расспросы. «Неужто вы думаете, — говорил Белинский, — что я должен при каждом мнении справляться с тем, что сказал когда-то прежде? Да вот теперь я вас ненавижу, а через день буду страстно любить». Много было истины в этих словах. Белинский особенно боялся тогда противоречий, потрясающих новую его систему, и отзывался гневно и нервно о людях, их высказывавших, но оказывалось, что он больше всего и думал именно о таких людях. В связи с этой чертой находилась и другая, не менее любопытная. Он негодовал, становился угрюм и зол, именно когда встречал непререкаемое согласие с его положениями, хотя это и не часто случалось, точно ему недоставало тогда возражений и обличений. Внутренняя жизнь Белинского в эту эпоху представляла раздвоение поистине трагическое и исполнена была страданий и сомнений, которые по временам он и открывал собеседникам в резком, неожиданном слове, — можно сказать, в вопле истерзанной души. Он судорожно и отчаянно держался за новые свои верования, но с каждым днем все более и более чувствовал, что они меняются, тускнут и испаряются на его собственных глазах.

Но в этот же период времени случалось и так, что Белинский боролся с гнетущими условиями метафизического деспотизма не одними вспышками и порывистыми движениями врожденной ему критической мысли, а и целыми продуманными суждениями и приговорами, которые шли наперекор теории и всем ее толкователям.

И как гордился сам Белинский этими доказательствами и заявлениями самодеятельности своего ума! В письме к И. И. Панаеву 19 августа 1839 года, напечатанном в «Современнике» 1860 года, в январе месяце, он шутливо, но с чувством нескрываемого торжества вспоминает, что еще осенью прошлого года объявил вторую часть «Фауста» Гете сухой, мертвой символистикой, к великому негодованию и изумлению всех московских друзей-философов *. Они не находили почти слов для выражения своего гнева и

презрения к смельчаку, налагавшему руку на своего рода «философский Апокалипсис», а теперь опустили головы, прочитав в «Deutsche Jahrbücher» статью молодого эстетика Фишера (Fischer), говорит Белинский, который буквально повторил все то, что возвещал он, непризнанный Белинский, за год перед тем.

И было чем гордиться!

Что касается до нас, то мы жаждали ересей Белинского, противоречий Белинского, измен его своим положениям и нарушений философских догматов, как подарков: они, казалось, возвращали нам старого Белинского 1834—1835 годов, когда он имел, несмотря на Шеллинга, свою независимую мысль и свое направление *. Не то чтобы кружок его петербургских сторонников ясно прозревал несостоятельность системы и выводов, из нее получаемых, — для этого он не был достаточно развит философски, — но он чувствовал беспокойство, следуя за развитием учителя, сильно недоумевал, когда ему — кружку этому — не позволяли ропота даже и на самые обыденные явления жизни, и беспрестанно обращал глаза назад, к прежнему Белинскому, 1835 года, издателю шести книжек «Телескопа», где помещены статьи и разборы, оставшиеся и доселе памятниками чуткой критики, приговоры которой пережили поколения, впервые их выслушавшие. Может быть, это подозрительное состояние кружка, всегда готового сорваться с тезисов па практическую дорогу прямой, наглядной оценки предметов, без всяких справок о том, что они представляют в идее, и было причиной грустного, осторожного, сдержанного обращения Белинского с кружком. Он не доверял ни его покорности отвлеченным понятиям, ни особенно его способности проникнуться ими в должной степени, и однажды, когда заговорили перед ним о здравом практическом смысле Петербурга, поправляющем увлечения и под дыханием которого иссыхают все источники фантазии и мечтаний, Белинский вспыхнул и с гневом проговорил: «Я вижу, куда вы клоните. Вам никогда не удастся сделать из меня то, что

* В «Телескопе» 1855 года помещены были образцовые статьи: «О русской повести и повестях Гоголя», «О стихотворениях Баратынского», «Стихотворения Владимира Бенедиктова» и «Стихотворения Кольцова». Надеждин, поручивший издание «Телескопа» Белинскому при своем отъезде за границу, был удивлен по возвращении в декабре 1835 года и доброкачественностию статей, в нем помещенных, и запущенностию редакции, недодавшей множество книжек журнала. Таков был и потом Белинский как «редактор». (*Прим. П. В. Анненкова.*)

вы хотите!» Он еще боялся за судьбу своего идеализма в Петербурге, да и долго потом, даже после отрезвления своей мысли, происшедшего в 1840 году, еще держался за него, как за отличие, которое не следовало терять на новом месте.

Дело, однако же, сложилось иначе.

VIII

После всего этого длинного отступления возвращаюсь к рассказу. Поселясь в Петербурге, Белинский начал ту многотрудную, работящую жизнь, которая продолжалась для него восемь лет сряду, почти без всякого перерыва, потрясла самый организм и заела его. На первых порах, после довольно долгого пребывания на квартире Панаева, он нанял себе помещение на Петербургской стороне по Большому проспекту, в красивом деревянном домике, с довольно просторной, но сырой и холодной комнатой и с небольшим кабинетом, жарко натопленным, где я и нашел его уже зимой 1840 года. Противоположность в температуре этих комнат не производила, по-видимому, особого действия на здоровье хозяина, но зато постоянно награждала посетителей его обычными зимними дарами Петербурга — флюсами, гриппами и подчас жабами. Укрывшись в своем тропически душном кабинете, Белинский весь отдался мысли и вел сурово уединенную, почти аскетическую жизнь, из которой по временам выходил в круг новых своих знакомых, где его строгий вид, всего чаще перемежавшийся со вспышками гнева или негодующего юмора, еще более обнаруживал основной фон, подкладку, так сказать, его страдающей души. Ошибиться было нельзя: наименее проницательный собеседник если не понимал, то чувствовал существенную принадлежность этого человека — живое олицетворение образов, изобретенных поэзией для передачи мучительных стремлений и порываний беспокойного сердца и возбужденной мысли. Только это был титан добродушный. В отличие от романтических типов этого рода, которых нам представляют обыкновенно лишенными слабых или любезных сторон характера, Белинский обладал в значительной степени теми и другими. Нельзя было не заметить его ребячески-чистой доверчивости к хорошему слову и честному помышлению, перед ним высказанным, а потом его комического гнева на себя, когда он открывал (что делалось очень скоро) не совсем чистые источники этих за-

явлений. Его наивная неопытность в делах общежития беспрестанно вовлекала в ошибки такого рода, хотя за минутами подобных промахов у него следовало почти тотчас же отрезвление, и тогда он уже открывал в характерах и явлениях стороны, которые ускользали и от очень пытливых и осторожных людей.

Но, вообще говоря, потребности в людях, в водовороте жизни, в поверке себя другими и всех — друг другом — Белинский тогда не обнаруживал. Он обходился без всего этого по целым неделям. После погрома, испытанного его новой теорией, он уже дни и ночи стоял перед письменным своим бюро. Довольно узкий, тропический его кабинет из двух окон, между которыми стояло это бюро, имел еще у противоположной стены и в расстоянии пяти-шести шагов кушетку с маленьким столиком у изголовья. Белинский почти всегда писал, как то требуется для журнальных статей, на одной стороне полулиста и бросал страницу, как только достигал ее конца. Затем он ложился на кушетку и принимался за книгу, после чего, переменив высохшую страницу, снова принимался за перо, не испытывая никакой помехи ни в чтении, ни в письме от этих промежутков в течении мыслей. Так создавались срочные и несрочные статьи, утомлявшие его физически гораздо более, чем умственно. Рука и слабая грудь его болели, но голова оставалась постоянно свежа. Впрочем, усиленная работа эта была нужна ему морально, для того чтобы обмануть и развлечь тоску одиночества, которую он испытывал с тех пор, как покинул московский свой кружок и обменял его на другой, не заменивший старого... Он долго не мог также привыкнуть к Петербургу, к его образу жизни — размеренной и осторожной, но кончил таким полным признанием его значения и разных гражданских и полицейских гарантий для личности, им представляемых, что помирился с ним окончательно.

Но у Белинского взамен общества были тогда три постоянные, неразлучные собеседника, которых наслушаться вдоволь он почти уже и не мог, именно: Пушкин, Гоголь и Лермонтов. О Пушкине говорить не будем: откровения его лирической поэзии, такой нежной, гуманной и вместе бодрой и мужественной, приводили Белинского в изумление, как волшебство или феноменальное явление природы. Он не отделался от обаяния Пушкина и тогда, когда, ослепленный творчеством Лермонтова, весь обратился к новому светилу поэзии и ждал от него переворота в самых поня-

тиях о достоинстве и цели литературного призвания. При отъезде моем за границу в октябре 1840 года Белинский спросил, какие книги я беру с собой. «Странно вывозить книги из России в Германию», — отвечал я. «А Пушкина?» — «Не беру и Пушкина...» — «Лично для себя я не понимаю возможности жить, да еще и в чужих краях, без Пушкина», — заметил Белинский.

О втором его собеседнике — Гоголе — скажем сейчас несколько пояснительных слов. Но что касается отношений, образовавшихся между Белинским и третьим, самым поздним или самым новым и молодым его собеседником, — именно Лермонтовым, то они составляют такую крупную психическую подробность в жизни нашего критика, что об ней следует говорить особо.

Важное значение Белинского в самой жизни Н. В. Гоголя и огромные услуги, оказанные им автору «Мертвых душ», уже были указаны нами в другом месте *[41]. Мы уже говорили, что Белинский обладал способностью отзываться в самом пылу какого-либо философского или политического увлечения на замечательные литературные явления с авторитетом и властью человека, чувствующего настоящую свою силу и призвание свое. В эпоху шеллингианизма одною из таких далеко озаряющих вспышек была статья Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», написанная вслед за выходом в свет двух книжек Гоголя: «Миргород» и «Арабески» (1835). Она и уполномочивает нас сказать, что настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский. Статья эта вдобавок пришлась очень кстати. Она подоспела к тому горькому времени для Гоголя, когда, вследствие претензии своей на профессорство и на ученость по *вдохновению,* он осужден был выносить самые злостные и ядовитые нападки не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой [42]. Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как, озадаченный и сконфуженный не столько ярыми выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. Московские знакомые и доброжелатели его покамест еще выражали в своем органе («Московском на-

* См. мои «Воспоминания и критические очерки», т. I, в статье о Гоголе. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

блюдателе») сочувствие его творческим талантам весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себе право отдаваться вполне своим впечатлениям только наедине, келейно, в письмах, домашним образом. Руку помощи в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему тогда никем не прошенный, никем неожиданный и совершенно ему неизвестный Белинский, явившийся с упомянутой статьей в «Телескопе» 1835 года. И с какой статьей! Он не давал в ней советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой-либо черты на основании ее сомнительной верности или необходимости для произведения, не одобрял другой, как полезной и приятной, — а, основываясь на сущности авторского таланта и на *достоинстве его миросозерцания,* просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего *великого писателя.* Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя[43]. Он еще тогда не пришел к убеждению, что московская критика, то есть критика Белинского, злостно перетолковала все его намерения и авторские цели, — он благосклонно принял заметку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя», и был доволен статьей — и более чем доволен, он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени. С особенным вниманием остановился в ней Гоголь на определении качеств истинного творчества и раз, когда зашла речь о статье, перечитал вслух одно ее место: «Еще создание художника есть тайна для всех, еще он не брал пера в руки, — а уже видит их (образы) ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, изборожденного страстями и горем, а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет и свяжет между собою...» — «Это совершенная истина, — заметил Гоголь, и тут же прибавил с полузастенчивой и полунасмешливой улыбкой, которая была ему свойственна: — только не понимаю, чем он (Белинский) после этого восхищается в повестях Полевого». Меткое замечание, попавшее прямо в больное место критика; но надо сказать, что, кроме участия романтизма в благожелательной оценке рассказов Полевого, была у Белинского и еще причина для нее. Белинский высоко ценил тогда заслужи знаменитого журналиста и глубоко соболез-

новал о насильственном прекращении его деятельности по изданию «Московского телеграфа»; все это повлияло на его суждение и о беллетристической карьере Полевого [44].

Но решительное и восторженное слово было сказано, и сказано не наобум. Для поддержания, оправдания и укоренения его в общественном сознании Белинский издержал много энергии, таланта, ума, переломал много копий, да и не с одними только врагами писателя, открывавшего у нас реалистический период литературы, а и с друзьями его. Так, Белинский опровергал критика «Московского наблюдателя» 1836 г., когда тот в странном энтузиазме объявил, будто за одно «слышу», вырвавшееся из уст Тараса Бульбы в ответ на восклицание казнимого и мучимого сына: «Слышишь ли ты это, отец мой?», будто за одно это восклицание — «слышу» — Гоголь достоин был бы бессмертия; а в другой раз опровергал того же критика, и не менее победоносно, когда тот выразил желание, чтобы в рассказе «Старосветские помещики» не встречался намек на *привычку,* а все сношения между идиллическими супругами объяснялись только одним нежным и чистым чувством, без всякой примеси [45].

Вспомним также, что «Ревизор» Гоголя, потерпевший фиаско при первом представлении в Петербурге [46] и едва не согнанный со сцены стараниями «Библиотеки для чтения», которая, как говорили тогда, получила внушение извне преследовать комедию эту как политическую, несвойственную русскому м и р у , — возвратился благодаря Белинскому на сцену уже с эпитетом «гениального произведения». Эпитет даже удивил тогда своей смелостью самих друзей Гоголя, очень высоко ценивших его первое сценическое произведение. А затем, не останавливаясь перед осторожными заметками благоразумных людей, Белинский написал еще резкое возражение всем хулителям «Ревизора» и покровителям пошловатой комедии Загоскина «Недовольные», которую они хотели противопоставить первому. Это возражение носило просто заглавие: «От Белинского» и объявляло Гоголя безоглядно великим европейским художником, упрочивая окончательно его положение в русской литературе [47]. Белинский сам вспоминал впоследствии с некоторой гордостью об этом подвиге «прямой», как говорил, критики, опередившей критику «уклончивую» и указавшей ей путь, по которому она и пошла (см. библиографическое известие о выходе «Мертвых душ», VI, 396, 400, 404 etc.) [48]. Таковы были услуги Белинского по отно-

шению к Гоголю; но последний не остался у него в долгу, как увидим.

Николай Васильевич Гоголь жил уже за границей в описываемое нами время и уже два года, как основался в Риме, где и посвятил себя всецело окончанию первой части «Мертвых душ» [49]. Правда, он побывал в Петербурге зимой 1839 года и читал нам здесь первые главы знаменитой своей поэмы у Н. Я. Прокоповича, но Белинского не было на вечере: оп находился случайно в Москве [50]. Вряд ли Гоголь и считал тогда Белинского за какую-либо надежную силу. По крайней мере, в мимолетных отзывах, слышанных мною от него несколько позднее (в 1841 году, в Риме) о русских людях той эпохи, Белинский не занимал никакого места. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарные воспоминания отложены в сторону. И понятно — отчего: между ними уже прошли статьи нашего критика о «Московском наблюдателе», горькие отзывы Белинского о некоторых людях того кружка, который уже призывал Гоголя спасти русское общество от философских, политических и вообще западных мечтаний. Н. В. Гоголь видимо склонялся к этому призыву и начинал считать настоящими своими ценителями людей надежного образа мыслей, очень дорожащих тем самым строем жизни, который подвергался обличению и осмеянию [51]. Николай Васильевич вспомнил о Белинском только в 1842 году, когда для успеха «Мертвых душ» в публике, уже представленных на цензуру, содействие критика могло быть не бесполезно. Он устроил тогда одно *тайное* свидание с Белинским в Москве, где последний случайно находился, и другое, хотя и не тайное, но совершенно безопасное, в кругу своих петербургских знакомых, не имевших никаких соприкосновений с литературными партиями: секрет свиданий был действительно сохранен, но, как я узнал после, они нисколько не успели завязать личных дружеских отношений между писателями. Все это было, однако же, еще впереди и случилось уже в мое отсутствие из Петербурга и России [52].

Теперь же, накануне моего отъезда за границу в 1840 году, Белинский как-то особенно был погружен в изучение и пересмотр гоголевских сочинений. Он и прежде пропитался молодым писателем настолько, что беспрестанно Цитировал разные лаконически-юмористические фразы, столь обильные в его творениях, но теперь Белинский особенно и страстно занимался выводами, какие могут быть сделаны из них и вообще из деятельности Гоголя. Можно

было подумать, что Белинский поверяет Гоголем самые начала, свойства, элементы русской жизни и ищет уяснить себе, в каких отношениях стоят произведения поэта к собственным философским его, Белинского, воззрениям и как они с ними могут ужиться. Здесь следует заметить, что время изменения и перелома в созерцании Белинского определить весьма трудно с некоторой точности». Фактически несомненно, что в следующем, 1841 году свершился мгновенный поворот критика к новым убеждениям, но приготовлялся он ранее и тогда, когда критик еще не покидал старой почвы и старой теории. Я сохраняю убеждение, что вместе с другими агентами его отрезвления — уроками жизни, развитием собственной его мысли и внушениями друзей — Лермонтов и Гоголь были не последними агентами, что доказывается и статьями о них, написанными Белинским в течение 1840 года. Под действием поэта реальной жизни, каким был тогда Гоголь, философский оптимизм Белинского должен был разложиться, как только его серьезно сопоставили с картинами русской действительности. Никакими логическими изворотами нельзя было помочь беде, — следовало или соглашаться с художником, обещающим еще много новых созданий в том же духе, или покинуть его, как не понимающего той жизни, которую изображает. Притом же обличения Гоголя довершали ряд обличений, начатых уже самым строем жизни и критическим умом Белинского прежде. Конечно, более правильное понимание известной формулы Гегеля о тождестве действительности и разумности, освободившее ум Белинского от философского обмана, дано было совсем не Гоголем, но Гоголь его подкрепил. Таким-то образом расплачивался Николай Васильевич с критиком за все, что получил от него для уяснения своего призвания; но вот что замечательно: обоим им суждено было поменяться ролями и разойтись по тем же дорогам, по которым пришли друг к другу. Пока Белинский, выведенный однажды на почву реализма, прокладывал себе дорогу все далее и далее по одному направлению, — романист, способствовавший ему обрести этот верно намеченный путь, возвращался сам, после долгих блужданий, к той исходной точке, на которой стоял при самом начале его критик. Обменявшись местами, они уже, каждый е своей стороны, стремились достичь крайних, последних выводов своего положения, и оба одинаково умерли страдальцами и жертвами напряженной работы мысли — мысли, обращенной в различные стороны.

IX

Что касается Лермонтова, то Белинский, так сказать, овладевал им и входил в его созерцание медленно, постепенно, с насилием над собой. При первом появлении знаменитой лермонтовской думы «Печально я гляжу на наше поколенье», помещенной в № 1 «Отечественных записок» 1839 года, — этого монолога, над которым впоследствии критик долго и часто задумывался, которым не мог насытиться и о котором позднее не мог наговориться, — Белинский, еще живший в Москве, выразился коротко и ясно: «Это стихотворение энергическое, могучее по форме, — сказал он, — но *несколько прекраснодушное* по содержанию». Известно, что выражал эпитет «прекраснодушный» в нашем философском кружке. Однако же Белинский не успел отделаться от Лермонтова одним решительным приговором. Несмотря на то что характер лермонтовской поэзии противоречил временному настроению критика, молодой поэт по силе таланта и смелости выражения не переставал волновать, вызывать и дразнить критика. Лермонтов втягивал Белинского в борьбу с собою, которая и происходила на наших глазах. Ничто не было так чуждо сначала всем умственным привычкам и эстетическим убеждениям Белинского, как ирония Лермонтова, как его презрение к теплому и благородному ощущению в то самое время, когда оно зарождается в человеке, как его горькое разоблачение собственной своей пустоты и ничтожности, без всякого раскаяния в них и даже с некоторого рода кичливостию. Новость и оригинальность этого направления именно и привязывали Белинского к поэту такой полной откровенности и такой силы.

Нельзя сказать, чтобы Белинский не распознавал в Лермонтове отголоска французского байронизма, как этот выразился в литературе парижского переворота 1830 года и в произведениях «юной Франции», а также и примеси нашего русского великосветского фрондерства, построенного еще на более шатких основаниях, чем парижский скептицизм и отчаяние. Но он им отыскивал другие причины и основания, а не те, которые выходили из самой жизни поэта. Художнический талант Лермонтова закрывал лицо поэта и мешал распознать его. Кроме замечательной силы творчества, кото-

рую он постоянно обнаруживал, — он еще отличался проблесками беспокойной, пытливой и независимой мысли. Это уже была новость в поэзии, и, по теории, источника ее приходилось искать в долгом труде головы, в пламенном сердце, мучительном опыте и проч., хотя бы пришлось для этого многое наговорить на них. И вот Белинский принялся защищать Лермонтова — на первых порах от Лермонтова же. Мы помним, как он носился с каждым стихотворением поэта, появлявшимся в «Отечественных записках» (они постоянно там печатались с 1839 года), и как он прозревал в каждом из них глубину его души, больное, нежное его сердце. Позднее он так же точно носился и с «Демоном», находя в поэме, кроме изображения страсти, еще и пламенную защиту человеческого права на свободу и на неограниченное пользование ею[53]. Драма, развивающаяся в поэме между мифическими существами, имела для Белинского совершенно реальное содержание — как биография или мотив из жизни действительного лица.

Памятником усилий Белинского растолковать настроение Лермонтова в наилучшем смысле остался превосходный разбор романа «Герой нашего времени» от 1840 года. Здесь-то, спасая Печорина от обвинения в диких порывах, в цинических выходках беспрестанно рисующегося и себя оправдывающего эгоизма, что сделало бы его лицом противоэстетическим, а стало быть, по теории, и безнравственным, Белинский находит гипотезу, способную дать ключ к уразумению наиболее возмутительных поступков героя. Белинский пишет по этому случаю чисто адвокатскую защиту Печорина, в высшей степени искусственную и красноречивую. Найденная им гипотеза состоит в том, что Печорин еще не полный человек, что он переживает минуты собственного развития, которые принимает за окончательный вывод жизни, и сам ложно судит о себе, представляя свою особу мрачным существом, рожденным для того, чтобы быть палачом ближних и отравителем всякого человеческого существования. Это — его недоразумение и его клевета на самого себя. В будущем, когда Печорин завершит полный круг своей деятельности, он представляется Белинскому совсем в другом виде. Его строгое, полное и чуждое лицемерия самоосуждение, его откровенная проверка своих наклонностей, как бы извращены они ни были, а главное — сила его духовной

природы служат залогами, что под этим человеком есть другой, лучший человек, который только переживает эпоху своего искуса. Белинский пророчил даже Печорину, что примирение его с миром и людьми, когда он завершит все естественные фазисы своего развития, произойдет именно через женщину, так унижаемую, попираемую и презираемую им теперь. Как добрая нянька, Белинский следит далее за всеми движениями и помыслами Печорина, отыскивая при всяком случае всевозможные облегчающие обстоятельства для снисходительного приговора над ним, над его невыносимой претензией играть человеческой жизнию по произволу и делать кругом себя жертвы и трупы своего эгоизма. Один только раз Белинский останавливается перед выходкой Печорина, совершенно растерянный, не находя уже слов для уяснения грубой мысли героя и признаваясь, что не понимает его. Случилось это тогда, когда Печорин, при мысли, что обольщенная им женщина проведет ночь в слезах, чувствует трепет неизъяснимого блаженства и проговаривает: «Есть минуты, когда я понимаю вампира! — а еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия!» «Что такое вся эта сцена? — восклицает наконец Белинский. — Мы понимаем ее только как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие с самим собою, вечно не удовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства, но *последней ее черты мы решительно не понимаем...*»

Так боролся Белинский с Лермонтовым, который под конец, однако же, одолел его. Выдержка у Лермонтова была замечательная: он не сказал никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стечению обстоятельств, очень своеобразно; он шел прямо и не обнаруживал никакого намерения изменить свои горделивые, презрительные, а подчас и Жестокие отношения к явлениям жизни на какое-либо другое, более справедливое и гуманное представление их. Продолжительное наблюдение этой личности вместе с другими, родственными ей по духу на Западе, забросили в душу Белинского первые семена того позднейшего учения, которое признавало, что время чистой лирической поэзии, светлых наслаждений образами, психическими откровениями и фантазиями творчества миновало и что единственная поэзия, свойствен-

ная нашему веку, есть та, которая отражает его разорванность, его духовные немощи, плачевное состояние его совести и духа. Лермонтов был первым человеком на Руси, который навел Белинского на это созерцание, впрочем, уже подготовленное и самым психическим состоянием критика. Оно пустило обильные ростки впоследствии.

Таким образом, все материалы для устранения отвлеченного, философского принципа, вся нужная подготовка для выхода из фальшивого псевдогегелевского оптимизма были уже теперь налицо; но Белинский освобождался от старого воззрения, так тщательно воспитанного им в себе, медленно, как от любви, хотя уже с половины 1840 года он не мог вспоминать и говорить без ужаса и отвращения о статье своей «Менцель», которою он открыл этот замечательный год своей жизни и которая была написана им еще в Москве (1839)[54]. Эстетические статьи, о которых мы сейчас говорили, последовавшие за ней, были плодом уже петербургских его дум. На них еще лежит во многих местах отблеск старого направления, но с ними снова выходил на литературную арену замечательный критик в полном обладании своей мыслью и своим увлекательным словом. Проснулись все его способности, вся прирожденная ему сила литературной прозорливости. Статьи его были не просто журнальными рецензиями, — они составляли почти *события* в литературном мире того времени. Все они установляли новые точки зрения на предметы, читались с жадностью, производили глубокое, неизгладимое впечатление на современную публику, на всех нас, какие бы оттенки прежних, не вполне покинутых убеждений еще ни встречались в них и как бы сам автор ни осуждал впоследствии некоторые из их положений и приговоров за излишний пыл и через меру высокий тон их. Белинский как критик-художник являлся действительно человеком власти и могущества, подчиняющим себе. Достаточно вспомнить для объяснения обаятельного действия всех его рецензий 1840 года, после «Менцеля», что в каждой из них происходила, так сказать, художническая анатомия данного произведения, открывалось его внутреннее строение с очевидностью и осязательностью, дававшими иногда совершенно одинаковое, а иногда еще и большее наслаждение, чем чтение самого оригинала. Это было восстановление произ-

ведения, только уже проведенного, так сказать, через душу и эстетическое, чувство критика и получившего от соприкосновения с ними новую жизнь, бóльшую свежесть и более глубокое выражение. Так, в художническо-эстетической критике 1840 года Белинский находил выход из опутавшего его философского догматизма. С этим направлением я его и оставил при моем отъезде за границу.

X

Прежде отъезда мне пришлось, однако же, побывать опять в Москве. На этот раз Белинский снабдил меня письмом к Василию Петровичу Боткину, которого я вовсе не знал, но о котором много и часто говорилось при мне. Я побежал к нему при первой возможности. Это было в половине июня 1840 года[55].

Я застал В. П. Боткина в беседке сада, прилегавшего к известному дому Боткиных на Маросейке. Тут он устроил себе очень изящный летний кабинет, где и проводил все свободные свои часы, окруженный многочисленными изданиями Шекспира и комментариями на него европейских исследователей. Он составлял тогда статью о Шекспире[56]. Я нашел в Боткине тех времен молодого человека в красивом парике, с чрезвычайно умными и выразительными глазами, в которых меланхолический оттенок постоянно сменялся огоньками и вспышками, свидетельствовавшими о физических силах, далеко не покоренных умственными занятиями. Он был бледен, очень строен, и на губах его мелькала добродушная, но как-то осторожная улыбка, — словно врожденный его скептицизм по отношению к людям сохранял над ним свои права и в области безграничного идеализма, в которой он тогда находился.

Впоследствии оказалось, что он стоял на границе радикального нравственного переворота, которого и сам еще не предчувствовал. Никто не обращал внимания на внезапные проблески страсти на лице и в речах, которые часто прорывались у него, и никому не приходило в голову подозревать, что в нем живет еще другой человек, кроме того, которого знали и любили окружающие его друзья и товарищи[57].

Мы, разумеется, разговорились о Белинском и о его мучительных исканиях выхода из положений, очень осно-

вательно выведенных из данного тезиса и очень несостоятельных в приложениях к практической жизни. «Он платится теперь, — сказал мне задумчиво и как-то строго Боткин, словно обращаясь к самому себе, — за одну весьма важную ошибку в своей жизни — за презрение к французам. Он не нашел у них ни художественности, ни чистого творчества и за это объявил им непримиримую вражду, а между тем без знания их политической пропаганды о них и судить не следует. *Ваш Петербург* принесет Белинскому большую пользу в этом отношении: он непременно изменит его взгляд на французов». *Наш* Петербург, однако же, не был в настоящей мысли Боткина такой панацеей для Белинского от заблуждений, как он это заявлял. Из обширной переписки, которую вел Боткин с Белинским в то время, оказалось, что друг критика еще очень боялся, чтобы на новой почве и отделенный от своего естественного, московского круга критик не выпустил из вида великие начала философского понимания предметов литературы и нравственности.

Разбор гоголевского «Ревизора», написанный Белинским тогда же, послужил ответом на эти напрасные опасения[58]. Так как статья эта составляет вместе с тем и биографическую черту из жизни критика, то я и остановлюсь на ней.

Может быть, нигде в сильнейшей степени не сказались все самые видные качества эстетической критики Белинского, о которой говорили, как именно в этом разборе «Ревизора», которого Белинский противопоставлял «Горю от ума». Здесь каждое движение души у Хлестакова, городничего, его жены, дочери, да и вообще у действующих лиц комедии, выслежено с неутомимостию мыслителя-психолога, разрешающего трудную задачу, которая ему предложена; каждый намек на их характеры, часто заключающийся в одном слове или беглой черте, уловлен со вдохновением, можно сказать, равносильным художническому. Весь ход творческой мысли автора разобран до мельчайшей подробности, и читателю статьи невольно кажется, что он присутствует в какой-то критической лаборатории, где разлагаются перед его глазами все замыслы, приемы и дальновидные расчеты художнического производства. Тайн чужой работы для Белинского как бы не существует. Между прочим, здесь находилось множество мыслей, которые потом, к удивлению, были усвоены самим Гоголем и

встречаются в его собственной защите своей комедии, как, например, мысль, что грубая ошибка городничего, принявшего мальчишку Хлестакова за ревизора, есть действие встревоженной совести. «Не грозная действительность, а призрак, фантом или, лучше сказать, тень от страха виновной совести должна была наказать человека призраков (городничего)», — говорил Белинский в одном месте. Даже знаменитое положение Гоголя, что честное существо в «Ревизоре» есть смех, — даже и оно сказано было Белинским прежде[59]. Упомянув, что основа трагедии всегда зиждется на борьбе, возбуждающей сострадание и заставляющей гордиться достоинством человеческой природы, Белинский продолжает: «Так и основа комедии — на комической борьбе, возбуждающей смех; однако же в этом смехе не одна веселость, *но и мщение за униженное человеческое достоинство, и, таким образом, другим путем, нежели в трагедии, но опять-таки открывается торжество нравственного закона*»; и много еще подобных мест заключалось в статье. Я не вывожу из этого сближения никаких заключений, хотя и позволительно думать, что Гоголь читал статью Белинского, по крайней мере, весьма внимательно. Что же касается до «Горя от ума», то Белинский считал комедию изумительной картиной нравов и гениальной сатирой, но не находил в ней художнически построенного создания и, восхищаясь ею, сожалел, что не может приложить к ней тех способов философско-эстетического анализа, которые употреблял для разбора «Ревизора». Он был еще связан теоретическими запрещениями и ограничениями; и немного позднее, в эпоху обращения к политическим и общественным вопросам, о которой пророчил В. П. Боткин, Белинский сам считал этот приговор далеко не исчерпывающим всего значения комедии Грибоедова[60].

Между прочим, в это же самое время Белинский покончил все расчеты и связи с человеком, которого он ценил еще недавно очень высоко и которого глубоко уважал и любил, — с Н. А. Полевым. Под гнетом тяжелых обстоятельств жизни Н. А. Полевой, сделавшийся издателем «Сына отечества», перешел на сторону врагов философского движения в России и самого развития независимой, критической журнальной деятельности, эру которой, между прочим, он сам же и открыл у нас. Отзываясь теперь презрительно и насмешливо о молодых

попытках отыскать какие-то особенные начала для жизни и мысли, без справки с опытом и условиями времени, Полевой думал сделаться необходимым человеком в том кругу людей и понятий, к которым Пристроился после падения «Московского телеграфа». Но расчет его и тут не удался. Он был им подозрителен и тогда, когда защищал их. Всего этого было, однако же, довольно, чтобы потушить у Белинского те искры привязанности, которые он постоянно питал в душе к прежнему бойкому публицисту и недавнему романтическому сказочнику. Он это и высказал откровенно в разборе «Очерков русской литературы» Н. А. Полевого, — разборе, который может стать рядом с прежним его разбором деятельности С. П. Шевырева по яркости красок и убедительности доводов: оба эти разбора заслоняли людей нового поколения от влияния авторитетов и репутаций, переставших отвечать потребностям времени, и оба порешили участь двух значительных имен в литературе[61].

Когда я вернулся после трехмесячной летней отлучки моей снова в Петербург, я нашел в Белинском большую перемену. Белинский уже вышел из психического кризиса, в котором я его оставил. Упреки, которые он делал себе в глубине души и уединенно за свое недавнее увлечение, высказывал он теперь торжественно, явно, во всеуслышание. Тон и склад его разговоров проникнут был самообличением самым ярким и беспощадным. Он уже пережил и позабыл боль скорбных признаний и делал их теперь публично. Получая укоры со всех сторон, Белинский уже свободно разбирал их, оправдывал и пополнял. Станкевич писал из Берлина с изумлением о *новых* теориях, народившихся в Петербурге; о негодовании же в круге Герцена, в котором числился, кроме Огарева и других, тогда еще и Грановский, было уже нами сказано выше. Даже и обличения посторонних лиц, гораздо менее друзей стеснявшихся приискиванием позорных источников для объяснения ультраконсервативной деятельности Белинского, находили в нем своего адвоката. Он становился на сторону своих диффаматоров, досказывал им сам черты, которые могли бы усилить ядовитость их полемики, и только для себя не находил никакого оправдания. Так разрешался его кризис. Можно было подумать, что Белинский находит что-то облегчающее для себя в этих беспрестанных истязаниях своей репутации. Черта такого са-

мобичевания проявлялась у Белинского иногда и без особенно важных поводов, порождая иногда уморительные и юмористические вспышки. Известно, что наш критик погрешил еще в 1839 году пятиактной скучно-психической и сентиментальной комедией («Пятидесятилетний дядюшка»), о которой не любил вспоминать и которой стыдился. Однажды и уже через несколько лет после ее появления, когда Белинский имел в литературе значительное имя и влияние, он был представлен где-то известному славянскому филологу-профессору И. Срезневскому, который с первого же слова объявил, что он не сочувствует его критической деятельности, но зато находит комедию его гениальной вещью. Белинский затем уже никогда не мог вспомнить об этом отзыве без выражения безмерного изумления, как будто дело шло о чем-то совершенно невозможном и неестественном[62].

Достойно замечания еще и то обстоятельство, что смысл вообще философских статей Белинского не был разгадан и патриотами-консерваторами эпохи, которым статьи должны были бы прийтись по сердцу и которые, наоборот, присоединились к толпе, преследовавшей критика свистками. Даже люди очень образованные и весьма радевшие как о внутреннем, так и о внешнем достоинстве русской жизни, как, например, С. Шевырев, не угадали помощи, какую приносят статьи Белинского их собственному делу, по множеству очень умных и дельных заметок о психологии народной, которые в них заключались и опередили науку о психической жизни народов, ныне появившуюся. Образованные люди и профессора остановились только на туманном языке Белинского — и далее не пошли, довольствуясь случаем лишний раз поглумиться над противником. Таким образом, большого политического смысла не обнаружилось ни с той, ни с другой стороны, но откуда же и было взять его тогда? Первые проблески некоторого политического смысла зародились у нас только в разгаре великого спора между славянофилами и западниками, там они и окрепли, о чем будем говорить далее.

XI

По осени того же 1840 года явился в Петербург молодой человек, М. Катков, из Москвы, переводчик «Ромео и Юлии», уже составивший себе репутацию че-

ловека с основательными филологическими познаниями, и замечательными способностями к отвлеченному мышлению и к критике идей. Но в это время он преследовал еще и другие цели, стараясь показаться человеком. не только энциклопедического образования, но и страстных житейских увлечений, занимаясь точно так же. философскими соображениями, поэзией, искусством и творчеством, как и сообщением своей физиономии демонического выражения. Желание прослыть человеком, способным понимать и чувствовать в себе все стороны существования, бросало его по временам в необычайные попытки, подсказывало действия и порывы совершенно фантастического характера, частию искренние, так как он действительно обладал страстной, увлекающейся натурой, а частию придуманные, в виде украшения, отличия, *полезной* психической черты. Все это вместе довольно плохо вязалось с планами ученой и труженической жизни, какие он делал для себя, и создавало из него загадку для окружающих, чего он и хотел. Уже с 1839 года Катков был сотрудником «Литературных прибавлений» и «Отечественных записок» г. Краевского и вместе с Белинским, при обновлении редакции последнего журнала, очутился в числе главных его руководителей. По прибытии в Петербург он остановился также у И. И. Панаева — орудия и агента этого обновления. Он появился, однако же, ненадолго, пробираясь в Берлин для окончания философского и научного образования, во-первых, а во-вторых — для исполнения одного долга чести. Какая-то старая и довольно грубая, хотя и морализующая, по обыкновению, выходка Бакунина по поводу одной московской истории вызвала в самом кабинете Белинского порядочно безобразную сцену между Катковым и Бакуниным, когда оба они находились уже в Петербурге [63]. Дело должно было разрешиться дуэлью в Берлине. К удовольствию друзей, принимавших участие в противниках, дуэль не состоялась вовсе *. В Петербурге Катков был предшествуем, как я сказал, репутацией человека нервного характера и оригинального ума, питаемого особенно знакомством с источ-

---

* При отъезде моем за границу Белинский, рассказывая подробности сцены, поручал мне стараться о примирении врагов. «Было бы большим несчастьем, — говорил он, — потерять такого человека, как Катков; действуйте особенно на Бакунина — он же резонер и на сделку пойдет скорее». (*Прим. П. В. Анненкова.*)

пиками господствовавших тогда теорий, и, наконец, писателя, уже отличившегося мастерством своим выражать метко и живописно оригинальные стороны философских идей, исторических эпох и предметов искусства вообще. Критические статьи Каткова действительно возвещали очень свежий, разнообразный и сильный талант; между ними остается мне памятной рецензия его на книгу Зиновьева: «Основания русской стилистики», где первое возникновение риторики как науки оправдывалось строем всей древней греческой жизни и цивилизации и осязательно показывалась нелепость ее претензии на звание науки в быту новых обществ. Тем же характером блестящего изложения и понимания исторической и бытовой сущности вопросов отличаются и многие другие его статьи в «Литературных прибавлениях» и «Отечественных записках» 1839 и 1840 годов. Белинский очень дорожил его сотрудничеством в «Отечественных записках» и ожидал от того больших последствий для журнала, чего, однако же, не сбылось.

Катков переживал тогда тот период развития, который можно назвать «свирепостию молодости» и который часто разрешается явлениями, которые кажутся совершенно невозможными и дикими в приложении к лицу, узнанному нами позднее, когда оно уже вполне определилось. С физиономии его почти не сходило тогда выражение некоторого легкого презрения к *интеллигенции,* его окружавшей, а поступки его еще сильнее выражали убеждение в своем праве не дорожить ею. Белинский не составлял исключения. Катков нимало не скрывал высокого понятия о самом себе и больших надежд, возлагаемых им на свою будущность, и думал, что они могут служить достаточным основанием для снисходительного взгляда на его резкие выходки и несправедливости к друзьям, которые только и занимались тем, чтоб поддержать, поощрить и укрепить его деятельность и влияние. В короткое время своего пребывания в Петербурге, кроме некоторых библиографических статей, он перевел вместе с другими участниками роман Купера «Патфайндер» и составил этюд «Сарра Толстая», который появился в «Отечественных записках» почти перед самым его отъездом за границу. Белинский, еще до напечатания этого этюда, был очень доволен им и даже много говорил о нем, но не прошло и двух месяцев, как он переменил свое мнение об

этюде, о чем я уже узнал впоследствии. Ему сделались вдруг противны психические изыскания в области *духа,* анализ неуловимых чувств и ощущений внутреннего человеческого существования — словом, вся та метафизика ума и воли, какая обильно предлагалась статьей Каткова, но которая начинала уже терять всякое значение для Белинского. Было и еще соображение. По всему складу мысли и деятельности Каткова, с первых же его шагов за границей, все яснее оказывалось, что он гораздо более занят мыслию водворить в своем отечестве новые основы положительного созерцания и верования, какие он открыл в позднейшей философии «Откровения» Шеллинга, чем призванием работать на просветление загрубелой русской общественной среды, прямо и непосредственно, как того требовало время. Сам Катков скоро подтвердил все догадки Белинского. Еще в Гамбурге, ступая, так сказать, впервые на почву Европы, он думал, что успех «Отечественных записок» доставит ему и Белинскому средства безбедного существования на всю жизнь, а менее чем через год он прекратил все сношения с журналом. Было бы крайне поверхностно и мелочно объяснять дело неясностию денежных расчетов между редакцией и сотрудником ее, между тем как дело разъясняется вполне отвращением Каткова следовать по пути бесповоротного отрицания, которое боится и не желает разъяснений. В 1842 году он на этом основании подозрительно относился даже к «Мертвым душам» Гоголя, как я имел случай лично убедиться, и не столько к поэме, сколько к будущим ее панегиристам, которых предвидел и которых более опасался, чем выводов самого произведения. В глухую осень 1840 года (октября 5-го) мы с ним сели на *последний* пароход, отправлявшийся из Петербурга в Любек. Белинский, Кольцов и Панаев провожали нас до Кронштадта [64].

Я упомянул имя Кольцова. Это была моя первая и последняя встреча с этим замечательным человеком. Как теперь смотрю на малорослого, коренастого поэта, со скулистой, чисто русской физиономией и с весьма пытливым и наблюдательным взглядом. Все время проводов он молчал, как бы озадаченный и подавленный умными, а еще более — развязными речами литературных авторитетов, — речами, которые выслушивал с покорным вниманием неофита. Это была как будто обяза-

тельная маска, принятая им в литературном обществе, которое так много делало для распространения его известности, потому что и ко мне, совершенно безвестному и нимало не влиятельному лицу кружка, он подошел, после обеда в Кронштадте, со словами: «Не забывайте, что вы обязаны нас учить и просвещать». Много было искреннего в чувстве, которое ему подсказывало подобные слова, но много в них было также и привычки, взятой в постоянном обращении с кругом писателей. Она не мешала, однако же, его суждению. По словам Белинского, не было человека более зоркого, проницательного и догадливого, чем Кольцов с его спокойным и покорным видом: он распознавал людей сквозь кору наносной культуры и цивилизации и судил о них очень правильно и самостоятельно. Это не мешало ему и в жизни, и в поэтической деятельности отдавать по временам самого себя бесповоротно во влияние и управление какой-либо излюбленной личности, чем он тоже выражал свою русскую природу вполне. Белинский, например, распоряжался его мыслию и душой самовластно:[65] кроме того, что критик наш высвободил его народную и поразительно образную песнь от дурных резонерских привычек, он навеял также Кольцову сперва его религиозные гимны, а затем пробудил в нем зародыши поэтического созерцания жизни и жажду по наслаждениям бытия, какую оно за собой выводит. При Кольцове оставались, однако же, все та же оригинальная форма, тот же оборот и неподражаемый склад речи, на что бы она ни обращалась: эта черта, кажется, должна была бы остановить недавние подозрения, брошенные на поэта в присвоении чужой литературной собственности[66]. Есть анекдот от эпохи, теперь нами передаваемой, который Белинский повторял не раз. В разгаре московского философского настроения собрался однажды у В. П. Боткина кружок друзей, занимавшихся наукой наук, и притом собрался в самом счастливом и веселом расположении духа. Тогда еще существовали для людей *радости* по вычитанной идее, по открытию нового фактора в духовной жизни, по приобретению нового горизонта для мысли и т. д. Кружок ликовал одною из этих нематериальных, отвлеченных и теперь уже не многим понятных радостей. Случайно попал на него и Кольцов, конечно, не вполне уразумевавший основания восторженных речей своих друзей, но общее настроение подей-

ствовало на него обаятельно. Он сам просветлел и, удалившись в кабинет хозяина, сел за письменный его стол и возвратился через несколько минут к приятелям с бумажкой в руках. *«А я написал песенку»,* — сказал он робко и прочел стихотворение: «Песнь Лихача Кудрявича» — пьесу, которой по-своему как бы отвечал и вторил шумной речи молодых московских энтузиастов.

Не мешает сказать мимоходом, что часть биографии Кольцова, касающаяся его семейных дел, кажется, должна быть принимаема теперь с некоторою осторожностью и оговоркой, необходимыми особенно для подтверждения догадки, что, собственно, никакого преднамеренного и обдуманного преследования со стороны родных не было в жизни Кольцова. Они тогда и долго потом еще не считали себя виновными перед покойным и действительно могут быть если не оправданы, то пощажены на суде потомства. Они жили по правилам, обычаям и воззрениям грубой культуры, которую унаследовали от отцов, и понять не могли, что притесняют и, наконец, губят близкого человека одним образом своих диких понятий и своей жизнию по этим понятиям. Они оскорбляли и мучили свою жертву беззлобно и бессознательно, и только в этом и заключается именно трагизм семейного положения Кольцова, обреченного на жизнь в безобразной среде с той степенью развития, которую уже имел...

Мы так и уехали, оставив Белинского при разработке эстетических начал, которые он понимал далеко не так узко, как положено думать об эстетических приемах вообще. По некоторым чертам, мною уже приведенным, можно судить, какое многозначительное содержание он сообщал им, а чем далее он шел, тем все большую широту получали и его эстетические начала, обнимавшие не одни только условия и задачи искусства, но и связанные с ними неразрывно вопросы жизни и морали. Кстати о последней. При отъезде я уносил с собой образ Белинского преимущественно как нравоучителя и об этом считаю нужным сказать теперь несколько слов.

Кто не знает, что моральная подкладка всех мыслей и сочинений Белинского была именно той силой, которая собирала вокруг него пламенных друзей и поклонников. Его фанатическое, так сказать, искание правды и истины в жизни не покидало его и тогда, когда он на время уходил в сторону от них. Авторитет его как моралиста никогда не страдал между окружающими от его заблужде-

ний. Необычайная честность всей его природы и способность убеждать других и освобождать их от дурных приростов мысли продолжали действовать на друзей обаятельно и тогда, когда он шел вразрез с их убеждениями. Очерк его моральной проповеди, длившейся всю жизнь его, был бы и настоящей его биографией.

К концу 1840 года нравственное уже не выводилось им более из полного устранения своей личности, своего *я,* и из передачи всего себя в лоно беспредельной *любви,* как в первый (шеллинговский) период развития; оно не заключалось также в *понимании* самого себя как высшего творческого момента в деятельности всеобщего разума и высшей идеи, как выходило по Гегелю. Беспредельная *любовь* и абсолютное *понимание* своей духовной сущности как начал, из которых вытекают все правила жизни, заменялись другим и единственным деятелем. Теперь нравственное для Белинского состояло в эстетическом воспитании самого себя, то есть в приобретении чуткости к правде, добру, красоте и в усвоении неодолимого органического отвращения к безобразию всякого вида и рода. Я живо помню еще беседы, в которых он развивал это положение. По его убеждению, хорошим пособием для возведения себя на степень разумного человека и просветленной личности может служить изучение основных идей в истинно художнических созданиях. Все эти основные идеи суть вместе с тем и откровения морального мира. Из разбора и усвоения их возникает в обществе мало-помалу кодекс нравственности, неписаный, без мраморных таблиц и хартий, но лучше их укореняющийся в сознании отдельных лиц, лучше их устроивающий внутренний быт человека, а через человека — и быт целых поколений. Каждый новый гениальный художник привносит, так сказать, в этот свободный кодекс нравственных начал новую черту, новую подробность, которые почерпнуты прямо из наблюдения и определения элементов духовной природы человека. Образуется рядом с живущими, действующими, писаными и неписаными, нужными и ненужными уставами общежития и благочиния другой устав, неизмеримо более светлый, разумный и серьезный, которому следуют люди, развитые эстетически. Человек, воспитанный на миросозерцании великих художников, поэтов, философов, мыслителей, под конец сам становится способным к творчеству в области нравственных идей, открывает новые начала

правды и возвещает их, покоряясь им сам и покоряя им других. Белинский нашел очень много глубоких соображений на этой почве, с которой он сошел в конце своего поприща на другую, тоже давшую ему много немаловажных выводов и о которой еще речь впереди.

И как он встрепенулся, когда около той же эпохи возвещен был новый журнал, «Маяк», долженствовавший, как говорили, преимущественно способствовать возобновлению и развитию старой, допетровской и *испытанной русской* морали, позабытой нашим светским и литературным обществом. Белинский прежде всех бросился поднять эту перчатку. Он отозвался о скором появлении журнала враждебно и сердито и перед самым отъездом моим показал мне даже место из приготовляемой им статьи, где упоминалось о журнале: «В нашу уснувшую литературу начал вкрадываться китайский дух; он начал пробираться не под своим собственным, то есть китайским именем *Дзунь Кин-Дзынь,* а с чужим паспортом, с подложного фамилией и назвался *моральным духом.* Говорят, что добрые мандарины приняли благое намерение издавать на русском языке журнал, имеющий целию распространение в русской литературе этого благовонно-китайского духа» (в разборе «Ольги», романа автора «Семейства Холмских» [67]). Выдуманное китайское слово забавляло самого автора, но оно не выражало еще вполне степени негодования, объявшей его при известии о замысле основать журнал для защиты отживших начал хотя бы некогда и очень важной исторической эпохи. Все это было как бы предчувствием той ожесточенной борьбы, какую он поведет скоро против тех же начал с врагами, гораздо более дельными и многочисленными, чем будущая редакция обещанного журнала *.

Частые нападки Белинского на моральничанье повели, однако же, к недоразумению, которое чуть ли не продолжается и до сих пор. Надо припомнить, что Белинский вполне усвоил себе деление Гегеля нравственных начал на две области: *моральную* (Moralität), к которой

---

* По страдной случайности, в то самое время, когда обновленные «Отечественные записки» принимали то направление, о которой говорим, в Москве возникал журнал «Москвитянин», который должен был служить как бы противодействием петербургскому изданию. «Москвитянин» был основан в 1841 г. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

он отнес более или менее хорошо придуманные правиле общежития, и собственно *нравственную* (Sittlichkeit), которая объемлет у него самые законы, управляющие психическим миром человека и порождающие этические потребности и представления. Сделавшись проводником этих мыслей в русской жизни, Белинский начал свой долгий подвиг преследования в литературе и вообще явлениях нашего общества того, что он называл моралью и моральничаньем. Когда возвратилось к нему, после некоторого перерыва, его яркое и откровенное слово, он уже не прекращал своего неусыпного гонения на моральничанье, сильно господствовавшее тогда у нас в театре, словесности и жизни, так как посредством его люди прикрывали свою духовную наготу и старались обмануть себя и других относительно нравственной своей пустоты. Все, что отзывалось благовидным, но коварным резонерством, желающим подменить очевидные факты лживым их толкованием, все, что носило печать слабосильной, пустой сентенции, рассчитанной на получение дешевым способом, без хлопот и усилий, репутации честности и порядочности, наконец, все, что отзывалось китайским раболепным отношением к старине и изуверским отвращением к трудам нового времени, — все это клеймилось у Белинского одним прозвищем «морали и моральничанья» и преследовалось со смелостью, весьма замечательной по тому времени. Беспощадное обличение этого чудовища «морали» рассеяно у него почти по всем его статьям от этой эпохи. Чтобы ознакомиться, каким энергическим языком оно обыкновенно производилось, любопытные могут прочесть любую из его рецензий (см., например, рецензию на роман Р. Зотова «Цин-киу-Тонг», V, 261) или любой театральный отчет (см. отчет о комедии С. Навроцкого «Новый недоросль», IV, 163; Белинский писал и театральные фельетоны при «Отечественных записках»). Он достиг того, что опошлил у нас самое слово «мораль», но работа эта не прошла ему, однако же, даром. Она дала повод его врагам составить ему, пользуясь недоразумением и игрой слов, репутацию безнравственного существа, не признающего законов, без которых никакое общество держаться не может. Они успели объявить безнравственным человека, который всю жизнь искал основных принципов идеально благородного существования на земле, который был, назло своим насмешкам над моралью, одним из замечатель-

нейших *моралистов своей эпохи* и который проповедовал и поддерживал кругом себя спасительную ненависть ко всему пошлому, лицемерному, унижающему [68].

Я провел три года за границей, весьма мало получая известий из родины. В этот промежуток времени свершился весьма важный переворот в психическом состоянии и в направлении всей деятельности Белинского, — а стало быть, и в его представлениях о нравственном, как скоро увидим.

XV

<...> Когда осенью 1843 года я прибыл в Петербург, то далеко не покончил все расчеты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни.

Книга Прудона «De la Propriété» *, тогда уже почти что старая; «Икария» Кабе, малочитаемая в самой Франции, за исключением небольшого круга мечтательных бедняков работников; гораздо более ее распространенная и популярная система Фурье — все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода **. Да оно и понятно. В огромном большинстве случаев трактаты эти были те же метафизические эволюции, только эволюции, перенесенные на политическую и социальную почву. За ними туда и последовали целые фаланги русских людей, обрадованных возможностью выйти из абстрактного отвлеченного мышления без реального содержания к такому же абстрактному мышлению, но с кажущимся реальным содержанием.

Та часть верных и зрелых практических указаний, какая заключалась в этих трактатах и чем европейский мир не замедлил воспользоваться, всего менее обращала на себя наше внимание, да и не в том было вообще призвание трактатов на Руси. В промежутке 1840—1843 годов такие трактаты должны были совершить

---

* «О собственности» (*франц.*).

** Я уже не говорю о новой религии «человечества», изложенной фантастическим теозофом Пьером Леру в его книге «De l'Humanité» <«О человечестве»>, она по близости к надоевшему пиэтизму и невыдержанности мысли в философском отношении, к чему мы были всегда очень чувствительны, не имела особенного успеха. Я цитирую разные книги на память, может быть, не совсем точно обозначая их полное заглавие. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

окончательный переворот в философских исканиях русской интеллигенции и сделали это дело вполне. Книги названных авторов были во всех руках в эту эпоху, подвергались всестороннему изучению и обсуждению, породили, как прежде Шеллинг и Гегель, своих ораторов, комментаторов, толковников, а несколько позднее, чего не было с прежними теориями, и своих мучеников. Теории Прудона, Фурье, к которым позднее присоединился Луи Блан с известным трактатом «Organisation du travail» *, образовали у нас особенную школу, где все эти учения жили в смешанном виде и исповедовались как-то зараз адептами ее. В такой не слишком плотной и солидной амальгаме вышли они лет через пятнадцать после того на свет и в русской печати.

Белинский пристроился к общему направлению, как только первые лучи социальной метафизики дошли до него, но и тут, как и в философский период, он начал с начала. Сам Белинский ни с кем не переписывался за границей, но до нас доходили слухи через приезжающих, что он погружен в чтение пространной «Истории революции 1789 года» Тьера. Пресловутое творение Тьера, не очень глубоко понимавшего эпоху, но очень эффектно излагавшего наиболее выпуклые ее стороны, ввело его в новый мир, доселе мало знакомый ему, и понудило идти далее в изучении его. Уже на моих глазах в Петербурге принялся он за историю того же события, отличавшуюся вполне отсутствием всякой поверки лиц и дел, именно за сочинение Кабе «Le peuple» **, который находил признаки необъятного коллективного ума во всех случаях, когда вступали в дело народные массы, и который объяснял, наконец, даже падение республики трогательным, святым добродушием тех же масс, одерживающих победы над врагами не для себя, не для извлечения немедленной пользы из события, а для прославления своих принципов — братолюбия, равенства и справедливости. Впрочем, эти и другие совершенно противоположные по духу сочинения служили Белинскому просто средством отыскать первые семена социализма, заброшенные переворотом 89-го года на европейскую почву: ему нужно было видеть его зачатки с конвентом, Парижской коммуной, героями старого коммунизма, Бабёфом и Буона-

---

* «Организация труда» (*франц.*).

** «Народ» (*франц.*).

ротти, чтобы распознать современную его физиономию и понять основательно некоторые его ходы в нашу эпоху, Никакого решения по всем этим явлениям он не имел, да и всеми предлагаемыми тогда решениями был недоволен. Необычайное впечатление произвела на него только книга Луи Блана «Histoire des dix ans» * тем именно, что показала, какого рода интерес и какую массу поучения и даже художнических качеств может заключать в себе история наших дней, переживаемого, так сказать, мгновения, под рукой сильного таланта, хотя история такого рода и употребляла в дело подчас не совсем испробованные материалы, а подчас и просто городскую сплетню.

По возвращении моем, в 1843 году, в Петербург почти первым словом, услышанным мною от Белинского, было восторженное восклицание о книге Луи Блана. «Что за книга Луи Блана! — говорил он. — Ведь этот человек нам ровесник, а между тем — что такое я перед ним, например? Просто стыдно подумать о всех своих кропаниях перед таким произведением. Где они берут силы, эти люди? Откуда у них являются такая образность, такая проницательность и твердость суждения, а потом такое меткое слово! Видно, жизнь государственная и общественная дает содержание мысли и таланту поболее, чем литература и философия». Очевидно, эстетическое и публицистическое направление уже потеряло для Белинского свою привлекательность и отодвигалось на задний план в его уме: но все же, волей и неволей, он оставался при нем, потому что только с помощию его можно было поднимать самые простые вопросы общественной морали и касаться, хотя бы и косвенно, предметов русского современного быта и развития. Подобно тому как крестьяне покупали тогда нужные им земли на имя задаренного ими помещика, так покупалось в литературе право говорить о самом пустом, но все-таки публичном деле и о смысле того или другого всем известного общественного явления, призывая на помощь и выставляя вперед грамматику, математику, хорошие или дурные стихи, даже водевили Александринского театра, московские романы и т. д.

Таково было действие французской культуры на добрую половину нашего русского мира. Но вот что заме-

---

* «История десяти лет» (*франц.*).

чательно. Изменяя свой способ воззрения на призвание писателя и помещая задачи литературы уже в среде общественных вопросов, ни Белинский, ни весь кружок тогдашних западников и не думал выбрасывать прежних своих представлений за борт, как негодный балласт, не приносил никакой каннибальской жертвы из коренных оснований прежнего своего созерцания. Как ни различно было у них понимание сущности некоторых политико-экономических тем, как ни горячи были между ними споры по частностям и способам приложения новых полученных идей, весь кружок сходился, однако же, безусловно в некоторых началах: он одинаково принимал нравственный элемент исходной точкой всякой деятельности, жизненной и литературной, одинаково признавал важность эстетических требований от себя и от произведений мысли и фантазии, и никто в нем не помышлял о том, чтоб можно было обойтись, например, без искусства, поэзии и творчества вообще как в жизни, так и при политическом воспитании людей. Кстати заметить, что ввиду частых споров между друзьями было выражено позднее в литературе нашей подозрение, что самый круг делился еще на баричей, потешавшихся только идеями, и на демократические натуры, которые принимали горячо к сердцу все философские положения и делали их задачами своей жизни. Мнение это может быть отнесено к числу догадок, которыми удобно отстраняются затруднения точного определения явлений. В круге, о котором идет дело, не всегда только «баричи» старались уйти от строгих заключений и выводов, какие необходимо истекают из теоретических положений, и не всегда только «демократы» понимали яснее своих товарищей сущность начал и старательнее их доискивались последнего слова философских проблем. Очень часто роли менялись, и врагами увлечений и защитниками крайних мнений делались не те лица, от которых всего вернее было ожидать подобных заявлений, что можно было бы подтвердить многочисленными примерами. Дело в том, что отличительную черту всего круга надо искать в другом месте и прежде всего в пыле его философского одушевления, который не только уничтожил разницу общественного положения лиц, но и разницу их воспитаний, привычек мысли, бессознательных влечений и предрасположений, превратив весь круг в общину мыслителей, подчиняющих свои вкусы и страсти признан-

ным и обсужденным началам. Темпераменты в нем, конечно, не сглаживались, психические и философские отличия людей проявлялись свободно, большая или меньшая энергия в понимании и в выражении мысли существовали на просторе, но все эти силы шли вослед и на служение идее, господствовавшей в данную минуту, которая роднила и связывала членов круга в одно неразрывное целое и, если можно так выразиться, сияла одинаково на всех лицах. Бывали в недрах круга и упорные разногласия, — ожесточенная борьба не раз потрясала его до основания, как мы уже говорили и увидим еще далее, но междоусобия эти происходили исключительно по поводу прав того или другого начала на господство в круге, по поводу водворения той или другой философской или политической схемы в умах и упрочения за ней прав на сочувствие и повиновение. Других побуждений и другого дела круг этот не знал. Так шло до 1845 года, когда под тяжестию собственной своей слишком абстрактной задачи и под напором новых общественных и социальных вопросов круг стал распадаться и распался окончательно к 1848 году, оставив после себя воспоминания, которые еще не раз, думаем, будут обращать на себя внимание мыслящих русских людей.

XVIII

Не будучи постоянным жителем Москвы и посещая ее случайно, чрез довольно долгие промежутки времени, я не имел чести познакомиться с домом Елагиных, который, состоя из хозяйки, А. П. Елагиной, племянницы В. А. Жуковского, сыновей ее от первого мужа, известных братьев П. В. и И. В. Киреевских, и семейства, приобретенного в последнем браке, — был любимым местом соединения ученых и литературных знаменитостей Москвы, а по тону сдержанности, гуманности и благосклонного внимания, в нем царствовавшему, представлял нечто вроде замиренной почвы, где противоположные мнения могли свободно высказываться, не опасаясь засад, выходок и оскорблений для личности препирающихся. Почтенный дом этот имел весьма заметное влияние на Грановского, Герцена и многих других западников, усердно посещавших его: они говорили о нем с большим уважением. Может быть, ему они и обязаны были неко-

торой умеренностью в суждениях по вопросам народного быта и народных верований, — умеренностью, которой не знал уединенно стоявший и действовавший Белинский, называвший ее прямо любезностию чайного столика. Обратное действие западников на московских славянофилов, составлявших большинство в обществе елагинского дома, тоже не подлежит сомнению. Все это, вместе взятое, дает ему право на почетную страницу в истории русской литературы, наравне с другими подобными же оазисами, куда скрывалась русская мысль в те эпохи, когда недоставало еще органов для ее проявления *.

Я сам имел случай видеть пример воздействия на Герцена бесед с людьми другого настроения, несходного с его собственным, хотя в примере, который хочу привести, слышится также и отголосок его прежнего обхождения с социальными вопросами[70]. В одно из утренних моих посещений Герцена, в мезонине его дома на Сивцевом Вражке, где помещался его кабинет, он заговорил о презрении, которое выражено было Белинским к мужицкому быту вообще, названному им *«лапотной и сермяжной действительностью».* Фраза находилась в разборе какой-то пустой книжонки с рассказами из народной жизни, грубо и комически идеализированной автором. «Книжка книжкой, — говорил Герцен, — но отзыв неосторожен и сам по себе и тем, что дает потачку журналу считать себя большим барином перед народом. За что презирать лапоть и сермяжку? Ведь они не более как признак крайней бедности, вопиющего недостатка. Можно ли делать из них позорные эпитеты, а между тем такие эпитеты стали распложаться в журнале. Мне иногда бывает очень трудно защищать его. Я, например, ничего не нашел ответить Хомякову, когда он, подобрав эти фальшивые ноты, заметил: «Хоть бы вы растолковали редактору, что он ходит в сапогах потому только, что у него есть подписчики на «Отечественные записки», а не будь у него

---

* Мы слышали, впрочем, что собрания в доме Елагиных все-таки должны были прекратиться под конец, вследствие все более и более возраставшей горячности споров между встречавшимися там людьми обеих партий. Довольно привести один пример: в 1845 г. разница в суждениях о памфлете Н. М. Языкова «Не наши» и о поступке автора, его написавшего, чуть не вызвала дуэли между П. В. Киреевским и Т. Н. Грановским, едва устраненной друзьями их[69]. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

подписчиков па «Отечественные записки» и он недалеко бы ушел от лапотника» [71].

Т. Н. Грановский по временам также смотрел не совсем одобрительно на некоторые полемические выходки Белинского, особенно на те, которыми затрогивались личности писателей, но ни он, ни Герцен уже не допускали и мысли о потворстве славянско-народной партии в ее жалобах на бесцеремонность критика, —жалобах, имевших постоянно в виду его анализ прошлых и настоящих литературных *«слав»* России. В мнениях об этих так называемых *славах* они почти постоянно сходились с критиком. Не далее как в 1842 году Белинский, возмущенный тем, что один из московских профессоров не иначе смотрел на его исследования в области литературы, как на преступления против величества русского народа (lèse-nation), написал довольно злой и остроумный памфлет под названием «Педант», в котором осмеивал слабые стороны мнений и приемов своего чересчур желчного противника [72]. Памфлет имел большой успех и, разумеется, раздражил донельзя того, кто послужил ему оригиналом. Вероятно, полагая возможным требовать от Грановского важных уступок на основании знакомства по университету и дому Елагиных, обиженный предложил ему в присутствии многих свидетелей довольно надменный вопрос: «Неужели после такой статьи он, Грановский, еще решится подать публично руку Белинскому при встрече?» — «Как! подать руку? — отвечал Грановский, вспыхнув. —На площади обниму» *. Говоря вообще, Белинский был, если можно так выразиться, смутителем московской жизни: без его раздражающего слова, может быть, она сохранила бы долее тот наружный вид изящного разномыслия, не исключающего мягких и дружелюбных отношений между спорящими, который составлял ее отличие в первый период великой литературной распри, завязавшейся у нас. Белинский решительными афоризмами и прогрессивно растущей смелостью своих заключений ставил ежеминутно, так сказать, на барьер своих московских друзей со своими врагами в Москве. Первый, почувствовавший несообразность положения людей, изловчающихся как можно приличнее и ласковее наносить друг другу если не смертельные, то очень тяжелые раны, был благороднейший и

---

* Рассказ Белинского. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

последовательнейший Константин Сергеевич Аксаков. Правда и то, что для него славянизм и русская народная жизнь составляли более чем доктрину или учение, защищать которые обязывает честь: славянизм и народный русский строй жизни сделались жизненными основами его существования и кровию его самого. Герцен рассказывает в своих записках, как, встретившись на улице, К. С. Аксаков трогательно распрощался с ним навсегда, не признавая в нем более товарища на жизненном пути[73]. С Грановским дело было еще знаменательнее. К. С. Аксаков приехал к нему ночью, разбудил его, бросился к нему на шею и, крепко сжимая в своих объятиях, объявил, что приехал к нему исполнить одну из самых горестных и тяжелых обязанностей своих — разорвать с ним связи и в последний раз проститься с ним, как с потерянным другом, несмотря на глубокое уважение и любовь, какие он питает к его характеру и личности. Напрасно Грановский убеждал его смотреть хладнокровнее на их разномыслия, говорил, что, кроме идей славянства и народности, между ними есть еще другие связи и нравственные убеждения, которые не подвержены опасности разрыва, — К. С. Аксаков остался непреклонен и уехал от него сильно взволнованный и в слезах *. Тогда еще у нас учение и взгляды порождали внутренние интимные драмы <...>.

XIX

В конце 1843 года Белинский, уже женатый, занимал небольшую квартиру на дворе дома Лопатина, которого лицевая сторона выходила на Аничкин мост и Невский проспект.

В этом помещении Белинский предоставил себе три небольших комнаты, из коих одна, попросторнее, именовалась столовой, вторая за ней слыла гостиной и украшалась сафьянным диваном с обязательными креслами вокруг него, а третья — нечто вроде глухого коридорчика об одном окне — предназначалась для его библиотеки и кабинета, что подтверждали шкап у стены и письменный стол у окна. Впрочем, сам хозяин нисколько не подчинялся этому распределению: в столовой он постоянно

* Рассказ Т. Н. Грановского. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

работал и читал, а диван гостиной служил ему большею частию ложем при частых его недугах; в кабинет он заглядывал только для того, чтоб достать из шкапа нужную книгу. Две задние комнаты занимала его семья, умножившаяся вскоре дочерью Ольгою.

Ребенок этот, а потом сын, проживший недолго и унесший с собою в могилу последние силы отца, да еще цветы на окнах составляли тогда предмет его ухаживаний, забот и нежнейших попечений. Они одни были его жизнию, которая начинала уже убегать от него и угасать понемногу. Вскоре ему уже предписано было носить респиратор при выходе на воздух, и он шутливо говорил мне: «Вот какой я богач сделался! Максим Петрович у Грибоедова едал на золоте, а я дышу через золото: это будет еще поважнее, кажется!» Часто заставал я его на диване гостиной в совершенном изнеможении, особенно после усиленных трудов за срочной статьей, оставлявших его с головной болью и в лихорадке. Надо сказать, впрочем, что он очень скоро поправлялся после этих пароксизмов, поддерживаемый тем напряженным состоянием духа и воли, которое уже не покидало его с 1842 года и которое, поднимая его часто с одра болезни и давая ему обманчивый вид человека, исполненного жизни и энергии, разрушало в то же время и последние основы его страдающего организма.

Возбужденное состояние сделалось наконец нормальным состоянием его духа. Почти ни минуты покоя и отдыха не знала его нравственная природа до тех пор, пока болезнь окончательно не сломила его. Самые тихие, дружеские беседы чередовались у него с порывами гнева и негодования, которые могли быть вызваны первым анекдотом из насущной жизни или даже рассказом о каком-либо диком обычае иной, очень далекой страны. Кто-то однажды рассказал перед ним способ, которым добывал себе евнухов хорошей расы старый египетский паша Мегемет-Али. Мегемет делал именно разию * на какое-либо соседнее негритянское племя и приказывал захватывать при этом всех детей мужского пола; затем над пленными производился строгий выбор, а избранные экземпляры подвергались известной операции, после которой их тотчас же зарывали по пояс в горячий песок степи. Половина детей умирала, а другая, выдер-

* Р а з и я — набег (от *итал.* razzia).

жавшая опыт, рассылалась старым злодеем разным турецким сановникам, в которых он почему-либо нуждался. Кровь бросилась в голову Белинскому; он подошел к анекдотисту и произнес жалобным голосом; «Зачем вы рассказали это, — мне придется теперь не спать ночь». Жена Белинского вообще чрезвычайно боялась вечеров, когда он засиживался с друзьями в разговорах.

По действию воображения и представительной способности, развитых у него неимоверно, он переносил ненависть на лица, уже отошедшие в область истории, на давно минувшие события, почему-либо возмущавшие его. У него было множество врагов и предметов злобы как в современном мире, так и в царстве теней, о которых он равнодушно говорить не мог. Объективных, то есть, попросту сказать, индифферентных, отношений к историческим деятелям или важным фактам истории вовсе и не знала эта страстная природа. Белинский превращался как будто в современника различных эпох, на которых натыкался в чтении, выбирал сторону, которую следовало защищать, и боролся с противной стороной, уже давно замолкшей, так, как будто она сейчас нарушила его нравственный покой и убеждения. Нечто подобное, в обратном смысле, происходило и с предметами его симпатий, которые он отыскивал в разных веках и у разных народов: он влюблялся в героев своей мысли, вскакивал с места при одном их имени и нередко защищал их от современной критики до последней возможности. Он неохотно расставался со своими друзьями. Но всего более, однако же, тратил он сил на вражду и негодование. Круг врагов его, кроме действительных и состоявших налицо, увеличивался всем персоналом, добытым в чтении: он боролся так же страстно с тенями прошлого, как и с людьми и событиями настоящего.

Можно себе представить, что происходило, когда Белинский покидал безответных своих подсудимых и случайно натыкался на живое, современное лицо, стоявшее перед ним воочию, с каким-либо ограниченным пониманием серьезного предмета или с какой-либо тупой и обскурантной теорией. В то время вообще не умели различать человека от его слова и суждения и думали, что они неизбежно составляют одно и то же. Всех менее допускал это различие Белинский, и громовые его обличения в подобных случаях разрывали все связи с оппонентом и не оставляли никакой надежды на возобновление их

в будущем. Последствием такого образа сношений со светом была, конечно, необходимость жить в одиночестве или только в сообществе очень близких людей, на что Белинский охотно и осуждал себя, не изменяя нисколько своих приемов мысли и суждений, когда насильно и случайно вводился в другую среду.

Понятно, что в таком же напряженном состоянии духа происходило и его чтение, даже и тогда, когда обращалось на предметы ученого и отвлеченного содержания. Мы уже упомянули, что в этот период его жизни оно — чтение это — все прогрессивно разрасталось в сторону экономических и политических вопросов. Такой манеры чтения, какую усвоил себе Белинский, достаточно было, чтобы надсадить и более сильный организм. К книге, к статье, любому учению и мнению, начиная от самых добросовестных трактатов, захватывающих глубочайшие интересы общества и человечества и кончая самыми ничтожными произведениями русской словесности, Белинский всегда относился более чем серьезно, относился страстно, допытываясь психических причин их появления, создавая им генеалогию, разбирая одну по одной черты их нравственной физиономии. Поводов для восторгов и вспышек гнева находилось тут множество. Сколько раз случалось нам заставать его — после оконченной книги, статьи, главы — расхаживающим вдоль трех своих комнат со всеми признаками необычайного волнения. Он тотчас же принимался передавать свои впечатления от чтения в горячей, ничем не стесненной импровизации. Я находил, что эта импровизация еще лучше его статей, но статьи в таком тоне и не пишутся, да и писаться не могут. Если судить по количеству и массе ощущений, порывов и мыслей, какие переживал этот замечательный человек каждый день, то можно назвать его коротенькую жизнь, так быстро сгоревшую на наших глазах, достаточно продолжительной и полной. К тому следует прибавить, что Белинский так врастался, смеем выразиться, в авторов, которых изучал, что постоянно открывал их затаенную, невысказанную мысль, поправлял их, когда они изменяли ей или нарочно затемняли ее, и выдавал их последнее слово, которое они боялись или не хотели произнести. Этого рода обличения были самой сильной стороной его критики. Так, во многих иностранных, преимущественно экономических и социальных, писателях он угадывал направление, кото-

рое они примут или должны принять. Так, например, он говорил о Жорж Санде, которого, впрочем, очень уважал, что писательница эта гораздо более связана теми идеями и принципами, которые отвергает, чем сколько сама то думает; о Тьере он замечал, что в его «Истории французской революции» последняя является чем-то вроде *божьего попущения,* отчего в ней становится многое непонятным, несмотря на очень ясное и гладкое изложение. Пьера Леру Белинский называл взбунтовавшимся католическим попом и т. д., а о русских наших деятелях и говорить нечего — он почти безошибочно определял всю будущую их деятельность по первым представленным ими образцам ее.

Не мудрено, если при этой постоянной работе его духа приятели его находили, что с каждой новой встречей он уже стоял не там, где его видели накануне: неустанное колесо мысли уносило его часто далеко из их глаз. Полемике его суждено было выразить именно эту сторону его психической натуры, жаждавшей борьбы и движения, подобно тому как критико-публицистические статьи изобличали его способность самообладания и его господство над собственной мыслию.

После этого уже нетрудно представить себе, что в войне между западниками и славянофилами Белинский оказался врагом непримиримым, между тем как другие собратья его по оружию, как Герцен или Грановский и проч., считали себя втайне только временными врагами нашей национальной партии и ждали от лучших ее представителей только разъяснения их программы, чтобы протянуть им руку. Правда, и Белинский пришел позднее к мысли о необходимости разобрать дельное в учении славянофилов от не совсем дельного наноса, да также допустил и оговорки, ограждающие собственное его западное воззрение от упрека в слепой страсти ко всем европейским порядкам, но он последний кинул брешь, которую фанатически защищал от вторжения элементов темного, грубого, непосредственного мышления народных масс, противопоставляя знамя общечеловеческого образования всем притязаниям и заявлениям так называемых народных культур.

Исходной точкой всей ожесточенной полемики его против таких культур и против их защитников было убеждение, что они могут возникать при всяком порядке вещей и уживаться со всяким строем жизни, к которому при-

выкли или который почему-либо излюбили. Наоборот, ему казалось, что основной характер общечеловеческого образования именно и состоит в том, что люди, его усвоившие, подвергают критике и обсуждению все формы существования и удовлетворяются только теми, которые отвечают логике и выдерживают самый строгий анализ. На этом основании Белинский делил мир на зрячие и слепые народы, и последние были ему противны по принципу, какими бы, впрочем, добродетелями, высокими качествами души, способностями и другими знатными преимуществами ни обладали.

Нужно ли прибавлять, что о какой-либо справедливости по отношению к людям, народам и предметам не было и помину при этом, да о справедливости Белинский в пылу битвы и не заботился, в чем совершенно походил и на своих противников, поступавших точно так же. И он и они спасали только свои воззрения, казавшиеся им благотворными по своим последствиям, а о том — сколько падало при их столкновениях напрасных жертв, сколько наносилось грубых ударов, ничем не оправдываемых, идеям и верованиям, сколько страдало задаром репутаций и личностей, — никто и не думал. Все это предоставлялось разобрать последующей истории и возвратить каждому должное и заслуженное. Для современников же оставалась горькая, упорная борьба, отчаянная, многолетняя ненависть друг к другу, закоренелая до того, что она даже пережила многих борцов и продолжалась от их имени на их гробах.

Еще до возвращения моего на родину, именно в 1842 году, Белинский, вскоре после своего памфлета «Педант», о котором я уже упоминал, нанес и еще другой тяжелый удар одной весьма почтенной личности московского круга — ныне покойному К. С. Аксакову. Известно, что К. С. Аксаков при появлении первой части «Мертвых душ», в том же 1842 г., написал статью, в которой проводил мысль о сходстве Гоголя по акту творчества и силе создания с Гомером и Шекспиром, находя, что только у одних этих писателей да у нашего автора обнаруживается дар указывать в пошлых характерах и в самом пороке еще некоторую внутреннюю крепость и своего рода силу, которые почерпаются ими уже от принадлежности к мощной и здоровой национальности[74]. К. С. Аксаков, приравнивая Гоголя к Гомеру по акту творчества, позабыл при том упомянуть о множестве гениальных европейских писателей, отличавшихся тоже необычайными творческими способно-

стями, которые, таким образом, как будто ставились все ниже Гоголя, а вдобавок еще прямо объявлял, что в деле романа, понятого как продолжение древнегреческого эпоса, уже ни одно *современное европейское имя* не может быть поставлено рядом с именем Гоголя ни в каком случае. Ничто не могло возмутить Белинского более этих афоризмов. Тот самый Белинский, который первый провозгласил Гоголя гениальным художником, объявлял теперь и печатно и устно, что гениальность Гоголя как создателя типов и характеров хотя и не может быть опровергаема, но имеет все-таки значение относительное. По содержанию и внутреннему смыслу задач, разрешаемых русским автором, она ограничена умственным и нравственным положением страны, и дело, им производимое, не может идти ни в какое сравнение с вопросами и темами европейского искусства, с целями, какие оно себе задавало и задает теперь в лице лучших своих представителей; что, затем, никакой предполагаемой крепости и силы народного духа в выводимых Гоголем на сцену лицах не обретается, ни о каком таком значении их, вероятно, автор и не думал, а если и думал, то ребячески ошибался. Вдобавок Белинский прибавлял, что Гоголь не только не выше всех европейских романистов, но, превосходя многих из них даром непосредственного творчества, наблюдения и поэтического чувства, уступает в объеме и значении основных идей некоторым, даже и не очень крупным явлениям европейской литературы[75]. Все эти заметки наносили достаточно сильный удар новому предпринятому толкованию Гоголя, но Белинский присоединил еще к этому несколько саркастических выводов из положений своего противника и заключал спор насмешкой. Последним ударом — coup de grâce — этой полемики со стороны Белинского было его заявление, что, если судить по некоторым лирическим местам первой части «Мертвых душ», в которых обещаются изумительные откровения относительно внутренней и внешней красоты русской жизни, то Гоголь может, пожалуй, утерять и значение великого *русского* художника. С тех пор имя Белинского пронеслось «яко зло» в лагере славянофилов и даже сделалось у них как бы олицетворением наносной, ни с чем не связанной, чуждой народу петербургской цивилизации, между тем как сами они отписали за собой Москву, как город, где особенно живет и развивается чуткое понимание русского народного духа со всеми его чаяниями и представлениями.

XX

Я застал Белинского еще под влиянием этой полемики, раздраженного ею в высшей степени и собирающегося на новые битвы. Не проходило дня, чтоб не завязывался разговор о московском понимании нравственных и политических задач Европы и России, о московских толкованиях Гоголя и сторон русской жизни, им разоблаченных, о московском представлении порядков старорусского быта и о морали, которая истекает из учения славянофилов или в нем подразумевается. Повторяем, о справедливости к противникам тут не было и помысла, да и противники платили той же монетой своему петербургскому оппоненту и его партии. Спор сошел на вражду и пререкательство между двумя городами. С обеих сторон патриотизм заключался в том, чтоб унизить одну столицу на счет другой. Для человека, несколько чуждого страстей, в которых истощались обе партии, не было возможности сохранить что-либо похожее на свободное мнение. Выхода покамест не существовало. Надо было выбирать между партиями, жертвуя всеми возражениями, которые могли появляться в уме при их взаимных напраслинах, и, так сказать, обезличить себя в пользу своей собственной стороны.

Никто не испытал на себе полнее и болезненнее действие этой перестрелки между двумя центрами нашего развития, как И. С. Тургенев, очутившийся в среде их, когда явился из-за границы, выступив вскоре потом и на литературное поприще с поэмой «Параша» (1843). Заподозрив в нем с первых же шагов истого западника, партия, недружелюбно смотревшая на образцы чуждого воспитания и развития, словно задалась мыслью собрать как можно более помех на его жизненном пути. Целая коллекция пустых анекдотов о его словах, выражениях, замечаниях собиралась тщательно противниками и пускалась в ход с нужными прикрасами и дополнениями. О произведениях Тургенева до «Записок охотника» иначе и не говорилось, как о чудовищностях западного развития, пересаженных без всяких признаков таланта на русскую почву. Не так думал Белинский, открывший сразу в «Параше» признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрения на предметы. «Что мне за дело до всех анекдотов о нем, — говорил Белинский, — кто написал «Парашу», тот сумеет поправить себя, в чем будет нужно и когда будет нужно». Слова его и на

этот раз оправдались. Быстрое, ослепительное развитие художнического таланта в Тургеневе вместе с развитием качеств его нравственной природы, его духа благорасположения, терпимости вообще к людям и особенно справедливости к их трудам и убеждениям — примирило с ним всех его бывших преследователей и поставило его самого в центре умственного движения.

Впрочем, в то время между партиями таилась, однако же, одна связь, одна примиряющая мысль, более чем достаточная для того, чтоб открыть им глаза на общность цели, к которой они стремились с разных сторон... Но еще не наступило время для разъяснения этого примиряющего начала, лежавшего в зерне посреди бранного поля и беспрестанно затаптываемого ногами борцов. Зерно, однако же, проросло, несмотря на все невзгоды, как увидим. Связь заключалась в одинаковом сочувствии к порабощенному классу русских людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни, допускающего это порабощение или даже на нем именно и основанного. Покамест никто еще не хотел видеть сродства в основном мотиве, двигавшем обе партии, и когда по временам мотив этот обнаруживался сам собой, партии наши торопились поскорее замять его. Для вящего укрепления розни не доверяли ни чувствам, ни характеру, ни намерениям друг друга. В. Москве говорили по поводу петербургских гуманных протестов: «Петербург сделал из либерализма и своего отчаяния покойное вольтеровское кресло, в котором и нежится». Из Петербурга отвечали на это: «На московских исторических пуховиках еще слаще должно спаться, — особенно под гул сорока сороков». Ко всему этому присоединялись еще и стихотворные перебранки. В Москве писались пасквили и эпиграммы на Белинского, и притом людьми в житейском отношении, несомненно, чистого нравственного характера, а из Петербурга им отвечали ругательной песенкой, содержавшей, между прочим, такую строфу:

Да, Россия — властью вашей —
Та же, что и до Петра:
Набивает брюхо кашей
И рыгает до утра.

Какое же тут могло быть соглашение?

Раздраженный полемикой, Белинский сделался подозрительным в высшей степени. Так, движимый все тем же опасением за элементы европейского развития, он недружелюбно отнесся и к нашей провинциальной литературе,

к появлявшимся тогда сборникам, харьковским, архангельским и другим, усматривая тут намерение образовать маленькие центры цивилизации, в противоположность большим, государственным центрам — петербургскому и московскому — и проводить у себя дома, втихомолку, идеи о самостоятельной народной культуре, которая способна сама отыскать себе все нужные основы[76].

Пропасть, разделявшая партии, особенно расширилась, когда у нас публично зашла речь о правах на наше патриотическое и народное сочувствие всех иноземных — австрийских, венгерских, турецких — славян. Речь эта, впервые поднятая М. П. Погодиным[77], перешла в русскую печать из официальных и частных кругов, где конфиденциально держалась с начала 30-х годов в таком декламаторском виде, что на первых порах вызвала у Белинского глумление над ее формой и содержанием. Положение, принятое им по славянскому вопросу, имело одинаковый источник с тем, которое он выбрал относительно славянства вообще. Поводом к отрицанию этого вопроса служило Белинскому опять предположение, что за вопросом скрывается попытка прославления темных народных культур и усилие противопоставить их теперь с некоторой надеждой на успех выработанным началам европейской мысли. В самом деле, попытка на этот раз могла рассчитывать на те невольные симпатии к угнетенным племенам и народам, которые должны жить и действительно жили в русской публике. Никто более самого Белинского не был предрасположен к такого рода сочувствию, но при мысли, что тут может существовать план — возвысить бедное, племенное творчество с его суевериями, заблуждениями и бессознательными проблесками истины на степень равную или даже высшую обдуманных основ и начал европейского образования, — при одной этой мысли Белинский устранял все другие соображения и нередко насиловал свое чувство. Так и в настоящем случае вышло, что Белинский хладнокровно относился к доблестным трудам и жертвам тех почтенных иностранных деятелей славянства, которые спасли язык и нравственную физиономию своих племен от конечной гибели посреди других враждебных им народов. Не более справедливости, впрочем, оказывали и противники Белинского ему самому, когда принимались разбирать основы и побуждения его оппозиции. Они объявляли его человеком, преданным самым узким интересам существования, не имеющим даже и органа для понимания патриотических

или народных инстинктов. Они шли и далее. По горячей его защите государственных приемов Петра I, по заявленным симпатиям к Петербургу они объявляли его мелким и вряд ли *вполне бескорыстным* централизатором и бюрократом. Централизатором он действительно и был, но не в том смысле, как говорили его в р а г и, — не в пользу какого-либо существующего уже порядка дел и вещей, а того дальнего, который представлялся ему в виде единения всех народов Европы на почве одной общей цивилизации, под покровом одних законов для разумного существования.

С каким одушевлением говорил он о первых проблесках этой будущей централизации, этого будущего строя жизни, которые усматривал и в сближении европейских народов между собой посредством новых дорог, международных установлений и проч., и в их усилиях создать, не уничтожая родовых и племенных особенностей каждой страны, один общий кодекс для государственного и общественного существования человечества! А вместе с тем он уже не мог, да и не хотел, сдерживать своего негодования, как только ему казалось, что обнаруживаются признаки посягательства на этот мерцающий вдали и еще далеко не обработанный кодекс. Все, что затрудняло его осуществление со стороны народного тщеславия, заносчивости этнографов, возвеличивающих ту или другую из народных групп на счет всех других национальностей, или со стороны скептицизма, почерпающего в отрицательных и темных подробностях современной европейской жизни доводы в пользу устранения ее от д е л, — все это приводило его в неописанное волнение. Во многом он и заблуждался, как показало время, при восторженном изложении своих надежд на развитие Европы, но он заблуждался доблестно, как бывает с людьми, глубоко верующими в какую-либо великую идею! Белинский до того ревниво охранял добро, собранное старой и новой европейской цивилизацией, что уже подозрительно смотрел на образцы и замечательные произведения других, чуждых ей культур и отзывался о них очень сдержанно. При появлении поэмы «Наль и Дамаянти» в художественном переводе Жуковского он ограничился напоминовением читателю, как греческий эпос «Илиада» выше измышлений индийского народного творчества. То же самое было и тогда, когда прекрасный перевод Я. К. Грота познакомил русскую публику с финской эпопеей «Калевала», с этим памятником фантазий и представлений народа, некогда населявшего, как говорят, всю

Европу. Противопоставляя опять финский эпос греческому созерцанию жизни, Белинский находил в первом только безобразную фантазию, чудовищные образы и сплетенья, свойственные дикому народу и которые должны оттолкнуть всякого, кто раз ознакомился со стройностию, мерой и изяществом греческой народной производительности[78].

Как ни важны были, однако же, все эти вопросы, и к какой яркой полемике ни давали они повод, все же они не могли заслонить ни на минуту перед Белинским чисто русского вопроса, который тогда целиком сосредоточивался у него на одном имени Гоголя и на его романе «Мертвые души». Роман этот открывал критике единственную арену, на которой она могла заниматься анализом общественных и бытовых явлений, и Белинский держался за Гоголя и роман его цепко, как за нежданную помощь. Он как бы считал своим жизненным призванием поставить содержание «Мертвых душ» вне возможности предполагать, что в нем таится что-либо другое, кроме художественной, психически и этнографически верной картины современного положения русского общества. Все силы своего критического ума напрягал он для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к допущению каких-либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме тех суровых, строго обличающих, какие прямо из него вытекают. После всех своих отступлений в область европейских литератур, в область славянства и проч., он возвращался с этого поля более или менее удачных битв опять к своему постоянному, домашнему делу, только освеженный предшествующими кампаниями. Домашнее дело это заключалось преимущественно в том, чтоб выбить из литературной арены навсегда, если можно, как диких, коварных и своекорыстных ругателей гоголевской поэмы, так и восторженных ее доброжелателей, прозревающих в ней не то, что она действительно дает. Он не уставал указывать правильные отношения к ней и устно и печатно, приглашая при всяком случае и слушателей и читателей своих подумать, но подумать искренно и серьезно о вопросе — почему являются на Руси типы такого безобразия, какие выведены в поэме, почему могут совершаться на Руси такие невероятные события, какие в ней рассказаны; почему могут существовать на Руси, не приводя никого в ужас, такие речи, мнения, взгляды, какие переданы в ней.

Белинский думал, что добросовестный ответ на вопрос может сделаться для человека, добывшего его, програм-

мой деятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильного суждения о себе и других.

К этому же времени относится и появление в русской изящной литературе так называемой «натуральной школы», которая созрела под влиянием Гоголя, объясняемого тем способом, каким объяснял его Белинский. Можно сказать, что настоящим отцом ее был — последний. Школа эта ничего другого не имела в виду, как указание тех подробностей современного и культурного быта, которые не могли еще быть указаны и разобраны никаким другим способом, ни политическим, ни научным расследованием. Кстати заметить: прозвище «натуральной» дано ей было корифеем риторического, бесталантного, фальшиво-благонамеренного изложения русской жизни, Булгариным, но из вражды к Белинскому прозвищу обрадовались, и прозвище усвоили даже и люди, глубоко презиравшие литературную и критическую деятельность Булгарина[79]. Оно и до сих пор держится у нас, несмотря на свое происхождение и на свою бессмыслицу.

XXV

Одновременно с раздвоением в лагере «славян»[80] последовало точно такое же и у западников: «Москвитянин» вызвал много бурь в недрах этой партии, и на одной из таких бурь, летом 1845 года, я присутствовал. Лето 1845 года оставило во мне такие живые воспоминания, что я и теперь (1870 год), по прошествии с лишком двадцати пяти лет, как будто вижу перед собой каждого из тогдашних лиц московского кружка и как будто слышу каждое их слово. Для меня это — не дальнее, наполовину позабытое прошлое, а как будто событие вчерашнего дня. Голоса, выражение физиономий и поза людей стоят в памяти так живо, точно мы недавно разошлись по домам; постараюсь передать мои воспоминания с наивозможной верностью.

Грановский, Кетчер и Герцен известили своих приятелей, что на лето 1845 года они поселяются в селе Соколове — в двадцати пяти или тридцати верстах от Москвы. Село принадлежало помещику Дивову, который, на случай своих приездов в вотчину, оставил за собой большой дом, а боковые флигеля и домик позади предоставил наемщикам вместе с великолепным липовым и березовым

садом, который от дома сходил под гору, к реке. На противоположной стороне реки и горки, по общему характеру русского пейзажа, тянулся сплошной ряд крестьянских изб. В обоих флигелях разместились семейства Герцена и Грановского, а домик позади занял Кетчер. Помещик не беспокоил наемщиков. В редкие свои наезды он только *приказывал* крестьянам и крестьянкам *свободно* гулять по своему саду, проходя вереницами мимо окон большого дома. Как ни легка, по-видимому, была эта барщина, но она возбуждала сильный ропот в людях, к ней приговоренных, чему наемщики были сами свидетелями не раз.

Вероятно, ни ранее, ни позже Соколово уже не представляло такой поразительной картины шума и движения, как летом 1845 года. Приезд гостей к дачникам был невероятный, громадный. Обеды устроивались на лугу перед домом почти колоссальные, и обе хозяйки — Н. А., жена Герцена, и Е. Б. Грановская, уже привыкшие к наплыву посетителей, справлялись с этою толпой неимоверно ловко. Сами они представляли из себя очень различные типы, хотя и связаны были тесной дружбой. Жена Герцена, со своим мягким, едва слышным голоском, со своей ласковой и болезненной улыбкой, со всем своим детски-нежным, хрупким и страдающим видом, обладала еще страстностью характера, пламенным воображением и очень сильной волей, что и доказала на деле при начале своей жизни и при конце ее. Елизавета Богдановна Грановская была олицетворением спокойной, молчаливо-благодарной и втайне радостной покорности своей судьбе, устроившей ее положение как жены и как женщины. Обе они способны были, каждая по-своему и с различными побуждениями, на очень значительные жертвы и подвиги, если бы то потребовалось. Всегда окруженные своими московскими приятельницами, они покамест служили в Соколове тем умеряющим, эстетическим началом, которое сдерживало пиры друзей, где на шампанское не скупились, в тоне веселой, но далеко не распущенной беседы.

Я появился среди этого персонала Соколова в конце июня месяца, был принят им с величайшим радушием, но с оттенком, который бросался в глаза. Как гость из Петербурга и из ближайшего кружка Белинского, я должен был почувствовать, в среде самых дружеских излияний, ту ноту разногласия, диссонанса, какая уже существовала между двумя отделами западной партии. Нота эта звучала и в иронических шутках Герцена, и в нервном

хохоте Кетчера, и в полусерьезной физиономии Грановского, которая попеременно разглаживалась и темнела. Всем необходимо было пропеть противную эту ноту поскорее вслух, чтобы войти опять в простые, откровенные отношения друг к другу. Это и не замедлило случиться.

В тот же самый день все общество собралось на прогулку в поля, окружавшие Соколово, на которых, по случаю раннего жнитва, царствовала теперь муравьиная деятельность. Крестьяне и крестьянки убирали поля в костюмах, почти примитивных, что и дало повод кому-то сделать замечание, что изо всех женщин одна русская ни перед кем не стыдится и одна, перед которой также никто и ни за что не стыдится. Этого замечания достаточно было для того, чтобы вызвать ту освежающую бурю, которой все ожидали. Грановский остановился и необычайно серьезно возразил на шутку. «Надо прибавить, — сказал он, — что факт этот составляет позор не для русской женщины из народа, а для тех, кто довел ее до того, и для тех, кто привык относиться к ней цинически. Большой грех за последнее лежит на нашей русской литературе. Я никак не могу согласиться, чтобы она хорошо делала, потворствуя косвенно этого рода цинизму распространением презрительного взгляда на народность». С этого и начался спор.

Я не упомянул, что в числе постоянных гостей Соколова был еще влиятельный человек кружка — издатель «Московских ведомостей» Евг. Фед. Корш. По убеждениям своим он принадлежал вполне партии крайних западников, отыскивая вместе с ними основы для мысли и для жизни в философии, истории, следя за теориями социализма и нисколько не ужасаясь никаких результатов, какие бы могли оказаться на конце этих разысканий; но вместе с тем он не принимал на веру никаких заманчивых посулов доктрины, откуда бы она ни исходила, если только мало-мальски приближалась к утопии или обнаруживала поползновение на произвольный вывод. Он постоянно воевал с идеалами существования, которых тогда возникало множество. Вообще это был критик убеждений и верований своего круга, с которым разделял многие из его надежд и все основные положения. Он стоял постоянно с ногой, занесенной, так сказать, из своего лагеря в противоположный, охлаждая слишком радужные чаяния или чересчур сангвинические порывы своих друзей. Обширная начитанность и поистине замечательная доля меткого и ядовитого остроумия, эффект которого увеличивался еще от проти-

воположности с недостатком в произношении, делали из Евг. Корша выдающееся лицо круга *. Он тотчас понял, что завязавшийся спор не есть какая-либо решительная битва, изменяющая вконец положение сторон, а только простое объяснение между ними; поэтому он и ходил свободно между сторонами, не приставая ни к одной. Иначе принял дело Кетчер, которому казалось уже необходимостью произвесть себя в адвокаты отсутствующей петербургской стороны, как еще мало он сам ни разделял всех ее воззрений. Он поднял перчатку Грановского и повел с ним спор о *принципах* чрезвычайно горячо, как окажется, надеюсь, и из сокращенной моей передачи этого любопытного препирательства. За точность и порядок мыслей и за приблизительную верность самого выражения их — ручаюсь **.

— Да помилуйте, как же можно, — восклицал Кетчер, — обобщать на этот манер каждое пустое замечание! Какой же человек удержит голову на своих плечах, если из каждого его слова, пущенного на ветер, станут вытягивать разные смыслы. Ведь это Преображенский приказ. А если уж обобщать, Грановский, так ты бы лучше поставил себе вопрос: не участвовал ли сам народ в составлении наших дурных привычек, и не есть ли наши дурные привычки именно народные привычки?

— Постой, брат Кетчер, — возразил Грановский, — ты говоришь: не следует обобщать всякую случайную заметку; во-первых, любезный друг, случайные заметки состоят в близком родстве с тайной нашей мыслию, а во-вторых, собрание таких заметок составляет иногда целое учение, как, например, у Белинского. А я тебе должен сказать здесь прямо, — добавил Грановский с особенным ударением на словах, — что во взгляде на русскую национальность и по многим другим литературным и нравственным вопро-

---

* Из множества его цепких заметок я помню одну, обращенную к собеседнику, который, на основании Прудона, отыскивал в анархии спасительное средство для современных обществ. «Это, вероятно, потому, — сказал Евг. Корш, — что анархия всегда ведет за собой монархию». В другой раз он отвечал одному профессору, который с некоторым провинциальным акцентом восклицал: «Я, братцы, как вам известно, родикал». — «Я и прежде думал: что ты ничего другого *родить* не можешь», — заметил Евг. Корш. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

** Заметки и цитаты, тогда же брошенные мною на бумагу для памяти, много помогли восстановлению всей этой сцены. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

сам я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому, «Отечественным запискам» и западникам[81].

За этим категорическим объявлением последовала минута молчания. Гораздо позднее мысль, выраженная Грановским, повторялась много раз и самим Герценом от своего имени в его заграничных изданиях, но впервые она была сказана именно Грановским и в Соколове. Герцен, конечно, принял участие в завязавшемся споре, нисколько не предчувствуя, разумеется, что, не далее как через год, он придет сам в столкновение с Грановским по вопросу, совершенно схожему с тем, который теперь разбирался *. Теперь он держал сторону Грановского, хотя не так решительно, как можно было думать, судя по внешним признакам сходства в их настроениях. Прямая, неуклонная, откровенная деятельность Белинского приходилась ему всегда по душе, несмотря на множество оговорок, какие он противопоставлял ей, да и предчувствие близости горьких расчетов с самим Грановским, вероятно, уже возникло в его уме и сдерживало его слово. Вмешательство его в разговор носило дружелюбный характер.

— Пойми же ты, братец, — говорил он, обращаясь к Кетчеру, — что, кроме общего народного вопроса, о котором можно судить и так и иначе, между нами идет дело о нравственном вопросе. Мы должны вести себя прилично по отношению к низшим сословиям, которые работают, но не отвечают нам. Всякая выходка против них, вольная и невольная, похожа на оскорбление ребенка. Кто же будет за них говорить, если не мы же сами? Официальных адвокатов у них нет, — понимаешь, что все тогда должны сделаться их адвокатами. Это особенно не мешает понять теперь (1845 год), когда мы хлопочем об упразднении всяких управ благочиния. Не для того же нужно нам увольнение в отставку видимых и невидимых исправников, чтобы развязать самим себе руки на всякую потеху.

Кетчер не любил оставлять последнего слова за противником. Он возопил против попытки примешать еще и нравственность, после национальности, к пустому случаю, раз-

* В «Записках» Герцена рассказана подробно история его ссоры в 1846 году с Грановским по поводу неосторожного бранного слова, произнесенного Огаревым в присутствии сожительницы, впоследствии жены Кетчера. Тогда Герцен стоял за Огарева, но вменял ему в вину случайного непечатного выражения, а обиженным уже являлся Кетчер, так легко прощавший прежде мимолетные заметки. Грановский поддерживал Кетчера и разделял его негодование[82]. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

росшемуся в такой диспут, утверждал, что обличение какого-либо несомненного факта, хотя бы и самого прискорбного характера, никогда не может быть безнравственно, а наконец, после насмешливых отзывов о новых народившихся русофилах (на этого рода пикантные приправы к спорам никто тогда не скупился) перешел к Белинскому, который, собственно, и составлял настоящий предмет всего разговора. Кетчер заметил, что вряд ли мы и имеем право судить о настоящих воззрениях Белинского на русскую народность, так как он их никогда не высказывал вполне, да и ввиду цензуры и не мог передать всей своей мысли как по этому предмету, так и по многим другим. Здесь Грановский опять остановил Кетчера и покончил спор замечанием, которое поразило всех своей неожиданностью; привожу его буквально:

— Знаешь ли, брат Кетчер, что я имею тебе сказать по поводу твоего замечания о цензуре. Об уме, таланте и честности Белинского не может быть между нами никакого спора, но вот что я скажу о цензуре. Если Белинский сделался силой у нас, то этим он обязан, конечно, во-первых, самому себе, а во-вторых, и нашей цензуре. Она ему не только не повредила, но оказала большую услугу. С его нервным, раздражительным характером, резким словом и увлечениями он никогда бы не справился без цензуры со своим собственным материалом. Она, цензура, заставила его обдумывать планы своих критик и способы выражения и сделала его тем, чем он есть. По моему глубокому убеждению, Белинский не имеет права жаловаться на цензуру, хотя и ее благодарить тут не за что: она, конечно, также не знала, что делает.

Спор был вполне истощен именно этим заявлением Грановского. Все было сказано, что Грановскому хотелось сказать. Когда затем кто-то заметил, что все резкие, антинациональные выходки Белинского происходят еще из горячего демократического чувства, возмущенного тем состоянием, до которого доведены народные массы, Грановский горячо пристал к этому мнению, находя в нем разгадку многих излишеств критика, которые все-таки считал явлением ненормальным и печальным. Спор прекратился. Он сделал свое дело, очистив совесть и позволив всем возвратиться уже без всяких помех к простым, дружеским и искренним отношениям <...>.

XXVII

История последовавших вскоре внутренних разногласий «западной» партии достойна не менее внимания, чем и история ее возникновения и влияния в обществе. За протестом московских друзей против исключительного европеизма Белинского последовал раскол в самом московском отделе западников. Оба главнейшие его представителя, Герцен и Грановский, разошлись по вопросам, возникшим в конце концов на почве той самой западной цивилизации, явлениями которой они так занимались. Толчок к новому подразделению партии дали уже идеи социализма и связанный с ними переворот в способе относиться к метафизическим представлениям. Самые первые проблески этого разногласия между друзьями оказались опять в Соколове, хотя разгар спора со всеми его последствиями относится уже к следующему, 1846 году. Позволяю себе остановиться теперь же на этой подробности, которая в различных видах и формах повторялась и во многих других кружках и отделах нашего «западничества».

Кому не известно, что собственно *русский* социализм, или то, что можно назвать народными экономическими представлениями, заключался в очень ясных и узких границах, состоя из учения об общинном и артельном началах, то есть из учения о владении и пользовании сообща орудиями производства. В этом скромном ограниченном виде, данном всей нашей историей, *русский* социализм и был поставлен впервые на вид славянофилами, с прибавкой, однако ж, что он может служить не только образцом экономического устройства для всякой сельской и ремесленной промышленности, но и примером сочетания христианской идеи с потребностями внешнего, материального существования. На эту-то прибавку именно западники наши и не согласились: они отвергали ее самым положительным образом, признавая, что русская община спасает интересы народа в настоящую минуту и дает ему средство бороться с несчастными обстоятельствами, его окружающими, но за общинным владением они не признавали никакого всесветного экономического принципа, который мог бы быть годен для всякого хозяйства. Временное значение артели и общины западники подтверждали примером точно таких же установлений, являвшихся у всех первобытных народов, и думали, что с развитием свободы и благосостояния русский народ и сам покинет эту форму труда и

общежития. Убеждения эти принадлежали и современной им политико-экономической науке, которая вместе с ними признавала общинный порядок производства ценностей и равномерного распределения земли и орудий труда не более как мероприятием против голода со стороны нищенствующего, младенчествующего народного быта и не позволяла питать никаких надежд на приобретение им в будущем какого-либо политического или экономического значения. В таком виде представлялся западникам «русский социализм». Совсем в другой форме явился перед ними новый «европейский социализм». Начать с того, что он открывал блестящие перспективы во все стороны и развертывал перед глазами лучезарную, фантастически освещенную даль, которой и границ не было видно. Как уже было сказано, европейские социальные теории изучались тогда очень прилежно, но из самых теорий этих получались только более или менее хорошо связанные и размещенные коллекции неожиданных, изумляющих и подавляющих афоризмов. Европейский социализм того времени не стоял еще на практической и научной почве, а только разрабатывал покамест нечто вроде «видений» из будущего строя общественной жизни, которую он сам рисовал по своему произволу. Существенной частию его содержания была ожесточенная критика всех экономических уставов и действующих религиозных верований и убеждений, которая служила ему способом очистить самому себе место в умах: она и давала ему сильно намеченный, боевой характер. И в каких энергических словах выразился этот характер! Уже не говоря о пресловутом восклицании Прудона — «la propriété — c'est le vol» *, о не менее знаменитом изречении портного Вейтлинга: «Нам предоставлен только один вид свободного труда — грабеж», — сколько было еще других, тоже ослепляющих и оглушающих тезисов тогдашнего молодого социализма, над которыми приходилось работать его неофитам: «Торговля и сословие купцов, ею созданное, не что иное, как паразиты в экономической жизни народов»; «результаты *коллективного* труда рабочих достаются даром патрону, который всегда оплачивает только единичный труд»; «правильная ассоциация распределяет работу по силам каждого, а вознаграждение по нуждам его»; «способности рабочего не дают ему права на большую долю вознаграждения, будучи сами даром случая»; «искус-

* «собственность — это воровство» (*франц.*).

ство и талант суть уродливости нравственного мира, схожие с уродливостями физическими, и никакой оценки и оплаты не заслуживают»; «рабочий имеет такое же право на произведенную им ценность, как и заказчик ее»; «цивилизация Европы есть прямое порождение праздных ее сословий» — и так далее, и так далее. Я привел здесь только тезисы и положения нового социализма, какие попали под перо, но их было множество, и все они раздражали воображение гораздо более, чем целые системы этого же направления, вроде систем Сен-Симона или Фурье, так как у первого иерархический характер учения, а у второго искусственная гармония темпераментов и психических серий возбуждали многими своими сторонами недоумение и юмор. При афоризмах же и тезисах «воюющего» социализма, наоборот, никто и не предъявлял требований на очевидность и убедительность доказательств. Сила этих громоносных положений заключалась не в их логической неотразимости, не во внутренней их правде, а в том, что они возвещали какой-то новый порядок дел и как будто бросали полосы света в темную даль будущего, открывая там неизвестные, счастливые области труда и наслаждения, о которых всякий судил по впечатлению, полученному в короткое мгновение той или другой из подобных вспышек. Эти *прозрения* в будущее, однако ж, действовали чрезвычайно различно на людей самого круга. Грановский, например, нисколько не обольщался ими.

Признавая европейский социализм явлением, которое уже не может быть оставлено без внимания ни историком, ни вообще мыслящим человеком, он смотрел на него как на болезнь века, тем более опасную, что она не ждет и не ищет помощи ниоткуда. «Социализм, — говорил он, — чрезвычайно вреден тем, что приучает отыскивать разрешение задач общественной жизни не на политической арене, которую презирает, а в стороне от нее, чем и себя и ее подрывает». Иначе отнеслись к нему Герцен и Белинский.

Воинственные манифесты социализма, возвещавшие истребительный поход его на европейскую цивилизацию, не приводили их в ужас. Конечно, ни у того, ни у другого не было и помина об усвоении всех его предписаний или о превращении всех его претензий в догматы собственной своей «веры» (это было бы и нелепо в их обстановке). Многие из нивелирующих декретов социализма даже казались и им юношескими вспышками, но они смотрели гораздо бодрее, хладнокровнее и спокойнее, чем Грановский, на

участь современной образованности, если бы она и должна была потерпеть некоторый ущерб. А в том, что образованности этой предстоит немалое испытание, уже никто не сомневался: тогда во всей Европе думали, что с социализмом надвинется на нее свирепый ураган, долженствующий потрясти все так долго и так трудно нажитые ею верования, убеждения, привычки, мысли и исторические основы. Разница в способах относиться к этим предчувствиям переворота именно и образовала ту *рознь* в московском кружке, о которой теперь говорим. Герцен был заодно с Белинским, и они оба смотрели прямо и открыто в лицо всем симптомам разложения, грозившим, по их мнению, Европе со стороны социализма, не призывая, но и не ужасаясь развалин, которые он должен произвести. Они думали, что из пепла старой цивилизации Европы возникнет феникс — новый порядок вещей, как венец и последнее слово ее тысячелетнего развития.

Все предчувствия переворота, напротив, тревожили Грановского в высшей степени, и самый переворот, как он представлялся его уму, не вызывал у него ни малейшей симпатии, никаких радужных надежд или ожиданий. Разногласие между друзьями было, как видим, совершенно невинного характера, не имея в основании своем ничего, кроме предположений и гаданий, но оно сопровождалось еще ирониями и диспутами, обнаруживавшими взгляды сторон и на другие предметы нравственного характера. Раз затянувшись, спор уже поддерживался множеством горючих элементов, прибывавших к нему со стороны, из ученых и других явлений тогдашней жизни.

Одним из таких горючих материалов должно считать, между прочим, хорошо известную книгу Фейербаха, которая находилась тогда во всех руках[83]. Можно сказать, что нигде книга Фейербаха не произвела такого потрясающего впечатления, как в нашем «западном» круге, нигде так быстро не упраздняла остатки всех прежних предшествовавших ей созерцаний. Герцен, разумеется, явился горячим истолкователем ее положений и заключений, связывая, между прочим, открытый ею переворот в области метафизических идей с политическим переворотом, который возвещали социалисты, в чем Герцен опять сходился с Белинским *. Но Грановский с горечью в душе, уже тро-

* Кстати заметить еще факт. Для Белинского собственно был сделан в Петербурге одним из приятелей перевод нескольких глав и важнейших мест из книги Фейербаха, — и он мог, так сказать,

нутой сомнениями, отбивался от того последнего слова, которое требовали у него друзья по поводу всех подобных явлений, и не говорил его, силясь сохранить под собой историческую, конкретную основу существования, подмываемую со всех сторон. Он начинал расходиться с собственным кругом, с тем кругом, в котором, по собственным словам его, заложены были целиком его сердце и вся нравственная часть его существования. Охлаждение и разногласие между друзьями уже существовало втайне прежде, чем вышло наружу. Уже в Соколове Грановский сказал раз при мне, шутя отпрашиваясь у общества в Москву для свидания с другими приятелями, там оставшимися, и преимущественно с домом Елагиных: «Мне это нужно, чтобы не совсем загрубеть между вами, — вот вы ведь успели уже лишить меня бессмертия души». Слова эти, несмотря на шуточный их характер, поразили меня тогда же как разоблачение. Через год, именно в 1846 г., решение Грановского было принято окончательно. Герцен рассказывает в своих «Записках», что Грановский однажды положительно объявил ему, после какого-то горячего прения между ними, что он, Грановский, не может дальше идти с прежними своими товарищами в том направлении, какое все более и более усвояется ими и из которого он не видит никакого разумного выхода; что он принужден с болью в душе выделиться из дорогого ему круга по многим религиозным, нравственным и историческим вопросам и заявить это твердо и искренно[84]. Герцен был поражен: он терял друга — и какого друга! — своей молодости, да и видел еще, с какой глубокой печалью на лице и каким голосом Грановский представил свой ультиматум! Изумленный и растерянный, Герцен обратился тогда же за разъяснением дела, а если можно, то и за посредничеством, к Е. Ф. Коршу, но он встретил у него уклончивый ответ, который показывал, что не все члены круга расположены смотреть на заявление Грановского как на минутную или капризную вспышку. Евг. Корш не одобрял крутой постановки вопроса, какую сделал Грановский, но из объяснений его можно было догадаться, что сам Корш признавал, однако, осно-

---

осязательно познакомиться с процессом критики, опрокидывавшей его старые мистические и философские идолы. Нужно ли прибавлять, что Белинский был поражен и оглушен до того, что оставался совершенно нем перед нею и утерял способность предъявлять какие-либо вопросы от себя, чем всегда так отличался. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

вательность поводов, которые понудили Грановского к его заявлению. Разрыв приобретал значение несомненного факта и требовал, подобно перелому кости в организме, наложения на первых порах перевязки и предоставления затем живительному действию времени — произвесть срастание члена. Так и было сделано. Полного, совершенного исцеления, однако же, не последовало между надломленными членами кружка. А между тем я был свидетелем, что до конца жизни ни Грановский, ни Герцен, ни Белинский не могли говорить друг о друге без умиления и глубокого сердечного чувства.

XXVIII

Что же делал Белинский за все это время? В конце лета этого года (1845) Белинский жил на даче на Парголовской дороге, против соснового леска, окружавшего озеро Парголовское. Мы туда и ушли с Белинским, когда, по прибытии в Петербург, я приехал навестить его и переговорить о всем, что видел за лето. Я ему передал подробности впечатлений, вынесенных мною из пребывания в Соколове. Он выслушал внимательно мое сочувственное описание тамошних дел и слов и промолвил: «Да, московский человек — превосходный человек, но, кроме этого, он, кажется, ничем более не сделается».

Белинский оставался теперь почти один со знаменем и девизом непримиримой вражды. Он считал своей обязанностью еще выше держать это знамя напоказ с тех пор, как ряды его защитников стали расстроиваться. Не без огорчения смотрел Белинский на сближение враждебных партий в М о с к в е, — сближение, которое сделалось возможным, как он думал, только потому, что одна партия не вполне договаривала свою мысль и не вполне обнаруживала свои конечные цели, а другая, западническая, непомерно обрадовалась сочувственному слову и с закрытыми глазами предалась обычному своему наслаждению — кидаться на шею врагам и поскорее сажать их за один стол с собою. Причины разладицы увеличивались все более и более между друзьями: в борьбе с славянофилами Белинскому приходилось задевать и всех их союзников, старых и новых[85]. Недоразумения копились поэтому в лагере западников почти при всяком обмене мыслей между старыми друзьями. Сбереглась в целости только одна черта в их

обычных сношениях. Друзья не скупились на взаимные обличения и жестокие упреки, когда стояли лицом друг к другу, и обращались тотчас же в прежних друзей и верных товарищей, когда замолкали или расходились по домам. Беречь свои симпатии, нажитые в течение долгого времени, становилось тогда для всех необходимостью, нисколько не мешавшей каждому настаивать на своих убеждениях и их проводить в свет.

Белинский приступил тотчас же, с обычной своей страстностью и искренностью, к определению и уяснению пунктов разногласия, образовавшихся между московскими и петербургскими западниками. Прежде всего он отнесся скептически и насмешливо к серьезным минам, с которыми ученые в Москве разбирают вопросы русской жизни, перенося их на почву науки, философии, философствующей истории и проч. По его мнению, вопросы эти не нуждаются в такой пышной обстановке и могут разрешиться очень простыми, нехитрыми и немудреными мерами и принципами, доступными каждому, самому простому пониманию. Так же точно и по отношению литературы к образованным классам общества Белинский думал, что последние нуждаются скорее в правильном устройстве их образа мыслей, чем в знании последних результатов европейской науки. Первое наглядное приложение этой системы отрицания дальних разъяснений и глубокомысленных упражнений в сфере идей Белинский сделал тотчас же на письмах Герцена об изучении природы, которые стали появляться тогда же в «Отечественных записках». Он признавал, что как положения, так и цели этих чрезвычайно умных статей в высшей степени важны, но не признавал возможности извлечь из откровений естествознания моральных и воспитательных указаний, нужных особенно для русских читателей, большинство которых еще не обзавелось органом для понимания первых нравственных начал. «И каким отвлеченным, почти тарабарским языком написаны эти статьи, — говорил Белинский, — точно Герцен составил их для своего удовольствия. Если я мог понять в них что-нибудь, так это потому, что имею за собой десяток несчастных лет колобродства по немецкой философии, — но не всякий обязан обладать таким преимуществом!»

Несомненно, что в таких и им подобных заявлениях Белинского сквозило желание иметь дело с общественной литературой, занимающейся насущными вопросами дня, с популярным изложением научных и моральных истин (он

вздыхал по литературе этого рода и в одном из тогдашних своих годичных обозрений словесности), но все-таки основания его приговора казались очень жесткими. Они лишали интеллигентных людей эпохи последнего убежища от пустоты жизни, какое они еще находили в науке и в отвлеченной постановке вопросов. Они отнимали единственную арену, на которой дозволялось проявление мысли. Способствовать уничтожению этой арены или умалению ее значения в публике — значило просто, по мнению противников Белинского, играть заодно и в руку с обскурантами. В Москве смотрели на эту оппозицию Белинского эрудиции и чистому мышлению как на громадную ошибку увлекающегося критика и, вдобавок, как на плохой расчет. Нельзя вызвать, говорили там, популярную пропаганду науки, закрывая или подрывая настоящие источники самой науки, принуждая или отстраняя ее деятелей и замещая нынешние условия умственной жизни одними упреками, страстными призывами и пожеланиями лучшего, тщета которых должна быть ясна самому вспыльчивому критику еще более, чем кому-либо иному. Так расходились московские западники все далее и далее от центра западничества, образованного Белинским в Петербурге.

Помню любопытную сцену, приходящуюся к этому же времени: я был случайным свидетелем ее. П. Н. Кудрявцев, проезжая в Берлин, куда посылался для окончания своего профессорского образования, посетил, разумеется, в Петербурге Белинского, этого приятеля молодых своих годов, который в авторе «Флейты» находил когда-то идеал природного эстетического вкуса и понимания. Но встреча их теперь оказалась в высшей степени сдержанной, холодной и напряженной — и, конечно, по ней трудно было бы догадаться о родственных связях, некогда существовавших между этими людьми. Кудрявцев являлся точным представителем московского взгляда на теперешнюю деятельность петербургского критика, и весь ход разговора, завязавшегося между старыми друзьями, ясно показывал, что тут лежит, в скрытой форме, довольно сильно назревший раздор. Как теперь смотрю на высокую фигуру П. Н. Кудрявцева, в синем фраке с светлыми металлическими пуговицами: он опрокинулся на кресло в приемной-столовой Белинского и останавливал порывы своего собеседника отрывочными, холодными фразами, которые, будучи сказаны обычным глухим голосом его и при каменном выражении на его лице, падали, как судейские при-

говоры. Белинский выбрал опять статьи Герцена, для того чтобы через них переслать упреки московским людям за их абстрактные отношения и к жизни и к науке. Кудрявцев отвечал коротко: «Без абстракций нельзя обойтись при многих научных вопросах — за это надо сердиться на логическую необходимость, а не на людей». Напрасно Белинский старался развить мысль о необходимости предпочтения тех научных положений, которые наиболее приложимы к современному быту, и о необходимости трактования этих положений наиболее понятным для читателей образом, — Кудрявцев отвечал: «Что за иерархия такая в науках? Отвлеченные науки так же необходимы, как и политические, и друг другу помогают. Почему не заниматься теми, с которыми более знаком, и в форме, которая более сподручна?» В таком тоне шла беседа некоторое время. Весь пыл Белинского, однако, не мог долго выдержать этого решительного отвода всех его положений, — отвода, по-видимому, очень спокойного, но, в сущности, весьма гневного и неприязненного. Беседа падала сама собой, и старые друзья хладнокровно расстались, обмениваясь самыми пошлыми вопросами на прощание, точно посторонние. Устами Кудрявцева говорила известная часть Московского университета.

И тот же самый П. Н. Кудрявцев через год, когда я посетил его уже в Берлине, при мне очень сурово и решительно остановил некоего г. С—ва, ученика и поклонника Шеллинга, но только очень низкой пробы, когда тот вздумал очертя голову ругать Белинского огулом. Надо знать, что С — в предлогом для своих ругательств взял неблагоприятный отзыв о Шеллинге, где-то высказанный Белинским (кажется, в статье о «Тарантасе» графа Соллогуба), а сам Кудрявцев в то время состоял под неотразимым влиянием Шеллинговой «Философии откровения»[86] и говорил о ней с упоением, что не помешало ему, как сказано, круто отнять слово у своего единомышленника. Но так почти всегда действовали противники Белинского, да и он сам, принадлежавшие к особому, теперь уже вымершему, роду противников.

Не более злобы и ожесточения сохранил и Герцен, знавший отзыв критика о его статьях и упоминавший об этих отзывах потом не раз. «Чудак этот, — говорил он, — изволит находить, что трудно выказать более ума и дельного взгляда на предмет в более темных выражениях, но он забывает, что иначе никакого ума и взгляда на русском языке и по-

казать нельзя». Впрочем, Герцен скоро был с избытком вознагражден за строгие приговоры критика. Вслед за письмами об изучении природы появились в «Отечественных записках» первые главы известного романа Герцена *, и автор имел тотчас же удовольствие видеть, как внезапно переменились все отношения Белинского к его авторской деятельности[87]. Белинский пришел от начальных глав романа в положительный восторг, который возрастал по мере развития повести. Критик наш, конечно, не просмотрел романтического колорита, который положен был на главные действующие лица романа, но отношения самого автора повести к своим лицам, горькая правда, с которой он излагает их порывы и мечтания, не исключающая, впрочем, и глубокого сочувствия к ним, а наконец, картина поучительной житейской драмы, возникающая из фальшивых общественных их положений, — все это поразило критика почти как неожиданность. Он многого ожидал от лучезарного ума Герцена, но такого мастерства «сочинения» не ожидал. «Вот где его сила, — говорил он, — вот где он на просторе, и вот какая арена ему открылась для богатырских литературных упражнений, к которым он склонен». Герцен был тронут этим неожиданным успехом своего романа, переломившим сухое настроение критика. «Виссарион Григорьевич, — замечал он потом шутя, но очень довольный приговором, — гораздо более любит наши сказочки, чем наши трактаты, да он и прав. В трактатах мы беспрестанно переодеваемся от надзора и раскланиваемся любезно с каждым будочником, а в сказке ходим гордо и никого знать не хотим, потому что в кармане плакатный билет имеем: чинить ей пропуски, давать ночлеги и кормежные». Герцен подтвердил свое воззрение на «сказку» да оправдал и пророчество Белинского, напечатав в 1847 году («Современник» 1847 года) так называемые «Записки» и т. д. (о душевных болезнях вообще, и проч.). Это была тоже сказка, но сказка, захватывавшая глубокие психологические и социальные вопросы.

Была, однако ж, и еще причина для этих симпатических излияний Белинского, кроме той, которая порождалась самым литературным достоинством произведения Герцена: Белинский склонялся все более к признанию важного значения так называемой беллетристики, разнообразной, умной, цепкой беллетристики, какая существует во

* «Кто виноват?» (*Прим. П. В. Анненкова.*)

всех странах Европы, образуя в них такой же существенный элемент общественного развития, как и художественные произведения, и часто служа пособием для их понимания. Со стороны Белинского этот ввод нового деятеля в область искусства и это снабжение его патентом на право гражданства в ней не было изменой старым положениям критика 1840—1845 годов, а только дополнением их. «Великие, образцовые произведения искусства и науки, — говорил он, — были и останутся единственными пояснителями всех вопросов жизни, знания и нравственности, но до появления таких произведений, заставляющих иногда ждать себя подолгу, беллетристика — дело необходимое. В эти долгие промежутки она предназначена занимать, питать и поддерживать умы, которые без нее обречены были бы на праздность или на повторение старых образцов и преданий». Желать возникновения беллетристики, не придавая ей значения последнего судьи всех современных задач, — значило для него только желать обмена идей и сбора необходимого материала для разрешения этих задач уже путем науки и творчества, когда наступит их время. Зачатки такой беллетристики Белинский усмотрел именно в вышеупомянутом романе Герцена, что однажды и высказал публично в разборе его, не придавая ему художнического значения, но ставя его высоко, как произведение умного, наблюдательного и развитого человека. По тем же поводам и первые произведения другого писателя, Д. В. Григоровича, выступившего в 1846 году с повестью «Деревня», за которой последовала другая, «Антон Горемыка», — обе возбудившие множество толков, — встречены были чрезвычайно сочувственно нашим критиком. Он увидал в них начало эры талантливых разоблачений и ловкой проверки жизненных явлений из сельского нашего быта, важность которых была теперь несомненна для него[88].

Какую скромную роль ни отводил еще Белинский беллетристике вообще в литературе, но ходатайство за нее и предъявление ею прав на внимание показались еще многим ересью. Ново и дико было то, что критик признавал учителями общества уже не одни гениальные или очень крупные таланты, как прежде, а и всю безыменную массу литераторов и деятелей, разработывающих вопросы жизни и времени по мере сил своих и понимания. Первая, усмотревшая новое направление Белинского, была, конечно, очень чуткая к видоизменениям его мысли славянофильская партия. Она объявляла все учение о беллетристике

прославлением публичной «болтовни», принижением серьезных тружеников в пользу «горланов». Мне самому приходилось слышать от некоторых — и не безвестных — лиц этой партии замечание, что поставление беллетристики на одну доску с поэтическим трудом похоже на оскорбление «святого духа».

Московским умеренным западникам новая пропаганда Белинского не показалась ни очень новой, ни такой страшной для дела образования: они знали участие беллетристики в создании общего умственного строя современной Европы. Притом же внутри круга жило убеждение, что нападки врагов Белинского порождены просто недоразумением, у многих даже и сознательным, ибо преследователем художественности, чистого творчества и серьезного труда нельзя было его и представить себе. И они были правы, как доказал восторг Белинского при появлении в том же 1845 году, еще в рукописи, «Бедных людей» Достоевского, которых он считал на первых порах замечательным художническим произведением.

XXIX

В одно из моих посещений Белинского, перед обедом, когда он отдыхал от утренних писательских работ, я со двора дома увидел его у окна гостиной, с большой тетрадью в руках и со всеми признаками волнения на лице. Он тоже заметил меня и прокричал: «Идите скорее, сообщу новость... Вот от этой самой рукописи, — продолжал он, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит. Дело тут простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все,— а какая драма, какие типы! Да, я и забыл вам сказать, что художника зовут Достоевский, а образцы его мо-

тивов представлю сейчас». И Белинский принялся с необычайным пафосом читать места, наиболее поразившие его, сообщая им еще большую окраску своей интонацией и нервной передачей. Так встретил он первое произведение нашего романиста *.

И этим еще не кончилось. Белинский хотел сделать для молодого автора то, что он делал уже для многих других, как, например, для Кольцова и Некрасова, то есть высвободить его талант от резонерских наклонностей и сообщить ему сильные, так сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладевать предметами прямо, сразу, не надрываясь в попытках, но тут критик встретил уже решительный отпор. В доме же Белинского прочитан был новым писателем и второй его рассказ, «Двойник» [89], это — сенсационное изображение лица, существование которого проходит между двумя мирами — реальным и фантастическим, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни к одному из них. Белинскому нравился и этот рассказ по силе и полноте разработки оригинально странной темы, но мне, присутствовавшему тоже на этом чтении, показалось, что критик имеет еще заднюю мысль, которую не считает нужным высказать тотчас же. Он беспрестанно обращал внимание Достоевского на необходимость *набить руку,* что называется, в литературном деле, приобрести способность легкой передачи своих мыслей, освободиться от затруднений изложения. Белинский, видимо, не мог освоиться с тогдашней, еще расплывчатой манерой рассказчика, возвращавшегося поминутно на старые свои фразы, повторявшего и изменявшего их до бесконечности, и относил эту манеру к неопытности молодого писателя, еще не успевшего одолеть препятствий со стороны языка и формы. Но Белинский ошибся: он встретил не новичка, а совсем уже сформировавшегося автора, обладающего потому и закоренелыми привычками работы, несмотря на то что он являлся, по-видимому, с первым своим произведением. Достоевский выслушивал наставления критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успех, полученный

---

* Во время вторичного моего отсутствия из России, в 1846 году, почти такое же настроение охватило Белинского, как рассказывали мне, и с рукописью «Обыкновенная история» И. А. Гончарова — другим художественным романом. Он с первого же раза предсказал обоим авторам большую литературную будущность, что было нетрудно, но он еще предсказал, что потребуется им много усилий и много времени, прежде чем они наживут себе творческие идеи, достойные их таланта. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

его повестью, сразу оплодотворил в нем те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе. Успех этот более чем освободил его от сомнений и колебаний, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторов: он еще принял его за вещий сон, пророчивший венцы и капитолии. Так, решаясь отдать роман свой в готовившийся тогда альманах, автор его совершенно спокойно, и как условие, следующее ему по праву, потребовал, чтоб его роман был отличен от всех других статей книги особенным типографским знаком, например — каймой[90].

Впоследствии из Достоевского вышел, как известно, изумительный искатель редких, поражающих феноменов человеческого мышления и сознания, который одинаково прославился верностию, ценностию, интересом своих психических открытий и количеством обманных образов и выводов, полученных путем того же самого тончайшего, хирургически острого, так сказать, психического анализа, какой помог ему создать и все наиболее яркие его типы. С Белинским он вскоре разошелся — жизнь развела их в разные стороны, хотя довольно долгое время взгляды и созерцание их были одинаковы[91].

Я не успел еще сказать, что две зимы — 1844 и 1845 годов — Петербург видел в стенах своих и постоянного своего антагониста Н. Кетчера. Н. Кетчер провел в Петербурге эти зимы по служебным делам своим и страшно скучал по родному своему городу, в который и возвратился окончательно летом 1845 года, где, как мы видели, я и застал его на даче в Соколове. В Петербурге он занимался переводом с немецкого какой-то терапевтической или фармацевтической книги, долженствовавшей служить руководством для учебных заведений ведомства медицинского департамента, но поверх этой книги всегда лежали на письменном его столе томики Шекспира в оригинале и в немецком тексте, и он свободно переходил от перевода учебной книги к переложению поэтических созданий британского драматурга. В промежутке между этими занятиями он посещал театр и общество петербургских актеров, которых довольно своеобразно воспитывал, ругая почти все, что им нравилось и на что они возлагали большие надежды. Он иногда и собирал их в своей квартире, на Владимирской. Тут я встретил однажды и В. А. Каратыгина, бывшего в апогее своей славы. Знаменитый трагик эпохи показался мне

несколько нелепым со своим громадным ростом, густым и глухим басом, величавым видом и тупо сдержанным и значительным словом. По бешенству жестов, изысканности поз и утрировке выражений он частенько бывал нелеп и на сцене, но тут он выкупал эти недостатки инстинктивной отгадкой главной черты изображаемого характера, проведением ее через всю роль и передачей ее в возможной яркости и рельефности, чем и достигал подчас замечательных эффектов.

Пребывание Кетчера ознаменовалось постоянными нескончаемыми толками о различии и противоположных качествах обеих наших столиц. Белинский, огорченный *сделками* партий в Москве, гремел против города, имеющего тлетворное влияние на самых здравомыслящих людей, а Кетчер исполнял теперь роль адвоката Москвы, что было согласно с обычаем, принятым в круге, — всегда стоять за отсутствующих. Мы видели, что летом, возвратись на свое родное пепелище, в Москву, он оказался, наоборот, горячим защитником петербургских взглядов. Впрочем, в спорах между друзьями не было ничего нового, за исключением одной черты: тут препирались уже не представители двух враждебных партий, а представители одной и той же дружеской партии, что подтверждало ее распадение. Обе столицы, Москва и Петербург, опять употреблены были в дело, как прежде в борьбе, с чистыми славянофилами, — для обозначения духа и содержания новых отделов раздвоившейся партии западничества. Москва и Петербург присуждены были, как и прежде, взимать на себя увлечение, страсти, гневные вспышки современников и служить им орудиями борьбы. Петербургское «западничество» выражалось устами Белинского. «Между питерцем и москвичом, — говорил Белинский, подразумевая уже одних западников (я сохраняю здесь смысл речей его, но не самую форму их), — никакой общности взглядов долго существовать не может: первый — *сухой* человек по натуре, а второй — *елейный* во всех своих словах и мыслях. У них различные роли, они только мешают и гадят друг другу, когда сойдутся». Этот афоризм я передал почти буквально, потому что часто слышал его от Белинского. Затем, по мнению Белинского, если позволительно мечтать о появлении у нас большой литературной и общественной партии когда-либо, то ее следует ожидать только из Петербурга, потому что единственно

в Петербурге люди знают истинную цену вещей, слов и поступков, а затем еще и потому, что единственно в Петербурге люди ничем не обольщаются и принимают без благодарности и умиления всякие подарки и милости, как нечто им следующее; а наконец, и потому, что способны без сердечных болей отделываться от застарелых мыслей и от хороших людей, если они ни к чему не ведут или мешают достижению раз поставленной цели. Как далеко ушел Белинский от своих еще не очень давних томлений по Москве и нежных воспоминаний о ней! Кетчер от имени московских западников выражал совсем другое мнение. По его толкованию, вся работа петербургского человека заключается в том, чтоб *прослыть* умным человеком, причем всяческие воззрения, убеждения, тенденции считаются у него различными видами дурачеств, мешающими устройству карьеры, а затем уже, прослыв умным человеком, петербуржец спит и видит, как бы продать себя подороже со всем своим багажом.

В статейке «Петербург и Москва», написанной Белинским в 1846 году для альманаха Некрасова и отражающей хорошо его споры с другом [92], критик сознается, что Москва больше и лучше читает, больше и лучше думает, но он прибавлял еще в разговорах своих к этому замечанию, что в Петербурге люди лучше держат себя и порядочнее себя ведут, точно приготовляясь к чему-то серьезному; на этом основании истому и распущенному москвичу становится даже и жутко жить на берегах Невы. Кетчер имел ответ и на это положение. Он приблизительно выражал такую мысль: излишества, безобразие и всякие чудовищности москвича еще почтеннее приличия и сдержанности питерца. Там все уродливости наголо и ничем другим, как уродливостями, не слывут, а здесь в целый год не узнаешь, какой человек у тебя перед глазами, герой ли добродетели или отъявленный негодяй. Замечательно, что в таких противоположных терминах прения между друзьями могли держаться целые месяцы сряду, но это оттого, что в спор заплеталось множество личных вопросов и множество соображений, порождаемых явлениями и событиями каждого дня в двух столицах. Притом же спор этот был тогда повсеместный, общий и происходил, так или иначе, в каждом доме, где только собирались люди, не чуждые литературе и вопросам культуры.

Какими бы странными, пустыми и праздными ни ка-

зались все споры подобного рода современным людям, но нельзя сказать, чтобы они лишены были вовсе дельных оснований и поводов для возникновения своего в эпоху, когда процветали; западная партия, например, в Москве и Петербурге усматривала в лицах, по сочувствию их к тому или другому городу, оттенки мнений, распознать которые другим путем было очень трудно, видела сразу, по одному расположению человека к тому или другому центру западнического направления, настоящее знамя человека и его истинные взгляды на общее дело просвещения, угадывала наконец цвета и краски, в какие должны отливаться все его убеждения. Белинский даже по степени симпатических отношений к одной из столиц наклонен был узнавать своих единомышленников или своих тайных недоброжелателей. Все это, однако же, продолжалось недолго, как сейчас увидим, потому что характер самых предметов сравнения начал с переходом одних деятелей и представителей направления на другую Почву, с исчезновением иных вовсе из среды партий меняться часто: мерило для расценки и определения величин, противопоставленных друг другу, оказывалось беспрестанно неверным, неприложимым.

Гораздо долее этого спора держались толки и прения по поводу известной *фикции,* условного представления, по которому седалищем славянофильства признавалась Москва, а западнических тенденций — Петербург. Препирательства, вызванные этой *фикцией,* возобновлялись несколько раз и впоследствии, но и они кажутся теперь занятием, придуманным для себя людьми, страдавшими обилием праздных сил. Глазу современного человека чрезвычайно трудно найти во всех этих спорах исторически верный факт, так как он видит теперь одни обломки явлений, не распознает связи их с психической жизнию эпохи и развлечен тем, что все эти остатки недавнего нашего прошлого стоят перед ним уже в новом, совершенно переработанном, почти неузнаваемом виде, какой сообщило им последующее развитие нашей мысли и печати, принявшееся за их восстановление в свою очередь.

Но толки и горячие беседы не составляли для Белинского никогда настоящего дела, а только были приготовлением к нему. Статьям его весьма часто предшествовал долгий обмен мыслей с окружающими людьми или предпосылалось изложение идей, его занимавших, в дружеских разговорах, чем он одинаково разъяснял самому себе

свои темы и будущий порядок их развития. Так случилось и теперь.

Белинский воспользовался появлением романа гр. Соллогуба «Тарантас», чтобы поговорить серьезно, подробно и уже печатью со своими московскими друзьями. Известно, что западники чрезвычайно откровенно относились друг к другу в своем интимном кружке, но чуть ли Белинский не первый перенес эту откровенность и в печать. Правда, пример подала славянская партия в «Москвитянине», как мы видели. Она принялась там за чистку домашнего белья и за сведение счетов между собой, но тотчас же и отказалась от этой попытки, находя, вероятно, что малочисленность ее семьи требует крайней осторожности и снисходительности в обращении членов между собой. Только на условии взаимной поддержки партия и могла сохранить свою целость и сберечь весь свой персонал, нужный для борьбы. Потребность держаться сплоченной, по возможности, перед врагами приводила ее затем уже постоянно не только к публичному непрестанному выставлению напоказ лучшей стороны своих деятелей, причем тщательно покрывались молчанием все частные разногласия с ними, но и к отысканию блестящих сторон деятельности у таких людей своего круга, которые их вовсе не имели. Все соображения и расчеты подобного рода никогда не помещались в голове Белинского и никогда не могли остановить его. Он и теперь отдался вполне своему намерению, без всякого колебания. Статью Белинского о «Тарантасе» гр. Соллогуба можно назвать образцом мастерской полемики, говорящей гораздо более того, что в ней сказано формально. Она произвела сильное впечатление на людей, умевших различать за слышимой речью другой, потаенный голос, — а кто тогда не умел этого? Белинский чрезвычайно искусно воспользовался двойным характером разбираемого произведения, изображавшего очень верно, иногда даже с истинным юмором, скудную умственную и житейскую арену, по которой двигались представители как нашей первобытной, так и поправленной, щеголеватой Руси, но в то же время дополнявшего еще свои картины фантазиями насчет будущего блестящего развития той самой печальной среды, которую рисовало. Выходило так, что грубость и бесплодие почвы именно и дают право надеяться на получение с нее обильной жатвы и ослепительных результатов. Белинский отдавал полную справедливость реальной живописи предметов и образов, какую находил в романе, и относился с пре-

зрением к фантастическим пророчествам и пояснениям его, которые, говорил он, ничего не доказывают, кроме бедности суждения и созерцания автора, если только не полагать у него *иронических* намерении. Белинский называл все эти детские *прозрения в будущее* России донкихотством, но прибавлял, что это донкихотство невинное и еще очень низкой, второстепенной пробы, а есть и другое, более опасное и лучше обдуманное, — и затем критик восходил к описанию этого донкихотства высшего сорта и порядка, начало которого Белинский усмотрел за границей в сфере науки, истории и философии — стало быть, в сфере высокоразвитых людей *, и предостерегал от появления его у нас. Это донкихотство высшего полета, по мнению Белинского, верует в возможность примирения начал, диаметрально противоположных друг другу, убеждений и взглядов, взаимно исключающих друг друга, и занято отысканием какого-нибудь уголка в области мысли, где бы мог спокойно совершиться устраиваемый им насильственный брак, противоестественный союз различных направлений. Как ни пышно с вида это псевдонаучное донкихотство, располагающее, однако же, огромными средствами эрудиции, диалектики и философской находчивости, оно все-таки, говорил Белинский, сродни пошловатому донкихотству соллогубовского романа. Обоим им обще стремление искать спасения от жизненной правды, бьющей в глаза, в области лжи и фантазии. Все намерения и цели полемической статьи этой были достаточно ясны и прозрачны для всех посвященных в дела литературы, но Белинскому хотелось досказать и последнее свое слово. Он вменил в заслугу автору и то обстоятельство, что он дал генерическое имя и отчество вздорному герою-мечтателю своего романа, назвав его «Иваном Васильевичем». «Мы теперь будем знать, — говорил Белинский, — как называются у нас все фантазеры этого рода», — а известно, что и И. В. Киреевский, автор замечательных статей «Москвитянина»[93], носил то же имя и отчество.

Как отразилась эта статья на московских друзьях Белинского, видно из речей и мнений на даче в Соколове, о которых было уже говорено прежде.

---

* Он имел в виду преимущественно новую систему Шеллинга («Философия откровения»), а после нее учение Бюше (Buchez) — о католическом социализме, и другие. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

XXX

Между тем приближалось время очень важного переворота в жизни Белинского.

Скорее, чем можно было ожидать, оказалось, что Белинский ошибался, когда благодаря ослабевшей энергии наших партий пророчил близкое воцарение равнодушных отношений к существенным вопросам русской жизни или когда опасался, что партии окончательно сойдутся на каком-либо фантастическом представлении из области истории, права и народного быта, которое не будет иметь ни малейшей связи с современным положением дел. Ничего подобного не случилось да и не могло случиться. Какие бы шаги ни делали умеренные отделы наших партий навстречу друг другу — сойтись они все-таки никак не могли, как показало — и очень скоро — последующее время. Между ними лежала пропасть, образовавшаяся из различного понимания роли русского народа в истории и различного суждения о всех других факторах и элементах той же истории. «Славяне», как известно, давали самое ничтожное участие в развитии государства пришлым иноплеменным элементам, за исключением византийского, и во многих случаях смотрели на них как на несчастие, помешавшее народу выразить вполне свою духовную сущность. «Европейцы», наоборот, приписывали вмешательству посторонних национальностей большое участие в образовании Московского государства, в определении всего хода его истории, и даже думали, что этнографические элементы, внесенные этими чуждыми национальностями, и устроили то, что называется теперь народной русской физиономией. Разногласие сводилось окончательно на вопрос о культурных способностях русского *народа*, — и вопрос оказался настолько силен, что положил непроходимую грань между партиями.

«Славянская» партия не хотела, да и не могла, удовольствоваться уступками своих *врагов*, — пониманием народа, например, как одного из многочисленных агентов, слагавших нашу *историю*, — а еще менее могла удовольствоваться признанием за народом некоторых симпатических, нравственно-привлекательных сторон характера, на что охотно соглашались ее возражатели. Она требовала для русского народа кое-чего большего. Она требовала именно утверждения за ним громадной политической, творческой и

моральной репутации, великой организаторской силы, обнаружившейся в создании Московского государства и в открытии таких общественных, семейных и религиозных идеалов существования, каким ничего равносильного не могут противопоставить наши позднейшие и новые порядки жизни. На этом основании и не заботясь об исторических фактах, противоречивших ее догмату, или толкуя их ловко в свою пользу, она принялась по частям за лепку колоссального образа русского народа, с целью создать из него тип, достойный поклонения. С первых же признаков этой работы по сооружению в лице народа апофеозы нравственным основам и идеалам старины и еще не дожидаясь ее конца, московские западники, целым составом, усвоили себе задачу — неустанно объявлять русский народ славянофилов лженародом, произведением ученой наглости, изобретающей исторические черты и материалы, ей нужные[94]. Особенно укоряли они своих ученых противников в наклонности принимать под свою защиту, по необходимости, даже и очень позорные бытовые и исторические факты истории, если их нельзя уже пропустить молчанием или нельзя целиком отвергнуть как выдумку врагов русской земли.

Полемика эта длилась долго и особенно разгорелась уже в 50-х годах, в эпоху замечательных славянофильских сборников (1852—1855 гг.: «Московский сборник», «Синбирский сборник», «Беседа»). Душой этой полемики, после того как уже не стало и Белинского, был тот же самый Грановский, заподозренный некогда петербургскими друзьями в послаблении врагам, хотя он сам редко выходил на арену. Правда, что это всегда был враг великодушный. Известно, что в разгаре спора много было сказано дельных положений с обеих сторон и много обнаружилось талантов, успевших приобрести себе впоследствии почетные имена. Ни один из них не прошел не замеченным Грановским спервоначала. Человек этот обладал в высшей степени живучей совестливостию, понуждавшей его указывать на достоинство и заслугу везде, где он ни встречал их, не стесняясь никакими посторонними, кружковыми или тактическими, соображениями. Нередко приходилось нам всем слышать от него такую оценку его личных врагов и врагов его направления, какую могли бы принять самые благорасположенные к ним биографы на свои страницы. Между прочим, он очень высоко ценил молодого Валуева, автора известной статьи о местничестве в одном

из славянофильских сборников, так рано умершего для отечества, и говорил о нем не иначе, как с умилением[95].

Освобожденный от страха видеть заключение спора, так много стоившего ему, каким-нибудь простым компромиссом между партиями, Белинский уже спокойнее и объективнее отнесся к самому вопросу о доле, какую должны иметь и имеют народные элементы в культурном развитии страны. Теперь (1846), когда оказалось, что дело обличения заносчивой пропаганды и излишеств национальной партии может рассчитывать на старых сподвижников, — спокойный ответ на вопрос значительно облегчался. Нельзя уже было не видеть, что учение о народности, как повод к изменению нынешних условий ее существования, имеет весьма серьезную сторону; только опираясь на это учение, открывалась возможность говорить об ошибках русского общества, повредивших чести и достоинству государства. Пример был налицо. «Славянская» партия, несмотря на все возражения и опровержения, приобретала с каждым днем все более и более влияния и подчиняла себе умы, даже и не очень покорные по природе, и подчиняла одной своей проповедью о неузнанной, несправедливо оцененной и бесчестно приниженной русской народности.

И действительно, как бы сомнительна ни казалась идеализация народа, производимая «славянами», какими бы шаткими ни объявлялись основы, на которых они строили свои народные идеалы, — работа «славян» была все-таки чуть ли не единственным делом эпохи, в котором общество наше принимало наибольшее участие и которое победило даже холодность и подозрительность официальных кругов. Работа эта одинаково обольщала всех, позволяя праздновать открытие в недрах русского мира — и посреди общей моральной скудости — богатого нравственного капитала, достающегося почти задаром. Все чувствовали себя счастливее. Ничего подобного «западники» предложить не могли, у них не было никакой цельной и обработанной политической теоремы, они занимались исследованиями текущих вопросов, критикой и разбором современных явлений и не отваживались на составление чего-либо похожего на идеал гражданского существования при тех материалах, какие им давала и русская и европейская жизнь. Добросовестность «западников» оставляла их с пустыми руками, — и понятно, что положительный образ народной политической мудрости, найденный славянофилами, начинал поэтому играть в обществе нашем весьма видную роль.

Вольное обращение с историей, на которое им постоянно указывали, нисколько не останавливало роста этого идеала и его развития; напротив, свобода толкования фактов способствовала еще его процветанию, позволяя вводить в его физиономию черты и подробности, наиболее привлекательные для народного тщеславия и наиболее действующие на массы. Ошибки, неверности, нарушения свидетельств приходились тут еще на здоровье, так сказать, идеалу и на укрепление партии, его воспитавшей. Между тем — сознательно или бессознательно — все равно — партия достигала с помощью своего спорного идеала несомненно весьма важных целей. Тут случилось то, что не раз уже случалось на свете: рискованные и самовольные положения принесли гораздо более пользы обществу и людям, чем осторожные, обдуманные и потому робкие шаги беспристрастного исследования. Партия успела ввести в кругозор русской интеллигенции новый предмет, нового деятельного члена и агента для мысли — именно народ, и после ее проповеди ни науке вообще, ни науке управления в частности уже нельзя было обойтись без того, чтобы не иметь его в виду при разных политико-социальных решениях и не считаться с ним. Это была великая заслуга партии, чем бы она ни была куплена. Впоследствии, и уже за границей, Герцен очень хорошо понимал значение возведенной постройки славянофилов и недаром говорил: «Наша европейская западническая партия тогда только получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в обращение славянофилами» [96].

Но если это-то было невозможно покамест, то, по крайней мере, уже наступало время понимать важность подобных тем. Не далее как в 1847 году сам Белинский уже говорил о нелепости противопоставлять национальность общечеловеческому развитию, как будто эти явления непременно должны исключать друг друга, между тем как, в сущности, они постоянно совпадают. Общечеловеческое развитие не может выражаться иначе, как чрез посредство той или другой народности, оба термина даже и немыслимы один без другого. Мысль свою он подробно развил в статье «Обозрение литературы 1846 года». В ней особенно любопытно одно место. К этому месту Белинский подходит предварительным и очень обстоятельным изложением мнения, что как отдельное лицо, не наложившее печати собственного своего духа и своего содержания

на полученные им идеи и представления, никогда не будет влиятельным **лицом**, — так и народ, не сообщивший особенного, своеобразного штемпеля и выражения нравственным основам человеческого существования, всегда останется мертвой массой, пригодной для производства над нею всяких экспериментов. Пространное развитие этого положения Белинский заключает словами, почти буквально повторяющими точно такие же слова Грановского, сказанные в Соколове по поводу сочувствия, какое вынуждают к себе почасту основные убеждения «славян», хотя, собственно, критик наш этих слов Грановского сам не слыхал. Вот это место: «Что *личность* в отношении к идее человека, то — *народность* в отношении к идее человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. *В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитиков,* потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят как такое-то издание такой-то логики. Но, к счастию, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому...» Молодая редакция нового «Современника» 1847 года, для которого статья писалась и где она была помещена, думала, однако же, иначе об этом предмете. Так как борьба с славянофильской партией да интерес более или менее художественной литературы обличения составляли пока всю программу нового журнала, то понятно, что движение его критика навстречу к обычным врагам петербургской журналистики затемняло одну — и важную — часть самой программы журнала. Впоследствии я слышал, что редакция много роптала на статью с такой странной, небывалой тенденцией в петербургско-западнической печати, и которой она должна была открыть свой новый орган гласности.

Таким образом разрешалась долгая полемика Белинского с лютейшими своими врагами.

Основание «Современника», 1847 год, положило предел участию Белинского в «Отечественных записках», которым он так усердно послужил в течение шести лет, что создал почетное имя и положение журналу и потерял свое здоровье. С половины 1845 г. мысль покинуть «Отечественные записки» не оставляла Белинского, в чем его особенно поддерживал Н. А. Некрасов с практической точ-

ки зрения. Действительно, материальное положение Белинского год от году становилось все хуже и никакого выхода не представляло ни с какой стороны. Силы его слабели, семья требовала увеличенных средств существования, а в случае катастрофы, которую он уже предвидел, оставалась без куска хлеба. Может быть, никто из наших писателей не находился в положении, более схожим с положением тогдашнего работника и пролетария в Европе. Подобно им, он никого лично не мог обвинять в устройстве гнетущих обстоятельств своей жизни — все исполняли по отношению к нему добросовестно свои обязательства, никаких притеснений он не испытывал, никаких чрезмерных требований не предъявлялось, и никто не делал попыток увернуться от условий, принятых по взаимному соглашению, — все обстояло, таким образом, чинно, благопристойно, *респектабельно,* по английскому выражению, вокруг него. Но труд его все-таки приобретал свою ценность только тогда, когда уходил из его рук, приносил всю пользу, какой от него ожидать можно было, изданию, а не тому, кто его произвел. Не было и возможности поправить дело, не изменяя обычных экономических условий, утвержденных раз навсегда. С каждым днем Белинский все более и более убеждался, что чем сильнее станет он напрягать свою деятельность и чем блестящее будут оказываться ее результаты в литературном и общественном смысле, тем хуже будет становиться его положение ввиду неизбежного истощения творческого материала и уничтожения самой способности к труду вследствие его удвоенной энергии. Будущность представлялась ему, таким образом, в очень мрачных красках, и с половины 1845 г. мы слышали горькие жалобы его на свою судьбу, жалобы, в которых он не щадил и самого себя. «Да что же и делать судьбе этой, — говорил он в заключение, — с глупым человеком, которому ничего впрок не пошло, что она ему ни давала» *.

---

* Привожу анекдот из этих проявлений самоосуждения и самообличения, к которым он был склонен, но в которых был также всегда и искренен. Один из журнальных редакторов того времени, напечатав в своем издании переводный роман и заплатив за него условленную сумму переводчику, почел себя вправе выпустить перевод отдельной книжкой и в свою пользу. Но он напал на энергичного человека, который после бесплодных протестаций решился повести дело серьезно и, пожалуй, дойти до судебных инстанций, какие тогда существовали. Редактор принужден был уступить и возвратить переводчику его собственность. Выслушав рассказ, Бе-

И действительно, g концом 1845 года Белинский покидает на время журнальную работу и расстается с «Отечественными записками»[98]. Событие это произвело некоторого рода переполох в маленьком литературном мире того времени. С удалением Белинского пророчили падение журнала, но журнал устоял, как всякое предприятие, уже добывшее себе прочные основы и открывшее притом готовую арену для литературной деятельности новоприходящим талантам. Таков был молодой Майков, принявший в свои руки наследство Белинского — критический отдел журнала; отдел этот обретал в нем новую и свежую силу, вместо атрофии и расслабления, которыми ему грозили.

В. Н. Майков отложил в сторону весь эстетический, нравственный и полемический багаж Белинского и за норму оценки произведений искусства принял количество и важность бытовых и общественных вопросов, ими поднимаемых, и способы, с какими авторы указывают и разрешают их. Преждевременная смерть помешала ему развить вполне свое созерцание *.

С разрывом старых связей не все еще кончилось для Белинского; надо было отыскать средства существования. Белинский предвидел это и обратился, еще до разрыва, за советом и помощью к друзьям, излагая им свой план — издать уже прямо от своего имени большой альманах из совокупных их трудов, если они согласятся войти в его виды и намерения[100]. Ответ не замедлил явиться. Со всех сторон знаменитые и незнаменитые писатели наши поспешили препроводить к нему все, что имели у себя наготове, и уже к началу 1846 года в руках Белинского образовалась значительная масса рукописного и частию очень ценного материала, как показало позднейшее его опубликование. Не могла скрыться от глаз самого Белинского и внимания его ближайших советников во всем этом деле, Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, важность собранного материала. Последние уже давно искали самостоятельной

линский молча принялся шарить по углам комнаты, добыл там свою палку и, подавая ее рассказчику, прибавил: «Учите меня, авось и я пойму, как должно беречь свое добро». Но выучиться этому он не мог, не перестав быть Белинским[97]. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

* Вместе с В. Н. Майковым был еще и другой замечательный молодой человек, В. А. Милютин, тоже рано погибший. Они оба могут считаться последними отпрысками замечательного десятилетия и составляют уже переход к литературному периоду 1850—1860 годов[99]. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

издательской деятельности и пробовали ее не раз — выпуском альманахов и сборников [101],но тут представлялся случай к основанию уже большого предприятия — нового периодического издания. Материал Белинского мог бы служить ему на первых порах готовой поддержкой. Тогда и возникла мысль о приобретении старого, пушкинского, «Современника», скромно, почти безвестно существовавшего под руководством П. А. Плетнева, — мысль, которая и приведена была в исполнение Некрасовым и Панаевым. Они купили вместе с тем и весь «материал» Белинского (Панаев был главным вкладчиком при всех этих операциях), что и помогло Белинскому расплатиться с долгами и впервые почувствовать себя свободным человеком. При этом новые редакторы «Современника» 1847 года открывали ему еще и перспективу в будущем, которая особенно должна была цениться Белинским. Они включали его в число неофициальных соиздателей журнала (официальным выставлялся, в виде поруки перед цензурой, проф. А. В. Никитенко) и предоставляли ему, кроме платы за статьи, еще и долю в выгодах издания, какие окажутся. Без популярного имени Белинского действительно трудно было обойтись предприятию, по к этому примешивалась еще и надежда, разделяемая и Белинским, что все лучшие деятели Москвы последуют за ним в новое издание и разорвут связи с «Отечественными записками». Надежде этой, однако же, не суждено было исполниться. Московские литераторы, да и некоторые из литераторов в Петербурге, я;елая полного успеха «Современнику», находили, что два либеральных органа в России лучше одного, что раздвоение направления на два представителя еще более гарантирует участь и свободу журнальных тружеников и что, наконец, по коммерческому характеру всякого журнального предприятия вряд пи и новое будет в состоянии идти по какой-либо иной дороге в своих расчетах с людьми, как не по той же самой, по которой шло и старое [102]. Все это происходило в то время, когда я уже с февраля 1846 года находился за границей.

XXXIV

К числу особенностей тогдашнего Парижа принадлежало еще и важное качество его — представлять для людей, ищущих почему-либо уединения, самое тихое место

во всей континентальной Европе. В нем можно было притаиться, скрыться и заслониться от людей, не переставая жить общей жизнью большого, всесветного города.

Не надо было употреблять и особенных усилий для того, чтобы найти в Париже замиренный, так сказать, уголок, из которого легко и спокойно могло быть наблюдаемо одно ежедневное творчество города и народного французского духа вообще, — что представляло еще занятие, достаточное для наполнения целых дней и месяцев. Такие уголки добывались во всех частях города — и притом за сравнительно небольшие пожертвования *. От одного из таких уголков я был неожиданно оторван очень печальным известием из России. В. П. Боткин писал мне, что Белинский становится плох и приговорен докторами к поездке за границу [103], именно на воды Зальцбрунна в Силезии, начинавшие славиться своими целебными качествами против болезней легких. Друзья составили между собой подписку для отправления туда больного; к участию в подписке приглашал меня и Боткин [104]. Я отвечал, что приеду сам в Зальцбрунн и надеюсь быть полезнее Белинскому этим способом, чем каким-либо другим. Точно такое же решение принял и И. С. Тургенев, находившийся тогда в Берлине. Он немедленно отправился навстречу неопытного вояжера, мало разумевшего по-немецки и никогда еще не покидавшего своей родины, в Штеттин, где и принял его под свое покровительство [105]. Оба они и прибыли через Берлин в Обер-Зальцбрунн, поселясь в чистом деревянном домике с уютным двориком на главной, но далеко не блестящей улице бедного еще городка.

Итак, оторвавшись от всех связей в Париже и отложив на будущее время планы разных путешествий, я направился в июне 1847 года в Зальцбрунн. Переночевав в Бреславле, я на другой день рано очутился в неизвестном мне местечке и на первых же шагах по какой-то длинной улице встретил Тургенева и Белинского, возвращавшихся с вод домой...

Я едва узнал Белинского. В длинном сюртуке, в картузе с прямым козырьком и с толстой палкой в руке, передо мной стоял старик, который по временам, словно за-

* В таких уголках жило много немецких ученых, приезжавших в Париж доканчивать свои работы, а из русских в это время там находился Н. Г. Фролов, переводивший «Космос» Гумбольдта, и П. Н. Кудрявцев, дописывавший диссертацию «Судьбы Италии». (*Прим. П. В. Анненкова.*)

ставая себя врасплох, быстро выпрямлялся и поправлял себя, стараясь придать своей наружности тот вид, какой, по его соображениям, ей следовало иметь. Усилия длились недолго и никого обмануть не могли: он представлял из себя очевидно организм, разрушенный наполовину. Лицо его сделалось бело и гладко, как фарфор, и ни одной здоровой морщины на нем, которая бы говорила об упорной борьбе, выдерживаемой человеком с наплывающими на него годами. Страшная худоба и глухой звук голоса довершали впечатление, которое я старался скрыть, сколько мог, усиливаясь сообщить развязный и равнодушный вид нашей встрече. Белинский, кажется, заметил подлог. «Перенесли ли ваши вещи к нам в дом?» — проговорил он торопливо и как-то сконфуженно, направляясь к дому.

Вещи были перенесены; я поселился во втором этажике квартиры, и начался длинный, томительный месяц безнадежного лечения, о котором старый широколицый, приземистый доктор Зальцбрунна уже составил себе, кажется, понятие с первого же дня. На все мои расспросы о состоянии больного, о надеждах на улучшение его здоровья он постоянно отвечал одной и той же фразой: «Да, ваш приятель очень болен». Более новой или объясняющей мысли я так от него и не добился.

Каждое утро Белинский рано уходил на воды и, возвратись домой, поднимался во второй этаж и будил меня всегда одними и теми же словами: «Проснися, сибарит». У него были любимые слова и поговорки, к которым привыкал и которых долго не менял, пока не обретались новые, обязанные тоже прослужить порядочный срок. Так, все свои довольно частые споры с Тургеневым он обыкновенно начинал словами: «Мальчик, берегитесь — я вас в угол поставлю». Было что-то добродушное в этих прибаутках, походивших на детскую ласку. «Мальчик Тургенев», однако же, высказывал ему подчас очень жесткие истины, особенно по отношению к неумению Белинского обращаться с жизнию и к его непониманию первых реальных ее основ. Белинский становился тогда серьезен и начинал разбирать психические и бытовые условия, мешающие иногда полному развитию людей, хотя бы они и имели все необходимые качества для развития; однако же многие слова Тургенева, как я заметил после, западали ему в душу, и он обсуждал их еще и про себя некоторое время. Как ни оживленны были по временам беседы наши, особенно когда дело касалось личностей и физиономий, оставленных по ту

сторону немецкой границы, но они все-таки не могли наполнить целого летнего монотонного дня, и притом в городке, лишенном всякого интеллектуального интереса. Напрасно друзья перебирали свои воспоминания за утренним кофе, который всемерно длили, сидя под навесом барака, игравшего на дворике нашего домика роль курьезной беседки без сада и зелени; напрасно потом долгий «table d' hôte» в каком-то ресторане наполнялся анекдотами, передачей журнальных новостей и заметок о прочитанных книгах и статьях — времени оставалось еще нестерпимо много. Притом же скоро оказалась необходимость понизить и тон всех разговоров. Случалось, что смех, вызванный каким-либо забавным анекдотом, переходил у Белинского в пароксизм кашля, страшно и долго колебавшего его грудь и живот, а с другой стороны — какая-либо заметка, принятая им к сердцу, мгновенно выгоняла краску на его лице и вызывала оживленное слово, за которым, однако ж, следовало почти тотчас физическое изнеможение. Чисто растительная, животная жизнь вперемежку с чтением и обменом нескольких мыслей становилась необходимостью; но Тургенев не мог выдерживать этого режима. Он сперва нашел выход из него, принявшись за продолжение «Записок охотника», начало которых появилось несколькими месяцами ранее и впервые познакомило его со вкусом полного литературного и популярного успеха. Он написал в Зальцбрунне своего замечательного «Бурмистра», который понравился и Белинскому, выслушавшему весь рассказ с вниманием и сказавшему только о Пеночкине: «Что за мерзавец — с тонкими вкусами!» Но затем Тургенев уже не мог долее насиловать свою подвижную природу и однажды, после получения почты, объявил нам, что уезжает на короткое время в Берлин — проститься с знакомыми, отъезжающими в Англию, но что, проводив их, снова вернется в Зальцбрунн. Он оставил даже часть вещей на квартире. В Зальцбрунн он не возвратился, вещи его мы перевезли с собой в Париж, сам он чуть ли не побывал за это время в Лондоне[106] <...>.

XXXV

Белинский явился мне в эти дни долгих бесед и каждочасного обмена мыслей совершенно в новом свете. Страстная его натура, как ни была уже надорвана мучительным недугом, еще далеко не походила на потухший вулкан.

Огонь все тлился у Белинского под корой наружного спокойствия и пробегал иногда по всему организму его. Правда, Белинский начинал уже бояться самого себя, бояться тех еще не порабощенных сил, которые в нем жили и могли при случае, вырвавшись наружу, уничтожить зараз все плоды прилежного лечения. Он принимал меры против своей впечатлительности. Сколько раз случалось мне видеть, как Белинский, молча и с болезненным выражением на лице, опрокидывался на спинку дивана или кресла, когда полученное им ощущение сильно въедалось в его душу, а он считал нужным оторваться или освободиться от него. Минуты эти походили на особый вид душевного страдания, присоединенного к физическому, и не скоро проходили: мучительное выражение довольно долго не покидало его лица после них. Можно было ожидать, что, несмотря на все предосторожности, наступит такое мгновение, когда он не справится с собой, — и действительно, такое мгновение наступило для него в конце нашего пребывания в Зальцбрунне.

Надо знать, чем был за полгода до своей смерти Белинский, чтобы понять весь пафос этого мгновения, имевшего весьма важные последствия и от дальнейших и окончательных результатов которого освободила его только смерть. Я подразумеваю здесь известное его письмо к Гоголю, много потерявшее теперь из первоначальных своих красок, но в свое время раздавшееся по интеллектуальной России как трубный глас. Кто поверит, что, когда Белинский писал его, он был уже не прежний боец, искавший битв, а, напротив, человек, наполовину замиренный и потерявший веру в пользу литературных сшибок, журнальной полемики, трактатов о течениях русской мысли и рецензий, уничтожающих более или менее шаткие литературные репутации.

Мысль его уже обращалась в кругу идей другого порядка и занята была новыми нарождающимися определениями прав и обязанностей человека, новой *правдой,* провозглашаемой экономическими учениями, которая упраздняла все представления старой, отменяемой правды о нравственном, добром и благородном на земле и ставила на их место формулы и тезисы рассудочного характера. Белинский давно уже интересовался, как мы видели прежде, этими проявлениями пытливого духа современности, но о каком-либо приложении их к русскому миру, где еще не существовало и азбуки для разбора и разумения их языка, никогда не помышлял. Он пришел только к заключению, что дело раз-

вития каждой отдельной личности, ищущей некоторой высоты и свободы для своей мысли, должно сопровождаться посильным участием в исследовании свойств и элементов того потока политических и социальных идей, в который брошены теперь цивилизация и культура Европы. Для облегчения этой работы, необходимой для каждой мало-мальски мыслящей и *совестливой* личности, Белинский и начинал думать, что следовало бы и в русской литературе установить коренные точки зрения на европейские дела, с которых и могла бы начинаться независимая работа критики у нас и свободное исследование всего их содержания.

Одного только не мог он переносить: спокойствие и хладнокровное размышление покидало его тотчас, как он встречался с суждением, которое, под предлогом неопределенности или неубедительности европейских теорий, обнаруживало поползновение позорить труды и начинания эпохи, не признавать честности ее стремлений, подвергать огулом насмешке всю ее работу на основании тех самых отживших традиций, которые именно и привели всех к нынешнему положению дел. При встрече с ораторством или диффамацией такого рода Белинский выходил из себя, а книга Гоголя «Переписка с друзьями» была вся, как известно, проникнута духом недоверчивости и наглого презрения к современному движению умов, которое еще и плохо понимала. Вдобавок она могла служить и тормозом для возникавших тогда в России планов крестьянской реформы, о чем скажу ниже. Негодование, возбужденное ею у Белинского, долго жило в скрытном виде в его сердце, так как он не мог излить его вполне в печатной оценке произведения по условиям тогдашней цензуры, а потому, лишь представился ему случай к свободному с л о в у, — оно потекло огненной лавой гнева, упреков и обличений...

Понятно, однако же, что с новым настроением Белинского волнения и схватки русских литературных кругов, в которых он еще недавно принимал такое живое участие, отошли на задний план. Он даже начинал смотреть и на всю собственную деятельность свою в прошлом, на всю изжитую им самим борьбу с литературными противниками, где так много потрачено было сил и здоровья на приобретение кажущихся побед и очень реальных страданий, как на эпизод, о котором не стоит вспоминать. Так выходило, по крайней мере, из его суровой, несправедливой оценки самого себя, которую в последние месяцы его существования не один я слышал от него. Белинский становился одино-

ким посреди собственной партии, несмотря на журнал, основанный во имя его, и первым симптомом выхода из ее рядов явилась у него утрата всех *старых антипатий,* за которые еще крепко держались его последователи, как за средство сообщать вид стойкости и энергии своим убеждениям. Он до того удалился от кружкового настроения, что получил возможность быть справедливым и наконец упразднил в себе все закоренелые, почти обязательные ненависти, которые считались прежде и литературным и политическим долгом. Не многие из его окружающих поняли причины, побуждавшие его рассчитаться со своим прошлым, не оставляя позади себя никакого предмета злобы, — а причина была ясна. В уме его созревали цели и планы для литературы, которые должны были изменить ее направление, оторвать от почвы, где она укоренилась, и вызвать врагов другой окраски и, конечно, другого, более решительного и опасного, характера, чем все прежние враги, хотя и горячие, но уже обессиленные наполовину и безвредные...[107]

Я уже упомянул, какое странное впечатление произвело на ближайших его сотрудников по журналу заявленное им сочувствие к той части славянофильских воззрений на народ, которая может быть принята каждым размышляющим человеком, к какой бы партии он ни принадлежал. Хуже еще было, когда Белинскому вздумалось похвалить со всеми надлежащими оговорками «Воспоминания Булгарина», тогда вышедшие, и заметить, что они любопытны по характеристике русских нравов в начале нынешнего столетия, системы тогдашнего публичного воспитания и вообще заведенных порядков жизни, которых автор был сам свидетелем и жертвой. Похвала Булгарину в устах Белинского, как ни была еще скромна сама по себе, показалась, однако же, такой чудовищной вещью журнальным соредакторам критика, что они напечатали статейку, уже переработав и переиначив ее до неузнаваемости, и тем вызвали укоризненное примечание последующего издателя сочинений Белинского, гласившее: «Статья эта, напечатанная по рукописи, — в «Современнике», — какая-то странная переделка». Редакция имела некоторое моральное право желать такой переделки[108]. Во-первых, никто не был приготовлен к подобному нарушению всех традиций либеральной журналистики, связывавшей с некоторыми литературными именами множество вопросов, которые только *полемически* и могли быть поднимаемы в печати и которые давали этим

именам значение символов, для всех понятных и не требовавших дальнейших разъяснений; а во-вторых — можно было думать, что Белинский не остановится на первом шаге в деле упразднения либеральных традиций своей партии, что грозило оставить в будущем саму партию без дела, круглой сиротой, не знающей, за что приняться. Многие из друзей уже относили к упадку умственных сил поворот, замечаемый в направлении Белинского, и выражали опасение, что он обратится на разрушение по частям тех начал, которые окрашивали так долго и ярко его собственную деятельность, причем новый журнал, конечно, терял один из крупных девизов своего знамени.

Опасения несбывшиеся, но они не вовсе взяты были с ветра. Белинский по временам обнаруживал мрачный взгляд на свою прошлую литературную жизнь. Помню, как однажды, после особенно мучительного дня кашля и уже укладываясь в постель, он вдруг заговорил тихим, полугрустным, но твердым тоном: «Нехорошо болеть, еще хуже умирать, а болеть и умирать с мыслью, что ничего не останется после тебя на свете, — хуже всего. Что я сделал? Вот хотел докончить историю русской народной поэзии и литературы, да теперь и думать нечего. А может быть, кто-нибудь тогда и вспомнил бы обо мне, а что теперь? Знаю, что вы хотите сказать, — прибавил он, заметив у меня движение, — но ведь две-три статьи, в которых еще половина занята современными пустяками, уже и теперь никому не нужными, не составляют наследства. А все прочее понадобится разве историку нашей эпохи...» И так далее...

Я оставил его с тяжелым чувством на душе. Это сомнение в пользе целого жизненного труда имело для меня трагический смысл. И нельзя было приписать слова Белинского действию болезни: он, видимо, думал и прежде о том, что теперь высказал, — за речью его слышалось как бы долгое предварительное соображение. Выходило, что человек, пользующийся большой популярной известностью, обремененный, так сказать, сочувствиями целого поколения, им воспитанного, еще считает себя призраком в истории русской культуры и не убежден в достоинстве той монеты, на которую куплено его влияние и слава. Много было несправедливости к самому себе в этой оценке, но много заключалось в ней и новых возникших требований от литературного деятеля, а также много горя — и не одного личного.

Но интересы мысли и развития, на которые Белинский постоянно обращал свое внимание, всегда выводили его из

всякого субъективного настроения, как бы оно ни было глубоко и искренно, — выводили на свет, к людям и делам их. Это случилось и теперь.

Тогда много шумела известная — теперь уже позабытая — книга Макса Стириера «Der Einzige und sein Eigenthum» («Единичный человек и его достояние»)[109]. Сущность книги, если выразить ее наиболее кратким определением, заключалась в возвеличении и прославлении эгоизма, как единственного оружия, каким частное лицо, притесняемое со всех сторон государственными распорядками, может и должно защищаться против материальной и нравственной эксплуатации, направленной на него узаконениями, обществом и государством вообще. Книга принадлежала к числу многочисленных тогдашних попыток подменить существующие основы политической жизни другими, лучшего изделия, и достигала, как часто бывало с этими попытками, целей, совершенно противоположных тем, какие имела в виду. Возводя эгоизм на степень политической доблести, книга Стирнера устроивала, в сущности, дела плутократии (кстати, легкий каламбур, представляемый этим словом на русском языке, не раз и тогда употреблялся Белинским в разговоре). Ознакомившись с книгой Стирнера, Белинский принял близко к сердцу вопрос, который она поднимала и старалась разрешить. Оказалось, что тут был для него весьма важный нравственный вопрос.

«Пугаться одного слова «эгоизм», — говорил он, — было бы ребячеством. Доказано, что человек и чувствует, и мыслит, и действует неизменно по закону эгоистических побуждений, да других и иметь не может. Беда в том, что мистические учения опозорили это слово, дав ему значение прислужника всех низких страстей и инстинктов в человеке, а мы и привыкли уже понимать его в этом смысле. Слово было обесчещено понапрасну, так как, в сущности, обозначает вполне естественное, необходимое, а потому и законное явление, да еще и заключает в себе, как все необходимое и естественное, возможность морального вывода. А вот я вижу тут автора, который оставляет слову его позорное значение, данное мистиками, да только делает его при этом маяком, способным указывать путь человечеству, открывая во всех позорных мыслях, какие даются слову, еще новые качества его и новые его права на всеобщее уважение. Он просто делает со словом то же, что делали с ним и мистики, только с другого конца. Отсюда и выходит невообразимая путаница: я полагаю, например, что книга авто-

ра найдет восторженных ценителей в тех людях, одобрения которых он совсем не желал, и строгих критиков в тех, для Которых книга написана. Нельзя серьезно говорить об эгоизме, не положив предварительно в основу его *моральный* принцип и не попытав затем изложить его теоретически, как *моральное* начало, чем он, рано или поздно, непременно сделается...»

Я передаю здесь смысл речи Белинского в том порядке, как она запечатлелась в моей памяти, и, конечно, другими словами, а не теми самыми, какие он употреблял. Несколько раз, при разных случаях и в разное время, возвращался он опять к вопросу, который, видимо, занимал его. Не могло быть сомнения, что вопрос связывался с последним видоизменением долгой моральной проповеди, которую Белинский вел всю свою жизнь и постепенное развитие которой было уже нами представлено. Заключительное слово этой проповеди настолько любопытно, что может оправдать попытку собрать его заметки, с помощью уцелевших в моей памяти отрывков, в одно целое, причем необходима оговорка, уже столько раз прежде делаемая, что изложение не дает ни малейшего понятия о пыле и красках, какие сообщал автор своему слову, ни о форме, в какую выливалась его речь.

«Грубый, животный эгоизм, — размышлял Белинский, — не может быть возведен не только в идеал существования, как бы хотел немецкий автор, но и в простое правило общежития. Это — разъединяющее, а не связующее начало в своем первобытном виде и получает свойство живой и благодетельной силы только после тщательной обработки. Кто не согласится, что чувство эгоизма, управляющее всем живым миром на земле, есть так же точно источник всех ужасов, на ней происходивших, как источник всего добра, которое она видела! Значит, если нельзя отделаться от этого чувства, если необходимо считаться с ним на всех пунктах вселенной, в политической, гражданской и частной жизни человека, то уже сама собой является обязанность осмыслить его и дать ему нравственное содержание. Точно то же было сделано для других таких же всесветных двигателей — любви, например, полового влечения, честолюбия, — и нет причины думать, что эгоизм менее способен преобразоваться в моральный принцип, чем равносильные ему другие природные побуждения, уже в него возведенные. А моральным принципом эгоизм сделается только тогда, когда каждая отдельная личность будет в состоянии присоеди-

нить к своим частным интересам и нуждам еще интересы посторонних, своей страны, целой цивилизации, смотреть на них как на одно и то же дело, посвящать им те самые заботы, которые вызываются у нее потребностью самосохранения, самозащиты и проч. Такое обобщение эгоизма и есть именно преобразование его в моральный принцип. Вот уже и теперь есть примеры в некоторых государствах таких передовых личностей, которые принимают оскорбление, нанесенное одному человеку на другом конце света, за личную обиду и обнаруживают настойчивость в преследовании незнакомого преступника, как будто дело идет о восстановлении собственной чести. И заметить надо, что при этом любовь, сочувствие, уважение и вообще сердечные настроения не играют никакой роли — покровительство распространяется в одинаковой мере и на людей, часто презираемых от всей души защитниками *их*, — на таких, которых последние никогда не допустят в свое общество, да, случается, не признают пользы и самого существования их на свете. Что это такое, как не эгоизм, превосходно воспитанный и достигший уже до чувствительности строгого нравственного начала. Но таких передовых личностей еще очень мало — и они остаются покамест исключениями. Французы обозначают словом *солидарность* эту способность сберегать самого себя в других и пытаются сделать из него научный термин, вводя понятие, которое оно выражает, в политическую экономию, как необходимый ее отдел. А что такое солидарность, как не тот же эгоизм, отшлифованный и освобожденный от всех частиц грубого материала, входившего в его состав. Говорят, что все старые и новые философы и проповедники тоже учили искони думать о ближнем более, чем о самом себе. Это правда, но они не столько учили, сколько *приказывали* верить своим словам, требуя жертв и не обещая никаких вознаграждений за послушание, кроме похвал *совести*, — и успех этих приказаний был таков, как известно, что эгоизм живет и доселе повсеместно в самом сыром и нетронутом виде. О нас уже и говорить нечего. Несмотря на многовековые приказы быть чувствительными к страданиям ближнего — найдется ли у нас пяток человек, которые возмутились бы ударами, падающими не на их собственную кожу? Единственную крепкую и надежную узду на эгоизм выковывает человек сам на себя, как только доходит до высшего понимания своих интересов. Немецкий автор напрасно соболезнует о жертвах, какие требуются теперь от каждой отдельной личности государством

и обществом, и напрасно старается защитить эту личность, проповедуя всеотрицающий эгоизм: настоящий эгоизм будет всегда приносить добровольно огромные жертвы тем силам, которые способствуют облагораживанию его природы, а это именно и составляет задачу всякой цивилизации. Государство и общество никакой другой цели, в сущности, и не имеют, кроме цели способствовать превращению *животного* эгоизма личности в чуткий, восприимчивый духовный инструмент, который сотрясается и приходит в движение при всяком веянии насилия и безобразия, откуда бы они ни приходили...»

Этот беглый, поверхностный очерк размышлений Белинского по поводу книги Стирнера показывает, что последняя моральная его проповедь уже основывалась на действии тех врожденных психических сил человека, которые впоследствии были подробно исследованы и получили название *альтруистических.* Белинский предупредил несколькими годами анализ психологов, но, конечно, не мог дать его в надлежащей чистоте и определенности, что, вероятно, помешало и изложению его взглядов в печати, где от них не находится никакого следа. Он уже боялся прямого, непосредственного философствования и не хотел к Нему возвращаться после своих старых опытов на этом поприще *.

В тесной связи с настроением Белинского находится уже его призыв, обращенный к художественной русской литературе и беллетристике, — принять за конечную цель своих трудов служение общественным интересам, ходатайство за низшие, обездоленные классы общества. Призыв находится в последней, предсмертной статье Белинского, написанной им по возвращении из-за границы и напечатанной в «Современнике» 1848 года: «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Обозрение это составляет как бы мост, перекинутый автором от своего поколения к другому — новому, приближение которого Белинский чувствовал уже и по задачам, какие стали возникать в умах. Не раз и в старое время Белинский высказывал те же мысли — о необхо-

* Может быть, под влиянием вышеизложенных мыслей Белинский и получил представление о Сикстинской мадонне, которую потом видел в Дрездене, как об ультрааристократическом типе. Он перевел ее *божественное* спокойствие, так опоэтизированное у нас В. А. Жуковским, на простое определение, по которому в лице ее выражается равнодушие к страданиям и нуждам низменного нашего мира, или, другими словами, полное отсутствие альтруистических чувств. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

димости ввода в литературу мотивов общественного характера и значения как способа сообщить ей ту степень дельности и серьезности, с помощью которых она может еще расширить принадлежащую ей роль первостепенного агента культуры. Теперь критик уже наклонен был требовать от литературы исключительного занятия предметами социального значения и содержания и смотреть на них как на единственную ее цель. Разница в постановке вопроса была тут немаловажная, и объясняется она, кроме всего другого, еще и состоянием умов, новыми реформаторскими веяниями, обнаружившимися в обществе. Тогда именно крестьянский вопрос пытался впервые выйти у нас на свет из тайных пожеланий и секретного канцелярского его обсуждения: составлялись полуофициальные комитеты из благонамеренных лиц, считавшихся сторонниками эмансипации, принимались и поощрялись проекты лучшего разрешения вопроса, допускались, под покровительством министерства имуществ, экономические исследования, обнаружившие несостоятельность обязательного труда, и проч.[110]. Все это движение, как известно, продержалось недолго, обессиленное сначала тайным противодействием потревоженных интересов, прикрывшихся знаменем консерватизма, а затем окончательно смолкшее под вихрем 1848 года, налетевшим на него с берегов Сены, который опустошал преимущественно у нас зачатки благих предначертаний. Но до этой непредвиденной катастрофы, казалось, наступила благоприятная минута указать, что все истинно великие литературы древнего и нового мира никогда не имели других целей, кроме тех целей, какие поставляет себе и общество в стремлениях к лучшему умственному и материальному самоустройству. Это именно и сделал Белинский во «Взгляде на литературу 1847 года», причем если из речи, которую повел он тогда, устранить оценку произведений эпохи, не относящуюся прямо к вопросу, то речь эта может быть названа предтечей и первообразом всех последующих речей в том же духе и направлении, сказанных десять лет спустя, за исключением только одной черты ее, резко отделяющей и Белинского, и его эпоху от наступившего за ними времени. Черта образовалась из особенного понимания самых условий искусства, хотя бы и с политической окраской.

С достоверностию можно сказать, что, когда Белинский писал свою статью, перед глазами его мелькали соображения отчасти и практического характера. Изящная литера-

тура могла пособить, так сказать, родам давно ожидаемой крестьянской реформы. Как ни упорно держались слухи о признанной необходимости ее в официальных кругах — никто не говорил о ней прямо в печати. Множество соображений мешали реформе спуститься на площадь и принять единственный путь, ведущий к осуществлению е е , — путь всенародных толков. Из этих мешающих соображений наиболее веское было следующее: ни одно самое умеренное и сдержанное слово, ни одно самое хладнокровное и бесстрастное исследование, которые захотели бы говорить о поводах к изменению крепостничества — этой коренной основы русской ж и з н и , — не могли бы обойтись без характеристики темных сторон, ею порожденных и оправдывающих посягновения на ее существование и заведенные ею порядки. Избежать горькой необходимости — осуждать прошлые времена и вместе сохранить в целости идею реформы, их отрицающую, — вот что составляло трудную дилемму, на разрешение которой уходила бесплодно вся энергия нововводителей и которая постоянно держала их на почве осторожных внушений и намеков, не обязывающих к немедленному принятию решения. Литература романов, повестей, так называемая изящная литература вообще, могла сослужить при этом большую службу. Она не обязана была знать о существовании затруднений и опасений по делу реформенной пропаганды, а прямо и смело начать ее от своего имени. Обманывая глаза своим притворным равнодушием к политическим вопросам, занимаясь, по-видимому, самым ничтожным делом приискания тем и драматических сюжетов для развлечения публики, литература эта могла войти потаенной дверью в самую среду вопросов, изъятых из ее ведения, что уже и делала не раз. «Записки охотника», «Записки доктора Крупова», «Бедные люди» Достоевского, а наконец, мелодраматический «Антон Горемыка» и «Деревня» уже показали, как произведения чистой фантазии становятся трактатами по психологии, этнографии и законодательству. Белинский думал, что пришло время для литературы взять на себя всю ту работу, которую другие деятели откладывали именно под предлогом безвременья, и произвести за них тот следственный процесс над старыми условиями русского существования, какой должен предшествовать окончательному их устранению и осуждению. Белинский вместе с тем становился и сторонником правительства, как это можно видеть и в многочисленных печатных его заявлениях от 1847 года. Нужда в таком содей-

ствии литературы, однако ж, скоро миновала, и, наоборот, вся ею заготовленная с этой целью работа признана была даже опасной [111]. Со всем тем остается вполне достоверным, что, если бы движение продолжалось, литература приняла бы на себя все ненависти раздраженных интересов и эгоистических страстей, отдала бы себя на проклятия и поругания и развязала бы другим руки только на светлое, благодатное и благодарное дело восстановления права и справедливости в стране.

Ясно, что как проповедь, так и все намерения Белинского в этом случае скорее можно назвать *консервативными* в обширном смысле слова, чем революционными, как прославляли их потом соединенные враги печати и реформ в строе русской жизни. Здесь кстати будет сказать вообще о прозвище «революционера и агитатора», какое получил Белинский у своих, ему современных, и у позднейших врагов, которым, одинаково полезно было распространять эту репутацию. Ни одно из его увлечений, ни один из его приговоров, ни в печати, ни в устной беседе, не дают права узнавать в нем, как того сильно хотели его ненавистники, — любителя страшных социальных переворотов, свирепого мечтателя, питающегося надеждами на крушение общества, в котором живет. Те вспышки Белинского, на которые указывали диффаматоры его для подтверждения своих слов, всегда были произведением ума и сердца, обиженных в своем нравственном существе, в своей *идеалистической* природе. Ими он только облегчал душевные страдания и мстил подчас за грубое прикосновение к какому-либо гуманному чувству своему; но одно недоразумение или одна злая подозрительность могли предполагать за всем этим еще жажду скорых расправ, внезапных потрясений и простора для личной мести [112]. Никогда и мысленно не принимал он защиты тех разрушительных явлений, которые проходят иногда через историю и действуют в ней со слепотой стихийных сил, не имея под собой часто никаких моральных основ и составляя как бы страшную и вместе нелепую импровизацию жизни, раздраженной до последней степени несчастьями и страданиями. Не раз Белинский и сам признавался, когда заходила речь о таких эпохах, упоминаемых историей западных европейских народов, что в подобные времена он был бы совершенно ничтожным, растерянным человеком, годным единственно на то, чтобы умножить собою число жертв, обыкновенно оставляемых ими за собой. Все, что не носило на себе печати мысли, не имело ин-

теллектуального характера и выражения, вселяло ему ужас. Белинский легко, быстро понимал всякую смелую идею и всякое смелое решение, состоящее в каком-либо, хотя бы и дальнем, родстве с началами, — и приходил в тупик перед роковыми *случайностями,* так часто направляющими жизнь помимо человеческого предвидения. На них он никогда не рассчитывал и никогда не вводил их в круг своего созерцания. Оставаясь таким же идеалистом в понимании условий исторического прогресса, как и в своей жизни, он отличался неспособностью признать нужду лжи, даже когда она успокоивает колеблющиеся умы, чувствовал неодолимое отвращение потворствовать пустым людям и вздорным явлениям, если бы они даже и действовали в рядах его собственной партии. У Белинского не было первых, элементарных качеств революционера и агитатора, каким его хотели прославить, да и прославляют еще и теперь люди, ужасающиеся его честной откровенности и внутренней правды всех его убеждений; но взамен у него были все черты настоящего человека и представителя 40-х годов — и между этими чертами одна очень крупная, к которой теперь и перехожу.

Черта эта состояла, как уже было сказано, в особенном понимании искусства как важного элемента, устроивающего психическую сторону человеческой жизни и через нее развивающего в людях способность к восприятию и созданию идеальных представлений. Чертой этой Белинский резко разграничивал свою эпоху от последующей, с которой во всем другом имел множество точек соприкосновения. Разлагая и опровергая старый эстетический афоризм — искусство для искусства, переводя все задачи литературы на общественно-служебную почву, помещая искусство и фантазию в авангард, так сказать, доблестной армии волонтеров, сражающихся за великодушные идеи, что значило, по мысли критика, сражаться за хорошо понятые интересы каждого лица в государстве, — Белинский хотел, чтобы войско это снабжено было и надежным оружием, а таким оружием для него он считал всегда поэзию и творчество. Он допускал и простое обличение зла, простое отрицание наголо, но смотрел на них как на рукопашную схватку, которая в некоторых случаях может быть неизбежна, но которая одна никогда не решает дела и не одолевает врагов. Одолевает их или, по крайней мере, наносит им неисцелимые раны только творческий талант, так как один он может собрать миллионы безобразных случайностей, пробегаю-

щих через жизнь, в цельную поразительную картину, и один он способен выделить из тысячи лиц более или менее возбуждающих наше негодование, полный тип, в котором они все отразятся. Нет надобности повторять здесь то, что он говорил по этому поводу, но необходимо отметить и удержать в памяти основу его литературно-политической теории. Основой этой было коренное убеждение, что создание художнических типов указывает положительными и отрицательными сторонами своими дорогу, по которой идет развитие общества, и ту, по которой оно должно бы идти в будущем. Это убеждение оставило и ясные следы в статье критика «Взгляд на русскую литературу 1847 года», где его всякий и может найти *.

Я уже сказал, что эта статья была тем последним звеном в развитии одного периода нашей литературы, к которому примкнули и за которое цеплялись первые звенья нового, последующего ее направления. Перерыва тут не было, как его, кажется, не было ни в одну из эпох русской истории, но характеры явлений обозначались на первых порах значительными отступлениями и несходствами. Через десять лет после смерти Белинского из его теорий изящного принято было учение об общественных целях искусства, а все добавочные положения к его учению оставлены были в стороне <...>.

После тридцати лет, протекших со смерти Белинского, можно уже ясно судить о миросозерцании его, не смущаясь притоком случайных настроений, которые окрашивали его иногда своим особенным, но скоро проходившим цветом. Созерцание Белинского все заключается в понимании жизни и цивилизации как сил, предназначенных на доставление человеку *полноты духовного* и *материального* существования. По количеству идей и представлений, способствующих осуществлению той полноты разумного бытия, какая носилась перед его глазами в форме идеала, он судил об относительном достоинстве и значении эпох, людей и произведений их. Утайка, пропуск, скрытие какого-либо из элементов, необходимых для достижения этой полноты, было ли то делом преднамеренности или последствием недосмотра, одинаково пробуждали его критическую чуткость. Он сам постоянно и добросовестно зани-

* Пусть читатель поверит эти слова в «Современнике» 1848 года, где статья явилась, или в «Собрании соч. Белинского», 1861, часть одиннадцатая, страницы 348—356 и 363—365. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

мался разбором и определением настоящих и подложных психических и социальных деятелей, заявляющих претензию на удовлетворение всех нужд ума и развития. В оценке тех и других он мог быть иногда излишне нервен, распределять краски, под влиянием одушевления или негодования, не совсем равномерно, но документы, на которых основывалось его суждение, всегда были подлинные, скрепленные свидетельством истории, точными исследованиями науки об идеальных и реальных потребностях человеческой природы. Удовлетворение этих потребностей, без своевольных исключений, подсказываемых расчетами и нуждами разных теоретических построек, он и считал задачей цивилизации и призванием ее. Переходя от общего выражения к частным приложениям того же самого созерцания, надо сказать, что Белинский требовал уже от каждой идеи, от каждого образа, учения и литературного произведения вообще, которые представлялись его глазам, полноты содержания, упраздняющей самую возможность вопросов и дополнений. Но такие цельные явления искусства и мышления встречались редко, а большей частию приходилось иметь дело с созданиями, еще сильнее отличающимися количеством своих упущений, чем открытий в области выбранных ими тем. Собственно говоря, вся его литературная критика, как еще ни старалась закрыться дипломатическими оговорками и изворотами, к которым и Белинский прибегал по нужде времени наравне со всеми *другими*, — была, в сущности, не чем иным, как рядом восстановлений, реставраций и оправданий разных позабытых или искусственно принижаемых черт цивилизации, психических и культурных необходимостей личного и общественного существования. Работа эта вошла у Белинского в привычку мысли и — что особенно важно — весьма часто обращалась им и на самого себя, чем легко объясняются его неоднократные перемены точек зрения на предметы, столь удивлявшие и возмущавшие его врагов.

Известно, что художественные произведения как изящной, так и ученой литературы обладают качеством оставлять очень малую поживу искателям рассеянностей или недосмотров автора, исчерпывать свой предмет и представлять такую твердыню выводов и заключений, для разрушения которой, даже и в малейшей ее части, потребна почти такая же сила и способность, какие находились в обладании и у самого ее строителя. Вот за таки-

ми-то произведениями старого и нового мира, в переводах и оригиналах, Белинский проводил дни и ночи: они никогда не старелись для него, сколько бы он их ни перечитывал, никогда не могли договорить ему своего последнего слова. Как у аскетов другого порядка идей, у него была потребность каждодневного приближения к алтарю художнических произведений и углубления в таинства, на нем свершаемые. Постоянное обращение с великими образцами ученой и изящной литературы возвысило его дух на такую степень, что люди в его присутствии чувствовали себя лучше и свободнее от мелких помыслов, уходили от него с освеженным чувством и добрым воспоминанием, какого бы рода ни велась с ним беседа. Говоря фигурально, к нему всегда являлись несколько *по-праздничному,* в лучших нарядах, и моральной неряхой нельзя было перед ним показаться, не возбудив его негодования, горьких и горячих обличений. Таков был человек, который первый указал русской литературе реальное направление, кажется, прежде чем о нем вспомнила и Европа, а теперь призывал ту же литературу на политическую арену, на занятие вопросами гражданского, общественного характера. Что двигало этого эстетика по преимуществу? Конечно, прежде всего благородное сердце, искавшее средств пособить первым, неотложным нуждам развития, еще вовсе и не начавшегося для массы его соотечественников, и затем — все то же искание полноты идеального и реального типа для жизни и мысли. Сзади этой предполагаемой литературной деятельности ему открывалось еще все громадное поле европейской цивилизации с его обработкой, с его приобретениями, сделанными в течение стольких веков. С него он и глаз не спускал. Ни одного из всех опытов — старых и новых, приложенных к нему, ни одного счастливого результата, ими уже данного, не хотела бы лишиться эта страстная душа! Конечная цель всех его требований и указаний заключалась в том, чтоб выработать из русской жизни полного работника просвещения, чтобы наделить ее всеми теми силами и воспитательными началами, которые образовали в Европе лучших и надежнейших ее работников. Не нужно, кажется, прибавлять, что все эти дальновидные расчеты оказались на деле мечтой; но тот еще не будет в состоянии правильно судить об эпохе Белинского, кто не поймет и не признает, что все мечтания и фантазии подобного рода были в то время положительным и весьма серьезным делом.

Возвращаюсь к рассказу.

Приближалось время окончания лечебного курса и нашего отъезда из Зальцбрунна. Белинский чувствовал себя гораздо лучше, кашель уменьшился, ночи сделались покойнее, — он уже поговаривал о скуке житья в захолустье. Почти накануне нашего выезда из Зальцбрунна в Париж я получил неожиданно письмо от Н. В. Гоголя, извещавшего, что изданная им «Переписка с друзьями» наделала ему много неприятностей, что он не ожидает от меня благоприятного отзыва о его книге, но все-таки желал бы знать настоящее мое мнение о ней, как от человека, кажется, не страдающего заносчивостию и самообожанием. Это было первое письмо после того надменно-учительского, о котором говорено, и первое после короткой встречи нашей в Париже и Бамберге[113]. Оно довольно ясно обнаруживало в Гоголе желание если не утешения и поддержки, то, по крайней мере, тихой беседы. В конце письма Гоголь неожиданно вспоминал о Белинском и кстати посылал ему дружеский поклон, вместе с письмом прямо на его имя, в котором упрекал его за сердитый разбор «Переписки» во 2-м № «Современника». Это и вызвало то знаменитое письмо Белинского о его последнем направлении, какого Гоголь еще и не выслушивал доселе, несмотря на множество перьев, занимавшихся разоблачением недостатков «Переписки», попреками и бранью на ее автора. Когда я стал читать вслух письмо Гоголя, Белинский слушал его совершенно безучастно и рассеянно, но, пробежав строки Гоголя к нему самому, Белинский вспыхнул и промолвил: «А! он не понимает, за что люди на него сердятся, — надо растолковать ему это — я буду ему отвечать»[114].

Он понял вызов Гоголя.

В тот же день небольшая комната рядом с спальней Белинского, которая снабжена была диванчиком по одной стене и круглым столом перед ним, на котором мы свершали наши довольно скучные послеобеденные упражнения в пикет, превратилась в письменный кабинет. На круглом столе явилась чернильница, бумага, и Белинский принялся за письмо к Гоголю, как за работу, и с тем же пылом, с каким производил свои срочные журнальные статьи в Петербурге. То была именно статья, но писанная под другим небом...

Три дня сряду Белинский уже не поднимался, возвращаясь с вод домой, в мезонин моей комнаты, а про-

ходил прямо в свой импровизированный кабинет. Все это время он был молчалив и сосредоточен. Каждое утро после обязательной чашки кофе, ждавшей его в кабинете, он надевал летний сюртук, садился на диванчик и наклонялся к столу. Занятия длились до часового нашего обеда, после которого он не работал. Не покажется удивительным, что он употребил три утра на составление письма к Гоголю, если прибавить, что он часто отрывался от работы, сильно взволнованный ею, и отдыхал от нее, опрокинувшись на спинку дивана. Притом же и самый процесс составления был довольно сложен. Белинский набросал сперва письмо карандашом на разных клочках бумаги, затем переписал его четко и аккуратно набело и потом снял еще с готового текста копию для себя. Видно, что он придавал большую важность делу, которым занимался, и как будто понимал, что составляет документ, выходящий из рамки частной, интимной корреспонденции. Когда работа была кончена, он посадил меня перед круглым столом своим и прочел свое произведение.

Я испугался и тона и содержания этого ответа — и, конечно, не за Белинского, потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть; я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание. В письме заключалось не одно только опровержение его мнений и взглядов: письмо обнаруживало пустоту и безобразие всех идеалов Гоголя, всех его понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования вместе с диким положением той среды, защитником которой он выступил. Я хотел объяснить Белинскому весь объем его страстной речи, но он знал это лучше меня, как оказалось. «А что же делать? — сказал он. — Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорблял меня в душе моей и в моей вере в него».

Письмо было послано, и затем уже ничего не оставалось делать в Зальцбрунне. Мы выехали в Дрезден, по направлению к Парижу.

Здесь, забегая вперед, скажу, что по прибытии в Париж Герцен, уже поджидавший нас, явился в отель Мишо, где мы остановились, и Белинский тотчас же рас-

сказал ему о вызове, полученном им от Гоголя, и об ответе, который он ему послал. Затем он прочел ему черновое своего письма. Во все время чтения уже знакомого мне письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Герцен шмыгнул, чтобы сказать мне на ухо: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».

XXXVI

Нелюдимость Белинского, казалось, все еще увеличивалась за границей с течением времени, вместо того чтоб уменьшиться. Он утерял всякую охоту заводить связи, даже и минутные, с незнакомыми лицами; наоборот, чем долее шло время, тем он сильнее сосредоточивался в помыслах о семье, которая положительно заслоняла для него всю заграничную обстановку. Исключение составляли двух-трехлетние немецкие мальчишки — на тех он смотрел охотно и не раз, указывая мне на какой-нибудь особенно выдающийся экземпляр, приговаривал глухо: «У меня точно такой же был дома». Словом, семья сделалась для него уголком, в котором он мысленно запирался тотчас же, как оказывалась возможность к тому. Всего любопытнее, что он желал оставить свет и окружающих людей в неведении насчет своего приюта и, когда заходила о нем речь, отзывался равнодушно, не скрывая только — чего уже нельзя было скрыть — страстной любви своей к детям.

Биографическая черта эта, кажется, стоит того, чтоб остановиться на ней. Белинский женился в 1843 году, уже тогда, когда романтический период его жизни миновал и когда он укрепился в мысли, что далее ждать нечего от судьбы и случая, что он предопределен не ведать сочувствия женского сердца, как в силу своего внешнего, будто бы непривлекательного, вида, так и в силу нравственных своих качеств, будто бы несимпатичных вообще для женской природы. Замечательно было, однако ж, то, что с самого 1838 года он не умолкал громить и преследовать одиночество, на которое, по-видимому, так решительно согласился. В его глазах и определениях строгое одиночество, если оно верно самому себе, составляло противоестественное, искусственное, а потому и безнравственное явление, из какого бы душевного настроения ни выходило. Исключения из правила, вроде художника

Иванова и ему подобных, и он признавал, но думал, что и о них надо судить только по важности идеи, для которой ими принесена была жертва. Он и покинул собственную систему одиночества тотчас, как явился предлог к тому, — и покинул с неимоверной торопливостию, изумившей друзей. Тогда объясняли этот факт тем, что он встретил привязанность, которая наносила удар его скептическому пониманию самого себя, сохранившись через значительный промежуток времени. Неожиданность такого открытия была настолько сильна, что привела его к мысли переустроить весь свой быт. Как бы то ни было, он привел в исполнение свое решение, при недоумевающих лицах друзей, предвидевших в этом поступке новые затруднения жизни для него. Женившись, Белинский не отказался, однако ж, от своих воззрений на *сродство души* и *стремлений* как на единственный элемент, узаконяющий брачное состояние, и сознавался, что в его собственном браке недоставало идеального повода и отсутствовало поэтическое настроение. Он высказывал это мнение не стесняясь и перед всеми, громко и часто, и здесь нельзя не признать достоинство ответа, какой он получал на свои вспышки. Умно рассчитанное или уже врожденное по темпераменту хладнокровие наиболее заинтересованной в деле стороны позволяло свободно истекать этим протестациям и критическим обращениям на совершившийся факт: они ни на волос не мешали другой стороне вести семейное дело в одном духе, стойко, спокойно, правильно. Под конец, с наступившим упадком физических сил, обнаружилась на Белинском та непреоборимая, громадная, нивелирующая мощь *моногамического* общежительства, которая побеждает все порывы, мечтания и фантазии человека. Белинский видел уже в домашнем очаге своем как бы целящую силу для больного сердца и в руке, которая спокойно ему служила, как бы руку, удерживающую его на свете.

Первым благом жизни становилась теперь для него та заботливая тишина, то чуткое молчание домашнего быта, которые позволяли ему думать свои пламенные думы про себя, болеть сердцем без помехи. Раздел горьких мыслей и ощущений часто бывает подстрекательством к ним, а в последнем он уже более не нуждался. Он нуждался в другом, а именно в отдаленном, но симпатическом наблюдении за своей кончавшейся жизнью. Семья Белинского умела организовать такое наблюдение, которое не давало себя чувствовать, и не спрашивала у него

никогда об истории болезни, не добивалась признаний и исповеди, не заставляла рассказывать страданий. Она приучила его к существованию, упрощенному до возможной степени и приноровленному столько же к состоянию его мысли, сколько и к физическому его состоянию. Понятно после того, что обычные спутники всякого путешествия, как-то: многолюдство, пестрота жизни, назойливость внешних явлений, напрашивающихся на внимание, уже казались ему нестерпимыми, так как составляли новую лишнюю прибавку в психическом его мире, какой он вовсе не хотел. Вот почему он и писал длинные письма из-за границы, часто украдкой, не к друзьям в Петербург, а к жене и женщине, которая, по его же мнению, не в силах была войти в круг идей, несколько отличных от тех, к каким привыкла; поэтому также этот поэт в душе, воспитанный на чтении и изучении художников, но уже усталый, не видел ни памятников культуры, ни самодельного творчества природы на своем пути и стоял перед ними часто немой, рассеянный, видимо поглощенный совсем другой и чуждой им мыслию.

Особенное отвращение испытывал Белинский к внезапным беседам, которые так часто завязываются на дорогах с незнакомыми людьми; отвращение это иногда разрешалось довольно комическими эффектами. На пути к Дрездену прыгнул в наш вагон с одной станции какой-то очень вертлявый и, по-видимому, весьма добродушный поляк. Услыхав русский говор, он обратился к соседу, которым, по несчастию, был Белинский, и начал с ним следующую короткую беседу, передаваемую буквально. «Вы русский?» — «Русский». — «Прямо из России?» — «Совершенно прямо». — «И, конечно, хорошо говорите по-французски?» — «Совсем не говорю». — «Значит, только по-немецки?» — «И по-немецки тоже не умею». — «Стало быть, — приставал неугомонный поляк и уже с печальным видом, — вы только по-русски говорите?» — «Немножко, и то неохотно», — отвечал Белинский, откидываясь в угол кареты. Надо было видеть выражение изумления на лице вопрошавшего: я не мог удержаться от смеха и перевел беседу уже на себя, начиная ее опять сначала...

В Дрездене мы остановились на неделю, Белинский заказывал белье и большей частью лежал на диване своей комнаты с книгой в руке. Он равнодушно гулял по берегу Эльбы, осматривал безучастно город, зашел и в Grüne-Gewölbe, которая своими дорогими детскими игрушками

и сокровищами пробудила его внимание, с тем чтобы привести его почти в негодование, и, наконец, раза два побывал в картинной галерее. Здесь, по принятому обыкновению туристов, он также садился перед Сикстинской мадонной, но вынес впечатление, совершенно противное тому, какое они обыкновенно испытывают при этом и затем описывают. Он первый, кажется, не пришел в восторг от ее небесного спокойствия и равнодушия, а, напротив, ужаснулся ему, что было также косвенным признанием гениальности мастера, создавшего этот тип[115]. В Дрезденской же галерее испытывал он и другое эстетическое горе: он наткнулся там на маленький chef-d'oeuvre Рубенса «Суд Париса», в котором роль Венеры и обнаженных ее соперниц играли три фламандские красавицы, снятые с натуры с поразительной верностью и реализмом. Белинский, привыкший понимать Венер и греческих женщин как осуществление идеальной красоты на земле, очутился тут перед тремя нагими матронами, пышущими здоровьем, упитанными и тучными, как огороды и сады их отечества, будущими матерями здоровых бургомистров и фабрикантов. Живописный реализм возбудил отвращение у поклонника реализма литературного. Он не мог помириться с картиной, как ни указывали ему на изумительный колорит ее, на жизненность этих тел, от которых, кажется, еще веяло теплом, как и от бархатных, парчовых одеяний утрехтского изделия, только что ими покинутых, на гармонию, рельефность всех ее частей, — Белинский стоял в недоумении и продолжал называть Рубенса поэтом мясников. Только несколько позднее, когда указали ему, в большой гравюре, на другую картину того же мастера — «Торжество Вакха», на этот пир, в котором все фигуры, начиная с опьяневшего тигра до последней вакханки, охвачены столько же хмелем виноградных гроздий, сколько и безграничной радостью молодой жизни, открывшей возможность наслаждения на земле, Белинский пришел в изумление от силы рисунка, смелости мотивов, от идеи, доведенной до высшей степени ее пафоса и выражения. Когда заметили ему, что картина принадлежит той же руке, которая произвела и «Суд Париса», Белинский добродушно заметил: «Ну, значит, я наврал, да с меня нечего взять — я ведь олух в этих делах».

С недоразумениями подобного рода мне приходилось встречаться не раз и потом и слышать — например, от Герцена — остроумные выходки против манеры католиче-

ских живописцев помещать святых на облаках в *сидячем положении,* низводить ангелов на землю и заставлять их играть на арфах, лютнях и скрипках и проч., и проч. Все это казалось крайне ненатуральным и чудовищным тем самым людям, которые в литературных произведениях нисколько не возмущались, когда встречали описания снов, тайных разговоров влюбленных, мимолетных психических ощущений, что все должно бы оставаться, по-настоящему, секретом и для авторов, которые сами не могли ничего подобного ни подглядеть, ни подслушать. То кажется несомненным, что для понимания как литературных, так и пластических созданий необходимо свыкнуться с их обычными приемами, помириться с нелогичностью некоторых из них и признать в них авторитетную силу для своей мысли. Но подчиненность такого рода особенно противна, когда она является не в виде навыка, полученного с незапамятного времени, а требуется прежде всего от человека как начало премудрости, без которого нечего и приступать к суждению о предметах искусства. Может быть, это обстоятельство именно и подсказало оригинальное решение Белинскому, когда, прибыв в Кельн, он не пожелал видеть знаменитой абсиды его собора, тогда еще не достроенного. Он мимоходом взглянул на нее снаружи, уже проездом на станцию железной дороги, и только сказал: «Обширное помещение, нечего сказать, для католической идеи, которая там должна была проживать».

Париж оказался уже не под силу Белинскому. С первых же дней лихорадочное движение толпы, днем и ночью шумящие и ослепляющие кафе и магазины, суета и говор, восстающие с раннего утра, и толки, перекрестным огнем раздающиеся со всех сторон, утомили его скорее, чем я ожидал. Проехав по улицам и площадям Парижа, побывав несколько (немного) раз в его операх и театрах, он почувствовал почти тотчас же необходимость скрыться куда-нибудь от этого неумолкающего праздника. Он нашел два приюта: за письменным столом в своей комнате, на котором писал много и долго к жене — во-первых, и в семье Герцена, где М. Ф. Корш и хозяйка окружали его попечениями и успевали разглаживать морщины, наведенные усталостью от зрелища мятущихся людей, целей и намерений которых угадать нельзя.

Впечатление, произведенное на него Парижем, было вообще, так сказать, удивленно грустное. «Все в н е м , —

говорил Белинский, — должно принимать громадные размеры: алчность, разврат и легкомыслие, так же точно как и разработка идей и знаний, и благородные порывы, и стремления, — да разобраться в этом омуте и узнать, чего в нем больше, — дело очень трудное». Он не раз спрашивал у друзей: в самом ли деле необходимы для цивилизации такие громадные, умопомрачающие центры населения, как Париж, Лондон и др.

Конечно, окружающие Белинского поспешили открыть ему те источники, которыми питается движение Парижа, так много удивившее его: именно — музеи, лекции, сходки и проч. Белинский следовал покорно за своими вожатаями, но, видимо, смотрел на это как на исполнение долга, как на нечто схожее с праздничными *визитами* по начальству. Нетрудно было подметить его благодарный взгляд всякий раз, когда его освобождали от этого своего рода спешного наглядного обучения и заменяли его сокращенным изложением того или другого любопытного явления в литературе, науке или жизни. Всего более интересовался он вопросом, какого результата в будущем следует ожидать от всех этих начинаний, к каким положительным выводам можно прийти относительно дальнейшего развития цивилизации уже и теперь, на основании существующих данных, — словом, как велика сумма общечеловеческих надежд, носимых в себе всей этой видимой культурой? Ответов получено было много, и большею частью самых благоприятных для грядущих поколений, за исключением только мнения Герцена по этому предмету, которое особенной веры в силу современных людей и их способности к прогрессу не обнаруживало. Белинский оставался, таким образом, между двумя противоположными суждениями о предмете, который его занимал. Не считая самого себя достаточно подготовленным для разрешения вопроса собственной мыслью, он покинул Париж с неясным представлением дела, которое делал город. Да и кто мог тогда ясно видеть, что готовится в нем, или предсказать, что несет ему ближайший наступающий день истории?

Вообще, насколько становился Белинский снисходительнее к русскому миру, настолько строже и взыскательнее относился к заграничному. С ним случилось то, что потом не раз повторялось со многими из наших самых рьяных западников, когда они делались туристами: они чувствовали себя как бы обманутыми Европой, смотрели

на нее с упреком, как будто она не сдержала тех обещаний, какие надавала им втихомолку. Это обычное явление объясняется довольно просто. Сухая, деловая, часто ограниченная и невежественная и всегда мелочная плутоватая толпа новых людей первая встречала за границей путешественников и, случалось, довольно долго держала их в среде своей, прежде чем они переходили к явлениям и порядкам высшего строя жизни. Но тогда они уже расположены были требовать у последних отчета за всю виденную прежде пошлость и возлагать на эти явления ответственность за все то безобразное и ничтожное, которое не было уничтожено их влиянием. Белинский не избег общей участи путешественников. Под впечатлением скучного процесса своего лечения, и особенно под впечатлением зрелища громадной людской массы, не имеющей и предчувствия тех идей и начал, которые возвещались миру от ее имени, Белинский давал мрачный отчет о заграничном своем житье-бытье друзьям в Москве — и напугал их [116]. Им показалось, что он может вернуться домой скептиком по отношению к европейской культуре вообще и в дальнейшей своей деятельности, даже нехотя и против своей воли, способствовать при таком настроении распространению надменных взглядов на западную цивилизацию, уже существующих в русском обществе. Опасения свои они сообщили и самому Белинскому. Один из них — В. П. Боткин — писал:

«Москва. 19 июля 1847. Сегодня получил твое письмо из Дрездена, милый мой Виссарион... Понимаю твое отвращение от Германии, Белинский, — очень понимаю, хоть и не разделяю его. Я не могу жить в Германии, потому что немецкая общественность не соответствует ни моим убеждениям, ни моим симпатиям, потому что нравы ее грубы, что в ней мало такта действительности и реальности и так далее, но я не изрекаю ей такого приговора, как ты, и относительно дурных и хороших сторон народов придерживаюсь несколько эклектизма. Понимаю твою скуку; я и здоровый захворал бы от скуки, проведя полтора месяца в Германии, а ты еще провел их в Силезии, в Сальцбрунне! Париж, я надеюсь, постоит за себя. Но зачем тебе видеть там одних только *конституционных подлецов?* Там есть много такого, что посущественнее и поинтереснее их. Политические очки не всегда показывают вещи в настоящем свете, особенно если эти очки сделаны из принятых заочно доктрин. Часто и доморощенные

доктрины заставляют городить вздор (что доказывает книга Луи Блана; с твоим умным мнением о нем совершенно согласен), а беда, если наш брат приезжает в страну с заранее вычитанною доктриною... Получа твое письмо, я тотчас побежал поделиться им с Коршем и сегодня пошлю его к Грановскому... Ты получил письмо от Гоголя? По рассказам, это письмо показывает, что Гоголь потерял наконец смысл к самым простым вещам и делам... Сейчас получаю твое ко мне письмо обратно от Грановского; он недоволен им и боится, чтобы ты с твоей тепершней точки зрения на Германию и Францию не стал бы писать о них, воротясь в Россию. В самом деле, это было бы большим торжеством для наших невежд и мерзавцев. О цензурных обстоятельствах, надеюсь, тебе сообщил уже Некрасов, и ты, конечно, уже знаешь, что теперь Ж. Санд не будет читаться на русском языке...»[117] и т. д.

Нетрудно было окружающим Белинского, к которым московские друзья тоже обращались с запросами о нравственном его состоянии, разъяснить, что в основании всех его нареканий на заграничную жизнь лежит совсем не враждебное Европе чувство, а скорее чувство нежное к ней, раздосадованное только тем именно, что должно сдерживать, ограничивать себя и подавлять свои порывы.

Настроение, однако же, не прошло у Белинского бесследно.

О мозговом раздражении русской либеральной колонии с ее заботами об устроении для себя наилучшего умственного комфорта, причем, конечно, не могли быть забыты ею и эффектные подробности из современных открытий, уже и говорить нечего. Белинский не обратил на колонию никакого внимания, как на дело, известное ему по опыту и у себя дома *.

Мы слышали, что, позднее и уже находясь в Петербурге, Белинский принял известие о революции 48-го года в Париже почти с ужасом. Она показалась ему неожиданностию, оскорбительной для репутации тех умов, которые занимались изучением общественного положения Франции

---

* К польскому вопросу Белинский всегда относился только с *гуманной* точки зрения, находя, что жертвы истории и собственных грехов могут возбуждать глубокое сострадание, как вообще и все угасшие национальности прежних эпох. Политической стороны польского вопроса он никогда не касался и постоянно обходил его с равнодушием. (*Прим. П. В. Анненкова.*)

и не видели ее приближения. Горько пенял он на своих парижских друзей, даже и не заикнувшихся перед ним о возможности близкого политического переворота, который, как оказалось, и был настоящим делом эпохи. Этот недостаток предвиденья, по мнению Белинского, превращал людей или в рабов, или в беззащитные жертвы одного внешнего случая. Упреки были справедливы, но надо сказать, что окончательная форма переворота была неожиданностию и для тех, кто его устроил [118].

Жена Герцена, по инстинкту женского сердца, поняла, между прочим, Белинского, заехавшего в Париж, лучше и скорее всех других. Она собрала маленькую и хорошо подобранную коллекцию «образовательных» игрушек, уже существовавших тогда в Париже, хотя и без систематизации их, и подарила ее дочери Белинского. Между подарками были зоологические альбомы с великолепными рисунками животных всех поясов земли, которыми Белинский не уставал восхищаться. Он мечтал о воспитании дочери на естествознании и точных науках. Между прочим, он в это время нашел игрушку и для самого себя. Фланируя по улицам, он наткнулся в одном магазине готовых платьев на изумительно пестрый халат с огромными красными разводами по белому фуляровому полю — и влюбился в него. Халат был именно той *выставочной* вещью, которую магазины нарочно заказывают, с целью огорошить проходящего и остановить его перед своими зеркальными стеклами. Белинский почувствовал род влечения к этому предмету, долго колебался и, наконец, купил его, серьезно растолковывая нам, что предмет совершенно необходим ему для утренних работ в Петербурге. Подробность заслуживает упоминовения потому, что этот несчастный халат наделал потом много хлопот ему и мне.

По мере того как приближалось время к отъезду Белинского в Россию, о чем он уже стал мечтать чуть ли не со дня своего появления в Париже, возникал вопрос о способах удобнейшего отправления его на родину, так как предоставить Белинского самому себе в этом деле не было возможности по малой его опытности и неспособности беседовать на иностранных диалектах. Решение вопроса было уже принято, когда представилась возможность дать Белинскому благонадежного сопутника и вместе оказать услугу честному старику, занимавшему важную в Париже должность «portier» — привратнику в нашем доме. Старика, очень строгого к *простым* жильцам, которые поздно возвра-

щались домой, и привязавшегося к русским своим пансионерам как-то страстно и безотчетно, звали Фредерик. Он был родом немец из Саксонии, свершил поход 12-го года в Россию с армией Наполеона, попал в ординарцы к губернатору Москвы маршалу Даву, что и помогло ему возвратиться целым и невредимым в Париж, где он и поселился. Он охотно, особенно под хмельком, рассказывал об ужасах, какие он видел на пути в Россию и из России и в Москве. Вместе с тем он сгорал желанием побывать на родине (где-то около Лейпцига), которой не видал уже более тридцати пяти лет, и когда я предложил ему, под условием сперва довезти моего приятеля до Берлина, посетить на наш счет свой фатерланд и затем возвратиться назад к месту, которое покамест будет блюсти его супруга (толстая и величественная баба), старик как-то присел, положил обе руки между колен и, легко подпрыгивая, мог только несколько раз промычать: «Oui, monsieur! Ah, monsieur!..» Для Белинского нашелся надежный проводник, говоривший по-немецки и по-французски и готовый беречь его особу, и особенно его кошелек, как честь знамени или пароль, полученный от своего шефа.

В Париж пришел также и ответ Гоголя на письмо Белинского из Зальцбрунна. Грустно замечал в нем Гоголь, что опять повторилась старая русская история, по которой одно неосновательное убеждение или слепое увлечение непременно вызывает с противной стороны другое, еще более рискованное и преувеличенное, посылал своему критику желание душевного спокойствия и восстановления сил и разбавлял все это мыслями о серьезности века, занимающегося идеей полнейшего построения жизни, какого еще и не было прежде. Что он подразумевал под этим построением, письмо не высказывало и вообще не отличалось ясностью изложения. Белинский не питал злобы и ненависти лично к автору «Переписки», прочел с участием его письмо и заметил только «Какая запутанная речь; да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту».

День отъезда из Парижа, после предварительного совещания с друзьями, был назначен окончательно[119]. Накануне его, вечером, Белинский посидел еще раз на любимом своем месте, на мраморных ступеньках террасы, окружающей площадь Согласия, «de la Concorde», задумчиво смотря на луксорский обелиск посреди площади, на Тюльери, выступавший фасадом и куполом из каштанового сада своего, на мост через Сену и Бурбонский дворец за ним, обратив-

шийся в Палату депутатов, и вспоминая страшные сцены и драмы, некогда разыгрывавшиеся в этих местах. Поздно ночью после прощания у Герцена, возвратились мы домой. Все было там уложено и приготовлено с помощью Фредерика, и на другой день в пять часов утра мы были уже на ногах, а в половине шестого — и в карете, которая должна была доставить нас на дебаркадер дальней северной железной дороги. Уже подъезжая к ней и за какие-нибудь четверть часа до отхода самого поезда мне вздумалось спросить Белинского: «Захватили ли вы халат?» Бедный путешественник вздрогнул и глухим голосом произнес: «Забыл, он остался в вашей комнате, на диване». — «Ну, — отвечал я, — беда небольшая, я вам перешлю его в Берлин», Но упустить халат из рук показалось Белинскому невыносимым горем. Надо было видеть ту печальную мину и слышать тот умоляющий голос, с которыми он сказал мне: «Нельзя ли теперь?» Отказать ему не было возможности без уничтоженья в его уме всех приятных впечатлений вояжа. Я призвал на помощь русское авось, остановил карету и послал Фредерика скакать в первом попавшемся фиакре домой что есть мочи, подобрать халат и застать нас еще на станции. Простее было бы отложить поездку до завтра, но мной завладел тоже некоторого рода азарт и желание одолеть помеху во что бы то ни стало. Русское авось, однако же, изменило на этот раз. Я едва успел взять билет для Белинского, распорядиться с его багажом, как пробил третий звонок, а Фредерика не было. Известно, что на французских дорогах царствует или царствовал военный распорядок, так что под криками и командами кондукторов мне всегда казалось, что я скорее на бастионе крепости, чем на мирном дебаркадере железной дороги. На этот раз командующие бастионом были еще суровее обыкновенного. В растворенную дверь настежь по третьему звонку гнали они теперь толпу пассажиров на террасу с таким неистовством, что можно было подумать, нет ли у нас сзади неприятельской артиллерии и казаков: «Allez, passez, dépêchez-vous!» * Я шепнул Белинскому, чтоб оставил адрес свой в Брюсселе на станции и ждал там Фредерика; затем его втиснули в толпу, из которой он вылетел на террасу, но меня, как не имеющего билета, уже не пустили туда: права провожать своих знакомых и родных граждане Парижа тогда не имели, да, кажется, и теперь не имеют. Что происходило затем

---

* Идите, проходите, торопитесь! (*франц.*)

с Белинским на террасе, он описал мне потом из Брюсселя. Измученный, надорванный шумом, суетой, толчками, он остановился с билетом в руках на террасе, тяжело дыша и не зная, куда направиться. Тут усмотрел его один из бешеных кондукторов, рыскавших на террасе, заметил билет и с восклицанием: «Mais que faites vous là, sacrebleu?» * — потащил его за руку и бросил в первый попавшийся вагон поезда, который уже тронулся. Так он и доехал до Брюсселя, но на пути повстречался с новым происшествием. Бельгийская таможня, раскрыв его чемодан, увидала коллекцию игрушек, подлежащую пошлине, и потребовала от него определения ценности этого добра. Вместо ответа Белинский стал объяснять, как умел, что ценности вещей не знает, так как это подарок одной прекрасной дамы в Париже и т. д., а наконец, и вовсе замолчал. Надо отдать справедливость таможенному чиновнику: посмотрев на немого и сконфуженного человека, который стоял перед ним, он прозрел, что имеет дело не с контрабандистом, и, захлопнув чемодан, не взял никакой пошлины. Белинский изъяснял иначе великодушие чиновника, и довольно уморительным образом. «Догадавшись, что я глуп до святости, — писал он, — он сжалился надо мной и оставил меня в покое»[120]. На другой день Фредерик, чуть не плакавший от неудачи, повез ему в Брюссель знаменитый халат, легко отыскал там многострадального путешественника, благополучно препроводил его в Берлин, где и сдал с рук на руки Д. М. Щепкину, молодому, рано умершему и замечательному ученому по археологии и мифологии. В Петербург Белинский явился, к изумлению и радости своих знакомых, гораздо свежее и бодрее, чем выехал из него, но радость их была непродолжительна.

---

* Да что вы тут делаете, черт возьми? (*франц.*)

Н. Н. ТЮТЧЕВ

МОЕ ЗНАКОМСТВО С В. Г. БЕЛИНСКИМ

При чтении воспоминаний К. Д. Кавелина о В. Г. Белинском мне пришло на память несколько мелких подробностей, касающихся Белинского, с которым я был дружески знаком в течение последних шести лет его жизни.

В начале 1841 года я прибыл в Петербург и поступил на службу в департамент податей и сборов, сперва канцелярским чиновником, как это тогда водилось, а потом переводчиком *.

Сперва я жил один, но весною 1842 года познакомился со мною приехавший в Петербург бывший редактор «Харьковских губернских ведомостей» Александр Яковлевич Кульчицкий. Он имел рекомендательные письма ко мне и к некоторым другим лицам. То был человек с организмом нервным и болезненным, по природе своей в высшей степени впечатлительный, во время болезненных припадков склонный к раздражению, но притом самого честного нравственного направления, в умственном отношении идеалист и романтик. Он имел влечение к литературным занятиям, был наделен легким юмором, но талант его был слишком незначителен, и чувство бессилия составляло мучение его жизни. Он вообще расположен был к ипохондрии, харьковская среда не удовлетворяла его, и в Петербург его влекло преимущественно желание сблизиться с литературным миром. На службу он поступил секретарем в канцелярию военного министерства.

Оба мы чувствовали себя одинокими в Петербурге и, несмотря на совершенное различие характеров, сошлись с

---

* Я родился в 1815 году, в Смоленской губернии; в 1825 году покойный отец, помещик Рославльского уезда, отвез меня в Саксонию, где я прошел гимназический курс в одном частном учебном заведении; затем в тридцатых годах я окончил университетский курс в Дерпте, кандидатом по отделению камеральных наук, и до поступления на службу провел несколько лет, по семейным делам, в поездках за границею и по России. (*Прим. Н. Н. Тютчева.*)

рим довольно близко и решились поселиться на одной квартире *. Впоследствии к нам присоединился К. Д. Кавелин, прибывший в Петербург из Москвы и поступивший на службу по министерству юстиции помощником столоначальника.

Все трое мы занялись в скором времени переводами с иностранных языков для редакции «Отечественных записок», получая по десяти рублей серебром с печатного листа. Квартира наша находилась близ Михайловского дворца, в доме Жербина, на дворе во втором этаже. Мы занимали четыре большие комнаты с кухнею и переднею и за это просторное помещение в центре города, с хозяйскими дровами, платили по сту рублей ассигнациями в месяц, то есть около трехсот сорока трех рублей серебром в год.

Еще до переезда к нам Кавелина [1] Кульчицкий ввел меня в семейство И. И. Панаева, жившего тогда в четвертом этаже дома Лопатина (ныне Семянникова) у Аничкина моста. Там я познакомился с В. Г. Белинским, И. И. Мас-овым и прочими лицами, упоминаемыми в воспоминаниях Кавелина. П. В. Анненков находился тогда преимущественно за границею, но во время приездов в Петербург бывал постоянным членом нашего общества.

С первой встречи Белинский отнесся ко мне радушно и сердечно, а на меня произвел глубокое впечатление не только своим светлым умом и крупным талантом, но преимущественно глубоко страстною искренностью, составлявшею главное основание его натуры. Он всегда искал истины, постоянно служил ей. Он искал ее со страстью, он увлекался, он мог ошибаться, но ум его всегда жаждал истины, он внимал голосу противника, если верил в его добросовестность, и первый сознавался в своих ошибках, казнил себя беспощадно, как скоро убеждался, что противник его прав.

В нем не было ни искры мелкого самолюбия, ни предвзятых мыслей, ни упорства, никаких притязаний на доктринерство и непогрешимость, столь часто встречающихся у вожаков партий в ученом и особенно в литературном мире.

Когда я познакомился с Белинским, он занимал небольшую квартиру во дворе вышеупомянутого дома Лопатина. В том же дворе нанимал квартиру и А. А. Краевский, редактор и издатель «Отечественных записок», тогда не имев-

* Он не разлучался со мною до смерти, последовавшей от чахотки в апреле 1845 года. (*Прим. Н. Н. Тютчева.*)

ший еще собственного дома. Квартира Белинского находилась над сараями во втором этаже и состояла из четырех весьма небольших комнат. Более просторная комната, о двух окнах, служила ему кабинетом, — направо от окон стояли его письменный стол и конторка. Стена перед столом была покрыта целою группою портретов, отчасти лиц исторических, отчасти близких знакомых. Особенно мне врезался в память акварельный портрет Николая Станкевича.

Остальные стены кабинета были обставлены простыми открытыми полками, на которых помещалась его библиотека, богатая преимущественно по части русской истории и русской словесности. Книги с верхних полок он доставал посредством складного табурета, открывавшегося в виде лестницы.

В другой комнате, служившей гостиною, находилась на стене группа литографий, изображавших женские типы из романов Жоржа Санда. Упомяну кстати, что по части живописи Белинский имел вкус весьма определенный. Он не придавал особой цены картинам исторического, духовного и аллегорического содержания, но очень любил пейзаж и жанр, реальную, особенно фламандскую, школу — не допуская, впрочем, ничего грубого, обличительного, карикатурного. Он был проникнут глубоким чувством *изящного,* но не любил оставлять реальную почву. Целые утра проводил он в фламандском отделении Эрмитажа и с восторгом вспоминал о картинах, произведших на него особое впечатление. Картин он, конечно, по ограниченности средств, покупать не мог, но небольшие свободные деньги тратил на покупку книг и на приобретение хороших, особенно старых, гравюр, которые он очень любил.

Будучи критиком «Отечественных записок» и работая сверх сил, он получал годового жалованья 1286 руб. сер. (4500 руб. асс.), а когда он в ноябре 1843 г. женился, то ему было прибавлено 143 руб. (500 руб. асс.), так что до основания «Современника» в 1847 году он с семейством должен был довольствоваться годовым содержанием в 1429 руб. (5000 асс.) [2]. Понятно, как трудно было ему сводить концы с концами. Он должен был отказывать себе во всем. Но бедность его была почтенная. Никогда он не жаловался на трудность своего положения, и квартира его содержалась всегда в безукоризненной чистоте. У него было много цветов и растений, за которыми он всегда сам ухаживал с особенною любовью и старательностью.

Я навещал его в свободное для него время, но изредка

случалось заходить и в часы, посвященные журнальной срочной работе.

Писал он с большим одушевлением, быстро, крупным почерком, почти без помарок, на *одной* стороне полулистов, приготовленных для работы. Дописав страницу, он откладывал исписанный, еще мокрый от чернил полулист и продолжал писать на другом полулисте. Вторая страница полулиста оставалась белою.

Между тем не помню, в котором именно году, переехал из Харькова в Петербург известный переводчик Андрей Иванович Кронеберг; он сошелся близко с нашим кружком. На службе он не состоял, жил исключительно литературными трудами и работал преимущественно для редакции «Отечественных записок». Свободное время он посвящал шахматам и музыке. Он очень любил симфоническую музыку и сам прекрасно играл на фортепиано.

Раз как-то иду я по Невскому, встречается со мною Андрей Иванович и рассказывает мне, что он перевел, между прочим, с французского роман «Королева Марго», получил условленную плату за перевод, помещенный в «Отечественных записках», но что сейчас он прочел в газетах объявление о том, будто роман в его переводе издан особою книжкою, а так как он позволения на то никому не давал, то и хочет удостовериться, кем издан роман особо. Зашли мы в книжный магазин. Кронеберг купил экземпляр романа в новом издании, удостоверился, что роман издан Краевским, купил вслед за тем X том Свода законов гражданских, отыскал закон о литературной собственности, положил заметку против статьи, взял обе книги под мышку и отправился к Андрею Александровичу. Встретив отпор, он объявил хладнокровно, что дело поступит в суд, если он не получит денежного вознаграждения на точном основании закона; при этом он объявил размер своего требования и назначил срок уплаты. Накануне дня, назначенного Кронебергом, Андрей Александрович прислал Андрею Ивановичу причитавшиеся ему деньги (кажется, с чем-то 500 р. сер.) и вместе с тем отказ от дальнейшего участия в переводах для «Отечественных записок» [3].

Кронеберг пришел ко мне поделиться вестью о своей победе. Отправились мы оба к Белинскому. Кронеберг с свойственною ему трезвостью и деловитостью выражений передал Белинскому голый рассказ о ходе дела, не разукрасив его ни одною фразою. Белинский слушал напряженно, с величайшим вниманием; не проронив ни одного слова, он

вышел в переднюю, подошел к углу, взял в руки трость, возвратился к Кронебергу, молча передал ему трость, стал перед ним на колени и тогда только сказал ему: «Андрей Иванович, голубчик, поучите меня, дурака».

В ноябре 1843 года Белинский женился на Марии Васильевне Орловой[4], получившей воспитание в одном из московских институтов и бывшей впоследствии гувернанткою в частных домах, между прочим у Ив. Ив. Лажечникова, а затем классною дамою в том самом институте, где она воспитывалась. Мария Васильевна была высокого роста и в молодости, говорят, была недурна собою. Выходя замуж, она была уже зрелых лет, насквозь болезненная и с нервическою дрожью во всем теле. Движения ее были угловаты и лишены всякой грации; походка ее была какая-то порывистая, при каждом шаге она точно всем телом падала вперед.

Мне неизвестно, в какой среде провел Белинский свои детские годы, но я полагаю, что он рос вне благотворного влияния семьи и образованного женского общества[5]. Ему приходилось выработаться самостоятельно, собственными усилиями. И он выработался блистательно в специальности, которой посвятил себя, но в отношении общества он остался дикарем. Когда он переселился уже в Москву и поступил в число студентов, то, кроме товарищей и учеников, он мало с кем встречался, поэтому был совершенно чужд женскому обществу и почти вовсе не знал женщин..

Во время поездки в Москву, летом 1843 года, он увиделся с Мариею Васильевною, которую встречал, хотя изредка, еще в то время, когда сам был студентом[6], а она гувернанткою. В 1843 году она была классного дамою. При свидании с нею завязался литературный разговор. Мария Васильевна, следившая за русскою журналистикою, привела Белинского в совершенный восторг рассуждениями, вычитанными из его же статей. Повторенный ею урок он принял за проявление собственного развития; он увлекся ею страстно, как вообще был склонен увлекаться идеалами собственной фантазии, предложил ей руку и не успокоился, пока не получил ее согласия.

На маленькую квартиру в доме Лопатина переехала к женатому Белинскому вскоре и свояченица его, Аграфена Васильевна, называвшаяся, впрочем, «Agrippine».

Обе сестры, уже немолодые, почти всю жизнь проведшие в институте, смотрели и на весь мир преимущественно сквозь институтскую призму. Говорили они между собою

почти всегда по-французски, о различнейших мелочах и дрязгах, и всего чаще я слыхал из уст то одной, то другой; «Ma soeur, où sont les clefs?», «Ma soeur, donnez moi les clefs» *.

Понятно, что в этой среде Белинский не мог найти того, что искал, — именно полного духовного общения, семейного союза в высоком значении этого слова. Но когда хроническая болезнь его приняла характер более угрожающий, он нашел и в пустой жене, и в придурковатой свояченице усердных, хотя и ворчливых сиделок [7].

Белинский был женат четыре с половиной года. У него было двое детей [8]. Сперва родилась дочь Ольга, которую крестили Ив. Ил. Маслов и Аграфена Васильевна Орлова. Дочь Белинского воспитана матерью и живет с нею. Затем родился сын, у которого восприемниками были И. С. Тургенев и жена моя, Александра Петровна. Он умер в младенчестве и был горько оплакан Белинским. Детей своих Виссарион Григорьевич любил нежно и страстно. Придешь, бывало, к нему и зачастую застанешь, как он возится на четвереньках, несмотря на свою чахотку, и не отстает от детских игр, пока не впадет в полное изнеможение. Когда умер его сын, то я с женою пошли навестить его. Мы застали его в страшном горе. Он ходил взад и вперед, совершенно потерянный, остановился у притолоки и, указывая на мертвого ребенка, сказал: «Сейчас лег бы на площади под кнут, если бы это могло воскресить его».

В конце 1844 года я женился на юге России и привез жену в Петербург, а в конце 1845 года переехало к нам и семейство моей жены, состоявшее из ее матери и сестры. Мы наняли в доме Лопатина, в третьем этаже квартиру, выходившую на угол Невского проспекта и Фонтанки.

Белинский очень полюбил мою жену и родных ее и часто проводил у нас свободные часы. У нас много занимались музыкою, особенно классическою. Бывало, сидит и слушает безучастно. Затем подойдет к фортепиано и скажет: «Ну, а теперь сыграйте для меня» [9]. Эта фраза означала, что нужно сыграть «Leiermann» ** Шуберта и danse infernale *** из «Роберта» — единственные две музыкальные пьесы, которые он, по собственному его отзыву, понимал и любил.

Помню и я сцену из «Лючии», рассказанную Кавелиным. Сколько я понимаю, тут на Белинского подействовала

* «Сестрица, где ключи?», «Сестрица, дай мне ключи» (*франц.*).
** «Шарманщик» (*нем.*).
*** адскую пляску (*франц.*).

не музыка, а трагизм сцены проклятия. Как теперь вижу его лицо, бледное, потерянное, изображающее ужас и отчаяние [10].

Вспоминаю еще одно мелкое происшествие, случившееся весною 1845 года, которое бросает яркий свет на семейный быт Белинского.

Отработавшись, Белинский заходит к нам в один прекрасный майский или июньский день и предлагает съездить в Биржевой сквер. Мы согласились, спустились к Фонтанке и наняли лодку, в которой поместились Белинский со своими двумя дамами и я с женою. День был превосходный. Белинский весел, как ребенок. На бирже его все радовало: и птицы, и рыбы, и раковины, и особенно растения. Увидел он кактус с красным цветком, какого он давно желал, пленился им и купил его. Бережно завернул он свое сокровище и стал нас звать в лодку для обратного пути. Уселись мы, гребец начал работать веслами, а жена и свояченица Белинского стали рассуждать о том, как безрассудно человеку бедному и семейному бросать деньги на пустые растения, которых и без того девать некуда. Разговор этот подействовал на В. Г. поразительно. Он умолк, съежился, нахмурился, довез молча цветок до дома, молча взял его на руки у пристани и, мрачный, унес его на свою квартиру.

По случаю слабости его груди доктора приказывали ему нанимать дачу где-либо около соснового леса. Помню, как одно лето он провел в крошечной дачке, в самом лесу, около Поклонной горы [11]. Он жил там с семейством в совершенном уединении, и любимою забавою его было брать грибы. На несчастие его, и Аграфена Васильевна разделяла его страсть. Бывало, пойдут в лес, и Белинского, который в большом и малом был равно страстен, трясет лихорадка от одной мысли, что свояченица перебьет у него какой-нибудь гриб. Близорукий, с слабою грудью, он спешит, озирается, и если вдали увидит гриб, то бежит к нему, падает, закрывает его руками и громко заявляет свои права на усмотренный им гриб. Набрав много грибов, он возвращается домой совершенно счастливый и с спокойным духом принимается опять за прерванные литературные занятия.

Ожидая рождения сына, Белинский переехал, кажется в 1846 году, на более просторную квартиру, чуть ли не в дом Федорова, на Фонтанке, между Аничкиным и Семеновским мостами, но там он потерял новорожденного и долго на этой квартире не оставался [12].

Летом 1846 года он ездил с М. С. Щепкиным на юг России, посетил Одессу, Николаев и чуть ли не Крым. Он очень полюбил черноморских моряков, встретивших с большим радушием заслуженного артиста и первоклассного критика[13].

В 1847 году он поехал за границу искать облегчения от развивавшейся чахотки. Облегчения он, конечно, не мог найти, но страшно соскучился по родине и по семье и осенью 1847 года поспешил обратно в Петербург[14].

Недалеко от того места, где ныне находится станция Николаевской железной дороги, тогда еще не существовавшая, на Лиговке, против Кузнечного мостика, он нанял в доме Галченковых, на дворе, особый деревянный, довольно просторный полутораэтажный флигель, окруженный деревьями, рассчитывая, что квартира эта будет служить ему и дачею.

На этой квартире он провел последнюю зиму, радуясь на свои растения, которым было много солнца, а болезнь его принимала все более и более угрожающий характер, и опасность становилась очевидною.

Работать он уже не мог. Мы посещали его часто, развлекая его беседою, и уносили с собою тяжелое убеждение в неминуемости последнего кризиса.

Во второй половине мая 1848 года посылает он как-то раз за мною. Придя к нему, я застаю его в страшном волнении и беспокойстве. Дело в том, что к нему явился жандарм с повесткою, приглашавшею его в III Отделение. Стоит только вспомнить начало 1848 года и репрессивные меры, принятые у нас вслед за февральской революцией в Париже и за мартовскими волнениями в Германии, чтобы понять, какое впечатление должно было произвести неожиданное и загадочное появление жандарма в квартире Белинского.

Виссарион Григорьевич, не встававший уже с кресла, задыхающимся от волнения и от слабости голосом просил меня побывать в III Отделении, отыскать там бывшего учителя Белинского, а в то время служившего старшим чиновником в III Отделении, действительного статского советника Попова, и узнать, для чего его требуют[15].

Приехав в III Отделение, я объяснил Попову о тяжкой болезни Белинского, приковавшей его к креслу, и спросил, чего от него желают.

Попов вспомнил с нежностью о детских годах Белинского[16], выразил участие к его болезненному состоянию,

просил меня успокоить больного и объяснить ему, что он вызывался не по какому-либо частному делу или обвинению, но как один из замечательных деятелей на поприще русской литературы, «единственно для того, чтобы лично познакомиться с Леонтьем Васильевичем Дубельтом, *хозяином* русской литературы» (sic).

Через несколько дней скончался Виссарион Григорьевич, и мы похоронили его на деньги, собранные между близкими его знакомыми; участвовавшие в складчине согласились вносить и впредь ежегодно определенную каждым сумму, пока не будет пристроено семейство покойного [17].

Тут явилась мысль разыграть в лотерею, в пользу семейства, библиотеку покойного [18]. Для этого надобно было выхлопотать разрешение правительства. Вспомнив мои недавние переговоры с Поповым и теплый отзыв последнего о Белинском, друзья Белинского возложили на меня переговоры и в настоящем случае.

Услышав о смерти Белинского, Попов выразил сожаление о столь преждевременной кончине замечательного критика, но только что я заговорил о лотерее, он весь изменился в лице, окрысился и зашипел на меня: «Это все равно, милостивый государь, как если бы вы просили разрешения на объявление о лотерее в пользу семейства государственного преступника Рылеева».

Переехав на жительство в Москву, вдова Белинского несколько времени спустя получила в своем институте место кастелянши, сестра ее определилась классною дамою, а дочь пользовалась уроками в том же заведении.

Когда двенадцать лет спустя был основан Литературный фонд, то он назначил вдове и дочери Белинского пенсию в размере шестисот рублей, которая впоследствии, по собственному заявлению Марии Васильевны, была сокращена до трехсот рублей [19], во внимание к тому обстоятельству, что благодаря стараниям Н. X. Кетчера, взявшего на себя весь труд редакции и корректуры, и материальному содействию К. Т. Солдатенкова и Н. М. Щепкина полное собрание сочинений Белинского было издано в двенадцати томах, и успешная продажа их окончательно обеспечила безбедное существование семейства этого даровитого, честного, неутомимого труженика, всю жизнь свою посвятившего служению истине и общественному благу.

С Пбург.
19 февр. 1874.

И. С. ТУРГЕНЕВ

ВСТРЕЧА МОЯ С БЕЛИНСКИМ

(Письма к Н. А. Основскому)

I

Я познакомился с Белинским в конце 1842 года, в С.-Петербурге [1]. Он жил тогда в доме Лопатина, у Аничкова моста. Меня привел к нему наш общий знакомый З<иновьев>. Я много слышал о нем и очень желал познакомиться с ним, хотя некоторые его статьи, написанные им в предыдущем (1841) году, возбудили во мне недоумение [2]. Я увидел человека небольшого роста, сутуловатого, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами и с тем суровым и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей; он заговорил и закашлял в одно и то же время, попросил нас сесть и сам торопливо сел на диване, бегая глазами по полу и перебирая табакерку в маленьких и красивых ручках. Одет он был в старый, но опрятный байковый сюртук, и в комнате его замечались следы любви к чистоте и порядку. Беседа началась. Сначала Белинский говорил довольно много и скоро, но без одушевления, без улыбки, как-то криво приподнимая верхнюю губу, покрытую подстриженным усом; он выражался общими, принятыми в то время в литературном кругу, местами, отозвался с пренебрежением о двух-трех известных лицах и изданиях, о которых и упоминать бы не стоило; но он понемногу оживился, поднял глаза, и все лицо его преобразилось. Прежнее суровое, почти болезненное выражение заменилось другим: открытым, оживленным и светлым; привлекательная улыбка заиграла на его губах и засветилась золотыми искорками в его голубых глазах, красоту которых я только тогда и заметил. Белинский сам навел речь на то настроение, под влиянием которого он написал свои прошлогодние статьи, особенно одну из них, и, с безжалостной, пре-

увеличенной резкостью осудив их, как дело прошлое и темное, беззастенчиво высказал перелом, совершившийся в его убеждениях[3]. Я с намерением употребил слово: беззастенчиво. Белинский не ведал той ложной и мелкой щепетильности эгоистических натур, которые не в силах сознаться в том, что они ошиблись, потому что им их собственная непогрешимость и строгая последовательность поступков, часто основанные на отсутствии или бедности убеждений, дороже самой истины. Белинский был самолюбив, но себялюбия, но эгоизма в нем и следа не было; собственно себя он ставил ни во что: он, можно сказать, простодушно забывал о себе перед тем, что признавал за истину; он был живой человек — шел, падал, поднимался и опять шел вперед как живой человек. Спешу прибавить, что падал он только на пути умственного развития: других падений он не испытывал и испытать не мог, потому что нравственная чистота этого — как выражались его противники (где они теперь!) — *«циника»* была поистине изумительна и трогательна; знали о ней только близкие его друзья, которым была доступна внутренность храма.

Белинский встал с дивана и начал расхаживать по комнате, понюхивая табачок, останавливаясь, громко смеясь каждому мало-мальски острому слову, своему и чужому. Должно сказать, что, собственно, блеску в его речах не было: он охотно повторял одни и те же шутки, не совсем даже замысловатые; но когда он был в ударе и умел сдерживать свои нервы (что ему не всегда удавалось: он иногда увлекался и кричал), не было возможно представить человека более красноречивого, в лучшем, в русском смысле этого слова: тут не было ни так называемых цветов, ни подготовленных эффектов, ни искусственного закипания, ни даже того опьянения собственным словом, которое иногда принимается и самим говорящим и слушателями за «настоящее дело»; это было неудержимое излияние нетерпеливого и порывистого, но светлого и здравого ума, согретого всем жаром чистого и страстного сердца и руководимого тем тонким и верным чутьем правды и красоты, которого почти ничем не заменишь [4]. Белинский был именно тем, что мы бы решились назвать центральной натурой; то есть он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру, к самой сути своего народа, а потому самые его недостатки, как, например, его малый запас познаний, его неусидчивость и неохота к медленным трудам, получали характер как бы необходимости, имели значение

историческое[5]. Человек ученый не мог бы быть истинным представителем нашего общества двадцать лет тому назад; он бы не мог быть им даже теперь. Но это не мешало Белинскому сделаться одним из руководителей общественного сознания своего времени. Ибо, во-первых, он хотя и не был учен, знал, однако, довольно для того, чтоб иметь право говорить и наставлять других; а во-вторых — он знал именно то, что нужно было знать, и это знание срослось у него с жизнью, как во всякой центральной натуре. Можно быть человеком весьма умным, блестящим и замечательным и находиться в то же время на периферии, на окружности, если можно так выразиться, своего народа... Всякому случалось встречать такие натуры: нельзя не сожалеть об их бесплодности, но удивляться ей нечего. Однако я отвлекаюсь от предмета моего письма.

После первого моего посещения Белинского я виделся с ним несколько раз в продолжение зимы. На Святой я уехал в деревню и уже опять встретился с ним летом на даче Лесного института. Тут мы сошлись с ним окончательно и видались почти каждый день[6]. В то время (публика об этом давно забыла — я по крайней мере льщу себя этой надеждой) я напечатал небольшой рассказ в стихах[7], который, в силу некоторых, едва заметных, крупиц чего-то похожего на дарование, заслужил одобрение Белинского, всегда готового протянуть руку начинающему и приветствовать все, что хотя немного обещало быть полезным приращением тому, что Белинский любил самой страстной любовью, — русской словесности. Он даже напечатал статью об этом рассказе в «Отечественных записках»[8], — статью, — которую я не могу вспомнить не краснея; зато в весьма непродолжительном времени надежды Белинского на мою литературную будущность значительно охладели, И он стал считать меня способным на одну лишь критическую и этнографическую деятельность. Как бы то ни было, но наше сближение летом 1843 года имело результатом продолжительные шестичасовые беседы, в течение которых мы с Белинским касались всех возможных предметов, преимущественно, однако, философских и литературных...

Он занимал одну из тех сбитых из барочных досок и оклеенных грубыми пестрыми обоями клеток, которые в Петербурге называются дачами; состоял при этой даче какой-то неприятный, всем доступный садишко, где растения не могли — да, кажется, и не хотели — дать тени;[9] сообщения с Петербургом были затруднительны — в ближ-

ней лавочке не находилось ничего, кроме дурного чаю и такого же *сахару*, — словом, удобств никаких! Помнится, Белинский, человек совершенно непрактический в житейском смысле, купил, между прочим, по совету доктора, козу для молока, а у козы за старостью лет молока не оказалось. Но лето стояло чудесное — и мы с Белинским много гуляли по сосновым рощицам, окружающим Лесной институт; запах их был полезен его уже тогда расстроенной груди. Мы садились на сухой и мягкий, усеянный тонкими иглами мох — и тут-то происходили между нами те долгие разговоры, о которых я упомянул выше. Я тогда недавно воротился из Берлина, где занимался философией Гегеля;[10] Белинский расспрашивал меня, слушал, возражал, развивал свои мысли — и все это он делал с какой-то алчной жадностью, с каким-то стремительным домогательством истины. Трудно было иногда следить за ним; человеку хотелось — по человечеству — отдохнуть, но он не знал отдыха — и ты поневоле отвечал и спорил — и нельзя было пенять на это нетерпение: оно вытекало из самых недр взволнованной души. Страстная по преимуществу натура Белинского высказывалась в каждом слове, в каждом движении, в самом его молчании; ум его постоянно и неутомимо работал; но теперь, когда я вспоминаю о наших разговорах, меня более всего поражает тот глубокий здравый смысл, то, ему самому не совсем ясное, но тем более сильное, сознание своего призвания, сознание, которое при всех его безоглядочных порывах не позволяло ему отклоняться от единственно полезной в то время деятельности: литературно-критической, в обширнейшем смысле слова. Критика его не имела тогда (да и после) никакой заранее определенной системы: собственно, теория критики, рассуждения о разных ее родах и т. д. его мало занимали; он и в этом был прямо русский, не отвлеченный человек. Для него литература была одним из самых полных проявлений живых сил народа; он требовал от критика вообще — и от себя — не столько изучения народа и его истории, сколько любви к нему и понимания его, вместе с пониманием художества и поэзии, и полагал, что с этими данными критик имеет право выражать свое мнение. Он чувствовал, что в то время, когда он писал, прямо действовать на общественное сознание было невозможно; разработывать массу данных фактов, вносить критический анализ в историю нашей литературы — для этого ему недоставало сведений, а главное, тогда было не до того. Тогда следовало расчис-

тить самый родник, уяснить первоначальные понятия современников о том, что в словесности нашей представлялось как правда и как красота, следовало сказать обо всех ее явлениях искреннее и смелое слово — и Белинский принялся за это дело со всей несокрушимой энергией своей восторженной натуры. В этом деле никто не был его учителем, руководителем: из кружка своих московских друзей он вынес почти все свои познания, знакомство с результатами науки; он многим был им обязан, они дали ему в руки орудие, но никто не мог сказать ему, как им действовать, против кого сражаться; он как будто проводил их идеи, исполнял их замыслы, — но ни один из его товарищей-наставников не был в состоянии заменить его, делать *его* дело, потому что он превосходил их всех без исключения силой и тонкостию эстетического понимания, почти непогрешительным вкусом. При его страстном желании быть всегда истинным, при отсутствии в нем всякой мелкой щепетильности, Белинский легко поддавался влиянию людей, которых он уважал и которым верил. В его натуре лежала склонность к преувеличению, или, говоря точнее, к беззаветному и полному высказыванию всего того, что ему казалось справедливым; осторожность, предусмотрительность были ему чужды; стоило только взглянуть на полулисты, которые он посылал в типографию, на эти прямые, как стрелы, строки его быстрого, крупного, своеобразного почерка, почти без помарок, чтобы понять, что это писал человек, который не взвешивал и не рассчитывал свои выраженья. Оттого он часто увлекался и впадал в противоречия с самим собою, на которые враги его указывали потом с злорадным и бесплодным торжеством; оттого он в течение года внезапно начал наполнять свои статьи школьными выражениями немецкой философии, которым он сам почти добродушно радовался; оттого он иногда, читая между строками у авторов вроде Красова, превозносил их за то, что он один прочел, за то, на что они едва намекали [11]. Но со всем тем можно утвердительно сказать, что этот наплыв, что эти набежавшие волны не касались его почвы и что он даже в самых далеких своих «странствованиях» все-таки оставался самим собою, то есть оригинальным и самобытным мыслителем, едва ли не самым замечательным критиком своего времени. С этим, вероятно, согласятся все те, которые внимательно прочтут его недавно собранные и изданные сочинения. Особенно замечательны и интересны были его критические отношения к

Пушкину, Гоголю и Лермонтову — этим трем далеко не одинаково даровитым, но полнейшим представителям нашей поэзии. Впрочем, я намерен поговорить об этом с вами во втором моем письме, которое последует вскоре. Но не могу теперь же не рассказать вам один случай, в котором особенно ясно высказался характер Белинского. В первые дни своего пребывания на даче Лесного института его занимал один очень важный религиозный вопрос: поверите ли, что в течение восьми дней, пока он не добился удовлетворительного, по его мнению, разрешения своих сомнений, он был в лихорадке, ни о чем другом говорить не мог, не понимал даже, как можно говорить о чем-нибудь другом, пока вопрос такой важности не разрешен, и упрекал меня в легкомыслии, как только я позволял себе малейшее уклонение. Черта, быть может, забавная, но над которой стоит призадуматься, особенно нам, русским *людям*, — и особенно теперь!

И. С. ТУРГЕНЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ

Личное мое знакомство с В. Г. Белинским началось в Петербурге, летом 1843 года; но имя его стало мне известным гораздо раньше [1]. Вскоре после появления его первых критических статей в «Молве» и «Телескопе» (1836—1839) [2] в Петербурге начали ходить слухи о нем как о человеке весьма бойком, горячем, который ни перед чем не отступал и нападал на «все» — на все в литературном мире, конечно. Другого рода критика была тогда немыслима — в печати. Многие, даже между молодежью, осуждали его и находили, что он слишком смел и далеко заносится; старинный антагонизм Петербурга и Москвы придавал еще более резкости тому недоверию, с которым читатели на берегах Невы относились к новому московскому светилу. Притом его плебейское происхождение (отец его был лекарь, а дед дьякон) возмущало аристократический дух, установившийся в нашей литературе с александровских времен, времен «Арзамаса» [3] и т. п. В тогдашнее темное, подпольное время сплетня играла большую роль во всех суждениях — литературных и иных... Известно, что сплетня и до сих пор не совсем утратила свое значение, исчезнет она только в лучах полной гласности и свободы. Целая легенда тотчас сложилась и о Белинском. Говорили, что он недоучившийся казенный студент, выгнанный из университета тогдашним попечителем Голохвастовым за развратное поведение (Белинский — и развратное поведение!); [4] уверяли, что и наружность его самая ужасная; что это какой-то циник, бульдог, призренный Надеждиным с целью травить им своих врагов; упорно, и как бы в укоризну, называли его «Беллынским». Слышались, правда, голоса и в его пользу; помнится, издатель почти единственного тогдашнего толстого журнала отзывался о нем, как о птичке с ноготком, как о живчике, которого не худо

бы завербовать, — что, как известно, и было впоследствии приведено в исполнение, к великому преуспеянию журнала и к великой выгоде самого... издателя[5]. Что касается до меня, то знакомство мое с Белинским как писателем произошло следующим образом.

Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 году маленькой книжечкой с неизбежной виньеткой на заглавном листе — как теперь ее вижу, — и привели в восхищение все общество, всех литераторов, критиков — всю молодежь. И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался «Утесом», «Горами» и даже «Матильдой» на жеребце, гордившейся «усестом красивым и плотным». Вот, в одно утро, зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился № «Телескопа» с статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова[6]. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски — и, разумеется, также воспылал негодованием. Но — странное дело! — и во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что *он был прав...* Прошло несколько времени — и я уже не читал Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, — мнения, казавшиеся дерзкой новизною, — стали всеми принятым, общим местом — «a truism», как выражаются англичане? Под *этот* приговор подписалось потомство, как и под многие другие, произнесенные тем же судьей. Имя Белинского с тех пор уже не изгладилось из моей памяти, но личное наше знакомство началось позже.

Когда появилась та небольшая поэма «Параша», о которой я говорил выше[7], я в самый день отъезда из Петербурга в деревню сходил к Белинскому (я знал, где он жил, но не посещал его и всего два раза встретился с ним у знакомых) и, не назвавшись, оставил его человеку один эк-

земпляр. В деревне я пробыл около двух месяцев и, получив майскую книжку «Отечественных записок», прочел в ней длинную статью Белинского о моей поэме. Он так благосклонно отозвался обо мне, так горячо хвалил меня, что, помнится, я почувствовал больше смущения, чем радости. Я не «мог поверить», и когда в Москве покойный Киреевский (И. В.) подошел ко мне с поздравлениями, я поспешил отказаться от своего детища, утверждая, что сочинитель «Параши» не я. Возвратившись в Петербург, я, разумеется, отправился к Белинскому, и знакомство наше началось. Он вскоре уехал в Москву — жениться, а возвратившись оттуда, поселился на даче в Лесном[8]. Я также нанял дачу в первом Парголове и до самой осени почти каждый день посещал Белинского. Я полюбил его искренно и глубоко; он благоволил ко мне.

Опишу его наружность. Известный литографический едва ли не единственный портрет его дает о нем понятие неверное[9]. Срисовывая его черты, художник почел за долг воспарить духом и украсить природу и потому придал всей голове какое-то повелительно-вдохновенное выражение, какой-то военный, чуть не генеральский поворот, неестественную позу, что вовсе не соответствовало действительности и нисколько не согласовалось с характером и обычаем Белинского. Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалой грудью и понурой головою. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так называемый habitus * этой злой болезни. Притом же он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Бе-

* наружный вид (*лат.*).

линского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша» *[10]. Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда, в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах, он торопливой и неровной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг, — тот не мог составить себе верного о нем понятия, — и я до некоторой степени понимаю восклицание одного провинциала, которому его указали: «Я только в лесу таких волков видывал, и то травленых!» Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся. Дома он обыкновенно носил серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно. Его выговор, манеры, телодвижения живо напоминали его происхождение; вся его повадка была чисто русская, московская; недаром в жилах его текла беспримесная кровь — принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы.

Белинский был — что у нас редко — действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно. Люди, которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его «наглости», возмущались его «грубостью», писали на него доносы, распространяли про него клеветы, — эти люди, вероятно, удивились бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцарства; что вел он жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губ. В этом последнем отношении он не походил на тогдашних москвичей. Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что он признавал за истину, в силу своих принципов. Приведу один пример. Вскоре после моего знакомства с ним его снова начали тревожить те вопросы, которые, не получив разрешения или получив разрешение одностороннее, не дают покоя человеку, осо-

* Стих Некрасова. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

бенно в молодости: философические вопросы о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к божеству, о происхождении мира, о бессмертии души и т. п. Не будучи знаком ни с одним из иностранных языков (он даже по-французски читал с великим трудом) и не находя в русских книгах ничего, что могло бы удовлетворить его пытливость, Белинский поневоле должен был прибегать к разговорам с друзьями, к продолжительным толкам, суждениям и расспросам; и он отдавался им со всем лихорадочным жаром своей жаждавшей правды души. Таким именно путем он, еще в Москве, усвоил себе, между прочим, главные выводы и даже терминологию гегелевской философии, беспрекословно царившей тогда в умах молодежи. Дело не обходилось, конечно, без недоразумений, иногда даже комических: друзья-наставники Белинского, передававшие ему всю суть и весь сок западной науки, часто сами плохо и поверхностно ее понимали; * но уже Гете сказал, что —

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst... **

а Белинский был именно ein guter Mann, — был правдивый и честный человек. К тому же его в этих случаях выручал замечательный инстинкт, которым он был одарен; но об этом речь впереди. Итак, когда я познакомился с Белинским, его мучили сомнения [13]. Эту фразу я часто слышал и сам употреблял не однажды, но в действительности и вполне она применялась к одному Белинскому. Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; он не позволял себе забыться и не знал усталости; он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало,

* Много хлопот тогда наделало в Москве известное изречение Гегеля: «Что разумно — то действительно, что действительно — то разумно». С первой половиной изречения все соглашались, но как было понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что тогда существовало в России, за разумное? Толковали, толковали и порешили: вторую половину изречения *не допустить*. Если б кто-нибудь шепнул тогда молодым философам, что Гегель *не все существующее признает за действительное,* — много бы умственной работы и томительных прений было сбережено; они увидали бы, что эта знаменитая формула, как и многие другие, есть простая тавтология и, в сущности, значит только то, что «opium facit dormire, quare est in eo virtus dormitiva» — то есть опиум заставляет спать по той причине, что в нем есть снотворная сила (Мольер) [11]. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

** Добрый человек и в неясном своем стремлении всегда имеет сознание прямого пути [12]. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

как только я приду к нему, он, исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было нелегко. «Мы не решили еще вопроса о существовании бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть!..» Сознаюсь, что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова; и если, при воспоминании об *этой* правдивости, об *этой* небоязни смешного, улыбка может прийти на уста, то разве — улыбка умиления и удивления...

Лишь добившись удовлетворившего его в то время результата, Белинский успокоился и, отложив размышления о тех капитальных вопросах, возвратился к ежедневным трудам и занятиям. Со мной он говорил особенно охотно потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался гегелевской философией и был в состоянии передать ему самые свежие, последние выводы. Мы еще верили тогда в действительность и важность философических и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер... Впрочем, мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления.

Сведения Белинского были необширны; он знал мало, и в этом нет ничего удивительного. В отсутствии трудолюбия, в лени даже враги не обвиняли его; но бедность, окружавшая его сызмала, плохое воспитание, несчастные обстоятельства, ранние болезни, а потом необходимость спешной работы из-за куска хлеба — все это вместе взятое помешало Белинскому приобрести правильные познания,

хотя, например, русскую литературу, ее историю он изучил основательно. Но скажу более: именно это недостаточное знание является в этом случае характеристическим признаком, почти необходимостью. Белинский был тем, что я позволю себе назвать *центральной натурой;* он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне и с хороших и с дурных его сторон. Ученый человек — не говорю «образованный» — это другой вопрос, но ученый человек, именно в силу своей учености, не мог бы быть в сороковых годах такой русской центральной натурой; он не вполне соответствовал бы той среде, на которую пришлось бы ему действовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармонии бы не было, и, вероятно, не было бы обоюдного понимания. Вожди своих современников в деле критики общественной, эстетической, в деле критического самосознания (мне кажется, что мое замечание имеет применение общее, но на этот раз я ограничусь одною *этой* стороной), вожди современников, говорю я, должны, конечно, стоять выше их, обладать более нормально устроенной головою, более ясным взглядом, большей твердостью характера; но между этими вождями и их последователями не должно быть бездны. Одно слово: «последователь» — уже предполагает возможность шествия по одному направлению, тесной связи. Вождь может возбуждать негодование, досаду в тех, которых он тревожит, поднимает с места, двигает вперед; проклинать они его могут, но понимать они должны его всегда. Он должен стоять выше их, да, но и близко к ним; он должен участвовать не в одних их качествах и свойствах, но и в недостатках их: он тем самым глубже и больнее чувствует эти недостатки, Сенковский был не в пример ученее, не говорю уже Белинского, но и большей части своих русских современников; а какой след оставил он? Мне скажут, что его деятельность была бесплодна и вредна не потому, что он был ученый, а потому, что у него не было убеждений, что он был нам чужой, не понимал нас, не сочувствовал нам; против этого я спорить не стану, но мне кажется, что самый его скептицизм, его вычурность и гадливость, его презрительное глумление, педантство, холод, все его особенности отчасти происходили оттого, что у него, как у человека ученого, специалиста, и цели и симпатии были другие, чем у массы общества. Сенковский был не только учен, он был остроумен, игрив, блестящ; молодые чиновники и офицеры восхищались им, особенно в провинции; но не

того было нужно массе читателей, а того, что было нужно: критического и общественного чутья, вкуса, понимания насущных потребностей эпохи и, главное, жара, любви к меньшой, невежественной братии — у него и следа не замечалось. Он забавлял своих читателей, втайне презирая их, как неучей; и они забавлялись им — и на грош ему не верили. Смею надеяться, что мне не станут приписывать желания защищать и как бы рекомендовать невежество: я указываю только на физиологический факт в развитии нашего сознания. Понятно, что какой-нибудь Лессинг, для того чтобы стать вождем *своего* поколения, полным представителем *своей* народности, должен был быть человеком почти всеобъемлющей учености; в нем отражалась, в нем находила свой голос, свою мысль Германия, он был *германской центральной натурой.* Но Белинский, который до некоторой степени заслуживает название русского Лессинга, Белинский, значение которого, по смыслу и влиянию своему, действительно напоминает значение великого германского критика, мог сделаться тем, чем он был, и без большого запаса научных познаний. Он смешивал старшего Питта (лорда Чатама) с его сыном, В. Питтом, — что за беда! «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...» [14] Для того, что ему предстояло исполнить, он знал довольно. Откуда он бы взял тот жар и ту страсть, с которыми он постоянно и всюду ратовал за просвещение, если б он на самом деле не испытал всю горечь невежества? Немец старается исправить недостатки своего народа, убедившись размышлением в их вреде; русский еще долго будет сам болеть ими.

Белинский бесспорно обладал главными качествами великого критика; и если в деле науки, знания ему приходилось заимствовать от товарищей, принимать их слова на веру — в деле критики ему не у кого было спрашиваться; напротив, другие слушались его; почин оставался постоянно за ним. Эстетическое чутье было в нем почти непогрешительно; взгляд его проникал глубоко и никогда не становился туманным. Белинский не обманывался внешностью, обстановкой, не подчинялся никаким влияниям и веяниям; он сразу узнавал прекрасное и безобразное, истинное и ложное и с бестрепетной смелостью высказывал свой приговор — высказывал его вполне, без урезок, горячо и сильно, со всей стремительной уверенностью убеждения.

Кто бывал свидетелем критических ошибок, в которые впадали даже замечательные умы (стоит вспомнить хоть Пушкина, который в «Марфе Посаднице» г-на Погодина видел «что-то шекспировское»!)[15], — тот не мог не почувствовать уважения перед метким суждением, верным вкусом и *инстинктом* Белинского, перед его уменьем «читать между строками». Не говорю уже о статьях, в которых он отводил подобающее им место прежним деятелям нашей словесности; не говорю также и о тех статьях, которыми определялось значение писателей еще живых, подводился итог их деятельности, итог принятый и скрепленный, как уже сказано выше, потомством; * но при появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести — никто, ни прежде Белинского, ни лучше его, не произносил правильной оценки, настоящего, решающего слова. Лермонтов, Гоголь, Гончаров — не он ли первый указал на них, разъяснил их значение? И сколько других! Без невольного удивления перед критической диагнозой Белинского нельзя прочесть, между прочим, ту небольшую выноску, сделанную им в одном из своих годичных обозрений, в которой он, по одной песне о купце Калашникове, появившейся без подписи в «Литературной газете», предрекал великую будущность автора[16]. Подобные черты встречаются беспрестанно у Белинского. Приведу один пример. В 1846 году в «Отечественных записках» появилась повесть г-на Григоровича под заглавием «Деревня», по времени *первая* попытка сближения нашей литературы с народной жизнью, первая из наших «деревенских историй» — Dorfgeschichten. Написана она была языком несколько изысканным — не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта было несомненно. Покойный И. И. Панаев, человек добродушный, но крайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи верхушек, уцепился за некоторые смешные выражения «Деревни» и, обрадовавшись случаю поглумиться, стал поднимать на смех всю повесть, даже читал в приятельских домах некоторые, по его мнению, самые забавные страницы. Но каково же было его изумление, каково недоумение хохотавших приятелей, когда Белинский, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно

---

* См. статьи его о Марлинском, Баратынском, Загоскине в т. д. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности? Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки из «Деревни», но уже восхищаясь ими, — что он и сделал.

Не могу на этом месте не упомянуть кстати о мистификации, которой в то время неоднократно подвергался один издатель толстого журнала, столь же одаренный практическими талантами, сколь обиженный природою насчет эстетических способностей [17]. Ему, например, кто-нибудь из кружка Белинского приносил новое стихотворение и принимался читать, не предварив своей жертвы ни одним словом, в чем состояла суть стихотворения и почему оно удостоивалось прочтения. Тон сперва пускался в ход иронический; издатель, заключавший из этого тона, что ему хотят представить образчик безвкусия или нелепости, начинал посмеиваться, пожимать плечами; тогда чтец переводил понемногу тон из иронического в серьезный, важный, восторженный; издатель, полагая, что он ошибся, не так понял, начинал одобрительно мычать, качать головою, иногда даже произносил: «Недурно! хорошо!» Тогда чтец снова прибегал к ироническим нотам и снова увлекал за собою слушателя, возвращался к восторженному настроению — и тот опять похваливал... Если стихотворение попадалось длинное, подобные вариации, напоминающие игру в головки из каучука, то и дело меняющие свое выражение под давлением пальцев, можно было совершить несколько раз. Кончалось тем, что несчастный издатель приходил в совершенный тупик и уже не изображал на своем, впрочем весьма выразительном, лице ни сочувственного одобрения, ни сочувственного порицания. У Белинского нервы не были довольно крепки, сам он не предавался подобным упражнениям; да и правдивость его была слишком велика — он не мог изменить ей даже ради шутки, но смеялся он до слез, когда ему сообщали подробности мистификации.

Другое замечательное качество Белинского как критика было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем сказывается «злоба дня». Не в пору гость хуже татарина, гласит пословица; не в пору возвещенная истина хуже

лжи, не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов;[18] он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура *, Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас, в России, в 1862 году) подобных нападений; он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им! Белинский очень хорошо сознавал, что при обстановке, среди которой он действовал, ему не следовало выходить из круга чисто литературной критики. Во-первых, при тогдашних официальных, житейских, цензурных условиях иначе действовать было слишком затруднительно; уже и так он едва мог устоять против бури угроз и доносов, которую возбудило его отрицание наших псевдоклассических авторитетов; а во-вторых, он очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что, не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед; что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные — и что именно в этом и состояло его собственное призвание. Его политические, социальные убеждения были очень сильны и определительно резки; но они оставались в сфере инстинктивных симпатий и антипатий. Повторяю: Белинский знал, что нечего было думать применять их, проводить их в действительность; да если б оно и стало возможным — в нем самом не было ни достаточной подготовки, ни даже потребного на то темперамента; он и это знал — и, с свойственным ему практическим пониманием своей роли, сам ограничил круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы **. Зато как *литературный критик* он был именно тем, что англичане называют «the right man on the right place», «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать об его преемниках. Правда и то, что

---

* Пишущий эти строки своими ушами слышал, как один молодой почитатель Добролюбова, за карточным столом, желая упрекнуть своего партнера в сделанной им грубой ошибке, воскликнул: «Ну, брат, какой же ты Кавур!» Признаюсь, мне стало грустно: не за Кавура, разумеется! (*Прим. И. С. Тургенева.*)

** См. второе прибавление в конце отрывка. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

задача их была труднее и сложнее. Незадолго до смерти Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шаг, выйти из того тесного круга; политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные; но сам он себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника, — на В. Н. Майкова, брата поэта;[19] к сожалению, этот талантливый молодой человек погиб в самом начале своего поприща и точно такой же смертью, какой погиб недавно другой много обещавший юноша, Д. И. Писарев[20].

Имя Писарева напоминает мне следующее. Весной 1867 года, во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь — посетил меня. Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине[21]. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду. «Вы, — начал я, — втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: «Несчастный друг» и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно — вы это сказали *нарочно,* с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру, — но преувеличение истины, карикатуру в дельном смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, в кого вы стреляете? Уж точно по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов; стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других, животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, *обязанный* прежде всех ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное, *должны* обратить внимание публики? Поход на стихотворцев

в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский — тот никогда бы не впал в такой просак!» Не знаю, что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною.

Само собою разумеется, что понимание Белинским своего времени, своего назначения не мешало его задушевным убеждениям сквозить в каждом слове его статей, тем более что его отрицательная деятельность на поприще критики как нельзя лучше соответствовала той роли, которую он бы, наверное, выбрал в политически развитом обществе. Чт*о* он чувствовал и чт*о* он думал, про то ведал он один, ведали и некоторые из его друзей; но чт*о* он делал, чт*о* он печатал — неуклонно и строго держалось литературной почвы и двигалось исключительно на ней. Только в известном одном письме [22] эта страсть, которую он

...во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской [23],

прорвалась наружу — как тот огонь, о котором говорит Лермонтов.

Я прошу у читателя позволения привести в этом месте отрывок из лекции о Пушкине, прочтенной мною в 1859 году перед немногочисленным обществом [24]. Стараясь изобразить характер эпохи 30-х, 40-х годов, я должен был упомянуть о гоголевской сатире, о лермонтовском протесте, а потом и о значении критики Белинского. Одно упоминовение этого имени возбудило негодование большей части моих слушателей. Вот этот отрывок. (Мне придется начать несколько издалека; но это неизбежно.)

«А между тем как наш великий художник (Пушкин), отвернувшись от толпы и приблизившись, насколько мог, к народу, обдумывал свои заветные творения, пока по душе его проходили те образы, изучение которых невольно зарождает в нас мысль, что он один мог бы подарить нас и народной драмой, и народной эпопеей, — в нашем обществе, в нашей литературе совершались если не великие, то знаменательные события. Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 год) [25] у нас понемногу сложилось убеждение, конечно справедливое,

но в ту эпоху едва ли не рановременное: убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы — великое, вполне овладевшее *собою,* незыблемо твердое государство и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы. Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванная им, явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене. Нужно ли называть их имена? Они в памяти у каждого — и стоит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина *. Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать *ложно-величавой школой,* продолжалось недолго, хотя отражение ее в сферах, менее подвергнутых анализу критики, чем собственно литературная, художественная сфера, не прекратилось и до сих пор. Оно продолжалось недолго — но что было шума и грома! Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя за гениев. Со всем тем что-то неистинное, что-то мертвенное чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества — и ни одного живого, самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России — во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, — а час падения приближался. Но не последние глубоко художественные произведения Пушкина были причиною этого падения. Если бы даже они явились при его жизни — мы сомневаемся, оценила ли бы их тогда оглушенная, сбитая с толку публика. Они

* Эти имена, которые я тогда не решился назвать, вероятно, приходят теперь на уста каждому читателю,— имена Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюллова, Каратыгина и др. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

не могли служить полемическим целям; они могли одержать, и они одержали, победу своей собственной красотой, сопоставлением этой красоты и силы с безобразием и слабостью того ложно-величавого призрака; но в первое время, именно для того, чтобы разоблачить этот призрак во всей его пустоте, нужны были другие орудия, другие, более пронзительные силы — силы байронического лиризма, который уже являлся у нас однажды, но поверхностно и несерьезно[26], и силы критики, юмора. И они не замедлили явиться. В сфере художества заговорил Гоголь, за ним Лермонтов; в сфере критики, мысли — Белинский.

...В прошлой беседе с вами мы говорили о том значении, которое будущий историк нашей литературы придаст появлению Пушкина; но, без сомнения, обратит на себя внимание наших Маколеев (если только нам суждено иметь Маколеев) и та минута, когда перед раздувшимся и раздутым, как бы официальным великаном предстали: с одной стороны, гусарский офицер, светский лев, из уст которого общество услыхало впервые неведомый ему прежде, беспощадный укор *, да темный малороссийский учитель с своей грозной комедией, на челе которой стояло эпиграфом: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»; а с другой стороны — такой же темный, недоучившийся студент, дерзнувший провозгласить, что у нас еще не было литературы, что Ломоносов не был поэтом, что не только Херасков и Петров, но и Державин и Дмитриев не могут нам служить образцами, что и новейшие великие люди ничего не сделали. Под совокупными усилиями этих трех, едва ли знакомых друг другу, деятелей рухнула не только та литературная школа, которую мы назвали ложно-величавою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины. Победа была решена скоро. В то же время умалилось и поблекло влияние самого Пушкина, того Пушкина, имя которого так было дорого самим нововводителям, которое они окружали такою полною любовью. Идеал, которому они служили — сознательно или бессознательно (Гоголь, как известно, до конца от него отчурался

---

* Прошу позволения привести слова одной тогдашней великосветской барыни, встретившей меня следующим восклицанием: «Avez-vous lu la «Douma»? Qui pouvait s'attendre à cela de la part de Lermontoff! Lui, qui venait de dire» <Читали ли вы «Думу»? Кто бы мог ожидать этого от Лермонтова! Он, который только что говорил>: «Я, матерь божия, *нонче* с молитвой! «C'est affreux!» <Это ужасно> (*Прим. И. С. Тургенева.*)

и отнекивался), — идеал этот не мог ужиться с пушкинским идеалом, назло им самим. Сила вещей сильнее всякой отдельной, личной силы — так же, как общее в нас сильнее наших собственных наклонностей. Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложно-величавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры. Вместо слова «наступило» мы бы могли, вспомнив Фонвизина, Новикова, употребить слово «возвращалось». Подобные «возвратные» обороты бегущего вперед исторического колеса известны всем наблюдателям жизни народов. Общество, пораженное незапным сознанием собственных недостатков, предчувствуя другие, еще более горькие разочарования в будущем — которые и сбылись *, — с жадностью обратило слух свой к новым голосам и принимало только то, что отвечало его новым потребностям. «Торквато Тассо» Кукольника, «Рука всевышнего» — исчезли, как мыльные пузыри; но и «Медным всадником» нельзя было любоваться в одно время с «Шинелью».

Здесь следовала довольно подробная характеристика Гоголя и Лермонтова, оканчивающаяся следующими словами:

«Сила независимой, критикующей, протестующей личности восстала против фальши, против пошлости — а на какой ступени общества тогда не царила пошлость? — против того ложно-общего, неправедно-узаконенного, что не имело разумных прав на подчинение себе личности...» И я продолжал так:

«Мы просим теперь у вас позволения остановиться на третьей личности, имя которой, мы это знаем, не совсем благозвучно в ваших ушах. Мы говорим о Белинском. С этим именем сопряжено воспоминание о некоторых увлечениях, но, смеем думать, и о великих заслугах. Слово его живет до сих пор, и мы не можем допустить, чтобы Россия, именно теперь ** с жадностью его читающая, была совершенно неправа в своей любви к нему. Мы упомянули о нем не потому, что были связаны с ним личными, дружественными отношениями; мы желаем обратить ваше внимание на самый принцип его деятельности. Имя этому принципу — идеализм: Белинский был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского

---

* Трех лет еще не прошло с Парижского мира 1856 года, когда я читал эти лекции. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

** Тогда только что вышли первые томы полного издания его сочинений. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доныне [27]. Этот кружок, находившийся под сильным влиянием германской философской мысли (замечательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживает особого историка. Вот откуда Белинский вынес те убеждения, которые не покидали его до самой смерти, тот идеал, которому он служил. Во имя этого идеала провозглашал Белинский художественное значение Пушкина и указывал на недостаток в нем гражданских начал; во имя этого идеала приветствовал он и лермонтовский протест и гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушал он старые авторитеты, наши так называемые славы, на которые он не имел ни возможности, ни охоты взглянуть с исторической точки зрения...»

Быть может, некоторые читатели удивятся слову «идеалист», которым я почел за нужное охарактеризовать Белинского. На это я замечу, что, во-первых, в 59-м году не было возможности называть многие вещи настоящими их именами; а во-вторых, мне — признаюсь в том — доставило немалое удовольствие объявить Белинского «идеалистом» перед сборищем людей, которым имя его представлялось неразрывно связанным с понятием о цинике, грубом материалисте и т. п. К тому же и самое название шло к нему. Белинский был настолько же идеалист, насколько отрицатель; он отрицал во имя идеала. Этот идеал был свойства весьма определенного и однородного, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией — Западом, наконец. Люди благонамеренные, но недоброжелательные употребляют даже слово: революция. Дело не в имени, а в сущности, которая до того ясна и несомненна, что и распространяться о ней не стоит: недоразумения тут немыслимы. Белинский посвятил всего себя служению этому идеалу; всеми своими симпатиями, всей своей деятельностью принадлежал он к лагерю «западников», как их прозвали их противники. Он был западником не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя; но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом — для развития собственных ее сил, собственного ее значения. Он верил, что нам нет дру-

гого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны *. Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями породы, истории, климата — впрочем, относиться и к ним свободно, критически, — вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть наконец самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают. Белинский был вполне русский человек, даже патриот — разумеется, не на лад М. Н. Загоскина; благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы. Да, Белинский любил Россию; но он так же пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы — вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился. Уверять, что он из одного раболепного и неосмысленного смирения недоучки преклонялся пред Западом, — значило не знать его вовсе; к тому же не смирением грешат обыкновенно недоучки. Белинский еще потому благоговел перед памятью Петра Великого и, не обинуясь, признавал его нашим спасителем, что уже при Алексее Михайловиче он в нашем старом общественном и гражданском строе находил несомненные признаки разложения — и, следовательно, не мог верить в правильное и нормальное развитие нашего организма, подобное тому, каким оно является на Западе. Дело Петра Великого было, точно, насилием, было тем, что в новейшее время получило название coup d'état **, но только по милости целого ряда этих насильственных, свыше исходящих мер были мы втолкнуты в семью европейских народов. Необходимость подобных реформ еще доныне не прекратилась. В подтверждение этого мнения можно было бы привести самые недавние примеры. Какое место мы уже заняли в той семье — это покажет история; но несомненно то, что мы шли до сих пор, и *должны* были идти (с чем господа славянофилы, конечно, не согласятся), должны были идти другими путя-

---

* Белинский часто читал между друзьями стихотворение Льва Пушкина, брата поэта, «Петр Великий» и с особенным чувством произносил стихи, в которых преобразователь представлен был влачащим —

Ряд изумленных поколений
Рукой могучей за собой[28].

(*Прим. И. С. Тургенева.*)

** Государственного переворота (*франц.*).

ми, чем более или менее органически развивавшиеся западные народы.

А что западнические убеждения Белинского ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая била во всем его существе, — тому доказательством служит каждая его статья *. Да, он чувствовал русскую суть как никто. Не признавая наших лжеклассических, лженародных авторитетов, ниспровергая их, он в то же время тоньше всех и вернее всех умел оценить и дать уразуметь другим то, что было действительно самобытного, оригинального в произведениях нашей литературы. Ни у кого ухо не было более чутко; никто не ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка; поэтический эпитет, изящный оборот речи поражали его мгновенно, и слушать его простое, несколько однообразное, но горячее и правдивое чтение какого-нибудь пушкинского стихотворения или лермонтовского «Мцыри» было истинным наслаждением. Прозу, особенно любимого своего Гоголя, он читал хуже, да и голос его скоро ослабевал.

Еще одно замечательное качество Белинского как критика состояло в том, что он был всегда, как говорят англичане, «in earnest»; ** он не шутил ни с предметом своих разысканий, ни с читателем, ни с самим собою; а позднейшее, столь распространенное глумление он бы отвергнул, как недостойное легкомыслие или трусость. Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком случае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственных убеждений. Человек свистит, хохочет... Поди угадывай, разумей его речь, куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, что точно достойно смеха, а быть может, и над собственным смехом «зубы скалит» [30]. Мне скажут, что бывают времена, когда можно только намекать на истину, и что смеющимся устам легче высказывать ее... Да разве Белин-

---

* См. его статьи о Пушкине, о Гоголе, о Кольцове — и особенно его статьи о народных песнях и былинах [29]. При слабости и скудости тогдашних филологических и археологических данных они поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

** «Серьезен» (*англ.*).

ский жил в такое время, когда можно было все высказывать начистоту? И, однако же, не прибегал он к глумлению, к «излюбленному» свистанию, к зубоскальству. Сочувственный смех, возбуждаемый в известной части публики тем «свистанием», недалеко ушел от того смеха, которым встречались безнравственные выходки Сенковского... И здесь и там выпячивалась та же склонность к грубой потехе, к гаерству, — склонность, к сожаленью, свойственная русскому человеку, и которую не следовало бы поблажать. Хохот невежества почти так же противен — так же и вреден — как его злоба. Впрочем, Белинский сам про себя говорил, что он шутить не мастер, ирония его была очень веска и неповоротлива; она тотчас становилась сарказмом, била не в бровь, а в глаз. И в разговоре, так же как и с пером в руке, он не блистал остроумием, не обладал тем, что французы называют esprit, не ослеплял игрою искусной диалектики; но в нем жила та неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и в конце концов увлекательно. При совершенном отсутствии того, что обыкновенно величают элоквенцией, при явной неспособности и неохоте к «уснащиванию», к фразе — Белинский был одним из красноречивейших русских людей, если принимать слово «красноречие» в смысле силы убеждения, той силы, которую, например, афиняне признавали в Перикле, говоря, что каждая речь его оставляла жало в душе каждого слушателя.

Белинский, как известно, не был поклонником принципа — искусство для искусства; да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, с какой комической яростью он однажды при мне напал на — отсутствующего, разумеется, — Пушкина за его два стиха в «Поэт и чернь»:[31]

Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь!

«И конечно, — твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол, — конечно, дороже. — Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю, — и прежде чем любоваться красотой истукана — будь он распрефидиасовский Аполлон — мое право, моя обязанность накормить своих — и себя, назло

всяким негодующим баричам и виршеплетам!» Но Белинский был слишком умен, у него было слишком много здравого смысла, чтобы отрицать искусство, чтобы не понимать не только его важность и значение, но и самую его естественность, его физиологическую необходимость. Белинский признавал в искусстве одно из коренных проявлений человеческой личности — один из законов нашей природы, указанных нам ежедневным опытом. Он не допускал искусства для одного искусства, точно так же, как бы он не допустил жизни для одной жизни: недаром же он был идеалист. Все должно было служить одному принципу, искусство — так же, как наука, но своим, особенным, специальным образом. Воистину детское, и к тому же не новое, подогретое объяснение искусства подражанием природе не удостоилось бы от него ни возражения, ни внимания; а аргумент о преимуществе настоящего яблока перед написанным уже потому на него бы не подействовал, что этот пресловутый аргумент лишается всякой силы — как только мы возьмем человека сытого[32]. Искусство, повторяю, было для Белинского такой же узаконенной сферой человеческой деятельности, как и наука, как общество, как государство... Но и от искусства, как и от всего человеческого, он требовал правды, живой, жизненной правды» *. Сам он, впрочем, в области искусства чувствовал себя дома только в поэзии, в литературе[33]. Живопись он не понимал и музыке сочувствовал очень слабо. Он сам очень хорошо сознавал свой недостаток и уж и не совался туда, куда ему заказана была дорога. Статьи Гоголя об Иванове и Брюллове могут служить поучительным примером, до какой уродливой фальши, до какого вычурного и лживого пафоса может завраться человек, когда заберется не в свою сферу[34]. Хор чертей в «Роберте-дьяволе» был единственной мелодией, затверженной Белинским: в минуты отличного расположения духа он подвывал басом этот дьявольский напев. Пение Рубини потрясало его; но не музыкальное совершенство ценил он в нем, а патетическую, стремительную энергию, драматизм выражения. Все драматическое, театральное глубоко проникало в душу Белинского, так и зажигало ее. Его статьи о Мочалове, о Щепкине, вообще о театре дышат страстью; надо было видеть, какое впечатление производило на него одно воспоминание об игре Мо-

---

* См. первое прибавление в конце отрывка. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

чалова в «Гамлете», о том, как он, в известной сцене представления трагедии перед преступным королем, произносил, задыхаясь от восторга и ненависти:

Оленя ранили стрелой...

Была одна причина, которая заставляла иногда Белинского избегать разговоров о театре, о драматической литературе, особенно с мало знакомыми людьми: он боялся, как бы не напомнили ему про его комедию «Пятидесятилетний дядюшка», написанную им некогда в Москве и напечатанную в «Наблюдателе» [35]. Комедия эта точно весьма слабое произведение; она принадлежит к худшему из родов — к слезливо-нравственному, сентиментально-добродетельному; в ней выводится великодушный дядюшка, влюбленный в свою племянницу и приносящий свою любовь в жертву юному сопернику. Все это изложено пространно, натянутым, мертвенным слогом... Белинский не имел никакого «творческого» таланта. Эта комедия, да еще статья о Менцеле были ахиллесовой пятой Белинского, и упомянуть о них при нем — значило оскорбить, огорчить его. Особенно статью о Менцеле он себе простить не мог: комедию свою он признавал эстетической, литературной ошибкой, а в той статье он видел ошибку гораздо худшего свойства. Статью о Менцеле он написал под мгновенным влиянием нетерпения, тоскливого желания перейти из области недосягаемых идеалов к чему-нибудь положительному, реальному, как будто то, что существовало тогда, могло иметь реальное значение, могло удовлетворить добросовестного человека! Бедный Белинский, конечно, не имел понятия, что за птица был господин Менцель, и взялся за это лицо чисто с априорической, отвлеченной точки зрения... [36] В этом случае недостаточное знание фактов сыграло с ним злую шутку... Существовала еще статейка о Бородинской годовщине. Я было как-то заговорил с ним о ней... Он зажал себе уши обеими руками и, низко наклонясь вперед и качаясь из стороны в сторону, зашагал по комнате. Впрочем, он поболел квасным патриотизмом недолго [37]. Вообще лучшие статьи Белинского были написаны им в начале и перед концом его карьеры; в середине проскочила полоса, продолжавшаяся года два, в течение которой он, начинившись гегелевской философией и не переварив ее, всюду с лихорадочным рвением пичкал ее аксиомы, ее известные тези-

сы и термины, ее так называемые Schlagwörter. В глазах рябило от множества любимых тогдашних оборотов и выражений! * Надо ж было и Белинскому заплатить дань своему времени! Но эта волна скоро сбежала, оставив за собою только хорошие семена, и снова явился во всей своей мужественной и бесхитростной простоте русский язык Белинского, славный язык, ясный и здравый. Белинский, можно сказать, импровизировал свои статьи; писал он их в последние дни месяца, стоя перед конторкой, на отдельных полулистах, без помарок, крупным, круглым почерком. Он не имел времени вычищать слог, взвешивать и обдумывать каждое выражение, и потому поневоле впадал в некоторую многоглаголивость; но до безграничной болтливости, которая, должно признаться, с легкой руки покойного Писарева утвердилась у нас в критическом отделе журналов, он далеко не доходил; статьи его все-таки оставались литературным произведением и не превращались в дряблый разговор, в пухлые вариации на избитые темы — вариации, от которых, несмотря на весь их задор, так и отдает ученической тетрадью.

Всем известно, какую обузу наваливал на Белинского расчетливый издатель журнала, в котором он участвовал. Какие сочинения не приходилось ему разбирать — и сонники, и поваренные и математические книги, в которых он ровно ничего не смыслил! Зато, когда после аккуратного выхода журнала в первое число месяца наступало несколько дней отдыха, как он наслаждался им, как предавался удовольствию бездействия, беседы с приятелями, а иногда и карточной игры в копеечный преферанс! Играл он плохо, но с тою же искренностью впечатлений, с тою же страстностью, которые ему были присущи, что бы он ни делал! Помнится, мы однажды играли с ним, не в деньги — а *так;* он выигрывал и торжествовал... но вдруг обре-

---

* Советую любопытному читателю, желающему наглядно убедиться, до чего могло дойти тогдашнее философствование, отыскать в Смеси одной из книжек «Отечественных записок» за 40 или 41-й год статейку, написанную, впрочем, не Белинским, а самим издателем, — в защиту выражения, употребленного Искандером, будто бы «Наполеон — кверху ногами поставленный Карл Великий», — выражения, поднятого на смех другим журналом. Комизм тут тем более забавен, что весь проникнут угрюмой важностью и даже не подозревает, до какой степени он прелестен! [38] (*Прим. И. С. Тургенева.*)

мизился, остался без четырех. Потемнел мой Белинский пуще осенней ночи, опустил голову, как к смерти приговоренный. Выражение страдания, отчаяния так было искренне на его лице, что я наконец не выдержал и воскликнул, что это уже ни на что не похоже; что если так огорчаться, так лучше совсем бросить карты! «Нет, — отвечал он глухо и взглянул на меня исподлобья, — все кончено; я только до бубновой игры и жил!» — И в это мгновение, я ручаюсь, он действительно был убежден в том, что говорил.

Я часто ходил к нему после обеда отводить душу. Он занимал квартиру в нижнем этаже, на Фонтанке, недалеко от Аничкова моста, — невеселые, довольно сырые комнаты. Не могу не повторить: тяжелые тогда стояли времена; нынешним молодым людям не приходилось испытать ничего подобного. Пусть читатель сам посудит: утром тебе, быть может, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; может быть, тебе даже пришлось съездить к цензору и, представив напрасные и унизительные объяснения, оправдания, выслушать его безапелляционный, часто насмешливый приговор... * На улице тебе попалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генерал, и даже не начальник, а так, просто генерал, оборвал или, что еще хуже, поощрил тебя... Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов,

* Особенным юмором отличался при подобных свиданиях цензор Ф<рейганг>, тот самый, который говаривал: «Помилуйте — я все буквы оставлю: только дух повытравлю». Он мне сказал однажды, с чувством глядя мне в глаза: «Вы хотите, чтоб я не вымарывал. Но посудите сами: я не вымараю — и могу лишиться трех тысяч рублей в год, а вымараю — кому от этого какая печаль? — Были словечки, нет словечек — ну, а дальше? Как же мне не марать?! Бог с вами!» (*Прим. И. С. Тургенева.*)

страх и приниженность во всех, хоть рукой махни! Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор, и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно била в глаза всякому. Общий колорит наших бесед был философско-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический. Иногда выходило очень интересно и даже сильно; иногда несколько поверхностно и легковесно. При всей серьезности и действительной возвышенности своей натуры, Белинский поступал иногда, как ребенок: услышит что-нибудь, что ему очень понравится, какое-нибудь место из Жорж Санда или П. Леру — тогда он входил в моду и о нем таинственно (!) переписывались под именем *Петра Рыжего* — услышит и тотчас попросит списать ему это место и нянчится с ним. Но все это шло к нему; живой русский человек сказывался и тут. Иногда безделица его задевала. Однажды он целых шесть недель носил у себя в кармане книжку гетевского «Западно-восточного Дивана» (Westöstlicher Divan) вот по какому поводу. Я ему как-то цитировал оттуда стих: «Lebt man denn, wenn andere leben?» («Можно ль жить, когда живут другие?»)[39]. Он повторил этот стих в укор эгоизму Гете перед А. Н. С<труговщиковым>, некогда известным переводчиком гетевских стихотворений; тот усомнился в точности цитаты и чуть ли не подтрунил над легковерностью Белинского. Вот он и выпросил у меня экземпляр «Дивана» и постоянно имел его с собою, чтоб при встрече поразить С<труговщикова>»; но встречи этой, к великой досаде Белинского, не состоялось. В последние два года его жизни он, под влиянием все более и более развивавшейся болезни, стал очень нервозен — и хандра на него находила.

Я виделся с Белинским в течение четырех зим — с 1843 по 1846 год, и особенно часто перед январем 1847 года, когда я отправился надолго за границу[40] и когда был основан «Современник», то есть куплен у покойного П. А. Плетнева. История *основания* этого журнала представляет много поучительного... Но изложить ее в точности пока еще трудно: пришлось бы поднимать старые дрязги. Довольно сказать, что Белинский был по-

степенно и очень искусно устранен от журнала[41], который был создан собственно для него, его именем приобрел сотрудников и пополнялся в течение целого года капитальными статьями, приобретенными Белинским для большого затеянного им альманаха. Белинский для «Современника» разорвал связь с «Отечественными записками», а оказалось, что в новом журнале он вместо хозяйского места, на которое имел полное право, занял то же место постороннего сотрудника, наемщика, какое было за ним и в старом. У меня в руках находятся любопытные письма Белинского, относящиеся к этому времени: небольшие отрывки из них читатели найдут ниже. Что касается собственно до меня, то должно сказать, что он после первого приветствия, сделанного моей литературной деятельности[42], весьма скоро — и совершенно справедливо — охладел к ней; не мог же он поощрять меня в сочинении тех стихотворений и поэм, которым я тогда предавался. Впрочем, я скоро догадался сам, что не предстояло никакой надобности продолжать подобные упражнения, — и возымел твердое намерение вовсе оставить литературу; только вследствие просьб И. И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел смеси в первом нумере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч». (Слова: «Из записок охотника» были придуманы и прибавлены тем же И. И. Панаевым, с целью расположить читателя к снисхождению.) Успех этого очерка побудил меня написать другие; и я возвратился к литературе. Но читатель увидит из тех же писем Белинского, что он хотя остался более доволен моими прозаическими работами, однако особенных надежд на меня не возлагал[43]. Белинский с добродушным снисхождением, с сочувственным жаром поощрял начинавших писателей, в которых признавал талант, поддерживал их первые шаги; но он строго относился к их дальнейшим попыткам, безжалостно указывал на их недостатки, порицал и хвалил с одинаковым беспристрастием. Зато на первых порах он иногда доходил до нежности, увлекался очень мило, почти трогательно, почти забавно. Когда попались ему в руки «Бедные люди» г-на Достоевского, он пришел в совершенный восторг. «Да, — говорил он с гордостью, словно сам совершил величайший подвиг, — да, батюшка, я вам доложу! Невелика птичка, — и тут он указывал рукою чуть не на аршин от полу, — невелика птичка — а ноготок востер!» Каково же было мое удивление, когда, встретившись вскоре потом

с г-м Достоевским, я увидал в нем человека роста более среднего — во всяком случае, выше самого Белинского! Но в припадке отеческой нежности к новонародившемуся таланту Белинский относился к нему, как к сыну, как к своему «дитятке». Точно так же он, летом 1843 года, когда я с ним познакомился, лелеял и всюду рекомендовал и выводил в люди Некрасова...

Как во всех людях с пылкой душою, во всех энтузиастах, в Белинском была большая доля нетерпимости. Он не признавал, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнениях противника и отворачивался от них с тем же негодованием, с которым покидал собственные мнения, когда находил их ошибочными. Но его можно было «прошибить», как я сказал ему однажды и чему он много смеялся; истина была для него слишком дорога, он не мог окончательно упорствовать. К одной лишь московской партии, к славянофилам, он всю жизнь относился враждебно: очень они уже шли вразрез всему тому, что он любил и во что он верил. Вообще Белинский умел ненавидеть — he was a good hater — и всей душой презирал достойное презрения. Лейбниц где-то говорит, что он почти ничего не презирает (je ne méprise presque rien). Это понятно и похвально в философе, постоянно живущем на высотах духовного созерцания; но наш брат, человек обыкновенный, по земле ходящий, не в силах возвыситься до этого бесстрастного холода, до этой величавой тишины; чувство презрения, которое внушают нам Фаддеи Булгарины, подтверждает и крепит наше нравственное сознание, нашу совесть. В собственных промахах Белинский признавался без всякой задней мысли: мелкого самолюбия в нем и следа не было. «Ну, врал же я чушь!» — бывало, говаривал он с улыбкой, — и какая это в нем была хорошая черта! Белинский был не слишком высокого мнения о самом себе и о своих способностях. Скромность его была непритворна и чистосердечна; слово «скромность», впрочем, тут не годится: ему вовсе не было приятно, что он, по его понятию, такой некрупный человек; но ведь «из своей кожи не выпрыгнешь!». Зато ничего не было для него важнее и выше дела, за которое он стоял, мысли, которую он защищал и проводил: тут он на стену готов был лезть, — и беда тому, кто ему попадался под руку! Тут и смелость являлась в нем — отвага отчаянная, назло его

физике и нервам; тут он всем готов был жертвовать! При такой сильной раздражительности — такая слабая личная обидчивость... Нет! подобного ему человека я не встречал ни прежде, ни после.

Летом 1847 года Белинский попал, в первый и последний раз, за границу. Я прожил с ним несколько недель в Зальцбрунне, небольшом силезском городке, славящемся своими водами, будто бы излечивающими чахотку... Ему они принесли мало пользы. В Зальцбрунне он, под влиянием негодования, возбужденного в нем известной «Перепиской с друзьями» Гоголя, написал ему письмо... Потом я встретился с ним в Париже. Там он поступил в лечебницу к некоему доктору, специалисту против чахотки, по имени Тира де Мальмору. Многие считали его за шарлатана, но он совсем было поставил Белинского на ноги. Кашель прекратился, с лица сошла зелень... Слишком скорое возвращение в Петербург все уничтожило *. Странное дело! Он изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию. Уж очень он был русский человек, и вне России замирал, как рыба на воздухе. Помню, в Париже он в первый раз увидал площадь Согласия и тотчас спросил меня: «Не правда ли? ведь это одна из красивейших площадей в мире?» И на мой утвердительный ответ воскликнул: «Ну, и отлично; так уж я и буду знать, — и в сторону, и баста!» — и заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику XVI; он посмотрел вокруг, сказал: «А!» — и вспомнил сцену Остаповой казни в «Тарасе Бульбе». Исторические сведения Белинского были слишком слабы: он не мог особенно интересоваться местами, где происходили великие события европейской жизни; он не знал иностранных языков и потому не мог изучать тамошних людей; а праздное любопытство, глазение, badauderie, было не в его характере.

---

* Вот еще пример того, как Белинский юмористически относился к самому себе. При отъезде из Парижа ему дали провожатого, который должен был сопутствовать ему до Берлина; но в самую последнюю минуту вышло какое-то недоразумение, и Белинский отправился один. «Представьте мое положение, — писал он одному приятелю в Париж, — на бельгийской границе меня о чем-то спрашивают, а я ничего не понимаю и только глазами хлопаю, К счастью, начальник таможни догадался, должно быть, что я *глуп до святости,* и пропустил меня» [44]. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

Музыка и живопись его, как уже сказано, трогали мало; а то, чем так сильно действует Париж на многих наших соотечественников, возмущало его чистое, почти аскетическое нравственное чувство. Да и наконец ему всего оставалось жить несколько месяцев... Он уже устал и охладел...

Не знаю, говорить ли об отношениях Белинского к женщинам? Сам он почти никогда не касался этого деликатного вопроса. Он вообще неохотно распространялся о самом себе, о своем прошедшем и т. п. Мне много раз случалось наводить его на этот разговор, но он всегда отклонял его; он словно стыдился, словно не понимал, что за охота толковать о личных дрязгах, когда существует столько предметов для беседы, более важных и полезных! Если же он касался своего прошедшего, то почти всегда с юмористической точки зрения: так, например, он рассказал мне, как, будучи *удален* из университета и не имея буквально чем жить, он взялся перевести роман Поль де Кока за двадцать пять рублей ассигнациями и каких он понаделал промахов![45] Бедность он, очевидно, испытал страшную, но никогда впоследствии не услаждался ее расписыванием и размазыванием в кругу друзей, как то делают весьма часто люди, прошедшие эту тяжкую школу. В Белинском было слишком много целомудренного достоинства для подобных излияний, а может быть, и слишком много гордости... Гордость и самолюбие — две вещи весьма различные.

По понятию Белинского, его наружность была такого рода, что никак не могла нравиться женщинам; он был в этом убежден до мозгу костей, и, конечно, это убеждение еще усиливало его робость и дикость в сношениях с ними. Я имею причину предполагать, что Белинский, с своим горячим и впечатлительным сердцем, с своей привязчивостью и страстностью, Белинский, все-таки один из первых людей своего времени, не был никогда любимым женщиной. Брак свой он заключил не по страсти. В молодости он был влюблен в одну барышню, дочь тверского помещика Б<акуни>на; это было существо поэтическое, но она любила другого, и притом она скоро умерла[46]. Произошла также в жизни Белинского довольно странная и грустная история с девушкой из простого звания; помню его отрывчатый, сумрачный рассказ о ней... он произвел на меня глубокое впечатление... но и тут дело кончилось

ничем [47]. Сердце его безмолвно и тихо истлело; он мог воскликнуть словами поэта:

О небо! Если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле...
И не томясь, не мучась боле,
Я просиял бы — и погас! [48]

Но мечты людские не сбывчивы, а сожаленья — бесплодны. Кому не вынулся хороший нумер — щеголяй с пустым, да и не сказывай никому.

Не могу, однако, не упомянуть здесь, хотя мельком, о благородных, честных воззрениях Белинского на женщин вообще, и в особенности на русских женщин, на их положение, на их будущность, на их неотъемлемые права, на недостаточность их воспитания — словом, на то, что теперь называют женским вопросом. Уважение к женщинам, признание их свободы, их не только семейного, но и общественного значения, сказываются у него всюду, где только он касается того вопроса, — правда, без той вызывающей, крикливой бойкости, которая теперь в такой моде.

Не раз приходится слышать слова: такой-то вовремя, кстати умер... Но ни к кому они так несомненно не применяются, как к Белинскому. Да! он умер кстати и вовремя! [49] Перед смертью (Белинский скончался в мае месяце 1848 года) он еще успел быть свидетелем торжества своих любимых, задушевных надежд и не видел их окончательного крушения... А какие беды ожидали его, если б он остался жив! Известно, что полиция ежедневно справлялась о состоянии его здоровья, о ходе его агонии... [50] От тяжких испытаний избавила его смерть. Притом же и физика его уже отказывалась действовать... К чему же было тянуть, медлить?

A struggle more — and I am free! *[51]

Все так, но живой живое думает, и нельзя подавить в себе чувства сожаления о том из нас, кого уносит смерть в неведомый край, откуда «не возвратился еще ни один путешественник»... [52] Я иногда невольно задаю себе вопрос, невольно представляю себе, что бы сказал, что бы почувствовал Белинский при виде великих реформ, совер-

---

* Еще одно усилие — и я свободен! (Байрон.) (*Прим. И. С. Тургенева.*)

шенных нынешним царствованием, — освобождения крестьян, водворения гласного суда и т. д.? Какой бы восторг возбудили в нем эти плодоносные начинания! Но он не дожил до них... Не дожил он также до того, что так же наполнило бы сладостью его сердце: не увидал он много хорошего, что совершилось после него в нашей литературе. Как бы порадовался он поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова! Кому бы, как не ему, следовало быть свидетелем всхода тех семян, из которых многие были посеяны его рукою?.. Но видно — не следовало...

Окончу мои воспоминания о Белинском сообщением письма одной близкой ему дамы, которую я просил передать мне подробности его кончины (я находился тогда за границей в Париже), а также и нескольких отрывков из его писем ко мне.

Вот письмо дамы (от 23 июня 1848 года): [53]

«Вы хотите знать что-нибудь о Белинском... Но я не умею порядочно рассказывать, да и нечего почти говорить о человеке, который все последнее время весь был истощен физическими страданиями. Не могу выразить вам, как тяжело, как больно было смотреть на медленное разрушение этого бедного страдальца. Воротился он из Парижа в таком хорошем состоянии духа и здоровья, что все мы, не исключая даже доктора, получили надежду на его выздоровление. Тут провел он у нас несколько утр и вечеров в непрерывном, живом, энергическом разговоре, и все с радостью узнавали в нем прежнего, довольно еще здорового Белинского; но странно, что с самого его возвращения из чужих краев нрав его чрезвычайно изменился: он стал мягче, кротче, и в нем стало гораздо более терпимости, нежели прежде; даже в семейной жизни его нельзя было узнать, так он спокойно и, по-видимому, без борьбы, мирился со всем тем, что прежде так сильно его волновало. Здоровое состояние его продолжалось недолго; он в Петербурге скоро простудился, и тут с каждым днем его положение становилось безнадежнее, при каждом свидании с ним мы находили его страшно изменившимся, и казалось, что более похудеть ему уже нельзя, но, увидав его опять, находили еще страшнее. В последний раз я была у него за неделю до его смерти; застали мы его по-

лулежащим на кресле, лицо у него было совершенно мертво, но глаза огромные и блестящие; всякое дыхание его было стон, и встретил он нас словами: «Умираю, совсем умираю»; но эти слова были выговорены не с убеждением, не с уверенностью, а скорее с желанием, чтобы его опровергли. Нечего вам говорить, какие тяжелые два часа провели мы тогда у него; говорить он, разумеется, не мог, но его даже уж и не занимали и не могли расшевелить рассказы о тех *предметах* *, которыми он прежде жил. Слег он в постель дня за три до смерти и, кажется, надеялся до тех пор, пока жива была в нем память; накануне он стал заговариваться, однако узнал Грановского, приехавшего в тот же день из Москвы[54]. Перед самой смертью он говорил два часа не переставая, как будто к русскому народу, и часто обращался к жене, просил ее все хорошенько запомнить и верно передать эти слова кому следует[55], но из этой длинной речи почти ничего уже нельзя было разобрать; потом он вдруг замолк и через полчаса мучительной агонии умер. Бедная жена... не отходила от него ни на минуту и совершенно одна прислуживала ему, поворачивала и поднимала его с постели. Эта женщина... право, заслуживает всеобщее уважение; так усердно, с таким терпением, так безропотно ухаживала она за больным мужем всю зиму...»

Вот отрывки из писем Белинского ко мне: [56]

СПб. 19 февраля/3 марта 1847.

«...Когда Вы собирались в путь, я знал наперед, чего лишаюсь в Вас — но когда Вы уехали, я увидел, что потерял в Вас больше, нежели думал... После Вас я отдался скуке с каким-то апатическим самоотвержением и скучал, как никогда в жизни не скучал. Ложусь в 11, иногда даже в 10 часов, засыпаю до 12, встаю в 7, 8 или около 9 — и целый день — особенно целый вечер (с послеобеда) дремлю — вот жизнь моя!

...** <Панаев> получил от К<етче>ра ругательное письмо, но не показал *** <Некрасову>. Последний ничего не знает, но догадывается, а делает все-таки свое. При объяснении со мною он был нехорош, кашлял, заикался, говорил, что на то, что я желаю, он, кажется, для моей же пользы, согласиться никак не может, по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых

---

* Курсив в подлиннике. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин, — и сказал мои условия. Он повеселел и теперь при свидании протягивает мне обе руки — видно, что доволен мною вполне! По тону моего письма вы можете ясно видеть, что я не в бешенстве и не в *преувеличении.* Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него — за него, а не за себя. Мне трудно *переболеть* внутренним разрывом с человеком — а потом ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю *** <Некрасова>; и тем не менее он в моих глазах — человек, у которого будет капитал, который будет богат, — а я знаю, как это делается. Вот уж начал с меня. Но довольно об этом.

...Скажу как новость: я, может быть, буду в Силезии. Б<откин> достает мне 2500 руб. асс. Я было начисто отказался — ибо с чем же я бы оставил семейство — а просить, чтоб мне выдавали жалованье за время отсутствия — мне не хотелось. Но после объяснения с *** <Некрасовым> я подумал, что церемониться глупо... Он был очень рад, он готов был сделать все, только бы я... Я написал к Б<откину>, и теперь ответ его решит дело.

Ваш «Каратаев» хорош, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча»...

...Мне кажется, у Вас чисто творческого таланта или нет — или очень мало — и ваш талант однороден с Далем. Это Ваш настоящий род. Вот хоть бы «Ермолай и мельничиха» — не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслию. А в «Бреттёре» — я уверен — вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое место — в этом все для человека, это для него значит сделаться самим собою. Если не ошибаюсь, Ваше призвание — наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию, но не опираться только на фантазию... Только, ради аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни се; не то чтоб нехорошо, да и не то чтоб очень хорошо. Это страшно вредит тоталитету известности (извините за кудрявое выражение — лучшего не придумалось). А «Хорь» обещает в Вас замечательного писателя — в будущем.

...Гоголь сильно покаран общественным мнением и разруган во всех журналах; даже друзья его, московские сла-

вянофилы, — и те отступились, если не от него, то от гнусной его книги...

Жена моя и все мои домашние, не исключая Вашего крестника * — кланяются Вам...»

СПб 1(13) марта 1847.

«...Скажу Вам, что я почти переменил мое мнение насчет источника известных поступков *** <Некрасова>. Мне теперь кажется, что он действовал добросовестно, основываясь на объективном праве — а до понятия о другом, высшем, он еще не дорос — а приобрести его не мог по причине того, что вырос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер. Вижу — из его примера — как этот идеализм и романтизм может быть полезен для иных натур, предоставленных самим себе. Гадки они — этот идеализм и романтизм, но чт*о* за дело человеку, что ему помогло дурное на вкус лекарство, даже и тогда, если, избавив его от смертельной болезни, привило к его организму другие, но уже не смертельные болезни; главное тут не то, что оно гадко, а то, что оно помогло...

Поездка моя в Силезию решена. Этим я обязан Боткину. Он нашел средство и протолкал меня. Нет, никогда я не хлопотал и никогда не буду хлопотать так о себе, как он хлопотал обо мне. Сколько писем написал он, по этому предмету, ко мне, к А<нненко>ву, к Г<ерце>ну, к брату своему, сколько разговоров, толков имел то с тем, то с другим! Недавно получил он ответ А<нненко>ва и прислал его мне. А<нненко>в дает мне 400 франков. Вы знаете, что это человек порядочно обеспеченный, но отнюдь не богач, — и по себе знаете, что за границей во всякое время 400 франков — по крайней мере — не лишние деньги. Но это еще ничего — этого я всегда ожидал от А<нненко>ва, а вот что тронуло, ущипнуло меня за самое сердце: *для меня* этот человек изменяет план своего путешествия, не едет в Грецию и Константинополь, а едет в Силезию! От этого, я вам скажу, можно даже сконфузиться — и если б я не знал, не чувствовал глубоко, как сильно и много люблю я А<нненко>ва, мне было бы досадно и неприятно такое путешествие. Отправиться я думаю на первом пароходе...»

---

* Я был крестным отцом его сына. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

СПб. 12 (24) апреля 1847.

«Пишу к Вам несколько строк, мой любезный Т. Вскоре по получении Вашего второго ко мне письма — в котором Вы изъявляете свое удовольствие о здоровье моего с ы н а , — он умер[57]. Это меня уходило страшно. Я не живу — а умираю медленною смертью. Но к делу. Я взял билет на штеттинский пароход; он отходит 4 (16) мая...»

---

9 (21) мая я свиделся с Белинским в Штеттине, куда я выехал к нему навстречу[58]. Мне писали из Петербурга, что смерть трехмесячного сына поразила его несказанно. Году не прошло, и он последовал за ним в могилу.

И вот уже двадцать лет с лишком прошло с тех пор — и я вызвал его дорогую тень... Не знаю, насколько мне удалось передать читателям главные черты его образа; но я уже доволен тем, что он побыл со мной, в моем воспоминании...

Человек он был![59]

1868

Первое прибавление

Я получил от А. Д. Галахова письмо по поводу статьи о Белинском, появившейся, как известно, в «Вестнике Европы». Помещаю здесь отрывок из этого письма. В нем почтенный автор, мнение которого в деле истории литературы и критики пользуется справедливым уважением и весом, до некоторой степени пополняет мои воззрения.

«...Что касается до каких-либо ошибок в литературных суждениях или в фактах — то я не встретил ни единой. Могу лишь указать на одну, по моему мнению, неточность. Вы говорите, что Белинский, ценя искусство как особую, совершенно естественную и законную сферу духовной деятельности человека, не был поклонником теории искусства для искусства, и в доказательство приводите его отзыв о стихотворении Пушкина «Чернь». Мне кажется, это не совсем так, по крайней мере, в хронологическом отношении. Отзыв принадлежит ко времени Вашего знакомства с Белинским. До этого времени (до 1843 года) он уже работал и в «Молве» с «Телескопом», и в «Наблюдателе», и в «Отечественных записках». Из некоторых критических статей его, здесь помещенных (особенно в «Наблюдателе»), видно, что он признавал справедливость

знаменитой формулы: цель искусства — само искусство. За что же он и напал так сильно на Менцеля (в «Отечественных записках»), как не за то, что Менцель, в своей «Истории немецкой литературы», подчинял эту последнюю целям, лежащим вне литературной области, требовал от нее служения политическим, гражданским и иным видам и с этой точки зрения преследовал Гете, восхваляя Шиллера? Я помню, что однажды, когда я зашел к нему, он с искренним пафосом показывал мне портреты Гегеля и Гете, как высших представителей чистой мысли и чистого искусства».

Засим А. Д. Галахов, в подкрепление слов своих, приводит место из недавно вышедшего труда А. Станкевича «Т. Н. Грановский» (стр. 114—115).

Очевидно, что я должен был сделать оговорку. Когда я познакомился с Белинским, мнения его были точно такие, какими я их представил: он изменил их незадолго перед тем. Политическая струя в нем снова забила сильнее.

Второе прибавление

А. Н. Пыпин, в известной своей биографии Белинского, оспаривает мое воззрение на то, что я назвал неполитическим в темпераменте Белинского, и видит в его «сдержанности» одну неизбежную уступку особым условиям того времени[60]. Я готов согласиться с почтенным ученым: весьма вероятно, что оценка г-ном Пыпиным *этой* стороны характера нашего великого критика вернее моей — о чем долгом считаю объясниться перед читателями. Тот «огонь», о котором я упомянул, никогда не угасал в нем, хотя не всегда мог вырваться наружу.

Париж. Сентябрь 1879.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Из «Дневника писателя» за 1873 год

Однажды, разговаривая с покойным Герценом [1], я очень хвалил ему одно его сочинение, — «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье о свидании его за границей с Герценом [2]. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

— И мне особенно нравится, — заметил я, между прочим, — что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.

— Да ведь в том-то и вся штука, — засмеялся Герцен. — Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.» (Вошла в собрание его сочинений.) В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский — выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

— Ну что, как ты думаешь?

— Да хорошо-то хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дуралеем свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь что есть мочи:

— Зарезал! Зарезал! <...> [3]

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще, бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто

припоминаются теперь старые люди, конечно, потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность, изо всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde * прежде всего, — тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. <...> Белинский, напротив, Белинский был вовсе не gentilhomme, — о нет. (Он бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем.)

Белинский был по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда и во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился, с самою простодушною торопливостью, обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интерналка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое»[4], то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность лично-

* русский дворянин и гражданин мира (*франц.*).

сти — он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился [5]), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстановляет ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и пред этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «Vie de Jésus» *, что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

— Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни; присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; [6] был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы че-

---

* «Жизнь Христа» (*франц.*).

ловек, — набросился он опять на меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком, так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну, не-е-ет! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну, нет: если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда всё французы: прежде всех Жорж Санд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся — Фейербах. (Белинский, не могший во всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах.) О Штраусе говорилось с благоговением[7].

При такой теплой вере в свою идею, это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если б прожил дольше, примкнул бы к славянофильству[8]. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком, с прежнею теплой верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гёгг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, — не от сомнений, не от разочарований, о нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его утром, часа в три пополудни, у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой[9].

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка

(вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу; наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою:

— А вот как зароют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил, но я страстно принял тогда всё учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы, в ожидании дальнейшей участи, сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все, знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, *не могли* не сделать своих преступлений, а стало быть были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастными», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа, звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... <...>

Из «Дневника писателя» за 1877 год

Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных записок». Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучи-

тельные стоны больного! Наш поэт очень болен и — он сам говорил мне — видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно (у него какая-то язва в кишках, болезнь, которую и определить трудно), но я не верю, что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник [10]. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «Принесите рукопись (сам он еще не читал ее): Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии «Отечественных записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным, и — «осмеет он моих «Бедных людей»! — думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами — «неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — все это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел

куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их в который раз, не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про вас-то, и этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое, что спит, мы разбудим его, *это* выше сна!» [11] Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется и о Гоголе, цитуя из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают,

поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего еще не написал такого размера, как удалось ему вскоре через год потом. Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати, совершенно один. Писал он тоже чуть не с шестнадцати лет. О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними, наверно, уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». «У вас Гоголи-то как грибы *растут*, — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его просто в волнении: «Приведите, приведите его скорее!»

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим, «этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно *так и надо*, — подумал Я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль *сами-то*, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая, по своему *обыкновению*, — что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то

себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.)

«И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду «верен»! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о, к ним, с ними!»

Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова. Я ему не напоминал подробно, я напомнил только, что были эти тогдашние наши минуты, и увидал, что он помнит о них и сам. Я знал, что помнит. Когда я воротился из каторги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его: «Это я об вас тогда написал», — сказал он мне[12]. А прожили мы всю жизнь врознь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей:

Песни вещие их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен[13].

Тяжелое здесь слово это: *укоризненно.* Пребыли ли мы «верны», пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!.. <...>

В литературе нашей есть одно слово: «стушеваться», всеми употребляемое; хоть и не вчера родившееся, но и довольно недавнее, не более трех десятков лет существующее; при Пушкине оно совсем не было известно и не употреблялось никем. Теперь же его можно найти не только у литераторов, у беллетристов, во всех смыслах, с самого шутливого и до серьезнейшего, но можно найти и в научных трактатах, в диссертациях, в философских книгах; мало того, можно найти в деловых департаментских бумагах, в рапортах, в отчетах, в приказах даже: всем оно известно, все его понимают, все употребляют. И, однако, во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек — я, потому что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз — я. Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 года, в «Отечественных записках», в повести моей: «Двойник, приключения господина Голядкина».

Первая повесть моя «Бедные люди» была начата мною

в 1844 году, была окончена, стала известна Белинскому и была принята Некрасовым для его альманаха «Петербургский сборник» в 1845 году. Вышел этот альманах в конце 45-го года. Но в этом же 1845 году я и начал летом, уже после знакомства с Белинским, эту вторую мою повесть: «Двойник, приключения господина Голядкина», Белинский, с самого начала осени 45-го года, очень интересовался этой новой моей работой. Он повестил о ней, еще не зная ее, Андрея Александровича Краевского, у которого работал в журнале, с которым и познакомил меня и с которым я и уговорился, что эту новую повесть «Двойник» я, по окончании, дам ему в «Отечественные записки» для первых месяцев наступающего 46-го года. Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно. Я сильно исправил ее потом, лет пятнадцать спустя, для тогдашнего «Общего собрания» моих сочинений, но и тогда опять убедился, что эта вещь совсем неудавшаяся, и если б я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму; но в 46-м году этой формы я не нашел и повести не осилил.

Тем не менее, кажется, в начале декабря 45-го года, Белинский настоял, чтоб я прочел у него хоть две-три главы этой повести. Для этого он устроил даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких. На вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того, что я прочел, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Белинский не знал конца повести и находился под обаянием «Бедных людей». Ну вот тут-то, на этом чтении, и употреблено было мною, в первый раз, слово «стушеваться», столь потом распространившееся. Повесть все забыли, она и стоит того, а новое слово подхватили, усвоили и утвердили в литературе.

И. А. ГОНЧАРОВ

ЗАМЕТКИ О ЛИЧНОСТИ БЕЛИНСКОГО *

На мой взгляд, это была одна из тех горячих и восприимчивых натур, которые привыкли приписывать обыкновенно искренним и самобытным художникам.

Такие натуры встречаются нередко, — я их наблюдал везде, где они попадались: и в своих товарищах по перу, а гораздо раньше, начиная со школы, наблюдал и в самом себе — и во множестве экземпляров, — и во всех находил неизбежные родовые сходственные черты часто рядом с поразительными несходствами, составлявшими особенности видов или индивидуумов. Все эти наблюдения привели меня к фигуре Райского в романе «Обрыв», этой жертве своего темперамента и богатой, но не направленной ни на какую цель фантазии. Последняя была в нем праздною, бесполезною силой и, без строгой его подготовки к какому бы то ни было делу, разрешалась у него только в бесплодных порывах к деятельности и уродовала самую его жизнь.

Но другие, богато одаренные натуры, став твердой ногой на почве своего призвания, подчиняют фантазию сознательной силе ума и создают целую сферу производительной деятельности. Так было и с Белинским.

Но напрасно приписывать избыток фантазии и восприимчивость только художническим натурам. Не одним художникам нужно творчество: это я говорю вопреки мнению Белинского или, по крайней мере, вопреки его словам, не раз слышанным мною от него, что «бог дал человеку быть творцом только в искусстве».

Тут есть нечто недосказанное. Совершенно справедливо, что в искусстве художник создает или изобретает

* Эти заметки извлечены из письма, писанного в 1874 году к А. Н. Пыпину, по случаю собирания им сведений от знавших лично Белинского, для биографии последнего. (*Прим. И. А. Гончарова.*)

сходства и подобия, то есть образы существующего или возможного в природе, а в сфере знания ученый только угадывает или открывает скрытые законы или готовые истины. Но, сколько мне кажется, в процессах самого этого угадывания или этих открытий действуют также изобретательные или творческие силы и приемы. Не один Ньютон наблюдал падающие с дерева яблоки, и не один Фультон видел, как привскакивает крышка на чайнике от пара, — однако не угадывали же другие законов тяготения или парового движения, — следовательно, и тот и другой были как бы творцы этих законов.

Таким образом, нервозность, то есть тонкие и чуткие нервы, а вследствие этого впечатлительность и помощь фантазии, присущи, как необходимый элемент, всякой работе, требующей инициативы мысли и изобретательной производительности, не говоря уже о науке, искусстве, но даже в ремеслах, чему мы видим немало примеров. Талантливый ремесленник с помощью этой же фантазии делает новые, смелые шаги в ремесле, а иногда возводит его на степень искусства.

Чуткость нерв и фантазия в художниках (живописцах, поэтах, актерах) только разнообразнее и капризнее проявляется, по самому свойству и натуре их дела, по образу жизни и прочим условиям.

И Белинский в сфере своей деятельности также творил по-своему, то есть угадывал смысл явления, чуял в нем правду или ложь, определял характер его, и, если явление представляло пищу увлечению, он доверчиво увлекался сам и увлекал других. Пережив впечатление в самом себе, истратив на него потоки более или менее горячих печатных или изустных импровизаций, он потом оставался ему верен уже в той доле правды, не какую он видел в пылу увлечения, а какая действительно была в нем, — и относился к нему умереннее.

Наконец, у него были постоянные увлечения или влечения, плоды не одной только фантазии или напряженной работы непрерывного умственного развития; они составляли основу его честной и прямой натуры: это влечения к идеалам свободы, правды, добра, человечности, причем он нередко ссылался на евангелие, и — не помню где — даже печатно. Этим идеалам он не изменял, конечно, никогда и на всякого сколько-нибудь близкого ему человека смотрел не иначе, как на своего единомышленника, иногда не давая себе труда всмотреться, действительно ли

это было так. Никаких уклонений от этих путеводных своих начал он ни в ком не допускал и не простил бы никому иного исповедания в нравственных, политических или социальных взглядах, кроме тех, какие принимал и проповедовал сам, — разумеется, в теории, ибо на практике это было неприменимо в то время нигде, кроме робкого проговариванья или намеков в статьях да толков в тесном кругу друзей.

В стремлении или в порывах, повторяю, бесплодных, тогда казавшихся даже безнадежными, к этим последним идеалам особенно высказывалось его горячее нетерпение, иногда до ребячества. В тумане новой какой-нибудь идеи, даже вроде идей Фурье, например (о чем могут больше меня сказать знавшие его смолода), если в ней только искрился намек на истину, на прогресс, на что-нибудь, что казалось ему разумным или честным, — перед ним возникал уже определенный образ ее; нарождавшаяся ипотеза становилась его религией; он веровал в идеал в пеленках, не думая подозревать тут какого-нибудь обольщения, заблуждения или замаскированной лжи. Он видел только одну светлую сторону. Так, всматриваясь и вслушиваясь в неясный еще тогда и новый у нас слух и говор о коммунизме, он наивно, искренно, почти про себя, мечтательно произнес однажды: «Конечно, будь у меня тысяч сто, их не стоило бы жертвовать, но будь у меня миллионы, я отдал бы их!» Кому, куда отдал бы? В коммуну, для коммуны, на коммуну? Любопытно было бы спросить, в какую кружку положил бы он эти миллионы, когда одно какое-то смутное понятие носилось в воздухе, кое-как перескочившее к нам через границу, и когда самое название «коммуны» было еще для многих ново. А он готов был класть в кружку миллионы — и положил бы, если б они были у него и если б была кружка! Он только слышал о коммунизме:[1] книг негде было взять — но, конечно, он скорее других почерпнул из рассказов одну мечту, манившую к соблазнительным благам.

Он мчался вперед и никогда не оглядывался. Прошлое для него отживало почти без следа, лишь только оно кончалось. По свойственному его натуре чувству справедливости, он, конечно, сумел бы найти и полюбить, например, в славянофильстве, что было в нем искреннего и правдивого, но довольно того, что славянофилы хотели создавать новый строй русской жизни на старом, хотя и хорошем фундаменте, чтобы уж безусловно разойтись с ними, смот-

реть на них если не враждебно, то недоверчиво. Он иногда не только терпел около себя людей довольно ограниченных, но любил с ними беседовать, когда между ними ничего не было общего, кроме веры в одну какую-нибудь идею, иногда совершенно абстрактную, но манившую вдаль, к отдаленному, часто недостижимому идеалу.

О чем они могли говорить с Белинским подолгу — понять было трудно. Это объяснялось, между прочим, трогательною, почти детскою снисходительностью Белинского к своим приятелям и ко всему, что их составляло, что им принадлежало. Возбудить его против себя можно было только какою-нибудь моральною гадостью, или нужно было расходиться с ним, как сказано выше, в коренных убеждениях — и то если б это обнаружилось как-нибудь на практике, в *жизни*, — а затем, будь приятель его чем хочешь, он не терял права на его дружелюбие, однажды приобретенное, особенно если еще это выкупалось чем-нибудь — например, талантом или просто даже безмолвным сочувствием его идеям и идеалам.

Ни в ком никогда не замечал я, чтобы самолюбие проявлялось так тонко, скромно и умно, как в Белинском. Он не мог не замечать действия своей силы в обществе — и, конечно, дорожил этим; но надо было пристально вглядываться в него, чтобы ловить и угадывать в нем слабые признаки сознания своей силы: так он чужд был всякого внешнего проявления этого сознания. Сам он никогда не упоминал о своем значении.

Когда я узнал Белинского в 1846 году, здоровье его было подорвано, хотя болезнь еще не развилась до той степени, как в последний год его жизни. Он был еще довольно бодр, посещал, однако, немногих, и его посещали тоже немногие и не часто. Он начал, по-видимому, утомляться и своею любимою деятельностью, мечтал иногда вслух, впрочем редко, о независимом положении от поденвольного срочного труда. Но этой мечте сбыться было не суждено. Он с кружком близких приятелей перешел от одного журнала к другому, но это не принесло ему отдыха. Напротив, надо было употребить все силы, чтобы воскресить из праха этот умерший журнал и вдохнуть в него новую жизнь. Он, так сказать, умирая, дописывал последние свои статьи. Поездка на лето в Крым с Щепкиным не помогла ему, и он вернулся в Петербург едва ли не слабее, чем был до этого.

Известно, как произошли все эти перемены: основание

«Современника», переход всего кружка из «Отечественных записок» в новый журнал[2]. Затем вскоре развилась быстро болезнь — и Белинского не стало.

К вышесказанному о способности его увлекаться прибавлю, что та же сила фантазии, которая помогала Белинскому чутко проникать в истинный смысл явлений, нередко вводила его и в горькие заблуждения, отрезвление от которых обходилось ему дорого, на счет здоровья. Он точно горел в постоянном раздражении нерв: всякие пустяки, мелочь, все это с одинаковою силой, наравне с крупными явлениями, отражалось у него на печени, на легких. Часто, в спорах, от пустого противоречия, от вздорного фельетона Булгарина или его сотрудников, у него раздражалась вся нервная система, так что иногда жалко, а иногда и страшно было смотреть на него, как он разрешался грозой, злостью в какой-нибудь, всегда блестящей, но много стоившей ему, импровизации. И это за то, например, если кто-нибудь отзовется сухо, с пренебрежением о тех или других сочувственных ему авторитетах в сфере мысли, науки или искусства, не говоря уже о более серьезных поводах. Он загорался как-то вдруг (особенно если был подходящий слушатель — а не из близких, с которыми все переговорилось и нечего было ни давать, ни самому взять) — и в течение часа-двух являлась импровизация, вроде тех статей, какие появлялись в «Отечественных записках».

И вот эта нервозная, впечатлительная и раздражительная натура, при слабости легких и вообще хрупкости организма, — убила, сожгла этого человека. Я застал его, когда он очевидно догорал в борьбе не только со всем враждебным, чем обставлена была его жизнь, как и жизнь почти всех более или менее в то время и в том кругу. Но он не совладел с хаотическим состоянием собственных сил, в которых никогда не было равновесия не только на какой-нибудь более или менее продолжительный период, на год, на полгода, например, чтобы успокоиться и отдохнуть: но выдалась ли и такая неделя когда-нибудь, чтоб он не истерзался чем-нибудь до истощения и упадка сил!

Если ничего не приходило извне, он хватался за свои постоянные и любимые, большею частью недосягаемые, идеалы, общие и вечные вопросы о той или другой свободе, о низвержении тех или других старых кумиров, и никогда ни от чего не отдыхал, потому что покой вообще не свойствен натурам нервным, даже и не в его роли и не при его

значении. Надо еще удивляться, как при этой непрерывной напряженной работе умственных и душевных сил в таком скудельном сосуде жизнь могла прогореть почти до сорока лет!

Поэтому сваливать преждевременный конец его на что-нибудь другое, кроме этих разрушительных и жгучих свойств его натуры, непрестанного брожения и горения которых не выдержал бы и другой, не такой хрупкий *сосуд*, — и несправедливо и неверно! Как тогда старались, так и теперь все еще стараются сваливать вину то на одного, то на другого из журналистов, обременявших непосильною работой Белинского. И сам он хотя жаловался иногда на утомление и мечтал, как я сказал выше, о независимом положении, о *покое*, — но эти редкие мечты были, так сказать, общими местами жалоб, какие приходят на ум и на язык каждому из нас среди спешных или утомительных занятий.

Да и возможен ли отдыхающий Белинский? Без непрерывной работы, без этого кипения и брожения вопросов и мнений, вне литературной лихорадки — я не умею представить себе его. Когда его повезли за границу, он был сам не свой. «Хорошо ли вам было там?» — спросил я его по возвращении. «Пленение вавилонское!» — вот как выразился он про свое лечение и отдых.

Нет, ему необходима была его спешная, лихорадочная работа, нужен и дорог был и свой маленький кружок, в своей семье, у очага, среди пяти-шести близких лиц, где он бился и трепетал природного своей жизнью, изливал потоки силы, служа своему призванию, и этим удовлетворял себя и сам чувствовал эту свою силу, и давал чувствовать ее *другим*, — этим наслаждался, этим только и жил, то есть горячим, лихорадочным писанием статей и еще более горячими, лихорадочными, иногда почти горячечными, импровизациями в кругу близких лиц.

Это был не критик, не публицист, не литератор только — а трибун. Публичная его трибуна — в журнале; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, где он был *нараспашку*, — это домашняя трибуна, где он не только знал, но, так сказать, видел свою силу, поверял, измерял ее, любовался ею сам, глядя, как наслаждаются ею другие. От этого и были к нему ближе всех те, кто любил в нем больше всего его талант, даже больше, нежели его самого! Не допускать *этого*, — значит, не понимать хорошо натур этого рода. Самолюбие — иногда

грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многих и единственный, двигатель деятельности, а часто и всей жизни. Я сказал уже выше, как умно и тонко высказывалось оно у Белинского, — именно в благодарной симпатии к почитателям его силы.

Многолюдства, новых людей он не любил и избегал. Богатая натура его и чуткая впечатлительность не нуждались в количестве лиц и впечатлений. Свой внутренний мир и западающие туда редкие явления давали громадную пищу его неумолкающему и беспощадному анализу, и он едва справлялся и с тем материалом, который попадался ему, так сказать, на лету, случайно или на который наводили его занятия по журналу. Он мало даже читал газеты, как-то одним ухом слушал внешние известия, которые занесет, бывало, то тот, то другой приятель, но во всем находилось всегда довольно материала на промежуточный какой-нибудь день или вечер между писанием статей. Все почти служило ему темой для более или менее тонкого, иногда бурного или злого, или, наоборот, восторженного словоизлияния. Он маялся и скучал, ходя из угла в угол, когда не было подходящего собеседника: ему приводили новое лицо, то есть недавнего, еще не привыкшего к нему знакомого, и, когда наконец никого не было, кроме своих, устраивали партию в преферанс.

Если не было очередного насущного материала, он из себя добудет пищу: придешь, бывало, а он вдруг заговорит, по-видимому ни с того ни с сего (а конечно, вследствие кипевшей в нем внутренней работы), о каком-нибудь — как помню однажды, например, — «Прометее» Гете: и в эту минуту уже ничего выше этого Прометея не было! Или вдруг нападет на какой-нибудь авторитет, которому все привыкли слепо поклоняться, — и низвергнет его. Не то так возьмет текущую новость, крутую административную меру — и польются потоки речей, полные тонкого анализа, метких определений, горячих осуждений. Особенно цензура подавала пищу его словесной критике. Чего тут не было! И в то же время он боялся шпионов, и сколько был доверчив к приятелям, даже ко всем вхожим к нему лицам, к которым привык, столько же боялся новых людей, косился на них, подозревая предательство. Между тем не могло быть лучшего доказчика на него, как он сам. Он на ухо каждому приятелю доверял все, что было у него на душе, и ребячески думал, что это тут и умрет. Ему даже в голову не приходило, что те, в свою очередь, передавали

это, также на ухо, своим друзьям и что сказанное им, почти всегда веское и ценное, непременно дойдет и до других, уже не дружеских ушей.

Что же бы делал такой человек в покое, то есть в праздности, без своей трибуны в журнале и без этой маленькой аудитории около себя из десятка лиц, заменявших ему весь мир, признававших его и любивших как человека и как силу? Все равно, где бы ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, — он всегда горел и сгорел бы: прежде всего в борьбе с ложью и грубостью около, вблизи, и потом в погоне за далекими, уходящими из всякого реального достижения идеалами. Вот его натура — вся!

Я не говорю, чтобы неприятности, потом нужды, теснота жизни, наконец страх, под которым жили и ходили все тогда, не имели своей доли разрушительного влияния на здоровье и жизнь его; но я положительно убежден, что без нравственной вулканической внутренней работы, которая рвала и жгла его организм, он перенес бы все остальное, внешнее. Он был обычной жертвой в борьбе крайнего своего развития с целым океаном всякой сплошной господствовавшей неразвитости.

Способность его увлекаться, несмотря на его ум, многие опыты, лета и, особенно, беспощадно верный анализ, была изумительна и доказывала, до какой степени сильно он был одарен фантазией. Я не говорю уже о том, как юношески восторженно упивался он красотами известных капитальных, любимых им произведений, но он с любовью анализировал каждую мелочь в них, иногда впадая в ребячество до комизма! Стоит развернуть некоторые статьи о Гоголе, где он говорит, или, лучше сказать, трепещет под его живым влиянием. Например, в статье о «Горе от ума», посвященной больше всего Гоголю, а не Грибоедову, что́ он говорит о *гусаке* Ивана Никифоровича: без смеха нельзя читать! «Великая, бесконечно великая черта художнического гения этот гусак!» — восклицает он с пафосом и пишет целую страницу о *гусаке* *[3].

Белинскому нередко приходилось стыдиться своих увлечений и краснеть за прежних идолов. Тогда он от хвалебных гимнов переходил в другой, противуположный тон — и не скупился на сарказмы, забыв прежнюю нежность к своим любимцам. Когда он в первые мои свидания с ним осыпал меня добрыми, ласковыми словами, «рисуя»

---

* Том III, стр. 376 (изд. 1862). (*Прим. И. А. Гончарова.*)

свой критический взгляд на меня мне самому и заглядывая в мое будущее, я остановил его однажды. «Я был бы очень рад, — сказал я, — если бы вы лет через пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книге («Обыкновенная история») теперь». — «Отчего?» — спросил он с удивлением. «А оттого, — продолжал я, — что я помню, что вы прежде писали о С., как лестно отзывались о его таланте, а как вы теперь цените его!» (А он тогда уже развенчал его и, сравнивая со всем, что появилось в литературе после, лишил его совсем прошлой, впрочем, неоспоримой заслуги, как будто его и не было вовсе в литературе[4]).

Мое справедливое замечание, сделанное мною, впрочем, вскользь, шутливым, приятельским тоном, неожиданно тронуло и задело его за живое. Он задумчиво стал ходить по комнате. Потом прошло с полчаса. Я уже забыл и говорил с кем-то другим, а он подошел ко мне и посмотрел на меня с унылым упреком. «Каково же? — сказал он наконец, указывая кому-то на меня. — Он считает меня флюгером! Я меняю убеждения, это правда, но меняю их, как меняют копейку на рубль!» — и потом опять стал ходить задумчиво.

Он, конечно, верил в то, что говорил, потому что он никогда не лгал, — но это его объяснение было неверно. Он менял не убеждение, а у него менялись впечатления, и пока впечатление переживало в нем свой срок, оно поглощало его всего, он детски отдавался ему, употребляя на выражение его пером или словами всю свою силу, без пощады, до тех пор, пока не наступит в духе его реакция, работа анализа и не охладит впечатления, или пока — как я выше сказал — само впечатление своею ложью или грубостью внезапно не отрезвит его. Он спешил высказывать процесс действия самого впечатления в нем, не ожидая конца, — и от этого впадал в ошибки, разочарования и неизбежные противоречия. Собственно критический, более или менее стройный и проверенный взгляд являлся у него гораздо позже.

Он, как Дон-Жуан к своим красавицам — относился к своим идолам: обольщался, хладел, потом стыдился многих из них и как будто мстил за прежнее свое поклонение. Идолы следовали почти непрестанно один за другим. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, от обаяния которого он еще не успел вполне успокоиться, когда я познакомился с ним), он сей-

час же легко перешел к Достоевскому; потом пришел я — он занялся мною, тут же явился Григорович, попозже Кольцов[5], наконец Дружинин[6]. Ко мне он отнесся сравнительно покойнее и трезвее, потому что я подвернулся с своей книгой как раз после одного из этих разочарований, в котором он покаялся даже где-то печатно — и стал немного осторожнее. Но и тут, в первые недели знакомства, послушавши его горячих и лестных отзывов о себе, я испугался, был в недоумении и не раз выражал свои сомнения и недоверие к нему самому и к его скороспелому суду. На меня он иногда как будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздражения, субъективности. «Вам все равно, попадется мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура — всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!» И это скажет (и не раз говорил) с какой-то доброю злостью, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечи и прибавил почти шепотом: «А это хорошо, это и нужно, это признак художника!» — как будто боялся, что его услышат и обвинят за сочувствие к бестенденциозному писателю. Он, конечно, отдался бы современному реальному и утилитарному направлению, но отнюдь не весь и не во всем. Искусство, во всей его широте и силе, не потеряло бы своей власти над н и м , — и он отстоял бы его от тех чересчур утилитарных условий, в которые так тесно и узко хотят вогнать его некоторые слишком исключительные ревнители утилитаризма.

Про Кольцова я не слыхал сам ничего от Белинского, но это было не нужно благодаря словоохотливости Панаева, который слышал отзывы Белинского и по нескольку дней разносил их с стенографическою верностью по домам, пока, вслед за Белинским, опять не увлекался чем-нибудь другим. Но, боже мой! что это были за отзывы! Кроме Кольцова и вне Кольцова, уже не было и не бывало в мире поэтов! Этот образ заслонил у него на время и Пушкина и Лермонтова — словом, ни о ком не было и речи больше. Заикнись кто-нибудь не то чтобы усомниться, а просто прибегнуть, например, к сравнению Кольцова с кем-нибудь или даже к простому и спокойному определению рода поэзии и таланта Кольцова — Белинский, а вслед за ним и Панаев разгромили бы того вконец! И это на неделю, на две, а потом анализ, охлаждение, осадок, а в осадке — искомая доля правды.

Я не ошибочно сравнил эти увлечения Белинского с

донжуановскими увлечениями женщинами: и у Белинского, как у поклонников женской красоты, все прежние идолы бледнели перед последним, иногда невзрачным, но имеющим более всего прелести новизны. Истина же оценки высказывалась в большей или меньшей продолжительности впечатления, и если последнее переживало последующих идолов, то значит — критика его была непогрешима. Но этого иногда приходилось долго ждать.

К идолам же, обманувшим его ожидания или которыми он увлекался прежде, в молодости, ошибочно или больше, нежели следовало, он был беспощаден впоследствии. Кажется, он восхищался еще в студенчестве Каратыгиным, когда тот приезжал из Петербурга в Москву, а Мочалов оттуда сюда и когда происходил между обоими артистами сценический, а по поводу их, в журналах, и литературный турнир [7]. Образовались два лагеря. Не знаю хорошенько, но подозреваю, что Белинский в юношестве платил, кажется, обоим артистам более дани удивления, нежели потом они (или собственно Каратыгин) в его глазах стоили, когда Белинский развился и созрел. О Мочалове он и после всегда отзывался сочувственно, ценя в нем верное и чуткое выражение тонких, нежных или высоких сторон шекспировских и шиллеровских ролей, особенно Гамлета, к чему совершенно признавал неспособным Каратыгина. Любимцу своему за некоторые истинно высокие минуты в тех или других ролях он прощал вялость, монотонность и небрежность исполнения, когда этот актер был не в ударе, а это случалось очень часто. В Каратыгине же он как-то нехотя признавал талант, хотя талант был большой и притом старательно выработанный трудом в школе сценических и литературных условий и преданий. Белинский говорил о нем, как о неуклюжей, ходульной фигуре, смеялся над его манерой и грубостью понимания тонких ролей.

Здесь он впадал в тот недостаток, который мешал ему быть вполне беспристрастным критиком. Уравновешивать строго и покойно достоинства и недостатки в талантах — было не в горячей натуре Белинского.

Между тем эта же самая горячность, то есть способность увлекаться, и поставила его во главе критики художественных произведений и создала даже школу этой критики, первым удачным последователем которой был Добролюбов и менее удачным — Аполлон Григорьев. Ни до Белинского, ни после него не было у наших критиков в

такой степени чуткой способности сознавать в самом себе впечатление от того или другого произведения, сближать и сличать его с впечатлением других, обобщать их и на этом основывать свой суд.

В этом, собственно, и состоял творческий прием его оценки. Ему помогало еще то, чего недоставало другим критикам: это страстное сочувствие к художественным произведениям. Чем ярче и сильнее талант, тем страстнее было и впечатление. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазию и порождало эти горячие критические излияния, которые бросали столько свету и огня на все, что производила литература замечательного. Эта самая страстность увлечений повергала его, как я заметил, и в те преувеличения, натяжки и ошибки, которые ставились ему, бывало, его противниками в вину, как умысел и обман. Точно так же производило в нем нервное раздражение и всякое бездарное, антиизящное явление в литературе и вело к горячим словоизлияниям в обратном смысле — и все с тем же блеском, остроумием, но с беспощадною иронией.

В области критики художественных произведений являлось и является немало более или менее замечательных умов и перьев, но очень немногие из них подходят к произведению по прямому и кратчайшему пути, то есть от непосредственного впечатления произведения на них самих: они обходят со стороны, от холодного умственного воззрения пускаются в критические дебри и рассуждают там, где надо прежде чувствовать и огнем чувства освещать путь у м у , — к верному определению достоинств или недостатков произведения.

Но чуткость нерв, сила фантазии и впечатлительность до степени страстности даются природою, по-видимому, не очень часто. Если сами художники встречаются не на каждом шагу, то и критики с такою сильною впечатлительностью, как у Белинского, при силе его ума и дарования, встречаются еще реже. Может быть, этим можно отчасти объяснить недостаток критики в нашей литературе, на который нередко раздаются жалобы в публике.

Недалеко то время, когда наступит черед самого Белинского предстать перед беспристрастный суд критики. Этот суд, не подкупленный привязанностью к его личности живых друзей — современников и его почитателей, настанет, когда охладится, теперь пока еще горячее, о нем воспоминание и предание: он отделит его общественно-литературную деятельность от всяких дружеских симпатий,

откинет все преувеличения и строго определит и оценит истинное его значение и заслугу перед обществом.

Даже и теперь еще, люди второго поколения, не связанные никакими личными отношениями к Белинскому, просто по краткости периода, на который отодвинулись от него, затруднятся произнесть строгий критический приговор его недостаткам.

Эти недостатки были, может быть, неизбежны при той роли, какая выпала ему на долю. Ему, как какому-то апостолу отрицания, пришлось разыграть в сфере критики и публицистики то же самое, что, другими способами и приемами, разыграл в искусстве Гоголь, и что, иначе уже, конечно, продолжало потом и продолжает разыгрываться или доигрываться почти всеми литературными деятелями до сих пор.

На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, как его, и такие способы и приемы, какие с успехом были употреблены им; другие, более мягкие, покойные, строго обдуманные, не дали бы ему сделать и половины того, что сделал он, образуя тогда собой, вместе с Гоголем, почти всю литературу: надо было разработывать едва початую общественную почву.

Снаружи казалось все так прибрано, казисто; общество выделяло из себя замечательных, даже блестящих единиц в разных сферах деятельности, на вершинах его лежал очень тонкий слой общеевропейской культуры. Но масса общества покоилась в дремоте, жила рутиной и преданиями и не готовилась еще идти навстречу тем реформам, мысль о которых уже зрела в высших правительственных сферах и приближение которых чуяли и предсказывали некоторые умы, в том числе и Белинского[8]. Он стал — или талант и вся его натура поставили его — во главе нового литературного движения. Беллетристы, изображавшие в повестях и очерках черты крепостного права, были, конечно, этим своим направлением более всего обязаны его горячей — и словесной и печатной — проповеди.

Понятно, что, соединяя в себе роли публициста, эстетического критика и трибуна, провозвестника новых грядущих начал общественной жизни, он неизбежно должен был впадать в резкости, иногда крайности, в лихорадку торопливости, увлечений, разочарований, раздражений, эфемерных симпатий, несправедливых антипатий и недо-

молвок — словом, непрерывной борьбы, без оглядки назад и без остановок!

Кто не оправдает его, вспомня, с какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, в каком застое покоилась масса, перед которой он проповедовал! Крепостное право лежало не на одних крестьянах — и ему приходилось еще оспаривать право начальников — распоряжаться по своему произволу участью своих подчиненных, родителей — считать детей своей вещественной собственностью и т. д. — и тут же рядом объяснять тонкости и прелесть пушкинской и лермонтовской поэзии. Без него, смело можно сказать, и Гоголь не был бы в глазах большинства той колоссальной фигурой, в какую он, освещенный критикой Белинского, сразу стал перед публикой.

Обращаясь к его увлечениям и разочарованиям, припомню, между прочим, о его беспощадных отзывах о Кукольнике и особенно о Бенедиктове[9].

Поражая направо и налево всякую рутинность, ходульность, ложь как в жизни, так и в искусстве, он и в том и в другом требовал простоты, естественности, и кто не удовлетворял этим условиям — тому пощады не было.

Кукольник и Бенедиктов, оба с значительными талантами, явились, на свою беду, последними могиканами старой, «риторической», как прозвал ее Белинский, школы. Он и печатно и в разговорах не мог о них отзываться равнодушно. В Кукольнике он еще соглашался признать некоторые достоинства, именно в повестях из эпохи Петра Великого, и, ставя их в пример, тем тяжеле обрушивался на «Тасса», «Джулио Мости» и др. Но о Бенедиктове он и слышать не мог. Вычурность некоторых стихотворений, в самом деле поразительная при таланте и уме Бенедиктова, делала его каким-то будто личным врагом Белинского. Зная лично Бенедиктова как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объяснял обилием фантазии натяжки и преувеличения во многих стихотворениях, указывал, наконец, на мастерство стиха и проч. Белинский махал рукой и не хотел признать ничего, ничего. Не помню, что он говорил печатно о его сочинениях, но в разговоре он постоянно раздражался против него, даже нападал (где-то в статье) на наружность Бенедиктова, в самом деле некрасивую. И Кукольник и Бенедиктов, оба были его bêtes noires. Первого он, кажется, знал лично,

а второго нет, разве видел где-нибудь. Но антипатия к их сочинениям вполне переходила и на авторов.

В Кукольнике лично он мог еще преследовать и ту кичливость, которую носили с собой всюду многие из знаменитостей. Тогда был триумвират из Кукольника, Брюллова и Глинки (говорят, неразлучных между собой), который примировал в обществе. Может быть, и это *генеральство,* выказывавшееся особенно резко в Кукольнике (которого я сам видал только мельком), в его фигуре, речи и манерах, много прибавляло уксусу к желчи Белинского.

Развенчивание от театрального, мишурного величия и самомнения разных знаменитостей и сведение их на степень обыкновенных смертных было тоже в числе его задач. Он не только отрезвлял от чрезмерного самолюбия живых, но, как известно, снимал венки и с усопших, возложенные на них слепым и преувеличенным поклонением их современников, заходя иногда при этом далеко, впадая в вышеупомянутые ошибки, резкости, порицания и отрицания, не стесняясь исторической перспективой. Он как будто не замечал (и действительно в то время не замечал), что при этом страдали законы строгого беспристрастия. Вся сила ударов его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтоб добыть какую-нибудь новую или расширить уже существующую свободу.

Справедливость требует прибавить, что он был пристрастен не в отрицательном только, но и в положительном смысле. Но последнее делалось у него неумышленно, а само собой. Его подкупали симпатии к близким или хорошим людям, к своему кружку — и он грешил не совестью, а мягкостью сердца. Упомяну о некоторых примерах. Между прочим, он хвалил повести Панаева и однажды только, как-то нехотя, почти шепотом, сказал мне уныло: «Творчества у него ни капли нет».

Кудрявцев из московского кружка, большой приятель Белинского, написал недурную повесть: Белинский отозвался о ней почти восторженно. Он смешивал приятеля с его сочинением, что, повторяю, у него было грехом его сердца, а не совести и эстетического вкуса. Литературные противники упрекали его в этой слабости, но никогда не указывали, из какого чистого источника проистекала она.

Я сказал выше, что Белинский боролся, чтобы добывать какую-нибудь новую или расширить старую свободу:

от этого и запальчивость, и пристрастия, и натяжки, и противоречия — все то, что неизбежно бывает при усиленной ломке старого и завоевании нового. Приведу пример, в котором Белинский является ревнителем женской эмансипации, не в обширном смысле так называемого женского вопроса вообще, который тогда еще не поступал, в нынешнем его значении и объеме, на очередь, а просто только в вопросе о любви. В числе всяких свобод, конечно, он не обошел и женскую свободу, за которую поломал немало копьев и апостолом которой была тогда Жорж Санд. Он за одно уже это, помимо таланта, был ее восторженным поклонником.

Я пришел к нему однажды рано после обеда (он жил тогда у Аничкова моста); он ходил по комнате и был рад моему посещению. «Ну, что «Теверино»? — спросил он. — Как вы находите!» — «Я не читал», — сказал я равнодушно. «Как не читали, вы?» — «Не читал», — повторил я. «Как так!» — «Не попалось книги под руку, я и не прочел». — «Что это такое!» — напустился он на меня и разразился сначала гонкой мне за лень и равнодушие, а потом дифирамбом «Теверино» и вообще Жорж Санду. Не читавши «Теверино», я, конечно, не могу теперь припомнить, что именно он сказал об этой повести, помню только, что, по мере того как приходили другие, человека два-три, после меня, он всякому указывал на меня и приговаривал с удивлением: «Теверино» не читал!»

О «Теверино» я упомянул теперь случайно, в виде предисловия к тому примеру, который хочу привести по вопросу о женской эмансипации и о крайнем увлечении этим вопросом Белинского. Не помню теперь, в этот вечер или в другой, он приступил ко мне с вопросом о «Лукреции Флориани», которая тогда появилась в переводе в «Современнике» [10]. Я и теперь помню то восторженное поднятие Белинским руки вверх, когда он, освещая фигуру Лукреции уже своим электрическим огнем похвал, ставил ее все выше, выше и, наконец, заключил, почти с умилением, что это «богиня, перед которой весь мир должен стать на колени!»

Меня с начала знакомства с ним, как нового для него человека, часто звали к нему и туда, где он бывал, потому что он оживал с новым, не неприятным ему лицом, высказывался охотнее, был весел, доволен — словом, жил по-своему. О Жорж Санде тогда говорили беспрестанно, по мере появления ее книг, читали, переводили ее; некото-

рые женщины даже буквально примеряли на себе ее эмансипаторские заповеди, поставив себя в положение тех или других ее героинь, чего, конечно, без нее им бы и в голову не пришло или пришло бы, как всегда, просто, без участия головы. Так, говорят, то есть по рецепту Жорж Санда, даже женился и В. П. Боткин и сейчас же разошелся с женой — уже по собственному своему усмотрению.

Я с большим удовольствием прочел «Лукрецию Флориани», наслаждаясь там вовсе не ее тенденцией освободить до такой степени женщину, до какой она освободила Лукрецию, а тонкой, вдумчивой рисовкой характеров, этой нежностью очертаний лиц, особенно женских, ароматом ума, разлитым в каждой, даже мелкой, заметке, и до сих пор смотрю так на Жорж Санд и наслаждаюсь всем этим в ней, независимо от ее задач. Но Белинский, ценя в ней художественность исполнения, конечно, по достоинству, выше всего, однако, ставил все-таки ее идеи. Я не раз спорил с ним, но не горячо (чтобы не волновать его), а скорее равнодушно, чтоб только вызвать его высказаться, — и равнодушно же уступал. Без этого спор бы никогда не кончился или перешел бы в задор, на который, конечно, никто из знавших его никогда умышленно бы не вызвал. Я только, так сказать, затрогивал его, или он, вернее, всегда сам задирал меня вопросом, ожидая возражения, и тогда разрешался любимым тезисом, кипятился и выкладывал все, что у него наготовилось за известный период о том или другом предмете и что потом укладывалось или в статье, если к этому времени подвертывалась статья, или в словесную импровизацию, в спор. Как безмолвных, так и слишком горячих собеседников, каким он был сам, он, кажется, не любил, что и понятно.

Я помню, что по поводу «Лукреции Флориани» я упрекал его слегка рабством авторитету, а самой Жорж Санд ставил в вину, как художнику, тесную исключительность ее сферы и ее парадоксы, доказывал, между прочим, что нельзя признавать «богиней» женщину, которая настолько не владеет собой, что переходит из рук в руки пятерых любовников, не обойдя даже такого хлыща, как грубый, неразвитой актер, что это уже не любовь человеческая, осмысленная, свойственная нравственной, развитой натуре, а так, «гнусность», что, наконец, любовь двух людей требует равенства в развитии, иначе это каприз и т. д.

Он напал на меня: «Вы немец, филистер, а немцы ведь это семинаристы человечества! — прибавил он. — Вы хо-

тите, чтобы Лукреция Флориани, эта страстная, женственная фигура, превратилась в чиновницу!»

Он однажды выразился даже так, что и художник сам должен окунуться в омут распущенности нравов, — и проговорил это довольно серьезным голосом, с важным выражением лица, с убеждением, как заповедь. Я уверен, что у Белинского в этом грубом парадоксе крылось то убеждение, что художник, не прикоснувшийся собственным опытом низших, грубых слабостей и падений, оставаясь в строгих пределах чистых нравов, не будет иметь многих красок на своей палитре для живописания всех людских страстей и страстишек. Иначе нельзя этого и объяснить. Белинский, конечно, вдавался в очевидную натяжку, допуская не только снисхождение, но присуждая, так сказать, венок женщине, которая смело оторвется от моральных и материальных уз, какими связана была и — я полагаю — во многом будет связана, то есть сама не позволит развязать себя, когда наступит отрезвление от горячки так называемого женского вопроса и когда последний вступит в фазис покойной и разумной обработки.

Белинский, без сомнения, лучше других понимал все, что есть крайнего в жизни этих Лукреций, и не смешивал про себя всех этих куч навоза, где толпились актеры, герцоги и прочие, сквозь фалангу которых прошла Флориани, — в одну какую-то пирамиду любви. Но ему и не это было нужно: ему снился идеал женской свободы, он рвался к нему, жертвуя подробностями, впадая в натяжки и противоречия даже с самим собою, лишь бы отстоять этот идеал, чтобы противные голоса не заглушили самого вопроса в зародыше.

О том, что, собственно, есть любовь как человеческое чувство и как строго и зорко надо его отличать от одного животного побуждения — он в ту минуту не думал, хотя нередко в печати выражал трезвость своего взгляда. Это второстепенный для него вопрос, до которого, конечно, дойдет очередь, когда одержана и упрочена будет главная победа свободы, а детали придут потом, когда начнется воспитание женщины в духе той свободы, — тогда и разберут, что и как. Особенно он боялся помехи со стороны пуритан и пуританок, которые косо поглядывали не только на эмансипационные попытки Жорж Санд, но и на чувственные проявления любви вообще. «Да, — задумчиво и серьезно сказал он однажды, уж не помню при каком случае, — конечно, не одно «это» (то есть чувственность)

соединяет любящихся, но без «этого» ничего другого и не нужно».

Между тем собственная его семейная жизнь совершенно противоречила тому, что проповедовал он на своей трибуне о женской свободе любить на манер Лукреции Флориани. Всему, что говорилось и писалось о его безупречных отношениях к женщинам, — надо верить. В семейной жизни трудно отыскать человека, который бы с бо́льшим уважением обращался к жене, чем он. Во всем его обхождении с ней было то, что французы называют déférence: * это же свойство проглядывало и в отношениях его к прочим знакомым женщинам, к женам и вообще семействам всего кружка. Если у него в душе и были какие-нибудь семейные облака, то, вероятно, он никогда никому их не обнаруживал. Вообще, глядя на его семейную жизнь, можно было заключить, что на деле он признавал «святость» семейных союзов — он, не любивший признавать вообще святостей.

Мне остается заметить кое-что еще о несправедливом поголовном и голословном упреке, который нередко обращали к Белинскому, — в необразованности![11]

В относительной необразованности можно упрекнуть всякого, не исключая самых образованных. Но на него обрушивался этот упрек, как будто он был неуч, как будто невежество его в чем-нибудь резко обличало его и было заметным недостатком.

Но сочинения его перед нами: где же грешит он в них какими-нибудь промахами против того или другого знания или слабостью в понимании того или другого, о чем писал? А о чем он не писал и чего не касался? И нигде нет никаких резких обличений в незнакомстве с догматикой той или другой науки, того или другого предмета.

Материальный повод к этому упреку, конечно, был тот, что он не кончил курса и не получил университетского диплома. За это прежде всего ухватились все завистливые посредственности, которых значение бледнело по мере того, как развивался и обнаруживался талант Белинского. У него, правда, не было ни официального значения, ни официальной учености, и за это его разжаловали в необразованные, в неучи, в недоучки!

Помнится, что и Полевого в начале его появления тоже упрекали неученостью и даже обзывали «купцом», потому

---

* почтительность (*франц.*).

что он не был в университете и не имел ученой степени.

Узнали, что Белинский не знает по-немецки, — следовательно, он-де ни Гегеля, ни Гете, ни других в подлиннике не читал, а говорит о них так, как будто читал их сам: ну, значит, и неуч!

Но как далеко ниже его стояли многие из упрекавших его в своей мнимой учености, — нужды нет, что они занимали ученые кафедры и положения или сотрудничали в журналах, говорили и писали о древних и новых литературах, не зная иногда ни одного или зная только французский язык!

Нет, Белинский был образованнее всех своих сотоварищей (не ученее, а именно образованнее), за исключением разве одного Герцена, правильная подготовка которого возводила его образованность на степень учености.

Средства Белинского были скудные, пути образования почти случайные (однако в университете, только без диплома). Знания, приобретаемые в университетской аудитории, дополнялись в кругу товарищей, при совместном чтении и взаимном объяснении оригиналов или переводов с иностранных языков, наконец среди прений, разборов в юных кружках, в добывании с трудом и в взаимной передаче книг.

Разве это не школа, не академия, где гранились друг о друга юные умы, жадно передавая друг другу знания, наблюдения, взгляды, — вся эта жажда и любовь к знанию? Какого же еще надо афинского портика, с Платоном в вицмундире и очках? Не так ли мы все приобретали то, что есть у нас лучшего и живого? Не там ли, в юношеских университетских кружках, и мы сортировали и осмысливали то, что уносили от кафедры?

Представьте же в этой школе мальчика с светлой головой, с впечатлительным воображением, любознательного и талантливого! Представьте необыкновенную остроту наблюдательности и понимания до степени ясновидения: сколько сокровищ он вынесет из такой школы!

А та масса русских и французских книг, которую он прочел по обязанности сотрудника, от «Молвы» до «Современника», в течение двадцати лет: это тоже своего рода школа! Тут ему не нужен был профессор: у него был свой регулятор и руководитель, который ближе свел его и с Гегелем, и с Шиллером, и с Гете — путями, непроходимыми для других, но доступными ему.

Ссылаюсь на один из любимых авторитетов Белинского,

Жорж Санд, которая где-то, говоря о краткости жизни и о трудности, даже невозможности познавать все, заключает так: «On ne peut pas savoir tout, il faut se contenter de comprendre» *.

И Белинский действительно «понимал» все, не только к чему прикасался его сосредоточенный анализ, но и то, что проносилось мимо его, на что он случайно обращал взгляд. Он жил, непрерывно учась за пером, в живых беседах с друзьями и почитателями и роясь в бездне книг, проходивших через его руки; и так — до конца жизни!

В руках противников Белинского упрек в неучености, как известно, был Архимедов рычаг, которым они старались столкнуть его с места, но, конечно, безуспешно.

Профессия ученого была не его профессия, да он никогда и не брал ее на себя.

Следовательно, говоря о его знаниях, необходимо обусловливать в точности, какой именно учености недоставало *ему*, — и за этим ставить вопрос: довольно ли было у него подготовки для той роли, какая выпала ему на *долю*, — именно для роли не эстетического критика собственно, не публициста только, а для того и другого вместе, и еще для чего-то — третьего? Наконец, надо еще спросить: отвечала или не отвечала степень его подготовки эпохе и моменту его деятельности и его *среде*, — и определить, сколько он сделал для своего времени и современного ему поколения? И только в совокупности на все эти вопросы и следует и можно давать по возможности покойный, то есть отрешенный и от вражды и от пристрастия к нему, ответ. Кстати, можно было бы спросить, много ли сделали те «ученые», которые громили его за неученость?

Известно, как Белинский был искренен и нехвастлив. С посторонним, мало знакомым лицом, он почти совсем не говорил или говорил мало, несвязно и не блистал ни умом, ни знанием. Только с близкими он был свободен в речи, не остерегался ошибок и давал волю своим силам. И в таких именно спорах он обнаруживал массу знаний, которых в покойном разговоре, вне всякого увлечения, нельзя было подозревать в нем. Он ронял и сыпал их нечаянно, как часто нечаянно в печатных статьях сверкал остроумием, удачными сравнениями, ссылками на те или другие авторитеты и т. п.

---

* Невозможно все знать, нужно довольствоваться пониманием (*франц.*).

Следовательно, знания, хотя бы собранные медленно, иногда урывками, служили прямой его цели, его делу, то есть его перу. Он не держал на ученой конюшне оседланного готового коня, с нарядной сбруей, не выезжал в цирк показывать езду haute école *, а ловил из табуна первую горячую лошадь и мчался куда нужно, перескакивая ученых коней. Этот способ партизанских наездов именно и нужен был ему для его целей.

Познаниями мог превосходить его, как я выше сказал, например, Герцен. Но ведь и он не ученостью все сделал в литературе и в жизни, что сделал, хотя ученость, или, лучше сказать, всестороннее образование, было важным подспорьем его таланту и блестящему остроумию.

Можно, конечно, пожалеть, что и Белинский не совершил от начала до конца путь более обширного, или, лучше сказать, более систематического образования, для исполнения с бо́льшим авторитетом той громадной роли, какая ему выпала на долю. Соответствующая его природным средствам подготовка помогла бы еще более его влиянию на литературное развитие в обществе и упрочила бы за ним значение его деятельности и заслуги — без всяких сомнений и споров.

---

* высшей школы (*франц.*).

И. ШМАКОВ

БЕЛИНСКИЙ В СИМФЕРОПОЛЕ

В журнале «Вестник Европы» за 1875 год помещен ряд статей г. Пыпина, посвященных биографии покойного В. Г. Белинского, Рассказав о путешествии Белинского по Южной России в 1846 году, г. Пыпин приводит его письмо из Симферополя, от 4 и 5 сентября[1], а затем как бы теряет путешественника и ничего не может сказать о пребывании его в Симферополе, кроме того, что сказано самим Белинским в письме *.

Будучи в то время постоянным жителем Симферополя, я имел случай познакомиться с Белинским и видел его довольно часто во все время его пребывания там, которое продолжалось около десяти дней.

Белинский приехал в Симферополь, если не ошибаюсь, 4 сентября, вместе с покойным актером Щепкиным, который, по просьбе симферопольской публики, согласился дать несколько драматических представлений в обществе наибездарнейших актеров, имевших антрепренером известного в Новороссийском крае актера Жураковского. С этим Жураковским, обладавшим весьма порядочным комическим талантом, в особенности в малороссийских ролях, Щепкин был знаком еще с тех пор, когда находился с ним вместе в большой труппе Штейна.

Белинский и Щепкин остановились в Симферополе в гостинице Банариуса, носившей название «Золотого якоря». Осень стояла чрезвычайно сухая и жаркая.

На другой день после их приезда я совершенно случайно поехал на дачу Мариино, принадлежавшую Владиславу Максимовичу Княжевичу. Взойдя на террасу,

* См. «Вестник Европы», 1875, май, стр. 148. (*Прим. И. Шмакова.*)

выходящую в сад и с которой открывался прелестный вид на Салгирскую дорогу, я нашел там, кроме хозяина и жены его, двух гостей. Один из них был худой, тощий, видимо страдавший грудью; он (что в то время было большой редкостью) имел небольшую рыжеватую бороду. Другой был толстяк, самого приятного, веселого, так сказать, аппетитного вида. Это были Белинский и Щепкин, которым хозяева меня немедленно и представили как своего хорошего знакомого. Владислав Максимович смолоду с большим успехом занимался русской литературой и постоянно с любовью следил за ходом ее и потому, видимо, с большим сочувствием и уважением относился и к Белинскому и к Щепкину. Белинский говорил мало и как будто неохотно; он заметно был утомлен и часто брался рукою за грудь. Разговор шел о путешествии по новороссийским степям от Одессы через Николаев, Херсон и Перекоп до Симферополя. Путешествие это очень не нравилось Белинскому, и он с удовольствием упоминал о том, что оно кончается и представляется возможность пробыть несколько дней в Симферополе, вблизи гор, лесов и проточной воды.

Фрукты, поданные на стол, около которого мы сидели, очень нравились Белинскому, и он охотно ел виноград, груши и персики. За чаем разговор оживился, глаза Белинского по временам как будто искрились, в особенности когда он весьма саркастически начал говорить о некоторых петербургских и московских литераторах и издателях; он подсмеивался над книгопродавцем-издателем Ольхиным, который совершенно случайно из департаментских курьеров министерства финансов сделался владельцем книжного магазина и издателем и считал себя до некоторой степени литературным деятелем. Насколько Белинский был сумрачен и неразговорчив, настолько был весел Щепкин; он рассказывал премилые анекдоты о своих странствованиях с труппою Штейна, с удовольствием вспоминал о веселых кутежах на украинских ярмарках, где сам выпивал по шестнадцати стаканов крепкого пуншу.

Около десяти часов Белинский и Щепкин возвратились в город, дав слово хозяевам бывать у них в Мариине почаще. Я ехал за ними верхом, и, несмотря на довольно темный вечер, мы всю дорогу весело разговаривали. Белинский очень трусил на крутых подъемах и спусках, по которым шла дорога. Он говорил, что сроду не ездил верхом и очень боится лошадей. На другой день, в десять

часов, я отправился в «Золотой якорь» и застал Белинского одетого, но лежащего в постели. Он принял меня очень любезно, много расспрашивал про окрестности и желал видеть лежащие близ города следы развалин Неаполиса; его также очень интересовал симферопольский фруктовый базар, в это время года чрезвычайно обильный фруктами всех возможных сортов. Погода была прекрасная и не очень жаркая; мое предложение быть его чичероне в прогулках по городу и окрестностям он принял с удовольствием, и мы немедленно, слегка позавтракав, пошли на базар. Белинский чувствовал себя хорошо, был весел и разговорчив. Мы заходили в татарские кофейни и пекарни, а на базарах накупили целую корзинку фруктов и на дрожках отправились смотреть развалины Неаполиса. Место, где находились эти развалины, возвышается едва ли не на пятьсот футов над Салгирской долиной, и оттуда открываются на три стороны очаровательные и разнообразные виды. Чатыр-даг и большая часть Яйлы видны как на ладони, почти от подошвы до самых вершин. Темные сосновые леса резко отделялись от лесов лиственных и серо-фиолетовых скал. Течение Салгира было видно верст на двадцать, с множеством деревень и садов, разбросанных по долине. На северо-западе видна была ярко-голубая полоса моря и серая, пыльная степь. Утомившись прогулкой, Белинский сел на траву и с большим удовольствием и аппетитом ел виноград и груши и расспрашивал меня о видимых вдали садах, дачах и горах. К трем часам мы вернулись в гостиницу, где ожидал Белинского пришедший навестить его доктор, Андрей Федорович Арендт; завязался скучный для постороннего разговор доктора с пациентом, и я оставил Белинского, дав слово навещать его ежедневно.

В тот же день вечером я был в театре на спектакле, в котором участвовал Щепкин; играли пьесу «Матрос»[2]. Прошло с тех пор около тридцати лет, но я до сих пор не могу забыть того приятного ощущения, которое произвела на меня чудная, задушевная игра Щепкина. Публика, не обращая внимания на жалкую игру прочих артистов, приходила в неистовый восторг при каждом слове, при каждом куплете, спетом Щепкиным. В особенности восторгался Александр Николаевич Серов, известный впоследствии композитор и музыкальный критик, в то время молодой, с артистическою наружностью, товарищ председателя уголовной палаты. После спектакля он обнял и расцело-

вал Щепкина со слезами на глазах. Белинский не досмотрел до конца спектакля и уехал домой. На другой день я застал Белинского серьезно больным; за ним ухаживал Арендт и запретил ему дня на три выходить из комнаты, советовал соблюдать строжайшую диету и не есть ничего, кроме винограда.

Внимание и участие симферопольской публики к Белинскому было очень велико; его постоянно навещали Княжевич, Серов и Арендт и многие другие. Дня через три он был совершенно здоров и охотно начал навещать своих симферопольских знакомых и собираться в дальнейший путь через Севастополь и морем в Одессу. В Севастополе Белинский и Щепкин должны были оставаться несколько дней, потому что и там общество желало видеть игру Щепкина.

Вот, к сожалению, все, что я могу сказать о пребывании Белинского в Симферополе, где он почти все время своего пребывания был не вполне здоров. Одевался он очень просто. Я его видел постоянно в сереньком пиджаке и черной войлочной шляпе с высокой тульей. В театре он был в черном сюртуке и легком сереньком пальто. Лицо его было некрасиво, но очень симпатично; на нем по временам появлялось какое-то саркастическое и даже злое выражение, а затем часто виднелось выражение затаенного физического страдания.

А. В. ОРЛОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

ГЛАВА I

С мая 1844 по 26 мая 1848 г. * я провела в семействе В. Г. Белинского. Накануне моего приезда Белинский почти целый день прождал меня в конторе дилижансов, а я приехала на другой день. Когда я позвонила, он сам отворил мне дверь, позвал жену, а меня втолкнул в переднюю, чтобы дворник и извозчик не видели наших излияний при встрече; вообще он совестился выказывать свое волнение. Когда внесли мои вещи и он расплатился с извозчиком, он вернулся к нам, поздоровался со мною, побыл немного с нами и ушел к знакомым, и в этом сказалась его всегдашняя деликатность — не стеснять нас при первом свидании.

Вскоре после моего приезда он пришел вечером часов в десять и сказал, что завтра в семь часов утра приедут подводы — перевозить нас на дачу в Лесной институт. Мы с сестрой всю ночь не ложились, укладывали вещи, а так как мы обе были новички в этом деле, то посуда была наполовину перебита.

Лето 1844 года было холодное и вполовину дождливое, по утрам ясное, а потом дождь почти каждый день. Дача у нас была омерзительная, построенная из барочного леса и оклеенная самыми жалкими обоями. Ветер гудел беспрепятственно под полуотклеившимися обоями; в комнатах было так холодно, что мы все трое с ногами усаживались на диван, и с нами две молодые собачонки, чтобы лучше согреться, и со стола не снимали самовара.

---

* День смерти Белинского. (*Прим. А. В. Орловой.*)

Белинский говорил, что на даче благоденствуют только собаки и я. А между тем, даже с завидным тогдашним здоровьем, и я простудилась, сделался флюс, и с тех пор я начала терять зубы один за другим. Понятно, что от всей этой обстановки и срочной работы здоровье Белинского страдало.

Раз вбегаю я в комнату; Белинский лежал на диване, а на полу я увидела пятна крови и в испуге ахнула.

— Ну, чего вы испугались и ахаете? — это у меня часто бывает.

Иногда Белинский вдруг упадет с дивана на пол и начнет кататься; волосы у него были прегустые, покроют все лицо, собаки начнут визжать и теребить его, а он от всей души смеется, так что раскашляется. Чай он пил обыкновенно очень сладкий, с большим количеством сливок и вливал в него немного рому; однажды ему не захотелось чаю, почти целый стакан остался, он вздумал дать собакам, которые сначала не решались пить, а потом выпили все и опьянели так, что и на четырех лапах не могли держаться — все падали. Белинский смеялся, как ребенок. Жена говорит ему: «Ведь они могут взбеситься! что ты наделал!» Он сейчас же побежал к колодцу, накачал воды в лейку и стал поливать собак до тех пор, пока они совсем не отрезвились и не стали валяться по песку.

Один раз на дачу к нам приехал Панаев после обильного обеда, был как-то особенно весел, глаза у него в этот день были пресмешные; стал что-то рассказывать, я засмеялась; вдруг Белинский вспыхнул: «Как вам не стыдно, Панаев, говорить глупости! А вы-то, — обращаясь ко мне, — чему смеетесь? Ведь вы ничего не понимаете». Я, конечно, обиделась, а когда сестра пришла, он сказал ей: «Растолкуй ты сестре своей, что она *не должна* смеяться, когда не понимает, что говорят. Сейчас был Панаев, говорил разные гадости, а благоверная сестрица твоя так и заливается-хохочет».

Белинский очень любил гречневую кашу, находил, что она лучше всяких пирожных. Он любил собирать грибы, огорчался, когда мало находил, а в день нашего переезда в город ему посчастливилось найти несколько белых грибов, чему он радовался, как ребенок.

Лето 1844 года Тургенев жил в Парголове, верст пять от Лесного, и каждое утро приходил к Белинскому. Разговорам и спорам не было конца. Тургенев говорил

обо всем так увлекательно и картинно, что невольно заслушаешься его. Некрасов жил рядом с нами. Он говорил меньше других, мало спорил, иронически улыбался во время спора других.

Сестра часто раздражалась на прислугу, что она ничего не хочет делать, как велят, грубит и везде старается обмануть и обсчитать. Белинский на это отвечал: «Это наши естественные, исконные враги, иначе и быть не может. Сама посуди: почему *она* должна делать у тебя и чистую и грязную работу, а не *ты* у нее?» — «Да я ей плачу за это жалованье». — «Да почему бы *ей* не платить тебе жалованье, да и командовать над тобой!»

Однажды мы остались совсем без прислуги. Утром Белинский выходит к чаю, видит: комнаты убраны, печи затоплены, самовар и проч. на столе.

«Ты наняла прислугу?» — «Нет». — «Кто же это сделал?» — «Мы с сестрой». Он вздохнул и сказал: «Не думал я, чтобы институтки способны были на это».

Осенью и зимой 1844/45 года к Белинскому часто собирались вечером человек пять-шесть его приятелей; все они были молодые, здоровые и красивые. Но странное дело: как, бывало, оживится и заговорит Белинский с свойственной ему страстностью и увлечением, невольно забудешь о красивых его приятелях и смотришь не наглядишься на него; он как будто вырастет и вдруг похорошеет какой-то не физической, а скорее духовной красотой; глядишь на него — не узнаешь: совсем не тот болезненный, точно придавленный и невзрачный человек, что был утром, а другой, незнакомый, с порывистой, задыхающейся речью, с глазами искрящимися, жгучими и иногда как бы карающими. Все замолчат. У него некоторые из знакомых читали свои произведения в рукописи: Достоевский, Гончаров, Майков, Некрасов [1].

В 1845 году лето провели мы на даче под Парголовом. Белинский купался в озере, спал наверху с открытыми окнами, схватил воспаление, и его, полуживого, перевезли в город; всю осень и зиму хворал, а весной 1846 г. уехал с М. С. Щепкиным в Крым, где морские купанья, вместо пользы, принесли ему вред.

Днем Белинский не мог писать; бывало, все ходит по комнате, дрожит и кашляет, а за работу принимался вечером после чаю, и часто почти всю ночь пишет, а на другой день является к чаю как с креста снятый. Писал он очень скоро, полулисты так и отбрасывались в сторону

один за другим; рот судорожно сжат и искривлен, глаз не видно, — они смотрят на бумагу, волосы спустились на лоб. Мы с сестрой сидим рядом в комнате, читаем или работаем и молчим; вдруг Белинский скажет: «Что же вы замолчали? Болтайте о чем-нибудь, — это мне не мешает».

Иногда жена упрекала его, что он покупает то птиц, то цветы, когда денег так мало; на это Белинский отвечал: «Видно, что ты не испытала *настоящей* нищеты: не знала, что такое не иметь ни обуви, ни белья для перемены, сидеть голодным в нетопленной комнате».

Когда Белинский вернулся из Крыма и книги его были перенесены от Языкова, они лежали на полу в его кабинете. Он очень дурно себя чувствовал и задыхался от кашля. Я предложила ему убрать книги в шкаф, чтобы можно было вымести комнату. Я поставила их по своему премудрому усмотрению — большие к большим, а маленькие к маленьким. На другой день Белинский так и ахнул, увидевши мою работу.

— Хоть бы неграмотная была, не так бы обидно, а то и читать умеет, а поступила хуже безграмотной. Вместо облегчения она сделала мне двойную работу — выбирать книги и расставлять.

24 ноября 1846 года родился у него сын Владимир. Когда приехала бабка, Белинский, взволнованный и испуганный, расставил везде свечи на всех столах и этажерках и зажег их, так что с улицы могли подумать, что у нас пир, а он все переходил от одной печки к другой, дрожал и не мог согреться до окончания всей этой страшной церемонии. Тургенев заранее вызвался быть крестным отцом и сказал сестре, что подарит крестнику небольшую деревню. «И ты возьмешь!» — «Я не для себя возьму, а для ребенка».

Когда пришли крестить, у Тургенева с Белинским был спор о чем-то, и сколько я ни повторяла, что Тургеневу пора идти записаться в книге, меня не слушали и продолжали спорить. Наконец дьячок говорит: «Распишитесь хоть вы». Я и Маслов расписались, а Тургенев с m-me Тютчевой после, — и вышло, что первая пара была действительная, а вторая — для украшения. Во время обряда я старалась не глядеть на Тургенева, из боязни рассмеяться, так смешно было его испуганное лицо с чрезвычайно вытянутыми вперед руками, когда ему положили ребенка. Он потом говорил, что сильно

боялся уронить его на пол. Обыкновенно Тургенев звонил сильно и иногда даже обрывал звонок, а как войдет, бросится на диван, так что иногда пружины лопались, а на другой день после рождения мальчика он позвонил очень осторожно (колокольчик был обвязан), вошел и сел так тихо, что ни одна пружина не зазвенела, и спросил у меня вполголоса о здоровье сестры и маленького. Эта деликатность удивила и глубоко тронула меня.

Крестник Тургенева прожил недолго; в марте он умер. Чтобы облегчить его страдания, доктор велел ему делать четыре или пять раз в день ванны. День и ночь мы не отходили от него, а Белинский вообразил, что ребенок еще поправится, а когда доктор сказал, что все кончено, и велел раскрыть его и отнять горячую бутылку от ног, горе Белинского было так велико, что ни прежде, ни после я не видела ничего подобного.

Смерть ребенка и весна окончательно подкосили его; он страдал сильно, и ночью, когда спал, то стонал и хрипел страшно; сестра боялась оставаться одна, думая, что он умирает. Вот мы, бывало, и стоим обе у дверей спальни, обледенелые, держась за руки, чтобы не упасть от страха. От всех этих невзгод молоко (сестра сама кормила) бросилось в голову, она вскочила на окно и хотела броситься с третьего этажа на мостовую; к счастью, ударилась головой об раму. В эту минуту Белинский проходил мимо, схватил ее за подол платья и сбросил с окна, которое затворил, послал за доктором и за пиявками. Я в это время гуляла с племянницей в Летнем саду, и когда я медленно стала подходить к дому с ребенком, Белинский на балконе ждал меня, выбежал на улицу: «Идите скорее, Marie больна! Ей ставят пиявки. Надо убрать подальше ножи, вилки, ножницы». Доктор приехал, увидел, что молоко бросилось ей в голову: прежде он занимался Белинским, а на сестру не обратил внимания. Время отъезда за границу (к этому времени относится прилагаемое ниже письмо Тургенева) приближалось; сестре стало немного получше, а Белинский был плох, страшно исхудал. В минуту прощанья он подошел ко мне и с невыразимой тоской и мольбой сказал торопливо: «Поберегите их обеих!» — и быстро отвернулся.

Из-за границы письма Белинского открывались с волнением и тревогой за его здоровье. Однажды сестра написала ему, что я научила дочь их Ольгу разным бранным

словам, которые она повторяла, конечно, бессознательно, но с восхитительной улыбкой своего хорошенького личика, и это очень забавляло меня. «Скажи сестре, — писал Белинский, — чтобы она этого не делала: дети должны слышать и знать только слова любви и ласки» [2].

После возвращения из-за границы, осенью 1847 года, хоронили управляющего домом, в котором мы жили; мимо наших окон пронесли гроб, певчие запели, Ольга, которой было два года, тоже запела что-то. Отец и говорит: «Дурак, дурак! Если бы ты могла понять это — у тебя прошла бы охота петь». Вообще у нас ни слова «чахотка», ни «смерть» никогда не произносились в доме, а между тем и он и мы обе ясно видели, что ему недолго жить.

Раз вечером собрались у нас несколько человек. Вдруг Белинский говорит: «Тютчев, сколько стоили похороны Кульчицкого?» Тютчев сказал цифру. «Откуда же возьмет бедная вдова такую сумму и для того только, чтобы запрятать гнилое тело?» Все, как ошеломленные, молчали.

Из-за границы Белинский привез длинное пальто темно-серого цвета с черными разводами, на пунцовой фланелевой подкладке; Анненков назвал это пальто-халат красным; [3] он, верно, видел только подкладку. При всех своих немощах, Белинский любил иногда играть с дочерью: отворотит обшлага у рукавов и говорит: «Я буду медведь, а ты Машенька», — и начнет ворчать, а дочь его со страхом и восторгом спасается от его нападений. Однажды, изображая медведя, он вздумал лечь под стол; в это время с ним сделался припадок удушья и кашля, так что мы с сестрой едва могли его оттуда поднять.

После Святой 1848 года стали выносить на двор под деревья диван и выводили туда Белинского [4]. Дверь парадную не запирали, потому что сестра беспрестанно ходила то к нему, то в комнату за питьем или лекарством. В один из этих промежутков зашел солдат, взял ложку с варенья, засунул ее себе в рукав, а рядом стоял буфет, где лежало серебро, но он не успел ничего больше взять. Сестра вернулась и, видя, что ложки нет, а середи комнаты стоит солдат высокого роста, позвала меня, — я была рядом в комнате, с племянницей. «Где ложка, — спрашивает, — сейчас она лежала на варенье?» Солдат отдал ее. На этом дворе стоял штаб. Вечером явился к нам генерал дивизии, расспрашивал, какого вида солдат и узнаю ли я его, если он выстроит всех

солдат передо мной. Белинский так и впился в меня своими горевшими лихорадкой глазами. Я отвечала, что не узнаю, потому что они все похожи друг на друга, и я в испуге, что он очутился у нас в комнате, хорошенько его не разглядела. После ухода генерала Белинский сказал, что у него от сердца отлегло, когда я так ответила. «Ведь знаете ли вы, что бы с ним сделали!» — сказал он, задыхаясь.

Незадолго до смерти сестра надела на дочь новое платье и показала ее мужу, а он и говорит: «Зачем ты ее так рядишь, а сама ходишь с продранными локтями?» — «Да на ее платье пошло только два аршина, и все оно стоит пятьдесят или шестьдесят копеек».

Последние дни он очень тосковал и не мог долго оставаться в одной комнате; надо было переводить его из кабинета в залу, потом в спальню, а один он не мог идти, упал; вот мы и возьмем его под руки. «Не думал я дожить до того, чтобы меня водили под руки».

Накануне смерти, 25 мая, он был очень тих, совсем не кашлял. Несколько ночей сряду сестра плохо спала, утомилась сильно и часов в десять вечера пришла ко мне в комнату, чтобы уснуть. Я осталась сидеть в спальне, прямо против его постели; взяла какую-то книгу и делала вид, что читаю, а сама из-за книги взглядывала на него. Он лежал тихо, не кашлял, ничего не говорил, а глядел как будто на меня такими большими глазами; от его взглядов я не знала куда деваться, а между тем должна была казаться покойной. Он часто просил пить и спрашивал, который час, а сам все двигался к краю постели. Я подложила подушку под матрац, чтобы не упал. Сперва он пил из стакана, а потом прямо из графина, и так много пил; тоска становилась все сильнее; все чаще спрашивал, который час.

Так пробыла я до 1 часу, потом он говорит: «Позовите жену!» Я побежала за ней; она пришла и видит, что он уже не лежит, а сидит на постели, волосы поднялись дыбом, глаза испуганные. «Ты, верно, чего-нибудь испугался?» — «Как не испугаться! — живого человека жарить хотят». Сестра успокоила его, говоря, что это ему приснилось; она уложила его покойнее и бегом побежала сказать мне, что агония началась. Но я заснула крепко, и она не захотела меня будить. Вернувшись в спальню, видит, что Белинский приподнимается; она подложила ему под спину подушки и сама рукой под-

державала его. Необыкновенно громко, но отрывочно начал он произносить как будто речь к народу. Он говорил о гении, о честности, спешил, задыхался. Вдруг с невыразимой тоской, с болезненным воплем говорит: «А они меня не понимают, совсем не понимают! Это ничего: *теперь* не понимают — после поймут. А ты-то понимаешь ли меня?» — «Конечно, понимаю». — «Ну, так растолкуй им и детям». И все тише и невнятнее делалась его речь. Сестра уложила его. Он все продолжал говорить. Вдруг заплакала его дочь; он услышал ее: «Бедный ребенок, ее одну, одну оставили!» — «Нет, она не одна — сестра с ней». А я, как успокоила ее, тотчас же опять заснула. Наконец в шестом часу утра, 26 мая, он умер тихо. Сестра все время оставалась с ним одна. Ему не было тридцати восьми лет.

В день смерти пришел Панаев, прошел в заднюю комнату, где была сестра, и сказал ей захлебывающимся от рыданий голосом: «Ради бога, ни о чем не заботьтесь, все будет сделано». И действительно, похоронили его в складчину приятели, которые и содержали нас до конца ноября; тут мы отправились с двумя детьми и с собакой Белинского в Москву, страшно бедствовали в дороге.

Весной, перед смертью Белинского, денег в доме совсем не было. За квартиру и прислуге за несколько месяцев не заплачено; пришлось еще при жизни его продать рубашки, что он привез из-за границы. Траур не на что было купить, и сестра носила крашеное шелковое платье. Сестра получила место кастелянши в Александровском институте с одиннадцатью рублями жалованья в месяц, а я — классной дамы, с двадцатью пятью рублями. Меньшая дочь Белинского скоро умерла[5], а бедная сестра моя с этого времени получила хроническую болезнь, которую ни в Москве, ни за границей не удалось вылечить.

Несмотря на свои более чем ограниченные средства (тридцать шесть рублей) и на отсутствие из Москвы, сестре удалось поставить на могиле первый простой памятник в тридцать рублей. Это сделал родственник Белинских, Дмитрий Петрович Иванов, когда ездил в Петербург для определения детей в училище. По смерти Добролюбова, когда друзья стали искать могилу Белинского, никак не могли найти ее: вдруг услышали, что какой-то господин говорит своему сыну-гимназисту: «Заметь хорошенько место: это *могила великого человека* — здесь похоронен Белинский!» Друзья его удивились, на-

шедши памятник и на нем засохшие венки. Ясно, что кто-то навещал могилу, — только, конечно, не друзья. По подписке собрали деньги на памятник по всей России, но памятника почему-то не поставили.

У Пыпина сказано неверно, что дочь Белинского воспитывалась в Александровском институте. Так как она была слабая, болезненная, доктора запретили ее учить и не позволили ей быть в институте даже приходящей; она училась немного дома, а когда ей было шестнадцать лет, к ней ходили в дом лучшие институтские учителя, и она с небольшим в год приготовилась и отлично выдержала экзамен в Московском университете.

Алексей Дмитриевич Галахов больше всех поработал и похлопотал, чтобы ей выдавали пенсию из литературного фонда. Уцелело задушевное письмо, которое он по этому случаю писал сестре [6].

От издания Солдатенкова и Щепкина, когда разошлись пятьдесят две тысячи экземпляров, на долю сестры причли четырнадцать тысяч, которые она потом дала дочери в приданое.

В 1866 году, по окончании своей двадцатипятилетней службы, сестра была в Петербурге, поставила теперешний памятник в пятьсот рублей и отправилась за границу, где дочь ее впоследствии вышла замуж в Греции, в Корфу. В последний раз мы видели могилу Белинского в 1871 году, когда ездили в Гапсаль.

Вот все, что я припомнила из этой скорбной эпохи. Остальное все описано Панаевым, Пыпиным и другими.

г. Корфу.
Март 1891 г.

ГЛАВА II

В 1835 году Марья Васильевна Орлова познакомилась у Петровых с Виссарионом Григорьевичем Белинским, который много раз бывал у нее в Александровском институте, где она служила классной дамою. В некрологе ее сказано, что институтское начальство преследовало ее за знакомство с Белинским, которому и запретило бывать в институте, — это неверно [7]. Ничего подобного не было, да и не могло быть, потому что начальницей этого заведения была тогда женщина энергичная, развитая и умная, одаренная, сверх того, очень независимым характером.

С первого знакомства Марья Васильевна очень нравилась Белинскому, чему доказательством служат, между прочим, многие стихотворения поэта Красова, написанные, по заказу Белинского, на ее счет; [8] но о женитьбе, по своей бедности, он не мог и думать.

Несмотря на замечательную тогдашнюю красоту, в сестре не было ни малейшего кокетства и жеманства, а какая-то почти царственная и строгая простота; за отсутствие кокетства Белинский впоследствии упрекал ее, говоря, что женщина должна быть немного кокетливой, — это придает ей пикантности. «Поздно меняться — мне уже тридцать лет», — отвечала она.

Через А. Д. Галахова Белинский узнал, что статьи его читаются Марией Васильевной и ценятся ею высоко, а прежде он думал, что женщины не станут читать его.

Из письма Белинского при посылке «Демона», которого вручил ей приятель его, В. П. Боткин, а также и из письма Боткина о впечатлении, которое сестра сделала на него при свидании, видно, что сестра, не будучи еще женой Белинского, никаким образом не обещала быть Далилой, как это неверно фантазирует г. Протопопов (в биографии Белинского, изд. Павленкова) [9].

Нисколько не похожа она была и на жену Гейне, которая не имела и смутного понятия о гениальности своего мужа. Жена Белинского имела, напротив, очень ясное понятие о значении своего мужа, которого любила и уважала глубоко. Только между ними никогда не было видно никакого миндальничанья, любовь их была слишком целомудренна, и оба не любили выказывать своих чувств. Белинский очень ценил литературный вкус и такт жены и подчас удивлялся меткости и верности ее суждений.

В 1843 году, в бытность Белинского в Москве, он приехал навестить сестру в Сокольниках, где она после болезни жила на даче с своими родственниками. Здесь узнал он, что по болезни она должна была оставить службу; на ее место поступила я, и она жила со мною.

Белинский сделал ей предложение, и в ноябре они обвенчались. По словам Панаевой, после женитьбы Белинский реже стал уходить из дому — его уже не давило уединение; когда он не писал, то часто до поздней ночи они говорили и спорили чуть не до слез, — сестра была очень настойчива и упорна в своих мнениях. Во время этих разговоров я уходила к себе, особенно когда ро-

дилась Ольга, которую ни днем, ни ночью не оставляли одну с нянькой. В продолжение четырех лет между Белинским и его женой не было ни одной ссоры, а только споры бесконечные. Один раз в шутку он назвал жену Ксантиппой, а себя Сократом, потому что сестра ворчала на него, когда он, выходя, забывал надеть калоши или когда новый галстук носил дома, а в старом шел в гости.

С 1843 по 1846 год было мало писем Белинского: из этого видно, что семейная жизнь была ему по вкусу, в чем он не раз признавался. «Если бы ты знала, — говорил он жене, — как тяжело и противно было мне прежде возвращаться домой; точно в тюрьму шел. Часто совсем больной и в мерзейшую погоду плетусь куда-нибудь, чтобы только не оставаться одному».

Но болезнь, безысходная бедность и срочная работа не давали ему отдохнуть.

Раз вечером Белинский сказал кому-то из приятелей: «Если бы я имел власть, то запретил бы именным указом подлецам бедным жениться: мало того, что сами гибнут, но и заедают жизнь другого». На это никто, конечно, ему ничего не возразил.

А. Н. Пыпин совершенно справедливо говорит, что у домашнего очага началась для Белинского новая жизнь, с особыми интересами и тревогами. Из этого вовсе не следует, чтобы жена его внесла в дом *особые* тревоги, — эти тревоги (болезнь и безденежье) и прежде существовали, а теперь, с увеличением семьи, не могли исчезнуть; при чем тут жена его, которая бережливостью, порядком и почти немецкою аккуратностью могла поспорить с какой угодно Пенелопой; у той были слуги и богатство, Белинская же во все время ее замужества (четыре с половиной года) сшила себе одно ситцевое и одно черное шелковое платье, да и то когда была беременна и ее прежние платья ей стали негодны. Вообще я нахожу главное достоинство в книге Протопопова — это ее дешевая цена (двадцать пять копеек), доступная даже бедному учащемуся юношеству, которое не в состоянии заплатить четыре рубля за добросовестный труд Пыпина. Все же и из этой брошюры оно в состоянии познакомиться с такой высоконравственною личностью, как был Белинский.

Совершенно верно охарактеризовал г. Протопопов Боткина и Краевского, который превратил Белинского в щедринского Конягу. Отдаю полную справедливость его оценке писем Белинского, которые несравненно выше и заду-

шевнее его печатных статей. Одного не могу я простить г. Протопопову: зачем он, не имея никаких данных, бросил грязью в жену Белинского? Это была женщина высокого, светлого ума, сердце ее было любящее, самоотверженное; ценить и любить мужа она умела, как очень редкие жены. Когда вздумали перенести прах Белинского в одну могилу с Тургеневым, она этому воспротивилась и написала Гаевскому: «Для вас это увлечение минуты, а для меня его могила — *святыня.* Он всю жизнь был неудачником, зачем же теперь тревожить прах его?» [10] Согласитесь, что это показывает недюжинную натуру. Да на дюжинной женщине Белинский бы и не женился: ему нужен был друг, вполне понимающий его, а не вертлявая кукла. Один из приятелей его женился; жена его оказалась очень достойной женщиной. Белинский сказал по этому случаю, что женитьба его делает честь уму и сердцу его, что выбрал себе такую жену.

Теперь, когда сестра умерла, можно было бы напечатать все письма Белинского к жене и ее к нему, но где их взять? Кетчер не возвратил ни одного из них, несмотря на усиленные просьбы сестры и г. Иванова, его родственника. Хорошо бы при посредстве газетной публикации добыть эту переписку. Не может быть, чтобы Кетчер сжег ее, а вероятно, отдал кому-нибудь. Если бы каким-нибудь чудом сохранилась переписка, тогда можно бы достойным образом почтить память Белинского, напомнивши о нем в пятидесятилетний юбилей его смерти в 1898 г. [11].

Когда я писала свои воспоминания о Белинском (глава I), я прежде всего прочитала Пыпина и Панаева, — и совершенно упала духом, потому что все, что я помнила, было уже написано, так что я собрала только то, о чем не было говорено, и этого оказалось очень мало. Теперь же, когда его корреспонденция утрачена, мне неоткуда взять материала для пополнения пробелов. Не леность заставляет меня положить перо: занятий у меня нет никаких, а говорить о Белинском и жене его было бы великим удовольствием для меня — это мешало бы мне апатически дремать в моей бесполезной жизни.

С 1848 по 1890 год никто из теперешних и прежних литераторов (даже закадычный друг покойного, В. П. Боткин) не вздумал навестить Белинскую и узнать от нее лично чего-либо об ее муже. Тогда многое уяснилось бы из интимной жизни Белинского и из характера его жизни.

Портрет, приложенный к книге Протопопова, не похож

на Белинского — это сказала я лично самому художнику, который привозил его показать сестре. Невозможно передать черты лица и выражение глаз через столько лет и лицу, никогда его не видавшему.

г. Корфу. Август 1891 г.

POST SCRIPTUM *

Посылаю вам письмо Тургенева (см. ниже), где он обещает беречь больного и ухаживать за ним; но как только явился Анненков, Тургенев тотчас уехал в Лондон. Ох! эти мне друзья, друзья!

Вот все, что уцелело у м е н я , — больше ничего нет и не было; даже единственное письмо, которое Белинский написал мне после женитьбы, пропало вместе с другими. Еще раз перечитала я Пыпина, Панаева и Головачеву, — и решительно не нахожу, что бы я могла прибавить, — все уже сказано. О цензурных передрягах есть указания во многих письмах к Боткину. (См. у Пыпина: 114 стр. — из моей статьи вырезан весь смысл, выкинута ровно половина. 120. Статью о Петре Великом исказил цензурный синедрион. 187. О Державине — искажена. 304. Ответ «Москвитянину» страшно ошельмовали.)

Когда приносили его изуродованные цензором статьи, лицо Белинского то вспыхивало, то бледнело, он в отчаянии отбрасывал книгу и начинал сильнее кашлять.

Глаза у Белинского были серо-голубые, большие, прелестные, искристые, следовательно, и Тургенев и Кавелин — оба правы.

Белинский и прежде женитьбы очень любил детей и собак, и они ему платили тем же.

Из Крыма и из-за границы он писал, что не может хладнокровно видеть детей, особенно маленьких девочек; страшно тосковал и рвался домой. «В другой раз меня и калачом не выманишь из дому. Другое дело с семейством, а одному — слуга покорный!» — писал он.

Значит, влекло же его сильно в семью, но болезнь и бедность давили его неустанно.

У Панаевой совершенно верно описано, как он собирался жениться, какая перемена произошла в его расположе-

* Этот постскриптум извлечен из письма ко мне А. В. Орловой. (*Прим. Г. Джаншиева, редактора сборника «Лепта Белинского».*)

нии духа; кончилось одиночество, он даже охладел к преферансу и гораздо реже стал выходить из дому. Разговорам и спорам его с женой не было конца. Об одном я жалею, что мне не удалось прочитать ни одной строчки из его писем к жене — неуместная деликатность с моей стороны.

Как горячо заступался он за Некрасова, бранил Тургенева, что он раздражает Достоевского и подзадоривает больного человека; всех-то он любил, ценил и жалел. А его отзыв о доброте Панаева дышит такою теплотою, что и теперь, почти после пятидесяти лет, нельзя читать его хладнокровно.

И за все это Достоевский и Некрасов заплатили самою черною неблагодарностью, особенно Некрасов в последнюю зиму все раздражал его, говоря, что пора писать, а когда Белинский говорил: «Не могу писать», то Некрасов прибавлял: «Когда нужно писать, то и больны. Да, впрочем, скоро вам и совсем запретят писать». После этих свиданий Белинский долго не мог прийти в себя. Сестра пошла сама затворять дверь и говорит: «Как вам не стыдно, Некрасов, мучить больного? Разве вы не видите, что он умирает?»

После переезда нашего в Москву друзья Белинского не навестили ни разу вдову и дочь Белинского, хотя Боткин и Маслов (отец крестный всех троих детей Белинского) постоянно жили в Москве.

M-me К. сказала раз сестре, что Кетчера следовало бы потребовать в суд, чтобы он возвратил письма; сестра этого не сделала; я ему в 80-х годах писала не раз, но только не получала ответа. Из родных Кетчера жив его племянник, Флавий Владимирович Кетчер, он его прямой наследник; не осталось ли у него чего-нибудь из писем? Прежде он жил в Москве, а теперь не знаю где. Нельзя ли через публикацию узнать, не уцелело ли что-нибудь из писем и не откликнется ли какая-нибудь добрая душа?

г. Корфу, 23 декабря 1891 г.

ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА К БЕЛИНСКОМУ

Берлин 17 (5) апр. 47

Я было начал пенять на вас, любезный Белинский, за то, что вы не отвечаете на мои два письма, как полученное мною вчера от Тютчева письмо объяснило мне причину вашего молчанья. — Мне нечего вам сказывать, что известие,

сообщенное им, меня огорчило и что я принимаю сердечное участие в нашей потере; но, признаюсь, почти столько же опечалило меня и то, что ваше здоровье опять расклеилось. — Берегите себя и постарайтесь не расклеиться совершенно (сколько это будет от вас зависеть) — до *первого* парохода: а там — я почти готов ручаться за ваше совершенное выздоровление. Как только я вас увижу в Штеттине — я на ваш счет успокоюсь. Я полагаю, что недели две или три спустя по получении этого письма вам можно будет отправиться; устройте же все ваши дела так, чтобы никакое препятствие не могло помешать вашему отъезду. — Я вас только убедительно прошу об одном: не церемониться со мной и располагать моей особой. — Как только вы возьмете место на пароходе, прошу вас тотчас известить меня, — и ожидайте встретить меня на набережной в Штеттине. — А впрочем, не печальтесь слишком, наблюдайте за собой, как за маленьким ребенком, и не тревожьтесь слишком. — Мог бы я написать вам кое-что о том, что здесь делается; но вам теперь, вероятно, не до того. — И потому — до свиданья; крепко жму вам руку и оканчиваю мое письмо опять-таки той же просьбой: располагать мною. — Кланяюсь всем вашим. Прошу вас уверить Марью Васильевну в моем искреннем участии. До свиданья.

Ваш *Тургенев.*

А. М. БЕРХ

ИЗ ЗНАКОМСТВА С БЕЛИНСКИМ

В 1846 году поступил я в Инженерное училище в Петербурге. Этим распоряжением обязан я родственнику моему Г. П. [1], человеку очень умному, образованному и развитому, который всегда оказывал мне большое расположение, и он первый подал отцу моему (матери я лишился прежде) благую мысль отослать меня для образования в Петербург, на что отец мой прежде не решался, страшась долгой разлуки, незнакомого города и дальнего расстояния.

Осенью того же года Белинский вернулся с юга России, куда он ездил для поправления своего расстроенного здоровья, что, впрочем, к несчастию, ему совсем не помогло. Раз как-то, в том же самом году, совсем неожиданно получаю я от родственника моего Г. П. письмо, в котором он описывает мне Белинского, его с ним встречи и под конец старается убедить меня искать его знакомства, которое, по его мнению, было бы мне чрезвычайно полезно. При этом он приложил в. моем конверте письмо к Белинскому и просил его заняться развитием моих умственных способностей, то есть, одним словом, несколько просветить меня. Г. П., читая в периодических изданиях сочинения Белинского, был сильно привлечен к его в высшей степени благородной, правдивой и честной личности. Но когда он после встретился с ним в Николаеве, сочувствие и уважение его к нему перешло в горячее чувство душевной привязанности, доходящей до увлечения, до какого-то благоговейного восторга. И впоследствии он не мог равнодушно говорить о нем и, вспоминая его, весь оживлялся, невольно поддаваясь обаятельному влиянию этого высокого ума, этой прекрасной души.

В то время мне было четырнадцать лет; в эти годы я был очень застенчив, стыдлив и неохотно решался исполнить поручение моего родственника. С каждым днем ро-

бость все более овладевала мною, и я все дальше откладывал предстоящий визит мой. «Писатель! ученый! мыслитель! — вертелось у меня в голове при мысли о Белинском, — замучает он меня совсем своими отвлеченностями, учеными терминами, — думал я, — забросает меня такими трудными, непонятными словами, что боже упаси. Нет, не пойду!» — решил я окончательно и действительно не пошел, запуганный его славою и страшась найти в нем сухого, строгого педанта. Но вот проходит год, и я снова получаю письмо от Г. П., который удивляется, что я до сих пор не был у Белинского, и убеждает меня и настаивает, чтоб я непременно побывал у него и что он уже давно обо мне знает. В конверте моем я нашел новое письмо к Белинскому. Делать нечего, надо идти.

Но я все-таки промедлил еще несколько месяцев и наконец в один прекрасный день, а именно в субботу, когда кончились классы, собрался с духом и отправился на Лиговку, где жил тогда Белинский. Отыскав его квартиру, с замиранием сердца звоню робкой рукой. Мне отворила дверь краснощекая полная горничная и, пока я снимал шинель, как-то мгновенно исчезла. Я остался один и решился войти в следующую комнату. Там стоял спиной ко мне, наклонясь к окну, какой-то мужчина и заклеивал замазкой разбитое окно. Он был в длиннополом, довольно ветхом и чуть ли не китайчатом халате. Я подошел ближе, он обернулся. Я увидел бледное, очень бледное, худое, истомленное лицо, такой же бледный лоб, на который небрежно падали темные волосы, остриженные в кружок, как у русского мужичка; из-под строгих бровей смотрели темные глаза, впалые, лихорадочные, с выражением суровости.

— Виссарион Григорьевич Белинский, кажется, здесь живет? — заговорил я, обращаясь к незнакомцу. — Могу я его видеть?

— Честь имею рекомендоваться, — было мне ответом, — я сам Белинский.

Верно, я не сумел при этом скрыть своего удивления, потому что он едва заметно улыбнулся. Я отрекомендовался ему, в свою очередь, и подал письмо от Г. П.

— А! Так вы тот самый молодой человек, о котором мне в Николаеве говорил Г. П. Очень рад, очень рад, садитесь, пожалуйста.

И он приветливо протянул мне руку, и лицо его прояснилось, и с глаз как будто сбежала суровость, замененная теперь более мягким, более добрым выражением. Мы сели:

он на диван у стола, а я поместился против него на стуле. Было что-то чрезвычайно располагающее к нему в его обращении, чуждом всякой натянутости, светского лоска, принужденности; он смотрел так открыто, слова его дышали такой искренностью, неподдельной откровенностью и правдой, что мигом исчезла моя робость, и я свободно отвечал ему на вопросы, которые он мне делал. Очень скоро и как-то незаметно разговор наш или, лучше сказать, его речи перешли к предметам серьезным.

В то время (это уже было в 1848 году) он почти ничего не писал[2]. Не считая возможным входить в подробности, замечу только, что многое в жизни тогда давило и угнетало его, но и при более благоприятных обстоятельствах он вряд ли мог бы много писать, так расстроено и слабо было его здоровье. Но деятельный ум его не был способен усыпляться, и он тогда совершенно был поглощен политикой и событиями Запада. Февральская революция вспыхнула во Франции, и большая, обширная комната, в которой мы находились, носила на себе следы тогдашних его занятий. Всюду висели и лежали географические карты, тут около них теснились книги, идущие к делу, планы и т. п. Он в то время был в переписке с кем-то из своих знакомых или приятелей, жившим в Париже и посылавшим ему все горячие, животрепещущие вести оттуда[3]. Белинский начал с того, что заговорил со мною о политических делах Франции, изъясняя влияние переворотов ее на другие государства. Он говорил так просто, разъяснял так легко, так понятно самые трудные вещи и в немногих словах умел выразить многое. Я слушал его с наслаждением, с жадностию. Целый новый мир идей и мысли раскинулся передо мною, и я с увлечением отдался этим новым впечатлениям. Одно смущало меня и возбуждало во мне какое-то болезненное чувство, это — видимое, но тщетное усилие Белинского победить телесную боль. Он говорил с трудом, тихим, прерывистым, хотя и одушевленным голосом. Он говорил, и речи его кипели мыслями, жизнию, но видно было, что это давалось ему не легко. Он даже несколько раз совершенно прекращал речь свою, пил воду и, отдохнув, начинал снова. Так продолжалось часа два. Ему даже трудно было прямо сидеть, и он все время полулежал на диване. Наконец я встал, с тем чтобы раскланяться, боясь дольше его беспокоить. Он не удерживал меня, но очень приветливо приглашал снова к себе *побеседовать.* Я поблагодарил и удалился. Все время на обратном пути я предавался раз-

мышлениям о всем мною слышанном. Тогда я очень любил театр и нередко наслаждался искусною игрою артистов; но теперь я понял, что есть наслаждение выше этого, и решил, что свободное от учебных занятий время буду стараться посвящать исключительно беседам Белинского. Я только досадовал, что так долго добровольно лишал себя знакомства с таким человеком, каков Белинский. В самом деле, речи Виссариона Григорьевича подействовали на меня живительно, благодатно. Мне дышалось как-то легче, я чувствовал себя и лучше и добрее, а новых мыслей целый рой столпилось в голове моей, мало-помалу рассеивая и прогоняя мрак неведения и недозрелых или превратных понятий. С этих пор я каждую субботу бывал у Белинского; и всякий раз, поздоровавшись со мною, он начинал говорить мне о том, что казалось ему полезным для молодого моего ума.

И я слушал его все с новой жаждою, и с каждым разом речи его имели новый интерес для меня, и все более сроднился я с ними, и все более становились они мне понятнее и казались и глубже и шире прежнего. В самом деле, они были полны глубокого значения и смысла. В них было все, что могло поглощать всю душу истинного гражданина, горячо и бескорыстно привязанного к своей отчизне. Несмотря на множество врагов, у Белинского было много и друзей; но все время моих посещений я никогда никого не встречал у него постороннего, и мне всегда казалось, что он жил как будто отдельно от всего остального мира. Семейство его состояло из жены и дочери. Раза два я заставал жену его за письмами, которые он диктовал ей в Париж. Но при моем приходе она тотчас же удалялась и только изредка приходила за каким-нибудь делом в комнату, где мы сидели, и то ненадолго, не прерывая нашей беседы. Маленькая рыженькая девочка, дочь их, также забегала иногда к нам, но через мгновение ее снова не было, она скрывалась в других комнатах. Квартира Белинского была просторная, и в ней незаметной казалась та подавляющая бедность, бывшая всю жизнь уделом этого труженика. Между прочим, началась весна. Воспитанники Инженерного училища уходили на лето в лагерь. Мне очень жаль было Петербурга, потому что я надолго должен был лишить себя удовольствия слушать Белинского, к которому я успел душевно привязаться. Однажды я был у него и заговорил о лагере. Он сожалел, что долго не увидит меня, и, между прочим, советовал не терять дорогого времени, а в

свободные летние дни заняться чтением полезных книг, о выборе которых он обещал позаботиться сам. Я благодарил его и отвечал, что очень хотел бы воспользоваться его добротой, только боялся за участь его книг, и признался ему, что читать у нас, кроме учебников, строго запрещено и что все другие книги без разбору отбираются от воспитанников дежурными офицерами и часто просто-напросто сожигаются ими в печке. (Я думаю, и теперь все мои однокашники помнят самого ревностного по этому делу офицера, который прозывался у нас Гвоздем.)

Выслушав это, Белинский медленно и злобно улыбнулся. Я и прежде знал его мнение о тогдашнем превратном воспитании юношества и теперь понял эту улыбку, за которой, впрочем, через секунду последовал целый взрыв гневных и едких выражений, которыми взбешенный Белинский клеймил беспощадно невежество. До лагеря еще оставалось несколько недель, но я решился не так часто беспокоить его своими посещениями. Я замечал в нем с каждым разом перемену к худшему. Я видел, что ему все труднее становилось говорить. Мне было больно смотреть, как он тяжело дышал, как усиленно произносил слова, как болезненно подымалась его грудь, как часто замирал голос и прерывалось дыхание. И вместе с этим видимое усилие победить немощь, и мучительная борьба мощного духа над слабым телом; все это так надрывало душу, так томило ее горьким состраданием, бессильным, глубоким сожалением. Верный своему решению, я действительно некоторое время не был у Белинского, но наконец соскучился и в один день, кончив классы, поспешил на Лиговку. Погода была удивительно ясная, теплая, и что случается редко, и в Петербурге воздух был хорош; солнечный день так и блестел, так и сверкал. Прихожу и замечаю в комнатах беспорядок, что-то похожее на переборку. «Верно, едут на *дачу*», — подумал я, обводя глазами знакомую комнату. Белинского не вижу, а навстречу мне вышла жена его.

— Виссарион Григорьевич, верно, уже переехал на дачу? — обратился я к ней.

— *Да*, — отвечала *она*, — переехал туда, откуда уже не вернется.

Я онемел, не веря ушам своим и не смея выговорить своего сомнения.

— Он умер двадцать восьмого мая[4], — прозвучал тихий ответ вдовы.

С ее стороны не было ни ахов, ни вздохов, ни слез, а пе-

чаль такая глубокая, но ровная, не порывистая. Она просила меня сесть и сама села, и в первый и в последний раз мы разговорились друг с другом. Она говорила мне о последних минутах своего мужа: как постепенно угасали его силы, как он все еще боролся со смертию, но под конец обессилел совсем. Но за несколько минут до кончины он, лежащий в постели уже без сознания, вдруг быстро приподнялся, вскочил на ноги, сделал несколько шагов по комнате и сказал в коротких и прерывистых словах речь, обращенную к народу русскому[5]. Я спрашивал, не записана ли у нее эта речь, но она отвечала, что только отрывками, и то несвязными, можно было слышать его слова и что целый смысл потерян совершенно, за невнятностию большей части фраз. Тяжело ли было у меня на душе, предоставляю судить всякому, кто потрудится представить себя на моем месте. Еще госпожа Белинская сказала мне несколько отрадных слов в отношении покойного ко мне. «Виссарион Григорьевич, — говорила она, — вас любил, верил вам и был убежден, что вы, как говорится, «из избы не вынесете сора» и что ваш ум гораздо серьезнее направлен, чем бы можно было ожидать от мальчика шестнадцати лет».

Но я не знаю, как это серьезный мальчик удержался и не заплакал навзрыд. Мне было больно, что ни разу не был я у него, когда он умирал, страдая. Я боялся задержать госпожу Белинскую в ее хлопотах и простился. Она уехала с дочерью в Москву, и после я ее уже не видал. Друзьями Белинского была собрана сумма для его вдовы и дочери, но до какой цифры она простиралась, не знаю. Значительной, во всяком случае, она быть не могла, потому что, как я узнал после, вдова знаменитого автора стольких томов прекрасных критических статей была кастеляншей в московском сиротском институте[6]. Родственник мой Г. П. был на Кавказе, когда умер Белинский, и, узнав о его смерти, спрашивал меня письменно о его семействе, желая по возможности быть полезным жене его и дочери и считая себя счастливым, если б он хоть чем-нибудь мог доказать свою привязанность и уважение к покойному. Но я ничего не мог ему сказать верного и сообщил немногое, что знал сам. Адрес г-жи Белинской мне был тогда положительно неизвестен, и, при всем старании разузнать его, я не мог и тем удовлетворить желание Г. П. Привязанность моя к Белинскому походила на обожание; я благоговел перед ним; но застенчивость мешала высказываться, и он, конечно, никогда не подозревал, как горячо я любил его.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПИСЬМО И. А. ГОНЧАРОВА К К. Д. КАВЕЛИНУ

25 марта 1874 г.
С.-Петербург, Моховая, дом № 3

Многоуважаемейший Константин Дмитрич!

То, что Вы прочитали нам у Михаила Матвеевича о Белинском, сделало на меня в целом самое благоприятное впечатление, разделенное, конечно, всеми слушателями: так много хорошего и так хорошо сказали Вы, что Ваши замечания сами по себе составляют миниатюрную характеристику известных периодов в жизни этой замечательной личности.

Все, что сообщаем мы, близко знавшие и любившие Белинского, его биографу, А. Н. Пыпину, имеет один общий недостаток, или, пожалуй, достоинство: мы пишем панегирики. Но иначе, я полагаю, и быть не может. Сам Белинский относился к одним людям симпатично, иногда до слабости, до пристрастия, даже нередко в ущерб некоторым своим взглядам на то или д р у г о е, — к другим, напротив, антипатично, и тоже до крайности. Точно так же все относятся, даже и до сих пор, и к нему: одни — крайне симпатично, как будто умышленно закрывая глаза на его слабые стороны. Другие же (я говорю про его современников) отзываются о нем враждебно, тоже закрывая глаза на его достоинства. Средины ни у тех, ни у других нет, как не было ее и у Белинского в его отношениях к людям, и не к одним, впрочем, людям. Может быть, еще и не наступило время для этой «средины», не устоялась ни вражда, ни привязанность к нему до той степени хладнокровия, которое необходимо для правого суда и оценки.

Все мы, знавшие его, конечно, принадлежим к первой категории и в наших отзывах платим ему горячею защитою его против враждебной ему стороны за его горячие пристрастия к друзьям — и не мудрено, что впадаем в пристрастие. Вы не избегли этого и являетесь панегиристом, оставаясь притом верны Вашим наблюдениям и заметкам о нем.

Но между тем у Вас проскользнуло одно замечание, которое задело мое в н и м а н и е, — и я хотел поговорить с Вами, даже написать Вам, не для того, чтобы полемизировать с Вами, хоть это само по себе большое удовольствие для меня, а чтобы постараться уяс-

нить этот пункт в характеристике Белинского, с Вашею помощью и с помощью других, более близких к нему, нежели я, — и установиться на чем-нибудь прочном и определенном. Это необходимо всего более для его биографа. Я говорил об этом с А. Н. Пыпиным, и он утверждает меня в мысли поговорить с Вами, даже письменно, чтобы затронуть этот вопрос, — и потом, что окажется, сообщить ему.

Вопрос этот довольно важный: именно об образованности или необразованности, или, вернее, об учености и неучености Белинского. Я не помню в точности редакции Вашего отзыва об этом пункте, но помню только, что и Вы упоминаете о недостатке подготовки, или знания, или учености у Белинского. У вас это приводится как простое свидетельство, в руках же противников его, как Вам известно, это был упрек, которым они, как архимедовым рычагом, старались столкнуть его с места и стараются даже до сих пор (недавно, кажется, Погодин)[1]. Мне кажется, если это мнение, приведенное у Вас, например с Вашим авторитетом, повторится еще раз-другой, в виде ли простого показания, как у Вас, — с примесью даже сожаления, — о недостатке «учености» у Белинского, у некоторых других, то противники его уже смело составят Белинскому репутацию «неуча», «недоучки» и т. д. — и с этим паспортом передадут его внукам нашего поколения. А враги его, особенно в свое время, не скупились на эти клички: журналисты, профессоры, разные ученые по профессии, с патентами, дипломами и проч.

Всем этим я хочу сказать, что отзывы о «неучености» Белинского должны быть так же строго обусловлены и определены, как и нравственная сторона его характера.

Сколько я наблюдал его (не надо забывать, что я знал его в конце его поприща, года за два или за три до кончины), я нередко удивлялся голословным отзывам о его неучености, недостатке подготовки. Может быть, в начале своей деятельности он, по застенчивости и нервозности характера, полнотой еще неполной зрелости (которая, как Вы приводите его слова, позднее приготовила его для философии), или, наконец, потому, что он не заглянул еще в ту или другую область знания — он и казался недостаточно подготовленным. Но когда я знал его — и видел, рядом с тогдашними передовыми, самыми образованными и, наконец, учеными (и официальными и неофициальными) людьми, и в изустных беседах, и в журнальных схватках, и, наконец, в непрестанном и бесконечно плодовитом развитии на каждом шагу его идей, взглядов, убеждений — я видел массу знаний: и фактических положительных сведений по части множества даже посторонних его деятельности предметов, и понятий, идей — решительно обо всем, что только вхо-

дит в круг знания. Часто он не знал, но как-то непостижимо для простого наблюдателя постигал самые процессы какого-нибудь специального дела.

«Не учен», «не приготовлен», — слышал я и удивлялся. Как — не учен и для чего не приготовлен: чтоб быть профессором, академиком? Читать публичные лекции? Или излагать по тому или другому методу, по той или другой системе ту или другую науку, писать трактат? Конечно — не приготовлен для этого. Профессия ученого была не его профессия: да он никогда и не брал ее на себя. Отчего же его называют неученым, а массу других, у которых сотой доли не было его знаний (не говоря о развитии, об идеях, понятиях), никто и не трогает и не говорит об их образовании?

А если б он был и учен *по-ихнему,* как они, его противники, официальные ученые и другие, годился ли бы он для ученой деятельности, на кафедре или в сочинениях, то есть мог ли бы спокойно относиться к науке, углубляться, зарываться в архивах, обдумывать, соображать, строить систему и т. п.? Конечно, нет. Не усидел бы он ни в академии, ни на кафедре, ни даже у себя в кабинете, если бы туда не врывалась к нему свежая струя текущей жизни и шумная толпа симпатичных ему людей. Он жил учась, за пером и в живых схватках с противниками или разливаясь в импровизациях и печатно и изустно, — и туда уходили его силы.

Следовательно, говоря о его знаниях, необходимо обусловливать в точности: *какой учености недоставало ему* — и за этим ставить вопрос: *довольно ли было у него подготовки* для той роли, какая выпала ему на долю? — то есть *для роли* не эстетического критика собственно, не для публициста только, а *для того и другого вместе,* и еще для чего-то третьего тогда, чего-то вроде трибуна.

Разбирая строго, ведь и от Гумбольдта, от Гете или Вольтера — и от прочих можно пожелать большей подготовки, нежели какую они имели. Следовательно, от Белинского можно пожелать ее и подавно. Но тут опять надо спросить — *отвечала ли эта степень подготовки эпохе и моменту его деятельности и его среде и много ли он сделал для своего времени и современного ему поколения?* И вот только в совокупности на все эти вопросы и следует и можно давать по возможности покойный, то есть отрешенный и от вражды и от пристрастия к нему, ответ.

Сначала надо спрашивать, *что сделал* Белинский, потом уже, пожалуй, *как* он сделал?

Тут же, кстати, можно бы спросить, *много ли сделали те* «ученые», которые громили его за неученость, и назвать их по именам?

Вы помните, Константин Дмитрич, как искренен и нехвастлив был Белинский. С посторонним, мало знакомым лицом он почти совсем не говорил или говорил мало, несвязно и, конечно, не бли-

стал ни умом, ни знанием. Только с близкими он распоясывался, так сказать, не остерегался ошибок и давал волю всем своим силам. И вот в таких именно импровизациях, спорах, против воли, как-то ненарочно и нечаянно, он обнаруживал массу сведений, которых нельзя было подозревать в нем, если бы речь прямо зашла об них. Но он ронял и сыпал их нечаянно, как часто нечаянно в печатных статьях сверкал остроумием, удачными сравнениями, ссылками на те или другие авторитеты и т. д. Следовательно, знания, собранные им медленно, иногда по клочкам, *служили его прямой цели, его делу, то есть его перу.* Он не держал на ученой конюшне оседланного, готового коня, с серебряной сбруей, не выезжал в цирк показывать *езду haute école* *, а ловил из табуна любую лошадь и мчался куда нужно, перескакавши ученых коней. Это ему и было нужно, и строгая, глубокая или систематическая ученость сделала бы из него, конечно, другую, все крупную же фигуру, но не такую, может быть, какая нужна была именно для той публики и для того момента, когда пришлось ему действовать, как партизану. И выходит, что он «неученый», потому что не кончил курса, не получил патента. А вот нас, сотни полторы, в одно время с ним было в университете, никто не называет неучеными, а из нас ученый вышел, кажется, один Бодянский. А прочие — так себе, ничего. Но нас неучами не разумеют, потому что у нас есть патент. А много ли мы сделали? Например, называют ученым Строева (Скромненко), Станкевича, юношу, только подававшего еще надежды, — и что же сделали все современники Белинского сравнительно с ним?

Ученостью могли подавлять его, например, Герцен: это так. Но ведь и он не ученостью сделал все в литературе и жизни, что сделал, хотя ученость или, лучше, всестороннее образование было только подспорьем его таланту и блестящему остроумию. Вот Сенковский был и настоящий ученый: и тот если произвел какое-нибудь движение (новизны, некоторой смелости), то ведь тоже не ученостью, а кое-каким талантом. А ведь и Греч и Булгарин обзывали Белинского неученым: хороши ученые!

Но Белинский никогда не влезал в кожу Хлестакова и никогда ее сказал — «знаю то или другое», даже когда и знал что-нибудь. И эта искренность и скромность принималась за незнание. Тогда как кругом его никто, я думаю, ни один не отрешался от самолюбия, чтобы сознаться в неведении чего-нибудь.

Общество кишело невеждами-всезнайками около него. Сколько академиков, профессоров, литераторов притворялись и притворяет-

---

* высшей школы (*франц.*).

ся ежедневно классиками, знатоками древних и новых языков, химиками, математиками и т. д. и т. д.!

Он — никогда, а посмотришь, знает или имеет понятие, наконец, *живое и верное представление о предмете.* Я помню, в спорах, бывало, вдруг окажется, что он имеет довольно основательные понятия о небесной механике или, вдруг, в разговоре с медиком, откуда-то являются у него сведения о некоторых процессах химических, или заговорит о физиологических функциях (в то время, когда[2] книг и публичных лекций не было об этом). Сами Вы сказали в Вашей статье, что он верно определил некоторые положения Гегеля — вперед и т. д.

Как назовешь такого человека «неученым» *без строгой оговорки, не обусловив этого приговора множеством разных определений и отношений* — времени, среды, роли, не сравнив со всем прочим и прочими? Вспомним то, что мы все, учившиеся в университетах, получаем там только, так сказать, напутственную программу для учения и развития, но программу более или менее правильную, полную, систематическую, чем так и дорого университетское образование, которая охотнику учиться помогает только не сбиваться с прямой дороги, не терять нити, а которая сама не учит.

А собственно, как еще все кандидаты прав, математики etc. — далеки от учености! И сколько их, бросив эту нить и вообразив, что они с наукою кончили, гуляет по белу свету без всякого клейма науки, которое стирается бесследно. Или же, напротив, сама жизнь для таких умов, как Белинский, становится настоящей школой и академией. А у него еще была и академия в его деятельности, открывшаяся ему со школьной скамьи: это редакционная работа и непрестанное чтение десятки лет — и серьезного, путного, и хламу.

Следовательно, забыть ничего было нельзя, а набрать и усвоить своему уму в океане книг, журналов, в встречах с лучшими людьми, умами — можно было много.

Извините, Константин Дмитрич, что я пишу это беспорядочное письмо. Непростительно его отдавать Вам, и я бы не отдал, если б только дело шло о желании моем поговорить с Вами. Можно ведь и не поговорить: Вы бы ничего от этого не потеряли, а я не писал бы этих страниц. Но я думаю, что в этом вопросе, касающемся Белинского, есть *неясность* и что эту неясность, гораздо лучше меня, проясните Вы, с помощью некоторых других. А такое прояснение Ваше послужит А. Н. Пыпину и поможет оговорить или обусловить и в самой биографии Белинского вопрос неучености последнего так, что следующие поколения будут знать, насколько он был выше в этом отношении множества современных ему присяжных ученых, умея служить *клочками* учености живому делу, тогда как их «ученость» лежала мертвым капиталом.

Мне кажется, мы с Вами оба правы: Вы, находя также пробелы в подготовке Белинского, а я, не находя почти никаких, именно по той причине, о которой я упомянул выше: *Вы знали его в начале, а я в конце его деятельности.*

При Вас он расцветал, при мне разрушался — пережив даже пору зрелости. Следовательно, мы, относительно степени подготовки, видели почти двух разных людей, и между той или другой порой — большой промежуток и большая разница, хотя мне кажется, что в последний период его деятельности в нем уже и печатно заметно проявляется и начитанность, и некоторая уверенность в достаточности своей подготовки.

О недостатках Белинского, я знаю, будет большая речь впереди. Ему не простят так снисходительно, как прощаем мы, его почитатели, пристрастия его к друзьям, где у него строгость сознания и суда уступала сердцу (он хвалил преувеличенно Панаева, Брянского и почти всех, кто был ему близок), ибо мы знаем, что это были уступки, мягкость сердца и что других уступок он не сделал бы за миллионы — и подкупить или обмануть его можно было только симпатией: более ничем он не подкупался.

Если уже этой слабости нельзя скрыть (и не надо) или защищать от следующих поколений, то нужно, по крайней мере, нам не давать его в обиду там, где он гораздо меньше виноват своих quasi-ученых противников, и стараться прояснить всякие по этому вопросу недоразумения, чтобы после не было поздно, когда нас не будет, и чтобы кличка неуча не осталась за ним.

Простите и примите мой глубокий поклон с уважением.

И. Гончаров.

P. S. Письмо это, как и все, что написано и отдано мною А. Н. Пыпину о Белинском, — отнюдь для печати целиком не предназначается. А если бы оказалось нужным, можно приводить цитаты или делать ссылки и т. п.

И. Гончаров.

ПИСЬМО М. В. БЕЛИНСКОЙ К И. А. АСТАФЬЕВУ

Корфу, 24 декабря 1873 г.

Милостивый государь Иван Александрович!

Извините, что я не тотчас ответила на Ваше доброе, сочувственное письмо: я всегда благодарна тем, кто чтит память покойного мужа моего, а Вы, как кажется, один из его усердных поклонников. С большою готовностью исполню Ваше желание (насколько память

мне может служить) насчет рабочего кабинета за последние два года: но последние три-четыре месяца Виссарион Григорьевич не мог сам писать, а, лежа на кушетке, диктовал мне; изнурительная лихорадка пожирала его в это время (это, как мне помнится, было великим постом), лицо у него страшно горело, а лоб был перевязан белым носовым платком, намоченным в холодной воде. Рабочий кабинет его был в два большие окна, в простенке между окнами маленький дамский письменный» столик с решеткой и с зеленым сукном, на столе транспаран, представляющий Фауста, Маргариту и подглядывающего Мефистофеля, письменные принадлежности и разные безделушки; обои палевые; против окон большие шкапы во всю стену с книгами, темные, под орех. Если Вы станете спиной к окнам, а лицом к шкапам, то на стене по правую руку висела карта Европы во всю стену, и сейчас под картой стояла кушетка, пунцовая с черным, драдедамовая, где он, почти умирающий, лежал и диктовал мне свои последние статьи, а я сидела перед кушеткой у стола. У противоположной стены стоял большой рабочий стол красного дерева с зеленым сукном и множеством ящиков по обоим бокам, а под столом в средине — пустое пространство, где стояла большая корзина для ненужных бумаг; по обеим сторонам рабочего стола стояли две этажерки, на них, только не помню, в каком порядке, стояли бюсты во весь рост Руссо и Вольтера — вершков в десять, и поясные, вершков в пять — Гете, Пушкина и Гоголя; над столом литографированные портреты Пушкина, Гоголя, Жоржа Санда, Гете, Шиллера, Кольцова и Николая Станкевича. На этажерках, кроме бюстов, те книги, которые ему тотчас были нужны для справок. Дверь из залы была между окном и кушеткой, а возле этажерки около рабочего стола, между окном и этажеркой, другая дверь — в спальню; на рабочем столе лампа, которую, впрочем, он не зажигал — не мог выносить о л е и н у, — два темные подсвечника, транспаран, градусник, множество бумаги, перьев, карандашей, перочинных ножей, большая темно-синяя стеклянная чернильница. Когда он сам работал, костюм его был темно-коричневое домашнее пальто и синий муслиновый шарфик на шее, а когда последнее время лежал — темно-дикое длинное драповое пальто-халат, подбитое пунцовой фланелью, на рукавах и груди с пунцовыми отворотами. Перед рабочим столом мягкое зеленое кресло, на котором он и писал.

Примите уверение в истинном уважении

Марьи Белинской.

ПРИМЕЧАНИЯ

Известно около семидесяти мемуарных произведений (см. *ЛН,* т. 57), авторы которых уже после смерти Белинского вспоминают о своем общении с великим критиком, о своих, иногда случайных, встречах с ним.

Мемуары являются одним из важных источников биографии Белинского. Однако не все периоды и не все стороны его жизни освещены в них с одинаковой полнотой.

Скуден запас мемуарных свидетельств о трудной жизни Белинского после исключения из университета в сентябре 1832 г. и примерно до 1835 г.

Об этих годах многое мог бы рассказать Н. И. Надеждин, один из лучших профессоров Московского университета, известный критик, издатель журналов «Телескоп» и «Молва», в которых Белинский сотрудничал около трех лет (с начала 1833 г. по конец 1836 г.). Говоря в «Очерках гоголевского периода русской литературы» об участии Белинского в «Молве» и «Телескопе», Чернышевский замечает: «Эти выводы основываются на материалах, представляемых содержанием «Телескопа» и «Молвы». Мы очень хорошо понимаем, что один этот источник недостаточен и должен быть дополнен воспоминаниями лиц, бывших тогда близкими к «Телескопу»; и мы были бы очень рады, если бы такие воспоминания явились в печати, хотя бы и обнаружилось ими, что в том или другом случае мы ошиблись» (*Чернышевский,* III. с. 196). К сожалению, воспоминания лиц, бывших тогда близкими к «Телескопу», и прежде всего самого Н. И. Надеждина, так и не появились.

Мы знаем, что пока положение Белинского как критика не укрепилось, он то дает уроки (о них пишет К. Д. Кавелин), то недолго служит кем-то вроде секретаря у бездарного литератора — богатого и чиновного барина А. М. Полторацкого (воспоминания И. И. Лажечникова).

Но о главном — об участии Белинского в журналах Надеждина, о начале его литературной деятельности, о знакомстве с ли-

тературными кругами — говорится о воспоминаниях очень мало. Для воссоздания картины его жизни этого времени большее значение, чем мемуары, имеют собственные письма критика, письма современников и другие документы.

Не много дают воспоминания и для понимания роли Белинского в кружке Н. В. Станкевича, с которым он сближается в сентябре 1833 г. Из всех участников кружка только Константин Аксаков в «Воспоминаниях студентства» восстанавливает картину собраний у Станкевича, пишет о направлении и интересах кружка. Однако Белинский проходит у Аксакова стороной, появляется случайно. Это и понятно — между 1833 и 1855 годами, когда были написаны «Воспоминания студентства», лежали сороковые годы — годы резкой полемики Белинского со славянофилами, в частности с самим К. Аксаковым. Между тем «Воспоминания студентства» дают, хотя и неполное, представление об идейной жизни кружка Станкевича.

Другие мемуаристы, писавшие о Станкевиче я его отношениях с Белинским (И. Панаев, Анненков), не участвовали в знаменитом философском кружке. Они не знали и самого Белинского в годы близости со Станкевичем и использовали в своих воспоминаниях позднейшие свидетельства критика. Так как они *не видели* Белинского у Станкевича, то, естественно, не видим его и мы, как, скажем, видим Белинского в его петербургском кружке благодаря «Замечательному десятилетию» того же Анненкова, не говоря уже о воспоминаниях Герцена, Тургенева, Достоевского, Гончарова.

Ни один из друзей Белинского тридцатых годов — ни рано умерший Станкевич, ни Бакунин, ни Боткин, ни И. Клюшников — ни кто-либо другой из его ближайшего окружения этих лет не написал, к сожалению, воспоминаний.

Гораздо больше данных для биографии Белинского находится в воспоминаниях о его детских и юношеских годах, учении в гимназии и университете, а также о петербургской жизни. Если первые, большей частью написанные без всяких литературных претензий родственниками и университетскими товарищами, довольно точно воспроизводят бытовую сторону, то вторые, помимо великолепных литературных портретов Белинского, раскрывают его идейную, творческую биографию, так как многие из них писались большими художниками, возглавлявшими литературное движение эпохи.

Авторами воспоминаний о Белинском сороковых годов выступают по преимуществу люди, идейно ему близкие, а также участники его кружка, в котором он сумел объединить передовые литературные и общественные силы, связав их деятельность с насущными задачами освободительного движения. К ближайшему окру-

жению Белинского принадлежали в сороковых годах и Герцен, и И. Панаев, и Тургенев, и Достоевский, и Гончаров, и Анненков.

Воспоминания о петербургском периоде жизни Белинского ставят кардинальнейшие проблемы его биографии.

В них вместе с тем почти не затронута такая важная сторона его деятельности этих лет, как работа журналиста, одного из организаторов лучших русских журналов — «Отечественных записок» и «Современника». Стоявшие во главе этих журналов А. А. Краевский и Н. А. Некрасов воспоминаний не написали.

Сборник «Белинский в воспоминаниях современников» впервые был издан в 1929 году (составитель — М. К. Клеман). Вторично книга воспоминаний о Белинском вышла в 1948 году (ред. Ф. М. Головенченко). В 1962 году Государственное издательство художественной литературы выпустило новое издание сборника. По сравнению с предыдущими он был более полным. В него вошли мемуарные фрагменты «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского, воспоминания А. Верха, отрывки из воспоминаний Ю. Арнольда, письмо И. Гончарова к К. Кавелину и значительная часть «Воспоминаний студентства» К. Аксакова.

Настоящая книга — второе издание сборника воспоминаний о В. Г. Белинском, выпущенного Государственным издательством художественной литературы в 1962 году. Состав и структура сборника остались без изменений.

При подготовке данного издания были учтены публикации некоторых текстов, появившиеся после 1962 года (по новым изданиям воспроизводятся воспоминания А. Я. Панаевой и И. С. Тургенева), воспоминания К. Д. Кавелина впервые печатаются по автографу. С учетом работ, появившихся за прошедшее время (новые части биографического исследования В. С. Нечаевой, работы В. Г. Березиной, В. И. Кулешова, Ю. В. Манна и др.), уточнены и пересмотрены некоторые комментарии. Значительной переработке подверглась вступительная статья.

Д. П. ИВАНОВ

НЕСКОЛЬКО МЕЛОЧНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ БИОГРАФИИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Дмитрий Петрович Иванов (1812?—1881) — родственник Белинского, сын его двоюродной сестры Федосьи Степановны Ивановой.

Семья Федосьи Степановны и Петра Петровича Ивановых была наиболее близкой Белинскому из всех его чембарских родственников. В этой семье Белинский нашел сердечно расположенных к нему друзей. Из многочисленных детей Ивановых особенно дру-

жен был Виссарион с Алексеем, Екатериной и Дмитрием. С последним он вместе учился в Чембарском уездном училище, в Пензенской гимназии и Московском университете (правда, на разных курсах). Их дружба, начавшаяся еще в детские годы, продолжалась до смерти Белинского. В Д. П. Иванове Белинского привлекала доброта, глубокая порядочность, искренняя любовь, с которой он относился и к самому критику, и ко всем его родным (в семье Дмитрия Петровича несколько лет жил брат Белинского — Никанор).

Глубокую признательность Белинскому Иванов сохранил на всю жизнь. Когда П. П. Гурскалин по просьбе А. И. Пыпина, собиравшего материалы для своей работы о Белинском, посетил в 1874 году в Москве Д. П. Иванова, то так описывал это свидание в письме Пыпину: «Иванов — дряхлый, больной старик, доживающий остаток дней своих, не выходя, кажется, из халата. По наружности он напоминает отставного армейского офицера, но, поговорив с ним, тотчас виден человек других понятий. Он долгое время жил с Белинским, благоговеет перед ним и говорит, что ему одному обязан всем, что он есть, своими знаниями, своим развитием. Жалеет он очень, что в свое время ничего не записывал, а теперь многое перезабыл» (*ЛН,* 57, 313).

Воспоминания Д. П. Иванова написаны в октябре 1873 года и в выдержках приведены А. Н. Пыпиным в его книге «Белинский, его жизнь и переписка». СПб., 1876. Полностью опубликованы Е. А. Ляцким в приложениях к книге «Белинский. Письма», т. III, СПб., 1914, с. 399—403.

В настоящем издании печатаются по рукописи (*ГБЛ,* М, 5184—42).

[1] Стр. 29. Свою фамилию В. Г. Белинский «смягчил» перед поступлением в университет. В гимназических ведомостях он числился Белынским, но «Прошение о приеме в число студентов Московского университета» подписал — «Виссарион Григорьев сын, Белинский» (см. также об этом: *Нечаева, I,* 40).

[2] Г. Н. Белинский учился не в Пензенской, а в Тамбовской семинарии, из которой, не окончив ее, вышел по собственному желанию и в январе 1804 г. поступил в императорскую Медико-хирургическую академию (см.: *Нечаева, I,* 40—42).

[3] Д. П. Иванов не помнил даты рождения Белинского, он спутал год и месяц рождения, а вместо числа в рукописи оставил пробел. Белинский родился 30 мая (11 июня) 1811 г.

[4] В Чембар семья Белинских переехала осенью 1816 г.

[5] Константин Григорьевич Белинский родился в 1812 г., Александра Григорьевна — в 1815 г. Позже, в 1818 или 1819 г., родилась

рано умершая (в 1826 г.) Мария Григорьевна. Второй брат Белинского — Никанор — родился в 1821 г.

[6] Стр. 30. Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин — персонаж комедии Гоголя «Ревизор». Городничий говорит ему: «Зато вы в бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите... О, я знаю вас: вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются» (действ. 1, явл. 1).

[7] Эккартсгаузен (его имя в рукописи неправильно написано мемуаристом — Экскаргаузен) и Юнг-Штиллинг — немецкие писатели-мистики. Их сочинения были популярны в России в начале XIX в.

[8] Стр. 31. Характеристику Г. Н. Белинского, сходную с характеристикой Д. П. Иванова, дал П. К. Шугаев: «Из сведений, какие возможно было собрать от старожилов и его современников, оказывается, что он был среднего роста, толстяк и немного прихрамывал на одну ногу. С чембарским обществом совсем не сошелся, даже был в дурных отношениях, — отчасти потому, что преобладающий элемент тогдашнего привилегированного общества был исключительно из помещиков, которые, не исключая и так называемых мелкотравчатых, в то время имели обыкновение смотреть на выходцев из духовенства свысока, называя их чуть не в глаза «поповичами», «кутейниками», «блинохватами» и т. п. неуместными названиями, а также и потому, что Г. Н. в умственном отношении, образованием и развитием, стоял значительно выше всех этих напыщенных баричей... Вот, благодаря этим-то обстоятельствам, и сложилось то невыносимое и натянутое положение между уездным штаб-лекарем Белынским и местным обществом, вследствие которого Г. Н. неоднократно грозила участь увольнения в отставку даже без прошения, да и он неоднократно собирался оставить свой родной Чембар и перевестись в другой город» (П. К. Шугаев. Из колыбели замечательных людей. — Журн. «Живописное обозрение», СПб., 1898, № 22, с. 438—443).

[9] Стр. 32. В семейных неурядицах были повинны как Григорий Никифорович, так и Мария Ивановна. В. Г. Белинский в письме к брату Константину дал объяснение причин семейных неприятностей, близкое объяснениям Д. П. Иванова: «При всей откровенности и благородстве характера, при добром сердце, он <Г. Н. Белинский> страждет ужасным недугом — подозрительностию, разумеется... пустою и неосновательною... Сколько раз обижал он несправедливыми своими подозрениями людей добрых, благородных, искренно ему преданных и желающих ему от души всякого добра!.. Я предвижу ужасные следствия, ужасные несчастия, угрожающие и без того несчастному нашему семейству, если папенька, вняв голосу рассудка, не переменит своего несчастного

характера!.. Сколько раз просил я маменьку, чтобы она старалась укрощать свой пылкий до дикости и неистовства характер, сносила бы с терпением и кротостию, приличными всякой истинно благородной женщине и доброй жене и матери семейства, все несправедливости папеньки, старалась бы избегать с ним всяких бесполезных ссор и тушить пламя в самом его начале, старалась бы сохранять спокойствие духа и твердость характера, от которых зависит и телесное и душевное здоровье, а следовательно, и счастие; берегла бы себя для своих детей, для своего семейства, исполняла бы все обязанности, предписываемые женам божественными и человеческими законами! И все тщетно! Мое усердие и мои благие советы она назвала грубостию и непочтением к матери» (*Белинский,* XI, 76—77).

Подробное описание тяжких сцен в доме Белинских содержится в письме Д. П. Иванова к Белинскому от 11 сентября 1834 г. (см. *ЛН*, 57, 186—188).

[10] Стр. 33. Чембарское уездное училище было открыто 15 сентября 1822 г. Курс обучения в нем был двухгодичный. В училище Белинский считался одним из лучших учеников: в «Ведомости о состоянии Чембарского уездного училища за 1823—1824 академический год», составленной смотрителем А. Г. Грековым, его имя значится среди четырех лучших учеников второго класса (см.: «В. Г. Белинский. 1848—1948». Пенза, 1948, с. 162). О пребывании Белинского в Чембарском уездном училище см. в воспоминаниях И. И. Лажечникова и Д. П. Иванова (с. 35—36 и 68 наст. изд.), а также: *Нечаева, I,* 96—117.

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

ЗАМЕТКИ ДЛЯ БИОГРАФИИ БЕЛИНСКОГО

Известный писатель Иван Иванович Лажечников (1792—1869) с 1821 по 1824 год был директором народных училищ Пензенской губернии и несколько раз приезжал в Чембар. Здесь и произошла его первая встреча с Белинским.

Дружеские отношения с Лажечниковым, начавшиеся после переезда Белинского в Москву, продолжались до начала сороковых годов. Им в известной мере способствовала высокая оценка критиком исторических романов писателя. В статье «Русская литература в 1841 году» Белинский писал: «Лучший романист пушкинского периода литературы нашей, без сомнения, Лажечников... Жаль, что Лажечников мало пишет: он принадлежит к числу тех писателей, которых влияние особенно сильно на эстетическое и

нравственное развитие современного им общества» (*Белинский,* V, 564—565).

Личные отношения критика и И. И. Лажечникова «оборвались после перехода Белинского на революционно-демократические позиции» (*ЛН,* 56, 239). Более сдержанными стали к этому времени и оценки Белинским творчества романиста. Продолжая считать отдельные главы «Ледяного дома» «замечательными произведениями русской литературы», критик подчеркивал ложность эстетической позиции автора, его стремление «украшать природу по произвольно задуманным идеалам» (*Белинский,* VIII, 56). Особенное недовольство у него вызывала литературная беспринципность И. И. Лажечникова, печатавшего свои произведения буквально где придется. После появления одной из пьес писателя в третьесортном альманахе «Дагерротип» он писал: «...всякая муза, если она уважает сама себя и хочет, чтоб ее уважали другие, должна вести себя с крайнею осторожностию и не заходить всюду, куда зовут ее...» (*Белинский,* VI, 262). Это же отсутствие четкой литературной позиции сказалось и в некоторых страницах воспоминаний Лажечникова.

«Заметки» Лажечникова были написаны в 1859 году, но, хотя прошло всего лишь одиннадцать лет после смерти критика, в них немало ошибок, на многие из которых указал Д. П. Иванов в «Сообщениях при чтении биографии В. Г. Белинского».

Впервые опубликованы в газете «Московский вестник», 1859, № 17, с. 203—212, в выдержках перепечатаны в газете «Московские ведомости», 1859, № 134, 7 июня.

В настоящем издании печатается по тексту «Московского вестника» вторая часть воспоминаний Лажечникова, собственно относящаяся к Белинскому.

[1] Стр. 36. Сведения о происхождении отца Белинского и слова о том, что сам Белинский «родился в наших степях», — ошибка. Об этом см. в воспоминаниях Д. П. Иванова, с. 29.

[2] Это сообщение Лажечникова ошибочно. Он сам исправил его в заметке о В. Г. Белинском («Московский вестник», 1859, № 30, с. 378).

[3] Подобная характеристика окружения Г. Н. Белинского вызвала резкое возражение Д. П. Иванова (см. с. 55).

[4] Стр. 37. Предложение занять должность директора Казанской гимназии Лажечников получил еще в 1823 г., но занял ее только год спустя, 24 июля 1824 г. (см.: В. Владимиров. Историческая записка о 1-й Казанской гимназии. Казань, 1867, ч. 2, с. 130—131),

[5] «Высший балл в то время был — 4». (Прим. редакции «Московского вестника», 1859, № 9, с. 207.)

[6] «Любимый учитель — М. М. Попов. Талантливый и любимый учениками преподаватель, содействовавший поступлению Белинского в Московский университет, о чем критик с благодарностью вспоминал в 1839 г. (см.: *Белинский,* XI, 364), он впоследствии стал старшим чиновником особых поручений III Отделениями именно через него получил Белинский в феврале и марте 1848 г. два вызова к Л. В. Дубельту. Самый характер службы этого видного чиновника делает невероятным утверждение, будто критик посещал его в Петербурге, «чтобы отвести душу в разговорах о литературе».

[7] Стр. 38. Белинский пробыл два года в третьем классе гимназии по следующим причинам: проучившись три года, он решил не держать экзамена за третий класс, надеясь отправиться в Москву и поступить в университет, но не получил на это согласия родителей. Он вернулся в Пензу и вновь начал посещать третий класс гимназии, не окончив которого, в январе 1829 г., уехал в Чембар и стал готовиться к поступлению в университет.

Сведения М. М. Попова и И. И. Лажечникова о гимназических успехах Белинского не очень точны. Сводку данных о пребывании Белинского в Пензенской гимназии см. в работах: П. П. Зеленецкий. Исторический очерк Пензенской 1 гимназии с 1804 по 1871 г. Пенза, 1889; *Нечаева, I,* 180—194, 237—254; «В. Г. Белинский. 1848—1948». Пенза, 1948, с. 165—238.

[8] Белинский действительно тогда интересовался этими вопросами. «Еще будучи в гимназии, я мечтал о сочинении этой книги...» — то есть «Полного курса словесности для начинающих», включающего и вопросы русской грамматики, — писал он в 1837 г. (*Белинский,* XI, 139), но маловероятно, чтобы еще в Пензе он «составил русскую грамматику».

[9] Стр. 39. Ориктогнозия — минералогия (от *греч.* oryktos — ископаемый и gnosis — знание).

[10] Отрывок из «Бориса Годунова» — «Келья в Чудовом монастыре» — был впервые напечатан в «Московском вестнике», 1827, ч. I, II. Вспоминая позже о своем отношении к Пушкину в гимназические годы, Белинский писал: «Я в детстве знал Державина наизусть, и мне трудно было из мира его напряженно-торжественной поэзии, бедной содержанием, лишенной всякой художественности, всякой виртуозности, перейти в мир поэзии Пушкина, столь светлой, ясной, прозрачной, *определенной,* возвышенно свободной, без напряженности, полной содержания...» (*Белинский,* V, 535).

[11] Имеется в виду журнал «Московский телеграф», издававшийся Н. А. Полевым в 1825—1834 гг. Брат Н. А. Полевого, Кс. А. Полевой, вспоминал; «Он <Белинский> признавал себя учеником «Московского телеграфа», много раз говаривал нам, что,

еще живши в своей губернии, читал, перечитывал этот журнал, воспитывал себя его идеями и направлением» («Северная пчела», 1859, № 229).

[12] Стр. 40. Об этом альманахе 9 марта 1830 г. писал Белинскому Д. П. Иванов (см. *ЛН,* 57, 49—50). В письме имя Лажечникова не упоминается; возможно, что о его участии в подготовке альманаха Белинский узнал от него самого.

[13] Стр. 41. Поэтические опыты Белинского до нас не дошли. Известно только одно стихотворение «Русская быль», опубликованное в журнале «Листок», 1831, № 40—41. «...Еще будучи учеником уездного училища, — вспоминал критик, — я писал баллады и думал, что они не хуже баллад Жуковского, не хуже «Раисы» Карамзина, от которой я тогда сходил с ума» (*Белинский,* I, 251).

[14] Стр. 42. В 1831 г. масленица приходилась на первую неделю марта. Преподавание в Пензенской гимназии М. М. Попов оставил 7 апреля 1831 г. (см. *ЛН,* 56, 249). Однако возможно, что еще до своего формального увольнения он был в Москве в феврале — марте 1831 г. и здесь свиделся с Белинским.

[15] Стр. 43. Сотрудничество Белинского в журналах началось задолго до «Литературных мечтаний». Еще в 1831 г. он участвует в «Листке», а затем печатает в «Телескопе» и «Молве» целый ряд переводов.

[16] Белинский и позже пробовал свои силы в других жанрах. В 1837 г. он выпустил книгу «Основания русской грамматики», а в 1838 г. написал драму в пяти действиях «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь», которая была представлена в Москве в бенефис М. С. Щепкина 27 января 1839 г.

[17] Стр. 44. Эти суждения М. Попова в определенной степени отражают взгляды на взаимоотношения Белинского и Н. В. Станкевича, характерные для П. В. Анненкова как автора книги «Н. В. Станкевич. Переписка его и биография» (М., 1857), вышедшей в свет незадолго до воспоминаний И. Лажечникова. В этой книге была значительно преувеличена роль Станкевича в формировании мировоззрения Белинского. В действительности Белинский вступил в кружок Н. В. Станкевича после исключения из университета, уже будучи автором «Дмитрия Калинина». Он вошел в кружок как равноправный член его, а не как послушный ученик. Подробнее — см. *Нечаева, II,* с. 177—194.

[18] См. прим. 5 и 6 к воспоминаниям Н. Аргилландера.

[19] Наиболее озлобленно отозвались о «Литературных мечтаниях» А. Ф. Воейков («Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1835) и Ф. В. Булгарин («Северная пчела», 1835). Тогда же появился и первый пасквиль на Белинского: повесть В. А. Ушакова «Пиюша» («Библиотека для чтения», 1835, т. II, № 7). Сдер-

жанный отзыв дал С. П. Шевырев («Московский наблюдатель», 1835, ч. I, с. 494). Наиболее положительный — Я. М. Неверов в «Обозрении русских газет и журналов за вторую половину 1834 года» («Журнал министерства народного просвещения», 1835, № 9, с. 588—592). Не называя ни имени автора, ни статьи, с основным положением «Литературных мечтаний» спорил В. Плаксин («Летопись факультетов на 1835 год». СПб., 1835, кн. 1, с. 15—33).

[20] Стр. 46. В доме, о котором пишет Лажечников (ныне — Рахмановский переулок, д. 4), Белинский жил в 1832—1834, 1835, 1837 гг. (см. ЛЯ, 57, 379).

[21] Стр. 47. Должность литературного секретаря Белинский исполнял у А. М. Полторацкого, изредка публиковавшего свои «произведения» под псевдонимом «Дормедон Васильевич Прутиков». Лажечников известил Белинского о своей рекомендации письмом от 26 ноября 1834 г. (см. *БиК,* с. 174, там же письмо Полторацкого, с. 258). В 1836 г. Белинский поместил в «Молве» резкую рецензию на «Провинциальные бредни и записки Дормедона Васильевича Прутикова» (см. *Белинский,* II, 90—98). Рецензия напечатана без подписи, но ее принадлежность Белинскому была настолько явной, что Лажечников писал критику: «Прутиков заслужил теперь свою фамилию: вы его порядочно отделали <прутом>, как мальчишку» (*БиК,* с. 182).

[22] Речь идет о Премухине — имении А. М. Бакунина. Лажечников не мог, по цензурным причинам, назвать имя сына А. М. Бакунина — Михаила. В то время, когда писались воспоминания, М. А. Бакунин находился в ссылке в Сибири как государственный преступник.

[23] Стр. 48. В Премухине Белинский был в августе — ноябре 1836 г. и в июле 1838 г. М. А. Бакунин писал 12 августа 1836 г., приглашая Белинского: «Кстати, к моим просьбам, к моим угрозам присоединяются просьбы и угрозы Ивана Ивановича Лажечникова, у которого я все это время жил в ожидании бессчетных гостей» (*Бакунин,* 1, 332). Но, как можно видеть из письма М. А. Бакунина сестрам от 5 октября 1836 г., встреча с И. И. Лажечниковым до октября не состоялась (см. *Корнилов,* 256); вряд ли она могла состояться и позже, до 15 ноября (день возвращения Белинского из Премухина в Москву), так как премухинские друзья были слишком встревожены последствиями публикации «Философического письма» П. Я. Чаадаева в «Телескопе». Вероятнее всего, Белинский и его друзья ездили в имение И. И. Лажечникова Коноплино в июле 1838 г.

[24] По-видимому, говорится о письмах В. П. Боткина к одной из сестер М. А. Бакунина — Александре Александровне (подробнее см. *Корнилов,* 526—557).

[25] Стр. 49. Имеется в виду так называемый период «примирения с действительностью» Белинского (1838—1840). Подробнее — см. «Былое и думы» А. И. Герцена, с. 141—146 наст. книги и прим. к ним.

[26] Строки одной из редакций «Дома сумасшедших» А. Ф. Воейкова.

[27] Стр. 50. Редакция «Московского вестника» сопроводила эти слова следующим примечанием: «Первый том сочинений Белинского, как мы уже извещали наших читателей в № 9 «Московского вестника», вышел». Имелись в виду «Сочинения В. Белинского», 12 частей, изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина. М., 1859—1862.

Н. Е. ИВАНИСОВ

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛИНСКОМ

Николай Евграфович Иванисов — сын состоятельного пензенского купца.

Очевидно, с Николаем Иванисовым Белинский встречался также и в Москве, где тот в 1831 и 1832 годах пытался поступить в университет (см. *ЛН,* 56, 423). С братом мемуариста, А. Иванисовым, Белинский переписывался в 1829—1830 годах (см. *БиК,* с. 63—72).

Появление воспоминаний Н. Е. Иванисова вызвало довольно оживленную полемику. С резкой критикой воспоминаний выступил С. Дружинов, обвиняя Иванисова в стремлении «бросить кусочек грязи в дорогое для каждого порядочного человека имя» (газета «Санктпетербургские ведомости», 1861, № 150, 8 июля). В журнале «Время», 1861, № 8, была помещена статья «Не тронь меня», в которой воспоминания Иванисова, напротив, были взяты иод защиту от несправедливых нападок Дружинова. Автором этой анонимной статьи был, вероятно, Ф. М. Достоевский (см. сб. «Творчество Достоевского». Одесса, 1921, с. 111—113; Л. Гроссман. «Семинарий по Достоевскому». М.—Пг., ГИЗ, 1922, с. 82—92).

Некоторые моменты в воспоминаниях Н. Е. Иванисова вызвали возражения Д. П. Иванова (см. с. 77—86).

«Воспоминание» было впервые опубликовано в «Московских ведомостях», 1861, № 135, 21 июня. По этому тексту печатается и в настоящем издании.

[1] Стр. 51. Мемуарист имел в виду статью Ив. Остров-ова «Несколько слов о В. Г. Белинском», помещенную в «Московских ведомостях», 1859, № 293, 10 декабря.

[2] Прямая ложь, ср. воспоминания И. И. Лажечникова (с. 39) и Д. П. Иванова (с. 86).

[3] Неточно приведены заключительные слова Дмитрия из трагедии А. П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец».

Д. П. ИВАНОВ

СООБЩЕНИЯ ПРИ ЧТЕНИИ БИОГРАФИИ В. Г. БЕЛИНСКОГО (А. Н. ПЫПИНА). ПРЕБЫВАНИЕ БЕЛИНСКОГО В ГИМНАЗИИ

В 1874 году в № 3 журнала «Вестник Европы» была опубликована первая глава работы А. Н. Пыпина «В. Г. Белинский. Опыт биографии», посвященная детским и юношеским годам критика. «Сообщения...» Д. П. Иванова представляют собой его замечания на эту главу. Впоследствии А. Н. Пыпин, работая над книгой «Белинский, его жизнь и переписка», широко использовал «Сообщения...» Д. П. Иванова.

Как видно из письма Д. П. Иванова к А. Н. Пыпину (*ГПБ,* ф. 621, ед. хр. 351, л. 1), «Сообщения...» написаны в октябре 1875 года. Полностью впервые опубликованы Е. А. Ляцким в приложениях к книге: «Белинский. Письма», т. III. СПб., 1914, с. 404—443. В наст. изд. печатаются по этому тексту с проверкой по рукописной копии из собрания А. Н. Пыпина (*ИРЛИ,* ф. 250, ед. хр. 507).

[1] Стр. 53. Рассказ И. И. Лажечникова о состоянии Пензенской гимназии находится в опущенной нами первой части его воспоминаний. А. Н. Пыпин в своей работе использовал, в частности, рассказ Лажечникова о его первом посещении гимназии, когда он увидел, как «школьники несли на руках учителя русской словесности, в каком положении — можете догадаться. «Что это вы делаете?» — спросил я их. «Мыши кота погребают», — отвечали они» («Московский вестник», 1859, № 17, с. 205).

[2] Стр. 54. Цитата из сатирической «Элегии» А. Н. Нахимова.

[3] Стр. 55. См. с. 36 наст. книги.

[4] Стр. 56. Имеется в виду письмо Белинского от 20 декабря 1829 г. (см. *Белинский,* XI, 22—23).

[5] Стр. 57. Г. А. Протопопов сменил Н. С. Дмитриевского на посту директора Пензенской гимназии 24 марта 1828 г.

[6] Стр. 59. Реплика Гамлета из 2-й сцены 2-го акта «Гамлета» Шекспира.

[7] Стр. 60. О В. Е. Яблонском И. И. Лажечников писал: «Он твердо зубрил все возможные риторики, русские и латинские, и даже вздумал было преподавать одну из них по иезуитскому руководст-

ву Лежая. Большею частию забивал он учеников хитрыми упражнениями на фигурах и тропах, как будто учил выделывать из слов разные фокусы. Разумеется, по-тогдашнему, он учил и изобретать по известным вопросам: кто, что и т. д. Белинский был долго под ферулой его, как учителя русской словесности и исправлявшего некоторое время по старшинству должность директора училищ, но с врожденной ему энергией не поддался ей. Вероятно, с того времени риторика ему и опротивела» («Московский вестник», 1859, № 17, с. 205—206).

[8] Стр. 63. В Казанском университете С. И. Знаменский учился на нравственно-политическом отделении.

[9] Стр. 64. В 1825—1826 учебном году в Пензенской гимназии закон божий преподавал Иоанн Дубовский.

[10] Стр. 68. Французским языком в гимназии Белинский не занимался.

[11] Стр. 70. В рецензии на «Стихотворения» А. Коптева в 1835 г. Белинский писал: «Они напомнили мне то невинное, золотое время детства, когда, еще будучи мальчиком и учеником уездного училища, я в огромные кипы тетрадей неутомимо, денно и нощно, и без всякого разбору, списывал стихотворения Карамзина, Дмитриева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и других...» (*Белинский,* I, 250—251).

[12] Имеется в виду «Краткая логика и риторика для учащихся в Росссийских духовных училищах», М., 1807.

[13] Стр. 71. «Всякая р е т о р и к а, — писал Б е л и н с к и й, — есть наука вздорная, пустая, вредная, педантская, остаток варварских схоластических времен; все реторики, сколько мы ни знаем их на русском языке, нелепы и пошлы; но реторика г. Кошанского перещеголяла их всех. И эта книга выходит уже девятым изданием! Сколько же невинного народа губила она собою!» (*Белинский,* VIII, 514),

[14] Стр. 72. См. прим. 8 к воспоминаниям И. Лажечникова.

[15] Стр. 73. См. прим. 10 к данным воспоминаниям.

[16] Стр. 74. Неточная цитата из оды Г. Р. Державина «Вельможа».

[17] Стр. 75. На приемном экзамене Белинского Ф. И. Чумаков не присутствовал. Он участвовал в заседании правления университета, когда там рассматривалось заявление Белинского (см. *ЛН,* 56, 309—310). Математику Белинский сдавал Д. М. Перевощикову.

[18] Стр. 76. Д. П. Иванов опирается здесь на приведенное А. Н. Пыпиным свидетельство И. И. Лажечникова о гимназических отметках Белинского (см. с. 37 наст. книги).

[19] Стр. 80. О своем юношеском увлечении театром Белинский нередко вспоминал впоследствии, см., например, статьи «Русский

театр в Петербурге» (*Белинский,* IV, 389—391) или «Александринский театр» (*Белинский,* VIII, 519—523).

[20] Неточная цитата из первой песни «Россиады» М. М. Хераскова.

[21] Стр. 92. Жену Яго зовут Эмилией именно у Шекспира. Так же она названа и в безыменном переводе «Отелло» с французской переделки Дюси, по которому ставили пьесу в Чембаре.

[22] Стр. 94. Б. П. Иванова имеет в виду драму «Дмитрий Калинин», над которой Белинский, вероятно, работал во время летних вакаций 1830 г. в Чембаре. См. также письмо Б. П. Ивановой к Белинскому от второй половины января 1831 г. (*ЛН,* 57, 59).

[23] Стр. 98. Не имея возможности, по цензурным причинам, назвать источник, А. Н. Пыпин использовал в своем труде данные о детстве Белинского из книги Герцена «О развитии революционных идей в России» (см. *Герцен,* VII, 235). Уже Пыпин высказал предположение, что этот случай был известен Герцену от самого Белинского.

Н. А. АРГИЛЛАНДЕР

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ

(из моей студенческой с ним жизни)

Николай Андреевич Аргилландер (1812—?) — товарищ Белинского, в 1828—1832 годах учился на словесном отделении Московского университета.

Воспоминания впервые были напечатаны в журнале «Русская старина», СПб., 1880, № 5, с. 140—143. По этому тексту печатаются в настоящем издании.

[1] Стр. 100. Белинский поступил в университет не в 1828 г., а в сентябре 1829 г., на казенный кошт был зачислен 17 октября того же года.

[2] Н. А. Аргилландер дает неправильные инициалы некоторых своих товарищей: Нечая звали Иваном Марковичем, а Матюшенко — Павлом Петровичем (*ЛН,* 56, 430—431).

[3] Стр. 102. Речь идет о «Литературном обществе 11 нумера», которое подробно описал П. И. Прозоров в своих воспоминаниях (см. с. 111—112).

[4] Возможно, таково было первоначальное название «Дмитрия Калинина». А. Н. Пыпин, со слов секретаря «Литературного общества 11 нумера», М. Б. Чистякова, так излагает первоначальный вариант: «...пьеса являлась тогда несколько в ином виде: Владимир — действительно незаконный сын помещика, богатого барина, и родился в семье его крепостного крестьянина; этот

крестьянин потом умер, засеченный барином, который, чтобы несколько загладить ужасное дело, взял Владимира к себе. Владимир (или как иначе звали этого героя) отличался пылким нравом и талантами; отец ставил его в пример своим барчонкам сыновьям, и предпочтение, оказываемое перед ними холопу, возбудило в них скрытую злобу. Героиня — не сестра Владимира, но в любви к ней его соперником являлся именно один из братьев. Отец умирает, не успевши дать вольной своему незаконному сыну, и, по смерти отца, он достается по наследству своему сопернику по любви к героине; новый барин, чтоб отомстить и унизить его, заставляет его служить себе за столом. Здесь же, за столом, Владимир убивает его» (*Пыпин,* 46).

[5] Белинский 23 января 1831 г. сдал рукопись «Дмитрия Калинина» в Московский цензурный комитет. 30 января цензурный комитет рассматривал рукопись и по представлению цензора Л. А. Цветаева, нашедшего, что «в ней множество противного религии, нравственности и Российским законам», постановил запретить пьесу (*ЛН,* 56, 370). Белинский, описав свое посещение цензурного комитета, сообщил родителям, что его произведение «признано было безнравственным, бесчестящим университет, и об нем составили журнал!.. Но после это дело уничтожено, и ректор сказал мне, что обо мне ежемесячно будут ему подаваться особенные донесения...» (*Белинский,* XI, 50).

[6] Стр. 103. Формальным поводом к исключению Белинского из университета послужило то, что он, пролежав в больнице почти всю зиму и весну 1832 г., не мог сдавать переводные экзамены и попросил разрешения перенести их на осень. Помощник попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастов 27 сентября 1832 г. направил ректору университета И. А. Двигубскому следующее предложение: «Не имея надежды, чтобы Сомов и Белинский: первый по совершенно расстроенному здоровью, а второй — тоже по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей, могли образоваться чиновниками по учебной службе, долгом почитаю <…> просить об увольнении их из университета» (*ЛН,* 56, 401).

Товарищи Белинского по университету быстро разгадали, что причиной увольнения была отнюдь не «ограниченность способностей». Один из них писал впоследствии: «История Белинского сильно взволновала студентов, и долго толковали о ней товарищи; на втором курсе мы с изумлением услыхали, что он исключен из университета за неспособностью; конечно, никто из нас не подозревал в нем знаменитого критика, каким он явился впоследствии, но все же мы почитали его одним из самых умных и даровитых студентов и в исключении его видели вопиющую несправедливость»

(Г. Г<оловачев>. Университетские воспоминания. — Газ. «День», М., 1863, 19 октября № 42, с. 7). Об обстоятельствах отчисления Белинского см. также Л. И. Насонкина. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972, с. 204—209.

[7] Стр. 104. После запрещения «Телескопа» за напечатание «Философического письма» П. Я. Чаадаева Белинский редактировал журнал «Московский наблюдатель» (1838—1839). В Петербург он уехал только в 1839 г.

[8] Н. А. Аргилландер мог иметь здесь в виду своего сокурсника В. С. Межевича, к которому Белинский относился в это время резко отрицательно. В. С. Межевич, после окончания университета сотрудничавший одновременно с Белинским в «Телескопе» и «Молве», в сороковые годы резко изменил свои позиции и даже редактировал «Ведомости санктпетербургской полиции».

П. И. ПРОЗОРОВ
БЕЛИНСКИЙ И МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЕГО ВРЕМЯ
(Из студенческих воспоминаний)

Павел Иванович Прозоров (1811 — после 1859) в 1829—1834 годах учился в Московском университете, сначала на медицинском, а с 1830 года — на словесном отделении, где и сблизился с Белинским.

Воспоминания впервые были напечатаны в журнале «Библиотека для чтения», СПб., 1859, т. 157, № 12, с. 1—14. По этому тексту воспроизводятся в настоящем издании без первого абзаца, где автор говорит о необходимости собирания сведений о Белинском.

[1] Стр. 105. Инспектором казеннокоштных студентов был в то время профессор математики П. С. Щепкин, крайне недоброжелательный и грубый человек; впоследствии способствовал исключению Белинского из университета.

[2] Перефразированные слова Репетилова из действ. 4, явл. 4 «Горя от ума» Грибоедова.

[3] Стр. 107. Унизительное положение и скверное питание казеннокоштных студентов постоянно возмущали Белинского, «Пища в столовой так мерзка, так гнусна, что невозможно есть. Я удивляюсь, каким образом мы уцелели от холеры, питаясь пакостною падалью, стервятиной и супом с червями. Обращаются с нами как нельзя хуже. Невозможно исчислить всех неудобств казенного кошта», — писал он (*Белинский,* XI, 51). Коллективный протест казеннокоштных студентов, отказавшихся явиться на обед, состоял-

ся 9 марта 1831 г. Результаты студенческого «заговора» были несколько неожиданны. Хотя попечитель Московского учебного округа С. М. Голицын предупредил, что за подобные действия студентов в дальнейшем будут исключать из университета, он «взял в уважение неотступные просьбы студентов и сменил эконома» (*Белинский,* XI, 56).

[4] Ректором университета был И. А. Двигубский, деканом медицинского отделения — В. М. Котельницкий.

[5] Стр. 108. Имеется в виду С. П. Шевырев, осенью 1832 г. возвратившийся из Италии и в 1834 г. начавший преподавать в университете.

[6] Диссертацию «De origine, natura et fatis Poëseos, quae Romantica audit» («О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической») Н. И. Надеждин защитил 22 апреля 1830 г. Диссертация была выпущена в 1830 г. в Москве на латинском языке. Отрывки из нее тогда же были напечатаны в журнале «Вестник Европы», 1830, №№ 1, 2 («О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии»), и журнале «Атеней», 1830, № 1 («Различие между классическою и романтическою поэзиею, объясняемое из их происхождения»). Полный текст диссертации см. в кн.: Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., 1972, с. 124—253. Ординарным профессором теории изящных искусств и археологии Н. И. Надеждин был назначен, как он сам сообщает в автобиографии, 26 декабря 1831 г. (журн. «Русский вестник», М., 1856, т. II, № 3, март, с. 62).

[7] Имеется в виду рецензия Н. И. Надеждина на VII главу «Евгения Онегина», помещенная в журнале «Вестник Европы», 1830, № 7, в которой он писая, что Пушкину следует: *«Разбайрониться* добровольно и добросовестно! Сжечь «Годунова» и — докончить «Онегина».

[8] А. Ф. Мерзляков умер 26 июля 1830 г.

[9] Отрывки из «Горя от ума» Грибоедова были напечатаны еще в альманахе «Русская талия», 1825. Первое русское издание комедии вышло в 1833 г.

[10] Стр. 109. Профессор русской словесности П. В. Победоносцев строил свой курс по архаическим учебникам риторики. Поэтому П. И. Прозоров и называет его лекции «бургиевскими», по имени автора одного из таких учебников риторики Луи Бурдалу (Бургия). — «Burgii elementa oratoria...», М., 1776.

[11] Стр. 110. И. М. Снегирев.

[12] Стр. 111. «Литературное общество 11 нумера» образовалось в октябре 1830 г. «В продолжение холеры... — вспоминал Белинский в письме к Ивановым от 13 января 1831 г., — нас заперли, и я только посредством партикулярного платья мог уходить из универси-

тета под опасением строжайшего наказания, если бы был уличен. Для рассеяния от скуки я и еще человек с пять затворников составили маленькое литературное общество. Еженедельно было у нас собрание, в котором каждый из членов читал свое сочинение. Это общество, кончившееся седьмым заседанием, принесло мне ту пользу, что заставило меня окончить мою трагедию <«Дмитрий Калинин»>, которая без этого едва ли бы когда-нибудь была написана (*Белинский,* XI, 44).

[13] «Всеобщее начертание теории искусств» Бахмана в переводе М. Б. Чистякова вышло в свет в Москве в 1832 г. На второй странице книги было напечатано: «Посвящается студентам Московского университета»,

[14] См. прим. 16 к воспоминаниям И. Лажечникова.

[15] П. И. Прозоров имеет в виду известные слова Белинского о театре в статье «Литературные мечтания» (см. *Белинский,* I, 78—80). Страницы указаны мемуаристом по изд. «Сочинения В. Белинского». М., 1859—1862.

[16] П. И. Прозоров неточно приводит по тому же изданию цитату из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя» (см. *Белинский,* I, 275).

[17] Стр. 112. Неточно приведен начальный стих из оды Горация. Секретарь «Литературного общества», М. Б. Чистяков, возражал против этих слов мемуариста. Он рассказывал А. П. Пыпину, что «хотя вопрос о трагедии очень волновал Белинского и он с тревогой начинал ее чтение, но в этом случае он не был так нетерпелив и мирно выслушал возражения» (*Пыпин,* 44).

[18] Мемуарист, видимо, ошибся в инициалах Попова. Надо полагать, что он имел в виду Павла Яковлевича Попова. Именно зимой 1830—1831 г., то есть в пору написания «Дмитрия Калинина», Белинский часто встречался с ним (см. *Белинский,* XI, 45).

[19] Н. И. Надеждин. О современном направлении изящных искусств. — «Ученые записки императорского Московского университета», 1833, ч. I, № 1—3. Эту речь Н. И. Надеждин произнес на торжественном собрании Московского университета 6 июля 1833 г.

[20] Стр. 113. Н. И. Надеждин начал читать свой курс с 18 января 1832 г. Курс Н. И. Надеждина по теории и истории изящных искусств состоял из 20 лекций: «Памятники искусства Индии», «Искусство в Египте», «Искусство в Персии», «О поэзии в Индии» и т. п. Среди студентов, ведших журналы (записи) лекций Надеждина, встречаются имена Н. Огарева, Н. Станкевича, К. Аксакова, Я. Неверова, И. Клюшникова, Н. Аргилландера, П. Прозорова и др. (см. Л. И. Насонкина. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972, с. 81).

[21] Всеобщую историю на словесном отделении до М. П. Погодина читал Ю. П. Ульрихс, подавший в отставку в начале 1833 г.

[22] Стр. 115. Белинский был исключен из университета позже — в сентябре 1832 г. См. прим. 6 к воспоминаниям Н. Аргилландера.

[23] Белинский 27 апреля 1833 г. действительно подал Г. И. Карташевскому просьбу предоставить ему место в уездном училище и, получив согласие, передал все документы, но позже ему пришлось затребовать свои бумаги обратно (см. *Белинский,* XI, 94, 105, 106, 110).

[24] Белинский перевел не «Монфермельскую молочницу», а другой роман Поль-де-Кока — «Магдалина» («Madeleine») (см. «Ученые записки Саратовского госуд. университета», т. XX, 1948, с. 310—315).

[25] Стр. 116. С Н. И. Надеждиным Белинский познакомился в феврале 1833 г. и вскоре начал сотрудничать в его журналах сначала как переводчик, потом как критик. «Белинский явился на литературное поприще сотрудником Надеждина как его ученик и продолжатель, — писал Н. Г. Чернышевский. — Начал он с того самого, на чем остановился Надеждин, — с чрезвычайно резкого и горького отрицания всей нашей литературы...» (*Чернышевский,* III, 183).

[26] П. И. Прозоров имеет в виду статьи Н. И. Надеждина «Необходимость, значение и сила эстетического образования» («Телескоп», М., 1831, № 10), «Вкус (в эстетическом смысле)» («Энциклопедический лексикон», т. 10, СПб., 1837, с. 544—548) и др.

[27] Стр. 117. Отрывок из романа Бальзака «История тринадцати» под заглавием «Другой из тринадцати» был напечатан в «Телескопе», 1834, №№ 45—50.

К. С. АКСАКОВ

ВОСПОМИНАНИЯ СТУДЕНТСТВА 1832—1835 ГОДОВ

Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860) — поэт, критик и публицист; один из виднейших идеологов славянофильства.

К. С. Аксаков поступил в Московский университет в тот год, когда Белинский был исключен из него. Встретились они впервые у Н. В. Станкевича. У К. С. Аксакова в эти годы были уже довольно сильны и определенны те настроения и идеи, которые впоследствии сделали его одним из самых видных славянофилов. В то же время с кружком Н. В. Станкевича его сближали отрицательное отношение к крепостничеству, к реакционным течениям в литера-

туре, горячая любовь к творчеству Гоголя, интерес к немецкой классической философии. Он активно сотрудничал в «Телескопе» и «Молве», печатая в них свои стихотворения, пародии и переводы. Однако «буйные хулы» Белинского и других членов кружка, неприятие ими патриархальных устоев, резкая критика русской действительности пугали будущего славянофила и заставляли его держаться в кружке особняком. «В отношении к моим знакомым я не переменился: не сближаюсь с кругом Станкевича, отдаляюсь от аристократов, рад слушать молодых людей, как Катков, и только с одним Кобыл<иным> я откровенен», — сообщал в марте 1836 года К. С. Аксаков брату Григорию (цит. по книге: М. Поляков. Виссарион Белинский. М., 1960, с. 124).

Наиболее тесные отношения К. С. Аксакова с Белинским, одно время с М. А. Бакуниным и другими членами кружка приходятся на 1837 — начало 1839 года, когда в кружке проповедовалось «примирение с действительностью». В эти годы он принимал живое участие в «Московском наблюдателе», выходившем под редакцией Белинского, печатал в нем свои переводы и поместил статью, посвященную «Грамматике» Белинского.

Однако в 1839 году уже определяется расхождение К. С. Аксакова с членами кружка. «Что сказать вам про мои отношения с приятелями, милые друзья? — пишет он в феврале — марте 1839 года братьям. — Я расстался со всем их кружком без ссоры, без вражды, отдавая им полную справедливость в том, что в них есть хорошего, расстался *сам,* по истинному своему влечению, и чувствую себя теперь совершенно под вольным небом, и дышу свободно. Белинский лучше всех моих приятелей; в нем есть истинное достоинство, но и с ним я уже не в прежних отношениях, хотя люблю его больше всех остальных» (*ЛН,* 56, 125). Все более явно проявлявшиеся славянофильские тенденции К. С. Аксакова, его приверженность патриархальным устоям вызывают отчуждение Белинского. «Да, славное дитя Константин, — восклицает он в письме к И. И. Панаеву от 19 августа 1839 года, — жаль только, что движения в нем маловато» (*Белинский,* XI, 374). В октябре того же года он в письме Н. В. Станкевичу еще резче подчеркивал эту особенность К. С. Аксакова: «В нем есть и сила, и глубокость, и энергия, он человек даровитый, теплый, в высшей степени благородный, но благодаря своему китайскому элементу, лишающему его движения вперед путем отрицаний, он все еще обретается в мире призраков и фантазий и даже и не понюхал до сих пор действительности» (*Белинский,* XI, 394).

Еще до переезда Белинского в Петербург в октябре 1839 года взаимоотношения их стали ухудшаться. Начавшийся вскоре отход Белинского от «примирительных» идей вызвал резкое осуждение

К. С. Аксакова. 22 ноября 1839 года Белинский писал В. П. Боткину: «Скажи Грановскому, что, чем больше живу и думаю, тем больше, *кровнее* люблю Русь, но начинаю сознавать, что это с ее субстанциальной стороны, но ее определение, ее действительность настоящая начинают приводить меня в отчаяние — грязно, мерзко, возмутительно, нечеловечески...» (*Белинский,* XI, 420). Почти одновременно с этим письмом Белинский отправил не дошедшее до нас письмо К. С. Аксакову, в котором тоже, видимо, развивал подобные идеи. Раздраженный ответ К. С. Аксакова (см. его в кн. «Труды Всесоюзной библиотеки им. Ленина», сб. IV. М., 1939, с. 205) не оставлял сомнений, что дружеским отношениям пришел конец.

«Воспоминания студентства» были написаны в 1855 году. Это единственное воспоминание о кружке Станкевича, оставленное его участником. Славянофильские воззрения К. С. Аксакова наложили заметный отпечаток на его воспоминания: здесь и излишнее подчеркивание «отсутствия форменности», которой и в те годы было предостаточно, и явная тенденция представить кружок начисто лишенным общественно-политических интересов и т. п. Однако картина студенческой жизни начала тридцатых годов, очень живо и ярко нарисованная Аксаковым, дает читателю представление об атмосфере, в которой происходило становление взглядов Белинского.

«Воспоминания студентства» впервые были опубликованы после смерти автора в газете «День», М., 1862, № 39—40, 29 сентября и 6 октября; перепечатаны в 1911 году Б. А. Ляцким отдельным изданием. При публикации в газете текст воспоминаний подвергся значительной редакционной правке: многие места намеренно «смягчены», а некоторые вообще опущены (например, рассказ Аксакова об отношении студентов к Шевыреву), имена, встречающиеся в тексте, как правило, или зашифрованы, или заменены неопределенными выражениями: «Один профессор» и т. п. В настоящем издании воспоминания печатаются по рукописи (*ИРЛИ,* ф. 3, оп. 7, ед. хр. 29). Конец воспоминаний, содержащий рассказ об окончании мемуаристом университета, опущен.

[1] Стр. 120. И. А. Гончаров по поводу этого рассказа К. С. Аксакова писал А. Н. Пыпину: «Это было, *но отнюдь не с Победоносцевым,* а с Гавриловым, профессором славянского языка. Победоносцев по вечерам никогда не читал лекций. Я не застал его: кафедру эту закрыли, но студенты, по свежему преданию, рассказывали мне, что они неоднократно встречали его таким образом, то есть славянскою песнию» (*ЛН,* 56, 268).

[2] Стр. 121. Из первой песни «Одиссеи» Гомера.

[3] Стр. 122. Стихотворение приведено без двух последних строф. Полный текст см.: «Поэты кружка Н. В. Станкевича». М.—Л., 1964, с. 299.

[4] Александр Павлович Белецкий и упоминаемый несколько ниже Каетан Андреевич Коссович входили в организованное И. С. Савиничем в 1833 г. «тайное польское литературное общество». Одним из участников его был знакомый Белинского, Ф. Заблоцкий, арестованный в 1833 г. и отданный в солдаты за распространение антицаристских сочинений. А. П. Белецкий после окончания в 1835 г. университета преподавал в Минске.

[5] Стр. 125. С Н. В. Станкевичем К. С. Аксаков познакомился, очевидно, в 1832 г. Своего намерения написать специально о Н. В. Станкевиче и о его кружке он не выполнил.

[6] Славянофильские тенденции К. С. Аксакова проявлялись уже в то время и служили, очевидно, предметом шуток в кружке. Н. В. Станкевич иронически писал В. И. Красову 16 октября 1834 г.: «Хотелось бы узнать что-нибудь о милом Аксакове, которому прошу тебя пожать за меня руку крепко, по-славянски, и поклониться в пояс, по-русски» (*Станкевич,* 404).

[7] Стр. 126. Н. В. Станкевич уехал за границу в августе 1837 г. Именно в это время К. С. Аксаков был наиболее близок к кружку. Размежевание между ним и другими членами кружка началось позже, в 1839—1840 гг. Начавшийся между Аксаковым и Белинским спор о Гоголе, приведший в 1842 г. к известной полемике между ними, переход Белинского на позиции революционного демократизма, а Аксакова — на позиции славянофильства превратили их в идейных противников. Именно революционно-демократические идеи Белинского и называет здесь Аксаков «ложью односторонности».

[8] Стр. 128. В этих суждениях К. Аксакова о Надеждине явно отразились его поздние славянофильские пристрастия. Возражая против этих слов Аксакова, И. А. Гончаров писал А. Н. Пыпину: «Это был строгий и основательный ученый по части гуманитарных наук. Древние языки и вообще древность дались ему в духовной академии и были подкладкою всего того, что потом нужно было приобрести ему по изучению новейших языков и литературы, философии и т. п. Все это тогда было *серьезными занятиями* — особенно при кафедре... А упрекать его можно было в том, в чем он почти не был виноват, именно: он читал и всегда с увлечением, например, о скульптуре, архитектуре у древних, о школах живописи, о знаменитых произведениях всех трех искусств, — *сам никогда не видав ни одного здания, ни одной знаменитой статуи, ни одной порядочной картины...»* (*ЛН,* 56, 265—266). Показательно, что сам К. Аксаков одно из своих писем к Надеждину подписал:

«Вас много любящий от всей души, старинный собеседник и сомечтатель» (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 год. Л., 1976, с. 81).

[9] Стр. 129. С. П. Шевырев читал свою вступительную лекцию 15 января 1834 г. «Друг мой! — сообщал Н. В. Станкевич Я. М. Неверову. — Сию минуту с первой лекции Шевырева. Он обещает много для нашего университета с своею добросовестностью, своими сведениями, умом и любовью к науке. Это едва ли не первый *честный профессор»* (*Станкевич,* 276). В числе слушателей, возможно, был и Белинский (*Белинский,* I, 283). Однако «очарование» С. П. Шевыревым действительно было недолгим. Его статьи и стихотворения, появлявшиеся в «Московском наблюдателе», не оставляли сомнений в ретроградности их автора. В № 51 «Молвы» за 1834 г. Белинский, отмечая «отлично исполняемую» С. П. Шевыревым должность «профессора при Московском университете», резко отозвался о его стихотворениях, находя, что они «часто обнаруживают более усилия ума, чем излияние горячего вдохновения» (*Белинский,* I, 77—78). А через полгода после этой статьи Н. В. Станкевич сообщал Я. М. Неверову: «Шевырев обманул наши ожидания: он педант» (*Станкевич,* 321).

[10] Стр. 130. М. П. Погодин занял кафедру всеобщей истории в 1833 г. Читать всеобщую историю на словесном отделении он начал в 1833—1834 учебном году, когда К. С. Аксаков был на втором курсе. Кафедру русской истории занял в 1835 г.

[11] Отрывки из пародии под псевдонимом «К. Эврипидин» были напечатаны в «Молве», 1835, № 27—30, с примечанием Белинского, в котором он вскрывал ее направленность (*Белинский,* I, 221). Впервые публикуя полностью пародию в 1858 г., К. Аксаков писал в предисловии: «В тридцатых годах русскую историю преподавал в Московском университете М. Т. Каченовский, имя которого навсегда останется в летописях русской исторической науки. Студенты были увлечены скептическим его взглядом... Увлекаясь тогда, вместе с другими, скептическими мнениями профессора, я увидал потом их ошибочность. Тогда, под влиянием этого скептицизма, написал я, с одобрения товарищей, эту пародию, в которой преувеличил до крайности мнения противников, представив Олега государем эпохи развитой и просвещенной. Вместе с тем это была пародия и на стихотворные идеализации истории в появлявшихся тогда некоторых патриотических драмах...» («Поэты кружка Н. В. Станкевича». М.—Л., 1964, с. 429).

[12] Стр. 131. К. С. Аксаков приводит в вольном изложении следующее утверждение И. И. Давыдова: «Когда мы представляем в воображении человека великого, то даем ему и рост необыкновенный; когда описываем предметы важные, то употребляем стихи

длинные» (И. И. Давыдов. Чтения о словестности, т. III. М., 1838, с. 37).

[13] Стр. 133. Альманах «Новоселье» (книга вторая) вышел в свет в 1834 г. (ценз. разр. 18 апреля 1834 г.).

[14] Стр. 134. «Коляска» была опубликована в первом номере пушкинского «Современника», вышедшем в свет 11 апреля 1836 г.

Показательно, что подобные чтения произведений Гоголя вслух в кружке продолжались и позже. Например, 1 мая 1837 г. Н. В. Станкевич сообщал Л. А. Бакуниной: «Собираемся у меня, читаем Гоголя» (*Станкевич,* 527).

Н. М. САТИН

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Николай Михайлович Сатин (1814—1873) — поэт и переводчик, член кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Арестованный вместе с членами кружка в 1834 году, он в 1835 году был сослан в Симбирск, весной 1837 года получил разрешение провести курс лечения на Кавказе, переехал в Пятигорск и там, в июле 1837 года, познакомился с Белинским.

Рассказав в своих воспоминаниях о встречах Белинского с Лермонтовым, Сатин, к сожалению, ни словом не обмолвился о своих собственных спорах с критиком и о не дошедших до нас письмах Белинского к нему. О характере этой переписки мы можем судить только по сохранившимся ответным письмам Сатина от 7 ноября и 27 декабря 1837 года (*БиК,* с. 261—270).

Эти споры и письма для нас особенно интересны тем, что они должны были послужить основой задуманной Белинским большой статьи. «Я составил план хорошего сочинения, — сообщал он об этом замысле, — где в форме писем или переписки друзей хочу изложить все истины, как постиг я их, *о цели человеческого бытия или счастии...* Здесь я разовью, как можно подробнее и картиннее, идею творчества, которая у нас так мало понята; словом, здесь я надеюсь выразить всю основу нашей внутренней жизни» (*Белинский,* XI, 180—181). Подробнее об этом замысле и характере переписки Белинского и Сатина см. в статье Ю. Г. Оксмана «Переписка Белинского» (*ЛН,* 56, 222—225).

Встречи с Белинским не прошли для Сатина бесследно. Свидетельством этого может служить следующая записка последнего Н. Х. Кетчеру: «Благодарю тебя за знакомство с Б<елинским>... Мы подружились с ним, хотя не совершенно сошлись в наших понятиях. В Ставрополе хочу заняться немецким языком и нем<ецкой> философиею — французы надоели мне» (*ГБЛ,* М. 5185, 34).

Особенно показательна здесь последняя фраза. Увлекавшийся в то время французской философией, Сатин, явно под воздействием Белинского, который тогда особенно страстно пропагандировал немецкую философию, говорит о своем стремлении заняться ее изучением.

Спор Белинского и Сатина о роли и месте человека в жизни продолжился и в 1839 году. Осенью 1839 года Белинский написал ему еще одно письмо. Читавший это, не дошедшее до нас, письмо Герцен писал в ноябре 1839 года Огареву: «Белинский во многом не прав относительно его, но во многом и прав. Пусть же он занимается немецкой литературой, укажи ему и философию, да пусть в нее входит со смирением; философского образования он еще вовсе не имеет» (*Герцен,* XXII, 54).

В дружеских отношениях с Сатиным Белинский остался до своей смерти, хотя и продолжал считать его человеком колеблющимся и склонным к мечтательности.

«Отрывки из воспоминаний» Н. М. Сатина впервые были напечатаны в кн. «Почин. Сборник общества любителей российской словесности на 1895 год». М., 1895, с. 237—250. В настоящем издании печатается по рукописи один отрывок из воспоминаний. В рукописи выделен в отдельную главку (*ГБЛ,* Г — О, XI, 27).

[1] Стр. 136. Сатин неточно передает слова Панаева. Панаев пишет, что Белинский *встречался* с Лермонтовым у Краевского, но не говорит, что они там познакомились (см. с. 232 наст. книги).

[2] Белинский приехал в Пятигорск в мае 1837 г. Лермонтов весной 1837 г. был сослан на Кавказ в Нижегородский драгунский полк за стихотворение «Смерть Поэта». По дороге, не доехав до места назначения, он заболел и остановился в Пятигорске.

[3] Преобразование Университетского пансиона в гимназию произошло не в 1831 г., а 29 марта 1830 г. Незадолго до этого пансион посетил Николай I, пришедший в негодование, когда увидел, что в пансионе отсутствует казарменная дисциплина, повсеместно им насаждавшаяся. Вероятно, именно о визите Николая I в пансион 11 марта 1830 г., о его угрозах и о последовавшем преобразовании пансиона в гимназию намеревался «когда-нибудь поговорить» Сатин, но намерения своего не выполнил.

[4] Известная «маловская» история произошла 16 марта 1831 г. Большая группа студентов освистала и заставила покинуть кафедру бездарного и грубого профессора М. Я. Малова, особенно ненавидимого за угодливое прославление самодержавия (см. подробнее — *Герцен,* VIII, 117—118). Лермонтов принял участие в этой демонстрации и сначала действительно опасался репрессий, но

они его не коснулись. Вышел он из Московского университета, вне связи с этим происшествием, в 1832 г.

[5] Стр. 137. Впечатления от пятигорского общества действительно были широко использованы М. Лермонтовым в «Герое нашего времени», однако, судя по сохранившимся свидетельствам, непосредственно работать над романом он начал позже — не раньше второй половины 1838 г.

[6] Н. В. Майер послужил Лермонтову прототипом образа доктора Вернера.

[7] Белинский и Лермонтов родились не в Чембаре, но действительно провели свое детство один в самом Чембаре, а другой в Тарханах, усадьбе своей бабушки, расположенной в четырнадцати верстах от Чембара.

[8] Стр. 138. Н. Л. Бродский в статье «Лермонтов и Белинский на Кавказе в 1837 г.» (*ЛН,* 45—46, 738) выдвинул предположение, что в этом рассказе Сатин перепутал позиции спорящих. По его мнению, не Белинский, а Лермонтов защищал французских энциклопедистов, а нападал на них, в частности на Вольтера, Белинский. Бродский аргументировал свою точку зрения указаниями на положительное отношение Лермонтова к французским просветителям и на резко отрицательное отношение к ним, в частности и к Вольтеру, Белинского в этот период. Утверждения Бродского были оспорены другими учеными: см.: *ЛН,* 56, 241; *Нечаева, III,* 75—79.

[9] Письмо не сохранилось. Аттестация Белинским Лермонтова «пошляком» связана с тем, что понятие «пошлость» употреблялось Белинским в различных значениях. Помимо своего прямого, обиходного смысла, это слово могло обозначать стремление эпатировать общество. Человек, полный хороших намерений, но не имеющий сил претворить их в жизнь, также мог быть назван пошляком. Сам Белинский, считая, что в нем сильна эта раздвоенность, что он «понимает всю гадость своего положения, а не имеет силы вырваться из него», пишет: «...я чувствую, что должен казаться слишком пошлым всякому, кто знает меня вблизи, а не издали» (*Белинский,* XI, 163—164).

[10] Первое печатное суждение о произведениях Лермонтова Белинский высказал в июне 1838 г. В рецензии на «Елену» Е. Бернета он писал о «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»: «Не знаем имени автора этой песни, которую можно назвать поэмою, вроде поэм Кирши Данилова, но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование» (*Белинский,* II, 411). Это было замечательное прозрение критика. Позднее, познакомившись с такими произведениями Лермонтова, как «Три

пальмы», «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «И скучно, и грустно...», Белинский писал в феврале 1840 г.: «Черт знает — страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится *третий* русский поэт и что Пушкин умер не без наследника» (*Белинский,* XI, 441).

А. И. ГЕРЦЕН

ИЗ «БЫЛОГО И ДУМ»

Александр Иванович Герцен (1812—1870) был арестован ровно за два месяца до появления первой главы «Литературных мечтаний». Последовавшая за арестом ссылка на пять лет оторвала его от московских литературных кружков. Но и в ссылке он пристально следил за журналами, за переменами, которые происходила в их издании. «Что, существует ли «Московский наблюдатель» — об нем нигде не говорят — и каков?» — запрашивал он Н. И. Астракова (*Герцен,* XXI, 389). «Московским наблюдателем» после перехода его в руки Белинского Герцен особенно интересовался и даже выражал готовность сотрудничать в нем.

Из ссылки Герцен вернулся с ясным сознанием ограниченности романтических иллюзий, которые владели им до ареста В 1838—1839 годах он полемизировал с Огаревым, придерживавшимся крайне абстрактных объективно-идеалистических взглядов. Идеи Огарева, считавшего, что «высочайший предмет в обществе — это индивидуал, цель — совершенствование индивидуалов, христианство, а общество уладится но потребностям» («Русская мысль», 1888, № 10, с. 11), Герцен называл «теургически-философскими мечтами». В противоположность своему другу, Герцен в эту пору требовал сближения с действительностью, с жизнью, изучения и познания ее. Целью человека, по его мнению, должна быть практическая деятельность на благо общества. Но вместе с тем характер этой деятельности, реальные пути достижения идеалов были Герцену неясны. В его взглядах было немало неопределенно-романтических черт.

Когда, в августе 1839 года, Герцен приехал в Москву, взгляды Белинского, Бакунина и других членов кружка, односторонне трактовавших учение Гегеля, не были для него новостью. Ни на минуту не отступая от своего требования сближения с действительностью, он со всей страстью восстал против тезиса о примирении с нею. О политической стороне спора Герцен подробно рассказал в «Былом и думах».

Однако, выступая против пассивного, созерцательного отношения к действительности, которое проповедовал в это время Белинский, Герцен не мог не почувствовать справедливости в его

критике «шиллеризма», романтического отрыва мечты от действительности. Ясно видя, что в словах Белинского много правды, он писал Огареву вскоре после сентябрьских споров: «Ни я, ни ты, ни Сатин, ни Кетчер, ни Сазонов... не достигли совершеннолетия, мы, вечно юные, не достигли того гармонического развития, тех верований и убеждений, в которых мы бы могли основаться на всю жизнь и которые бы осталось развивать, доказывать, проповедовать... Причина всему ясная: мы все скверно учились, доучиваемся кой-как и готовы действовать прежде, нежели закалили булат и выучились владеть им <…>. Кончились тюрьмою годы ученья, кончились ссылкой годы искуса, пора наступить времени Науки в высшем смысле и действования практического. Между прочим, меня повело на эти мысли письмо Белинского к Сатину (с которым, однако, я не вовсе согласен, Белинский до односторонности *многосторонен*), еще прежде самая встреча с новыми знакомыми, еще прежде свой ум... но я все боялся анализа, было много восторженности, полно ликовать» (*Герцен,* XXII, 53—54). Затем в этом же письме, уже совсем в духе Белинского, он говорит о своем намерении «изучать Гегеля» и обрушивается на свой недавний идеал — Шиллера, который «понимал односторонно жизнь».

Белинский, уехав в Петербург, продолжал развивать свои «примирительные» идеи. Но одновременно с этим, все пристальнее вглядываясь в крепостническую действительность, начинал понимать ложность своих взглядов.

Так, постепенно отказываясь от заблуждений примирительной поры, Белинский становился ближе к революционным требованиям Герцена. Последний, отходя от романтических увлечений, все больше понимал справедливость протеста Белинского против «разъедающей рефлексии». Споря и тем самым помогая друг другу освободиться от ошибок, шли они навстречу друг другу. Летом 1840 года в Петербурге состоялось их примирение.

XXV глава «Былого и дум» была написана Герценом в 1854 году и впервые опубликована в «Полярной звезде», 1855, кн. 1, под заглавием «Юная Москва». В настоящем издании два отрывка из этой главы печатаются по изд.: А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, 1956, с. 16—24, 27—34.

[1] Стр. 139. Один из «старых друзей» — Н. Х. Кетчер, случайно избежавший ареста в 1834 г., живший постоянно в Москве. Второй — вероятно, Н. М. Сатин.

[2] Стр. 140. Т. Н. Грановский с 1836 г. находился за границей. В Москву он приехал около 28 августа 1839 г., то есть почти одновременно с Герценом, приехавшим 23 августа. Однако встретились и познакомились они только в декабре 1839 г.

[3] Н. В. Станкевич, уехавший в 1837 г. за границу, умер 25 июня 1840 г. в г. Нови (Италия).

[4] Стр. 141. Г. Гейне дважды употребил это выражение применительно к А. Руге: в предисловии ко второму изданию своей работы «К истории религии и философии в Германии» и в «Признаниях».

[5] На Маросейке, в Петроверигском переулке, находился дом Боткиных, где часто собирались в те годы друзья Белинского, на Моховой — Московский университет.

[6] Стр. 142. Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы».

[7] Герцен имеет в виду четвертую сцену первой части «Фауста» Гете.

[8] Стр. 143. Белинский не разделял восторженного преклонения перед второй частью «Фауста», которое было свойственно другим членам кружка (см. его письмо к И. И. Панаеву, с. 200 наст. изд.).

[9] А. И. Герцен имеет в виду заметку Гегеля «Offentliche Todestrafe» («Публичная казнь») напечатанную в биографии Гегеля К. Розенкранца, изданной в Берлине в 1844 г.

[10] Стр. 144. Этот библейский текст (Новый завет. Послание к римлянам, XIII, 1) использовался для оправдания деспотических режимов.

[11] Стр. 145. Статья Белинского «Бородинская годовщина...» была напечатана в «Отечественных записках», 1839, № 10 (ценз. разр. 14 октября), еще до отъезда критика из Москвы. «Залп» этот был не последний. Вслед за этой статьей те же идеи он подробно развивал в статьях «Очерки Бородинского сражения...» и «Менцель, критик Гете», появившихся в декабре 1839 и январе 1840 г.

[12] В августе — сентябре 1839 г., когда происходили описанные А. И. Герценом споры, М. А. Бакунина в Москве не было. Он находился в Петербурге. М. А. Бакунин был одним из первых русских интерпретаторов теории примирения с действительностью. Его предисловие к «Гимназическим речам» Гегеля, напечатанное в первом номере «Московского наблюдателя», после перехода журнала под редакцию Белинского, стало манифестом кружка. К середине 1839 г. Белинский и Бакунин разошлись во взглядах. Белинский, продолжая отстаивать и развивать идеи примирения, требовал приближения к конкретной действительности, познания и изучения ее и отвергал романтические иллюзии. Бакунин, напротив, выдвигал на первый план необходимость построения «того внутреннего, идеального мира, который мог бы служить нам прибежищем от удара чуждой и беспрестанно окружающей нас действительности; этим идеальным миром должны быть, по крайней мере для меня, религия и философия как единственно удовлетво-

ряющие формы познания истины...» (*Бакунин,* II, 224). Эти идеи Бакунина дали Белинскому основание характеризовать его в письме к Н. В. Станкевичу как «совершенного абстракта», лишенного «всякого такта действительности» (*Белинский,* XI, 388). Подробнее об истории взаимоотношений Белинского и Бакунина см. в статье В. Г. Березиной «Белинский и Бакунин в 1830-е годы» («Ученые записки ЛГУ», № 158, серия филологических наук, вып. 17. Л., 1952 и в книге Н. М. Пирумовой «Бакунин». М., 1970).

[13] Стр. 146. Речь идет о книге: C. Michelet. Vorlesungen über die Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit des Seele (К. Михелет. Лекции о личности божества и бессмертии души), изданной в Берлине в 1841 г.

[14] Белинский уехал в Петербург около 22 октября 1839 г. Примирение с А. И. Герценом состоялось летом 1840 г., до этого они несколько раз встречались (в первый раз в Петербурге — между 18 и 23 декабря 1839 г., см. об этом в воспоминаниях Анненкова, с. 342).

[15] Это произошло во время обеда у Краевского, см. «Воспоминание о Белинском» И. И. Панаева, с. 202 наст. книги.

[16] Стр. 147. Имеется в виду первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, за публикацию которого был закрыт журнал «Телескоп».

[17] Герцен имеет в виду статью Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (статья восьмая — «Евгений Онегин») (*Белинский,* VII, 449—452).

[18] Стр. 148. В книге «О развитии революционных идей в России».

[19] Стр. 150. К И. И. Панаеву.

[20] Стр. 151. «Магистр в синих очках» — Я. М. Неверов (см. *ЛН,* 56, 92—94). Об аналогичном высказывании Белинского о гильотине со слов Тургенева рассказывает Н. А. Благовещенский в письме к А. К. Шеллеру-Михайлову (см. сб. «Тургенев». Орел, 1940, с. 53).

В. А. ПАНАЕВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Валериан Александрович Панаев (1824—1899) — двоюродный брат И. И. Панаева, в 1844 году окончил Институт путей сообщения и в дальнейшем стал видным инженером.

В 1839 году вместе с И. И. Панаевым, возвращавшимся из Казанской губернии, он приехал в Москву, где познакомился с Белинским; дальнейшее сближение произошло в Петербурге: несколько месяцев он прожил с Белинским в одной комнате, а в

последующие годы встречался в доме Панаевых. В последний раз В. А. Панаев видел Белинского незадолго до его смерти. «Я застал его сидящим на постели, в халате, но с спущенными ногами, так что, когда я стал передавать ему мои впечатления по поводу статей Эмиля де Жирардена, появлявшихся в это время после Февральской революции, он моментально оживился и вскочил было на ноги. Худоба была поразительна, щеки ярко горели, руки были горячие; следовательно, я попал к нему в сильный лихорадочный момент, а потому глаза его показались мне настолько оживленными, что можно было подумать, что до конца еще далеко. Через три дня Белинского не стало» («Русская старина», 1901, № 9, с. 503).

Познакомившись, еще студентом, с членами кружка Белинского, В. А. Панаев сохранил привязанность ко многим из них на всю жизнь. Теплые страницы в своих воспоминаниях он посвятил Н. А. Некрасову, А. И. Герцену, И. С. Тургеневу и другим.

«Воспоминания» В. А. Панаева были впервые опубликованы в журнале «Русская старина», 1893—1906 гг. В наст. изд. печатаются три отрывка из глав 5 и 6 (опубликованы в «Русской старине», 1893, № 9, с. 461—502) и 23 (1901, № 9, с. 481—510).

[1] Стр. 156. В Петербург Белинский приехал около 24 октября 1839 г.

[2] Книга эта, подаренная Белинским 26 ноября 1839 г., сохранилась (см. *ЛН,* 55, 395).

[3] Стр. 157. В. А. Панаев мог встретиться с А. В. Кольцовым не раньше октября 1840 г., то есть уже после того, как Белинский выехал от Панаевых, а сам В. А. Панаев поступил в Институт путей сообщения.

[4] Стр. 158. В начале этой главы В. А. Панаев писал о том, что по приезде в Петербург мать Ивана Ивановича, М. Е. Панаева, взяла у него деньги, предназначенные для уплаты профессору Полонскому, который должен был готовить его к поступлению в институт.

[5] Стр. 162. Вероятно, В. А. Панаев имеет в виду книгу: F. Mignet. Histoire de la rêvolution française, о которой вспоминает также И. И. Панаев.

[6] Начало занятий историей французской революции в кружке Белинского относится к зиме 1841—1842 г. (см. об этих субботах также в воспоминаниях И. И. Панаева (с. 262—263).

[7] Речь Робеспьера была напечатана в «Moniteur universel», № 229, 19 флореаля (8 мая 1794 г.).

[8] Ernest Hamel. Histoire de Robespierre. Paris, 1864—1868.

[9] Отрывок из этой речи привел Белинский в письме к В. П. Боткину в апреле 1842 г. Начало письма, где Белинский, очевидно,

подробно излагал свои взгляды на французскую революцию и деятельность Робеспьера, не сохранилось. Та часть письма, которой мы располагаем, прямо начинается цитатой из речи Робеспьера. Приведя ее, Белинский пишет: «Тут нечего объяснять. Дело ясно, что Р<обеспьер> был не ограниченный человек, не интриган, не злодей, не ритор и что тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов» (*Белинский,* XII, 105).

Ю. К. АРНОЛЬД

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Юрий Карлович Арнольд (1811—1898) — композитор и музыковед. Познакомился с Белинским в Петербурге в начале января 1840 года на торжественном обеде, данном Ф. А. Кони и В. П. Поляковым по случаю выхода первой книжки «Пантеона русского и всех европейских театров». Об этом обеде и о случившемся во время него споре Белинского с В. А. Каратыгиным Ю. К. Арнольд пишет в 32-й главе своих воспоминаний.

В настоящем издании печатается отрывок из 34-й главы по тексту: Ю. К. Арнольд. Воспоминания, т. II. М., 1892, с. 211—214.

[1] Стр. 164. Статья Белинского «О детских книгах. Подарок на Новый год. Две сказки Гофмана для больших и маленьких детей, — Детские сказки дедушки Иринея» была опубликована в журнале «Отечественные записки», 1840, № 3.

[2] Стр. 165. У Белинского Арнольд мог встретиться с Кольцовым во время приезда поэта в Петербург в октябре — ноябре 1840 г.

[3] Стр. 167. Статья Белинского «Горе от ума. Сочинение А. С. Грибоедова» была напечатана в журнале «Отечественные записки», 1840, № 1. Спор с Ю. К. Арнольдом произошел (если мемуарист не ошибся в месяце) в марте 1841 г.

К. Д. КАВЕЛИН

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. БЕЛИНСКОМ

Константин Дмитриевич Кавелин (1818—1885) — публицист, правовед, общественный деятель, профессор Московского и Петербургского университетов.

В мае 1842 года Кавелин переехал из Москвы в Петербург и

поступил на службу. Первое время он там встречался преимущественно со своими старыми университетскими знакомыми или с товарищами по службе. У него были еще очень сильны славянофильские идеи. «Я здесь, в Питере, точно в неприятельском лагере, — писал он Д. А. Валуеву. — Лишь только высунешь нос на улицу — глядь, какие-нибудь заморские мысли щеголяют во фраке общечеловеческих идей, выведенных из развития целого человечества. Так гадко, что плюнешь и невольно перекрестишься... Естественно, что я именно поэтому избегаю здесь всевозможных знакомств» («Русский архив», 1900, № 4, с. 575—576).

Только в конце 1842 года, когда Кавелин поселился вместе с близкими приятелями Белинского, Н. Н. Тютчевым и А. Я. Кульчицким, начались его регулярные встречи с великим критиком. Он не стал сторонником идей Белинского, хотя определенное влияние они на него оказали. Возвратившись в Москву в конце 1843 года, он примкнул уже к кругу московских западников. В числе его ближайших друзей оказались Т. Н. Грановский, Е. Ф. Корш, В. П. Боткин. Его статьи по русской истории и истории права вызывали сочувствие Белинского. Однако Белинский замечал половинчатость, непоследовательность его критики славянофильства и в то же время преклонение перед западноевропейскими буржуазными государственными системами.

В трудную для Белинского минуту, когда необходимо было обеспечить исключительное участие в «Современнике» всех ведущих писателей и ученых, Кавелин не дал на это своего согласия.

В дальнейшем Кавелин стал типичнейшим русским либералом, в безопасное время заигрывающим с прогрессивными кругами, а в опасности стремительно предающим былых союзников. В 1862 году он выступил в поддержку репрессий самодержавного правительства против революционно-демократического движения. В. И. Ленин писал об этом: «Когда один из отвратительнейших типов либерального хамства, Кавелин, восторгавшийся ранее «Колоколом» именно за его *либеральные* тенденции, восстал против конституции, напал на революционную агитацию, восстал против «насилия» и призывов к нему, стал проповедывать терпение, Герцен *порвал* с этим либеральным мудрецом» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 259).

Впервые мысль написать воспоминания о Белинском возникла у Кавелина в 1848 году. С этим обратились к нему Некрасов и Панаев. Раздраженный и обиженный за переделку, которой они подвергли написанное им объявление «Об издании «Современника» в 1849 году», Кавелин писал Грановскому 5 сентября 1848 года: «Потом мне предложили писать о Белинском: несколько хоро-

ших вещей я мог бы высказать об нем как лице, характере. Я было согласился, но потом раздумал. Подведут опять под уровень ничтожества, пошлости, и выдет тоже дрянь. Я уж предпочитаю не писать ничего: набросаю вещь, как понимаю, и пришлю к Вам при случае: это будет документом для будущей биографии нашего друга и благородного мученика либерализма в России» (*ЛН,* 67, 597). Своего намерения он тогда не выполнил.

Слова Кавелина о Белинском как «благородном мученике либерализма» были в то время только оговоркой, но оговоркой знаменательной. Он тогда еще не мог знать, какая пропасть ляжет между революционерами-демократами и либералами. Но когда в 1874 году по просьбе А. Н. Пыпина он приступил к работе над своими воспоминаниями, противоположность этих общественных группировок давно стала очевидной. И не менее явным оказалось стремление Кавелина представить Белинского либералом. Молчаливо обойдя революционную сущность взглядов Белинского (воспоминания не предназначались для печати, поэтому он мог не страшиться цензуры) и этим умолчанием как бы подчеркнув ее несущественность и случайность, он вместе с тем приписал великому критику взгляды, глубоко ему чуждые.

«Воспоминания о Белинском» впервые были опубликованы в «Собрании сочинений» К. Д. Кавелина, т. III. СПб., 1899, с. 1081—1098. В настоящем издании печатаются по автографу (*ИРЛИ,* ф. 250, ед. хр. 497).

[1] Стр. 168. «Учебная книга всеобщей истории, сочиненная И. М. Шрекком... исправленная, дополненная и доведенная до новейших времен К. Г. Л. Пёлицом», ч. I—III, неск. изд.

[2] Стр. 169. Биготизм — ханжество (от *франц.* le bigotisme).

[3] Стр. 170. Если Белинский и высказывал нечто подобное, это не отвечало его подлинным мыслям. Например, в «Литературных мечтаниях» он называет греческую литературу «изящной и богатой» (*Белинский,* I, 27), а в статье «О стихотворениях г. Баратынского» пишет: «История первобытной греческой поэзии достойна глубочайшего изучения» (*Белинский,* I, 322). Серьезно относился Белинский и к изучению древних языков. В 1841 г. он писал Боткину: «Греческий и латинский языки должны быть краеугольным камнем всякого образования, фундаментом школ» (*Белинский,* XII, 52).

[4] В Петербург из Москвы Белинский уехал около 22 октября 1839 г.

[5] Т. Н. Грановский с 1836 до августа 1839 г. находился за границей. А. И. Герцен, арестованный 21 июля 1834 г., после пяти лет ссылки приехал в Москву 23 августа 1839 г.

[6] См. с. 253 наст. книги.

[7] Стр. 173. Кавелин имеет в виду X и XI строфы, которые Белинский процитировал в рецензии на поэму (см. *Белинский,* VII, 65-80).

[8] История женитьбы В. П. Боткина на А. А. Рульяр подробно изложена Герценом в «Былом и думах» (*Герцен,* IX, 255—262).

[9] М. Н. Катков, возвращаясь из-за границы, был в Петербурге в конце января 1843 г. Он возвратился уже иным человеком, противником передовых идей. Белинский так охарактеризовал свои встречи с ним в январе 1843 г. в письме к В. П. Боткину: «К<аткова> ты видел. Я тоже видел. Знатный субъект для психологических наблюдений. Это Хлестаков в немецком вкусе. Я теперь понял, отчего во время самого разгара моей мнимой к нему дружбы меня дико поражали его зеленые стеклянные глаза... Этот человек не изменился, а только стал самим собою. Теперь это — куча философского <…>: бойся наступить на нее — и замарает и завоняет. Мы все славно повели себя с ним — он было вошел на ходулях; но наша полная презрения холодность заставила его сойти с них» (*Белинский,* XII, 131).

[10] Стр. 175. Шуточная брошюра А. Я. Кульчицкого была издана в 1843 г. Белинский встретил ее появление одобрительной рецензией и не раз с похвалой отзывался о ней в письмах (*Белинский,* VII, 31—33; XII, 154, 157).

[11] Стр. 176. Трудно определить, какую именно рецензию Белинского имеет в виду Кавелин. В тот период, о котором он пишет, Белинский неоднократно выступал против псевдоисторических повестей и драм, против искажения исторической правды в специальных трудах (см., например, *Белинский,* VI, 577; V, 485; см. также «Воспоминания» Анненкова, с. 389 наст. книги и прим. 71 к ним).

Для Белинского в этот период наиболее важна и характерна была борьба со славянофильским стремлением видеть основное достоинство русской жизни в патриархальных обычаях и оторванности от Запада: «...национальность состоит не в лаптях, не в армяках, не в сарафанах, не в сивухе, не в бородах, не в курных и нечистых избах, не <в> безграмотности и невежестве, не в лихоимстве в судах, не в лени ума. Это не признаки даже и народности, а скорее наросты на ней...» — писал он в 1841 г. (*Белинский,* V, 127). Он яростно боролся против попыток представить «лапотную и сермяжную» жизнь народа как искони присущую ему, как следствие его особенностей. В пересказе же Кавелина рецензия Белинского имеет несколько иной характер. Видимо, он недостаточно точно передал ее содержание.

[12] Стр. 177. Этот разговор с Грановским происходил во время короткой остановки Белинского в Москве по пути с Кавказа в середине октября 1846 г. В этот период Белинский, продолжая и развивая свою критику капиталистического Запада, пришел к выводу, что будущее России не станет простым слепком с Европы. «Настало для России время развиваться самобытно, из самой себя, — писал он в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». — <...> То, что для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в которых все согласны <...>. Но это нисколько не должно отнимать у нас смелости и охоты заниматься решением таких вопросов, потому что, пока не решим мы их сами собою и для самих себя, нам не будет никакой пользы в том, что они решены в Европе... и требуют другого решения» (*Белинский,* X, 19, 32). Славянофильского в этих утверждениях не было решительно ничего, ибо Белинский отнюдь не стремился, подобно славянофилам, искать идеалы общественного устройства во временах «не то баснословного Гостомысла, не то царя Алексея Михайловича».

[13] Это утверждение Кавелина не соответствует действительности. Белинский отрицательно отзывался о польской шляхте из-за ее гонора и шовинизма (см., например, *Белинский,* VII, 63—64), но всегда с горячим сочувствием относился к освободительному польскому движению. Еще в университете он познакомился со студентами-поляками, организовавшими «тайное польское литературное общество», а после ареста одного из них, Ф. Заблоцкого, Белинского намеревались привлечь к дознанию. Со студенческих лет до конца жизни он с большим уважением и любовью говорил о деятелях польского освободительного движения. См., например, отзыв О Мерославском (*Белинский,* XII, 402).

Мицкевича Белинский называл «одним из величайших мировых поэтов» (*Белинский,* I, 363), а когда в период примирения с действительностью, в статье «Менцель, критик Гете» позволил себе бестактную выходку против него, то горько раскаивался в этом и писал В. П. Боткину: «Более всего печалит меня теперь выходка против Мицкевича в гадкой статье о Менцеле: как! отнимать у великого поэта священное право оплакивать падение того, что дороже ему всего в мире и в вечности — его родины, его отечества, и проклинать палачей его... И этого-то благородного и великого поэта назвал я печатно крикуном, поэтом рифмованных памфлет!» (*Белинский,* XI, 576).

[14] Вероятно, Кавелин имеет в виду статью М. П. Драгоманова «Восточная политика Германии и обрусение», помещенную в журнале «Вестник Европы», 1872, №№ 2—5.

[15] Этот спектакль состоялся 28 апреля 1843 г. Белинский был настолько покорен талантом Рубини, что 30 апреля еще раз слушал эту оперу (см. *Белинский,* XII, 158).

[16] Стр. 178. Мысль об издании альманаха возникла у Белинского в конце 1845 г. Негодуя на беспринципность Краевского, на его стремление «высосать из человека кровь и душу, потом бросить его за окно, как выжатый лимон», на слухи, которые тот распускал о своих благодеяниях, Белинский с возмущением писал Герцену: «Чтобы отделаться от этого стервеца, мне нужно иметь хоть 1000 р. серебром... К Пасхе я издаю толстый, огромный альманах» (*Белинский,* XII, 253, 254). Он обратился к ряду своих друзей с просьбой дать для публикации в этом проектировавшемся альманахе новые произведения, и ему удалось к весне 1846 г. собрать довольно значительное число рукописей. В апреле 1846 г. Белинский уехал в длительную поездку по югу России. К концу поездки стало известно о переходе «Современника» в руки Некрасова и Панаева. Поскольку Белинский до этого времени конкретных шагов к изданию альманаха еще не предпринял, Некрасов обратился к нему с просьбой передать собранные материалы в новый журнал (см. *Некрасов,* X, 52—54). Белинский согласился на это. В этой связи он так писал сам о себе: «...множество замечательных беллетристических произведений, особенно повестей, должно б было появиться в прошлом году в одном огромном сборнике, предполагавшемся к изданию. Но, по случаю «Современника», литератор, предпринимавший издание огромного сборника, счел за лучшее оставить свое предприятие и передать «Современнику» собранные им статьи» (*Белинский,* X, 45). Кроме статьи Кавелина, Белинский передал: «Обыкновенную историю» Гончарова, «Сороку-воровку» и «Доктора Крупова» Герцена и др.

[18] «Деревня» Григоровича была напечатана в журнале «Отечественные записки», 1846, № 12. Некрасову повесть действительно не понравилась, но не это заставило его возражать против публикации в «Современнике» положительного отзыва о ней. Он считал неуместной похвалу произведению, помещенному в конкурирующем журнале. См. об этом письмо Белинского В. П. Боткину от 29 января 1847 г. (*Белинский,* XII, 319) и *Григорович,* 101.

[19] Стр. 179. Это письмо Белинского не сохранилось. Вероятно, оно было написано 6 февраля 1847 г. (*Белинский,* XII, 324).

[20] Ответ Кавелина на письмо Белинского от 6 февраля и письмо Белинского от 18 февраля 1847 г. до нас не дошли. О содержании их можно судить по письму Белинского к Тургеневу от 19 февраля 1847 г.: «Кавелин пишет, что Боткин им *все* рассказал, что Н<екрасов> в их глазах тот же Кр<аевский>, а «Современник» то же, что «Отечественные записки», и потому он, К<авелин>, бу-

дет писать (для денег) и в том и другом журнале. Мало этого: выдумал он, что по 2 № «Современника» видно, что это журнал положительно подлый, и указал на две мои статьи, которые он считает принадлежащими Н<екрасо>ву... Все это глупо, и я отделал его как следует в письме на $4^1/_2$ больших почтовых листах. Но касательно главного пункта я мог только просить его, что, так как это дело ко мне ближе, чем к кому-нибудь, и я, так сказать, его хозяин, — чтобы он лучше захотел видеть меня простым сотрудником и работником «Современника», нежели без куска хлеба, и потому, не обращая внимания на П<анаева> и Н<екрасова>, думая о них как угодно, по-прежнему усердствовал бы к журналу, не подрывал бы его успеха и <не> ссорил бы меня с его хозяевами. Видите ли: я писал, значит, с тем, чтобы спасти журнал. Глупые обвинения мне легко отстранить...» (*Белинский,* XII, 334).

[21] В конце 1847 г. Белинский отправил Кавелину три письма. Первое, до нас не дошедшее, — от начала ноября (*Белинский,* XII, 434, 590), второе — 22 ноября (*там же,* 431—436) и 7 декабря (*там же,* 453—462). Вероятно, в данном случае Кавелин имел в виду первое, не сохранившееся, письмо от начала ноября.

[22] В письме В. П. Боткину Белинский писал: «Вероятно, ты уже получил XI книжку «Современника». Там повесть Григоровича, которая измучила меня — читая ее, я все думал, что присутствую при экзекуциях. Страшно!» (*Белинский,* XII, 421). В таких же выражениях писал он об «Антоне Горемыке» Кавелину (*там же,* 435—436).

[23] Стр. 180. В конце февраля 1848 г., после получения первых известий о французской революции, государственный секретарь барон М. А. Корф, представил докладную записку, в которой обвинял русскую журналистику, и в особенности «Отечественные записки» и «Современник», в том, что они «позволяли себе печатать бог знает что и проповедуемые ими, под разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященных формами, коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия» (М. К. Лемке. Очерки по истории русской цензуры. СПб., 1904, с. 193). В результате этого и других аналогичных доносов был создан специальный комитет для надзора над цензурой, замененный в апреле 1848 г. постоянным комитетом под председательством Д. П. Бутурлина.

[24] В связи с революционными событиями в Европе в конце сороковых годов III Отделение начало проявлять повышенный интерес к деятельности Белинского. Это к тому же усугубилось следующим: в феврале 1848 г. в III Отделение было доставлено анонимное письмо с предсказаниями будущей революции и «возмутительными» суждениями о Николае I. Чтобы определить автора

письма по почерку, III Отделению потребовались автографы лиц, подозревавшихся в его сочинении. Среди них оказался и Белинский. 20 февраля и 28 марта он получил от М. М. Попова два вызова в III Отделение и письменно ответил, что не может явиться, по болезни. Удостоверив, что почерк Белинского не схож с почерком автора анонимного письма, Попов доложил Дубельту: «Белинскому я уже отвечал, чтобы он не беспокоился и пожаловал к вашему превосходительству, когда дозволит его здоровье, хотя бы через месяц или через два» (М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1909, с. 190).

[25] Стр. 181. См. об этом в «Былом и думах» Герцена, с. 146 наст. книги.

[28] Стр. 182. Этот эпизод произошел не на ободе у М. М. Бакунина, а в Премухине, поместье А. М. Бакунина, летом 1836 г. Незадолго до отъезда Белинского из Премухина. Т. А. Бакунина сообщала братьям: «Особенно же он <А. М. Бакунин> сердит на Б<елинского>, который никогда не умеет себя сдержать. Два или три раза он забывался и говорил вещи чересчур сильные...» (*Корнилов,* 258). Об этом происшествии вспоминал Белинский спустя два года в письме к М. А. Бакунину (*Белинский,* XI, 319—320, 332).

[27] См. об этом в «Былом и думах» Герцена, с. 152 наст. книги.

[28] Стр. 183. «Отца Горио» Белинский не переводил. Относительно приведенной Кавелиным ошибки специально занимавшаяся изучением переводов Белинского В. С. Нечаева замечает: «В изученных нами переводах Белинского такая фраза не встретилась» (*Нечаева, II,* 450).

И. И. ПАНАЕВ

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛИНСКОМ

Иван Иванович Панаев (1812—1862) — журналист и литератор, принадлежал к числу самых близких друзей Белинского.

Еще в 1834 году, прочитав начало «Литературных мечтаний», он, по собственному выражению, «охотно бы тотчас поскакал в Москву познакомиться с автором». С этого времени он не пропускал статей Белинского, а Белинский со своей стороны следил за произведениями Панаева, появлявшимися в печати. Вскоре между ними завязалось заочное общение. А. В. Кольцов в один из своих приездов в Петербург (возможно, еще в 1836 г.) много и подробно рассказывал Панаеву о Белинском. В 1838 году в Петербурге был проездом К. С. Аксаков, тоже рассказывавший о своих московских друзьях. Панаев стал как бы заочным членом московского кружка.

В 1838 году между Белинским и Панаевым завязалась переписка, а в апреле 1839 года состоялась и первая встреча. Знакомство скоро перешло в тесную дружбу. Под свежим впечатлением от встреч Белинский писал Н. В. Станкевичу: «Тут приехал Панаев, которого не буду тебе ни описывать, ни хвалить, как абстрактное для тебя лицо, а скажу только, что это один из тех людей, которых, узнавши раз, не захочешь никогда расстаться...». (*Белинский,* XI, 399).

Пожалуй, во всем окружении Белинского в 1839—1848 годов не было человека, с которым он был бы столь же короток и дружен, как с И. И. Панаевым.

Хотя талант Панаева был невелик, его рассказы, очерки и фельетоны, регулярно появлявшиеся сначала в «Отечественных записках», а потом в «Современнике», были заметным явлением в литературной жизни сороковых годов. Он выступал в них последовательным сторонником натуральной школы. В некрологе Панаева, написанном, возможно, Чернышевским, говорилось: «Публике известно, какие тесные отношения связывали Панаева с Белинским и как последний любил в Панаеве надежного товарища, даровитого писателя и честного человека. Мы обращаем внимание на этот факт потому, что Панаев, горячо любивший и уважавший Белинского, сам любил припоминать о своих отношениях к нему, он гордился ими» (*Чернышевский,* XVI, 664).

В своих воспоминаниях Панаев продолжал начатую Герценом и Чернышевским борьбу за наследие Белинского. Необычайно точные (незначительные, большей частью хронологические, ошибки Панаев допускает только в тех случаях, когда пишет о событиях, непосредственным свидетелем которых он не был), написанные с огромной любовью и преклонением перед великим критиком, воспоминания Панаева имели большой успех. Это побудило его продолжить работу над мемуарами уже в более широких хронологических рамках. Но в центре и «Литературных воспоминаний» опять оказался образ Белинского.

«Воспоминание о Белинском» было впервые опубликовано в журнале «Современник», 1860, № 1, с. 335—376. Печатается по изд.: И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1950, с. 275—315.

[1] Стр. 185. Свое письмо Панаев отправил 29 марта 1838 г., видимо, с уезжавшим из Петербурга Кольцовым. Он писал: «Я обязан покойнику «Телескопу» знакомством с Вами, там в беседе с Вами я провел много приятных минут. Благодарю Вас за эти минуты. От доброго и умного А. В. Кольцова узнал я о переходе «Московского наблюдателя» в Ваши руки. Радуюсь за Москву, в кото-

рой будет журнал; еще более радуюсь, что Ваш всегда *правдивый* и *резкий голос,* давно замолкший, снова раздастся — а в эту минуту русской литературе он необходимее, чем когда-либо. Прошу Вас принять в круг Ваших знакомых и всегда считать человеком, совершенно преданным Вам, Ивана Панаева» (*БиК,* с. 195).

[2] Белинский до этого письма одобрительно отозвался в печати о трех произведениях Панаева: повестях «Она будет счастлива» и «Кошелек» и рассказе «Сумерки у камина» (*Белинский,* II, 230, 360, 387).

[3] Белинский намекает на Краевского, который в 1837 г. вел с ним переговоры об участии в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду». Два письма Краевского по этому поводу см. *БиК,* с. 91—96.

[4] Стр. 186. Слова Гамлета из второго действия «Гамлета» Шекспира в переводе Н. А. Полевого.

[5] Выход первых номеров «Московского наблюдателя» замедлился из-за типографских неувязок.

[6] В письме от 16 июля 1838 г., на которое отвечает Белинский. Панаев писал: «Ваше письмо, любезнейший Виссарион Григорьевич, совершенно уверило меня в том, что мы поняли друг друга... Я подумал, прочитав Вашу критическую элегию <имеются в виду «Литературные мечтания». — *А. К.*>: вот человек, который имеет все элементы для того, чтобы сделаться со временем *критиком,* в полном значении этого слова... Как бы я желал Вас видеть действующим в таком журнале, который бы имел *кредит* в публике и тысяч хоть до трех подписчиков, чтобы слово Ваше ударило молотом по медному лбу массы!» (*БиК,* с. 196).

[7] Стр. 187. См. о «Московском наблюдателе» прим. 16 к воспоминаниям П. В. Анненкова.

[8] Автор статьи — французский историк Жан-Жак Ампер. Статья появилась в журнале (т. XVII, шестой и восьмой номера, по счету Белинского), но в большинстве случаев имя Паулин не сопровождалось обозначением «святой», только кое-где осталось «с.» или «св.».

[9] Стр. 188. Некоторых перемен (разумеется, не считая объявления Белинского редактором) удалось добиться, но на судьбе журнала это не отразилось.

[10] «Вкусовводителями» назвал в своем письме Панаев критиков, которые «смешивают Бенедиктова с Пушкиным, а Гоголя — этого гиганта текущей литературной минуты, ставят наряду с <Н. Ф. Павловым>» (*БиК,* с. 196).

[11] Неточная цитата из басни «Музыканты» И. А. Крылова.

[12] В 1837 г. в Германии была издана книга Г. Кёнига «Literarische Bilder aus Russland» («Очерки русской литературы»). Автор

в основном опирался на устные свидетельства Н. А. Мельгунова, близкого по своим взглядам Шевыреву.

[13] Имеется в виду Н. В. Кукольник. В 1834 г. в «Литературных мечтаниях» Белинский дал резко отрицательный отзыв о его произведениях.

[14] И. И. Панаев критиковал злоупотребление философской терминологией в «Московском наблюдателе».

[15] И. И. Панаев познакомился с К. С. Аксаковым в Петербурге у Надеждина 11 июня 1838 г. О своих встречах с Панаевым в Петербурге Аксаков подробно писал родителям 20 июня 1838 г. (см. «Богословский вестник», 1915, т. III, сентябрь, с. 36—37).

[16] В первых двух номерах «Московского наблюдателя», вышедших под редакцией Белинского, были помещены статьи В. П. Боткина: «Концерт Леопольда фон Мейера в зале Петровского театра 7 марта» и «Оле-Буль, Брейтинг. Sing-Academie». Переводы его были помещены во втором апрельском номере 1838 г.

[17] Повесть П. Н. Кудрявцева «Одни сутки из жизни старого холостяка».

[18] Стр. 189. Роман А. П. Степанова «Тайна» вышел после смерти автора в пользу его наследников, поэтому Панаев просил Белинского не ругать его. Очень коротенькую рецензию Белинского на этот роман см. *Белинский,* II, 576.

[19] Панаев обещал прислать ряд своих и чужих произведений.

[20] П. А. Полевой незадолго до этого стал фактическим редактором «Сына отечества». Поначалу Белинский надеялся, что журнал будет одним из наиболее передовых, и даже сам предполагал сотрудничать в нем. Но очень быстро обнаружившееся ренегатство Полевого сделало это невозможным. В 1840 г. Белинский писал: «Сын отечества» во всеобщем презрении и позоре» (*Белинский,* XI, 505).

[21] В анонимной рецензии на ряд сборников второстепенных писателей, помещенной в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», 1838, № 21, были широко использованы мысли, высказанные Белинским за три года до этого в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя».

[22] Свое намерение Белинский выполнил в рецензии на «Альманах на 1838 год», где он сопоставил переводы Э. И. Губера и А. Н. Струговщикова, и в рецензии на десятый том «Современника» за 1838 г. (см. *Белинский,* II, 361, 503).

[23] Струговщиков прислал Белинскому перевод четырех стихотворений из «Римских элегий» Гете.

[24] Из произведений Бернета (псевдоним А. К. Жуковского) внимание Белинского привлекли поэма «Елена», рецензию на ко-

торую он поместил в «Московском наблюдателе», и ряд лирических стихотворений. Вскоре он изменил свое мнение об этом поэте.

[25] Какие именно статьи просил Белинский провести через петербургскую цензуру — неизвестно.

[26] Стр. 190. Весной 1839 г. Белинский в Петербурге не был. Он переехал туда в октябре 1839 г.

[27] Это недописанное письмо до нас не дошло. Настоящее письмо является ответом на письмо Панаева от 17 января 1839 г. (*БиК,* 201—203).

[28] Краевский, издававший в то время «Отечественные записки» и «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», согласился привлечь Белинского к сотрудничеству в этих журналах, но очень туманно сформулировал свои обязательства по отношению к критику, обещая ему работу, «какая у него случится» (*БиК,* 203).

[29] Стр. 191. Намерение Белинского остаться в Москве и продолжать работу было вызвано временно уладившимися отношениями с издателями журнала.

[30] Стр. 192. Стихотворения из тетради, украденной Н. Мартыновым, Сенковский напечатал в «Библиотеке для чтения». Об этом эпизоде см. *Белинский,* III, 125.

[31] В рецензии на альманах «Утренняя заря» («Отечественные записки», 1839, № 2) была дана высокая оценка произведениям этих писателей. Белинский в рецензии на этот же альманах подверг произведения Каменского и Гребенки резкой критике (см. *Белинский,* III, 59—69).

[32] Статья Э. И. Губера «О философии. Взгляд на развитие философии до схоластиков» была помещена в «Отечественных записках», 1839, № 1.

[33] Этой просьбы Белинского Панаев не выполнил.

[34] За три дня до этого письма Белинский заготовил, но не отправил Панаеву другое, где писал, что Н. В. Савельев сам вызвался поговорить со Смирдиным, Полевым, Гречем, Сенковским о возможности сотрудничества Белинского в их изданиях (см. *Белинский,* XI, 362).

[35] Стр. 195. Об этой размолвке, происшедшей на личной почве, и, в частности, о встречах с Боткиным и Катковым у Панаева Белинский подробно написал Н. В. Станкевичу (*Белинский,* XI, 391—405).

[36] В январе 1839 г. вышел первый номер реорганизованных Краевским «Отечественных записок». В статье «Русские журналы» Белинский так отозвался о первых номерах журнала: «Об «Отечественных записках» мы не будем много говорить, потому что это журнал новый, еще не успевший вполне себя выка-

зать и высказать, хотя и подавший о себе блестящие надежды в будущем. Сказать правду, мы не совсем довольны его критическим направлением, потому что *цвет* этого направления недостаточно ярок и определен». И так заключил статью: «Если, чего и должно ожидать, продолжение будет еще лучше начала, то при своих материальных средствах, при своих выгодных отношениях почти ко всем нашим пишущим знаменитостям «Отечественные записки», без всякого сомнения, не замедлят занять первого места в современной русской журналистике» (*Белинский,* III, 179, 192).

[37] Стр. 197. Решительный отказ Краевского относится к более раннему времени (*Панаев,* 125). О переговорах Панаева с Краевским в феврале 1839 г. см. выше, прим. 28.

[38] В «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя.

[39] Стр. 200. Серия статей Фишера «Die Literatur über Goethes Faust» («Литература о «Фаусте» Гете»), появившаяся в «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» в январе — марте 1839 г., произвела большое впечатление не только на Белинского, но и на Станкевича, который в письме к Грановскому тоже подчеркивал оригинальность разбора Фишером второй части «Фауста» *(Станкевич,* 484).

[40] Книгой Марбаха «Über moderne Literatur. In Briefen an eine Dame» («О новой литературе. В письмах к одной даме») особенно был увлечен Бакунин, который даже перевел часть книги. Ни перевод Бакунина, ни перевод Боткина в «Московском наблюдателе» не появились. Очевидно, именно один из них был запрещен цензурой (см.: А. В. Кольцов. Сочинения, т. 2. М., 1958, с. 49). Белинский еще за год до этого письма резко отозвался о книге Марбаха (*Белинский,* XI, 314).

[41] Как сообщает И. Г. Ямпольский, такой статьи в «Hailiche Jahrbücher» за 1838—1839 гг. «обнаружить не удалось» (*Панаев,* 428). Впоследствии свое отрицательное отношение к Данте Белинский объяснял скверными переводами и неудачными критическими статьями о нем (*Белинский,* V, 270).

[42] Стр. 201. Письмо Краевского от 17 июля 1839 г. (см. *БиК,* 96—97) Белинский счел «интересным», видимо, потому, что оно свидетельствовало о резком изменении отношения Краевского к предложению Панаева пригласить Белинского.

[43] Статьи для альманаха В. А. Владиславлева «Утренняя заря» Белинский не написал. О «Каменном госте» он говорил в рецензии на сборник «Сто русских литераторов», где впервые появилось это произведение Пушкина (*Белинский,* III, 99).

[44] В «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» от 29 июля 1839 г., № 4, была перепечатана часть статьи Бе-

линского «Русские журналы», в которой он характеризовал журнал Полевого «Сын отечества», с добавлением нескольких страниц из других его рецензий. Отрывки были соединены Краевским в статью и появились под заглавием «Беспристрастное суждение «Московского наблюдателя» о «Сыне отечества». См. также «Литературные воспоминания» И. И. Панаева, с. 255 наст. книги.

[45] Стр. 202. См. «Воспоминания» В. А. Панаева, с. 156 наст. книги.

[46] Свидание, о котором рассказывает Панаев, и примирение с Герценом произошло позже, летом 1840 г., когда Белинский уже не жил в доме Панаевых. См. также «Былое и думы» Герцена, с. 146 наст. книги.

[47] Стр. 203. Первые впечатления Белинского от Петербурга были не столь радужными, как вспоминает Панаев. «Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в *человеке* все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное, — писал он Боткину. — Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина: если будет страдать в нем — человек; если Питер полюбится ему — будет или богат, или действительным статским советником» (*Белинский,* XI, 418).

[48] Точно так же об этом эпизоде, происшедшем в ноябре 1839 г., писал Белинский Боткину (*Белинский,* XI, 420).

[49] Стр. 205. См. прим. 10 к воспоминаниям П. В. Анненкова.

[50] Повесть «Мельхиор», напечатанная в «Отечественных записках», 1842, № 12, принадлежит Жорж Санд.

[51] Стр. 206. Панаев имеет в виду салон В. Ф. Одоевского.

[52] Стр. 209. Имя Белинского стало хорошо известно русской читающей публике еще по его работе в «Телескопе». В этом журнале с его полной подписью появился ряд крупнейших статей. В «Отечественных записках» первая статья с подписью Белинского — «Менцель, критик Гете».

[53] Стр. 214. Речь идет о статье «Тарантас, Путевые впечатления. Сочинения графа В. А. Соллогуба», помещенной без подписи автора в «Отечественных записках», 1845, № 6. Делая вид, что он полностью согласен с автором в характеристике его героя, Белинский создал в своей рецензии-памфлете сатирический образ славянофила Ивана Васильевича.

[54] Стр. 215. С Гоголем Панаев познакомился не летом, а в октябре 1839 г. в Москве у Аксаковых (см. *ЛН,* 58, 570). Обед у Аксаковых, после которого Гоголь читал главу из «Мертвых душ», состоялся 14 октября 1839 г. (см. *там же,* 566).

[55] Стр. 216. Эта встреча у А. А. Комарова состоялась осенью 1848 г., когда Гоголь в течение месяца находился в Петербурге. Под «Письмами» подразумеваются «Выбранные места из переписки с

друзьями». Известен еще более резкий и определенный отзыв Гоголя об этом своем произведении. Он однажды так сказал Тургеневу и Щепкину: «Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». Я бы сжег ее» («Гоголь в воспоминаниях современников». М., 1952, с. 530).

[56] Стр. 218. В доме Лопатина Белинский жил с осени 1842 г. по апрель 1846 г., но не в одной и той же квартире, а в разных.

[57] Стр. 219. Белинский принял твердое решение оставить «Отечественные записки» и объявил об этом Краевскому еще за два месяца до своего отъезда в Москву, куда он приехал 28 апреля 1846 г. Из Москвы вместе с М. С. Щепкиным он выехал не в начале июня, а 16 мая.

[58] Стр. 221. Молодой человек — К. П. Барсов.

[59] Белинский возвратился в Петербург в середине октября 1846 г. О покупке «Современника» он узнал еще в сентябре, до возвращения в Петербург, из письма Некрасова.

[60] Стр. 222. Панаев имеет в виду статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года» и «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя». Цензура не давала Белинскому возможности полностью высказать свое отношение к книге Гоголя. «Статья о гнусной книге Гоголя, — писал он Боткину, — могла бы выйти замечательно хорошею, если бы я в ней мог зажмурив глаза отдаться моему негодованию и бешенству» (*Белинский,* XII, 340).

[61] Белинский вернулся в Петербург на месяц позже, чем считает Панаев, — в конце сентября 1847 г.

[62] Стр. 223. Эти два письма Белинский получил от М. М. Попова (см. прим. 24 к воспоминаниям К. Д. Кавелина).

[63] Стр. 224. В заметке «По поводу похорон Н. А. Добролюбова» Панаев вспоминал о похоронах Белинского: «С лишком тринадцать лет назад тому, 29 мая 1848 г., по Лиговке, к Волкову кладбищу тянулась бедная и печальная процессия, не обращавшая на себя особенного внимания встречных. За гробом шло человек двадцать приятелей умершего, а за ними, как это обыкновенно водится на всякого рода похоронах, тащились две извозчичьи четвероместные колымаги, запряженные клячами... Это были литературные похороны, не почтенные, впрочем, ни одной литературной и ученой знаменитостью. Даже ни одна редакция журнала (за исключением редакции «Отечественных записок» и только что возникшего «Современника») не сочла необходимым отдать последний долг своему собрату, который честно всю жизнь отстаивал независимость слова и мысли, всю жизнь энергически боролся с невежеством и

ложью... Из числа двадцати, провожавших этот гроб, собственно литераторов было, может быть, не более пяти-шести человек, — остальные принадлежали к людям простым, не пользовавшимся никакою известностию, но близкими покойному... Ни одного постороннего человека добровольно не было на этих похоронах, только два или три какие-то неизвестные появлялись и на пути к кладбищу, и в церкви при отпевании, и на могиле при опускании гроба. Чего хотели они, чем могли возбудить их любопытство эти бедные похороны?..

Когда покойника отпели, друзья снесли гроб его на своих плечах до могилы, которая уже до половины была наполнена водою, опустили гроб в воду, бросили в него, по обычаю, горсть земли и разошлись молча, не произнеся ни единого слова над этим дорогим для них гробом» («Современник», 1861, № 11, с. 69—70).

И. И. ПАНАЕВ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Над «Литературными воспоминаниями» И. И. Панаев работал в 1860—1861 годах. Внезапная смерть помешала ему завершить их. Печатались воспоминания по мере создания в «Современнике», 1861, № 1, 2, 9, 10, 11. Приноравливаясь к требованиям цензуры, Панаев умышленно многое зашифровал или просто исключил из печатного текста. В результате большой и тщательной текстологической работы И. Г. Ямпольскому удалось восстановить многие купюры; расшифровать имена, как правило, обозначавшиеся автором буквами, и т. п. В наст. изд. отрывки из «Литературных воспоминаний» печатаются по тексту: И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1950.

[1] Стр. 225. См. прим. 17 к воспоминаниям П. В. Анненкова.

[2] «Литературные мечтания» печатались в «Молве» 1834 г., с сентября по декабрь.

[3] Стр. 227. Панаев цитирует статью Белинского с небольшими неточностями по изд.: «Сочинения В. Белинского», 12 частей, изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина. М., 1859—1862. Ср. *Белинский,* I, 42, 55.

[4] В «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», 1831, № 79, было помещено письмо Пушкина к издателю журнала. Пушкин писал: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей

нынешней литературе, что я доселе не образумился» (*Пушкин,* XI, 316).

[5] См. «Воспоминание о Белинском» И. С. Тургенева (с. 484 наст. изд.) и прим. 6 к ним.

[6] Стр. 228. Кольцов впервые был в Петербурге в январе — апреле 1836 г. Очевидно, именно в этот свой приезд он и встретился с Панаевым. Непосредственно перед поездкой в Петербург он был в Москве. Повесть Панаева «Она будет счастлива» не была еще напечатана (она появилась в журнале «Телескоп», 1836, № 7), но, очевидно, уже находилась в редакции, где о ней и мог слышать Кольцов.

[7] Из заметки «От Белинского», помещенной в «Молве», 1836, № 12 (ценз. разр. 13 августа). Повесть Панаева приписал Белинскому А. Ф. Воейков в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», 1836, № 59—60, 22 июля.

[8] Стр. 229. В следующий свой приезд в Петербург в феврале — марте 1838 г. Кольцов не мог передать Панаеву письмо Белинского. Оно было послано уже после возвращения Кольцова в Москву 26 апреля 1838 г. (см. его на с. 185—186).

[9] Стр. 231. См. прим. 36 к «Воспоминанию о Белинском» И. И. Панаева.

[10] Этот промах в переводе «Рассказов старинного полицейского агента» (doyen d'âge — старший годами — было переведено как обозначение должности — дуайен доуг) Булгарин обыграл в одном из своих фельетонов («Северная пчела», 1839, № 45, 27 февраля), а впоследствии даже начал подписывать статьи «Дойен доуге Северной пчелы Ф. Б.» (см. «Северная пчела», 1839, № 49, 3 марта).

[11] Стр. 232. Краевский в противовес Панаеву утверждал, что Белинский у него с Лермонтовым не встречался (см. подробнее *ЛН,* 45—46, 370).

[12] Стр. 234. Делясь своими впечатлениями от свидания с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе, Белинский писал Боткину 16 апреля 1840 г.: «Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше В<альтер> Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так думал и еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина»... Я с ним спорил и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого» (*Белинский,* XI, 508—509).

[13] Стр. 235, Панаев имеет в виду статью Белинского «Очерки Бородинского сражения», в которой цитировались эти строки (*Белинский,* III, 334).

[14] Стр. 230. См. с. 192—194 наст. изд.

[15] Панаев мог встретиться с М. А. Бакуниным в Москве только в очень кратковременный приезд последнего в середине мая 1839 г. Его рассказ о взаимоотношениях Бакунина с Белинским касается более раннего времени, так как в мае 1839 г. их отношения были очень натянутыми. Бакунин но приезде послал Белинскому оскорбительную записку, на которую последний ответил письмом (см. *Белинский,* XI, 367—368). Встреча, происшедшая после этой переписки, хотя и закончилась, по словам Белинского, «как нельзя лучше», не восстановила их дружеских отношений.

[16] Стр. 237. Неточная цитата из книги Анненкова «Николай Владимирович Станкевич». М., 1857, с. 73—74.

[17] Стр. 238. Цитата из письма Станкевича к Бакунину и Белинскому от 3 ноября 1836 г. Курсив Панаева.

[18] Стр. 239. Об И. И. Панаеве (отце мемуариста) и А. И. Панаеве (его дяде) С. Т. Аксаков пишет в главах «Гимназия. Период второй» и «Университет» своей книги «Воспоминания».

[19] Неточно: С. Т. Аксакову в 1839 г. было 47 лет.

[20] Стентор — имя одного из героев Гомера, бойца с необычайно могучим голосом.

[21] См. прим. 15 к «Воспоминанию о Белинском» И. И. Панаева.

[22] Стр. 240. «Москвитянин» в то время еще не выходил. Первый номер его появился в 1841 г.

[23] Стр. 243. Панаев, опираясь в своем описании расхождений между кружком Герцена и Белинского, как и в некоторых других случаях, на «Былое и думы», смешал два разных периода. В 1834 г, в кружке Станкевича Гегелем еще не занимались, увлечение им началось только в 1837 г. Точно так же статьи Белинского никак не могли побудить Герцена познакомиться с ним, так как «Литературные мечтания» — первая крупная статья Белинского — начали печататься лишь спустя два месяца после ареста Герцена.

[24] Стр. 244. То есть в виде персонажа из оперы Д. Мейербера «Роберт-дьявол».

[25] Стр. 245. «Юный приятель» — М. Н. Катков. Белинский действительно одно время был увлечен А. М. Щепкиной и намеревался жениться на ней. Об этом увлечении и возникших из-за него осложнениях и ссоре с Катковым Белинский подробно писал Станкевичу (*Белинский,* XI, 391—394, 398—400).

[26] Стр. 247. См. прим. 54 к «Воспоминанию о Белинском» И. И. Панаева.

[27] Стр. 248. Это утверждение Панаева не согласуется со сло-

вами К. С. Аксакова в его письме к братьям от 24—25 октября 1839 г.: «Белинский, которого прошу вас встретить ласково, видел его <Гоголя> у нас два раза и прошедшую субботу. Какой день был это для нас! Гоголь у нас обедал и просидел до первого часу. Он был окружен людьми, его искренне любящими и понимающими его великий талант. Тут сидели: я, Дм. <М.> Щепкин, М. С. <Щепкин>, <И. И.> Панаев, Белинский...» (*ЛН,* 58, 570).

В Петербурге, куда Гоголь уехал спустя несколько дней после Белинского и где пробыл полтора месяца, они встречались несколько раз, в частности у В. Ф. Одоевского (*Белинский,* XI, 420, 435—436, и *ЛН*, 56, 135).

[28] Стр. 249. Это представление «Ревизора» состоялось 17 октября 1839 г.

[29] Стр. 250. Неточно приведены слова из письма Белинского от 26 апреля 1838 г. (см. с. 186 наст. изд.).

[30] Издание «Московского наблюдателя» прекратилось на четвертом, а не на пятом номере за 1839 г. В остальном Панаев очень точно излагает причины этого (ср. *Белинский,* IV, 137; XI, 260, 399).

[31] Стр. 252. В период «примирения с действительностью» Белинский, напротив, особенно высоко оценивал творчество Пушкина. Отказываясь от своих былых утверждения, что его «талант погас», «он умер или, может быть, только обмер на время» (*Белинский,* I, 74, 73), он писал в «Литературной хронике» о произведениях Пушкина, опубликованных посмертно в «Современнике»: «...эти посмертные произведения свидетельствуют о новом, просветленном периоде художественной деятельности великого поэта России, об эпохе высшего и мужественнейшего развития его гениального дарования...» (*Белинский,* II, 347). Перемену и углубление понимания творчества Пушкина Белинский считал одним из важнейших достижений своей критической мысли в эти годы. «Больше всего дает мне счастия и внутренней жизни расширение моей способности воприемлемости изящного. Пушкин предстал мне в новом свете, как один из мировых исполинов искусства, как Гомер, Шекспир и Гете», — писал он в апреле 1839 г. Н. В. Станкевичу (*Белинский,* XI, 366—367). В таких же выражениях писал он в это же время о Пушкине и самому Панаеву (см. с. 201 наст. изд.). К творчеству И. П. Клюшникова Белинский относился хотя и сочувственно, но без той восторженности, которая была свойственна членам его кружка и которую приписал критику Панаев. Позже Белинский очень резко осудил свой былой интерес к стихотворениям Клюшникова (см. *Белинский,* XII, 129).

[32] Стр. 255. См. прим. 44 к «Воспоминанию о Белинском» И. И. Панаева.

[33] Статья Каткова «Песни русского народа, изданные И. Сахаровым», была напечатана в «Отечественных записках», 1839, № 6, 7.

[34] Стр. 256. Попытка Краевского получить от Гоголя статью для «Отечественных записок» успехом не увенчалась.

[35] «Бородинская годовщина В. Жуковского. Письмо из Бородина от безрукого к безногому инвалиду». Статья появилась в № 10 «Отечественных записок» за 1839 г. Рукопись статьи не сохранилась, поэтому характер цензурных изъятий из журнального текста документально неизвестен.

[36] Краевский дополнил рецензию Белинского на «Собрание рецептов парижских городских больниц» Ф. С. Ратье некоторыми деталями, касающимися специально медицинских вопросов.

[37] В статье «Предостерегательное известие для подписчиков на русские журналы 1840 года» («Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1839, т. II, № 14, 7 октября), подписанной «Маркиз фитабуки», под видом «поправок» к статье «Северной пчелы» (№ 219), направленной против «Отечественных записок», демонстрировались низкие приемы, к которым прибегал Булгарин, стремившийся ошельмовать передовые журналы.

[38] Стр. 257. Рецензия Каткова «Стихотворения Алексея Леонова» была напечатана в «Отечественных записках», 1839, № 9.

[39] Ссора с Боткиным и Катковым, возникшая из-за пустячных причин (сам Белинский писал о ней как о «трагикомедии с водевильными куплетами» — см. *Белинский,* XI, 394), прекратилась незадолго до возвращения Панаева из Казанской губернии.

[40] Стр. 258. Панаев запамятовал: статью «Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе). Сочинение Ф. Глинки» Белинский писал не в Москве, а в Петербурге, в ноябре 1839 г., где Панаев и слышал ее чтение.

[41] Стр. 260. Перифраз строки из «Медного всадника» Пушкина.

[42] Стр. 261. М. А. Бакунин уехал за границу 29 июня 1840 г. М. Н. Катков — 19 октября того же года. В дом Лопатина Белинский переехал осенью 1842 г. Впоследствии он занял квартиру, которую до смерти своей жены (а не после ее смерти, как сообщает Панаев) снимал Краевский.

[43] Стр. 262. В статье «Менцель, критик Гете» Белинский писал: «Г-жа д'Юдеван, или известный, но отнюдь не славный Жорж Санд, пишет целый ряд романов, один другого нелепее и возмутительнее, чтобы приложить к практике идеи сен-симонизма об обществе» (*Белинский,* III, 398). От этого отрицательного отношения к Жорж Санд Белинский вскоре решительно отказался. Он писал В. П. Боткину в июне 1841 г., что во Франции «явилась вдохновенная про-

рочица, энергический адвокат прав женщин — Жорж Санд» (*Белинский,* XII, 54).

[44] P.-I.-B. Buchez et R.-C. Roux: «Histoire parlementaire de la révolution française ou journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815», vol. 1—40. Paris, 1834—1838.

[45] Стр. 265. Уехав в Германию, М. А. Бакунин 4 сентября 1840 г. отправил Белинскому не дошедшее до нас письмо. Получив его, Белинский писал Н. А. Бакунину: «Он обвиняет себя в прошедшем, говорит, что дорого дал бы, чтобы переделать его, что я был прав, называя его сухим диалектиком, ибо он в самом деле резонерствовал там, где надо было чувствовать и пр. Но... это-то письмо, именно потому, что оно искренне и добросовестно, и показало мне, что мы разошлись навсегда и что прошедшего уже не воротить... Я ему не отвечал и не буду отвечать» (*Белинский,* XII, 37). Кратковременное улучшение их отношений наступило только в конце 1842 г., когда до России стали доходить слухи о. сближении М. А. Бакунина с редакцией левогегельянского журнала «Deutsche Jahrbücher». Вскоре после того, как Бакунин напечатал в этом журнале статью «Реакция в Германии», революционные выводы которой произвели такое большое впечатление на Герцена (*Герцен,* II, 256—257), Белинский послал Бакунину не дошедшее до нас дружеское письмо, но это сближение было недолгим. Их парижские встречи 1847 г. окончательно подтвердили различия их воззрений. Вспоминая о своих парижских спорах с Бакуниным, Белинский иронически именует его «верующий друг мой», говорит, что он родился и умрет «мистиком, идеалистом, романтиком». Основанием для этого служили внеисторические суждения Бакунина о путях развития России, его социальный романтизм, представление, что «сам народ должен все для себя сделать», суждения о буржуазии только как о «зле», что «только без нее все пойдет хорошо» (*Белинский,* XII, 449, 452, 468).

[46] Стр. 268. Панаев познакомился с Некрасовым в 1839 г. у М. А. Гамазова. Свой первый стихотворный сборник «Мечты и звуки» Некрасов выпустил в следующем, 1840 г. Белинский встретил появление этого сборника отрицательной рецензией (*Белинский,* IV, 118—119). Личное знакомство Белинского с Некрасовым состоялось, видимо, в 1841 г.

[47] Стр. 269. Белинский сообщил Герцену в феврале 1846 г.: «Ты прав, что пьеса Некрасова «В дороге» превосходна; он написал и еще несколько таких же и напишет их еще больше...» (*Белинский,* XII, 264). Одновременно с этим письмом в рецензии на «Петербургский сборник» он так же высоко оценил стихотворения Некрасова, напечатанные в нем, особенно выделив «В дороге» (*Белинский,* IX, 573—575).

[48] Стр. 269. «Штука полотна» была напечатана в юмористическом альманахе «Первое апреля», СПб., 1846. Д. В. Григорович в «Литературных воспоминаниях», поправляя Панаева, писал: «Первое апреля» доставило мне случай познакомиться с Тургеневым. И. И. Панаев в своих воспоминаниях ошибочно упоминает о нашем знакомстве по этому поводу: ему весьма легко было ошибиться; лет за пятнадцать до того, как он думал писать свои воспоминания, я рассказал ему о моей забавной встрече с Тургеневым... Я шел по Невскому с Некрасовым; нас догнал высокий господин смеющегося вида и тотчас же начал трунить над изданием «Первого апреля», особенно подымая на смех рассказ «Штука полотна». Некрасов указал на меня как на сочинителя рассказа. Тургенев удивленно взглянул на меня, рассеянно пожал мне руку и продолжал смеяться над книжкой. С Панаевым я познакомился позже, когда он уже жил с Некрасовым и оба готовились издавать «Современник» (*Григорович,* 82).

[49] С Тургеневым Панаев познакомился в 1843 г.

[50] Стр. 271. Это неверно. Тургенев, встретивший Белинского в Берлине, провел с ним около двух месяцев. См. подробнее и точнее в воспоминаниях Анненкова, с. 436—438 наст. изд.

[51] Стр. 272. С князем П. Д. Козловским Белинский познакомился еще в Москве и, будучи преподавателем в Межевом институте, даже жил у него на квартире.

[52] Стр. 273. «Литературные воспоминания» Панаева остались неоконченными. В имеющемся тексте Панаев не привел письма Белинского. Поэтому невозможно установить, какое именно письмо он имел в виду.

[53] Стр. 275. Открыто восстал против Краевского Белинский в начале 1846 г. См. прим. 57 к «Воспоминанию о Белинском» И. И. Панаева.

[54] Стр. 276. А. И. Михайловский-Данилевский.

[55] Стр. 278. Характеристика, данная Панаевым А. П. Башуцкому, не очень точна. Его произведения, при всей их заурядности, отмечены определенными демократическими тенденциями. Белинский посвятил несколько сочувственных рецензий издававшейся Башуцким в 1841—1842 гг. серии иллюстрированных очерков «Наши, списанные с натуры русскими».

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Авдотья Яковлевна Панаева (1819—1893) работала над своими воспоминаниями на склоне лет, в конце восьмидесятых годов.

Она могла рассказать о многом. Почти четверть века ей дове-

лось постоянно видеть в своем доме крупнейших литераторов России. Литературные споры, изменения в редакциях журналов, все перипетии литературной борьбы происходили у нее на глазах. И всегда ее сочувствие было на стороне революционеров-демократов, сначала Белинского, потом Некрасова, Добролюбова и Чернышевского. Когда вернувшийся из ссылки Чернышевский узнал, что Панаева работает над воспоминаниями, он писал ей: «Мой сын говорил, что Вы пишете Ваши воспоминания. Вы исполняете этим обязанность относительно русской публики, развитию честных понятий в которой так много содействовало Ваше влияние на русскую литературу» (*Чернышевский,* XV, 757).

К тому времени, когда А. Я. Панаева начала писать воспоминания, появилось уже много различных трудов и мемуаров, посвященных эпохе, о которой она вспоминала, и, в частности, Белинскому. Но она не стремилась перепроверить себя. А память сильно ее подвела: многое забылось, иногда два различных события слились в одно, даже фамилии знакомых зачастую вспоминались ею неточно. Между тем обычно убийственная для мемуаров фактическая недостоверность не уничтожила ценности воспоминаний Панаевой.

Память сберегла нечто большее, чем факты и даты, — живой облик современников. Писательский талант позволил ей воссоздать картину жизни ее героев. Конечно, речи, которые она приводит, не могли сохраниться в ее памяти с абсолютной точностью, но высокий нравственный облик великих деятелей прошлого передан ею, бесспорно, верно. Интересны воспоминания Панаевой и еще одной своей чертой: уделяя немало страниц бытовым «мелочам», на первый взгляд даже не слишком значительным, она тем самым сумела показать неповторимые особенности человеческого облика своих героев, без которых наше представление о них было бы неполным.

«Воспоминания» А. Я. Панаевой впервые были опубликованы в журнале «Исторический вестник», 1889, № 1—11. В наст. изд. печатаются отрывки из них по изд.: А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. М., «Художественная литература», 1972.

[1] Стр. 283. В дом Лопатина Белинский переехал осенью 1842 г. Перемена в отношении критика к творчеству Жорж Санд относится к более раннему времени (см. «Из «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева, с. 262 наст. книги).

[2] Стр. 285. Первые петербургские встречи Белинского с И. С. Аксаковым относятся к зиме 1839—1840 г. (*ЛН,* 58, 570). Однако более тесные отношения между ними установились к лету 1840 г. (*Белинский,* XI, 534, 546).

[3] О времени знакомства Белинского и Панаева с Некрасовым см. прим. 46 к «Литературным воспоминаниям» И. И. Панаева. Чтение «Петербургских углов» не могло состояться в 1842 г., так как они были написаны Некрасовым только год спустя, в 1843 г.

[4] Стр. 288. История знакомства Белинского с М. В. Орловой изложена А. Я. Панаевой очень неточно. См. воспоминания А. В. Орловой и прим. к ним (с. 564—566 и 693—694 наст. книги). Впрочем, Белинский сам мог скрыть от Панаевой, что еще в январе 1842 г. он возобновил давнее знакомство со своей будущей женой.

[5] Лажечников был в Петербурге в ноябре 1842 г. (*БиК,* 184). В Москву же Белинский ездил в 1843 г. и пробыл там не неделю, а около трех месяцев: июнь, июль, август.

[6] Стр. 290. Венчание состоялось 12 ноября 1843 г. Свидетелями были близкие знакомые Белинского: П. В. Вержбицкий, А. А. Комаров, М. А. Языков, Н. Н. Тютчев, А. Я. Кульчицкий.

[7] Стр. 291. Дочь Белинского, Ольга, родилась 13 июня 1845 г.

[8] Стр. 293. Летом 1844 г. Белинский жил не в Петербурге, а в Лесном, на даче, о которой сама Панаева говорила выше. Парголово, где жил Тургенев, расположено недалеко от Лесного (см. также воспоминания Тургенева, с. 479—480, и А. В. Орловой, с. 556—557 наст. книги).

[9] Стр. 298. Из «Современной песни» Дениса Давыдова.

[10] За границей Панаевы пробыли с сентября 1844 по май 1845 г.

[11] Стр. 300. Работа над подготовкой «Петербургского сборника» началась еще до отъезда Панаевых в Москву, в мае 1845 г.

[12] Стр. 302. См. «Воспоминание о Белинском» И. И. Панаева, с. 218—219 наст. книги. У Панаевых Достоевский был впервые 15 ноября 1845 г.

[13] Стр. 303. Д. В. Григорович.

[14] Стр. 304. Хотя Панаева весьма необъективно относилась к Тургеневу, в данном случае ее рассказ об отношении Тургенева к Достоевскому подтверждается рядом других свидетельств: в частности, А. В. Орловой (см. с. 569 наст. книги).

[15] Стр. 306. Об этом неосуществленном альманахе см. подробнее в воспоминаниях К. Д. Кавелина (с. 178 наст. книги) и в прим. 16 к ним.

[16] Стр. 310. Панаева в своем рассказе о покупке «Современника» и участии в этом Белинского допустила целый ряд ошибок. Прежде всего поездка Белинского на юг с М. С. Щепкиным, который передал свое приглашение еще в феврале через Герцена, была гораздо продолжительнее, чем считает Панаева: Белинский выехал из Москвы 16 мая, а вернулся в середине октября 1846 г. Во время встречи в имении Г. М. Толстого Некрасовым и Панаевым было решено только издавать журнал. Переговоры об аренде вел, уехав-

ший в июле 1846 г. в Петербург, Некрасов. Первоначально он пытался арендовать журнал «Сын отечества», но неудачно (см. *Некрасов,* XII, 14). Затем Некрасову удалось договориться с издателем «Современника» П. А. Плетневым об аренде журнала, и в конце сентября он известил Белинского об этом письмом. Никакого письма Панаеву Белинский не посылал, оно сочинено мемуаристкой. Из всех перипетий, связанных с покупкой «Современника», после возвращения Белинского в Петербург произошло только подписание нотариального договора об аренде журнала.

[17] Стр. 311. Москвичи начали присылать свои рукописи Белинскому еще до его отъезда из Петербурга на юг. В феврале 1846 г. Герцен прислал «Сороку-воровку», статью С. М. Соловьева и начало статьи Кавелина. Задерживали обещанные произведения петербуржцы — Достоевский, Тургенев, Панаев.

[18] Стр. 312. Кроме того, Плетнев получал дополнительные суммы в зависимости от числа подписчиков на журнал.

[19] Стр. 317. В январе 1847 г. Герцен уехал за границу и в этом году в Петербурге не был. Перед отъездом он пробыл там с 4 по 14 октября 1846 г., но встретиться с Белинским в эти дни не мог, поскольку тот к 14 октября еще не вернулся из своей поездки на юг России.

[20] Стр. 319. Белинский пробыл за границей с 5 мая по 24 сентября 1847 г.

[21] Стр. 320. История запрещения «Иллюстрированного альманаха» в действительности такова: после того как альманах был дозволен цензором к печати, редакция «Современника» вынуждена была направить его еще в Бутурлинский комитет. Несмотря на то что рассматривавший его член комитета И. И. Дегай не обнаружил в нем ничего противозаконного, альманах был запрещен к распространению.

[22] Стр. 321. В действительности подписка на «Современник» в 1849 г. упала на шестьсот человек (2400 подписчиков в 1849 г. против 3000 в 1848 г.).

П. В. АННЕНКОВ

ИЗ «ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

1838—1848

Павел Васильевич Анненков (1812—1887) познакомился с Белинским, как пишет сам (см. с. 324 наст. книги), осенью 1839 года, то есть вскоре по переезде Белинского в Петербург.

Белинский довольно быстро сблизился с Анненковым, которого в письме к В. П. Боткину от 13 июня 1840 года назвал своим «доб-

рым приятелем» и «бесценным человеком» (*Белинский,* XI, 530). В типе «петербуржца», к какому Белинский относил и Анненкова, его привлекал трезвый, «дельный» взгляд на вещи. «Это один из самых счастливейших людей, каких я встречал в жизни, — говорил про него <Анненкова> Белинский. — Здоровая, цельная натура, не испорченная этой поганой рефлексией, которая была развита в нашем московском кружке до болезненности» (см. «Литературные воспоминания» И. И. Панаева, с. 271 наст. книги). Но сам Белинский был лишен столь характерного для Анненкова «уменья отыскивать себе наслаждение и удовлетворение во всем — и в природе, и в искусстве, и даже во всех мелочах жизни» (*там же*). 10—11 декабря. 1840 года Белинский писал Боткину о некоторых из своих новых петербургских знакомых, в том числе Анненкове: «Все эти люди не истекали кровью при виде гнусной действительности или созерцая свое ничтожество» (*Белинский,* XI, 580).

Уехав осенью 1840 года из России, Анненков посылает в «Отечественные записки» «Письма из-за границы», в которых талантливо рассказывает о своем путешествии, о впечатлениях образованного, но довольно поверхностного туриста, интересующегося больше всего театральной и литературной жизнью Европы.

Присоединившись по возвращении в ноябре 1843 года к кружку Белинского, Анненков был вовлечен в идейную борьбу, о которой подробно повествует в «Замечательном десятилетии». Он входит во все интересы кружка, стоявшего в центре умственной жизни России и в то же время напряженно следившего за передовыми идеями, за революционными и социалистическими движениями в Европе.

Когда в январе 1846 года Анненков вновь уезжает за границу, Белинский пишет Герцену: «Анненков уехал 8 числа и увез с собою мои последние радости, так что я теперь живу вовсе без радостей» (*Белинский,* XII, 257).

Тесное общение с Белинским обогатило Анненкова. В Европе его интересует теперь в первую очередь общественное и политическое движение. Он знакомится с Марксом, Энгельсом и другими революционными деятелями; переписывается с Марксом, по поводу «Философии нищеты» Прудона, о важнейших проблемах социализма. «Парижские письма» Анненкова, печатавшиеся в 1847 году в «Современнике», значительно отличаются от его же «Писем из-за границы». Анненков информирует в них русских читателей о различных течениях французской общественной мысли. Он, в частности, анализирует «положительную» систему Конта, «гуманитарную» — Пьера Леру, «католическо-демократическую» — Бюше и приходит к выводу, что эти учения изжили себя и заменяются по-

литико-экономичеекими теориями, к которым он относит и социалистические учения, и «философию» Прудона.

Анненков резко отзывается о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», очевидно соглашаясь в ее оценке с Белинским (*Белинский,* XII, 340), и летом 1847 года становится свидетелем создания «Письма к Гоголю». Позднее, в мемуарном отрывке «Две зимы в провинции и деревне», он писал: «Ф. Достоевский попал на пять лет в арестантские роты за распространение письма Белинского к Гоголю, писанного при мне в Зальцбрунне в 1847 году. Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты» (*Анненков,* 531—532). В сентябре 1847 г. Анненков, вместе с Белинским, Герценом, Бакуниным, участвует в парижских спорах о буржуазии и ее исторической роли. Анненкову адресовано важнейшее письмо Белинского от 1—10 декабря 1847 г. о крестьянском вопросе, с информацией о проектах крестьянской реформы (см. *Белинский,* XII, 436).

Впоследствии Анненков активно выступает как литературный критик (ему, в частности, принадлежит обзор «Заметки о русской литературе прошлого года», напечатанный в первой книжке «Современника» за 1849 год и как бы продолживший традицию годичных обзоров Белинского); историк русской литературы и общественной мысли, исследователь биографии и творчества Пушкина.

«Замечательное десятилетие» — не только мемуары в собственном смысле слова. Книга Анненкова представляет собой сплав очень точно, так сказать, «дневниково» зафиксированных или сохраненных блестящей памятью мемуариста *личных* впечатлений — предельно конкретных — с глубоко продуманным и отражающим определенную концепцию анализом общественной мысли и литературного движения «замечательного десятилетия». В центре этого движения, во главе его — Белинский. Анненков воссоздает живой образ Белинского, духовно близкого человека, друга, прирожденного литературного критика, феномена своего времени. Потому так много страниц уделено Анненковым изложению эстетической программы, анализу его литературно-критического метода. Мемуары приобретают характер исследования, сохраняющего и поныне свою научную значимость (разумеется с учетом тех особенностей общей концепции Анненкова, о которых сказано во вступительной статье к настоящему сборнику).

Текст фрагментов из «Замечательного десятилетия», посвященных Белинскому, печатается по изданию: П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1960, с проверкой по прижизненным изданиям: «Вестник Европы», 1880, №№ 1, 2, 3, 4, 5;

Воспоминания и критические очерки. Собрание статей и заметок П. В. Анненкова», отд. III. СПб., 1881.

[1] Стр. 324. Анненков вместе с Катковым, как это явствует из письма Белинского к В. П. Боткину от 25 октября 1840 г. (*Белинский,* XI, 564), уехал за границу 19 октября 1840 г. (В отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде сохранился заграничный паспорт, выданный П. В. Анненкову 14 октября 1840 г.) Сам Анненков ошибочно называет далее днем отъезда 5 октября (вероятно, на этот день отъезд был назначен первоначально — см. письмо Боткина к Белинскому от 4 октября — *БиК,* с. 35).

[2] Профессор Московского университета, редактор журнала «Вестник Европы», М. Т. Каченовский, в литературной борьбе двадцатых годов занимал весьма архаическую позицию, за что неоднократно высмеивался Пушкиным в многочисленных эпиграммах. Как историк, Каченовский явился основателем так называемой «скептической школы». Он призвал к себе Белинского, скорее всего «обольщенный» следующим отзывом критика в «Литературных мечтаниях»: «Г-н Каченовский, который восстановил против себя *пушкинское* поколение и сделался предметом самых жесточайших его преследований и нападков как литературный деятель и судия, в следующем поколении нашел себе ревностных последователей и защитников как ученый, как исследователь отечественной истории» (*Белинский,* I, 88). Белинский здесь, очевидно, выражал мнение студенческой аудитории Московского университета (см., например, «Воспоминания студентства» К. С. Аксакова, о. 130—131 наст. сборника).

[3] См. прим. 6 к с. 103.

[4] Стр. 325. «Библиотека для чтения» начала выходить в январе 1834 г. под редакцией О. И. Сенковского и Н. И. Греча. Белинский в десятом разделе «Литературных мечтаний», в декабре 1834 г., точно охарактеризовал журнал и его редактора, который «смеется и издевается над всем и гонит особенно просвещение» (*Белинский,* I, 100). Сближение Белинского и «Библиотеки для чтения», которое делает здесь Анненков, разумеется, не имеет оснований.

[5] См. «Воспоминания о Белинском» И. И. Панаева, с. 203.

[6] В 1854 г. цензором А. Фрейгангом было запрещено напечатать в сочинениях Пушкина, издававшихся Анненковым, место из письма Пушкина к Дельвигу от начала июня 1825 г. с критической оценкой Державина. Анненков подробно рассказал об этом в статье «Любопытная тяжба», отметив, что распоряжение цензур-

ного комитета «было вызвано доносами на критические разборы литературы В. Г. Белинского, будто бы оскорбляющие народную гордость и помрачающие славу великих мужей России» («Вестник Европы», 1881, № 1, с. 25—26).

[7] Анненков имеет в виду следующую тираду из «Литературных мечтаний»: «...что за блаженство, что за сладострастие души, сказать какому-нибудь *гению в отставке без мундира,* что он смешон и жалок с своими детскими претензиями на великость <...> во всем этом есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное!» (*Белинский,* I, 70).

[8] Стр. 327. Кольцов впервые приехал в Москву 2 мая 1831 г. и тогда же, вероятно, познакомился с Белинским. В кружке Станкевича Белинский встречался с поэтом с 1833 г.

[9] Стр. 328. «Литературные мечтания» действительно отражали обсуждения и споры, которые велись в кружке Станкевича. Многие из его участников в сороковых годах оказались яркими представителями и активными деятелями различных направлений русской общественной мысли. Однако статья Белинского не была «простым эхом» кружка. Сам Анненков писал в 1857 г. о критике Белинского периода «Телескопа»: «Нет сомнения, что прилежный, кропотливый библиограф мог бы доставить себе удовольствие, разобрав, какому эстетическому и философскому учению и какому именно лицу принадлежат теории и положения, которые стала высказывать критика Белинского с 1835 г. (в «Телескопе» этого года); но он погрешил бы значительно, если бы, на основании своих изысканий, вздумал уменьшить заслугу самого автора статей» (П. В. Анненков. Н. В. Станкевич. М., 1857, с. 72—73). Как никто другой из его друзей по кружку Станкевича, Белинский уже в это время осознал и сформулировал насущную задачу современного литературного движения: создание такой национальной литературы, которая помнила бы о «массе народа», выразила бы его «внутреннюю жизнь». Утверждая, что «высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях», критик вместе с тем прямо указал, что в России «общество», «высшие слои народа» далеки от «массы», а потому не способны создать самобытную литературу (в этом для него смысл тезиса: «у нас нет литературы»). «Истинная эпоха искусства», — восклицал Белинский, — наступит и у нас, но «для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, возращенное на родной почве» (*Белинский,* I, 101).

О роли, какую сыграл Станкевич в его жизни, Белинский рассказывал Анненкову: «Мы знаем, — писал Анненков, — что Белинский с благоговением вспоминал о Станкевиче в последний период своей деятельности. Его пылкая душа, в которой было много нежности, много даже тонкой деликатности, прошла сквозь тяжелый гнет обстоятельств, почти неизвестный его товарищам и друзьям. Он получил совсем другое воспитание; это суровое, уединенное воспитание закрыло душу его твердым панцирем. Первый, пробившийся сквозь эту кору, отыскавший душу его, угадавший его способность к симпатии и жажду сочувствия, первый, успокоивший ее своим мягким, благородным и теплым участием — был Станкевич. Светлый лик Станкевича жил с Белинским до конца...» (П. В. Анненков. Н. В. Станкевич, с. 129).

[10] Как свидетельствует М. П. Погодин (*ЛН,* 56, 410), Пушкин заметил первую же статью молодого критика, в которой тот по-своему развивал тезис («у нас нет литературы»), выдвинутый еще А. Бестужевым в 1825 г. и затем неоднократно повторявшийся. Эта мысль в осторожной форме («у нас и литература едва ли существует») была высказана и Пушкиным в единственном его критическом выступлении в печати за 1832—1835 гг., рецензии на «Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина» («Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1833, № 26). Вопросу о «ничтожестве литературы русской» Пушкин хотел посвятить специальную статью, над которой работал в 1834 г. Пушкина, безусловно, привлекала основная мысль «Литературных мечтаний» о самобытности как важнейшем качестве подлинно национальной художественной литературы. Определение «самобытности каждого народа», данное в четвертом разделе «Литературных мечтаний», почти совпало с определением «народности» в черновом наброске Пушкина «О народности в литературе» (вторая половина двадцатых годов). Интерес Пушкина к выступлениям Белинского не был, таким образом, случайным.

В т. III «Современника» (вышел в октябре 1836 г.), в «Письме к издателю», Пушкин дал оценку критики Белинского, близкую к сообщаемой здесь Анненковым. Он писал, что Белинский «обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного» (*Пушкин,* XII, 97). Хотя Белинскому, так же как и Анненкову, не было известно, что эти слова принадлежат Пушкину, он знал о благожелательном отношении поэта, о чем с гордостью писал в 1842 г. Гоголю (*Белинский,* XII, 109).

Книжку «Современника» Пушкин посылал Белинскому в мае

1836 г., собираясь привлечь его к сотрудничеству в своем журнале (см. об этом в статье Ю. Г. Оксмана «Переписка Белинского» — *ЛН,* 56, 233—235 и 251—253).

[11] Стр. 329. Об этом имеются свидетельства как Белинского, так и самого Гоголя. Белинский писал 14—15 марта 1840 г. В. П. Боткину: «Гоголь доволен моею статьею о. «Ревизоре», говорит — многое подмечено верно» (*Белинский,* XI, 496). Позднее, уже после резкой статьи Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями», Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу 20 июня и. ст. 1847 г.: «Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним» (*Гоголь,* XIII, 324). Гоголь следил за статьями Белинского. В его архиве имеются многочисленные вырезки («Записки отдела рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина, вып. 19. М., 1957, с. 46).

В черновике статьи Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (1836) сохранилось суждение о ранних статьях Белинского, почти совпадающее с пушкинским и близкое зафиксированному Анненковым: «В критиках Белинского, помещающихся в «Телескопе», виден вкус хотя еще необразовавшийся, молодой и опрометчивый, но служащий порукою за будущее развитие, потому что основан на чувстве и душевном убеждении» (*Гоголь,* VIII, 533).

[12] Популярность критики Белинского в кругах русской учащейся молодежи как в начале его деятельности, так и в конце действительно была огромна. Например, о большом интересе к «Московскому наблюдателю» Белинского в училище правоведения рассказывал И. С. Аксаков в письме к С. Т. Аксакову от 25 сентября 1838 г. (*ЛН,* 56, 115). По свидетельству известного библиографа и палеографа А. Е. Викторова, статьи Белинского распространялись и в семинариях и духовных академиях: студенты Московской духовной академии, в которой учился Викторов, в 1846—1850 гг. «упивались статьями Белинского» (сб. Отделения русского языка и словесности Академии наук, т. 21, № 5, СПб., 1881, с. 19).

[13] Стр. 330. См. прим. 19 к с. 333.

[14] Стр. 331. Об отношениях внутри «триумвирата», выросшего «на благодатной почве смирдинских капиталов», сохранилось интересное свидетельство в письме В. А. Владиславлева к А. Я. Стороженко от 5 мая 1838 г.: «Главное лицо в литературе» — «это книгопродавец Смирдин. У него на откупу Сенковский, Греч, Булгарин и Полевой. Последний в звании редактора «Сына отечества» и литературного отделения в «Северной пчеле». Несмотря на одного хозяина, приказчики ссорятся между собою следующим образом:

Сенковский со всеми, Греч с Сенковским, Булгарин с Полевым, Полевой с Булгариным и Сенковским. По последним слухам, Полевой изгоняется из этой касты за ссору с Булгариным» (Стороженки. Фамильный архив, т. 3. Киев, 1907, с. 64).

[15] 16 сентября 1836 г. Николай I не разрешил издание журнала «Русский сборник», задуманного А. А. Краевским и В. Ф. Одоевским, наложив на представление резолюцию: «И без того много», которая и послужила основанием указанного распоряжения.

[16] Стр. 332. «Телескоп», образованный в 1831 г., начал самую решительную борьбу с «концессионерами» с приходом в него Белинского, который уже в «Литературных мечтаниях», а затем в «Ничто о ничем» и других статьях показал подлинный характер и изданий и направления Булгарина, Греча и Сенковского. Журнал «Московский наблюдатель» действительно был создан для противодействия «торгово-промышленному» направлению «Библиотеки для чтения» (программа «Московского наблюдателя» была изложена в статье фактического его руководителя Шевырева «Словесность и торговля», напечатанной в первом его номере). При организации журнал был поддержан Пушкиным и Гоголем. Однако реакционно-романтическая позиция «Московского наблюдателя», непонимание особенностей литературного развития в условиях буржуазного прогресса определили его неудачу, о которой писали Белинский, в статье «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя», и Гоголь, в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». Что касается пушкинского «Современника», то его программа была значительно шире задач борьбы с триумвиратом или «Библиотекой для чтения», о чем сам Пушкин заявил в «Письме к издателю» («Современник», 1836, т. III). После смерти Пушкина журнал, под редакцией Плетнева, не играл существенной роли в литературной жизни.

[17] После А. Ф. Воейкова издателем «Литературных прибавлений» недолго был известный литературный делец, жандармский офицер В. А. Владиславлев, который и привлек в качестве редактора Краевского. В письме к А. Я. Стороженко от 13 февраля 1837 г. Владиславлев писал, что передал издание Плюшару с условием, «чтобы журнал сей выходил не иначе, как под непосредственным влиянием Краевского» (Стороженки. Фамильный архив, т. 3. Киев, 1907, с. 58). Белинский получил от Краевского приглашение сотрудничать в «Литературных прибавлениях» в начале января 1837 г., но переговоры ни к чему не привели ввиду неприемлемых для него условий Краевского. Белинский стал печататься в «Литературных прибавлениях» с июля 1839 г., когда уже был решен вопрос о его переезде в Петербург для работы в «Отечественных записках».

[18] «Отечественные записки» были основаны П. П. Свиньиным еще в 1818 г., но влачили самое жалкое существование или прекращались на длительные промежутки времени. Рептильный литератор, автор исторических романов, Свиньин был известен как беспардонный враль и хвастун.

[19] Стр. 333. Белинский в «Литературных мечтаниях» иронически назвал литературный период, начавшийся с появления первой части альманаха «Новоселье», организованного в 1833 г. книгопродавцем А. Ф. Смирдиным, смирдинским, «ибо А. Ф. Смирдин является главою и распорядителем сего периода. Все от него, и все к нему: он одобряет и ободряет юные и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты; он дает направление и указывает путь этим гениям и полугениям, не дает им лениться, словом, производит в нашей литературе жизнь и деятельность» (*Белинский,* I, 98). Еще в 1829 г. Смирдиным был издан пользовавшийся большой популярностью у мещанского читателя роман Булгарина «Иван Выжигин». Успех издания положил начало благосостоянию издателя, но связал его, не искушенного в литературной борьбе, с будущим «триумвиратом», не брезгавшим любыми средствами для овладения книжным рынком. Деятельность Смирдина имела и большое положительное значение в истории русского книгоиздательства и книжной торговли (см.: Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин. Словесность и коммерция. М., 1929, а также Н. М. Смирнов-Сокольский. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 1957).

[20] Стр. 334. См. прим. 36 к с. 256.

[21] См. с. 312. наст. книги.

[22] Стр. 336. И. И. Панаев вспоминал, что во второй половине тридцатых годов существовали «известные немногим литературные небольшие сходки любителей, еще, так сказать, домашним образом занимавшихся литературой». Собрания у А. А. Комарова, на одном из которых произошла описываемая встреча Белинского и. Анненкова, принадлежали к числу таких сходок. Эти собрания, продолжает Панаев, «назывались *серапионовскими вечерами* (Гофман у нас был тогда в большом ходу). На этих вечерах *наши серапионы* читали по очереди свои сочинения» (*Панаев,* 105). Вероятно, упоминаемая Анненковым повесть на манер Гофмана вышла из-под пера «наших Серапионов», одним из которых, как свидетельствует Панаев, был сам Анненков.

[23] Стр. 337. Впервые о книжках «Современника», изданных после смерти поэта, Белинский писал в разделе «Литературная хроника» «Московского наблюдателя», в его первом мартовском номере за 1838 г. (*Белинский,* II, 347—355).

«Каменный гость» был напечатан не в «Современнике», а в изданном Смирдиным сборнике «Сто русских литераторов», т. I, СПб., 1839. Уже в рецензии на этот сборник Белинский, в отличие от других критиков, например Н. Полевого, восторженно отзывался о пушкинской трагедии, заключая свой отзыв следующими словами: «Великий, неужели безвременная смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто был ты?..» (*Белинский,* III, 100). Как видно из дальнейших слов Анненкова, друзья Белинского (как петербургские, так и московские) не в состоянии были уяснить важнейшую для эстетических взглядов критика, в особенности этого времени, идею «художественности», враждебной всякому «философированию» и рефлексии (см., например, письмо Белинского к Н. В. Станкевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 г. — *Белинский,* XI, 380).

[24] Стр. 340. «Диким ругателем» представляли Белинского его противники, главным образом из славянофильского лагеря (см., например, в «Воспоминаниях студентства» К. Аксакова, с. 127 наст. книги). В таком духе выдержаны некоторые оценки Белинского в статье М. П. Погодина «К характеристике Белинского», появившийся, когда Анненков уже работал над «Замечательным десятилетием» («Гражданин», 1873, № 9).

[25] б этом Белинский писал в рецензии на вторую книжку «Современника» за 1836 г. (*Белинский,* II, 233—238).

[26] тр. 342. Анненков ошибочно датирует второе столкновение Герцена и Белинского. Вероятно, оно произошло не через год, а в декабре 1839 г., в Петербурге. Летом 1840 г., еще до ссылки Герцена в Новгород (июнь 1841 — июль 1842), состоялось их примирение (см. «Былое и думы» Герцена и «Воспоминание о Белинском» И. И. Панаева, с. 146, 202—203 наст. книги).

[27] Стр. 344. Историю занятий немецкой философией в кружке Станкевича Анненков излагает неточно. Систематическим изучением гегелевской философии Белинский и Бакунин занялись не с 1836 г., как пишет Анненков, а в декабре 1837 г. (см. *Оксман,* 152). В 1835—1837 гг., вместе с Станкевичем, Бакунин изучает Канта и Фихте, а не Гегеля (ср. *Корнилов,* 136—150).

[28] Стр. 346. См. «Былое и думы», ч. IV, гл. XXIX, «На могиле друга» (*Герцен,* IX, 124).

[29] Стр. 347. С конца августа до середины ноября 1836 г. Белинский жил в тверском имении Бакуниных — Премухине.

[30] См. прим. 16 к с. 188.

[31] Первый номер «Московского наблюдателя» новой редакции открывала программная статья М. Бакунина — предисловие к переводу «Гимназических речей» Гегеля, — в которой он, в частности, выражал надежду, что «новое поколение сроднится наконец с на-

шею прекрасною русскою действительностью» («Московский наблюдатель», 1838, ч. XVI, кн. 1; ср. *Бакунин,* 2, 178).

[32] Стр. 349. Имеются в виду «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» — орган младогегельянцев, основанный в 1888 г. Арнольдом Руге, под редакцией которого сделался «сборным пунктом для всех беспокойных умов, которые обладали мало приятным с точки зрения государственного порядка умением вносить живую струю в прессу» (Ф. Меринг. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957, с. 45). В 1841 г. был перенесен в Дрезден, где под названием «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst» выходил до января 1843 г.

[33] Стр. 350. В. П. Боткин заметил в письме к Н. В. Станкевичу 13 декабря 1838 г. о предисловии Бакунина к «Гимназическим речам» Гегеля: «...такие вводители в философию Гегеля хуже врагов его!» (*ЛН,* 56, 121). Отвлеченно-схоластический характер философской проповеди Бакунина в конце тридцатых годов претил Белинскому, который неоднократно полемизировал с Бакуниным по этому поводу.

[34] Стр. 353. Указанная статья Рётшера была напечатана не в первом номере т. XVI, а в т. XVII.

[35] Стр. 354. Речь идет об оставшейся незаконченной (была написана только первая, теоретическая часть) статье «Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина. — Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (*Белинский,* II, 550—565). Выше — цитаты из этой статьи.

[36] Стр. 355. Это не так. За отвлеченной философской терминологией статьи «Гамлет». Драма Шекспира. Мочалов в роли «Гамлета» Анненков не сумел разглядеть оригинальной мысли Белинского о сильном по природе характере Гамлета (*Белинский,* II, 253). Гете понимает характер Гамлета иначе: «Мне ясно, что хотел изобразить Шекспир, — рассуждает Вильгельм Мейстер, — великое деяние, возложенное на душу, которой деяние это не под силу <...>. Здесь дуб посажен в драгоценный сосуд, которому годится принять в свое лоно лишь нежные цветы, корни распирают сосуд, и он гибнет» (И.-В. Гете. Годы учения Вильгельма Мейстера, кн. IV, гл. XIII).

[37] Такая «заметка» была сделана Белинским в обзоре «Русские журналы» (*Белинский,* III, 179). Критик писал о разборе в «Отечественных записках» губеровского перевода «Фауста». Этот разбор Анненков, вероятно, спутал со статьей Губера «Взгляд на нынешнюю литературу Германии», в которой тот говорил и о «Фаусте». Статьи же Губера, специально посвященной «Фаусту», не существует.

[38] Стр. 356. Обзором номеров «Современника», вышедших после смерти Пушкина, Белинский открыл библиографический отдел «Литературная хроника» в первом же номере обновленного «Московского наблюдателя» (ч. XVI, март, кн. I; вышел в свет 4 мая 1838 г.; ср. *Белинский,* II, 347—355).

[39] Стр. 357. Приводимый ниже Анненковым в качестве одной из таких «ересей» (по отношению к гегельянской эстетике) тезис Белинского о значении художественной формы представляет собой не случайную обмолвку, а основу его эстетических суждений 1838—1839 гг. Критик высоко ценит произведения, «чуждые завлекающей прелести содержания, но обаяющие художественною формою». Он отвергает «самое обаятельное могущество содержания, возвышающегося до поэтического патоса, но чуждое или недостаточное по художественной форме» (письмо к Н. В. Станкевичу от 29 сентября 1839 *г. — Белинский,* XI, 383). Особенность эстетических воззрений Белинского этого времени как раз и состояла в том, что, исходя из некоторых положений гегельянства, Белинский создавал оригинальную теорию искусства, отличную от гегелевской. Поэтому ряд высказываний Белинского, в особенности в связи с оценкой творчества Шиллера, казались «ересями» не только Анненкову, но и таким правоверным гегельянцам, как Бакунин и Станкевич (*Станкевич,* 486).

[40] Стр. 358. См. наст. книгу, с. 200. Об этом Белинский писал еще в октябре 1838 г. М. Бакунину (*Белинский,* XI, 314), а также 29 сентября 1839 г. Н. Станкевичу (*Белинский,* XI, 380). О статье Фишера см. прим. 39 к с. 200.

[41] Стр. 362. Об услугах, оказанных Белинским Гоголю, Анненков писал в воспоминаниях «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» (см. *Анненков,* 117—118). См. также далее, с. 365. Сам Белинский рассказал о своих хлопотах по продвижению рукописи «Мертвых душ» через цензуру в письме к М. С. Щепкину от 14 апреля 1842 г. (*Белинский,* XII, 103).

[42] С июня 1834 по май 1835 г. Гоголь был адъюнкт-профессором кафедры всеобщей истории Петербургского университета. Несмотря на серьезное изучение им в это время истории средних веков, лекции его не имели успеха.

[43] Стр. 363. В книге «Н. В. Станкевич» Анненков, очевидно по собственным наблюдениям и впечатлениям, рассказывает о нравственной поддержке, какую оказали Гоголю после холодного приема «Ревизора» в Петербурге выступления Белинского в его защиту в середине тридцатых годов: «Неизвестно, что сталось бы с автором, впечатлительным до крайности, если бы Москва разделила сомнения и холодность петербургской публики, но здесь он встретил участие, поднявшее, как нам хорошо известно, нравственную

бодрость его и сообщившее ему уверенность в своих силах. <...>. Можно думать, что Белинский уяснил самому Гоголю его призвание и открыл ему глаза на самого себя: для этого есть несколько доказательств несомненного, исторического характера» (П. В. Анненков. Н. В. Станкевич. М., 1857, с. 76—77).

[44] Стр. 384. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинский положительно отозвался о романтических повестях Н. Полевого. Позднее, когда Полевой присоединился к «журнальному триумвирату», Белинский изменил свое отношение к нему, хотя продолжал высоко ценить его предыдущую деятельность как просветителя, издателя запрещенного в 1834 г. журнала «Московский телеграф», «решительно лучшего журнала в России с начала журналистики» (*Белинский,* IX, 671—696).

[45] Оба эти суждения были высказаны Шевыревым в его статье о «Миргороде» («Московский наблюдатель», 1835, ч. I, март, кн. 2). Белинский «опровергал» их в статьях «О русской повести и повестях г. Гоголя» (*Белинский,* I, 292 и 305) и «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (*Белинский,* II, 137).

[46] Первое представление «Ревизора» 19 апреля 1836 г. Анненков описал в статье «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» (*Анненков,* 81—82).

[47] Анненков здесь не совсем точен. В заметке «От Белинского» критик не давал общей оценки творчества Гоголя.

[48] Стр. 365. Имеется в виду первая рецензия Белинского на «Похождения Чичикова, или Мертвые души», напечатанная в седьмом номере «Отечественных записок» за 1842 г.

[49] Тяжело переживая враждебность, с которой был встречен в Петербурге «Ревизор», Гоголь 6 июня 1836 г. уезжает за границу. О пребывании Гоголя в Риме см. воспоминания Анненкова «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» (*Анненков,* 47—132).

[50] В Москве зимой 1839 г., после отъезда в конце октября этого года в Петербург, Белинский не был. О встречах его с Гоголем в 1839 г. см. прим. 27 к с. 248.

[51] Имеется в виду сближение Гоголя во время его пребывания за границей, на рубеже тридцатых — сороковых годов, с представителями аристократических кругов — А. О. Смирновой-Россет, А. П. Толстым, будущими проповедниками реакционной народности — М. П. Погодиным и С. П. Шевыревым, будущим славянофилом А. С. Хомяковым. Все они враждебно относились к деятельности Белинского.

[52] Второе свидание состоялось около июня 1842 г.

[53] Стр. 368. 17 марта 1842 г. Белинский писал В. П. Боткину: «Демон» сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твер-

жу себе, в нем для меня — миры истин, чувств, красот» (*Белинский,* XII, 86). Тогда же на основании изучения различных списков поэмы Белинский составляет свой список, который он преподносит М. В. Орловой.

[54] Стр. 370. Статья «Менцель, критик Гете», начатая в Москве, была закончена в Петербурге и напечатана в первом номере «Отечественных записок» за 1840 г.

[55] Стр. 371. Анненков поехал в Москву с письмом Белинского от 13 июня 1840 г., в котором последний рекомендовал его как своего «доброго приятеля», «бесценного человека» (*Белинский,* XI, 530). В письме к А. Н. Пыпину от 12 апреля 1874 г. Анненков рассказал об этой встрече с Боткиным в Москве и дал выразительный портрет и меткую характеристику Боткина (*ЛН,* 67, 545—546).

[56] Статья В. Боткина о Шекспире, которую, очевидно, имеет в виду Анненков, — «Шекспир как человек и лирик», — была напечатана в девятом номере «Отечественных записок» за 1842 г. В конце 1840 г. и в начале 1841 г. появились в «Отечественных записках» переводы Боткина — «Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру» Ретшера и «Женщины, созданные Шекспиром (из сочинений г-жи Джемсон)».

[57] Речь идет об освобождении от идеально-романтических настроений, связанных с чувством Боткина к А. А. Бакуниной. Позднее, в письме к Белинскому от 22—23 марта 1842 г. — о «новой эпохе», которая начинается в Европе, — эпохе «отрицания и борьбы», — сам Боткин охарактеризовал этот «нравственный переворот» как «отрицание мистики и романтики, к которым особенно была склонна моя натура, но в которых я совершенно потонул в продолжение отношений моих, к Александре Александровне» (*Письма,* т. 2, 421). Говоря о *«радикальном* нравственном перевороте», Анненков, очевидно, имеет в виду и позднейшую, в пятидесятых — шестидесятых годах, эволюцию Боткина, когда «обнаружилась его настоящая природа — помесь купеческого распутства с душевной мелкотой и с художническими инстинктами, что и сделало из него тип грека Перикловой эпохи, помноженного на московского гостинодворца третьей руки и дополненного шопенгауэровской ненавистью к зверю — толпе и народу» (*ЛН,* 67, 546).

[58] Стр. 372. В статье «Горе от ума. Соч. А. С. Грибоедова», напечатанной в первом номере «Отечественных записок» за 1840 г.

[59] Стр. 373. В написанном в 1846 г. «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора» (рукопись находилась у Анненкова; сейчас — в Пушкинском доме; опубликована в 1886 г. Тихонравовым), Гоголь высказывает сходную мысль: «Переходя от страха к надежде и радости, взгляд его не-

сколько распален от того, и он стал податливее на обман, и его, которого в другое время не скоро удалось бы обмануть, становится возможным» (*Гоголь,* IV, 113—114). О положительном значении смеха в «Ревизоре» Гоголь говорит в «Театральном разъезде после представления новой комедии».

[60] В письме к Боткину от 10—11 декабря 1840 г. Белинский признал, что «Горе от ума» не может рассматриваться только с художественной точки зрения, «это — благороднейшее гуманическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности» (*Белинский,* XI, 576). Вскоре и в печати, в статье «Русская литература в 1840 году» («Отечественные записки», 1841, № 1), критик назвал «Горе от ума» «благороднейшим созданием гениального человека» (*Белинский,* IV, 430). Однако и впоследствии Белинский видел большие различия в эстетическом отношении между «Горем от ума» и «Ревизором» (см., например, статью «Разделение поэзии на роды и виды», напечатанную в третьем номере «Отечественных записок» за 1841 г.).

[61] Стр. 374. Имеются в виду статьи Белинского «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» («Телескоп», 1836, № 5 и 6) и «Очерки русской литературы. Соч. Н. Полевого» («Отечественные записки», 1840, № 1).

[62] Стр. 375. Встреча Белинского с известным впоследствии славистом И. И. Срезневским произошла в конце октября 1839 г., в первый же день приезда критика в Петербург. Белинский в ироническом тоне передал свой разговор с Срезневским в письме к Боткину от 22 ноября 1839 г. (*Белинский,* XI, 419).

[63] Стр. 376. О сцене в кабинете Белинского он сам подробно рассказал в письме к Боткину от 12—16 августа 1840 г.

[64] Стр. 378. См. прим. 1 к с. 324.

[65] Стр. 379. Возможно, что в этих словах заключена полемика с вышедшей в 1878 г. книгой М. Де-Пуле, в которой говорилось о вредном влиянии Белинского на Кольцова. В 1876 г. брат Н. В. Станкевича — А. В. Станкевич, хорошо знавший Кольцова, так охарактеризовал отношения Белинского и поэта: «...Белинский никогда и не старался иметь влияния на Кольцова, а просто имел его, как человек ума, таланта, идей и характера, сочувственных Кольцову. Кольцов же был не такой человек, который безразлично поддавался бы всякому встречному влиянию» (*ЛН,* 56, 286).

[66] В 1867 г. в «Санктпетербургских ведомостях» (№ 88) в корреспонденции из Воронежа было опубликовано письмо А. П. Серебрянского, в котором тот заявлял, что думы «Божий мир», «Великая тайна» и «Молитва» написаны не Кольцовым, а им (оригинал этого письма неизвестен). Это было повторено и в книге

Де-Пуле «А. В. Кольцов» (СПб., 1878). В настоящее время считается бесспорной принадлежность указанных стихотворений Кольцову.

[67] Стр. 382. Резкий отзыв о реакционном журнале «Маяк современного просвещения и образованности», выходившем с начала 1840 г., находится в рецензии на роман Д. Н. Бегичева «Ольга», напечатанной в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1840 г. (*Белинский,* IV, 312—315).

[68] Стр. 384. Мысль о различии морали и нравственности была подробно развита и обоснована Белинским в статье «Менцель, критик Гете». Постоянные нападки Белинского на «моральничанье», на формальные нормы ходячей морали, на «людей, которые боятся суда уголовного, но не боятся суда духовного», вызвали то обвинение в «безнравственности», о котором пишет Анненков. Но дело тут не в недоразумении. Враги Белинского хорошо понимали политический смысл его этического учения. Об этом свидетельствует хотя бы вопрос, который был задан на следствии Н. М. Сатину, арестованному в 1850 г., когда у него были найдены письма Белинского: «Объясните подробно, по какому случаю вы были знакомы со столь *безнравственным* <подчеркнуто нами> человеком, каким был Белинский, который во всю жизнь свою действовал и рассуждал вопреки правительству, вере и совести» («Красная новь», 1936, № 7, с. 231).

[69] Стр. 389. Речь идет о стихотворениях Н. М. Языкова «К не нашим», «Константину Аксакову», «К Чаадаеву», написанных в конце 1844 г. В них содержались прямые политические обвинения по адресу Герцена, Грановского, Чаадаева. В статье «Москвитянин» и вселенная», напечатанной в третьем номере «Отечественных записок» за 1845 г., Герцен указал на «доносительский» характер этих стихотворений (*Герцен,* II, 136, 403).

[70] Герцен следующим образом охарактеризовал в «Дневнике» (запись от 17 мая 1844 г.) свою позицию по отношению к славянофилам: «Странное положение мое, какое-то невольное juste milieu в славянском вопросе: перед ними я человек Запада, перед их врагами — человек Востока» (*Герцен,* II, 354). Эти размышления Герцена вызваны были, вероятно, неудачной попыткой примирения в апреле 1844 г. московских западников и славянофилов (см. о ней в гл. XXX «Былого и дум» — *Герцен,* IX, 166; об отклике Белинского см. *Панаев,* 206). К началу 1845 г., особенно в связи с «доносом в стихах» Языкова, Герцен признал правоту Белинского, выступавшего против всяких компромиссов со славянофилами (*Герцен,* IX, 167).

[71] Стр. 390. Возможно, что этот разговор произошел в декабре 1843 г., когда Анненков, вернувшийся из-за границы, проездом из

Петербурга в Симбирск побывал в Москве и посетил Герцена (*Герцен,* II, 318). Предметом их разговора могла стать рецензия Белинского на «Разные повести», появившаяся в незадолго перед тем вышедшем одиннадцатом номере «Отечественных записок». Одна из этих повестей как раз «грубо идеализировала народную жизнь», за что и была названа критиком *«клеветой* <подчеркнуто нами> на лапотную и сермяжную действительность» (см. также примечания В. П. Дорофеева, *Анненков,* 587—588). Подобная же реакционная идеализация «лаптя и сермяжки», «отцовского обычая и примера стариков», идиллическое изображение крестьянской жизни высмеивались Белинским и в других рецензиях 1844 г. (на сборники «Воскресные посиделки», «Старинную сказку об Иванушке Дурачке» Н. Полевого, «Народные славянские рассказы» и др., а также в статье о «Тарантасе» В. А. Соллогуба, 1845).

[72] Речь идет о памфлете на С. П. Шевырева.

[73] Стр. 391. «Былое и думы», гл. XXX (*Герцен,* IX, 163).

[74] Стр. 396. Статья К. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» была напечатана отдельной книжкой в 1842 г. Эти мысли Аксаков развивал и ранее. Так, например, 10 января 1840 г. Белинский писал ему: «Радуюсь твоей новой классификации — Гомер, Шекспир и Гоголь, но и дивлюсь ей» (*Белинский,* XI, 435).

[75] Стр. 397. Белинский напечатал в восьмом номере «Отечественных записок» рецензию на книжку Аксакова, а затем, после ответа Аксакова, одну из своих блестящих статей, ставшую этапом в борьбе со славянофильством, — «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» («Отечественные записки», 1842, № 11).

[76] Стр. 400. Имеются в виду рецензии на харьковские сборники «Молодик» И. Бецкого и «Архангельский историческо-литературный сборник», изданный Ф. Вальневым. В этих рецензиях, вопреки утверждениям Анненкова, Белинский вовсе не выступал против «идеи о самостоятельной народной культуре». Произведения, помещавшиеся в провинциальных сборниках, он упрекал именно за отсутствие всего «местного». Так, по поводу стихотворений «Архангельского сборника» Белинский заметил: «Видно, нынешние господа романтики везде одинаковы, от холодного Архангельска до пламенного Харькова, по тракту через Петербург и Москву!..» (*Белинский,* VIII, 360). Напротив, критик всегда был готов приветствовать «беллетристические произведения», «которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России» (*Белинский,* VIII, 377). При этом Белинский был, конечно, последовательным противником реакционно-романтической идеализации

национального прошлого или противопоставления национальных культур — передовой европейской культуре. Как правильно отметил А. Н. Пыпин, для Белинского «неизмеримо выше всякого провинциализма стояли общие интересы, с одной стороны искусства, с другой — общественности» (А. Н. Пыпин. Мои заметки. М., 1910, с. 62).

[77] Еще в 1830 г. Погодин, по его собственным словам, «произнес свои обеты об единстве славянского народа и о могуществе России, которая может легко привлечь к себе все его племена» («Московские университетские известия», 1871, № 9, с. 207). В этом духе славянофилы высказывались неоднократно. См., например, статью К. С. Аксакова в еженедельнике «День» — № 1 за 1861 г., по поводу которой Герцен писал в ноябре 1861 г.: «...в течение царствования Николая, тогда как другие восстали против него (чем заслужили любовь, уважение ничем неизгладимое и известность даже у западных славян), славянофилы проповедовали (по крайней мере печатно, за исключением весьма немногих) смирение и покорность <…>, мало того, подчинение всех славян могуществу и влиянию российского орла...» (*ЛН,* 39—40, 250). Такая «проповедь», конечно, не могла быть поддержана Белинским.

[78] Стр. 402. Белинский сравнивал «Калевалу» с гомеровским эпосом в 1847 г. в рецензии на книгу М. Эмана «Главные черты из древней финской эпопеи «Калевалы», представляющую собою изложение «Калевалы» (*Белинский,* X, 272—278). Перевод Я. К. Грота «Из народного эпоса Калевала» и изложение «Калевалы» в статье «О финнах и их народной поэзии» были напечатаны в 1840 г. в «Современнике» и не вызвали отклика Белинского.

[79] Стр. 403. Так назвал Булгарин новую литературную школу, представленную в «Физиологии Петербурга» и «Петербургском сборнике» («Северная пчела», 1846, № 22 от 26 января). Этот термин Белинский использовал в более широком смысле, и он удержался до наших дней.

[80] Имеются в виду некоторые расхождения между постоянными руководителями «Москвитянина», идеологами «официальной народности» — Погодиным и Шевыревым, с одной стороны, и славянофилами — Хомяковым и братьями Киреевскими, с другой, выпустившими в 1845 г. три номера «Москвитянина» (об этом «раздвоении» Анненков повествует в предыдущей, XXIV, главе «Замечательного десятилетия»).

[81] Стр. 407. Выступления Белинского против реакционной идеализации «народности» и «мужика», особенно в статье о «Тарантасе» («Отечественные записки», 1845, май), были восприняты некоторыми из московских «западников» как «нападение» на рус-

скую национальность. Однако, назвав славянофила Ивана Васильевича «европейцем», Белинский еще раз подчеркнул умозрительный характер представлений славянофилов о народности, навеянных европейскими теориями. Тем самым критик задел и либералов-западников, сочувствовавших народу, но неспособных понять истинно демократический характер ненависти Белинского к крепостническому рабству (ср. также прим. 71 и 96).

[82] Имеется в виду очерк «Н. X. Кетчер» из четвертой части «Былого и дум» (*Герцен,* IX, 246—247).

[83] Стр. 412. С книгой Фейербаха «Das Wesen des Christenthums» («Сущность христианства») познакомил друзей Н. П. Огарев, приехавший в январе 1842 г. в Россию из-за границы (о Фейербахе писал Белинскому также В. Боткин 22—23 марта 1842 г.). Герцен и Белинский восприняли материализм и атеизм («переворот в области метафизических идей», по словам Анненкова) как обоснование социализма (ср. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского, с. 520 наст. книги). На этой почве и выросло расхождение Герцена с Грановским в 1846 г.

[84] Стр. 413. О теоретическом разрыве с Грановским Герцен рассказал в гл. XXXII «Былого и дум» (*Герцен,* IX, 202—212).

[85] Стр. 414. См. прим. 81 к с. 407.

[86] Стр. 417. В статье о «Тарантасе» В. А. Соллогуба Белинский писал о Шеллинге: «А этот некогда великий мыслитель, который в молодости дал такое сильное движение развитию человеческой мысли, а в старости вздумал разыграть роль какого-то самозванного пророка, этот Шеллинг, одним словом, — разве он не Дон-Кихот?» (*Белинский,* IX, 81). В марте 1846 г. Белинский предостерегал П. Н. Кудрявцева от «сифилитического влияния шеллингианизма, пиэтистицизма» (*Белинский,* XII, 269).

[87] Стр. 418. Впервые о повести «Кто виноват?» Белинский говорил в статье «Русская литература в 1845 году», назвав Герцена «необыкновенным талантом в совершенно новом роде», то есть беллетристическом (*Белинский,* IX, 396). Подробно эту свою мысль критик развил в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

[88] Стр. 419. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский охарактеризовал «Деревню» как «одно из лучших беллетристических произведений прошлого года» (*Белинский,* X, 43). Ср. в воспоминаниях И. С. Тургенева, с. 484—485, 515 наст. книги.

[89] Стр. 421. См. об этом в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского, с. 529.

[90] Стр. 422. Далее в журнальном тексте следовало: «Роман и был действительно обведен почетной каймой в альманахе» («Вестнике Европы», 1880, № 4, с. 480). Эта фраза вызвала полемику меж-

ду «Новым временем» и «Вестником Европы», так как никакой каймы вокруг «Бедных людей» в «Петербургском сборнике» не оказалось, о чем писало «Новое время» в № 1473. Редакция «Вестника Европы» (так как Анненков был за границей) отвечала, что «вся существенная сторона рассказа о «кайме» несомненна», но относила его к другому произведению Достоевского — тому, которое должно было появиться в альманахе Белинского «Левиафан» («Вестник Европы», № 5, с. 412). Наконец, в «Новом времени», по поручению Достоевского, было заявлено, что «ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы» П. В. Анненковым насчет «каймы», не было и не могло быть» («Новое время», № 1515). Источник этой истории с «каймой» неясен, хотя о ней упомянул еще И. И. Панаев в фельетоне 1855 г. «Литературные кумиры, дилетанты и проч.» (*Панаев,* 334), о ней же писали некоторые мемуаристы (А. Панаева, Д. Григорович), наконец, редакция «Вестника Европы», публикуя свое заявление о несомненности рассказа о «кайме», ссылалась на «одно из лиц, весьма близко стоявших к редакции «Современника» той эпохи» (то есть, вероятно, на Тургенева, который в 1866 или 1867 гг. вспоминал о тех же «требованиях» Достоевского — см. сб. «И. С. Тургенев». Орел, 1940, с. 53).

[91] Об отношениях Достоевского и Белинского см. примечания к воспоминаниям Достоевского и с. 519—522, 529 наст. книги.

[92] Стр. 424. Статья «Петербург и Москва» была написана еще в 1844 г. (напечатана в первой части «Физиологии Петербурга», ценз. разр. 2 ноября 1844). Кетчер в своих спорах с Белинским, очевидно, защищал точку зрения Герцена, который в своей ходившей в списках статье 1842 г. «Москва и Петербург» утверждал, что у Петербурга нет истории, нет будущего (*Герцен,* II, 34). Белинский отвечал на это: «Многие не шутя уверяют, что это город без исторической святыни, без преданий, без связи с родною страною, город, построенный на сваях и на расчете. Все эти мнения немного уж устарели, и их пора бы оставить» (*Белинский,* VIII, 393). В то же время основной удар в этой статье, как неоднократно отмечалось, Белинский наносил славянофильской доктрине.

[93] Стр. 427. Имеются в виду статьи И. В. Киреевского в первых трех номерах «Москвитянина» 1845 г. — «Обозрение современного состояния словесности».

[94] Стр. 429. Эту точку зрения московских западников четко сформулировал Герцен в «Дневнике» 1844 г. (запись от 10 декабря) (*Герцен,* II, 392). В своей основе позиции Герцена и Белинского в оценке славянофильского учения совпадали.

[96] Стр. 430. После смерти Белинского Грановский действительно активно полемизировал со славянофилами (Герцена уже не было в России). Так, в 1855 г., накануне организации славянофильской «Русской беседы», Грановский чрезвычайно резко отзывается об «Аксаковых, Самариных и братии»: «Эти люди противны мне, как гробы. От них пахнет мертвечиною. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда. Оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории» (письмо К. Д. Кавелину от 2 октября 1855 г. — А. В. Станкевич. Т. Н. Грановский и его переписка, т. 2. М., 1897, с. 456—457).

Статья Д. А. Валуева «Исследование о местничестве» была напечатана в «Синбирском сборнике» (1845).

[96] Стр. 431. Белинский еще раньше, в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», со всей определенностью заявил, что «так называемое славянофильство, без всякого сомнения, касается самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности» (*Белинский,* X, 17). Однако этих вопросов — о самобытном историческом развитии России, о народе и его роли, об отношении народа и «высших слоев» — касалось не только славянофильство. Белинский ставил их уже в «Литературных мечтаниях» (1834). Эти вопросы выдвигала самая жизнь, и Белинский не мог согласиться с пренебрежительным отношением к ним, какое наметилось у некоторых «западников». В письме к А. Н. Пыпину от 25 октября 1874 г. Анненков более точно, чем в «Замечательном десятилетии», определил смысл этого якобы «славянофильства» Белинского: «Не то чтобы он <Белинский> почувствовал симпатии к какой-либо части воззрений и решений славянофильства, но он признал, что самая задача их — выставить вперед народ, хотя бы и мечтательный, и заслониться им — правильна. Когда мы выехали с ним из Зальцбрунна в Париж в 1847 г., там вопрос этот поднимался в обычном нашем кругу весьма часто и всегда по инициативе Белинского» (*ЛН,* 67, 553). Ни Белинский, ни Герцен, однако, не были сторонниками такого решения «самых важных вопросов нашей общественности», какое предлагали славянофилы. Оба они резко возражали против реакционно-романтической оглядки славянофилов на прошлое, националистических тенденций, проповеди православия, не принимали их панславистской программы.

[97] Стр. 434. См. воспоминания Н. Н. Тютчева «Мое знакомство с Белинским», с. 471—472 наст. книги.

[98] Решение об уходе из «Отечественных записок» Белинский окончательно принял в самом конце 1845 г. (см. письмо к Герцену от 2 января 1846 *т.* — *Белинский,* XII, 252), но фактически ушел лишь в апреле 1846 г., выполнив свои обязательства перед Краев-

ским (последняя статья о «Сочинениях Александра Пушкина» была сдана в журнал 25 апреля; появилась в его октябрьском номере).

[99] Анненков прав, говоря о своеобразии общественной и эстетической позиции Вал. Майкова и о полемическом, по отношению к Белинскому, ее аспекте. С Майковым неоднократно полемизировал и сам Белинский. Тем не менее полностью оторвать идеи Майкова от идейных традиций Белинского было бы неправомерно (см.: Т. Усакина. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Саратов, 1965).

[100] См. прим. 16 к с. 178.

[101] Стр. 435. До реорганизации «Современника» Некрасов выпустил сборники: «Статейки в стихах без картинок» (1843), «Физиология Петербурга» (в двух томах, 1845), «Петербургский сборник» (1846), «Первое апреля» (1846).

[102] См. прим. 56 к с. 514.

[103] Стр. 436. Об этом Боткин сообщал Анненкову в нескольких письмах конца 1846 — начала 1847 г. Впервые он говорил о тяжелом состоянии критика («этот человек так видимо близится к смерти») в письме от 20 ноября 1846 г., вскоре после своей встречи с Белинским осенью 1846 г., по возвращении того из поездки в Крым. 28 февраля 1847 г. он писал, что Белинский «едет куда-то в Силезию» (оба эти письма см. в кн. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892). Позднее он, очевидно, информировал Анненкова о времени поездки и месте лечения (после того как сам узнал об этом из письма Белинского от 5 мая 1847 г. — *Белинский,* XII, 360).

[104] Боткин организовал сбор денег и подписку в середине февраля 1847 г. См. письмо К. П. Барсова к Н. М. Щепкину от 17 февраля 1847 г. (*ЛН,* 56, 187).

[105] Тургенев, вопреки своему обещанию в письме к Белинскому от 21 апреля /3 мая 1847 г., не отправился в Штеттин, и Белинский нашел его в Берлине. Проведя некоторое время в Дрездене и его окрестностях, они 22 мая/3 июня прибыли в Зальцбрунн, куда 29 мая /10 июня приехал и Анненков.

[106] Стр. 438. Тургенев выехал из Зальцбрунна около 28 июня/ 10 июля 1847 г., действительно побывал в Лондоне и встретился с Белинским уже в Париже 18/30 июля.

[107] Стр. 441. Об этих целях и планах Белинского, характерных для последних лет его жизни, Анненков подробно пишет далее, имея в виду его стремление поставить литературу на службу насущным общественно-политическим задачам, прежде всего — делу освобождения крестьян (наиболее ярко и цельно это стремление Белинского выразилось в «Письме к Гоголю»). В свете таких задач теряли прежнее значение собственно эстетические цели, споры

славянофилов и западников, наконец — европейские социально-утопические и политические теории.

[108] Журнальный текст рецензии Белинского на третью часть «Воспоминаний» Фаддея Булгарина («Современник», 1847, № 1) действительно отличается от рукописного. Н. Х. Кетчер, напечатавший рецензию по рукописи («Сочинения В. Белинского», ч. II. М., 1861), сделал приводимое Анненковым примечание. «В Зальцбрунне Белинский мне жаловался, — писал Анненков А. Н. Пыпину 12 июля 1874 г., — что она <новая редакция «Современника»> отвергла или поправила (хорошенько не помню) его рецензию на «Воспоминания Булгарина». «Видите, — говорил он, — я уже не вправе в моем журнале сказать, что первая часть Булгарина, где он рассказывает, как капитаны 1-го кадетского корпуса, директора, инспектора и все предержащие власти драли его и других детей просто из потехи, — любопытна я занимательна. Вы бы ее прочли с интересом и проч.» Новой редакции эта похвала Булгарину казалась оскорблением ветхозаветного кодекса либерализма. Много согрешил при этом *формально* передовом настроении редакции Боткин, утверждавший ее в решимости сохранять строго все предания журналистики старого времени, Белинским же и утвержденной. Боткин даже просто советовал *не* печатать последних «обозрений» Белинского, говоря: «Нельзя же из уважения к прошлому принимать все марания окончательно исписавшегося и выдохшегося господина» (*ЛН*, 67, 551). Это свидетельство Анненкова раскрывает неблаговидную роль Боткина, игравшего на руку Краевскому и, в сущности, повторявшего его клеветнические высказывания о Белинском (*Белинский,* XII, 253).

Вполне возможно, однако, что Некрасов настаивал на переделке статьи в литературно-тактических целях, так как Краевский, стремясь скомпрометировать новую редакцию, обвинил ее в союзе с «Северной пчелой» Булгарина.

Для Белинского возможность положительно отозваться о «Воспоминаниях» Булгарина имела принципиальное значение; она была показателем его независимости. 2 января 1846 г., еще до разрыва с Краевским, критик писал Герцену: «В журнале его <то есть в «Отечественных записках»> я играю теперь довольно пошлую роль: ругаю Булгарина, этою самою бранью намекаю, что Краевский прекрасный человек, герой добродетели. Служить орудием подлецу для достижения его подлых целей и ругать другого подлеца не во имя истины и добра, а в качестве холопа подлеца № 1, — это гадко» (*Белинский,* XII, 253).

[109] Стр. 443. Белинский познакомился с запрещенной к распространению в России книгой Макса Штирнера «Единственный и

его достояние» (1845) в начале 1847 г. Он проницательно увидел в анархическом противопоставлении личности обществу в книге Штирнера — «устройство дела плутократии», то есть в конечном счете апологию капиталистической конкуренции, власти денег, аморальный буржуазный индивидуализм. Индивидуалистическому, антиобщественному, грубому эгоизму, возводимому в руководящий принцип, Белинский, по свидетельству Анненкова, противопоставляет «разумный эгоизм», который он трактует как материалист и социалист.

[110] Стр. 447. Анненков имеет в виду проекты крестьянской реформы, выдвинутые министром внутренних дел Л. А. Перовским и министром государственных имуществ П. Д. Киселевым. Предметом более широкого обсуждения крестьянский вопрос стал после речи Николая I на приеме депутатов смоленского дворянства (18 мая 1847 г.). Царь в этой речи открыто признал необходимость освобождения крестьян. Обо всех этих реформаторских веяниях Белинский подробно информировал находившегося за границей Анненкова в письме от 1—10 декабря 1847 г. (см.: Ю. Г. Оксман. Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ. — «Ученые записки Саратовского университета», т. XXXI, 1952).

[111] Стр. 449. Действительно, в начале 1848 г., в связи с февральско-мартовскими событиями на Западе, деятельность натуральной школы была признана противоречащей «народной нравственности». Об этом писал шеф жандармов А. Ф. Орлов в докладе царю от 23 февраля 1848 г., особенно обращая внимание на статьи Белинского, которые «прежде отпечатания» должны быть «подвергаемы наистрожайшему просмотру цензоров» (М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., СПб., 1909, с. 177).

[112] Анненков, разумеется, глубоко ошибочно, отождествляет революционность с «жаждой скорых расправ, внезапных потрясений и простора для личной мести». Как подлинный революционер, Белинский понимал недостаточность любых реформ при сохранении основ общественного и политического строя, но в то же время, заявляя в некоторых статьях 1847 г. о поддержке правительства, а точнее — исходящих «сверху» проектов крестьянской реформы (например, в рецензии на четвертую книжку «Сельского чтения, издаваемого кн. В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким» — «Современник», 1848, № 1), он трезво оценивал современное политическое положение.

[113] Стр. 454. «Надменно-учительское» письмо Гоголя (от 10 мая 1844 г.) Анненков почти целиком опубликовал в XXIII гл. «Замечательного десятилетия». О встречах с Гоголем в 1846 г. в Пари-

же и Бамберге он рассказал в статье «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» (*Анненков,* 127—131).

[114] Письмо, посланное Гоголем из Франкфурта около 20 июня н. ст. 1847 г., было получено Белинским 12 июля. Сразу же принявшись за ответное письмо, Белинский окончил его 15 июля. Объясняя резкий отзыв Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями» («Современник», 1847, № 2; ср. *Белинский,* т. X, с. 60—78) «личным озлоблением», Гоголь недоумевал: «Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять» (*Гоголь,* XIII, 326). Белинский ответил в первых же строках своего письма: «Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести <…>, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель» (*Белинский,* X, 212).

[115] Стр. 459. Свое впечатление от «Сикстинской мадонны» Рафаэля («Это не мать христианского бога, это аристократическая женщина, дочь царя...») Белинский передал в письме к Боткину от 7/19 июля 1847 г. (*Белинский,* XII, 384). Это место письма было впоследствии использовано им в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (*Белинский,* X, 308, 309).

[116] Стр. 462. Имеется в виду письмо Белинского от 7/19 июля 1847 г. к Боткину (см. след. прим.).

[117] Стр. 463. Это письмо Боткина от 19/31 июля явилось ответом на письмо Белинского из Дрездена от 7/19 июля 1847 г., в котором тот резко отозвался о немецкой буржуазной действительности, хотя не согласился с мнением Луи Блана в его «Истории десяти лет», что буржуазия «еще до сотворения мира является врагом человечества» (*Белинский,* XII, 385). В своем ответе Боткин писал (это место опущено в «Замечательном десятилетии»): «Как же не защищать ее <буржуазию>, когда наши друзья <очевидно, Бакунин и Герцен> со слов социалистов <Луи Блана> представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, отвратительного, губительного чудовища, пожирающего все прекрасное и благородное в человечестве» («Анненков и его друзья». СПб., 1892, с. 542). Так было положено начало дискуссии в передовых кругах русской интеллигенции о роли буржуазии в общественном развитии. Эта дискуссия достигла особого накала во время пребывания Белинского в Париже, в сентябре 1847 г., в связи с «Письмами из Avenue Marigny» Герцена. Белинский занял в этих спорах, в которых участвовали Герцен, Бакунин, Анненков, Сазонов, позицию, отличную как от апологетической по отношению к буржуазии точки зрения Боткина, так и от неисторического взгляда Бакунина. Он, в част-

ности, различал буржуазию «борющуюся» и буржуазию «торжествующую» (*Белинский,* XII, 446—452).

Последняя фраза письма Боткина в цитации Анненкова имела в виду запрещение печатать в «Современнике» продолжение романа Жорж Санд «Пиччинино», о чем сообщал Некрасов в письме К Белинскому, Тургеневу и Анненкову от 24 июня 1847 г. (*Некрасов,* X, 69); об этом же писал Н. Н. Тютчев Белинскому 22 июня (*БиК,* 278).

[118] Стр. 464. Белинского, вероятно, удручал «недостаток предвидения» революционного взрыва. Однако самая революция была встречена им с восторгом (см. с. 153, 512 наст. книги).

[119] Стр. 465. Белинский выехал из Парижа 11/23 сентября 1847 г.

[120] Стр. 467. Имеется в виду письмо к Анненкову от 17/29 сентября 1847 г. (*Белинский,* XII, 398—399).

Н. Н. ТЮТЧЕВ

МОЕ ЗНАКОМСТВО С В. Г. БЕЛИНСКИМ

Николай Николаевич Тютчев (1815—1878) — приятель Белинского, участник его петербургского кружка; чиновник министерства уделов. Ряд биографических сведений о себе он сообщает в публикуемых воспоминаниях о Белинском.

Знакомство Тютчева с Белинским состоялось у И. И. Панаева в октябре 1842 года. Белинский неоднократно упоминает Тютчева в своих письмах, главным образом в связи с различными деловыми поручениями. В литературных кругах приобрела известность открытая Тютчевым, совместно с М. А. Языковым, в конце 1846 года «Контора агентства и комиссионерства», просуществовавшая до начала 1851 г. (*Некрасов,* X, 54; «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, с. 523—524). В 1851—1853 годах Тютчев был управляющим имением Тургенева, который так отзывался о нем: «Это превосходный человек, отличный малый, и я люблю его всем сердцем...» (*И. С. Тургенев. Письма,* т. I, с. 402).

В идейной жизни кружка Белинского Тютчев, по-видимому, не принимал сколько-нибудь значительного участия; хотя на его квартире в 1846—1847 годах устраивались «сборища» близких Белинскому литераторов (Сборник Российской публичной библиотеки, т. II. 1924, с. 8; *Некрасов,* X, 87).

Сохранилось письмо Тютчева к Белинскому от 22 июня 1847 года (*БиК,* 278), в котором он сообщает о содержании письма Гоголя к Н. Я. Прокоповичу по поводу статьи Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями». Вместе с этим своим письмом Тютчев переслал полученное им от Прокоповича письмо Го-

голя к Белинскому от 20 июня н. ст. 1847 года, вызвавшее знаменитый ответ Белинского.

После смерти Белинского Тютчев много сделал, чтобы поддержать его семью.

«Мое знакомство с В. Г. Белинским» было написано в 1874 году по просьбе А. Н. Пыпина, частично использовавшего рукопись Тютчева в своей монографии о Белинском. Полностью опубликовано Е. Ляцким в приложении к третьему тому «Писем» Белинского (СПб., 1914). По этой публикации печатается в наст. изд. В текст внесены незначительные исправления по черновой рукописи воспоминаний, хранящейся в фонде Ю. Г. Оксмана в *ЦГАЛИ*.

[1] Стр. 469. К. Д. Кавелин приехал из Москвы весной 1842 г., а присоединился к Тютчеву и Кульчицкому позднее, после истории с К. С. Милановским (см. с. 172 наст. книги), то есть, вероятно, в ноябре 1842 г. Несколько ранее этого времени Тютчев знакомится с Белинским.

[2] Стр. 470. «Современник» редакции Некрасова и Панаева был основан в конце 1846 г. (арендован у П. А. Плетнева) и начал выходить с января 1847 г.

[3] Стр. 471. Столкновение известного переводчика А. Кронеберга с Краевским произошло в начале октября 1845 г., когда Белинский все больше убеждался в «эксплуататорстве» Краевского. О роли Краевского в этой «позорной истории» Белинский с возмущением писал Герцену 2 января 1846 г., в том письме, в котором он сообщал о своем окончательном решении оставить «Отечественные записки» (*Белинский,* XII, 253—254). Об этой же истории подробно рассказывал Некрасов в письме к Кетчеру 10 октября 1845 г. (*Некрасов,* X, 44—45).

[4] Стр. 472. На свадьбе Белинского Тютчев был свидетелем со стороны невесты.

[5] О детстве Белинского см. в воспоминаниях Д. П. Иванова.

[6] Историю знакомства с М. В. Орловой Тютчев излагает неточно (см. воспоминания А. В. Орловой, с. 564—566, и примечания к ним).

[7] Стр. 473. О М. В. Белинской см. в воспоминаниях А. В. Орловой и в примечаниях к этим воспоминаниям.

[8] Дочь Белинского, Ольга, родилась в июне 1845 г., сын Владимир — в ноябре 1846 г. Белинский тяжело переживал его смерть в марте 1847 г. В ноябре 1848 г., уже после смерти отца, родилась дочь Вера, вскоре умершая.

[9] Игра А. П. Тютчевой увлекала не только Белинского, но и такого знатока и любителя музыки, как Тургенев. «Я теперь под-

вергаюсь еще одному лишению, — писал он С. А. Толстой в октябре 1853 г., — жена г-на Тютчева, который жил у меня, очень хорошо играла на фортепианах — в ней было много музыкального чувства» (*Тургенев. Письма,* т. II, с. 188).

[10] Стр. 474. См. с. 177, а также прим. 15 к ней.

[11] Около Поклонной горы, под Парголовом, Белинский жил летом 1845 г.

[12] В этом доме Белинский жил с октября 1846 по май 1847 г. (см. *ЛН,* 57, 401).

[13] Стр. 475. В конце апреля 1846 г. Белинский, в надежде поправить здоровье, выехал из Петербурга на юг. Однако поездка не помогла: Белинский вернулся с еще более расстроенным здоровьем.

[14] О поездке Белинского за границу см. «Замечательное десятилетие» П. В. Анненкова, с. 435—438 наст. книги).

[15] Н. Н. Тютчев посетил М. М. Попова, по-видимому, не в конце мая 1848 г., как он говорит выше, а в конце марта, когда Белинский был вызван в III Отделение, но не смог явиться по болезни (Тютчев передал Попову письмо Белинского от 27 марта с объяснением причин неявки — см. *Белинский,* XII, 469, а также *Оксман,* с. 553).

[16] См. «Заметки для биографии Белинского» И. И. Лажечникова, с. 40—43 наст. книги.

[17] Стр. 476. О положении, в каком оказалась семья Белинского после смерти критика, упоминается в письмах его друзей. Так, например, Т. Н. Грановский писал 29 мая 1848 г. жене: «Белинский умер вчера. Сейчас отправляюсь к Тютчеву, где сговоримся, как похоронить его и что на первый случай сделать для его семейства. Он не оставил по себе ни гроша буквально. Горько и страшно подумать об этой участи. Мы дали свои деньги на погребение. Скажи московским друзьям, чтобы и они готовили деньги. Вдове и детям Белинского нельзя же просить подаяния» («Т. Н. Грановский и его переписка», II. М., 1897, с. 274; ср. также письмо А. П. Тютчевой Тургеневу от 23 июня 1848 г. — *ЛН,* 56, 197). В сборе средств приняли участие и московские друзья критика (*ЛН,* 56, 196). Однако собранных средств хватило ненадолго. Во второй половине 1848 г. М. В. Белинская переехала в Москву, где поступила на должность кастелянши Александровского института с мизерным жалованьем в триста рублей ассигнациями в год.

[18] Библиотека Белинского в начале пятидесятых годов была куплена Тургеневым и перевезена в Спасское-Лутовиново. О дальнейшей ее судьбе см. в статье Л. Ланского «Библиотека Белинского» (*ЛН,* 55, 431—440).

[19] Подробнее об этом см. в сообщении Р. Заборовой «Новые материалы о М. В. Белинской» (*ЛН,* 57, 319—326).

И. С. ТУРГЕНЕВ

ВСТРЕЧА МОЯ С БЕЛИНСКИМ
ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ

22—23 февраля 1843 года Белинский писал Н. А. Бакунину и его сестрам: «Недавно познакомился я с Тургеневым. Он был так добр, что сам изъявил желание на это знакомство, <…> Кажется, Тургенев хороший человек» (*Белинский,* XII, 139).

Еще в 1835 году семнадцатилетний Тургенев читал статьи Белинского. За границей, куда Тургенев уехал в 1838 году, он сближается с друзьями Белинского — Н. В. Станкевичем, М. А. Бакуниным, А. П. Ефремовым, которые, конечно, рассказывали ему о критике. Об этом, в частности, свидетельствует письмо П. Ф. Заикина к Белинскому от 13 июня 1840 года из Берлина: «В Берлине я нашел много русских и одного, *Тургенева,* прекрасного молодого человека, который жил в Неаполе и видел каждый день Станкевича <…>. Ефремов тоже живет в Неаполе. И Станкевич и Ефремов помнят тебя и по-прежнему расположены, по крайней мере мне так говорил Тургенев, который тоже желает познакомиться с тобою» (*БиК,* 55).

После первой встречи с Тургеневым Белинский «легко сближается» с ним. «Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек, — писал он 3 апреля 1843 года В. П. Боткину. — Беседа и споры с ним отводили мне душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всем соглашаются с тобою, или если противоречат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктом, — и отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры» (*Белинский,* XII, 154).

Белинского, уже вступившего в решительную борьбу со славянофилами, привлекал трезвый взгляд Тургенева на «Русь», отрицательное отношение к аксаковскому «идеализму», о котором критик незадолго перед тем с такой резкостью писал в статье о «Сочинениях Державина» («Отечественные записки», 1843, № 2—3; ср. *Белинский,* VI, 588).

Начиная с похвального отзыва о «Параше» в мае 1843 года и до статьи «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский постоянно следил за литературными выступлениями Тургенева и особенно приветствовал «Записки охотника», считая что в этом, жанре Тургенев нашел себя как художник. Под влиянием Белинского, в Зальцбрунне, где вскоре было создано «Письмо к Гоголю», Тургенев пишет рассказ «Бурмистр» — один из сильнейших антикрепостнических рассказов «Записок охотника».

Вероятно, Тургенев был в числе тех, немногих лиц, которые уже в 1847 году знали письмо Белинского к Гоголю. Он полностью разделял выраженную в этом письме ненависть к крепостничеству.

В начале 1850 года Тургенев хотел напечатать в «Современнике» комедию «Студент», в которой упоминал о своем друге, великом революционере-демократе Белинском. Но комедия была запрещена цензурой и впоследствии переработана, получив название «Месяц в деревне». Лишь в рукописи первой редакции сохранились восторженные слова о Белинском героя комедии, студента-разночинца, готового «отдать за него душу».

В 1856 году Тургенев горячо приветствовал «Очерки гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского, в которых впервые за много лет в полный голос было сказано о Белинском (письмо к Л. Н. Толстому от 16/28 ноября 1856 года. — *Тургенев. Письма,* т. III, с. 43), а в 1857 году живо откликнулся на предложение Некрасова издать в пользу дочери Белинского альманах, для которого собирался написать воспоминания о Белинском (*Тургенев. Письма.* III, с. 155).

Однако издание альманаха не состоялось, и Тургенев смог приступить к осуществлению своего замысла лишь в 1859 году, когда издатель организованной в начале года газеты «Московский вестник» Н. А. Основский просил его о статье (см. Первое собрание писем И. С. Тургенева. СПб., 1884, с. 68). Эта статья, в форме письма Тургенева к Н. А. Основскому под названием «Встреча моя с Белинским», появилась в № 3 (от 23 января) «Московского вестника» за 1860 год. Это было лишь первое письмо из, очевидно, целой серии задуманных. Несмотря на неоднократные просьбы Н. А. Основского [1], Тургенев не продолжил работы над циклом писем о Белинском.

В 1868 году, готовя новое издание своих сочинений, Тургенев решил написать для первого его тома «Литературные воспоминания». «Я сижу теперь над Литературными своими воспоминаниями, — писал он Я. П. Полонскому 16/28 декабря 1868 года, — и мысленно переживаю давно прошедшее...» (*Тургенев. Письма,* т. VII, с. 260). Еще до публикации в «Сочинениях» 1869 года Тургенев напечатал вторую часть «Литературных воспоминаний» — «Воспоминания о Белинском» — в журнале «Вестник Европы», 1869, № 4. Посылая рукопись «Воспоминаний о Белинском» Анненкову, он писал: «Вот вам наконец, любезный друг Павел Васильевич, статья о Белинском... Но знаю, как она вышла, но я писал старательно,

---

[1] Так 22 августа 1860 г. он писал Тургеневу: «Жду с нетерпением (и все ждут) вторую статью о Белинском» (*ИРЛИ,* ф. 7, ед. хр. 149).

два раза все переписал и умиление испытывал немалое... Пришли и стали воспоминания» (*Там же,* с. 299).

Очень личный, субъективный тон воспоминаний Тургенева вызвал неодобрение у многих современников. Герцен писал 21 мая 1869 г. сыну, А. А. Герцену, что статья Тургенева о Белинском «из рук вон слаба — дряблость его так ж выразилась, когда он взялся описывать сильную и энергическую натуру» (*Герцен,* т. XXX, кн. I, с. 120). Тургенев, вольно или невольно, сделал Белинского орудием литературной борьбы, «участником» злободневной полемики, пытаясь с помощью его авторитета опровергнуть некоторые политические и литературные тезисы революционной демократии шестидесятых годов. См, также далее прим. 18 к с. 493.

С недоумением была встречена и публикация в воспоминаниях фрагментов из писем Белинского. «Неизвестно, зачем он и письма припечатал, разве только чтоб досадить Некрасову. Все это какие-то необъяснимые отрывки...» (письмо Б. Н. Чичерина А. В. Станкевичу от 27 апреля 1869 г. — Отдел письм. источников Гос. ист. музея. Ф. 351, ед. хр. 70, л. 1).

В «Воспоминаниях о Белинском» действительно сказалась возникшая с годами неприязнь Тургенева к Некрасову, которая заставила дать несправедливую, опирающуюся на тенденциозно подобранные отрывки из писем Белинского, трактовку роли Некрасова в период организации «Современника». Некрасов, не выступивший в печати, хотел сразу же по прочтении воспоминаний Тургенева дать объяснение в форме письма к М. Е. Салтыкову (сохранилось четыре черновых редакции письма; см. *Некрасов,* XI, 130—137).

Несомненно, однако, что образ Белинского нарисован Тургеневым с большой любовью и «умилением». Справедлив и глубок выдвинутый писателем тезис о Белинском как «центральной натуре» (подробный комментарий см.: *Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 435—449, 510—513).

ВСТРЕЧА МОЯ С БЕЛИНСКИМ

(Письма к Н. А. Основскому)

Печатается по тексту: *Тургенев. Соч.,* т. XIV, с. 205—211.

[1] Стр. 477. О знакомстве Тургенева с Белинским см. с. 672 наст. книги.

[2] Тургенев ошибочно датирует статьи конца 1839 г. — «Бородинская годовщина», «Очерки Бородинского сражения», «Менцель,

критик Гете», в которых ярче всего выразились идеи «примирения».

[3] Стр. 478. Ср. «Былое и думы» Герцена, с. 146—147 наст. книги.

[4] О замечательной способности Белинского увлекать своей живой речью вспоминают многие мемуаристы. «Вы пишете, что Белинский в письмах неизмеримо выше Белинского в печати, — писал Анненков М. М. Стасюлевичу, — но Белинский в разговорах — оратор и трибун — еще выше был и писем своих. Боже! вспоминаю его молниеносные порывы, освещавшие далекие горизонты, его чувство всех болезней своего времени и всех его нелепых проявлений, его энергическое, меткое, лапидарное слово. Ничего подобного я уже не встречал потом, а жил много и видел многих» (сб. «Памяти Белинского», с. 369—370).

[5] Стр. 479. С мнением о «малом запасе познаний» Белинского, высказывавшимся как некоторыми друзьями критика (Тургеневым, Кавелиным), так и его ярыми врагами (Погодиным), горячо полемизировал И. А. Гончаров (в «Заметках о личности Белинского» и в особенности в письме к Кавелину — см. с. 548—551, 580—583 наст. книги). Точка зрения Гончарова, еще до появления в печати «Заметок о личности Белинского», была поддержана А. Н. Пыпиным (*Пыпин,* 582—587). См. также вступительную статью к настоящему сборнику (с. 15—16).

[6] В апреле 1843 г. Тургенев действительно ездил в Спасское, однако на даче Лесного института они с Белинским жили не в 1843, а в 1844 г.

[7] Книжка «Параша». Рассказ в стихах Т.—Л. <то есть Тургенева-Лутовинова> Писано в начале 1843 г. СПб., 1843 — вышла в свет во второй половине апреля 1843 г.

[8] Статья Белинского о «Параше» с высокой ее оценкой появилась в майском номере «Отечественных записок» за 1843 г. (*Белинский,* VII, 65—80). Ср. далее, с. 485.

[9] Об этой «даче» писал Н. Х. Кетчер Герцену: «Виссарион переехал на дачу, то есть в лачугу, полуразвалившуюся, две стороны которой выходят на двор, третья на огород, а четвертая в так называемый садик, в котором к стене приделан парусиновый навес, три сирени, две паршивых березы, лоза и всякая дрянь и сор, а он очень доволен» (*ЛН,* 56, 170). Ср. также описание «дачи» Белинского в воспоминаниях А. Я. Панаевой и А. В. Орловой.

[10] Стр. 480. Свои занятия гегелевской философией в Берлинском университете Тургенев закончил в мае 1841 г.

[11] Стр. 481. Одно время Белинский в самом деле преувеличивал поэтический талант В. И. Красова, поэта круга Станкевича. Он даже ставил его в один ряд с Лермонтовым и Кольцовым (см., например, *Белинский,* IV, 138). Однако такие отзывы о Красове встре-

чаются у Белинского не позже 1841 г., в письме же к Боткину от 6 февраля 1843 г. он говорит о его стихах совершенно иначе: «Какое страдание, если стишонки Красова и — Ѳ — <И. П. Клюшникова> были фактом жизни и занимали меня, как вопросы о жизни и смерти» (*Белинский,* XII, 129).

ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ

Впервые напечатаны в журнале «Вестник Европы», 1869, № 4, затем, с рядом исправлений, перепечатывались в изданиях сочинений И. С. Тургенева 1869 года, 1874 и 1880 годов (в изд. 1869 г. появилось «Первое прибавление»; в изд. 1880 г. — «Второе прибавление»; там же были сняты резкие выпады против Достоевского и Некрасова). В настоящем издании печатаются по тексту: *Тургенев. Соч.,* т. XIV, с. 22—63.

[1] Стр. 483. О знакомстве Тургенева с Белинским см. с. 672,

[2] В «Молве» и «Телескопе» Белинский печатался в 1834—1836 гг.

[3] В литературном обществе «Арзамас», существовавшем в 1815—1818 гг., объединились писатели-дворяне, последователи Карамзина (Жуковский, Вяземский, молодой Пушкин и др.), представители передового в то время литературного направления.

[4] Об исключении Белинского из университета см. прим. 6 к с. 103.

[5] Стр. 484. Имеется в виду издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский.

[6] «Стихотворения Владимира Бенедиктова» вышли в свет в 1835 г. В № 11 «Телескопа» за тот же год была напечатана статья Белинского с трезвой оценкой поэзии Бенедиктова и причин ее успеха. О своей реакции на эту статью Тургенев также вспоминал в 1856 г. (письмо к Л. Н. Толстому от 16/28 декабря): «...знаете ли Вы, что я целовал имя Марлинского на обертке журнала — плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку? Вы, стало быть, видите, что сказанное им тогда казалось новизною неслыханною» (*Тургенев. Письма,* т. III, с. 61). О совместном с Грановским чтении стихотворений Бенедиктова — «имя которого теперь если не безызвестное, то уже отзвучавшее — прогремело тогда по всей России» — Тургенев рассказал в статье 1855 г. «Два слова о Грановском» (*Тургенев. Соч.,* VI, 372).

[7] Имеется в виду заметка «Вместо вступления» к «Литературным и житейским воспоминаниям», которая начинается упоми-

нанием о «Параше»: «...этою поэмой я вступил на литературное поприще».

[8] Стр. 485. Тургенев смещает события: летом 1843 г. Белинский ездил в Москву не жениться, а делать предложение М. В. Орловой; свадьба их состоялась в ноябре в Петербурге. На даче в Лесном Белинский жил уже в 1844 г.

[9] Тургенев говорит об известном портрете, выполненном художником К. Горбуновым в 1843 г. (см. фронтиспис). Портрет не нравился и Кавелину, который считал, что он лишь напоминает Белинского («Русская мысль», 1882, № 9). Однако среди прижизненных портретов Белинского этот — наиболее достоверный (см. *ЛН, 51,* 364—366).

[10] Стр. 486. Из стихотворения Некрасова «Памяти приятеля» (то есть Белинского) (1853).

[11] Стр. 487. Из комедии Мольера «Мнимый больной» (третья интермедия).

[12] Из «Фауста» Гете (Пролог на небесах) в переводе Тургенева.

[13] Тургенев не ставит перед собой цели раскрыть содержание своих философских бесед с Белинским. Он останавливает внимание на самом факте «мучительных сомнений» Белинского и воссоздает их очень живо. Однако некоторые детали позволяют сделать предположение о характере тех вопросов, над разрешением которых билась в это время мысль Белинского. Критик «сомневался» в своем философском мировоззрении вообще — он преодолевал прежние идеалистические представления. Очевидно, с этим было связано и обсуждение «вопроса о существовании бога», тем более что сравнительно недавно Белинский познакомился с сочинениями Фейербаха (см. прим. 83 к с. 412), а также, вероятно, левогегельянцев Д. Штрауса и Б. Бауэра. Тургенев, безусловно, знакомил Белинского с передовыми течениями немецкой философской мысли.

[14] Стр. 490. Из «Евгения Онегина», гл. первая, строфа V.

[15] Стр. 491. Тургенев имеет в виду оценку Пушкиным трагедии «Марфа Посадница» в письме к Погодину от последних чисел ноября 1830 г.: «Я вам говорю, что это все — достоинства шекспировского» (письмо было опубликовано Анненковым в 1855 г. в т. I сочинений Пушкина; ср. *Пушкин,* XIV, 129).

[16] Выноску, о которой говорит Тургенев, Белинский сделал не в одном из годичных обзоров, а в рецензии на поэму Бернета «Елена» («Московский наблюдатель», 1838, ч. XVI, апрель, кн. 2; ценз. разр. 22 июня). Ср. прим. 10 к с. 138.

[17] Стр. 492. Упоминание Тургеневым «одного издателя толстого журнала», то есть Краевского, как в этом месте воспоминаний, так и в других, в особенности в связи с обвинением его в «эксплуататорских» наклонностях, вызвало протест Краевского. Он пытался

скомпрометировать утверждения Тургенева указанием на долг, который последний ему не возвратил. Факт мистификации опровергнут не был («Голос», 1869, № 100).

[18] Стр. 493. Тургенев говорит о памфлете «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» («Современник», 1861, № 6 и 7), в котором Добролюбов характеризовал Кавура как типичного политического деятеля — буржуазного либерала, «трусливого» и «осторожного». Статья вызвала недовольство русских либералов, в связи с чем Н. Г. Чернышевский писал Добролюбову: «Ярость на нас за Кавура повсюду неописанная» (*Чернышевский,* XIV, 436). Противопоставление Добролюбова Белинскому, которое делает здесь Тургенев, неправомерно. Имея в виду этот прием Тургенева в полемике со своими противниками, А. Н. Пыпин писал в заключительной главе своей монографии «В. Г. Белинский»: «Враждебный взгляд людей прежнего круга Белинского <то есть в данном случае — взгляд Тургенева> на новые литературные стремления получил, так сказать, обратное действие: свой собственный новый взгляд они приписали и Белинскому и выставили Белинского против тех идей, с которыми спорили сами. Другими словами: ставя себя в солидарность с Белинским, они отвергали историческую связь его с их противниками, видели в идеях этих противников не преемственность идеям Белинского, а скорее прямое их нарушение и отрицание. Мы думаем об этом совершенно наоборот» (*Пыпин,* 591—592). Отвечая на дальнейшие утверждения Тургенева о характере деятельности Белинского, Пыпин также подчеркивал, что литературной почвы Белинский держался исключительно по внешней необходимости. Страсть «составляла весь нравственный и исторический характер Белинского» (*там же,* 595). Тургенев вынужден был согласиться с последним утверждением Пыпина (см. с. 518 наст. книги).

[19] Стр. 494. Свидетельство Тургенева о том, что Белинский видел в В. Майкове своего преемника, не подтверждается. В качестве преемника Белинскому рассматривал Майкова, по свидетельству Анненкова, сам Тургенев. «Так мало желали они <либеральные друзья Белинского> погибели «Отечественных записок», что на другой, так сказать, день выхода из редакции Белинского они уже думали об отыскании журналу, взамен потерянного критика, нового, способного держать знамя независимого мышления. Человек, введший в редакцию «Отечественных записок» покойного Майкова, был не кто другой, как И. С. Тургенев — горячий друг Белинского и самого Некрасова» (письмо Анненкова к А. Н. Пыпину от 12 июля н. ст. 1874 г. — *ЛН,* 67, 550). См. прим. 99 к воспоминаниям Анненкова.

[20] В. Майков скоропостижно скончался от разрыва сердца во время купания в 1847 г., Д. Писарев утонул в 1868 г.

[21] То есть «Пушкин и Белинский» (I. «Евгений Онегин». II. Лирика Пушкина) (1865). Дальше речь идет о стихотворении Пушкина «19 октября» (1825), которое Писарев разбирал в статье «Лирика Пушкина», упрекая поэта в «напыщенности и неискренности чувства» (Д. Писарев. Сочинения, т. 3. М., 1956, с. 386).

[22] Стр. 495. То есть в письме к Гоголю.

[23] Из «Мцыри» Лермонтова.

[24] Две лекции о Пушкине, которые писатель назвал «импровизацией, несколько небрежной и недостойной великого имени Пушкина» («Литературный архив», вып. 4, 1953, с. 293), были им прочитаны в апреле 1860 г. И. И. Панаев в фельетоне «Петербургская жизнь» рассказал о реакции аристократической публики на упоминание в одной лекции Тургенева имени Белинского: «Второе чтение о Пушкине, говорят, было особенно замечательно. Здесь впервые перед этим избранным обществом произнесено было имя Белинского. На многих оно произвело не совсем благоприятное впечатление. Я слышал, будто один из литературных авторитетов старого времени заметил Тургеневу после чтения, что присоединение имени Белинского к именам Пушкина, Лермонтова и Гоголя — очень дико, да и что бы ни говорили, а, по его мнению, Белинский все-таки был не более как невежественный крикун» («Современник», 1860, № 5).

[25] Имеются в виду революционные события, потрясавшие Европу, и в первую очередь Францию, начиная с 1830 г., неустойчивость европейской политической жизни в эти годы.

[26] Стр. 497. Речь идет о поэзии И. И. Козлова, Подолинского и других.

[27] Стр. 499. То есть кружка Н. В. Станкевича.

[28] Стр. 500. В этом стихотворении, подписанном Л. П. и напечатанном в № 7 «Отечественных записок» за 1842 г., Белинский увидел «что-то энергическое, восторженное и гражданское, есть много смелого...» (*Белинский,* XII, 111).

[29] Стр. 501. Имеются в виду написанные в 1841 г. статьи о народной поэзии («Древние российские стихотворения»).

[30] Уже современники (Антонович, Пыпин) отмечали, что здесь Тургенев говорит в первую очередь о Добролюбове как авторе сатирических стихотворений «Свистка».

[31] Стр. 502. Первоначальное название этого стихотворения — «Чернь», в 1836 г. Пушкин переименовал его: «Поэт и толпа».

[32] Стр. 503. Ближайшим образом Тургенев полемизирует здесь о эстетической теорией Чернышевского. Однако одна из идей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности»

как раз и состояла в том, что искусство *ниже* действительности только в том случае, когда оно подражает природе, копирует, как бы повторяет действительность.

[33] Белинский редко высказывался о произведениях живописи или музыки, считая свои оценки в этих сферах искусства дилетантскими. Однако сохранились свидетельства о глубоком его интересе к живописи (см., например, воспоминания Анненкова и Тютчева; с. 459 и 470 наст. книги), о том наслаждении, которое он испытывал, слушая музыку, действительно привлекавшую его драматизмом и патетикой (см., например, *Белинский,* XII, 158, а также воспоминания Кавелина, с. 177 наст. книги).

[34] Тургенев говорит о статье 1834 г. из «Арабесок» — «Последний день Помпеи». Картина Брюллова», и XXIII письме из «Выбранных мест из переписки с друзьями» — «Исторический живописец Иванов» (1846).

[35] Стр. 504. См. прим. 16 к с. 43.

[36] Белинский, пристально следивший, особенно в это время, за эстетической мыслью и литературной жизнью Германии, имел достаточное представление о литературной и общественной роли Менцеля. Так, рецензируя т. 10 «Современника» за 1838 г., он с особым вниманием останавливается на статье Губера «Взгляд на нынешнюю литературу Германии». Белинский цитирует характеристику «крикуна Менцеля», соглашаясь с нею. В статье «Менцель, критик Гете» Белинский опирается в своей критике Менцеля на его книгу «Немецкая словесность» (русский перевод — 1837—1838). О Менцеле, который «создан природою не столько для литературного, сколько политического поприща» и о его похвалах Булгарину говорилось в брошюре Н. Мельгунова «История одной книги» (М., 1839), известной Белинскому. В «Литературных и журнальных заметках» 1843 г. Белинский назвал Менцеля «достойным другом» Булгарина (*Белинский,* VIII, 24). Как предполагает В. Березина, Белинский знал выступления Гейне и Бёрне против Менцеля (*Белинский,* III, 639 — комментарий). Конечно, Белинский в статье «Менцель, критик Гете» подчинил имевшиеся в его распоряжении материалы «примирительной» идее, но и в этом случав в характеристике Менцеля он был недалек от истины.

[37] Тургенев не прав, сводя весь смысл статей Белинского «Бородинская годовщина», «Очерки Бородинского сражения» и «Менцель, критик Гете» к «квасному патриотизму». Беспощадно осудив эти свои статьи в письме к Боткину от 11 декабря 1840 г., Белинский, однако, правильно заметил, что идея, которую он «силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении <то есть идея объективной необходимости, «исторической

законности» тех, или иных социальных и политических форм> верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото...» (*Белинский,* XI, 576).

[38] Стр. 505. Выражение это употреблено Герценом в письме первом «Писем об изучении природы» («Эмпирия и идеализм»), напечатанном в № 4 «Отечественных записок» за 1845 г. (*Герцен,* III, 117). Оно было высмеяно в фельетоне «Северной пчелы» (№ 106 от 12 мая 1845 г.). Ответ «Отечественных записок» был напечатан в № 6.

[39] Стр. 507. Из стихотворения Гете «Keinen Reimer wird man finden» («Рифмоплета нет такого»), цикл «Westöstlicher Diwan» («Западно-восточный диван»). У Гете — в ироническом смысле.

[40] 12 января 1847 г. Тургенев выехал за границу, летом виделся с Белинским в Берлине, Зальцбрунне и Париже; вернулся в Россию лишь в 1850 г.

[41] Стр. 508. О взаимоотношениях Белинского с новой редакцией «Современника» см. прим. 56 к с. 514.

[42] Имеется в виду статья Белинского о «рассказе в стихах» «Параша» («Отечественные записки», 1843, № 5). В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» («Современник», 1848, № 1, 3) Белинский дал анализ литературной деятельности Тургенева до «Записок охотника», причем уже более сдержанно отозвался о «Параше». По мнению Белинского, талант Тургенева «обозначился вполне» именно в «Хоре и Калиныче» (*Белинский,* X, 344—346).

[43] Отзыв Белинского о прозаических произведениях Тургенева содержится в цитируемом ниже письме от 19 февраля/3 марта 1847 г. (с. 515).

[44] Стр. 510. Об этом см. в «Замечательном десятилетии» Анненкова, с. 458 и прим. 120 к с. 467.

[45] Стр. 511. После исключения в конце сентября 1832 г. из университета Белинский был вынужден взяться за перевод романа Поль де Кока «Магдалина». За свой перевод Белинский получил «едва-едва» сто рублей ассигнациями (*Белинский,* XI, 93). См. так же прим. 24 к с. 115.

[46] Речь идет о чувстве к А. А. Бакуниной. «Скоро умерла» (в 1838 г.) ее сестра — Л. А. Бакунина, невеста Н. Станкевича.

[47] Стр. 512. О чувстве к «гризетке» и тяжелых переживаниях, связанных с этой историей, развязка которой заставила его «горько рыдать, как ребенка», Белинский вспоминал неоднократно (см., например, *Белинский,* XI, 359, 410). Полюбив простую девушку, Белинский «взялся было за ее умственное развитие, — с помощью чтения избранных поэтических произведений, но она скоро разбила созданный им идеал» (воспоминание свидетельницы «истории

с гризеткой» родственницы Белинского Н. Н. Щетининой — «Русский», 1868, № 15). Только поездка в Премухино принесла ему облегчение.

[48] Последняя (третья) строфа стихотворения Ф. И. Тютчева «Как над горячею золой...» (1830).

[49] Это сознание «своевременности» смерти Белинского, сознание того, что на его долю выпали бы еще горшие страдания, было, очевидно, распространено среди друзей критика. «Сердце беднеет, верования и надежды уходят, — писал Грановский Фролову в августе 1848 г. — Подчас глубоко завидую Белинскому, вовремя ушедшему отсюда» («Т. Н. Грановский и его переписка», т. 2. М., 1897, о. 425). Через год, в июне 1849 г., после ареста петрашевцев, Грановский писал Герцену, подразумевая неизбежность самых тяжелых репрессий по отношению к Белинскому, если бы он был жив: «...в Петербурге открыты три тайные общества разом, и в них много офицеров, вышедших из кадетских корпусов... О литературе и говорить нечего. Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя» («Звенья», № 6. М.—Л., 1936, с. 360). См. также приписку Н. Н. Тютчева в прим. 53 к с. 513.

[50] См. прим. 24 к с. 180.

[51] Строка из стихотворения Байрона «Стансы».

[52] Из «Гамлета» Шекспира (действ. III, сц. I — монолог Гамлета «Быть или не быть...»).

[53] Стр. 513. Далее Тургенев с некоторыми неточностями цитирует письмо А. П. Тютчевой, опуская начало и конец его, а также приписку Н. Н. Тютчева к словам «чтоб его опровергли»: «До сознательного убеждения *неизбежной* близости смерти он не дошел, а умер почти как Кульчицкий, только что страдание его было продолжительнее и живее. Впрочем, он умер вовремя» (*ЛН,* 56, 196).

[64] Стр. 514. О своем посещении Белинского Грановский сообщал жене 25 мая 1848 г. («Т. Н. Грановский и его переписка», т. 2. М., 1897, с. 273).

[55] О последних словах Белинского стало известно его друзьям. Смерть каторжанина Крота в поэме Некрасова «Несчастные» (1856) — это смерть Белинского, обратившегося в последние минуты с «речью к народу»:

Кричал он радостно: «Вперед!»
И горд, и ясен, и доволен
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен,
Восторгом взор его сиял,
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил...

См. также воспоминания А. В. Орловой, с. 563 наст. книги.

[56] Стр. 514. Публикацией выдержек из писем Белинского Тургенев начал обсуждение вопроса о положении критика в «Современнике». Эти выдержки должны были подтвердить тезис Тургенева, поддержанный впоследствии Кавелиным (см. с. 178—179) и Анненковым (см. с. 435), будто «Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала» его руководителями — Некрасовым и Панаевым. Тургенев имел в виду их отказ предоставить Белинскому третью долю в доходах журнала, чем и было вызвано первое из опубликованных Тургеневым писем с упреками по адресу Некрасова. Однако вскоре, объяснившись с Некрасовым и согласившись с его доводами, Белинский снял свои обвинения. «Я имею убеждение и некоторые доказательства, — разъяснял позднее, в 1869 г., в письме к М. Е. Салтыкову сложившуюся ситуацию Некрасов, — что Белинский сам очень скоро увидел, что его положение как дольщика (при необходимости брать немедленно довольно большую сумму на прожиток и неимении гарантии за свою долю в случае неудачи дела) было бы фальшиво. Это он мне сам высказал» (*Некрасов,* XI, 136). Белинский сумел понять всю трудность положения Некрасова. В опущенной Тургеневым части второго из опубликованных писем критик, защищая Некрасова, говорит о его «апатии», которая, несомненно, была вызвана рядом сложных обстоятельств, сопровождавших «рождение» «Современника». «Он <Некрасов>, — писал Белинский, — смотрит мне в глаза так прямо и чисто, что, право, все сомнения падают сами собою» (*Белинский,* XII, 344). О своих отношениях с Некрасовым Белинский подробно информировал Кавелина (*Белинский,* XII, 458).

Позднее Анненков обвинил «новую редакцию», якобы несогласную с «новым направлением» критика, в попытке устранить Белинского и от идейного руководства журналом. Анненков не назвал в своих воспоминаниях имена тех лиц из «новой редакции», которые возражали против «направления» Белинского, тем самым заставляя думать, что это были Некрасов и Панаев — руководители и «дольщики» журнала. Однако в своем письме к Пыпину в 1874 г., еще до окончания «Замечательного десятилетия», он назвал в качестве противника направления Белинского — Боткина, отнюдь не определявшего направление «Современника» (см. прим. 108 к с. 441). Вместе с тем именно Боткин послужил для москвичей источником информации об «устранении» Белинского, которая явилась предлогом для отказа либеральных друзей Белинского от поддержки «Современника», чем наносился удар как журналу, так и, в первую очередь, Белинскому, независимо от того, был ли он «дольщиком» или «наемщиком». Это и объяснял Белинский Тургеневу

в опущенной последним при публикации части письма от 19 февраля/3 марта 1847 г.

В действительности новым, то есть революционно-демократическим, направлением «Современника», которое определял Белинский, были недовольны не Некрасов и Панаев, а Боткин, Грановский, Кавелин, Галахов и другие (см. об этом также в книге В. Евгеньева-Максимова — «Современник» в 40—50 гг.». Л., 1934).

[57] Стр. 517. Сын Белинского Владимир умер в конце марта 1847 г., в возрасте четырех месяцев.

[58] См. прим. 105 к с. 436.

[59] Из «Гамлета» Шекспира (действ. I, сц. 2, слова Гамлета об отце).

[60] Стр. 518. См. прим. 18 к с. 493.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ИЗ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Первая встреча Белинского с Достоевским, описанная в «Дневнике писателя» за 1877 год (см. с. 526—527), произошла в июне 1845 года (*Достоевский,* IV, 299), когда Белинский, прочитав роман «Бедные люди», пригласил Достоевского к себе. Критик горячо приветствовал молодого писателя и очень высоко оценил его первое произведение.

«Я бываю весьма часто у Белинского, — пишет 16 ноября 1845 года Достоевский брату, — он ко мне донельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих» (*Достоевский,* I, 82). Белинский сразу же понял все значение первой повести Достоевского, появление которой показало, что новое литературное направление — «натуральная школа», — борьбе за которое Белинский отдавал все свои силы, побеждает, причем именно натуральная школа дает простор для творчества таких замечательных художников, как Достоевский. Поэтому столь безоговорочны у критика положительные оценки «Бедных людей», столь часты пророческие определения будущей роли их автора в русской литературе, начиная с рецензии на роман Жорж Санд «Мельник», в которой Белинский впервые упомянул о Достоевском (не называя еще его имени) как о писателе, «которому, кажется, суждено играть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слишком немногим» (*Белинский,* IX, 407). Вероятно, в устных беседах и разговорах Белинский, Некрасов, Тургенев и другие высказывались еще более восторженно. Это, например, отразилось в письме Достоевского к брату от 1 февраля 1846 года, в котором писатель передавал отзывы «Белинского и

прочих» о своем творчестве (*Достоевский;* I, 86—87). В это же время Достоевский, как он говорит в «Дневнике писателя», «страстно принял» все учение Белинского, то есть стал социалистом. «Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновленного мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским» («Дневник писателя» за 1873 год, гл. XVI. — Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, т. XI. М.—Л., 1929, с. 135). Приход в начале 1847 года в социалистический кружок Петрашевского после почти двухлетнего общения с Белинским был, таким образом, вполне закономерен для Достоевского.

Во второй половине 1848 года выявились идейные и литературные расхождения Достоевского с Белинским. Эти расхождения обострялись и усугублялись личной неприязнью Достоевского к некоторым лицам круга Белинского (в первую очередь Некрасову и Тургеневу), столкновениями «трудных» характеров, хотя Белинский и старался смягчать и устранять подобные стычки (см. в воспоминаниях А. В. Орловой, с. 569 наст. книги). Критическое отношение Белинского к последующим произведениям писателя казалось тому несправедливым, пристрастным, вызванным влиянием окружения на «слабого» Белинского (см., например, письмо Достоевского к брату от 26 ноября 1846 года. — *Достоевский,* I, 102—103). Но дело было, конечно, не в «слабости» Белинского и не в изменчивости его мнений. Творчество Достоевского в некоторых произведениях после «Бедных людей» принимало направление, чуждое Белинскому. Второе произведение Достоевского, повесть «Двойник», критик принял сдержаннее, чем «Бедных людей», заметив, что «автор «Двойника» еще не приобрел себе такта меры и гармонии» (*Белинский,* IX, 564). Тем более неприемлемой оказалась для Белинского повесть «Хозяйка», в которой Достоевский, по его словам, «хотел примирить Марлинского с Гофманом, подболтавши немножко Гоголя» (*Белинский,* XII, 467).

Достоевский отметил свое расхождение с Белинским по литературным проблемам, намеренно, впрочем, его преувеличивая и заостряя, в показаниях следственной комиссии по делу петрашевцев. Показания Достоевского, кстати сказать, содержат, пожалуй, самые первые воспоминания о Белинском его современника (Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971, с. 104—106, 120, 148—149).

В отдалении Достоевского от Белинского сыграло роль, очевидно, и упорное сопротивление Достоевского атеистической пропаганде Белинского. Писатель всегда подчеркивал свое постоянное, еще с 1845 года, с первых встреч, несогласие с Белинским в религиозных вопросах — в понимании и оценке христианства и личности

Христа (см., например, кроме «Дневника писателя», с. 521 наст. книги, также: письмо к Н. Н. Страхову от 18/30 мая 1871 года. — *Достоевский,* III, 364; А. Г. Достоевская. Воспоминания. М., 1971, с. 159).

Однако какими бы острыми и значительными ни были указанные расхождения, они не помешали единству позиций писателя и критика в ряде важнейших социальных и политических вопросов времени. Несмотря на «формальную ссору», по словам Достоевского, с Белинским, последний все же оставался для него тогда идейным учителем. Только этим можно объяснить, что в начале 1849 года Достоевский читал на собраниях кружка петрашевцев письмо Белинского к Гоголю. Основные положения и выводы письма он, безусловно, разделял, за что и поплатился каторгой и ссылкой.

«Перерождение убеждений» Достоевского, начавшееся еще в ссылке и полностью определившееся в шестидесятые годы, вызвало перелом и в отношении писателя к Белинскому. Новая, резко отрицательная точка зрения на деятельность революционера и социалиста Белинского была, по-видимому, сформулирована Достоевским в статье 1867 г. «Знакомство мое с Белинским», работе над которой писатель посвятил несколько месяцев (об обстоятельствах создания и утери статьи см. в письме Достоевского к А. Н. Майкову от 15 сентября 1867 года. — *Достоевский,* II, 36—37; и в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской, с. 159—161). Хотя статья не дошла до нас, о ее основном содержании, о характере оценок личности, идей, деятельности Белинского можно судить по ряду высказываний о Белинском в письмах Достоевского 1867—1871 гг. (см., например, *Достоевский,* II, 36, 149, 357). Кроме того, по предположению А. С. Долинина, пропавшая статья о Белинском «нашла свое отражение, хотя, быть может, и отдаленное, в статье тоже мемуарного характера — «Старые люди», в первом же номере «Дневника писателя» в «Гражданине» за 1873 г.» (*Достоевский,* II, Примечания, 388).

О дальнейшей эволюции в отношении Достоевского к Белинскому, а также об образе Белинского в «Дневнике писателя» см. во вступительной статье к настоящему сборнику.

Текст отрывков из «Дневника писателя» печатается по изданиям: «Гражданин», 1873, № 1; «Дневник писателя» за 1877 год, январь и ноябрь.

[1] Стр. 519. Вероятно, этот разговор состоялся 16 июля 1862 г. во время встречи Достоевского с Герценом в Лондоне.

[2] Достоевский, по-видимому, говорит о статье М. П. Погодина «А. И. Герцен», к которой был приложен отрывок из дорожных записок 1865 г. — о встрече с Герценом. Правда, Погодин не упо-

минает здесь «С того берега», а говорит о первых произведениях Герцена, напечатанных за границей («Заря», 1870, № 2, с. 77).

[3] Речь идет о статье Белинского «Русская литература в 1841 году». Об этом же эпизоде рассказал сам Герцен в «Былом и думах» (*Герцен*, VIII, 289).

[4] Стр. 520. В качестве «воззвания Интериационалки» Достоевский цитирует вовсе не какой-либо документ Интернационала Маркса, а устав «Международного альянса социалистической демократии» — организации, руководимой М. Бакуниным.

[5] Стр. 521. Достоевский имеет в виду «Письма к старому товарищу», то есть М. Бакунину, напечатанные в 1870 г. в Женеве, в «Сборнике посмертных статей Александра Ивановича Герцена». Выступление Герцена против Бакунина было воспринято Достоевским как «сомнение» в социализме и революции, когда на самом деле, разрывая с анархистом Бакуниным, как писал В. И. Ленин, «Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу,* к тому Интернационалу, которым руководил Маркс» (Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 11), Интернационалу, ставшему во главе социалистического рабочего движения.

Как отречение от социализма Достоевский мог понять и чрезвычайно резкую характеристику в «Письмах к старому товарищу» некоторых форм утопического социализма («каторжное равенство Гракха Бабефа», «коммунистическая барщина Кабе»).

[6] Вероятнее всего, это — Боткин, и разговор происходил в конце 1846 г., по возвращении Боткина из-за границы. Именно в это время он проповедовал необходимость освобождения от умозрительности немецкой философии и принципов старой нравственности.

[7] Стр. 522. Левогегельянец Давид Штраус в своей книге «Жизнь Иисуса Христа» подверг критике представление о Христе как богочеловеке, рассматривая его как историческую личность.

[8] Это утверждал Ап. Григорьев в статье «Знаменитые европейские писатели перед судом нашей критики» («Время», 1861, № 3). Характерно, что впоследствии Достоевский высказал сходную мысль (см. вступительную статью).

[9] Встреча могла произойти после переезда Белинского около 10 октября 1847 г. в дом Галченкова на Лиговском канале, недалеко от строительства Николаевской железной дороги. С января 1848 г. больной Белинский уже не выходил из дому.

[10] Стр. 524. Достоевский был знаком с Григоровичем еще по Инженерному училищу, а с осени 1844 г. они поселились на одной квартире. «Петербургские шарманщики» Григоровича были напечатаны в первой части сборника Некрасова «Физиология Петербурга» (1845).

[11] Стр. 525. О подробностях чтения рукописи «Бедных людей» у Некрасова Григорович рассказал в своих «Литературных воспоминаниях»: «Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собою и начал всхлипывать; украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра), сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчет печатания его романа. Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился, наскоро оделся, и мы отправились» (*Григорович,* 89—90).

[12] Стр. 528. Об этом же Достоевский вспомнил в конце 1877 г., после смерти Некрасова, во второй главе декабрьского выпуска «Дневника писателя»: «...однажды в шестьдесят третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он указал мне на одно стихотворение, «Несчастные», и внушительно сказал: «Я тут об вас думал, когда писал это (то есть об моей жизни в Сибири), это об вас написано» (Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, т. 11, с. 348). Образ ссыльного Крота, о котором здесь идет речь, вобрал в себя черты не только Достоевского-петрашевца (поэма писалась в 1856 г.), но, в первую очередь, Белинского (см. прим. 55 к воспоминаниям Тургенева).

[13] Стр. 528. Последняя строфа стихотворения Некрасова «Скоро стану добычею тленья!..», напечатанного в № 1 «Отечественных записок» за 1877 г. в составе цикла «Последние песни». Слово «укоризненно» подчеркнуто Достоевским.

И. А. ГОНЧАРОВ

ЗАМЕТКИ О ЛИЧНОСТИ БЕЛИНСКОГО

О знакомстве с кругом Белинского в начале 1846 года и о тех лицах, которые в то время составляли этот круг, И. А. Гончаров в 1875 году, то есть тогда же, когда составлялись им и «Заметки о личности Белинского», писал в статье «Необыкновенная история»: «В 1846 году, когда я познакомился с Белинским и с группой окружающих его литераторов и приятелей, между ними не было налицо троих: И. С. Тургенева, В. П. Боткина и П. В. Анненкова. Последние двое были за границей, а Тургенев, кажется, в деревне.

О них часто говорилось в кругу Белинского, в котором толпились И. И. Панаев, Д. В. Григорович, II. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский (появившийся с повестью «Бедные люди»), позже явился А. В. Дружинин с романом «Полинька Сакс». Кроме того, было тут

несколько приятелей нелитераторов: Н. Н. Тютчев, И. И. Маслов, М. А. Языков и некоторые другие.

С Панаевым и Языковым я познакомился прежде у Н. А. Майкова (отца поэта). Через последнего, то есть через Языкова, я и передал Белинскому свой роман «Обыкновенная история» для прочтения и решения, годится ли он и продолжать ли мне вторую часть. Роман задуман был в 1844 году, писался в 1845, и в 1846 мне оставалось дописать несколько глав. Белинский, месяца три по прочтении, при всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, пророчил мне много хорошего в будущем, говорил всем о нем, так что задолго до печати о романе знали все — не только в литературных петербургских и московских кружках, но и в публике.

Собирались мы чаще всего у И. И. Панаева и у Языкова, у Тютчева — иногда все, гурьбой, что позволяли их просторные квартиры. Белинского посещали почти каждый день, но не собирались толпой, вдруг. У него было тесно» (Сборник Российской публичной библиотеки, ч. II. 1924, с. 7—8).

Хотя «Обыкновенная история» была первым произведением Гончарова, увидевшим свет, он уже вполне сложился к этому времени как человек и писатель.

Несмотря на то что некоторые черты личности Гончарова вызывали у Белинского неприязнь, но в борьбе с отжившим русским социально-политическим укладом, с реакционно-романтическими иллюзиями Белинский не мог не увидеть в нем союзника. В этом смысле характерно в письме к Боткину от 4 мая 1847 года сравнение Гончарова с П. Н. Кудрявцевым, некогда чрезвычайно близким критику. Неблагосклонно отзываясь здесь о Гончарове как человеке, Белинский тем не менее отдает ему предпочтение перед Кудрявцевым: «...ты увидишь великую разницу между Гончаровым и Кудрявцевым в пользу первого. Эта разница состоит в том, что Гончаров — человек взрослый, совершеннолетний, а Кудрявцев — духовно малолетний, нравственный и умственный недоросль» (*Белинский,* XII, 347). Проницательно характеризуя талант Гончарова в письме к В. П. Боткину от 17 марта 1847 года, Белинский особое внимание обратил на ту пользу, которую повесть Гончарова принесет обществу: «Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!» (*Белинский,* XII, 352).

Гончаров, чуждый революционным и социалистическим идеалам критика, позднее (в «Необыкновенной истории») со свойственной ему трезвостью определил свое положение в кружке Белинского: «Я литературно сливался с кружком, но во многом, и именно в некоторых крайностях отрицания, не сходился и не мог сойтись с членами его». «Я разделял во многом образ мыслей <Белинско-

го>, относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа, о вреде всякого рода стеснений и ограничения для развития и т. д. Но никогда не увлекался юношескими утопиями в социальном духе идеального равенства, братства и т. д., чем волновались молодые умы. Я не давал веры ни материализму, ни всему тому, что из него любили выводить — будто бы прекрасного в будущем для человечества» (Сборник Российской публичной библиотеки, ч. II. 1924, с. 24—25, 124—125).

В 1869 году в подготовлявшемся, но не опубликованном тогда предисловии к роману «Обрыв», вероятно, уже познакомившись с воспоминаниями Тургенева, Гончаров высказал мнение, что «не наступило еще время для вполне справедливой оценки его <Белинского> деятельности, характера и громадного значения в литературе, между прочим, потому, что влияние его еще горячо чувствуется и продолжается доныне» (*Гончаров,* 8, 164). Говоря об огромной «впечатлительности» Белинского, которая иной раз поражала и пугала его, Гончаров объясняет резкость, а порой резкую изменчивость оценок критика теми условиями, в которых ему суждено было действовать: Белинскому «выпала на долю не роль ученого, объективного критика, а роль трибуна, гонителя и карателя, строго, упорно державшегося вреда, всяких зол, предрассудков, темных нравов и обычаев, рутины и т. д. — во всем, и в жизни и в искусстве. Не будь этого раздражения, задора, ему не удалось бы пробудить спящие умы и равнодушие большинства. В этом огне битвы часто доставалось всем и каждому — иногда и правому. Силою обстоятельств он выхвачен был из среды учащегося юношества и случайно брошен на трибуну критика и публициста. И притом не в страстной, раздражительной натуре его была сдержанная сосредоточенность на известных эпохах, на личностях, в покойном, холодном созерцании и размышлении. Это был и поэт, и художник, и критик, и трибун, и оратор. Увлечение и удары пера — вот образ его действия, его сила и успех» (*Гончаров,* 8, 164—165).

Гончаров начал писать воспоминания о Белинском в 1873 г. по просьбе А. Н. Пыпина, которому он и послал их в форме письма, озаглавленного: «Как я понимаю личность Белинского». Гончаров считал эти свои заметки малозначащими и не желал их опубликования.

В марте 1874 года писатель познакомился с воспоминаниями о Белинском К. Д. Кавелина и возразил на них в письме к автору от 25 марта 1874 года (см. с. 579—584 наст. книги). Это письмо было им в переработанном виде включено впоследствии в «Заметки о личности Белинского». «Заметки...» Гончарова внутренне полемичны (при всем свойственном их автору спокойном тоне) по отношению к воспоминаниям Тургенева и Кавелина, в которых

Гончаров не находил «вполне справедливой оценки» личности, деятельности и роли Белинского.

«Заметки о личности Белинского» были впервые напечатаны в сборнике «Четыре очерка» И. А. Гончарова, СПб., 1881.

В настоящем издании печатаются по тексту Полного собрания сочинений И. А. Гончарова, т. 8. СПб., 1886, с проверкой по первой публикации.

[1] Стр. 532. Белинский не только «слышал» о коммунизме. Он был хорошо знаком с социалистической литературой Запада, вплоть до некоторых сочинений Маркса и Энгельса.

[2] Стр. 534. При переходе Белинского в «Современник» прежний кружок, в сущности, распался. См. прим. 56 к с. 514.

[3] Стр. 537. Рассуждение о гусаке в статье о «Горе от ума» — яркий пример замечательного уменья Белинского за случайной на первый взгляд деталью увидеть всю суть характеров, а тем самым, в конечном итоге, общий смысл, идею произведения (см. *Белинский,* III, 443, 444).

[4] Стр. 538. Возможно, что речь идет о В. А. Соллогубе.

[5] Стр. 539. Имеется в виду редактирование Белинским в 1846 г. книги «Стихотворений» А. В. Кольцова, которой была предпослана его же статья «О жизни и сочинениях Кольцова».

[6] Белинский в конце 1847 г. еще в рукописи познакомился с повестью А. В. Дружинина «Полинька Сакс», о которой он вскоре отозвался с похвалой в письме к Боткину от 2—6 декабря 1847 г., а затем и в печати (*Белинский,* XII, 444; X, 347).

[7] Стр. 540. Знаменитый петербургский трагик В. А. Каратыгин приезжал в Москву в апреле — мае 1833 г., когда Белинский уже не был студентом. На страницах «Молвы», в которой Белинский незадолго до этого начал сотрудничать, развернулась полемика между противниками Каратыгина (статьи, подписанные криптонимом П. Щ., за которым скрывался Н. И. Надеждин) и его сторонниками (статьи С. П. Шевырева). Об этом «литературном турнире» Белинский писал в 1835 г., когда Каратыгин вторично приезжал в Москву, в статье «И мое мнение об игре г. Каратыгина». Здесь же он дал сравнительную оценку игры Мочалова, «актера-плебея», «энергического и глубокого в своем чувстве», и Каратыгина, «актера-аристократа», которого отличает «талант ходить, говорить, рассчитывать эффекты, понимать, где и что надо делать, но не увлекать души зрителей собственным увлечением, не поражать их чувства собственным чувством» (*Белинский,* I, 187).

[8] Стр. 542. О предполагавшихся реформах см. прим. 110 к с. 447.

[9] Стр. 543. Н. В. Кукольник принадлежал к той группе лите-

раторов, которую поддерживал реакционный журнальный триумвират (Сенковский, Булгарин, Греч). Сенковский, постоянно нападая на Гоголя, превозносил Кукольника как «необыкновенного поэтического гения», «юного нашего Гете» («Библиотека для чтения», 1834, № 1, отд. «Критика», с. 13, 29). «Ложно-величавая школа», одним из представителей которой был Кукольник, с ее «официальными восторгами», имела в лице Белинского непримиримого противника. Правда, Белинский делал исключение для исторических повестей Кукольника из эпохи Петра Великого (см. его рецензии на «Повести и рассказы» Н. Кукольника. — *Белинский,* VII, 7—8; VIII, 7—11).

Развернутую характеристику творчества Бенедиктова Белинский дал в статьях «Стихотворения Владимира Бенедиктова» (1835) и «Русская литература в 1842 году» (1842), а также в рецензии на сборник «Сто русских литераторов», т. 3, в котором были помещены пятнадцать стихотворений Бенедиктова и его портрет. В этой рецензии, напечатанной в № 9 «Отечественных записок» за 1845 г. (то есть незадолго до знакомства с Гончаровым), охарактеризовав поэзию Бенедиктова как «пустую» и «ничтожную», Белинский заключал, играя словами: «...мы очень рады, что его поэтическая физиономия воспроизведена во «Сто русских литераторах» с тою верностию, за которую поручится каждый, кто даже и никогда не видал его, но читал его произведения» (*Белинский,* IX, 260—261). Очевидно, эти слова и имел в виду Гончаров, упоминая о «нападении» Белинского на «наружность» Бенедиктова.

[10] Стр. 545. Перевод «Лукреции Флориани» был приложен к № 1 «Современника» за 1847 г. Для Белинского имела принципиальное значение проповедь свободы женщины от условных, угнетающих и унижающих ее уз, ему, как пишет дальше Гончаров, «снился идеал женской свободы».

[11] Стр. 548. Дальнейшая часть воспоминаний Гончарова выросла из полемического его письма к Кавелину (см. с. 579—584) по поводу воспоминаний последнего.

И. ШМАКОВ

БЕЛИНСКИЙ В СИМФЕРОПОЛЕ

Мемуарная заметка И. Шмакова была опубликована в журнале «Древняя и новая Россия», 1876, т. I, № 1, с. 197—198, откуда и перепечатывается. Ряд сведений о И. Шмакове сообщает В. С. Нечаева в кн. «В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1842—1848». М., 1967, с. 501—502. Там же — уточнение дат, приводимых И. Шмаковым.

[1] Стр. 552. Письмо к М. В. Белинской (см. *Белинский,* XII, 313—316).

[2] «Матрос» — водевиль Ф. Соважа, написанный совместно с Делюрье, в переводе Д. Шепелева.

А. В. ОРЛОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Аграфена Васильевна Орлова — свояченица Белинского. Ее воспоминания, если не считать отдельных заметок у разных мемуаристов, являются единственным мемуаром о Белинском в семье. Сама М. В. Белинская воспоминаний не оставила (кроме мемуарного письма к художнику И. А. Астафьеву — см. Приложения, с. 584—585). Некоторые детали семейной жизни Белинского, по рассказам его жены, зафиксированы в воспоминаниях его внука В. Бензиса, недавно опубликованных на русском языке (см. ниже).

С Марией Васильевной Орловой Белинский познакомился через А. Д. Галахова в 1835 году, когда она была классной дамой в Александровском институте. М. В. Орлова принадлежала к тем представителям молодого поколения, которые с самым живым интересом следили за статьями Белинского. По словам Галахова, с 1837 года преподававшего в Александровском институте русский язык и словесность, «она и некоторые из ее сослуживиц отличались любознательностью, интересовались современной литературой. Я снабжал их «Отечественными записками», «Современником», и другими книжными новостями» (А. Д. Галахов. Сороковые годы. — «Исторический вестник», 1892, № 1).

До своего отъезда в Петербург Белинский, вероятно, неоднократно встречался с Марией Васильевной (так, сохранился экземпляр его книги «Основания русской грамматики», 1837, с дарственной надписью М. В. Орловой — *ЛН,* 57, 207).

После переселения в Петербург Белинский, приехав в Москву, увиделся с М. В. Орловой в январе 1842 года. Вскоре начинается их переписка (первое письмо Белинского от 4 апреля 1842 года, см. *Белинский,* XII, 92—93). Боткин, передавший М. В. Орловой по поручению Белинского список «Демона», с восторгом пишет о ней: «Прекрасная девушка! Лучше всего то, что она совершенно проста и нисколько не натянута... Сколько огня в этих прекрасных глазах, сколько прекрасного в ее взгляде, особенно когда она смотрит исподлобья» («Лепта Белинского», с. 32—33).

Летом 1843 года, вновь приехав в Москву, Белинский сделал предложение, и 12 ноября в Петербурге состоялось венчание.

Большинство мемуаристов, друзей Белинского, относилось к жене его с неодобрением, считало его семейную жизнь несчастливой. Это мнение можно поставить под сомнение. Белинский всегда питал к жене глубокое чувство, о чем свидетельствуют все его письма к ней, хотя семейная жизнь критика, больного, трудившегося из последних сил и все же не сводившего концы с концами, и не была безоблачной. «Странные мы с тобою <...> люди, — написал он однажды жене, — живем вместе — не уживаемся, а врозь скучаем» (*Белинский,* XII, 277).

В последние месяцы жизни М. В. Белинская самоотверженно ухаживала за тяжко больным мужем. Оставшись после его смерти почти без средств, она мужественно переносила свою бедность (см. прим. 17 к с. 476).

До конца дней М. В. Белинская благоговейно хранила память о великом критике. Она воспитывала дочь на сочинениях отца («Русская старина», 1913, № 1, с. 160), прививала любовь к нему своим внукам. Образ Белинского, как он вставал из рассказов М. В., так ярко запечатлелся в их памяти, что даже в 1940 году один из внуков, В. Бензис, смог нарисовать замечательный портрет критика: «Бабка нам рассказывала, каким было его лицо. У него был настоящий славянский тип лица с выпуклым красивым лбом в рамке русых мягких волос, которые под влиянием болезни мало-помалу редели. Глаза его были также славянские: голубые, глубокие и изменчивые, глаза неисправимого мечтателя. Нос — прямой, немножко тупой к концу, острая русая бородка и тонкие, почти бесцветные губы. «Какое подвижное было это лицо, — говорила нам бабушка почти со страхом. — Через мгновение я его уже не могла бы узнать. Унылый, почти угасший, бледный как мертвец, с апатичным выражением лица, он вдруг выпрямлялся, страшный, красноречивый, непоколебимый, как только его охватывала какая-нибудь идея. И его тщедушная, истощенная, согнутая — хотя ему было едва 35 лет — фигура выпрямлялась, озарялась непреодолимым огнем, которому никто не мог противостоять» («Новый мир», 1961, № 6, с. 282).

Воспоминания А. В. Орловой были написаны в 1891 году по просьбе Гр. Джаншиева, посетившего в декабре 1890 года остров Корфу, где тогда жила О. В. Белинская (Бензис), и беседовавшего там с А. В. Орловой (Гр. Д<жаншие>в. В семье Белинского. — «Русские ведомости», 1891, № 9). Опубликованы они были в сборнике «Лепта Белинского». М., 1892, откуда и перепечатываются.

[1] Стр. 558. Достоевский читал у Белинского повесть «Двойник» (см. с. 529), Гончаров — «Обыкновенную историю».

[2] Стр. 561. См. письмо от 22 августа 1847 г. (*Белинский,* XII, 895).

[3] См. с. 464 наст. книги.

[4] В тексте сборника «Лепта Белинского» здесь опечатка: «1846»; ср. «Воспоминание о Белинском» И. И. Панаева, с. 223 наст. книги.

[5] Стр. 563. См. прим. 8 к с. 473.

[6] Стр. 564. Об обстоятельствах жизни семьи Белинского после его смерти см. в сообщении Р. Заборовой «Новые материалы о М. В. Белинской» (*ЛН,* 57, 319—326).

[7] А. В. Орлова говорит о некрологе М. В. Белинской, напечатанном в газете «Русские ведомости», № 174, от 27 июня 1890 г.

[8] Стр. 565. По просьбе Белинского его друг, поэт В. И. Красов, написал несколько романтических стихотворений, обращенных к М. В. Орловой (опубликованы в сборнике «Лепта Белинского»; см. также: В. И. Красов. Стихотворения. Вологда, 1959, с. 65—--, 69).

[9] Имеется в виду книга: М. А. Протопопов. Белинский, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891.

[10] Стр. 567. А. В. Орлова не цитирует, а кратко пересказывает письмо М. В. Белинской к В. П. Гаевскому от 22 сентября 1883 г. (*ЛН,* 57, 324).

[11] Белинская писала в том же письме к В. П. Гаевскому: «Все письма к Виссариону Григорьевичу от его знакомых и родных и все оставшиеся после смерти его бумаги во время издания его сочинений я передала Николаю Христофоровичу Кетчеру, а он и до сих пор не возвратил мне их, несмотря на мои неоднократные напоминания об этом» (*ЛН,* 57, 325). Письма Белинского к жене, переданные ею Кетчеру, сохранились и впервые были напечатаны Е. А. Ляцким в 1914 г. в «Письмах» Белинского.

А. М. БЕРХ

ИЗ ЗНАКОМСТВА С БЕЛИНСКИМ

Берх Александр Маврикиевич (1830—1909) — генерал, военный инженер, участник Севастопольской обороны, строитель укреплений Кронштадта, Николаева, Очакова. В 1846—1850 годах учился в Главном инженерном училище в Петербурге (см. «Исторический вестник», 1909, № 5, с. 771—772).

Воспоминания А. М. Берха о Белинском были опубликованы Е. Брылкиной в «Кронштадтском вестнике», 1862, № 47, 17 июня, под названием «Из знакомства с Белинским. (С рассказа г-на Б.)» (см. С. И. Эткина. Малоизвестные воспоминания о Белинском. —

«Белинский. Статьи и материалы», изд. Ленинградского университета, 1949, с. 233—234). В настоящем издании воспоминания А. М. Берха печатаются по «Кронштадтскому вестнику».

[1] Стр. 571. Кто такой Г. П., неизвестно. Возможно, это Николай Васильевич Палтусов (см.: В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1842—1848. «Наука», 1967, с. 501).

[2] Стр. 573. А. М. Берх в первый раз посетил Белинского не раньше марта 1848 г. В это время тяжело больной Белинский действительно уже почти не писал. В мартовском номере «Современника» не появилось ни одной его статьи. В апрельском номере были напечатаны две его последние рецензии и некролог Мочалова.

[3] Из друзей Белинского свидетелями революции 1848 г. во Франции были Герцен, Тургенев, Анненков. Возможно, что они переписывались с Белинским в последние месяцы его жизни, сообщая о ходе революции. Прямых доказательств этого нет, так как переписка не сохранилась, но Герцен и Тургенев (больше не встречавшиеся с Белинским) знали о реакции критика на революционные события, о чем они писали в своих воспоминаниях (см. с. 153 и 512). Были и другие пути информации Белинского о событиях во Франции. Так, например, в письме П. В. Анненкова к братьям от 27 февраля 1848 г. с подробным рассказом о февральской революции имеется приписка: «Поклонитесь от меня Белинскому и покажите ему это письмо...» («Исторический сборник», 4. М.—Л., 1935, с. 247).

[4] Стр. 575. Ошибка памяти мемуариста: Белинский умер 26 мая.

[5] Стр. 576. См. воспоминания А. В. Орловой, с. 563.

[6] См. там же, с. 563.

ПИСЬМО И. А. ГОНЧАРОВА К К. Д. КАВЕЛИНУ

Опубликовано в «Литературном наследстве», № 56, по копии, сделанной для А. Н. Пыпина (хранится в *ИРЛИ,* ф. 163, № 828). В наст. издании печатается по указанной копии.

[1] Стр. 580. Гончаров имеет в виду утверждения М. Погодина в статье «К вопросу о славянофилах» («Гражданин», № 11, от 12 марта 1873 г., с. 349).

[2] Стр. 583. Здесь в копии пробел, обозначающий, вероятно, неразобранное слово автографа.

ПИСЬМО М. В. БЕЛИНСКОЙ К И. А. АСТАФЬЕВУ

Было написано в ответ на просьбу художника И. А. Астафьева, работавшего над картиной «Белинский за письменным столом». Опубликовано С. А. Венгеровым по копии в журнале «Былое», 1917, № 4, с. 181—182. В наст. издании печатается по автографу, хранящемуся в Отд. письменных источников Гос. ист. музея.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Анненков	— П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1960.
Бакунин	— М. А. Бакунин. Собрание сочинений и писем, тт. 1—4, 1936.
Белинский	— В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953—1959.
БиК	— «В. Г. Белинский и его корреспонденты». М., 1948.
ГБЛ	— Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.
ГПБ	— Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
Герцен	— А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, тт. I—XXX. М., Изд-во АН СССР, 1954—1965.
Гоголь	— Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. М., Изд-во АН СССР, 1940—1952.
Гончаров	— И. А. Гончаров. Собрание сочинений в восьми томах. Гослитиздат, 1952—1955.
Григорович	— Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1961.
Достоевский	— Ф. М. Достоевский. Письма, тт. 1—4. 1928—1959.
Корнилов	— А. А. Корнилов. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915.
ИРЛИ	— Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).
ЛН	— «Литературное наследство».
Некрасов	— Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XII. М., Гослитиздат, 1948—1953.
Нечаева, I	— В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности. 1811—1830. М., Изд-во АН СССР, 1949.
Нечаева, II	— В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829—1836. М., Изд-во АН СССР, 1954.
Нечаева, III	— В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1836—1841. М., Изд-во АН СССР, 1961.

Оксман	— Ю. Оксман. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. М., Гослитиздат, 1958.
Панаев	— И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1956.
Письма	— В. Г. Белинский. Письма под редакцией Ляцкого, тт. I—III. 1914.
Пушкин	— А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Изд-во АН СССР, 1937—1949.
Пыпин	— А. Н. Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка. СПб., 1908.
Станкевич	— «Переписка Николая Владимировича Станкевича 1830—1840». М., 1914.
Тургенев. Соч.	— И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960—1968. Сочинения в пятнадцати томах.
Тургенев. Письма	— И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960—1968. Письма в тринадцати томах.
ЦГАЛИ	— Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.
Чернышевский	— Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. М., Гослитиздат, 1939—1953.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

Абелард — см. *Абеляр* П.
Абеляр Пьер (1079—1142), французский философ, богослов, поэт — 144.
Аблесимов Александр Онисимович (1742—1783), писатель — 88, 91.
Мельник, колдун, обманщик и сват («Мельник») — 88, 91.
Август — см. *Октавиан* Август Кай Юлий Цезарь.
Авдотья Александровна, родственница Ивановых — 90, 91.
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист, поэт, глава славянофилов — 285, *642, 650.*
* *Аксаков* Константин Сергеевич — 118—135, 155, 188, 198, 199, 201, 234, 238—241, 248, 249, 251, 257—260, 282, 285, 326, 391, 396, 397, *590, 591, 606—612, 627, 630, 638, 647, 653, 660, 661, 672.*
Друзья, садитесь в мой челнок — 122, *610.*
Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» — 396, 397, *660.*
Олег под Константинополем — 130, *611.*
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), отец И. С. и К. С. Аксаковых, писатель и театральный критик; в 1834—1839 гг. директор Московского Межевого института, где в 1838 г. преподавал Белинский — 154, 155, 215, 234, 238—241, 247, 248, 285, *637, 650.*
Семейная хроника и Воспоминания — 239, *637.*
Аксакова Ольга Семеновна (1793—1878), жена С. Т. Аксакова — 239, 240.
Аксаковы — 154, 155, 234,238, 239, 241, *633, 638, 664.*
Алексей Михайлович (1629—1676), русский царь — 500, *624.*
Ампер Жан Жак Антуан (1800—1864), французский историк литературы.
Языческая и христианская литература IV века. Авзоний и св. Паулин — 187, *629.*
Андрей, слуга Панаевых — 296.
Андросов Василий Петрович (1803—1841), экономист, литератор, редактор журнала «Московский наблюдатель» в 1835—1837 г г . — 188, 250.
* *Анненков* Павел Васильевич — *5, 6, 8, 9, 11—13, 17, 19—26,* 161, 175, 180, 222, 237, 261, 568, *590, 591, 597, 618, 623, 629, 633, 635, 637, 641, 644—669, 671, 673, 674, 675, 677, 678, 680, 681, 683, 688, 696.*
Воспоминания и критические очерки — 362, *623, 647.*

В указатель включены имена и названия периодических изданий, упоминающиеся в тексте воспоминаний, во вступительной статье и примечаниях. Звездочками отмечены авторы мемуаров.

Указатель составлен Н. А. Роскиной.

Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года — *12,* 362, *655, 656, 668.*
Николай Владимирович Станкевич — *12,* 237, *597, 687, 649, 655, 656.*
* *Аргилландер* Николай Андреевич — 100—104, *597, 602—604, 606, 607.*
Арендт Андрей Федорович (ум. 1861), симферопольский врач — 554, 555.
Армфельд Александр Осипович (1806—1868), с 1837 г. ординарный профессор судебной медицины Московского университета — 103.
* *Арнольд* Юрий Карлович — 164—167, *591, 620.*
Арсеньев Константин Иванович (1789—1865), географ, историк, статистик, с 1836 г. академик — 63.
Краткая всеобщая география — 63.
«Архангельский историческо-литературный сборник» (1844), издатель Флегонт Вальнев — 400, *660.*
Архимед (287—212 до н. э.) — 550, 580.
Архипов Павел Иванович (1811 — после 1860), ученик Пензенской гимназии — 74.
Астафьев Иван Александрович (1844 — после 1911), художник — 584, 585, *693, 697.*

Бабеф (настоящее имя — Франсуа Ноэль, прозвище — Гракх; 1760—1797), французский политический деятель, один из ранних утопических социалистов — 385, *687.*
Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788—1824) — 39, 105, 257, 367, 497, 512, *605, 682.*
Дон Жуан — 538, 539.
Стансы — 512, *682.*
Бакунин Александр Михайлович (1768—1854), отец М. А. Бакунина — 47, 48, 511, *598, 627.*
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — *9, 15,* 126, 127, 139, 140, 145, 188, 200, 236—238, 242, 251, 252, 258, 261, 265, 291, 298, 299, 344—352, 376, *590, 598, 615, 617, 618, 627, 632, 637, 639, 640, 646, 653—655, 668, 672, 687.*
Предисловие к переводу «Гимнастических речей» Гегеля — 347, 350, *617, 653, 654.*
Бакунин Михаил Михайлович (1765—1826), сенатор — 182.
Бакунина Авдотья Михайловна, фрейлина, художница, дочь М. М. Бакунина. — 182.
Бакунина (в замужестве — Вульф) Александра Александровна (1816—1882), сестра М. А. Бакунина — 48, 238, 347, 511, *598, 657, 672, 681.*
Бакунина (урожд. Муравьева) Варвара Александровна (1792—1864), мать М. А. Бакунина — 48.
Бакунина Любовь Александровна (1811—1838), сестра М. А. Бакунина, невеста Н. В. Станкевича — 238, 347, 511, *612, 681.*
Бакунина Прасковья Михайловна, беллетристка, сотрудница «Москвитянина», дочь М. М. Бакунина — 182.
Бакунины, братья М. А. Бакунина — 242.
Бакунины — 47, 48, 238, 347, *653.*
Бальзак Оноре де (1799—1850) — 117, 183, *607.*
История тринадцати («Другой из тринадцати») — 117, *607.*
Отец Горио — 183, *627.*
Банариус, владелец гостиницы в Симферополе — 552.
Барант Эрнест (1818—1859), сын французского посла в России, участник дуэли с М. Ю. Лермонтовым в 1840 г. — 233.
Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844), поэт — 491.
Барон Брамбеус, псевдоним О. И. Сенковского (см.).
Барсов Константин Петрович (1821—1888), воспитанник, позднее зять М. С. Щепкина, сын актера П. Е. Барсова; мос-

ковский нотариус и общественный деятель — 198, 221, 245, *634, 665*.

Барсов Павел Петрович (1819-1881), брат К. П. Барсова — 245.

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), поэт — 85, 341.

Бахман Карл Фридрих (1785—1855), немецкий теоретик искусства, профессор Иенского университета — 111, *606*.

Всеобщее начертание теории искусств — 111, *606*.

Эстетика — 111.

Башуцкий Александр Павлович (1801—1876), беллетрист, журналист, издатель — 161, 275, 278, 279, *641*.

Очерки из портфеля ученика натурного класса. Тетрадь первая. Мещанин («Мещанин») — 278, 279.

Бегичев Дмитрий Никитич (1786—1855), писатель — 382, *659*.

Ольга. Быт русских дворян в начале нынешнего столетия — 382, *659*.

Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян — 382.

Беер Алексей Андреевич (1815—?), студент Московского университета — 132.

Белецкий Александр Павлович (1815 — после 1841), студент Московского университета, позднее преподаватель в Минске — 122, *610*.

Белинская (в замужестве — Козьмина) Александра Григорьевна (1815—1876), сестра Белинского — 29, 36, 95, 97, *592*.

Белинская Вера Виссарионовна (1848—1849), дочь Белинского — 563, 569, *670, 671*.

Белинская Мария Никифоровна, бабушка Д. П. Иванова, тетка Белинского — 55, 95.

Белинская (урожд. Орлова) Мария Васильевна (1812—1890), жена Белинского — 50, 179, 181, 272, 273, 288—290, 322, 391—393, 456—458, 460, 472—474, 476, 485, 488, 514, 516, 548, 556—570, 574—576, 584, 585, *643, 657, 670, 671, 677, 693-695, 697*.

Белинская (урожд. Иванова) Мария Ивановна (1788—1834), мать Белинского — 29, 31, 32, 76, 82, 92—98, *593, 594*.

Белинская (в замужестве — Бензис) Ольга Виссарионовна (1845—1902), дочь Белинского — 181, 291, 392, 473, 476, 516, 560—565, 569, 574, 576, *643, 670, 671, 673, 694, 695*.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848).

«Альманах на 1838 год» — 189, *630*.

«Архангельский историческо-литературный сборник», изданный Флегонтом Вальневым — 400, *660*.

«Бородинская годовщина». В. Жуковского — 145, 146, 170, 181, 202, 250, 256, 264, 341, 342, 477, 478, 504, *617, 639, 674, 680*.

Взгляд на русскую литературу 1846 года — 222, 419, 431, 432, *624, 634, 662, 664*.

Взгляд на русскую литературу 1847 года — *6,* 418, 419, 446, 447, 451, *662, 668, 672, 681*.

Владимир и Ольга (неосущ. замысел) — 102, 103, *602, 603*.

«Воспоминания Фаддея Булгарина». Часть третья — 441, *661*.

Вторая книжка «Современника» — 340, *653*.

«Выбранные места из переписки с друзьями» Николая Гоголя. СПб., 1847 — 222, 454, *634, 650, 668, 669*.

«Гамлет». Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета — 147, 189, 354, 355, 503, *654*.

«Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова — 368, 369.

«Главные черты из древней.

финской эпопеи Калевалы» Мориса Эмана. Гельсингфорс. 1847—401, 402, *661.*
«Горе от ума». Соч. А. С. Грибоедова. Второе издание — 166, 167, 372, 373, 537, *620, 657, 691.*
Дмитрий Калинин. Драматическая повесть в пяти картинах — 44, 94, 111, 112, *597, 602, 603, 606.*
«Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные» — 501, *680.*
«Древние русские стихотворения, служащие в дополнение к Кирше Данилову», собранные М. Сухановым — 501, *679.*
«Древние русские стихотворения, собранные М. Сухановым» — 501, *680.*
«Елена», поэма г. Бернета — 491, *614, 631, 677.*
Литературные мечтания — 43, 44, 111, 115, 116, 225—227, 324—329, *597, 598, 606, 622, 627, 629, 630, 637, 647—649, 651, 652, 664.*
Литературная хроника («Современник», тт. IV—VIII) — 356, *638, 652, 654.*
Менцель, критик Гёте — 211, 254, 255, 259, 262, 264, 343, 370, 477, 478, 504, 517, *617, 624, 633, 639, 657, 659, 674, 680.*
«Молодик», украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким — 400, *660.*
«Молодик» на 1843 год, украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким. Часть вторая — 400, *660.*
«Молодик» на 1844 год, украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким — 400, *660.*
«Наль и Дамаянти». Индейская повесть В. А. Жуковского — 401.
О детских книгах — 164, 166, *620.*
О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» — 339, 340, 374, *651, 656, 658.*
«Недовольные». Оригинальная комедия, соч. М. Н. Загоскина — 491.
Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мертвые души» — 397, 501, 537, *660.*
«Общая риторика» Н. Кошанского — 71, *601.*
Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» — 397, 501, 537, *660.*
«Ольга. Быт русских дворян в начале нынешнего столетия». Соч. автора «Семейства Холмских» <Д. Н. Бегичева> — 382, *659.*
О русской повести и повестях г. Гоголя — 111, 189, 340, 359, 362—364, *606, 656.*
«Основания русской грамматики», составленные Виссарионом Белинским — 72, 156, *597, 608, 619, 693.*
О стихотворениях г. Баратынского — 359, 491, *622.*
От Белинского — 228, 364, *636, 656.*
Ответ «Москвитянину» — 568.
«Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе)». Соч. Ф. Глинки, автора «Писем русского офицера» — 235, 258, 341, 356, 357, 477, 478, 504, *617, 637, 639, 674, 680.*
«Очерки русской литературы». Соч. Николая Полевого — 374, *658.*
«Параша». Рассказ в стихах. Т. Л. <И. С. Тургенева> — 147, 173, 479, 485, 508, *675, 681.*
Педант. Литературный тип — 390, 396.
Петербург и Москва — 424, *663.*
<Письмо к Н. В. Гоголю 15 июля н. с. 1847 г.> —

6, 18, 19, 22, 23, 25, 153, 180, 439, 454—456, 465, 495, 510, *646, 665, 668, 672, 673, 679, 686.*

«Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» — 354, *654.*

«Полный курс словесности для начинающих» (неосущ.). — 38, 71, *596.*

«Похождения Чичикова, или Мертвые души». Поэма Н. Гоголя — 501, 537, *656.*

Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь. Драма в пяти действиях — 375, 504, *597.*

Разные повести — 389, *660.*

Русская литература в 1841 году — 519, *594,687.*

Русская литература в 1845 году — 418, 419, *662.*

Русские журналы — 201, 255, 355, *631—633, 654.*

Русский театр в Петербурге — *383,601.*

«Собрание рецептов парижских городских больниц». Соч. Ф. С. Ратье. Перевод с французского — 256, *639.*

Сочинения Александра Пушкина <Статья восьмая — «Евгений Онегин»> — 147, 501, *618.*

«Сочинения» Державина <статьи первая и вторая> — 147, 568, *672.*

«Стихотворения Алексея Кольцова» — 359, 501.

«Стихотворения» Владимира Бенедиктова <статья> — 227, 359, 484, *677, 692.*

«Тайна», роман в четырех частях. Соч. А. Степанова — 189, *630.*

«Тарантас». Соч. графа В. А. Соллогуба <статья> — 147, 213, 214, 417, 426, 427, *633, 660—662.*

«Уголино». Соч. Николая Полевого — 189, 357, 358.

«Цын-Киу-Тонг, или Три добрые дела духа тьмы». Фантастический роман Р. Зотова — 383.

Щепкин на петербургской сцене — 503.

«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Соч. М. Загоскина. Издание пятое — 491.

Перевод «Магдалины» Поль де Кока — 511, *607, 681.*

Белинский Владимир Виссарионович (1846—1847), сын Белинского — 392, 473—475, 516, 517, 559, 560, 569, *670, 684.*

Белинский Григорий Никифорович (1784—1835), отец Белинского, врач, с 1816 г. штаб-лекарь в Чембаре — 29—33, 36—38, 51, 55, 56, 68, 76, 82, 93—99, 483, 521, *592—595.*

Белинский Дементий Григорьевич, корректор, однофамилец Белинского — 36, *595.*

Белинский Константин Григорьевич (1812—1863), брат Белинского, чиновник Чембарского уездного суда — 29, 36, 92, 97, 98, *592, 593.*

Белинский Никанор Григорьевич (1821—1844), брат Белинского, с 1842 г. юнкер грузинского гренадерского полка — 36, 97, 98, *593.*

Белинский Никифор, дед Белинского — 29, 51, 55, 483.

Белосельский — 283.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873), поэт — 484, 496, 543, 544, *629, 676, 692.*

Могила — 484 («Горы»).

Наездница — 484 («Матильда»).

Стихотворения Владимира Бенедиктова — 484, *676.*

Утес — 484.

Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1783—1844), шеф жандармов — 165.

Беранже, петербургский кондитер — 484.

Бернет Евстафий — см. *Жуковский* А. К.

* *Берх* Александр Маврикиевич — *12,* 571—576, *591, 695, 696.*

Берх, родители А. М. Берха — 571.

«Беседа» — см. *«Русская беседа».*

Бестужев (псевдоним — Марлинский) Александр Александрович (1797—1837), писатель — 227, 491, 496, *649, 676, 685.*

Беттигер Карл Вильгельм (1790—1862), немецкий историк — 113.

Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — 143.

«Библиотека для чтения», литературный журнал, издавался А. Ф. Смирдиным, ежемесячно, в Петербурге в 1834—1865 гг., редактор до 1849 г, О. И. Сенковский — 187, 189, 307, 325, 326, 328, 334, 364, *597, 604, 631, 647, 651, 692.*

Библия — 64, 174, 359, 523, 531, 565 (Далила), *617.*

Бичурин Никита Яковлевич (в монашестве Иоакинф, 1777—1853), ученый-синолог — 149.

Блан Луи (1811—1882), французский социалист-утопист и общественный деятель — 285, 385, 386, 463, *668.*

История десяти лет — 386, *668.*

Организация труда — 385.

Блэр Хьюг (1718—1800), английский теоретик искусства — 132.

Lectures on rhetoric and belles lettres —132.

Бодянский Осип Максимович (1808—1877), филолог-славист, с 1842 г. профессор Московского университета — 126, 130, 133, 135, 582.

Боткин Василий Петрович (1811—1869), литературный и музыкальный критик, переводчик — *11,* 48, 161, 170, 171, 173, 179, 180, 183, 188, 195, 198—200, 236, 248, 250—252, 257, 260, 261, 273, 285—288, 292, 297, 298, 350, 371—373, 379, 436, 462, 463, 515, 516, 521, 522, 546, 565—569, *590, 598, 609, 619, 621—626, 630—634, 636, 637, 639, 640, 644—645, 647, 654, 656—658, 662, 665, 666, 668, 669, 672, 675, 680, 683, 684, 687—689, 691, 693.*

Дон-Жуан, происшествие, случившееся с путешествующим энтузиастом (перевод фантазии Э. Т. А. Гофмана) — 188.

Концерт Леопольда фон Мейера в зале Петровского театра 7 марта — 188, *630.*

Моцарт — 188.

Оле-Буль. Брейтинг. Sing-Academie — 188, *630.*

Шекспир как человек и лирик — 371, *657.*

О новой литературе. В письмах к одной даме (неопубликованный перевод книги Марбаха) — 200, *632.*

Боткин Николай Петрович (1813—1869), брат В. П. Боткина, путешественник — 161, 516.

Боткина (урожд. Рульяр) Арманс Александровна, жена В. П. Боткина — 173, 546, *623.*

Боткины — 236, 371, *617.*

Брант Леопольд Васильевич, беллетрист и критик, сотрудник «Северной пчелы» — 161.

Брюллов Карл Павлович (1799—1852), художник — 496, 503, 544.

Брянский (настоящая фамилия — Григорьев) Яков Григорьевич (1790—1853), артист Александринского театра в Петербурге; отец А. Я. Панаевой-Головачевой (см.) — 584.

Буало Никола (1636—1711), французский поэт, критик, теоретик классицизма — 45.

Булгаков Константин Александрович (1812—1862), гвардейский офицер — 161.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), журналист и беллетрист, издатель газеты «Северная пчела» и журнала «Сын отечества»; агент III Отделения — 191, 203, 230, 231, 257, 265, 273, 278, 325, 330, 331, 333, 334, 340, 341, 362, 403, 441, 506, 509, 534, 582, *597, 636, 639, 650—652, 661, 666, 680, 691.*

Воспоминания — 441, *666.*

Журнальная мозаика — 231.
Иван Выжигин — 333, *652.*
Картинки русских нравов (Живописное путешествие но России) — 333.

Булыгин Василий Иванович (1808—1871), московский цензор — 189.

Буонаротти Филипп-Мишель (1761—1837), французский политический деятель — 385.

Бурдалу (Бургий) Луи (1632—1704), французский духовный оратор, автор учебника риторики — 109, 112, *605.*

Бутурлин, Дмитрий Петрович (1790—1849), военный историк; председатель «Комитета 2 апреля 1848 года» — 180, 320, *626.*

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788), французский естествоиспытатель — 39.

Бюше Филипп Жозеф (1796—1865), французский историк и политический деятель — 427, *640, 645.*
Histoire parlementaire de la révolution française ou journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqui en 1815 (в соавторстве с P. C. Roux) — 262, 263, *640.*

Вагнер — см. *Гете* И.-В., «Фауст».

Валуев (Волуев) Дмитрий Александрович (1820—1845), историк — 170, 429, 430, *621, 664.*
Исследование о местничестве — 429, *664.*

Василий, кучер Белинского — 90.

Василий, управляющий дачей И. И. Панаева — 159, 160.

Ватке Иоганн Карл Вильгельм (1806—1882), немецкий философ— 141.

Вейтлинг Вильгельм (1808—1871), немецкий общественный деятель, основатель коммунистической колонии в США — 410.
Гарантии гармонии и свободы — 410.

Великопольский Иван Ермолаевич (1793—1868), богатый помещик, драматург и поэт — 198, 239.

Великопольский Сергей Васильевич, уездный казначей в Чембаре — 34, 55,

Веллинский Данило Михайлович (1774—1847), профессор физиологии и общей патологии в Медико-хирургической академии в Петербурге — 113.

Вельяминов Алексей Александрович (1785—1838), с 1831 г. начальник Кавказской области, командующий войсками Кавказской линии — 137.

Вергилий Публий Марон (70—19 до н. э.), римский *поэт.*
Энеида — 340.

Вердер Карл (1806—1893), профессор философии Берлинского университета, драматург — 141.

Вержбицкий Павел Викентьевич, майор корпуса горных инженеров — 175, *643.*

Верньо Пьер Виктюрньен (1753—1793), французский политический деятель — 263.

«Вестник Европы», журнал, выходил раз в две недели в Москве, в 1802—1830 гг.; редактор-издатель в 1805—1830 гг. М. Т. Каченовский — 108, 517, 552, *600, 605, 624, 646, 662, 663, 673, 676.*

Вздвиженский Константин Иванович, пензенский чиновник — 84.

Виардо Луи (1800—1883), французский историк, критик, переводчик — 262.

Владиславлев Владимир Андреевич (1807—1856), издатель альманаха «Утренняя заря», литератор; подполковник жандармского корпуса — 157, 192, 201, *632, 650, 651.*

Владыкин Михаил Николаевич (1830—1887), драматург; предводитель дворянства в Чембарском уезде — 30.

Купец-лабазник — 30.
Образованность — 30.
Владыкин Николай Михайлович, чембарский помещик, муж Л. С. Владыкиной — 30.
Владыкина Лукерья Савельевна, мать М. Н. Владыкина, чембарская помещица; двоюродная сестра отца Белинского — 30, 62.
Воейков Александр Федорович (1779—1839), поэт, переводчик, журналист; редактор «Русского инвалида» в 1822—1838 гг. и «Литературных прибавлений К «Русскому инвалиду» в 1831—1839 г г . — 49, 157, 227, 228, 332, *597, 599, 636, 651.*
Дом сумасшедших — 49, *599.*
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778) — 30, 137, 138, 854, 581, 585, *614.*
Танкред — 130.
Востоков Александр Христофорович (1781—1864), филолог-славист, академик — 71.
Вульф Алексей Николаевич (1805—1881), приятель А. С. Пушкина — 47.
Вульф, петербургский кондитер — 225.
Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878) — 208, 230, *676.*

Г. П., криптоним родственника А. М. Берха — 571, 572, 576, *696.*
Гаде (правильно: Гюаде) Маргерит Эли (1758—1794), французский политический деятель — 263.
Гаевский Виктор Павлович (1826—1888), чиновник министерства народного просвещения, литературный критик и библиограф — 567, *695.*
Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), историк литературы и педагог, писатель — 257, 273, 517, 518, 564, 565, *684, 693.*
Галченков Иван Федорович (1784—1840), владелец дома в Петербурге, где жил Белинский — 180, 222, 475, *687.*
Гамель Эрнст (1826—1898), французский историк — 162, *619.*
История Робеспьера — 162, *619.*
Ганс Эдуард (1797—1839), немецкий юрист, доцент Берлинского университета — 144.
Гастев Михаил Степанович (1804—1883), преподаватель вспомогательных исторических наук Московского университета — 120, 121.
Гегг Мари, издательница женевского «Journal de Femmes» — 522.
Гегель Георг Фридрих Вильгельм (1770—1831) — *16,* 48, 49, 113, 139—141, 143—145, 147, 171, 182, 200, 236, 237, 240, 243, 251, 257, 262, 336, 341—346, 349—352, 357, 366, 370, 381, 382, 385, 480, 487, 488, 518, 549, 583, *615—617, 637, 653—655, 675.*
Гимназические речи — 347, 351, *617, 653, 654.*
Лекции по эстетике — 141, 237.
Наука логики — 141, 237, 352.
Публичная казнь — 143, *617,*
Феноменология духа — 141, 143, 145, 237.
Философия права — 144, 251, 336, 342, 366, 487.
Энциклопедия философских наук — 141.
Гейне Генрих (1797—1856) — 141, 258, 565, *617, 680.*
К истории религии и философий в Германии — 141, *617.*
Признания — 141, *617.*
Гейне Эжени Матильда, жена Г. Гейне — 565.
Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770—1843), немецкий поэт — 143.
Герен (правильно; Геерен) Арнольд Герман Людвиг (1760—1842), профессор истории и фи-

лософии Геттингенекого университета — 113.

Геринг Эдуард Николаевич (1796—?), лектор немецкого языка и словесности в Московском университете — 120—122, 124.

* *Герцен* Александр Иванович — *5—11, 13—15,* 24—26, 139-153, 170, 176, 178, 182, 183, 202, 220, 221, 242, 243, 246, 261, 262, 264, 271, 300, 306, 317—319, 342, 343, 346, 351, 374, 388—391, 395, 403, 404, 407, 409, 411—415, 417—419, 431, 455, 456, 459—461, 464, 466, 505, 516, 519—521, 549, 551, 582, *590, 591, 599, 602, 612, 613, 615—619, 621—623, 625, 627, 628, 633, 637, 640, 643, 644, 653, 659—666, 670, 674, 675, 681, 682, 686, 687, 696.*

Былое и думы — *5, 8, 11, 26,* 391, 407, 413, *599, 615, 616, 623, 627, 633, 637, 653, 659, 660, 662, 675, 686, 687.*

Доктор Крупов — 418 («Записки»), 448, *625.*

Кто виноват? — 418, 419, *662.*

О развитии революционных идей в России — *6, 7,* 148, *602, 618.*

Письма к старому товарищу — 521, *657.*

Письма об изучении природы — 415, 417, 418, 505, *681.*

Сорока-воровка — 246, *625, 644.*

С того берега — 519, *687.*

Герцен (урожд. Захарьина) Наталья Александровна (1817—1852), жена А. И. Герцена — 150, 404, 460, 464, 467.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 39, 121, 142, 143, 177, 189, 191, 199, 200, 252, 262, 336, 355, 358, 487, 507, 518, 536, 549, 551, 581, 585, *617, 630, 638, 654, 677, 681, 692.*

Западно-восточный диван — 507, *681.*

Годы учения Вильгельма Мейстера — 355, *654.*

Прометей— 191, 536.

Римские элегии — 191, *630.*

Рифмоплета нет такого — 507, *681.*

Фауст — 142, 143, 188 (Вагнер), 189, 200, 201, 252, 355, 356, 358, 487, 585, *617, 632, 654, 677.*

Гладков, пензенский помещик — 51.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857), композитор — 544.

Глинка Сергей Николаевич (1775 или 1776—1847), писатель — 326.

Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт — 258, 341, 357, *680.*

Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе) — 258, 341, 357, *680.*

Гнедич Николай Иванович (1784—1833), поэт — 121, 130.

Перевод «Илиады» Гомера — 121.

Перевод «Танкреда» Вольтера — 130.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — *6, 11, 12, 18—20, 22, 23, 25,* 43, 45, 133, 134, 153, 166, 180, 189, 213—216, 219, 222, 225, 227, 242, 247—249, 256, 313, 328—330, 332, 361—366, 372, 373, 378, 396—398, 402, 403, 439, 440, 454—456, 463, 465, 482, 491, 495, 497—499, 501, 503, 510, 515, 516, 525, 526, 537, 538, 542, 543, 585, *589, 593, 608, 610, 612, 629, 633, 634, 638, 639, 646, 649—651, 655—658, 660, 667, 668, 670, 673, 679, 685, 686, 692.*

Арабески — 362, *680.*

Вечера на хуторе близ Диканьки — 227, *634.*

Вий — 180.

Выбранные места из переписки с друзьями — 215, 222, 440, 454, 465, 510, 516, *633, 634, 646, 668, 680.*

Исторический живописец Иванов — 503, *680.*

Коляска — 134, *612.*

Мертвые души — *12,* 215, 247, 248, 313, 362, 364, 365, 378, 396, 397, 402, 525, *633, 655.*

Миргород — 227, 248, 362, *656.*

Невский проспект — 248.

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — 133, 197, 227, 537.

Последний день Помпеи. Картина Брюллова — 503, *680.*

Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора» — 373, *657, 658.*

Ревизор — 30, 166, 167, 242, 246—249, 313, 314, 364, 372, 373, 497, 525, 582, *593, 623, 638, 650, 655, 656, 658.*

Старосветские помещики — 248, 364.

Тарас Бульба — 364, 510.

Шинель — 498.

Голицын Александр Николаевич, князь (1773—1844), член Государственного совета — 272.

Голохвастов Дмитрий Павлович (1796—1849), председатель Московского цензурного комитета, с 1847 г. попечитель Московского учебного округа, историк — 106, 127, 187, 483, *603.*

Голубинская, сестра А. С. Голубинского — 76.

Голубинский Аркадий Степанович, пензенский семинарист — 76, 77, 84, 86, 89, 91—93.

Голубинский Степан, соборный протоиерей, отец А. С. Голубинского — 76.

Гомер — 48, 121, 123, 201, 252, 896, 455, *609, 637, 638, 660, 661.*

Илиада — 110, 121, 239, 340, 401.

Одиссея — 121, 566, *609.*

* *Гончаров* Иван Александрович (1812—1891) — *13, 20, 22, 24,* 215, 218, 261, 421, 491, 530—551, 558, 579—584, *590, 591, 609, 610, 625, 675, 688—692, 694, 696.*

Обрыв — 530, *690.*

Обыкновенная история — 218, 421, 538, *625, 689, 694.*

Гораций Флакк Квинт (65—8 до н. э.), римский поэт — 110, 266, *606.*

К хору юношей и девушек — 112, *606.*

Горбунов Кирилл Антонович (1822—1893), художник — 485, *677.*

Портрет В. Г. Белинского — 485, *677.*

Гото, учитель французского языка в Пензенской гимназии — 61, 62.

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — 164, 188, 262, 336, *652, 685.*

Дон-Жуан — 188.

Грановская (урожд. Мюльгаузен) Елизавета Богдановна (1824—1857), жена Т. Н. Грановского — 404.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), с 1839 г. профессор всеобщей истории Московского университета — *5, 9, 11, 14,* 65, 140, 170, 177, 178, 182, 183, 220, 270, 271, 326, 351, 374, 388—391, 395, 403—409, 411—414, 432, 463, 514, *609, 616, 621, 622, 624, 632, 659, 662, 664, 671, 676, 682, 684.*

Гребенка Евгений Павлович (1812—1848), украинский и русский писатель и поэт — 192, 230, 275, *631.*

Греков Авраам Григорьевич, смотритель Чембарского училища — 33—36, 55, 68—70, *594.*

Греч Николай Иванович (1787—1867), соиздатель «Сына отечества» и «Северной пчелы», филолог, беллетрист — 71, 256, 325, 330, 331, 506, 582, *631, 647, 650, 651, 691.*

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 108, 166, 373, 392, 537, *604, 605.*

Горе от ума — 105, 108, 166, 167, 372, 373, 392, 537, *604, 605, 658, 691.*

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899), писатель — 178, 179, 215, 218, 261, 269, 300, 302, 303, 419, 491, 524,

525, 539, *625, 626, 641, 643, 663, 687, 688.*

Антон-Горемыка — 179, 419, 448, *626.*

Деревня — 178, 419, 448, 491, 492, *625, 662.*

Петербургские шарманщики — 524, *687.*

Штука полотна — 269, *641.*

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), поэт и критик — 12, 540, *687.*

Знаменитые европейские писатели перед судом нашей критики — 522, *687.*

Григорьев Николай Львович (1810—1900), гимназический и университетский товарищ Белинского — 75.

Грот Яков Карлович (1812—1893), филолог, историк литературы, академик — 401, *661.*

Из народного эпоса Калевала — 401, *661.*

О финнах и их народной поэзии — 401, *661.*

Губер Эдуард Иванович (1814—1847), поэт и переводчик — 189, 192, 355, *630, 631, 654, 680.*

О философии. Взгляд на развитие философии до схоластиков — 192, *631.*

Перевод «Фауста» Гете — 189, 355, *630, 654.*

Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769—1859), немецкий естествоиспытатель — 39, 168, 436, 581.

География растений — 39.

Картины природы — 39.

Космос — 436.

«Voyage dans les regions equinoxiaux du nouveau continent» — 168.

Даву, князь Экмюльский, герцог Ауэрштедский (1770—1823), маршал Франции, участник войны 1812 г. — 465.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), поэт и военный писатель.

Современная песня — 298, *643.*

Давыдов Иван Иванович (1794—1863), профессор филологии и философии, с 1831 г. возглавлял кафедру русской словесности Московского университета — 103, 113, 128, 131, 132, 135, *611, 612.*

Чтения о словесности — 131, *611, 612.*

Даль Владимир Иванович: (1801—1872), писатель, лексикограф, этнограф — 45, 157, 515.

«Дамский журнал», выходил в Москве с 1823 г. два раза в неделю, в 1829—1833 гг. еженедельно; издатель князь П. И. Шаликов — 41.

Данте Алигьери (1265—1321) — 200, 201, *632.*

Божественная комедия — 200.

Двигубский Иван Алексеевич (1771—1839), профессор физики и естественной истории, ректор Московского университета в 1798—1833 г г . — 107, 108, 123, *603, 605.*

Декамп Амедей (ум. 1835), лектор французской словесности Московского университета — 128.

Демут, владелец гостиницы в Петербурге — 217.

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — 74, 109, 147, 325, 341, 497, 568, *596, 601, 647.*

Вельможа — 74, *601.*

Джаншиев Григорий Аветович (1851—1900), публицист — 568, *694.*

Дивов, помещик, владелец имения Соколово — 403, 404.

Дидерот — см. *Дидро* Д.

Дидро Дени (1713—1784) — 137.

Димитрий Самозванец (Лжедимитрий I; ум. 1606), царь московский — 85.

Диммерт Егор Иванович, петербургский архитектор — 202.

Дмитревский Николай Степанович, учитель латинского языка и временный директор

Пензенской гимназии — 58, 59, 66, 68, 69, 73, 74, 87, *600*.
Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт — 497, *601*.
Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — *15*, 493, 501, 540, 563, *642, 678, 679*.
Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура — 493, *678*.
Свисток — 501, 502, *679*.
Доброхотов Платон Иванович (ум. 1832), профессор общей словесности московской Духовной академии — 116.
Доницетти Гаэтано (1797—1848), итальянский композитор.
Лючия ди Ламмермур — 177, 474, *625*.
«Дон-Кихот» — см. *Сервантес* М.
* *Достоевский* Федор Михайлович (1821—1881) — *6, 14, 17—19, 24—26,* 218, 219, 261, 300, 302—304, 420—422, 448, 508, 509, 519—529, 538, 558, 569, *590, 591, 599, 643, 644, 646, 662, 663, 676, 684—688, 694*.
Бедные люди — *18,* 218, 219, 300, 302—304, 420, 422, 448, 508, 520, 524—529, *662, 663, 684, 686, 689*.
Двойник — 421, 528, 529, *686, 688, 694*.
Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895), историк и публицист — 177, *624*.
Восточная политика Германии и обрусение — 177, *624*.
Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), литературный критик, журналист, писатель — 215, 539, *688, 691*.
Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), генерал-лейтенант жандармерии, с 1839 г. управляющий III Отделением и член главного управления цензуры — 180, 476, *596, 627*.
Дубовский Иоанн, законоучитель в Пензенской гимназии — 64, *601*.
Дудышкин Степан Семенович (1820—1866), журналист и литературный критик, с 1847 г. вел отдел библиографии, позднее и критики в «Отечественных записках» — 274.
Дюма Александр (1802—1870), французский писатель.
Королева Марго — 471.
Дюси Жан Франсуа (1733—1816), французский драматург и поэт — 92, *602*.
Отелло (переработка трагедии Шекспира) — 92, *602*.
Дюссо, владелец ресторана в Петербурге — 301.

«Европеец», «журнал наук и словесности»; издавался в 1832 г. в Москве И. В. Киреевским — 148.
Екатерина II (1729—1796) — 45, 68, 168.
Елагина (урожд. Юшкова, по первому мужу Киреевская) Авдотья Петровна (1789—1877), мать И. В. и П. В. Киреевских, хозяйка литературного салона в Москве в 1830—1840 гг. — 388.
Елагины — 170, 388—390, 413.
Ермолов Алексей Петрович (1777—1861), генерал, герой Отечественной войны 1812 г. — 142.
Ефремов Александр Павлович (1814—1876), студент Московского университета, впоследствии там же преподаватель всеобщей географии — 126, 135, *672*.
Перевод статьи Ампера (см.) «Языческая и христианская литература IV века. Авзоний и св. Паулин» — 187.
Жанна д'Арк (ок. 1412—1431) — 351.
Жербин, петербургский домовладелец — 171, 469.
Жмакин Дмитрий Иванович, законоучитель в Пензенской гимназии — 64, 65.
Жорж Занд — см. *Санд* Ж.
Жуковский Александр Кириллович (1810—1864), поэт, известный под псевдонимом «Бер-

нет Евстафий» — 189, *614, 630, 631, 677.*

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 39, 41, 70, 85, 108, 124, 149, 188, 208, 209, 230, 248, 256, 314, 341, 388, 401, 446, *597, 676.*

Бородинская годовщина — 146, 250, 256, 264, 341, 504.

Перевод «Ивиковых журавлей» Шиллера — 124.

Наль и Дамаянти (перевод отрывка из «Махабхараты» — см.) — 401.

Жураковский (правильно: Жураховский) Даниил Даниилович (ум. 1867), украинский комедийный актер, антрепренер — 552.

Заборовский, студент Московского университета — 120.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), писатель — 154, 155, 248, 364, 491, 496, 500.

Недовольные — 364.

Юрий Милославский, или Русские в 1612 году — 354.

Зедергольм Карл Альбертович (1789—1867), пастор, доктор философии, автор ряда учебников, переводчик — 172.

История древней философии — 172.

Зиновьев Алексей Зиновьевич (1801—1884), профессор российского красноречия и древних языков Московского университета — 377.

Основания русской стилистики по новой и простой системе — 377.

Зиновьев Петр Васильевич (1812—1863), помещик, отставной гвардейский офицер, знакомый Белинского — 477.

Знаменский Степан Иванович, учитель статистики, истории и географии в Пензенской гимназии — 63, 64, 72, *601.*

Зоммер Александр Христофорович, учитель немецкого языка в Пензенской гимназии — 62, 63, 65, 73, 74.

Зотов Рафаил Михайлович (1795—1871), писатель и театральный деятель — 383.

Цын-Киу-Тонг, или Три добрые дела Духа тьмы — 383.

* *Иванисов* Николай Евграфович — *12,* 51, 52, 77—80, 83, 85, 86, *599, 600.*

Иванов Александр Андреевич (1806—1858), художник — 457, 503.

Иванов Алексей Петрович, брат Д. П. Иванова, чиновник Московского сената — 69, 92—94, 115, 116, *592.*

* *Иванов* Дмитрий Петрович — 29—34, 53—99, 115, 116, 563, 567, *591—595, 597, 599—602, 670.*

Иванов Николай Петрович, брат Д. П. Иванова — 33, 92, 93.

Иванов Петр Петрович (1779—?), муж двоюродной сестры Белинского Федосьи Степановны, секретарь Чембарского уездного суда — 76, 92, 96, *591.*

Иванова Вера Петровна, сестра Д. П. Иванова — 94, 97.

Иванова (в замужестве — Лопатина) Екатерина Петровна, сестра Д. П. Иванова, двоюродная племянница Белинского — 55, 56, 68, 93—97, *592, 602.*

Иванова Федосья Степановна, мать Д. П. Иванова — 32, 76, 81, 92—96, 99, *591.*

Ивановы — 33, 76, 90, 115, 116, *591, 605, 606.*

Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич (ок. 1795—1849), литератор и историк — 227.

Ивашковский Семен Мартынович (1774—1850), в 1819—1835 гг. ординарный профессор греческого языка и древностей Московского университета — 109, 110, 128, 132, 133.

«Илиада» — см. *Гомер.*

«Иллюстрированный альма-

нах» (1848), издание Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, запрещенное цензурой — 306, 319—321, *644*.

Кабе Этьенн (1788—1856), французский писатель, идеолог утопического «мирного коммунизма» — 384, 385, 522, *657*.

Народ — 385.

Путешествие в Икарию — 384, 385.

Кавелин Дмитрий Александрович (1778—1851), петербургский чиновник, отец К. Д. Кавелина — 168, 169.

* *Кавелин* Константин Дмитриевич — *20*, 168—184, 250, 253, 254, 261, 271, 272, 468, 469, 474, 568, 579—584, *589, 591, 620—627, 634, 643, 644, 664, 670, 675, 677, 680, 683, 684, 690, 692, 696*.

Взгляд на юридический быт древней России — 178.

Воспоминания о В. Г. Белинском — 468, 469, 474.

Кавур Камилло Бензо, граф (1810—1861), итальянский государственный деятель — 493, *678*.

Кайданов Иван Кузьмич (1782—1843), с 1811 г. профессор Царскосельского лицея, автор учебников истории — 63, 64, 113.

«Калевала», карело-финский эпос — 401, 402, *661*.

Каменский Павел Павлович (1810 или 1812—1870), литератор, драматург — 192, *631*.

Кандачаров, пензенский семинарист — 88.

Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ — *16*, 70, *653*.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 70, 112, 227, 325, 341, *597, 601*.

Остров Брнгольм — 112.

Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853), трагический актер — 55, 282, 422, 423, 496, 540, *620, 691*.

Карл Великий (742—814), король франков с 768 г., римский император с 800 г. — 05.

Карташевский Григорий Иванович (1777—1840), попечитель Виленского учебного округа — 115, *607*.

Кассий Гай Лонгин (убит в 42 г. до н. э.), римский политический деятель, участник, вместе с Брутом, заговора против Цезаря — 346.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), журналист, публицист, переводчик, сотрудник «Московского наблюдателя» (1838—1839 гг.), «Отечественных записок» (1839—1841 гг.); в 1845—1850 гг. адъюнкт философии и магистр русской словесности Московского университета — 171—174, 195, 198, 199, 236, 242, 245, 247, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 282, 375—378, *608, 623, 631, 637, 639. 647*.

«Основания русской стилистики по новой и простой системе» А. Зиновьева — 377.

Перевод «Патфайндера» Ф. Купера («Путеводитель в пустыне, или Озеро-Море», перевод М. Н. Каткова, М. А. Языкова, И. И. Панаева) — 377.

Перевод «Ромео и Юлии»; Шекспира — 375.

«Песни русского народа, изданные И. Сахаровым» — 255, *639*.

«Сочинения в стихах и прозе графини Сарры Толстой» — 377, 378.

«Стихотворения Алексея Леонова» — 257, *639*.

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), с 1806 г. профессор археологии, русской и всеобщей истории и статистики, истории и литературы славянских наречий, с 1837 г. ректор Московского университета, журналист и переводчик, в 1805—1830 гг. редактор-издателе «Вестника Европы» — 113, 128, 130, 131, 133—135, 324, *611, 647*.

Кениг Генрих (1790—1869),

немецкий писатель и критик — 188, *629, 630.*

Очерки русской литературы — 188, *629.*

Кетчер Николай Христофорович (1809—1886), врач, литератор, переводчик Шекспира — 136, 139, 161, 170, 178, 220, 221, 242—247, 259—261, 403—408, 422—424, 441, 476, 514, 567, 569, *612, 616, 663, 666, 670, 675, 695.*

Кетчер Серафима Николаевна, жена Н. Х. Кетчера — 407.

Кетчер Флавий Владимирович, племянник Н. Х. Кетчера — 569.

Киндяков Николай Михайлович, студент Московского университета — 135.

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), философ, публицист, литературный критик — 148, 170, 326, 388, 427, 485, *661—663.*

Обозрение современного состояния словесности — 427, *663.*

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), фольклорист, археолог, археограф, переводчик, публицист; брат И. В. Киреевского — 388, 389, *661.*

Кистер Федор Иванович (1772—1849), лектор немецкого языка и словесности в Московском университете в 1823—1834 гг. — 128.

Клюшников (псевдоним — —Ө—) Иван Петрович (1811—1895), писатель — 125, 129, 131, 188, 236, 251, 252, 257, 258, *590, 606, 638, 676.*

Иван Иванович Давыдов — 131, 132.

Опять оно, опять былое... — 188.

Княжевич Владислав Максимович (1798—1873), журналист 1800—1810 гг., тайный советник — 552, 553, 555.

Козловский Павел Дмитриевич, князь (1802—?), в 1836—1838 гг. инспектор Межевого института, приятель Белинского— 272, *641.*

Козьмин Михаил Николаевич, муж сестры Белинского, смотритель нижнеломовских училищ — 36.

Козьмина Александра Григорьевна — см. *Белинская А. Г.*

Кок Поль Шарль де (1793—1871), французский писатель — 115, 511, *607, 681.*

Магдалина — 511, *607, 681.*

Монфермельская красавица — 115, *607.*

Колзаков, родственник М. А. Языкова, морской флигель-адъютант — 161.

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842), поэт — 45, 151, 157, 165, 166, 185, 186, 189, 194, 225, 228—230, 234, 327, 378—380, 421, 501, 539, 585, *619, 620, 627, 628, 632, 636, 648, 658, 659, 675, 691.*

Не шуми ты, рожь... — 166.

Песня Лихача-Кудрявича — 380.

Комаров Александр Александрович (ум. 1874), преподаватель русской словесности во 2-м кадетском корпусе, поэт — 161, 214—216, 279, 330, 335, *633, 643, 652.*

Комаров Александр Сергеевич (1814—1862), профессор Петербургского института путей сообщения, сотрудник «Современника» — 161, 214, 261, 275, 279—281.

Кони Федор Алексеевич (1809—1879), писатель и театральный деятель — 189, *620.*

Константин Павлович (1779—1831), великий князь — 29.

Коркунов Михаил Андреевич (1806—1858), экстраординарный академик, член и правитель дел археографической комиссии — 120, 121.

Корнелий Непот (около 100— после 32 до н. э.), римский историк и писатель — 87.

«Королева Марго» — см. *Дюма* А. и *Кронеберг* А. И.

Корсаков Петр Александрович (1790—1844), писатель, с 1835 г. цензор, с 1840 г. редак-

тор журнала «Маяк» (см.) — 189.

Корф Модест Андреевич, барон (1800—1872), государственный деятель, с 1848 г. член, с 1855 г. председатель негласного комитета для надзора за книгопечатанием — 180, *626*.

Корш Евгений Федорович (1810—1897), журналист и переводчик, в 1836—1848 гг. редактор «Московских ведомостей» — 178, 220, 405, 406, 413, 463, *621*.

Корш Мария Федоровна (1808—1883), сестра Е. Ф. Корша, переводчица — 460.

Коссович Каетан Андреевич (1815—1883), ординарный профессор санскритской словесности Петербургского университета — 122, 123, 133, 170, *610*.

Котельницкий Василий Михайлович (1770—1844), ординарный профессор врачебного веществословия, фармации и врачебной словесности Московского университета в 1804—1835 г г . — 107, 108, *60S*.

Кошанский Николай Федорович (1781—1831), профессор русской и латинской словесности в Царскосельском лицее — 60, 70, 71, *601*.

Общая риторика — 60, 70, 71, *601*.

Частная риторика — 60, 70, 71.

Краевская Анна Яковлевна (1817—1842), жена А. А. Краевского — 261, *639*.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889), журналист, с 1839 г. издатель «Отечественных записок» — 136, 146, 149, 154, 173, 178, 190—192, 197, 201, 202, 225, 230—232, 250, 254—257, 260, 261, 264, 273—275, 307, 332, 334, 335, 341, 376, 470, 471, 483, 484, 492, 505, 529, 566, *591, 613, 618, 625, 629, 631—634, 636, 639, 641, 651, 665, 666, 670, 677, 678*.

Предостерегательное известие для подписчиков на русские журналы 1840 года (за подписью «Маркиз Өитабуки») — 256, *639*.

Красов Василий Иванович (1810—1854), поэт — 126, 135, 188, 192, 481, 565, *610, 675, 676, 695*.

Песня (Не гляди поэту в очи...) — 188.

«Краткая логика и риторика для учащихся в Российских духовных училищах» — 70, *601*.

Крез (595—546 до н. э.), индийский царь — 305.

Кречетов Василий Иванович, преподаватель словесности Благородного пансиона при Петербургском университете — 261, 266, 267.

Кронеберг Андрей Иванович (1814—1855), переводчик, критик — 300, 471, 472, *670*.

Перевод «Королевы Марго» А. Дюма — 471.

Кронеберг Иван Яковлевич (1788—1838), отец А. И. Кронеберга, филолог, профессор я ректор Харьковского университета — 189.

Письма — 189.

Крылов Иван Андреевич (1768—1844) — 208, 209, *601, 629*.

Музыканты — 188, *629*.

Ксантиппа (V в. до н. э.), жена Сократа (см.) — 566.

Ксенофонт (около 430 — 355 до н. э.), греческий писатель — 110.

Достопамятности — 110.

Кубарев Алексей Михайлович (1796—1881), историк, переводчик; адъюнкт римской словесности и магистр словесных наук Московского университета — 120, 121.

Кугушевы, семья чембарского капитан-исправника — 56.

Кудрявцев (псевдоним — А. Нестроев) Петр Николаевич (1816—1858), литератор, магистр всеобщей истории Московского университета — 65, 188, 189, 195, 253, 416, 417, 436, 544, *630, 662, 689*.

Антонина — 188.
Без рассвета (?) — 544.
Катенька Пылаева — 188.
Одни сутки из жизни старого холостяка — 188, *630*.
Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим — 436.
Флейта — 189, 195, 416.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), писатель — 188, 227, 231, 275, 331, 496, 498, 543, 544, *630, 691, 692*.
Джулио Мости — 543.
Повести из эпохи Петра Великого — 543, *692*.
Рука всевышнего отечество спасла — 498, 543.
Торквато Тассо — 498, 543.

Кульчицкий Александр Яковлевич (около 1817—1845), писатель, театральный критик — 161, 171, 172, 174—176, 272, 468, 469, 561, *621, 623, 643, 670, 682*.
Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс, заимствованные у разных древних и новейших писателей — 175, *623*.

Купер Джеймс Фенимор (1789—1851), американский писатель — 157, 233, 234, 377, *636*.
Патфайндер — 377.

Куртенер Федор Федорович (1795 — конец 1870-х годов), второй лектор французского языка в Московском университете — 120, 121.

Кусаков — 163.

* *Лажечников* Иван Иванович — *12*, 35—50, 53—56, 58—61, 65—67, 71, 72, 288, 472, *589, 594—601, 606, 643, 671*.

Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869), французский поэт-романтик, публицист, политический деятель — 285.

Ламенне Фелисите-Робер (1782—1854), французский аббат, публицист, сторонник «христианского социализма» — 349.

Лангер Валериан Платонович (1799 — после 1870), литератор и художник, цензор — 257.

Лангер Леопольд Федорович (1802—1885), композитор и преподаватель музыки — 257.

Латышев, ученик Пензенской гимназии — 73, 74.

«Левиафан», альманах Белинского (неосущ. замысел) — 178, 300, 305, 306, 311, 315, 434, 508, *625, 663*.

Лежо (Лежай) Габриэль Франсуа (1657—1734), французский иезуит, преподаватель риторики — 60, *601*.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ — 509.

Леонов Алексей Алексеевич (ум. 1882), поэт — 257.

«Лепта Белинского» («В помощь голодающим. Лепта Белинского»), сборник, вышедший в 1892 г. под редакцией Г. А. Джаншиева — 568, *693—695*.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 45, 76, 136—138, 177, 208, 213, 230, 232—234, 257, 258, 361, 362, 366—370, 482, 491, 495, 497—499, 501, 538, 539, 543, *612—615, 636, 675, 679*.
Герой нашего времени — 233, 368, 369, *614*.
Демон — 257, 368, 565, *656, 657, 693*.
Дума («Печально я гляжу на наше поколенье...») — 367, 497.
Княжна Мэри — 137.
Мцыри — 495, 501, *679*.
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова — 491, *614*.
Смерть поэта — 138, *613*.

Леру Пьер (1797—1871), французский социалист-утопист — 163, 261, 262, 384, 395, 507, 522, *645*.
Человечество, его основы и его будущее — 384.

Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — 325, 490.

«Литературная газета», петербургская газета, редакторы-издатели А. А. Краевский (1840, 1844—1848), Ф. А. Кони (1841—1843), Н. А. Полевой (1846), В. Р. Зотов (1849) — 491.

«Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» (1831—1839), петербургская газета, редакторы А. Ф. Воейков (1831—1836), А. А. Краевский (1837—1839) — 189, 190, 192, 201, 225, 227, 228, 232, 255, 256, 332, 376, 377, *597, 629—632, 635, 636, 639, 651.*

Лихачев — 155.

Лихонин Михаил Николаевич (1802—1864), поэт, переводчик, критик — 117.

Перевод «Дон-Карлоса» Ф. Шиллера — 117.

Ломбар, учитель французского языка в Пензенской гимназии — 61, 62.

Ломонд Шарль-Франсуа (1727—1794), французский педагог — 61.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 109, 325, 497.

Лопатин А. Ф., петербургский купец, владелец дома, в котором Белинский жил в 1842—1846 гг. — 161, 217, 261, 391, 469, 470, 472, 473, 477, *634, 639, 642.*

Людовик XIV (1638—1715) — 45.

Людовик XVI (1754—1793) — 182, 510.

Людовик-Филипп (Луи-Филипп) Орлеанский (1773—1850) — 149, 351.

«Лючия ди Ламмермур» — см. *Доницетти* Г.

Ляпунов Яков Прохорович, учитель математики в Пензенской гимназии — 56, 57, 75.

«Магабората» (правильно: «Махабхарата»), древнеиндийская эпическая поэма — 114, 139, 401 («Наль и Дамаянти»).

Майер Н. В., врач в Кисловодске; прототип доктора Вернера в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» — 137, *614.*

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 300, 494, *686, 689.*

Майков Валериан Николаевич (1823—1847), брат А. Н. Майкова, литературный критик и публицист — 434, 494, 558, *665, 678, 679.*

Маколей Томас Бабингтон (1800—1859), английский историк, литературный критик и политический деятель — 497.

Максимов Алексей Федорович (1811—?), товарищ Белинского по гимназии и университету — 81, 82.

Максимов Константин Федорович (1814 — после 1841), брат А. Ф. Максимова, студент Московского университета — 81, 82.

Максимов Федор Федорович, отец А. Ф. и К. Ф. Максимовых, советник гражданской или уголовной палаты в Пензе — 81, 82.

Маленина, пензенская домовладелица — 88.

Малов Михаил Яковлевич (1790—1849), профессор юридических наук Московского университета — 136, *613.*

Марбах Освальд Готхард (1810—1890), немецкий философ, поэт и критик — 200, *632.*

О новой литературе. В письмах к одной даме — 200, *632.*

Маргейнеке Филипп Конрад (1780—1846), немецкий философ-теолог — 141.

Маркевич Николай Андреевич (1804—1860), поэт и историк Украины — 161.

Марлинский — см. *Бестужев* А. А.

Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1860), актер Александрийского театра — 45.

Мартынов Николай, ученик Белинского по Межевому институту — 192, *631.*

Масальский Константин Петрович (1802—1861), писатель, в 1842—1844 гг. и в 1847—1852 гг. редактор «Сына отечества» — 331.

Маслов Иван Ильич (1817—1891), приятель Белинского, общественный деятель — 161, 173, 261, 263, 469, 473, 559, 569, *689*.

Масловский, пензенский семинарист — 87.

Матюшенко Павел Петрович (1812—1846), товарищ Белинского по Московскому университету, позднее учитель русской грамматики и географии — 100, *602*.

«Маяк современного просвещения и образованности», «учено-литературный журнал», выходил ежемесячно в Петербурге, в 1840—1845 гг. под редакцией до 1841 г. П. А. Корсакова и С. А. Бурачка, с 1841 г. С. А. Бурачка — 382, *659*.

Мегемет-Али — см. Мухаммед-Али.

Межевич Василий Степанович (1813—1849), критик и публицист — 197, 254, 256, 273, *604*.

Мейендорф Александр Казимирович, барон (1798—1865), экономист — 149.

Мейербер Джакомо (Якоб Либман Бер; 1791—1864), оперный композитор.

Роберт-Дьявол — 244, 474, 503, *637*.

Мельгунов Николай Александрович (1804—1867), писатель — 188, 273, 282, *630, 680*.

Менцель Вольфганг (1798—1873), немецкий писатель — 250, 254, 255, 262, 264, 504, 517, 518, *680*.

Немецкая литература — 518.

Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830), поэт, переводчик, литературный критик, в 1804—1830 гг. профессор Московского университета по кафедре российского красноречия и поэзии — 108, 110, 113, *605*.

Перевод «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо — 108.

Меридианов, Михаил Семенович, пензенский семинарист — 77, 84, 89, 91, 92.

Меридианов Семен, соборный дьякон, отец М. С. Меридианова — 77.

Меркушев, учитель математики в пензенской гимназии — 57, 58, 67.

Милановский Константин Соломонович, знакомый Белинского — 168, *670*.

Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт.

Потерянный рай — 340.

Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855), экономист, профессор Петербургского университета — 434.

Минье Франсуа Огюст Мари (1796—1884), французский историк — 262, *619*.

История французской революции — 162, 262, 263, *619*.

Михайловская-Данилевская Надежда Александровна, дочь А. И. Михайловского-Данилевского — 276—278.

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848), генерал-лейтенант, военный историк — 275—278, *641*.

Михелет Карл Людвиг (1801—1893), философ-гегельянец, профессор Берлинского университета — 141, 146, *618*.

Лекции о личности божества и бессмертии души — 146, *618*.

Мицкевич Адам (1798—1855) — 122, 177, *624*.

«Молва», газета, издаваемая Н. И. Надеждиным в 1831—1836 гг. в Москве, приложение к «Телескопу»; с июня до середины декабря 1835 г. редактировалась Белинским — 44, 103, 111, 115, 116, 225, 226, 231, 324, 329, 483, 517, 549, *589, 597, 598, 604, 608, 611, 635, 636, 676, 691*.

«Молодик», украинский альманах, издававшийся И. Е. Бецким при участии Г. Ф. Квитки-Основьяненко, В. Н. Каразина и Н. И. Костомарова; вышло че-

тыре книги, две в 1843 г. в Харькове, две в 1844 г. в Харькове и Петербурге — 400, *660*.

Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен, 1622—1673) — 487, *677*.

Мнимый больной — 487, *677*.

Морошкин Федор Лукич (1804—1857), ординарный профессор гражданских законов Московского университета — 134.

«Москвитянин», «учено-литературный журнал», издавался в Москве М. П. Погодиным в 1841—1856 г г . — 147, 240, 382, 403, 426, 427, 568, *637, 661, 663*.

«Московские ведомости», официальная газета, издаваемая с 1756 г. Московским университетом; в 1813—1836 гг. редактор П. И. Шаликов, в 1836—1848 гг. Е. Ф. Корш — 51, 405, *599*.

«Московский наблюдатель», «журнал энциклопедический», выходил в Москве два раза в месяц, в 1835—1839 гг.; до 1837 г. редактор В. П. Андросов, с 1838 г. издатель Н. С. Степанов, при нем руководство негласно перешло к Белинскому — 164, 185—187, 189, 190, 195, 200, 231, 240, 250—252, 254, 255, 331, 332, 335, 339, 340, 347, 352, 353, 356, 362—365, 504, 517, *598, 604, 608, 611, 615, 617, 628—633, 638, 650—656, 677*.

«Московский сборник» («Московский литературный и ученый сборник»), альманах, издававшийся Д. А. Валуевым и И. С. и К. С. Аксаковыми; вышло три тома сборника в 1846, 1847 и 1852 г г . — 429.

«Московский телеграф», двухнедельный научно-литературный журнал, издавался в 1825—1834 гг. в Москве Н. А. Полевым — 39, 187, 203, 265, 364, 374, *596, 656*.

Мосолова Анна Петровна, дочь чембарского судьи П. А. Мосолова — 56.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — 143.

Мочалов Павел Степанович (1800—1848), трагический актер — 45, 52, 147, 154, 155, 229, 282, 354, 503, 504, 540, *691, 696*.

Мухаммед-Али (1769—1849), египетский паша с 1805 г. — 392, 393.

Мюнстер Александр Эрнестович (1824—?), литограф — 241.

Портретная галерея русских деятелей — 241.

«Наблюдатель» — см. *«Московский наблюдатель».*

Навроцкий Сергей Никанорович (1808—1865), литератор, сотрудник «Маяка» — 383.

Новый Недоросль — 383.

Надеждин (псевдонимы — Экс-студент Никодим Надоумка; Недоумка) Николай Иванович (1804—1856), критик, эстетик, ученый и журналист, в 1831—1835 гг. профессор Московского университета по кафедре изящных искусств и археологии, в 1831—1836 гг. издатель «Телескопа» и «Молвы» — 39, 40, 103, 104, 108, 110, 112—114, 116, 117, 126, 128, 129, 134, 135, 188, 217, 265, 276, 359, 483, *589, 605—607, 610, 611, 630, 691*.

О современном направлении изящных искусств — 112, 116, *606*.

Вкус (в эстетическом смысле) — 116, *607*.

«Евгений Онегин», роман в стихах. Глава VII. Сочинение Александра Пушкина — 108, *605*.

Необходимость, значение и сила эстетического образования — 116, *607*.

О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтическою — 108, *605*.

Надоумко — см. *Надеждин,* Н. И.

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 143, 161, 465, 505.

Нахимов Аким Николаевич (1782—1814), поэт-сатирик — 54, *600.*
Элегия — 54, *600.*
Неверов Януарий Михайлович (1810—1893), педагог, литератор, член кружка Станкевича — 151, 152, *598, 606, 611, 618.*
Невешкинская Александра Евграфовна, жена А. Я. Невешкинского — 76, 81, 82.
Невешкинский Андрей Яковлевич, дальний родственник Белинского, помощник пензенского губернского почтмейстера — 76, 81, 82.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — *6, 25, 26,* 173, 177—179, 215, 218, 219, 261, 268, 269, 284—287, 300—305, 307—314, 318—321, 323, 421, 424, 432, 434, 435, 463, 486, 509, 514—516, 523—526, 528, 529, 557, 558, 569, *591, 619, 621, 625, 626, 634, 640, 641—644, 665. 666, 669, 670, 673, 674, 676—678, 682—685, 687, 688.*
В дороге — 268, 269, *640.*
Мечты и звуки — 268, *640.*
Несчастные — 528, *682, 688.*
Памяти приятеля — *6,* 486, *677.*
Петербургские углы — 285, 286, 300, *644.*
Последние песни — 523, 524.
Родина — 269.
Скоро стану добычею тленья... — 528, *688.*
Нечай Иван Маркович (1810—1860), товарищ Белинского по Московскому университету, позднее учитель — 100, *602.*
Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), критик и литературовед, цензор, в 1832—1864 гг. профессор российской словесности Петербургского университета, в 1847—1848 гг. официальный редактор «Современника» — 256, 257, 313, 435.
Николай I (1796—1855) — 5, 35, 181, 341, *613, 626, 651, 660, 667.*
Николай Николаевич, великий князь (1831—1891) — 165.
Николай, викарный — 128.
Новиков Николай Иванович (1744—1818), просветитель, писатель, журналист, критик, книгоиздатель — 498.
«Новоселье», альманах, издававшийся в 1833 и 1834 гг. А. Ф. Смирдиным (см.) — 133, *612, 652.*
Ньютон Исаак (1643—1727) — 531.
Оболенский Василий Иванович (1790—1847), переводчик греческих классиков, адъюнкт греческого языка и словесности Московского университета в 1833—1843 гг. — 120, 121, 123, 124.
Огарев Николай Платонович (1813—1877), поэт — *11,* 139, 140, 146, 242, 243, 261, 292, 374, 407, *606, 612, 613, 615, 616, 662.*
Одоевская (урожд. Ланская) Ольга Степановна, княгиня (1797—1872), жена В. Ф. Одоевского — 149.
Одоевский Владимир Федорович, князь (1803—1869), писатель, музыкальный критик — *16,* 149, 161, 164—167, 182, 206—208, 210, 230, 275, 300, 306, *633, 638, 651, 667.*
Перевод сказок Гофмана — 164, 166.
Сказки и новости для детей дедушки Иринея — 164, 166.
Озеров Владислав Александрович (1769—1816), драматург — 85.
Димитрий Донской — 85.
Эдип в Афинах — 85.
Окатов, студент Московского университета — 123.
Окен Лоренц (1779—1851), немецкий философ и естествоиспытатель — 113, 139.
Октавиан Август Кай Юлий Цезарь (63 до н. э. — 14 н. э.), первый римский император — 45.
Ольхин Матвей Дмитриевич (1806—1853), книгопродавец и издатель — 553.
Ольховский, кирасир — 161.
* *Орлова* Аграфена Васильевна — 181, 472—474, 476, 516,

556—569, *643, 670, 675, 682, 685, 693—696.*

Орлова Мария Васильевна — см. *Белинская* М. В.

Основский Нил Андреевич (ум. 1871), беллетрист; издатель четырехтомного собрания сочинений И. С. Тургенева в 1860 г. — 477—482, *673—676.*

Островидов, законоучитель в Пензенской гимназии — 64, 65.

Остров-ов И в . — 51, *599.*

Несколько слов о В. Г. Белинском — 51, *599.*

Островский Александр Николаевич (1823—1886), драматург — 513.

«Отечественные записки», «учено-литературный журнал», ежемесячно издавался в Петербурге в 1820—1830 гг. П. П. Свиньиным, в 1839—1867 гг. А. А. Краевским, затем до 1884 г. Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Г. З. Елисеевым — 104, 136, 148, 154, 158, 164, 166, 168, 172, 178, 179, 190, 191, 195, 210, 211, 213, 219, 222, 230—232, 254—258, 264, 268, 270, 273, 274, 282, 283, 287, 307, 312—315, 317, 324, 332—334, 341, 343, 367, 368, 376, 378, 382, 383, 389, 390, 407, 415, 418, 432, 434, 435, 469—471, 479, 483—485, 491, 492, 505, 508, 517, 523, 524, 528, 529, 533, 534, *591, 617, 620, 622, 625, 626, 628, 631—634, 639, 645, 651, 652, 654, 656—661, 664—666, 670, 672, 675, 676, 678, 679, 681, 688, 692, 693.*

Отто Иоанн Карл Теодор (1816—1897), австрийский философ-теолог — 141.

Павел, апостол (ум. ок. 65 г. н. э.) — 144.

Послание к римлянам — 144, *617.*

Павленков Флорентий Федорович (1839—1900), педагог, переводчик, книгоиздатель — 565.

Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840), ординарный профессор физики, минералогии и сельского хозяйства Московского университета — 113, 116, 139—141.

Павлов Николай Филиппович (1803—1864), писатель — 198, 239, 249, 250, 256, 282, *629, 632.*

Три повести — 249.

Павлова (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807—1893), поэтесса и переводчица; жена Н. Ф. Павлова — 257, 282.

Пальмерстон Генри Джон Темпль, лорд (1784—1865), английский государственный деятель — 493.

Панаев Александр Иванович, отец В. А. Панаева — 154, 158, 238, 239, *637.*

* *Панаев* Валерьян Александрович — 154—163, *618—620, 633.*

Панаев Владимир Иванович (1792—1859), поэт, крупный чиновник, дядя И. И. Панаева — 313, 314.

Панаев Иван Иванович, отец И. И. Панаева — 154, 238, *637.*

* *Панаев* Иван Иванович — *12, 24, 25,* 136, 150—152, 154—157, 159—163, 170, 173, 174, 178, 181, 183, 185—313, 316—318, 320, 323, 324, 334, 358, 360, 376, 378, 434, 435, 469, 491, 492, 508, 514, 539, 544, 557, 563, 564, 567—563, 584, *590, 608, 613, 617—619, 621, 625—645, 647, 653, 659, 663, 669, 670, 679, 683, 684, 688, 689, 695.*

Воспоминания о Белинском — *12,* 253, 567, *618, 628, 637, 638, 641, 643, 647, 653, 695.*

Литературные воспоминания — *12,* 136, 284, 302, 334, *628, 633, 642, 643, 645.*

Она будет счастлива — 228, *628, 636.*

Парижские увеселения — 300.

Панаев, брат В. А. Панаева — 163.

* *Панаева* (урожд. Брянская, по второму мужу Головачева) Авдотья Яковлевна — *25,* 154—157, 173, 197, 200, 201, 213, 282—

323, 565, 568, *591, 641—644, 663, 675*.
Воспоминания — 568, *675*.
Семейство Тальниковых — 320, 321.

Панаева Мария Екимовна, мать И. И. Панаева — 155, 156, 159, *619*.

Панаевы — 177, *619, 633*.

Пелиц (Пелитц) Карл Генрих Людвиг (1772—1838), немецкий историк — 168.
Учебная книга всеобщей истории, сочиненная И. М. Шрекком..., исправленная и доведенная до новейших времен К. Г. Л. Пёлицом — 168, *622*.

Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788—1880), с 1818 г. преподаватель, с 1826 г. экстраординарный профессор астрономии Московского университета — 141, 282, *601*.

«Первое апреля», альманах, вышедший в 1846 г. в Петербурге под редакцией Н. А. Некрасова — 269, *641, 665*.

Перикл (около 490—429 до н. э.), афинский государственный деятель — 72, 502.

«Петербургский сборник», альманах, вышедший в 1846 г. под редакцией Н. А. Некрасова — 300, 304, 308. 422, 435, 529, *640, 643, 661, 663, 665*.

Петр I (1672—1725) — 177, 259, 260, 263, 326, 327, 401, 500, 568, *692*.

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866) — 180.

Петров Василий Петрович (1736—1799), поэт — 497, *601*.

Петров Иван Яковлевич, учитель рисования в Пензенской гимназии — 77.

Петров Павел Яковлевич (1814—1875), ученый-ориенталист; товарищ Белинского по Московскому университету — 125.

Петров Яков Авремович, квартирохозяин Белинского в Пензе, отец И. Я. Петрова — 77—79, 84.

Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868) - 494, 495, 505, *679*.
Пушкин и Белинский (I. «Евгений Онегин». II. Лирика Пушкина) — 494, *679*.

Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель — *14,* 513.

Питт Уильям Старший, граф Чатам (1708—1778), английский государственный деятель — 490.

Питт Уильям Младший (1759—1806), английский государственный деятель — 490.

Плавильщиков Василий Алексеевич (1768—1823), библиограф, издатель, типограф, книгопродавец — 333.

Платон (около 427 — около 347 до н. э.), греческий философ и писатель — 110, 549.
Диалоги — 110.

Пленк Иоганн-Якоб (1738—1807), немецкий автор руководства по медицинским наукам — 108.

Плетнев Петр Александрович (1792—1865), поэт, критик, с 1832 г. профессор русской словесности Петербургского университета, с 1841 г. академик, в 1838—1846 гг. издатель и редактор «Современника» — 230, 256, 309, 310, 312, 337, 435, 507, *644, 670*.

Плюшар Адольф Александрович (1806—1865), издатель, типограф и книготорговец — 332, 333, *651*.
Энциклопедический лексикон — 333.

Победоносцев Петр Васильевич (1771—1843), экстраординарный профессор российской словесности Московского университета, переводчик и журналист — 60, 109, 120, *605, 609*.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), ординарный профессор русской истории Московского университета, с 1841 и академик, издатель «Московского вестника» (1827—1830) и редактор (совместно с С. П. Ше-

выревым) «Москвитянина» (1841—1856) — 113, 128, 130, 240, 256, 400, 491, 519, 580, *607, 649, 653, 656, 661, 675, 677, 686, 696.*
А. И. Герцен — 519, *686.*
К вопросу о славянофилах — 580, *696.*
Марфа Посадница — 491, *677.*

«Пожинки» (1830), неосуществленный пензенский альманах И. И. Лажечникова и М. М. Попова — 40, *597.*

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), писатель, журналист, историк, переводчик, издатель «Московского телеграфа» (см.), с 1838 г. негласный редактор «Сына отечества» (см.) и «Северной пчелы» — 39, 40, 147, 157, 186, 189, 201, 203, 204, 225, 226, 231, 255, 265, 276, 357, 363, 364, 373, 374, 548, 549, *596, 629—631, 633, 650, 651, 653, 656, 660.*
Очерки русской литературы — 374.
Параша-сибирячка — 265.
Уголино — 189, 357.

Полонский, профессор Института путей сообщения (?) — 158, 160, 161, *619.*

Полторацкий Александр Маркович (псевдоним — Доримедон Васильевич Прутиков; 1766—1837), литератор-дилетант — 46, 47, *589, 598.*

Полторацкий, лейб-гусар — 161.

Поль де Кок — см. Кок Поль Шарль де.

Попов Михаил Максимович (1801—1871), учитель естественной истории и словесности в Пензенской гимназии, с 1839 г. чиновник III Отделения — 37—44, 46, 49, 50, 58, 60, 65, 66. 74, 75, 80, 81, 112, 180, 192, 222, 475, 476, *595—596, 627, 634, 671.*

Попов Михаил Степанович (1816 — после 1856), племянник М. М. Попова, товарищ Белинского по Пензенской гимназии — 37, 42, 81.

Попов Павел Яковлевич (1815—?), земляк Белинского и товарищ по Московскому университету — 112, *606.*

«Потерянный рай» — см. *Мильтон* Д.

* *Прозоров* Павел Иванович — *12,* 105—117, *602, 604—607.*

Прокопович Николай Яковлевич (1810—1857), поэт, преподаватель русской словесности в петербургских кадетских корпусах, друг Н. В. Гоголя — 214, 248, 365, *650, 669.*

Протопопов Григорий Абрамович, директор Пензенской гимназии — 57, 58, 67, *600.*

Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915), литературный критик — 58, 67, 75, 565—567, *695.*
В. Г. Белинский, его жизнь и литературная деятельность — 565—567, *695.*

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), французский публицист, экономист — 145, 346, 384, 385, 406, 410, 522, *645, 646.*
Система экономических противоречий, или Философия нищеты — 145, *645.*
Что такое собственность? — 384, 385, 410.

Прутиков Доримедон — см. *Полторацкий* А. М.

Пуцыкович Виктор Феофилович (1843—1909), журналист, в 1874—1879 гг. редактор-издатель «Гражданина», в 1879—1881 гг. «Русского гражданина» в Берлине, впоследствии берлинский корреспондент петербургской газеты «Новое время» — 156.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — *5, 12,* 37, 39, 43, 45, 47, 85, 86, 108, 145, 161, 186, 188, 201, 204, 205, 213, 227, 248, 252, 253, 257, 265, 325, 328, 330, 332, 337, 338, 340, 355, 356, 361, 362, 482, 491, 494—502, 517, 528, 538, 539, 543, 585, *596, 605, 612, 615, 617, 629, 632, 635, 636, 638, 639, 646, 647, 649, 651, 676, 677, 679.*

Бахчисарайский фонтан — 86.
Борис Годунов — 39, 43, 108, *596, 605.*
Бородинская годовщина — 145, 253.
Братья-разбойники — 86.
19 октября (1825) — 494.
Евгений Онегин — 86, 147, 490, *605, 636, 677.*
Кавказский пленник — 86.
Каменный гость — 201, 337, 338, *632, 653.*
Клеветникам России — 253, 265.
Медный всадник — 260, 498, *639.*
Поэт и толпа («Чернь») — 253, 502, 517, *679.*
Поэту — 253.
Пророк — 253.
Руслан и Людмила — 86.
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы — 142, *617.*

Пушкин Лев Сергеевич (1805—1852), брат А. С. Пушкина — 500.
Петр Великий — 500, *679.*

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк литературы, академик — *14, 19, 20, 24,* 53, 71, 94, 518, 530, 552, 564, 566—568, 579, 580, 583, 584, *592, 600—603, 606, 609, 610, 622, 657, 661, 664, 666, 670, 675, 678—679, 684, 690, 696.*
Белинский, его жизнь и переписка — 518, 530, 552, 566—568, 583, *592, 600, 670, 678.*

Радивилов, студент Московского университета — 101, 112.

Радклиф (урожд. Уорд) Анна (1764—1823), английская писательница — 51, 52, 86.

«Рамайана» («Рамаяна»), древнеиндийская эпическая поэма — 114.

«Рассказы старинного полицейского агента» — 231, *636.*

Ратье Феликс Северин (1797—1866), французский врач — 256, *639.*
Собрание рецептов парижских городских больниц, или Руководство к предписыванию врачебных средств, употребляемых врачами и хирургами этих заведений — 256, *639.*

Рауль, виноторговец — 280.

Рафаэль Санти (1483—1520) — 113, 459, *668.*
Преображение господне — 113.
Сикстинская мадонна — 113, 446, 459, *668.*

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892), французский писатель, филолог, историк — 521.
Жизнь Иисуса — 521.

Рётшер Генрих Теодор (1803—1871), немецкий теоретик искусства — 201, 353, 354, *654, 657.*
О философской критике художественного произведения — 201, 353, 354, *654.*

Решетников Федор Михайлович (1841—1871), писатель — 513.

«Роберт» («Роберт-Дьявол») — см. *Мейербер* Д.

Робертсон Вильям (1721—1793), английский историк — 113.

Робеспьер Максимильен Мари Изидор (1758—1794) — *25,* 162, 163, *619, 620.*
Высшее существо — 162, 163, *619, 620.*

Розенкранц Иоганн Карл Фридрих (1805—1879), немецкий философ-гегельянец и литературовед — 141, 143, *617.*
Жизнь Гегеля — 143, *617.*

Россини Джоаккино Антонио (1792—1868), итальянский композитор — 143.

Рубашевский Василий, учитель русского языка в Чембарском училище — 33, 34.

Рубенс Петер Пауль (1577—1640) — 459.
Суд Париса — 459.
Торжество Вакха — 459.

Рубини Джованни Баттиста

(1795—1854), итальянский оперный певец — 177, 503, *625*.

Руге Арнольд (1802—1880), Немецкий публицист, левогегельянец — 141, *617, 654*.

«Русская беседа», журнал, выходивший в Москве в 1856—1860 гг., издатели-редакторы А. И. Кошелев и Т. И. Филиппов — 429, *664*.

Руссо Жан Жан (1712—1778) — 585.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — 476.

Савельев-Ростиславич Николай Васильевич (ум. 1854), историк и этнограф — 192, *631*.

Савинич Иван (Ян) Семенович (1811 — после 1868), студент Московского университета, впоследствии профессор русского языка в Варшавской главной школе — 105, 106, *610*.

Садовский (настоящая фамилия — Ермилов) Пров Михайлович (1818—1872), с 1839 г. актер Малого театра — 45.

«Саконтала» (правильно «Абхиджняна Шакунтала»), драма древнеиндийского поэта и драматурга Калидасы (V в.) — 114.

Саллюстий Гай Крисп (86—35 до н. э.), римский историк — 110.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (псевдоним — Н. Щедрин; 1826—1889) — 23, *14, 22—24,* 513, 566, *674, 683*.

Коняга — 566.

Самарин, московский домовладелец — 116.

Санд Жорж (настоящее имя Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван; 1804—1876), французская писательница — *18,* 163, 174, 205, 252, 261, 262, 268, 284, 349, 395, 463, 470, 507, 522, 545—547, 550, 585, *633, 639, 640, 642, 669, 684*.

Лукреция Флориани — 545—548, *692*.

Мельхиор — 205, *633*.

Пиччинио — 463, *669*.

Спиридион — 262, 268.

Теверино— 545.

Саренко Василий Степанович (1814—1881), студент Московского университета, позднее врач Петербургского морского госпиталя — 100.

* *Сатин* Николай Михайлович — 136—139, 242, *612—616, 659*.

Сахаров Иван Петрович (1807—1863), этнограф-фольклорист, археолог и палеограф — 149, 157.

Сахаров, пензенский семинарист — 88.

Свиньин Павел Петрович (1787—1839), писатель, художник, историк, географ; основатель и издатель (до 1830 г.) «Отечественных записок» (см.) — 332, *652*.

«Северная пчела», политическая и литературная (с 1838 г.) газета, издавалась в Петербурге в 1825—1864 гг., до 1831 г, три раза в неделю, Ф. В. Булгариным, затем до 1859 г. ежедневно Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем — 255, 312, 315, 325, 330, 334. 340, 505, *597, 636, 639, 650, 661, 666, 681*.

Семянников, петербургский домовладелец — 469.

Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (псевдоним — Барон Брамбеус) (1800—1858), писатель, журналист и ученый-востоковед; в 1822—1847 гг. профессор Петербургского университета по кафедре арабских, персидских, турецких языков, в 1834—1847 гг. (номинально до 1856 г.) редактор-издатель «Библиотеки для чтения» — 49, 186, 191, 192, 230, 231, 326, 330, 331, 362, 489, 490, 502, 582, *631, 647, 650, 651, 691, 692*.

Сен-Симон Анри Клод, граф (1760—1825), французский социалист-утопист — 349, 411.

Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616).

Дон-Кихот — 427.

Серебрянский (Сребрянский) Андрей Порфирьевич (1809 или 1810—1838), поэт — 189, 379, *658*.

Мысли о музыке («О музыке») — 189.

Серов Александр Николаевич (1820—1871), композитор — 554, 555.

«Сикстинская мадонна» — см. *Рафаэль Санти.*

«Синбирский сборник» (1845), издатель Д. А. Валуев — 429, *664.*

Скобелев (псевдоним — «Русский инвалид») Иван Никитич (1778—1849), генерал и военный писатель, с 1839 Г. комендант Петропавловской крепости — 148, 173.

Скопина Елизавета Михайловна, чембарская знакомая Белинского — 56.

Скотт Вальтер (1771—1832), английский писатель — 39, 51, 157, 233, 234, 262, *636.*

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857), издатель, книгопродавец и библиограф — 187, 330, 332, 333, *631, 650, 652, 653.*

Снегирев Иван Михайлович (1793—1868), ординарный профессор римских древностей и латинского языка Московского университета, цензор московского цензурного комитета — 110, 128, 131, *187, 605.*

Соболевский Сергей Александрович (1803—1870), библиограф, поэт — 161.

Соваж Тома Мари Франсуа (1794—1877), французский драматург.

Матрос — 554, *693.*

«Современник», литературный журнал, основанный в 1836 г. А. С. Пушкиным; после смерти Пушкина издавался в пользу его семьи группой друзей во главе с В. А. Жуковским. В 1838—1846 гг. издатель-редактор П. А. Плетнев, в 1847—1863 гг. издатели-редакторы Н. А. Некрасов и И. И. Панаев — *5,* 134, 161, 178, 179, 204, 221, 222, 230, 306, 309—321, 328, 332, 334, 337, 340, 355, 356, 358, 418, 432, 435, 441, 446, 451, 454, 470, 507, 508, 533, 534, 545, 549; *591, 612, 621, 622, 625, 626, 628, 634, 635, 638, 641, 643—646, 649, 652, 653, 655, 661, 663, 665—670, 673, 674, 678—681, 683, 684, 691—693, 696.*

Соколов Василий Гаврилович, пензенский семинарист — 84.

Соколов Николай Гаврилович, пензенский семинарист — 84, 86, 88.

Соколовский Владимир Игнатьевич (1808—1839), поэт — 136.

Сократ (около 469—399 до н. э.), греческий философ — 110, 566.

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901), московский книгоиздатель — 476, 564, *599, 635.*

Соллогуб Владимир Александрович, граф (1813—1882), писатель — *24,* 161, 192, 213, 214, 232, 300, 306, 417, 426, 427, 538, *633, 660, 662, 691.*

История двух калош — 192, 232.

Сережа — 232.

Тарантас — 147, 213, 417, 426, 427, *633, 660, 662.*

Сомин, студент Московского университета — 122, *603.*

Софокл (около 496—406 до н. э.), греческий драматург — 354.

Срезневский Измаил Иванович (1812—1880), филолог, палеограф, этнограф; профессор российского красноречия и поэзии Харьковского и с 1847 г. Петербургского университетов, академик — 375, *658.*

Станкевич Александр Владимирович (1821—1912), брат Н. В. Станкевича, литератор — *14,* 518, *658, 664, 674.*

Т. Н. Грановский — *14,* 518, *664.*

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), поэт, глава философского кружка 30-х годов — *7, 8, 11, 14,* 43, 48, 49, 116, 125—131, 133—135, 139, 140,

171, 183, 184, 216, 237, 238, 326, 327, 344, 351, 374, 470, 582, 585, *590, 597, 606—612, 617, 618, 628, 631, 632, 637, 638, 648, 649, 653—655, 658, 672, 675, 679, 681.*

Старчиков Эраст, студент Московского университета — 124.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, журналист, публицист; с 1866 г. издатель-редактор «Вестника Европы» — 579, *675.*

Степанов Александр Петрович (1781—1837), писатель — 189, 331, *630.*

Тайна — 189, *630.*

Степанов Николай Степанович, владелец типографии в Москве, издатель «Московского наблюдателя» — 187, 188, 193, 250

Стирнер Макс — см. *Штирнер* М.

Строганов Сергей Григорьевич, граф (1794—1882), крупный чиновник, в 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа — 72, 180, 188.

Строев Сергей Михайлович (псевдоним — Сергей Скромненко, 1815—1840), историк — 126, 130, 135, 582.

Струговщиков Александр Николаевич (1808—1878), поэт и переводчик — 189, 191, 192, 275, 507, *630.*

Перевод «Римских элегий» Гете — 191, *630.*

Перевод «Прометея» Гете — 191, *630.*

Сулейманов Григорий, крепостной актер — 51, 85.

Сумароков Александр Петрович (1717—1777), поэт и драматург — 51, 85, 86, *600, 601.*

Димитрий Самозванец — 51, 52, 85, 86, *600, 601.*

Сурков Федор Петрович, крепостной Ивановых — 90.

«Сын отечества», исторический, политический и литературный журнал; выходил с 1812 г. еженедельно, редактор-издатель Н. И. Греч, с 1825 г. два раза в месяц, редакторы П. И. Греч и Ф. В. Булгарин; в 1829—1838 гг. выходил под названием «Сын Отечества и Северный архив»; с 1838 г. издатель А. Ф. Смирдин, редакторы Н. А. Полевой (неофициально), с 1841 г. О. И. Сенковский, в 1842—1844 и в 1847—1852 гг. К. П. Массальский (с середины 1844 г. по 1846 г. журнал не издавался) — 187, 189, 255, 373, *630, 633, 644, 650.*

«Танкред» — см. *Вольтер.*

Тассо Торквато (1544—1595), итальянский поэт — 108.

Освобожденный Иерусалим — 108, 340.

Тацит Публий Корнелий (около 55 — около 120), римский историк и писатель — 39.

«Телеграф» — см. *«Московский телеграф».*

«Телескоп», «журнал современного просвещения», издававшийся в 1831—1836 гг. в Москве Н. И. Надеждиным; выходил два раза в месяц, с 1834 г. еженедельно — 103, 116, 117, 217, 228, 231, 265, 331, 339, 359, 363, 483, 484, 517, *589, 597, 598, 604, 607, 608, 618, 633, 636, 648, 650, 651, 658, 676.*

Теплое, студент Московского университета — 122, 123.

Терентьев Виктор Иванович (1812—?), земляк Белинского, студент Московского университета, впоследствии врач — 75.

Терновский Петр Матвеевич (1798—1874), протоиерей, профессор богословия и церковной истории Московского университета — 120, 121, 124, 128.

Тильман Карл Андреевич (1802—1875), петербургский врач, лечивший Белинского — 323.

Тимофеев Алексей Васильевич (1812—1883), писатель — 331.

Тира де Мальмор, французский врач — 510.

Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.), римский писатель и историк — 121.

Толмачев Василий Андреевич, студент Московского университета — 126.

Толстой Григорий Михайлович (1808—1871), казанский помещик, приятель И. И. Панаева — 307, 309, *643.*

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 513, *673, 676.*

Толстые, семья Г. М. Толстого — 307—310.

Топ, московский домовладелец — 195, 196.

Топорнин Дмитрий, студент Московского университета — 122, 124, 125.

* *Тургенев* Иван Сергеевич (1818—1883) — *5, 6, 11—16, 21, 24,* 45, 147, 152, 173, 174, 179, 182, 211, 222, 261, 269—271, 284, 285, 291, 293—295, 300—304, 314—316, 398, 399, 436—438, 473, 477—518, 529, 557, 559, 560, 567—570, *590, 591, 618, 619, 625, 633, 636, 641, 643, 644, 663, 665, 669—685, 688, 690, 696.*

Бретер — 515.

Бурмистр — 438, *672.*

Ермолай и мельничиха — 515.

Записки охотника — 398, 438, 448, 508, *672, 681.*

Параша — 147, 173, 398, 479, 484, 485, *672, 675, 677, 681.*

Петр Петрович Каратаев — 515.

Помещик — 300.

Хорь и Калиныч — 173, 508, 515, *681.*

Тьер Луи Адольф (1797—1877), французский историк и политический деятель — 385, 395.

История французской революции с 1789 года по 18 брюмера — 385, 395.

* *Тютчев,* Николай Николаевич — *5,* 161, 171, 172, 174—177, 261, 272, 468—476, 561, 569, *621, 643, 664, 669—671, 680, 682, 689.*

Тютчев, отец Н. Н. Тютчева — 468.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873), поэт — 511, *682.*

Как над горячею золой... — 512, *682.*

Тютчева Александра Петровна (1822—1887), жена Н. Н. Тютчева — *5,* 473, 474, 513, 514, 559, *670, 671, 682.*

Уваров Сергей Семенович, граф (1786—1855), в 1833—1849 гг. министр народного просвещения, с 1818 г. президент Академии наук — 114, 116.

Ульрихс Юлий Петрович (ум. 1836), историк, в 1823—1832 гг. ординарный профессор всеобщей истории, статистики и географии Московского университета — 113, *607.*

«Утренняя заря», альманах, издаваемый В. А. Владиславлевым в 1839—1843 гг. — 201, *631, 632.*

Федоров, петербургский домовладелец — 475.

Фейербах Людвиг Андреас (1804—1872), немецкий философ — 142, 412, 522, *662, 677.*

Сущность христианства — 412, *662.*

Фидий (Фидиас; около 485—432 до н. э.), греческий скульптор — 502.

«Физиология Петербурга», сборник, вышедший под редакцией Н. А. Некрасова в 1845 г. — 424, 435, 524, *661, 663, 665, 687.*

Филарет (Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867), московский митрополит с 1826 г. — 341.

Фишер Фридрих Теодор (1807—1888), немецкий эстетик, ученик Гегеля — 200, 359, *632, 655.*

Литература о «Фаусте» Гете — 200, 359, *632, 655.*

Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745—1792) — 354, 498.

Франкер Луи-Бенжамен (1773—1849), французский математик, автор учебников — 141,

Фредерик, немец, сопровождавший Белинского в путешествии по Германии — 464—467, 510.

Фрейлиграт Фердинанд (1810—1876), немецкий поэт — 258.

Фрейганг Андрей Иванович (1806 — после 1855), цензор — 506, *647.*

Фролов Николай Григорьевич (1812—1855), географ — 436, *682.*

Перевод «Космоса» А. Гумбольдта — 436.

Фроловы — 270.

Фультон Роберт (1765—1815), американский изобретатель — 531.

Фурье Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист — 384, 385, 411, 522, 532.

«Харьковские губернские ведомости», газета, издававшаяся в Харькове с 1838 г., в 1838—1866 гг. еженедельно, редактор Андреев — 468.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807), писатель — 51, 85, 86, 497, *601, 602.*

Владимир Возрожденный — 86.

Россияда — 86, 340, *602.*

Хомяков, пензенский помещик — 79.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт, философ, публицист, драматург, один из идеологов славянофильства — 129, 133, 282, 389, 390, *656, 661,*

Ермак — 133.

Ципровская Екатерина Павловна, чембарская учительница Белинского — 32, 33.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский оратор, писатель, государственный деятель — 87.

Об обязанностях — 87.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), философ, публицист — 104, 147, 151, 152, *598, 604, 618, 659.*

Философическое письмо (первое) — 103, 147, 151, 152, *598, 604, 618.*

Челищев Михаил, студент Московского университета — 135.

Чембарский Василий, соборный священник, законоучитель в Чембарском училище — 33, 34, 68.

Черкасский Александр Александрович, князь, отец В. А. Черкасского — 168.

Черкасский Владимир Александрович, князь (1824—1878), общественный деятель, славянофил — 168.

Черткова Елизавета Григорьевна, жена археолога и историка А. Д. Черткова — 249.

Чистяков Михаил Борисович (1810—1885), приятель Белинского по Московскому университету, впоследствии педагог и писатель — 100, 105, 106, 111, *602, 606.*

Перевод «Всеобщего начертания теории искусств» К. Ф. Бахмана — 111, *606.*

Чумаков Федор Иванович (1782—1837), с 1813 г. ординарный профессор прикладной математики Московского университета — 75, *601.*

Шаликов Петр Иванович, князь (1767—1852), писатель и журналист — 227.

Шаллер Юлиан (1810—1868), немецкий писатель и философ-гегельянец — 141.

Шапошников, преподаватель Пензенской гимназии — 60.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864), литературный критик, историк литературы, поэт, с 1832 г. преподаватель, с 1837 по 1857 г. ординарный профессор русской словесности и педагогии Московского университета; с 1841 г. редактор (совместно с М. П. Погодиным) «Москвитянина» (см.) — 98, 108,

114, 128—130, 135, 178, 188, 240, 246, 339, 340, 364, 374, 375, 390, *59S, 605, 609, 611, 630, 651, 656, 661, 691.*

«Миргород». Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя — 364, *656.*

Шекспир Уильям (1564—1616) — 39, 91, 111, 161, 199, 201, 229, 235, 242, 252, 336, 371, 396, 422, 491, 540, *600, 602, 629, 638, 660, 677, 682, 684.*

Гамлет — 45, 59, 147, 186, 189, 229, 354—356, 504, 512, 517, 540, *600, 629, 654, 682, 684.*

Король Ричард II — 235.

Отелло — 91—93, 111, 154, 155, *602.*

Ромео и Джульетта — 375.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854), немецкий философ-идеалист — *16,* 113, 139, 324, 336, 347, 352, 359, 362, 378, 381, 385, 417, 427, *662.*

Философия откровения — 378, 417, 427.

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759—1805) — 39, 111, 117, 121, 124, 143, 201, 252, 262, 349, 354, 518, 540, 549, 585, *616, 655.*

Дон Карлос — 117,

Ивиковы журавли — 124.

Коварство и любовь — 111.

Разбойники — 111.

* *Шмаков* И. — 552—555, *692, 693.*

Штевен И., романист, частный пристав — 204.

Штейн Иван Федорович (ум. в конце 1830-х гг.), деятель русского и украинского театра — 552, 553.

Штирнер (Стирнер) Макс (настоящее имя Иоганн Каспар Шмидт; 1806—1856), немецкий писатель и философ, теоретик анархизма — *17, 23,* 443—446, *666, 667.*

Единственный и его достояние — *17,* 443—446, *666, 667.*

Штраус Давид Фридрих (1808—1874), немецкий философ, историк, теолог, публицист — 522, *677, 687.*

Шуберт Франц Петер (1797—1828), австрийский композитор — 143, 473.

Атлас — 143.

Всемогущество божие — 143.

Лейерман («Шарманщик») — 473.

Щепкин Дмитрий Михайлович (1817—1857), математик и филолог, сын М. С. Щепкина — 245, 247, 467, *638.*

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), артист — 45, 101, 112, 154, 155, 179, 198, 204, 219—221, 242—249, 282, 306, 307, 310, 311, 475, 503, 533, 552—555, 558, 564, *597, 634, 638, 643, 655.*

Щепкин Николай Михайлович (1820—1886), сын М. С. Щепкина, общественный деятель и издатель — 245, 476, *599, 635, 665.*

Щепкин Павел Степанович (1793—1836), с 1817 г. преподаватель и с 1826 г. ординарный профессор чистой математики Московского университета, инспектор казеннокоштных студентов — 105—107, 112, *604.*

Щепкин Петр Михайлович (1824—1877), сын М. С. Щепкина; чиновник — 245.

Щепкина Александра Михайловна (1816—1841), дочь М. С. Щепкина, актриса — 245, 282, *637.*

Щепкины — 242—245, 282.

Эккартсгаузен Карл фон (1752—1803), немецкий писатель-мистик — 30, *593.*

«Энеида» — см. *Вергилий* М. П.

Эсхил (525—456 до н. э.), греческий драматург — 354.

Юнг-Штиллинг Иоганн Генрих (1740—1817), немецкий писатель-мистик — 30, *593.*

«Юрий Милославский» — см. *Загоскин* М. Н.

Яблонский Василий Егорович, преподаватель Пензенской гимназии — 59—61, 66, 68, 71, 73, *600*.

Яворский Стефан (в миру Симеон, 1658—1722), православный богослов, митрополит рязанский и муромский, первый президент Синода — 147.

Ягн Юлий Иванович (1811—около 1888), земляк Белинского, студент Московского университета, впоследствии врач — 75.

Языков Михаил Александрович (1811—1885), член кружка Белинского, директор стеклянного завода; издатель — 161, 173, 214, 216, 218, 224, 226, 261, 271, 278—280, 559, *643, 669, 689*.

Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт — 389, *659*.

К не нашим — 389, *659*.

Языкова Екатерина Александровна, жена М. А. Языкова — 224.

«Jahrbücher für Wissenschaftliehe Kritik», журнал, основанный Г.-Ф.-В. Гегелем и выходивший в Берлине в 1827—1846 г г . — 200.

«Hallische Jahrbücher für Deutsche Wissenshaft und Kunst», литературно-философский журнал, орган младогегельянцев, основанный в Германии в 1838 г. А. Руге и Э.-Т. Эхтермайером; в 1841 г. переименован в «Deutsche Jahrbücher für Wissenshaft und Kunst» — 200, 349, 359, *632, 640, 654*.

«Le Moniteur Universel», официальная газета, издававшаяся во Франции в 1789—1848 г г . — 162, *619*.

«La Revue Indépendante», журнал, издававшийся в Париже в 1841—1848 гг. П. Леру, Ж. Санд и Л. Виардо — 261, 262, 266, 280, 281.

СОДЕРЖАНИЕ

К. И. Тюнькин. Белинский в памяти современников 5

В. Г. БЕЛИНСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Д. П. Иванов. Несколько мелочных данных для биографии В. Г. Белинского 29
И. И. Лажечников. Заметки для биографии Белинского 35
Н. Е. Иванисов. Воспоминание о Белинском 51
Д. П. Иванов. Сообщения при чтении биографии В. Г. Белинского (Л. Н. Пыпина) *(Пребывание Белинского в гимназии)* 53
Н. А. Аргилландер. Виссарион Григорьевич Белинский *(Из моей студенческой с ним жизни)* . . . 100
П. И. Прозоров. Белинский и Московский университет в его время *(Из студенческих воспоминаний)* . . 105
К. С. Аксаков. Воспоминания студентства 1832—1835 годов 118
Н. М. Сатин. Отрывки из Воспоминаний 136
А. И. Герцен. Из «Былого и дум» 139
В. А. Панаев. Из «Воспоминаний» 154
Ю. К. Арнольд. Из «Воспоминаний» 164
К. Д. Кавелин. Воспоминания о В. Г. Белинском . . 168
И. И. Панаев. Воспоминание о Белинском 185
И. И. Панаев. Из «Литературных воспоминаний» . . 225
А. Я. Панаева (Головачева). Из «Воспоминаний» . . 282
П. В. Анненков. Из «Замечательного десятилетия». 1838—1848 324
Н. Н. Тютчев. Мое знакомство с В. Г. Белинским . . 468
И. С. Тургенев. Встреча моя с Белинским *(Письма к П. А. Основскому)* 477
И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском 483
Ф. М. Достоевский. Из «Дневника писателя» 519

И. А. Гончаров. Заметки о личности Белинского . . 530
И. Шмаков. Белинский в Симферополе 552
А. В. Орлова. Из воспоминаний о семейной жизни В. Г. Белинского 550
А. М. Берх. Из знакомства с Белинским 571
Приложения
Письмо И. А. Гончарова к К. Д. Кавелину 579
Письмо М. В. Белинской к И. А. Астафьеву 584
Примечания 589

Список условных сокращений 698
Указатель имен и названий 700

Б43 **В. Г. Белинский в воспоминаниях современников.** Вступит. статья К. И. Тюнькина. Примеч. А. А. Козловского и К. И. Тюнькина. М., «Худож. лит.», 1977.

733 с. Серия литературных мемуаров.

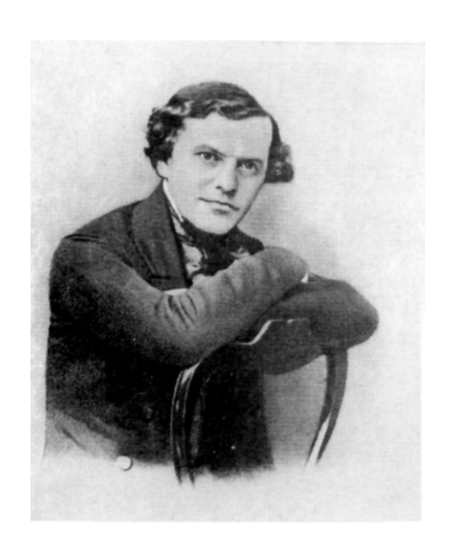
В сборник вошло все наиболее ценное и достоверное из мемуарной литературы о Белинском — воспоминания А. И. Герцена, И. С. Тургенева, П. В. Анненкова, Ф. М. Достоевского и других современников великого русского критика.

Б $\frac{70202\text{-}107}{028(01)\text{-}77}$ 51-77 **8Р1**

Город Чембар, где прошли детские годы Белинского. *Рисунок Б. И. Лебедева. 1947 г.*

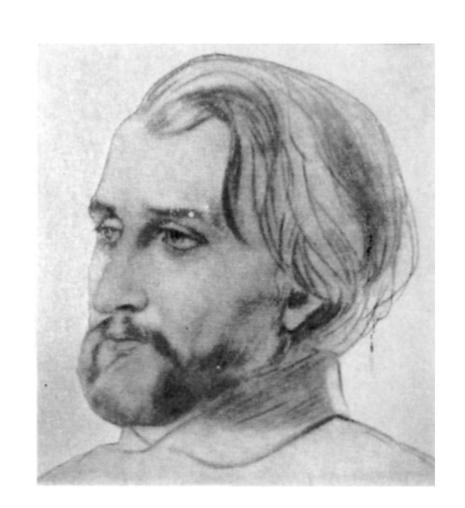
В. Г. Белинский. *Акварель К. А. Горбунова. 1838 г.*

Н, И. Надеждин.
Литография П. Бореля 1859 г. С гравюры 1841 г.



К. Д. Кавелин. *Фотография 1845 г.*

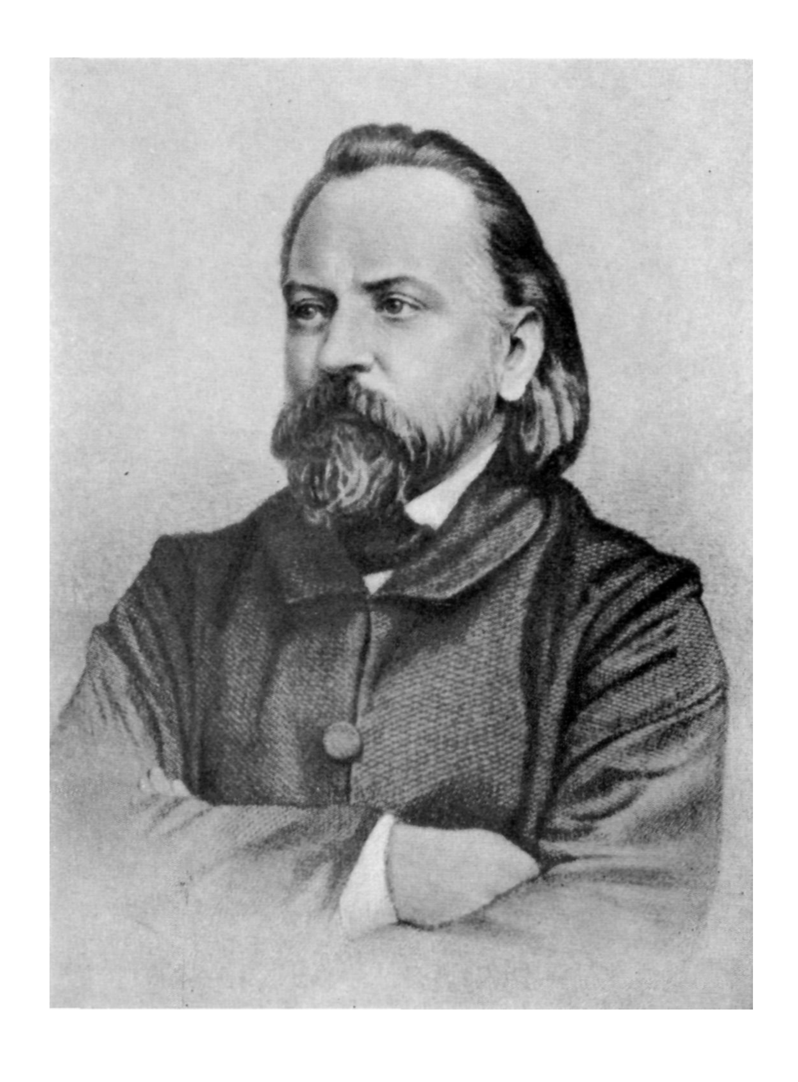
И. И Лажечников. *Портрет маслом А. В. Тыранова. 1837 г.*



И. С. Тургенев. *Рисунок Полины Виардо. 1850-е гг.*

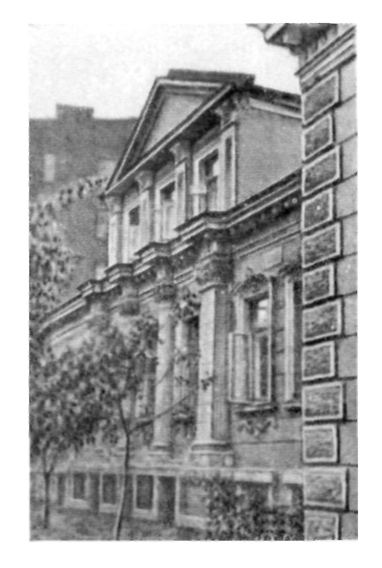
П. В. Анненков. *Автолитография К. А. Горбунова. 1845 г.*

А. И. Герцен. *Фотография с лондонской гравюры 1850-х гг.*



Белинский. *Рисунок А. Редера, 1858 г. (копия рисунка Е. А. Языковой, сделанного с натуры в мае 1848 г.)*

Дом № 6 на улице Щукина (бывший Левшинский переулок) в Москве, где в конце 1834 года жил Белинский.



Фронтиспис и титульный лист «Стихотворений» Кольцова (1846 г.) с вступительной статьей Белинского.

СТИХОТВОРЕНІЯ

КОЛЬЦОВА.

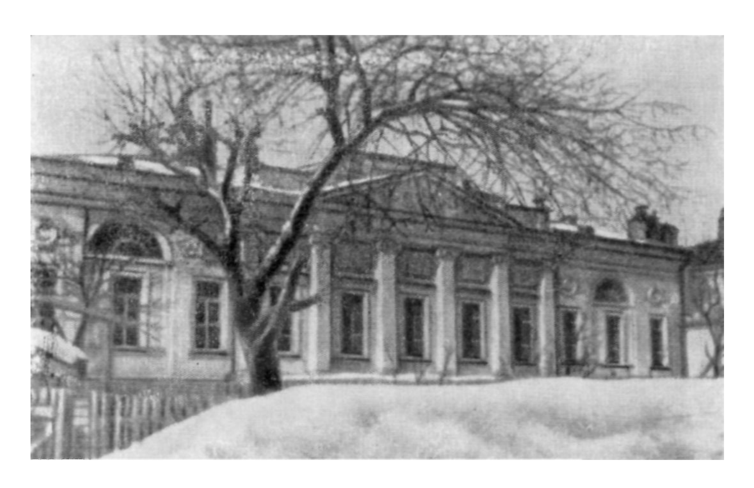
Съ портретомъ автора, его факсимиле и статьею о его жизни и сочиненіяхъ, писанною В. Бѣлинскимъ.

Въ типографіи Военно-Учебныхъ Заведеній.

1846.

М. А. Бакунин.
Акварель неизвестного художника. 1838 г.

Дом Боткиных и Петроверигском переулке в Москве, где жил и бывал Белинский в 1839, 1841 и 1843 гг.

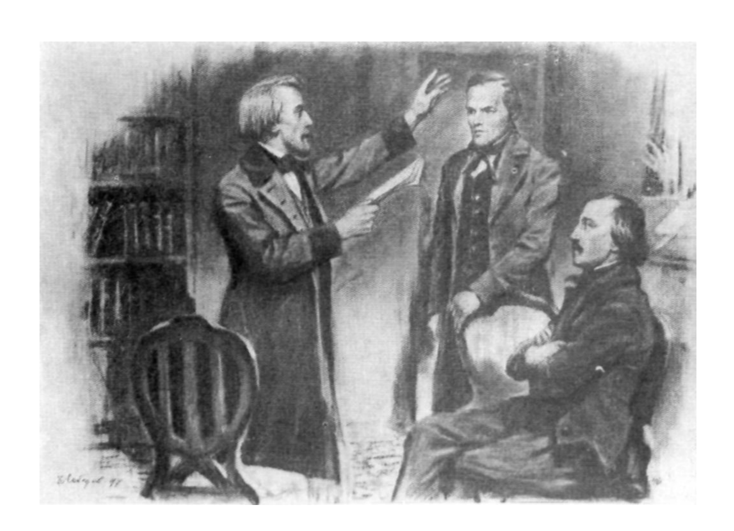


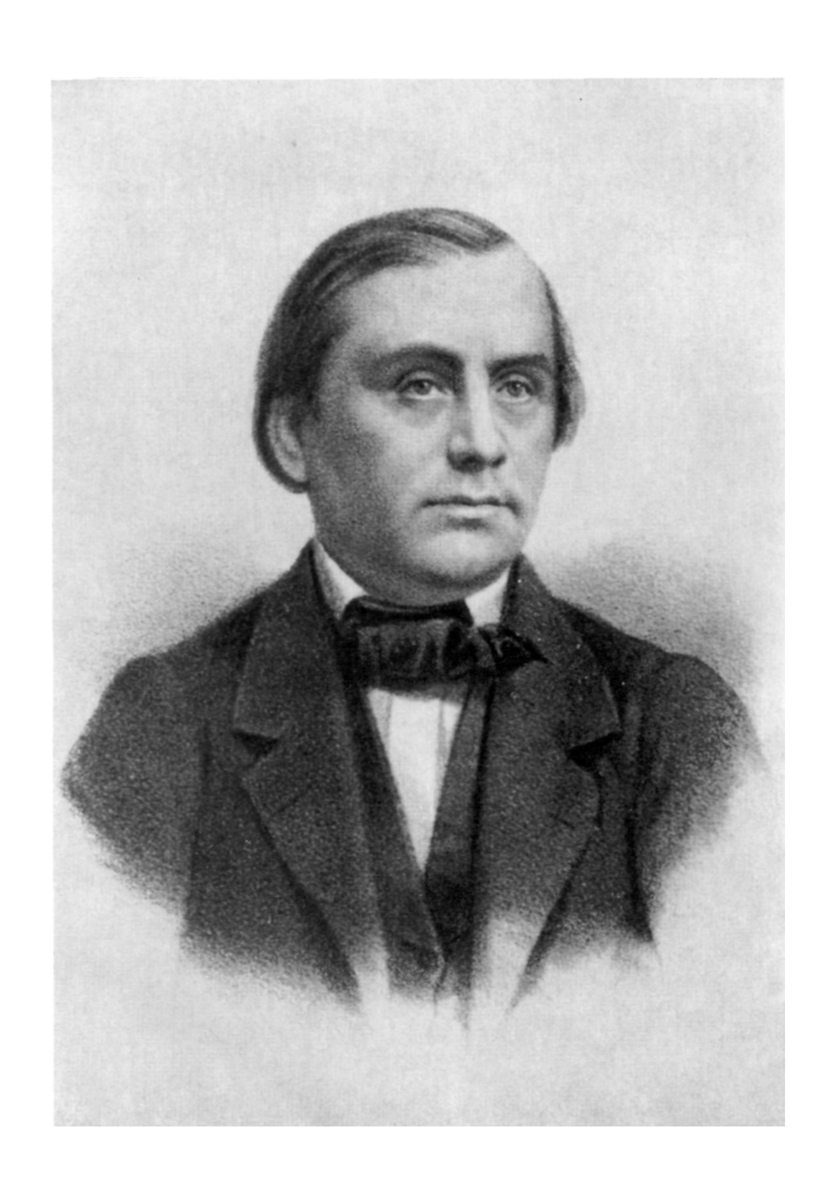
А. Я. Панаева. *Акварель неизвестного художника 1850-х гг.*

И. И. Панаев. *Литография П. Бореля.*

Ф. М. Достоевский. *Рисунок художника К. Трутовского. 1847 г.*

Белинский читает Некрасову роман Достоевского «Бедные люди». *Рисунок Б. И. Лебедева. 1947 г.*





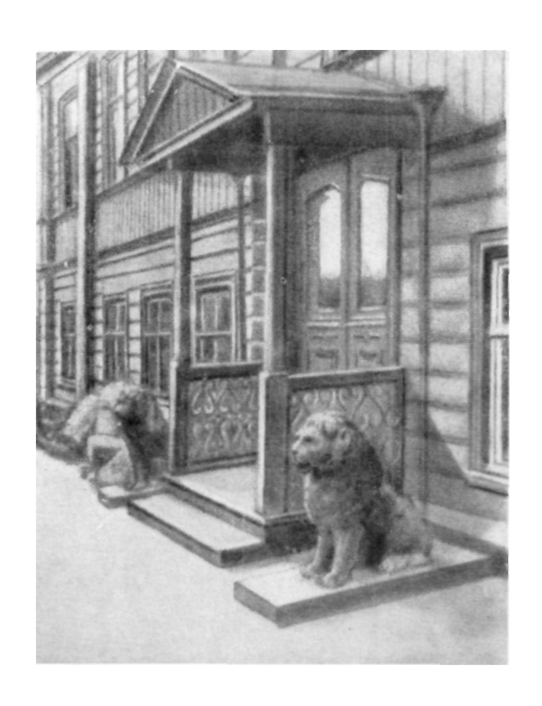
И. А. Гончаров. *Литография. 1847 г.*

П. Г. Белинский. *Пастель П. М. Боклевского. 1870-е гг.*

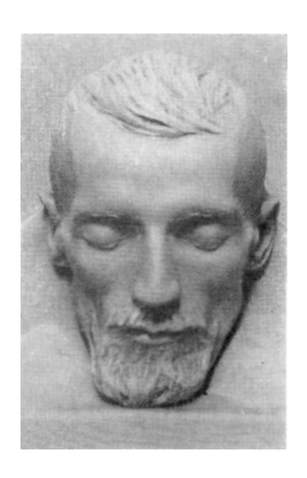
М. В. Белинская с дочерью О. В. и сестрой А. В. Орловой. *1860-е гг.*

М. В. Белинская. *Фотография 1860-х гг.*

Белинский перед смертью. *Картина Наумова.*



Последняя квартира на Лиговском канале в Петербурге, где с октября 1847 г. жил и умер Белинский.



Посмертная маска Белинского. *Гипс работы Гринмана. 1848* г.